

Л.Н. ТОЛСТОЙ
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННОКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

С Е Р И Я
ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ



Под общей редакцией

С. Н. ГОЛУБОВА, В. В. ГРИГОРЕНКО, Н. К. ГУДЗИЯ,
С. А. МАКАШИНА, Ю. Г. ОКСМАНА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1960

Л.Н.ТОЛСТОЙ
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ I

*Издание второе,
исправленное и дополненное*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1960

Подготовка текста и примечания

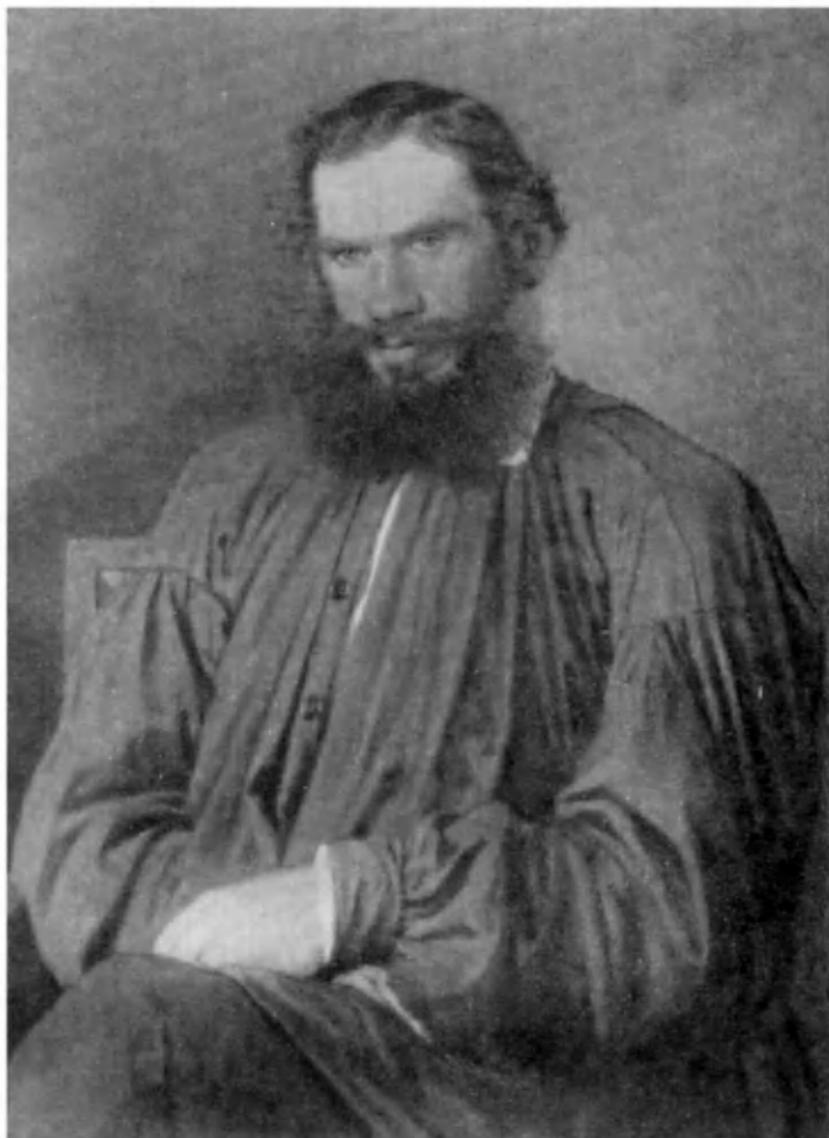
Н. Н. ГУСЕВА, В. С. МИШИНА,
Л. Д. ОПУЛЬСКОЙ

Вступительная статья

К. Н. ЛОМУНОВА

Оформление художника

Н. ШИШЛОВСКОГО



Л. Н. ТОЛСТОЙ.

Портрет работы художника И. Крамского. 1873.

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Мемуарная литература о Толстом огромна. Составители предлагаемого сборника считали своей задачей отобрать из нее все наиболее интересное и достоверное.

Новое издание сборника отличается от первого, выпущенного в 1955 году. Оно пополнено воспоминаниями Ю. Одаховского, А. Дружинина, Б. Чичерина, Е. Сытиной-Чихачевой, Е. Оболенской, Н. Шатилова, А. Оболенского, С. Арбузова, Н. Иванова, А. Коца, В. Бонч-Бруевича, И. Бунина, В. Стасова, И. Токутоми, Э. Моода, П. Буайе, Х. Абрикосова, Скитальца, М. Гершензона, А. Сереброва, Ф. Поступаева, И. Пархоменко, Н. Фельтена, Б. Трояновского. Устранены ненужные купюры, имевшиеся в первом издании сборника. Однако большинство мемуаров печатается по-прежнему неполностью: опущено то, что не имеет непосредственного отношения к Толстому (например, пространные рассказы иных мемуаристов о себе, о своих исканиях, настроениях), а также заведомо недостоверное. Воспоминания, вышедшие в недавнее время отдельными изданиями: Т. А. Кузминская, «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», С. Л. Толстой, «Очерки былого», А. Б. Гольденвейзер, «Вблизи Толстого», В. Ф. Булгаков, «Лев Толстой в последний год его жизни», — не представлены в сборнике, за исключением главы книги С. Л. Толстого — «Музыка в жизни моего отца», которая является единственным мемуарным памятником, специально посвященным музыкальным интересам Толстого.

Специфика мемуарной литературы о Толстом, преобладание в ней дневников, записей бесед с Толстым (преимущественно в поздний период его жизни), а также необычайное разнообразие состава авторов исключили возможность какой-либо классификации воспоминаний. Вследствие этого воспоминания располагаются в хронологической последовательности знакомства мемуаристов с Толстым. Исключение сделано для очерка А. М. Горького «Лев Толстой». Очерк представляет собою обобщенный литературный портрет Тол-

стого, и потому составителям казалось необходимым заключить им сборник. Отступление от хронологического принципа касается также отрывков из воспоминаний Р. Левенфельда, из которых взяты только рассказы Толстого о себе, записанные мемуаристом. Ответы Толстого на вопросы Левенфельда помещены в соответствии со временем, о котором идет речь (выход Толстого из университета и заграничное путешествие).

В подготовке сборника участвовал А. И. Опульский. Воспоминания И. Токутоми перевел М. Моригава, воспоминания П. Буайе — Н. Ржевская, воспоминания Э. Моода — П. Палиевский.

ПРЕДИСЛОВИЕ

1

С того времени, как Толстой вошел в русскую и мировую литературу, и до наших дней не затухает острая идейная борьба, вызванная тем, что представители различных общественных классов, групп, партий по-разному относились и относятся к личности и творчеству великого писателя. Спор шел и идет о том, что принимать и что отвергать в наследии Толстого. Спорили и спорят о том, кому служили и служат его книги.

Конечно, далеко не все авторы, пишущие о Толстом, с такой прямоотой и откровенностью говорят о существовании этих споров. Более того, многие из них как раз об этом и не говорят, а стараются уверить читателей в своей полнейшей беспристрастности, искренности, в том, что они пишут о Толстом только правду.

Ни об одном другом из великих русских писателей не создано столько легенд и не написано столько неправды, сколько о Толстом.

Кроме Толстого, столь разноречивое отношение вызывал, быть может, только Гоголь, к творчеству которого, по словам Белинского, «никто не был равнодушен: его или любили восторженно, или ненавидели»¹.

Страстный протестант и обличитель буржуазно-помещичьего строя, самодержавия, казенной церкви, всей идеологии и морали эксплуататорского общества, Толстой был страшен господствующим классам. Они боялись Толстого — гениального художника, с громадной силой выразившего настроения широчайших народных масс,

¹ В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., изд. АН СССР, т. VI, стр. 216.

угнетенных капитализмом, их протест и ненависть, горе и отчаяние их стремление смести до основания строй, основанный на угнетении и рабстве, лжи и лицемерии.

Страхась и ненавидя подлинного Толстого,— могучего обличителя всех и всяческих неправд «людоедского» строя, реакционная пресса не прекращала своих нападков на великого писателя.

Такие органы «охранительной» печати, как газеты «Московские ведомости», «Московские церковные ведомости» и им подобные, начиная с 80-х годов открыто призывали к расправе с Толстым, к запрету и уничтожению его произведений. Для них писатель был «исчадием ада», «дьяволом», «антихристом», «еретиком». Он был отлучен от церкви и предан анафеме. Его проклинали с церковных амвонов, как Степана Разина и Емельяна Пугачева. Сжигали те из его книг, в которых находили, как было сказано в «Московских ведомостях», открытую пропаганду «к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя», пропаганду «самого крайнего социализма, перед которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда»¹.

Свои отношения с реакционным лагерем, с охранителями самодержавия и буржуазно-дворянского строя с полной ясностью определил сам Толстой. В годы первой революции в России он открыто заявил в письме к одному из ближайших родственников царя: «Я — человек, отрицающий и осуждающий весь существующий порядок и власть и прямо заявляющий об этом»². Великий художник и мыслитель, давший в своих произведениях «итог всего пережитого русским обществом за весь XIX век»³, он пришел к твердому убеждению в том, что «существующий строй жизни подлежит разрушению», что строй помещичьего и капиталистического насилия, войн и рабства «замениться должен коммунистическим» (68,64).

Из сказанного со всей очевидностью вытекает один вывод: в том, что писали и пишут о Толстом приверженцы и защитники «людоедского» строя, правды не найти, кроме признаний о том, как они ненавидели и боялись писателя, как травили Толстого и преследовали его единомышленников.

Не найдем мы правды и в том, что писали представители либерального лагеря. Буржуазно-либеральная и позднее меньшевистская печать была переполнена статьями, авторы которых безудержно славословили Толстого как «великого богоскателя», «всеобщую

¹ «Московские ведомости», 1892, 22 января.

² Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 76, стр. 32. В дальнейшем все ссылки на это издание, как в статье, так и в примечаниях, даются с указанием лишь тома и страницы.

³ М. Горький, История русской литературы, М. 1939, стр. 295.

совесть», проповедника новой, «чисто человеческой» религии и т. д. Особенно усилились эти мотивы в писаниях либералов в годы, последовавшие за поражением первой революции в России. Их писания о Толстом, указывал Ленин, «хуже, чем обычная обывательщина. Это — принаряживание «слякоти» фальшивыми цветами, способное только ввести в обман людей»¹. Стремясь оправдать свои пораженческие позиции, свой уход от революции, они ухватились за самые слабые, отсталые, реакционные стороны взглядов Толстого, в частности за его учение о непротивлении злу насилем, за «очищенную» от церковных догматов религию и т. д.

С великим усердием славословя Толстого-вероучителя, они и тут фальшивили и лицемерили, ибо, как отмечал Ленин, «русский либерал ни в толстовского бога не верит, ни толстовской критике существующего строя не сочувствует»².

Вслед за либералами, ликвидаторами, героями «оговорочки», как именовал Ленин меньшевиков, взявших под защиту учение о непротивлении злу, он сурово осудил и так называемых «толстовцев», видевших в своем учителе основателя новой веры и старавшихся «превратить в догму как раз самую слабую сторону его учения»³.

Объективную, правдивую оценку Толстого как писателя и мыслителя мы найдем у лучших представителей передовых демократических сил России. В начале творческого пути Толстого его приход в литературу приветствовал вождь революционной демократии Н. Г. Чернышевский. В конце жизненного и творческого пути великого писателя оценку и характеристику его мировоззрения и творчества дал вождь пролетарской социалистической революции В. И. Ленин.

Первая статья Ленина о Толстом была написана спустя пятьдесят один год после первой статьи Чернышевского о ранних произведениях писателя. За эти полвека Толстой прошел гигантский путь. Передовая русская мысль все эти годы упорно отстаивала его творчество от нападков всевозможных «истолкователей», искажавших и опошлявших смысл его произведений, принижавших их значение. Некрасов и Тургенев, Писарев и Стасов, Репин и Станиславский, Короленко и Чехов, Горький и лучшие из шедших за ним писателей-«знаниевцев», а также многие другие представители демократического лагеря писали и говорили о том, чем дорог Толстой народу России, как отразилась русская жизнь в его произведениях, в чем состоит неотразимая сила его искусства.

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 339.

² Там же, т. 15, стр. 180.

³ Там же, стр. 183.

Величайшим признанием исторического значения Толстого явилась ленинская оценка его творчества, как зеркала первой русской революции и как шага вперед в художественном развитии всего человечества.

Ленинская характеристика и оценка взглядов и творчества Толстого служит для нас надежным путеводным компасом при определении идейного смысла и ценности всего написанного о Толстом.

Сказанное имеет отношение не только к критической литературе о писателе, но и к большой мемуарной литературе, ему посвященной.

В десятках и сотнях опубликованных и неопубликованных воспоминаний людей, знавших и по-настоящему ценивших и любивших Толстого, живет правдивая память о нем, сохраняется его образ, свободный от искажений, от клеветнических наветов, от каких-либо приукрашиваний. Такого рода мемуары доносят до потомков живые черты личности великого художника, воспроизводят в нашем представлении его «трудный» характер во всем неповторимом его своеобразии. Со страниц таких воспоминаний на нас смотрит не тихий, отрешенный от жизни благодостный старичок из Ясной Поляны, не умиротворенный праведник и утешитель, а человек, страстно откликавшийся на все «дела века», умевший любить и ненавидеть, смело возвышавший голос протеста против любого зла и любой неправды.

Многие из последователей яснополянского вероучителя упорно не хотели видеть в Толстом непримиримого протестанта, бунтаря и обличителя. Когда писатель умер, «ученики» стали спешно готовить его «жизнеописания», стараясь при этом как можно шире развернуть пропаганду теории непротивления злу, учения о личном самоусовершенствовании, «очищенной» толстовской религии. Они попытались создать и утвердить культ Толстого — вероучителя, аскета и непротивленца.

Предвидя это, Горький с возмущением писал в ноябре 1910 года:

«...теперь начнут «творить легенду», и это будет противно, будет вредно для страны. Не святой он, а человек, который даже и нам, несогласным с ним, был и ближе и дороже бога, был милее и понятней всех святых. Дивная гордость наша, колокол правды, на весь мир гремевший,— замолк!»¹

Своими опасениями Горький поделился с В. И. Лениным, который писал ему в начале января 1911 года:

¹ М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 29, стр. 135.

«Насчет Толстого вполне разделяю Ваше мнение, что лицемеры и жулики из него святого будут делать»¹.

Ленин и Горький с непримиримой резкостью выступали против попыток последователей Толстого окружить его имя ореолом «святости». Горький зло высмеивал биографов Толстого, пытавшихся представить его жизнь как «житие иже во святых отца нашего боярина Льва». В противовес этим фарисейским попыткам, принижавшим значение как гениальной личности писателя, так и исторического смысла его деятельности, Горький называл Льва Толстого «душой нации, гением народа»². Откликаясь на его кончину, Горький писал:

«Отошла в область былого душа великая, душа, объявляющая собою всю Русь, все русское,— о ком, кроме Толстого Льва, можно это сказать?»³

Горький нашел незабываемо сильные слова для того, чтобы выразить свою любовь к Толстому, свою гордость тем, что он был его современником. И в то же время он неустанно протестовал против «иконной» литературы о Толстом. «Я не хочу видеть Толстого святым,— говорил он,— да пребудет грешником, близким сердцу насквозь грешного мира, навсегда близким сердцу каждого из нас».

И такой образ Толстого, действительно «навсегда близкий сердцу каждого из нас», Горький дал в своем знаменитом очерке «Лев Толстой», впервые опубликованном в 1919 году.

Известно, какое впечатление произвели на Ленина горьковские воспоминания о Толстом. Владимир Ильич говорил Горькому:

«Только сегодня ночью прочитал вашу книжку о Толстом.

— Какая глыба, а? Какой матерый человечеще! Вот это, батенька, художник...»⁴

Ленин нашел в горьковской книжке замечательное подтверждение своей характеристики и оценки Толстого как художника и мыслителя.

«Может быть,— говорит Луначарский,— никто так хорошо не дал живого портрета Толстого, как Максим Горький, который с чуткостью большого художника сумел восстановить не елейного старца вроде «господа бога — отца», а подлинного Толстого, кипящего страстью...»⁵

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 34, стр. 383.

² М. Горький, Собр. соч., т. 29, стр. 137.

³ Там же, стр. 139.

⁴ Там же, т. 17, стр. 38—39.

⁵ А. В. Луначарский, Классики русской литературы, М. 1937, стр. 349.

«Заметки» Горького передают портрет живого Толстого со всеми его светотенями, рисуют и крупные и едва заметные черты его облика, выразившиеся в «интонации... трепете лица, в игре и блеске глаз».

Как ни одному другому из мемуаристов, Горькому удалось выразить многогранность и многоликость образа Толстого, показать его мудрым и по-детски наивным, глубокомыслящим и отрицающим разум, религиозным и атеистом, простым, очень демократичным и аристократом «чистых кровей», мягким и нетерпимым, всю жизнь посвятившим искусству и «отрицавшим» его. Никакой перечень не вместит всех граней живого Толстого, запечатленного в портрете, созданном Горьким.

В свое время реакционная критика сделала попытку опорочить Горького, страстно боровшегося против фальсификации облика Толстого. В буржуазной печати немало говорилось о том, что Горький «разоблачает» Толстого, принижает его, относится к нему неуважительно и враждебно.

В «Письме», явившемся откликом на уход Толстого из Ясной Поляны, выражая свое подлинное отношение к великому писателю, Горький решительно отверг подобные наветы: «Не хуже других известно мне, что нет человека более достойного имени гения, более сложного, противоречивого и во всем прекрасного, да, да, во всем. Прекрасного в каком-то особом смысле, широком, неуловимом словами, в нем есть нечто, всегда возбуждавшее у меня желание кричать всем и каждому: смотрите, какой удивительный человек живет на земле!»

И тут же Горький мужественно и сурово говорит о тех сторонах Толстого, которые были ему совершенно чужды и «опрокидывались на душу угнетающей тяжестью», о его «рассудочно-религиозных домыслах».

Слабые, ошибочные, реакционные стороны мировоззрения Толстого, которые Горький критиковал с ленинской непримиримостью, были, по его убеждению, рождены не только «личными муками гения», но прежде всего «старой историей России».

Очерк Горького «Лев Толстой» явился новым словом в мемуарной литературе о великом писателе.

2

В письме к В. Г. Короленко, включенном в очерк о Толстом, Горький выразил сожаление по поводу того, что люди, окружавшие Толстого, недостаточно бережно хранили свои записи о встречах и беседах с ним и вообще мало записывали. Горький пишет:

«Однажды А. П. Чехов.. пожаловался:

— Вот за Гете каждое слово записывали, а мысли Толстого теряются в воздухе. Это, батенька, нестерпимо по-русски. После схватятся за ум, начнут писать воспоминания и — наврут».

Чехов, как видно, не очень доверял мемуаристам, писавшим воспоминания по памяти, и очень сожалел, что у Толстого не было своего летописца, который бы день за днем записывал беседы с ним, как это делал И. Эккерман — секретарь Гете.

Однако в последние годы жизни и у Толстого появились свои летописцы. В год смерти Чехова в Ясной Поляне поселился доктор Д. П. Маковицкий. Исполняя обязанности домашнего врача, он в то же время вел дневник, в котором ежедневно в течение шести лет записывал все, что видел и слышал в Ясной Поляне. Его «Яснополянские записки» составляют в рукописи около двухсот печатных листов.

С 1906 года секретари — сначала В. А. Лебрен, после него — Н. Н. Гусев, затем В. Ф. Булгаков, помогая Толстому в его большой переписке и в литературной работе, также вели дневники, записывали то, что слышали от него¹.

В этот круг летописцев Толстого вошли также пианист А. Б. Гольденвейзер, дневник которого «Вблизи Толстого» охватывает пятнадцать лет², В. Г. Чертков — один из виднейших пропагандистов «толстовства».

Ревностные почитатели Толстого, полностью тогда разделявшие его взгляды, они стремились записывать каждое его слово, не отделяя важное и значительное от второстепенного, спорного, сказанного мимоходом и не выражавшего подлинного отношения писателя к тому или иному явлению. По этому поводу Толстой записал в дневнике от 25 августа 1909 года:

«Очень прошу моих друзей, собирающих мои записки, письма, записывающих мои слова, не приписывать никакого значения тому, что мною сознательно не отдано в печать... Всякий человек бывает слаб и высказывает прямо глупости, а их запишут и потом носятся с ними, как с самым важным авторитетом» (57, 124).

¹ В. Лебрен, Толстой (Воспоминания и думы), изд. «Посредник», М. 1914; Н. Н. Гусев, Два года с Л. Н. Толстым. Воспоминания и дневник бывшего секретаря Л. Н. Толстого. Первое издание вышло в 1912 году; второе, значительно исправленное и дополненное — в 1928 году; В. Ф. Булгаков, Лев Толстой в последний год его жизни. Первое издание вышло в 1911 году, последующие — в 1918, 1920, 1957 и 1960 годах.

² А. Б. Гольденвейзер, Вблизи Толстого, т. 1, М. 1922 (1-е изд.); М. 1959 (2-е изд.); т. 2, М. 1923.

Это очень важное заявление писателя, с которым следует считаться при оценке мемуарной литературы, посвященной Толстому. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, «Вблизи Толстого» А. Б. Гольденвейзера, дневники Н. Н. Гусева и В. Ф. Булгакова, записи В. Г. Черткова, П. А. Сергеевко и других содержат, с одной стороны, драгоценные свидетельства, касающиеся общественно-политических, литературно-эстетических и иных взглядов Толстого, с другой стороны, заключают в себе множество таких его суждений, которые высказывались писателем под влиянием момента и не выражали его подлинных убеждений.

Известно, что записи разговоров с Гете, сделанные И. Эккерманом, прочитывались и редактировались самим Гете. А люди, которых мы назвали летописцами Толстого, вели свои записки втайне от него. Например, Д. П. Маковицкий во время бесед с Толстым стенографически делал заметки на листках картона, которые он держал в кармане, стараясь, чтобы Толстой этого не заметил. В ночные часы Маковицкий расшифровывал сделанные за день карандашные заметки. В подобных записях живое слово Толстого выступает во всей его непосредственности, не претерпев ни малейшей обработки и отшлифовки, но в то же время, когда читаешь рукописи «Яснополянских записок», убеждаешься, что в них действительно попало многое из того, что, по признанию самого Толстого, было им сказано «необдуманно, под впечатлением минуты».

Доктор Д. П. Маковицкий, секретари писателя, а также его друзья В. Г. Чертков, А. Б. Гольденвейзер и другие явились летописцами позднего Толстого. Их дневники и воспоминания касаются, главным образом, последних лет жизни и творчества писателя. Значительно больший период жизни и деятельности Толстого отражен в дневниках и мемуарах членов его семьи.

Из всех семей известных русских писателей семья Л. Н. Толстого была не только одной из самых многочисленных, но и, пожалуй, больше других была причастна к литературе. Жена Толстого, Софья Андреевна, с 1860 по 1910 год вела дневники¹ и, кроме того, с 1893 года составляла так называемые «ежедневники». Сохранилась рукопись книги Софьи Андреевны «Моя жизнь»; некоторые ее рассказы для детей и статьи были опубликованы в периодической печати.

Сестра Софьи Андреевны, Т. А. Кузминская,— автор известной книги «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Воспоминания». В ней

¹ С. А. Толстая, Дневники. 1860—1910. Части 1—4, М. 1928—1936. К 1-й части приложены различные материалы, из которых наибольший интерес представляют «Мои записки разные для справок».

дана живая и правдивая картина яснополянской жизни тех лет, когда Толстой работал над «Войной и миром»¹. Т. А. Кузминская была способным беллетристом, и некоторые из ее рассказов Толстой охотно редактировал и направлял в журналы для напечатания.

Одну из лучших мемуарных книг о Толстом, «Очерки былого», написал его старший сын, Сергей Львович. Хотя главное место в книге занимает описание жизни Толстого в 80—90-е годы, но в ней много страниц отведено и более ранним годам. Большой раздел в «Очерках былого» посвящен описанию встреч и взаимоотношений Толстого с современниками — И. С. Тургеневым, А. А. Фетом, И. Е. Репиным и др.²

С. Л. Толстой много пишет о характере отца, о его привычках, обычаях, пристрастиях, о его отношениях с близкими, знакомыми, с людьми разного общественного положения.

Значительный интерес представляет книга второго сына Толстого, Ильи Львовича, «Мои воспоминания», освещающая жизнь писателя, начиная с 70-х годов прошлого века³.

Старшей дочери писателя, Т. Л. Сухотиной, принадлежит книга «Друзья и гости Ясной Поляны», содержащая очерки об И. С. Тургеневе, Н. Н. Ге и других яснополянских гостях и друзьях — давних знакомых Толстого⁴. В 1950 году в Париже был издан ее дневник в переводе на французский язык.

Из других членов семьи и родственников Толстого, оставивших свои воспоминания о нем, нужно назвать двоюродную тетку писателя, А. А. Толстую, племянницу Е. В. Оболенскую, внуку А. И. Толстую-Попову.

Большая часть дневников и воспоминаний, принадлежащих членам семьи Толстого, представляет несомненную ценность.

Главное место в них, естественно, занимают взаимоотношения писателя с семьей, его частная жизнь. Но в них содержатся также сведения, касающиеся творческой истории многих его выдающихся произведений, его педагогической и другой общественной деятельности.

Пожалуй, никто лучше «семейных» мемуаристов не смог бы воспроизвести ту деятельную творческую атмосферу, которая неиз-

¹ Последнее издание этой книги вышло в 1958 году в Туле. В 1908 году была издана книжка Т. А. Кузминской «Воспоминания о графе Л. Н. Толстом в 60-х годах».

² Последнее издание книги С. Л. Толстого «Очерки былого» выпущено Гослитиздатом в 1957 году.

³ И. Л. Толстой, Мои воспоминания, изд. 2-е, значительно дополненное, «Мир», М. 1933.

⁴ Т. Л. Сухотина-Толстая, Друзья и гости Ясной Поляны. 1878—1910. «Колос», М. 1923.

менно создавалась вокруг писателя в Ясной Поляне или в его московском доме. Никто лучше них не рассказал и не мог рассказать не только о друзьях и частых гостях, но и о бесконечной веренице посетителей, искавших встреч и бесед с Толстым.

Самый большой раздел мемуарной литературы о Толстом составляют воспоминания того круга людей, в который входили выдающиеся писатели, художники, ученые, композиторы, музыканты, режиссеры, актеры и другие деятели культуры. Их перечень так велик, что без всякого преувеличения можно говорить о личных связях Толстого едва ли не со всеми лучшими представителями русской литературы и искусства второй половины XIX и начала XX века и со многими замечательными учеными этих лет.

Их беседы с Толстым касались не только вопросов искусства и литературы, но и важнейших событий эпохи. В своих воспоминаниях и письмах они приводят многочисленные высказывания Толстого о народе, о его отношении к современному общественному устройству, высказывания, раскрывающие его взгляды на религию, на брак и семью. Они приводят интереснейшие разговоры с Толстым на «злобу дня», свидетельствующие о никогда не затухавшем внимании писателя к тому, что в тот или иной период русской жизни волновало его современников, о новых художественных произведениях, о писательском мастерстве, об опыте писателей-классиков, о творческом опыте самого Толстого.

Круг писателей и художников, находившихся в личном общении с Толстым, далеко не ограничивался лишь теми, кто оставил крупный след в литературе и искусстве. К нему тянулись, искали у него поддержки и помощи многие начинающие литераторы и художники, выходцы из народных низов. К ним Толстой был особенно внимателен и приветлив. Их воспоминания (например, книжка писателя-крестьянина С. Т. Семенова) рисуют Толстого как мудрого наставника начинающих литераторов, связывавшего с их приходом в искусство большие надежды и ожидания.

Особый раздел мемуарной литературы о Толстом представляют воспоминания учителей и учеников Яснополянской школы, открытой Толстым для крестьянских детей, а также воспоминания яснополянских крестьян и других «простых» людей, с которыми Толстой так долго и упорно искал сближения и наконец нашел его, открыто объявив себя «адвокатом стомиллионного земледельческого народа».

Много любопытного узнает читатель из воспоминаний о встречах с Толстым людей, которые были в ту пору «слугами закона», — таких, например, как тюремные смотрители и надзиратели. К ним писатель обращался, изучая тюремные порядки в связи с работой над романом «Воскресение».

Отдельную группу мемуаров, помещенных в нашей книге, составляют воспоминания иностранцев — немецкого биографа Толстого Р. Левенфельда, английского биографа и переводчика произведений Толстого Э. Моода, французского переводчика Толстого П. Буайе и других. Встречаясь с Толстым, они поражались тому, как хорошо знал он европейскую культуру, как внимательно следил за развитием европейской литературы и каким был ревностным пропагандистом сближения и единения народов.

В предлагаемой вниманию читателей книге публикуются материалы, принадлежащие перу нескольких десятков авторов. В ней звучат голоса самых разных людей, с которыми Толстой общался на протяжении своей долгой жизни, голоса не только прославленных писателей, художников, артистов, ученых, но и самых незаметных, скромных людей — крестьян, слуг, школьных учителей и других представителей того «большого света», того «народного моря», к гулу которого Толстой всю свою жизнь прислушивался с особым вниманием. В книге звучат голоса людей, близко знавших Толстого, в том числе и тех, кто многие годы прожил с ним в одном доме, и людей, встречавшихся с ним всего один или несколько раз.

При всей несхожести жизненного положения и судеб авторов есть у них одна общая, объединяющая и сближающая их черта — все они были не только современниками Толстого, но видели и слышали его лично, общались с ним, и их рассказы воспринимаются нами как живые, волнующие свидетельства. Дополняя друг друга, иногда диссонируя и противореча друг другу, они создают в своей совокупности представление о человеке, великим именем которого гордилась и всегда будет гордиться наша родина.

3

Всего менее освещены мемуаристами детство, отрочество и юность писателя. словно предвидя этот «пробел», Толстой в конце 70-х годов написал свои «Первые воспоминания», которые должны были стать началом его автобиографии — «Моя жизнь». В 1903—1905 годах, желая помочь своему биографу П. И. Бирюкову, он работал над «Воспоминаниями».

Этой же цели служат «Материалы к биографии Л. Н. Толстого и сведения о семействе Толстых», написанные женой писателя. В них, как и в воспоминаниях самого Толстого, освещена не только внешняя сторона его жизни в детские и юношеские годы, но и рассказано о рано пробудившихся в нем духовных интересах, о его первых художественных впечатлениях и увлечениях.

В «Материалах к биографии Л. Н. Толстого» сказано: «...всему, чему он в жизни выучился,— он выучился сам, вдруг, быстро, усиленным трудом».

«Студенческая жизнь Льва Николаевича мало представляет интересного»,— подчеркивает С. А. Толстая. И, однако, отмеченные ею события: работа студента Толстого над философской статьей и над сравнением «Наказа» Екатерины II с книгой французского просветителя Монтескье «Дух законов» свидетельствуют о напряженной духовной жизни будущего писателя, о его интересе к сложнейшим общественным проблемам.

Философская статья Толстого, удивившая его товарищей по Казанскому университету глубиной и тонкостью суждений, не сохранилась, а разбор «Наказа» Екатерины II дошел до нас и поражает резкой и смелой критикой самодержавия.

Воспоминания В. Назарьева «Жизнь и люди былого времени»— едва ли не первые по времени мемуары, в которых запечатлен молодой Толстой, «кипящий страстью», резко критикующий рутину тогдашней университетской науки и в особенности преподавание истории, состоявшее в механическом преподнесении дат рождения и смерти князей и царей.

В 1851 году, вместе со старшим братом-офицером. Толстой приехал на Кавказ.

На Кавказе происходит рождение Толстого как писателя. Здесь в 1852 году он написал свое первое законченное произведение— повесть «Детство».

О кавказском периоде жизни Толстого до нас дошло очень немного воспоминаний. К тому же часть из них написана в более поздние годы. Так, писатель В. Гиляровский уже после смерти Толстого разыскал на Кавказе старика казака К. Г. Синюхаева, поведавшего много интересного о том, как жил молодой Толстой в станице Старогладковской.

Слабо освещен мемуаристами и следующий— севастопольский— период жизни Толстого. О том, что он здесь увидел и пережил, мы знаем из его знаменитых «Севастопольских рассказов», дневников и писем к родным. Однако некоторые из севастопольских соратников Толстого оставили свои воспоминания. Они пишут о Толстом как о храбром офицере и хорошем товарище. «Он,— рассказывает Ю. И. Одаховский,— не был горд, а доступен, жил как хороший товарищ с офицерами, но с начальством вечно находился в оппозиции».

Из Севастополя Толстой приехал в Петербург и впервые встретился с писателями, объединявшимися вокруг лучшего, передового

журнала эпохи — «Современник», основанного в 1836 году Пушкиным, а в 1850-е гг. руководимый Некрасовым.

Петербургский период жизни Толстого описывается целым рядом мемуаристов — Д. В. Григоровичем, А. А. Фетом, А. В. Дружининым и др. Этот период оставил богатейшие следы в переписке Толстого.

Молодой Толстой сразу вошел в круг лучших русских писателей как равный, как художник первой величины.

Толстой еще находился в осажденном Севастополе, когда Некрасов обратился к нему с волнующими словами: «Я не знаю писателя теперь, который бы так заставлял любить себя и так горячо себе сочувствовать, как тот, к которому пишу...»¹

Прибыв в ноябре 1855 года в Петербург, Толстой остановился на квартире Тургенева. Последний давно искал встречи с Толстым и был очень рад своему гостю. «...Вот уже более двух недель как у меня живет Толстой (Л. Н. Т.)...— писал Тургенев Анненкову 9 декабря 1855 года.— Вы не можете себе представить, что это за милый и замечательный человек — хоть он за дикую ревность и упорство буйволообразное получил от меня название Троглодита. Я его полюбил каким-то странным чувством, похожим на отеческое»².

Однако уже в первые недели петербургской жизни Толстого в его отношениях с Тургеневым появилась напряженность, возникло чувство отчужденности, все чаще и чаще вспыхивали ссоры. В дневнике Толстого, в его переписке с Тургеневым³ история их «вражды», едва не закончившейся дуэлью, оставила заметные следы. О ней много говорят в своих воспоминаниях Д. В. Григорович, А. А. Фет, С. Л. Толстой. В воспоминаниях С. А. Толстой этой истории, тяготившей обоих писателей, посвящена глава «Примирение с Тургеневым».

Живя в Петербурге, Толстой познакомился также с Н. А. Некрасовым, И. А. Гончаровым, А. Н. Островским, Н. Г. Чернышевским, М. Е. Салтыковым-Щедринным, А. Ф. Писемским и многими другими писателями. По-разному сложились его отношения с каждым из названных литераторов. Но все они понимали, что с Толстым пришла в русскую литературу новая и очень большая сила.

Познакомившись с произведениями молодого Толстого, А. Ф. Писемский сказал с присущей ему грубоватой шутливостью: «Этот офицеришка всех нас заcludes». Наиболее дальновидные из стар-

¹ Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч., т. X, М. 1952, стр. 241.

² И. С. Тургенев, Собр. соч., т. 12, М. 1958, стр. 197.

³ «Толстой и Тургенев. Переписка», М. 1928.

ших современников Толстого понимали, что ему предстоит совершить большие дела в литературе. О ранних его вещах Н. Г. Чернышевский писал, что они «только залогов того, что совершит он впоследствии, но как богаты и прекрасны эти залого!»¹

Скоро к впечатлениям, полученным Толстым от столичной жизни, прибавились заграничные впечатления. В первый раз он поехал за границу в 1857 году. Писатель посетил тогда Францию, Швейцарию, Италию и Германию. Он надеялся увидеть в странах Западной Европы, в отличие от крепостнической России, социальную свободу и всеобщее довольство людей, а увидел жестокую власть «чистогана», бессердечие и тупоумие «господ» и не менее жестокое угнетение народа.

Во время второго заграничного путешествия, предпринятого в 1860—1861 годах, Толстой познакомился с Англией. Более полутора месяцев он провел в Лондоне, где встретился с Герценом, и за все время пребывания в английской столице виделся с ним «почти каждый день, и были разговоры всякие и интересные» (75, 71).

Встречи и долгие беседы с Герценом запомнились Толстому на всю жизнь.

Еще в 1859 году Толстой открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детей. По возвращении из-за границы он со всей страстью отдался обучению крестьянских ребят.

«Вы знаете, верно, мое занятие школами с прошлого года,— писал он А. А. Толстой.— Совершенно искренно могу сказать, что это теперь один интерес, который привязывает меня к жизни» (60, 362).

В. С. Морозов вспоминает: «Времени и охоты у Льва Николаевича хватало с нами на все. Учились, играли, веселились, беседовали, полуноничали, по Заказу и лесам гуляли. Но при этом занятие было серьезно. Он (Толстой.— К. Л.) как бы доставал что-то глубокое в душе ученика».

Из воспоминаний бывших учителей и учеников Яснополянской школы (П. Морозова, Н. Петерсона, В. Морозова) читатель почерпнет живое представление о Толстом-педагоге, видном деятеле народного просвещения в России, о своеобразии созданной Толстым школы и его педагогической системе.

В педагогической теории и практике Толстого были свои сильные и слабые стороны. Но главное состоит в том, что, как писала Н. К. Крупская, «для Толстого педагогика не была мертвой, застывшей доктриной. Для него она была живым делом, сложным и развивающимся. Допустим, что Толстой неправильно решал тот или

¹ «Л. Н. Толстой в русской критике», М. 1952, стр. 105.

иной вопрос, но он ставил его не как узкий специалист, а как гражданин земли родной...»¹

Материалы о Толстом — мировом посреднике — содержат воспоминания бывшего управляющего именем генерала Костомарова, скрывшегося под инициалами «Л. Т.». Он рассказывает о дикой ненависти всего окрестного дворянства к Толстому, решавшему все спорные дела в пользу крестьян.

Дальнейший период жизни Толстого — пора создания «Войны и мира» — почти не нашел отражения в мемуарной литературе. Толстой вел тогда очень замкнутый, уединенный образ жизни, весь сосредоточившись в работе над романом, занявшим более шести лет «непрестанного и исключительного труда при наилучших условиях жизни».

Немногие, но ценные сведения о том, как жил и работал Толстой в период создания «Войны и мира», содержатся в некоторых записях жены писателя и воспоминаниях ее брата, С. А. Берса. По ним можно составить представление о яснополянском быте 60-х годов, об атмосфере сосредоточенной творческой работы, поглощавшей всего Толстого.

«Левочка всю зиму раздраженно, со слезами и волнением пишет» — одна подобная строчка из дневниковой записи Софьи Андреевны за 12 января 1867 года стоит многих страниц иных мемуаров о Толстом, ярко освещая атмосферу громадного напряжения, в которой протекала работа над «Войной и миром».

Жизнь и деятельность Толстого 70-х годов освещена мемуарами значительно подробнее, чем его жизнь и труды предшествующих десятилетий.

По воспоминаниям близких Толстого и людей, часто соприкасавшихся с ним, можно видеть, как подготавливался перелом в мировоззрении писателя, как менялись его взгляды на общественную жизнь, на искусство.

Мемуаристы много рассказывают о прогулках Толстого по Киевскому шоссе, проходившему вблизи Ясной Поляны, которые он называл своим «университетом». Здесь Толстой встречал десятки простых людей — крестьян, сезонных рабочих, странников, нищих и т. д. — и вел с ними долгие душевные беседы. «Знание быта рабочего народа, — пишет С. Л. Толстой, — народного языка, местных наречий, северного, поволжского, украинского, многих поговорок и пословиц — все это отец приобрел на шоссе». Толстой стремился приобрести не только знание языка и быта простого народа, но

¹ Н. К. Крупская, Вопросы народного образования, М.—Пгр. 1918, стр. 223, 224.

постичь его взгляды на жизнь, его мысли и чувства, его религиозные и нравственные убеждения, его надежды и настроения.

В 1881 году Толстой с семьей переехал из Ясной Поляны в Москву. Тогда же он, озабоченный бедственным положением народа, принял участие в переписи московского населения, выбрав один из районов, прилегавших к Смоленской площади. Перед ним раскрылись картины городской нищеты, не менее страшные и унижительные, чем деревенская бедность, с которой писатель был хорошо знаком. И. Л. Толстой, сопровождавший отца, рассказывает, какое гнетущее впечатление оставило у Толстого все увиденное им.

Писателю все яснее становилась связь между скоплением богатства в руках господствующих классов и быстрым ростом обнищания трудящегося народа.

Творческая и общественная деятельность Толстого после пережитого им идейного переворота отличалась большой напряженностью. Им были написаны такие шедевры, как «Смерть Ивана Ильича», «Крейцера соната», пьесы «Власть тьмы», «Плоды просвещения», трактаты «Так что же нам делать?», «Рабство нашего времени», и многое другое. Его жизнь последних десятилетий полна мучительных поисков ответов на самые болезненные, самые проклятые вопросы своего времени, которые он ставил со всей присущей ему прямоотой и мужеством.

Сохранилось много свидетельств современников об этой поре жизни и деятельности Толстого.

В августе 1887 года Ясную Поляну посетил художник И. Е. Репин, познакомившийся с Толстым еще в 1880 году. Зимой 1892 года Репин горячо откликнулся на призыв Толстого помочь пострадавшим от неурожая крестьянам. Он живо и красочно описал свою поездку с Толстым в голодавшие деревни. В воспоминаниях И. Репина, В. Величкиной, В. И. Скороходова, членов семьи писателя правдиво освещена замечательная деятельность Толстого на голоде, снискавшая ему признание тысяч людей и ненависть правящей клики.

В. Величкина с большим волнением рассказывает о самоотверженном труде Толстого во имя спасения русского «земледельческого народа» от голодной смерти, о том, как толпы возбужденных крестьян собирались в деревнях, где были открыты Толстым столовые для голодающих, для того чтобы защитить писателя, которого, по слухам, царские власти намеревались арестовать.

«Надо,— писал в 1891 году Чехов,— иметь смелость и авторитет Толстого, чтобы идти наперекор всяким запрещениям и настроениям и делать то, что велит долг»¹.

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 15, стр. 283.

В своих статьях о голоде Толстой сурово обличал правящие классы за их полное равнодушие к народной беде. Эти и другие статьи Толстого 90-х годов полны предчувствия надвигающейся «развязки», ожидания больших перемен в жизни России.

События начала 900-х годов показывали, что давно ожидавшаяся Толстым «развязка» стремительно близилась. Волны рабочих стачек, забастовок, демонстраций, крестьянских «бунтов», студенческих «беспорядков» свидетельствовали о том, что в России быстро назревала революция.

С обострением общественно-политического кризиса в стране Толстой становится все более резким и суровым критиком и обличителем буржуазно-помещичьего строя.

Царские опричники, аристократическая знать, финансовые и промышленные «тузы», церковники во главе с обер-прокурором святейшего синода Победоносцевым ненавидели и боялись Толстого. Вот что писал тогда в своем дневнике реакционный журналист А. С. Суворин:

«Два царя у нас: Николай Второй и Лев Толстой. Кто же из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой несомненно колеблет трон Николая и его династии. Его проклиняют, синод имеет против него свое определение. Толстой отвечает, ответ расходится в рукописях и в заграничных газетах. Попробуй кто тронуть Толстого. Весь мир закричит, и наша администрация поджигает хвост»¹.

Воспоминания современников красочно передают атмосферу общественного возбуждения, вызванного отлучением Толстого от церкви. «Все возбуждены,— пишет о тех днях Х. Н. Абрикосов,— и какой-то подъем духа. Куда ни придешь, все говорят о Толстом».

С поразительной чуткостью Толстой улавливал требования дня и откликался на них. Повстречавшись с ним в 1902 году, Горький сообщал в одном из писем: «Лев Николаевич... пишет статью по земельному вопросу, а? Экая силища, экое изумительное понимание запросов дня!»²

В эти же годы со всей силой раскрылась противоречивость взглядов Толстого, обнаружилась его неспособность понять историческое значение нового общественного класса — пролетариата.

Толстой был потрясен известием о расстреле рабочей демонстрации в Петербурге 9 января 1905 года. Его, как пишет Д. П. Маковицкий, «ранили в сердце» известия об избиениях и расстрелах

¹ «Дневник А. С. Суворина», М.—Пгр. 1923, стр. 263 (запись 29 мая 1901 года).

² «Архив А. М. Горького», т. IV, М. 1954, стр. 89.

рабочих демонстраций в Москве, Туле и других городах. Один из посетителей-иностранцев рассказывал в Ясной Поляне, что царь был «огорчен» расстрелом демонстрации. Гость спросил у Толстого, верит ли он этому? Писатель ответил: «Нет, не верю, потому что он лгун».

Тогда же Толстой сказал: «Революция не остановится на том, что добилась конституции». Царский манифест о «свободах» писатель справедливо оценил как пустую бумажку, имеющую целью обмануть народ. «Я прочел манифест, в нем ничего нет для народа», — сказал Толстой.

Сильное впечатление оставляют рассказы С. Т. Семенова, А. П. Сергеевко о последнем приезде Толстого в Москву, о стихийно возникших народных проводах писателя.

Глубокой осенью 1910 года Толстой навсегда покинул Ясную Поляну. Уход Толстого, болезнь, захватившая его в пути, остановка на никому прежде не известной станции Астапово и смерть — сообщения об этих событиях с быстротой молнии облетели весь мир. Множество воспоминаний, статей, писем отражают впечатление, произведенное на современников уходом и смертью великого писателя. «Драма Толстого» заняла в свое время огромное место в периодической печати. Буржуазная пресса всячески раздувала «сенсационную» сторону событий, на все лады перетолковывая различные «заявления», «слухи», строя догадки одна другой крикливее и неправдоподобнее.

Воспоминания людей, близких к Толстому, по-разному освещают последние годы его жизни, по-разному объясняют причины его ухода. Это и не могло быть иначе, если иметь в виду, что вокруг Толстого к концу его жизни образовались два резко враждебных «лагеря», один из которых возглавлял В. Г. Чертков, а другой — С. А. Толстая.

Будучи одним из фанатически убежденных «толстовцев», В. Г. Чертков стремился к тому, чтобы Толстой привел свой образ жизни в полное «соответствие» с его «учением». Не разделяя взглядов своего мужа, С. А. Толстая ревностно сохраняла весь прежний строй жизни в Ясной Поляне.

В дневниках и письмах Толстого, начиная с 80-х годов, появляются признания о его разладе с семьей на почве противоположности взглядов на жизнь, о его глубоких душевных страданиях, вызванных тем, что он, не решаясь покинуть жену и детей, был вынужден вести ненавистную ему «барскую жизнь». В феврале 1882 года Софья Андреевна Толстая с грустью заметила в письме к мужу: «Жизнь наша пошла врозь». А в августе того же года она занесла в свой дневник признание мужа: «Самая страстная мысль его о том, чтобы уйти от семьи».

В мае 1883 года Толстой выдал жене полную доверенность на ведение всех имущественных дел. Одновременно он передал семье право издания своих произведений, опубликованных до 1881 года. Позднее (летом 1892 года) он передал жене и детям по раздельному акту все свои имения, всю принадлежавшую ему недвижимую собственность.

Но и эти меры не избавили Толстого от упреков со стороны его «последователей» и многих других лиц, требовавших от писателя, чтобы он жил «согласно» догмам своего «учения». Л. П. Никифоров записал такой ответ Толстого на эти требования: «Знаю, отлично знаю все это и рвусь всей душой, но вырваться не могу... и знаете ли почему? Потому что боюсь переступить через кровь, через труп, а это так ужасно, что уж лучше влачить до конца эту постылую жизнь».

Первый раз Толстой попытался уйти из Ясной Поляны 17 июня 1884 года. Но чувство любви и жалости к беременной жене и к детям взяло верх, Толстой вернулся домой и продолжал прежнюю жизнь, определив ее выразительной формулой: «вместе — врозь».

За этим последовало еще несколько попыток ухода, которые Толстой так и не решился осуществить. Дневники и письма Толстого 900-х годов говорят о действительно невыносимых условиях, в которых протекал последний период его жизни. Особенно обострилась обстановка в Ясной Поляне в связи с завещанием, которое, по настоянию своих друзей-единомышленников, тайно от семьи Толстой составил летом 1910 года.

В «Дневнике для одного себя» Толстой сделал такие признания: «Чертков вовлек меня в борьбу, и борьба эта очень и тяжела и противна мне» (58, 129). И далее: «От Черткова письмо с упреками и обличениями. Они разрывают меня на части. Иногда думается: уйти ото всех» (58, 138). «Тяжело мне все это», — говорил Толстой.

В. Ф. Булгаков, выполнявший в последний год жизни Толстого обязанности его секретаря, пишет в дневнике об «атмосфере ненависти и злобы», которой был окружен писатель, «так нуждавшийся в покое».

Два «лагеря», враждовавшие между собой из-за завещания, действительно «разрывали на части» Толстого, создали невыносимые для него условия жизни, и нужен был лишь толчок, чтобы он осуществил свой давний замысел ухода из Ясной Поляны.

28 октября 1910 года он уехал с мечтой поселиться среди трудового народа, в простой крестьянской избе, и начать новую жизнь.

По дороге Толстой заехал к своей сестре Марии Николаевне в Шамординский монастырь. Ее дочь, Е. В. Оболенская, описывая эту последнюю встречу Толстого с сестрой, рассказывает, как обсуждался вопрос о его дальнейшем пути. «Когда выбирали марш-

рут,— пишет она,— и кто-то назвал Бессарабию, где были толстовские колонии, Лев Николаевич сказал: «Только ни в какую колонию, ни к каким знакомым, а просто в избу к мужикам».

Письма и дневники писателя свидетельствуют, как уже давно он вынашивал мысль о том, чтобы провести свои последние годы в деревенской обстановке, пожить всегда привлекавшей его крестьянской жизнью. Но этой его мечте не суждено было сбыться.

Многие из мемуаристов, писавшие о «семейной драме» Толстого, не выходили за узко личные, «домашние» рамки событий и склонны были всю вину за случившееся осенью 1910 года возложить лишь на его жену.

А. М. Горький в своей статье «О С. А. Толстой» выступил против такого одностороннего освещения темы ухода и против пристрастно несправедливого отношения авторов ряда мемуаров к жене великого писателя.

Уходя из Ясной Поляны, Толстой порвал не только с женой и детьми, но и со всем «барским» образом жизни, с давно тяготившей его обстановкой, с привычным кругом людей, куда входили и его «последователи».

Включенные в книгу мемуары о последних днях жизни Толстого не раскрывают во всей полноте причин его «ухода». Их интерес состоит в достоверном, почти протокольном описании событий с ночи на 28 октября 1910 года, когда Толстой покинул Ясную Поляну, и до 7 ноября, когда Толстого не стало.

Известие о смерти великого писателя глубоко опечалило всех передовых и честных людей и вызвало отклики во всех странах света.

«Получена телеграмма,— писал Горький из Италии,— и в ней обыкновеннейшими словами сказано — скончался. Это ударило в сердце, заревел я от обиды и тоски».

Смерть Толстого Горький сравнивал со стихийным бедствием, с опустошительным ураганом. Она была народной бедой, одной из тягчайших утрат для всего человечества.

«Да, Толстой — человек — умер,— писал в те дни Горький,— но великий писатель — жив, он всегда с нами... Толстой — бессмертен»¹.

4

Что говорили и писали современники о Толстом-человеке? Какие черты его личности были ими отмечены как наиболее для него характерные? Каким образом оценивались современниками творче-

¹ М. Горький, Собр. соч., т. 29, стр. 151.

ские возможности Толстого, какое впечатление производил он в разные периоды жизни?

Подлинным «крестным отцом» молодого Толстого, смело введшим его в русскую литературу, был Н. А. Некрасов. Вот как описывал он первую встречу с Толстым, в ноябре 1855 года приехавшим в Петербург из героического Севастополя:

«Приехал Л. Н., то есть Толстой, и отвлек меня... Милый, энергический, благородный юноша — сокол!.. а может быть, и — орел. Он показался мне выше своих писаний, а уж и они хороши... Некрасив, но приятнейшее лицо, энергическое, и в то же время мягкость и благодущие: глядит, как гладит. Мне он очень полюбился»¹.

Энергия, сила и в то же время мягкость и добродушие — эти черты личности молодого Толстого были отмечены многими мемуаристами. Так, Б. Н. Чичерин указывает, что в молодом Толстом его привлекало «своеобразное сочетание мягкости и силы». Однако тот же Чичерин «авторитетно» писал о Толстом, что «серьезные умственные интересы были вовсе не его сферою».

Не только для Чичерина, но и для многих других светских и даже литературных знакомых молодого Толстого оставалась скрытой его напряженная внутренняя работа, лучшим свидетельством которой служат его дневники и произведения той поры. Не только Чичерин, а и такие пронизательные люди, как Ф. М. Достоевский, не смогли верно оценить дарование, любознательность и трудолюбие молодого Толстого. В январе 1856 года Достоевский писал А. Н. Майкову: «Л. Т. мне очень нравится, но, по моему мнению, много не напишет (впрочем, может быть, я ошибаюсь)»². Впоследствии Достоевскому пришлось убедиться в том, насколько он ошибся.

Критик П. В. Анненков, наблюдая в середине 50-х годов столичную жизнь Толстого, сообщал Тургеневу:

«Толстой неузнаваем, и путь, который он пробежал в течение лета и осени,— просто огромен... Работа в нем идет страшная, и, признаюсь, этот человек между светящими нашими гнилушками имеет силу действовать на мои нервы»³.

Когда Толстой уехал из Петербурга в Ясную Поляну, И. А. Гончаров писал ему: «Вас и от вас ждут многого, между прочим Кав-

¹ Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. 10, М. 1952, стр. 258—259.

² Ф. М. Достоевский, Письма, I, М. 1928, стр. 167.

³ «Труды Публичной библиотеки СССР имени Ленина», вып. III, М. 1937, стр. 61.

казского романа... Все здесь, вас недостает, и в каждом собрании ваше имя произносится, как на переключке»¹.

Письмо это свидетельствует, что «старая гвардия» русской литературы, к которой принадлежали Гончаров, Тургенев, Некрасов, Григорович и другие писатели, не только признала Толстого за равного, но и возлагала на него большие надежды.

Но путь, которым шел Толстой, был очень трудным и для него самого, и нередко трудности и «кризисы», переживавшиеся Толстым, вызывали у многих из его современников недоумение и осуждение. Толстой смолodu ничего не принимал на веру, подвергал сомнению установившиеся взгляды, выдвигал свои решения «вечных» вопросов и вопросов злободневных, впадал в жесточайшие противоречия, отчаивался и тут же начинал новые поиски.

Страстность, порывистость натуры Толстого, его постоянная устремленность к поискам нового пугали и отталкивали от него тех, кто любил компромиссы, обходил острые углы, страшился нового. «Я довольно часто вижусь с ним,— писал В. П. Боткин в апреле 1859 года,— но так же мало понимаю его, как и прежде. Страстная, причудливая и капризная натура. И притом самая неудобная для жизни с другими людьми. И весь он полон разными сочинениями, теориями и схемами, почти ежедневно изменяющимися. Большая внутренняя работа, похожая на иксионовскую»².

Боткину, Дружинину и другим ревнителям «чистого искусства» пришлось скоро убедиться в том, что им не удастся обратить в свою веру Толстого, смолodu знавшего твердо, что «никакая художническая струя не увольняет от участия в общественной жизни» (47, 95). Толстой не только высказывал это убеждение, но и неуклонно ему следовал.

Шли годы, и с ними все более рос и ширился круг знакомых Толстого.

В 1873 году, в пору работы Толстого над «Анной Карениной», в Ясную Поляну приехал художник И. Н. Крамской.

Писатель произвел на Крамского большое впечатление. В письме к Репину он назвал автора «Войны и мира» удивительным человеком, который «на гения смахивает»³.

¹ «Лев Николаевич Толстой. Сборник статей и материалов», изд. АН СССР, М. 1951, стр. 701. Кавказским романом Гончаров называет повесть «Казачья жизнь», законченную Толстым лишь в 1863 году.

² «В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», М. 1930, стр. 153. Нечестивый царь Иксион был прикован в преисподней к вечно и со страшной быстротой вертящемуся огненному колесу.

³ «Иван Николаевич Крамской, его жизнь, переписка и художественно-критические статьи», СПб. 1888, стр. 207.

В середине 70-х годов Толстой познакомился с П. И. Чайковским. Он сам пришел к композитору и затем встречался с ним несколько раз. «Я ужасно польщен и горд интересом, который ему внушаю,— признавался Чайковский,— и с своей стороны вполне очарован его идеальной личностью»¹.

Позднее Чайковский в простых и сильных словах выразил свое понимание роли Толстого в искусстве:

«Более чем когда-либо я убежден, что величайший из всех когда-либо и где-либо бывших писателей-художников есть Л. Н. Толстой. Его одного достаточно, чтобы русский человек не склонял стыдливо голову, когда перед ним высчитывают все великое, что дала человечеству Европа»².

К концу 70-х годов относится знакомство Толстого с В. В. Стасовым и начало их многолетней дружбы, оборвавшейся лишь со смертью Стасова. Письма Стасова к брату Дмитрию Васильевичу, воспоминания скульптора И. Я. Гинцбурга «Стасов у Л. Н. Толстого» живо рисуют встречи выдающегося критика-демократа и гениального писателя.

Осенью 1880 года Толстой впервые пришел в мастерскую И. Е. Репина. С этой встречи началась их тридцатилетняя дружба.

В воспоминаниях «Из моих общений с Л. Н. Толстым» Репин рассказывает о впечатлении, произведенном на него приходом писателя. В мастерской «все вдруг приняло какой-то заревой тон». Перед глубоко взволнованным художником стоял «деятель по страсти, убежденный проповедник». «Для меня,— признается Репин,— духовная атмосфера Льва Николаевича всегда была обуревающей, захватывающей».

Молодой художник с замиранием сердца слушал Толстого, который тогда окончательно порывал со всеми взглядами, привычками, традициями своей среды. У Репина, по его признанию, «голова шла кругом от его (Толстого.— К. Л.) беспощадных приговоров отжившим формам жизни».

Репин с глубоким вниманием прислушивался к отзывам Толстого о его картинах. Из воспоминаний художника мы узнаем, как Толстой подымал мастеров искусства и литературы на решение больших и новых задач, на поиски новых путей творчества.

В 1886 году впервые посетил Толстого В. Г. Короленко. Он пришел к Толстому в его московский дом. Затем он увидел Толстого в 1902 году в Крыму, где писатель лечился от тяжелой болезни.

¹ М. Чайковский, Жизнь Петра Ильича Чайковского, М. 1900, т. I, стр. 519.

² Сб. «Л. Н. Толстой в русской критике», М. 1952, стр. 54.

Короленко был поражен происшедшей в нем переменой. «Теперьшний Толстой и Толстой, которого я видел тринадцать лет назад,— писал Короленко,— два разных человека. И, между прочим, от «непротivления» едва ли остались и следы».

Толстой тогда был очень болен и слаб; врачи опасались за его жизнь. Тем больше поразила Короленко сила и бодрость духа, громадная духовная энергия Толстого. «Тело умирает, а ум горит пламенем!» Короленко услышал от Толстого много интересного, нового, неожиданного.

Встретившись с Толстым в третий и последний раз за три месяца до его смерти, Короленко «опять слышал от него новое, неожиданное, порой загадочное».

Из этих трех встреч с Толстым, каждая из которых приносила новые впечатления, Короленко составил себе «яркий образ крупного, замечательного человека», «человека, идущего куда-то бодро и без усталости». Разновременные и разнохарактерные впечатления от Толстого в итоге слились у него «в один образ великой человеческой личности».

Толстой обладал удивительным даром угадывать талант в людях. Его первая встреча с К. С. Станиславским — одно из многих тому доказательств. Толстой просил молодого режиссера постараться освободить драму «Власть тьмы» от цензурного запрета и поставить ее. Поручая ему разработать план постановки, он скромно добавил: «А я обработаю по вашему указанию». Постоянная готовность поучиться у знающих людей, уважение к их опыту — одна из привлекательнейших черт Толстого.

Станиславский нашел сильные, проникновенные слова для того, чтобы сказать, как много значил Толстой для поколения передовой русской художественной интеллигенции, вошедшей в искусство и литературу в начале 90-х годов прошлого века. «При жизни его мы говорили: «Какое счастье жить в одно время с Толстым!» А когда становилось плохо на душе или в жизни... мы утешали себя мыслью, что там, в Ясной Поляне, живет он — Лев Толстой! И снова хотелось жить».

Чехов впервые был у Толстого в Ясной Поляне летом 1895 года. Письмо его об этой встрече проникнуто светлым, бодрым настроением. «Впечатление чудесное,— пишет Чехов.— Я чувствовал себя легко, как дома, и разговоры наши с Львом Николаевичем были легки»¹. «Я ни одного человека не любил так, как его»², — признавался Чехов.

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, М. 1949, т. 16, стр. 271.

² Там же, т. 18, стр. 312.

Чехов понимал, что на его современниках лежит задача запечатлеть на века правдивый образ Толстого, показать его таким, каким он был в действительности. Но решить эту задачу пришлось уже не Чехову, умершему на шесть лет раньше Толстого, а другому их современнику — А. М. Горькому.

Чехов очень хотел, чтобы Толстой познакомился с Горьким, который тогда блистательно начинал свой путь в литературе. В апреле 1899 года Чехов писал Горькому о своем посещении Толстого: «...он очень хвалил Вас, сказал, что Вы «замечательный писатель»... Толстой долго расспрашивал о Вас. Вы возбуждаете в нем любопытство. Он, видимо, растроган»¹.

Тогда же Горький писал жене о том, как настойчиво Чехов советует побывать у Толстого, «говоря, что я увижу нечто неожиданно огромное»².

В середине января 1900 года Горький посетил хамовнический дом.

Он произвел на Толстого самое благоприятное впечатление, хотя автор «Войны и мира» и «Воскресения» и «не пощадил» молодого писателя, подвергнув жесточайшей критике некоторые из его ранних рассказов.

В дневнике Толстого 16 января 1900 года появилась запись: «Был Горький. Очень хорошо говорили. И он мне понравился. Настоящий человек из народа» (54, 8).

Позднее в дневниках и письмах Толстого, в свидетельствах меуаристов появится много самых различных оценок Горького и его произведений. Но представление о Горьком как о художнике, вышедшем из народных низов, как о подлинно народном писателе Толстой никогда не менял.

Провожая Горького после первой встречи, Толстой обнял его, поцеловал и сказал:

«Вы — настоящий мужик! Вам будет трудно среди писателей, но вы ничего не бойтесь, говорите всегда так, как чувствуете, выйдет грубо — ничего! Умные люди поймут».

В октябре 1900 года Горький ездил в Ясную Поляну и, как он тогда же писал Чехову, «увез оттуда огромную кучу впечатлений».

Подобно Короленко, Горький был поражен «окружением» Толстого. В письме к Чехову он ярко описал нескольких «толстовцев», произведших на него отталкивающее впечатление своей неискренностью, явным притворством и ханжеством.

¹ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, М. 1949, т. 18, стр. 138—139.

² М. Горький, Собр. соч., т. 28, М. 1954, стр. 71.

В 1901 году заболевшего Толстого увезли в Крым. Горький жил тогда в Олензе и часто бывал в Гаспре, где лечился Толстой. Частые встречи и беседы с ним дали Горькому материал для «Заметок», из которых впоследствии составились его знаменитые воспоминания о Толстом.

Вслед за Горьким знакомятся с Толстым писатели-«знаниевцы» — Куприн и Вересаев, произведения которых привлекли внимание Толстого, пристально следившего за всем новым, что появлялось в литературе. В их воспоминаниях о встречах с Толстым есть интересные штрихи, дополняющие и развивающие горьковские «Заметки» о великом писателе.

Куприн увидел Толстого на пароходе в Ялте в день отъезда писателя из Крыма после долгого лечения.

С большим удивлением заметил Куприн, как менялся облик Толстого в течение десяти — пятнадцати минут, протекших между вторым и третьим звонком, вслед за которым пароход, увозивший писателя, отошел от ялтинской пристани. «Я понял в эти несколько минут, — пишет Куприн, — что одна из самых радостных и светлых мыслей — это жить в то время, когда живет этот удивительный человек. Что высоко и ценно чувствовать и себя также человеком. Что можно гордиться тем, что мы мыслим и чувствуем с ним на одном и том же прекрасном русском языке».

Автора «Записок врача», В. В. Вересаева, весной 1902 года пригласили занять место домашнего врача в Ясной Поляне. Он не решился взять на себя ответственность «за жизнь Толстого» и отказался.

Через два года он приехал к Толстому по делу. Несмотря на волнение и смущение, охватившие его при встрече, он успел заметить и молодые, быстрые движения Толстого, и его легкую, совсем не старческую походку, и удивительной красоты руки, и жадность к жизни во всех ее проявлениях — «от далекой звезды до ползущей по земле букашки».

И. А. Бунин, рассказывая о встречах с Толстым, много говорит о самом себе, о восторженной влюбленности в Толстого, о своем «толстовстве», от которого он избавился, как только поближе познакомился с некоторыми из «последователей» теории непротивления злу.

Зорким глазом художника Бунин подметил, что Толстой «ходил страшно легко и быстро», что у него была «какая-то томная грусть» в глазах и что глаза его «вовсе не страшные», не пронзающие, а «по-звериному острые», что борода у него «сухая, легкая, неровная, сквозная», что «бугры бровных дуг надвинуты на глаза», а «уши

сидят необычайно высоко». Все эти метко схваченные детали дополняют наше представление о внешнем облике Толстого тех лет, когда его видел Бунин.

Писателя Н. И. Тимковского, так же как и Куприна, поражала многоликость Толстого. «Я иногда на протяжении одного вечера видел перед собой двух, трех и больше Львов Николаевичей, не имеющих как будто друг с другом ничего общего». Временами он был похож на проповедника, «с которым нельзя разговаривать». Проповедь скоро уступала место задушевной беседе. И тот же Толстой становился любознательным учеником, удивлявшимся своей совершенно детской восприимчивостью.

Но из самых разнообразных впечатлений, которые оставляла личность Толстого, главным было, по словам Тимковского, одно: Толстой никогда не казался человеком «смирившимся» в каком бы то ни было смысле. «Все в нем — глаза, манеры, способ выражения» — говорило о том, что главное в его характере «отнюдь не смирение и покорность, а борьба, страстная борьба до конца».

О непокорстве, бунтарстве, страстности Толстого писал и С. Я. Елпатьевский, который был одним из врачей, лечивших писателя в Гаспре. Смерть стояла тогда у самого изголовья Толстого, а он весь был захвачен мыслями о работе, поглощен решением острейших вопросов современной жизни. «И даже покорный нам (врачам.— К. Л.),— пишет Елпатьевский,— он и в самые тяжелые минуты оставался тем же непокорным, каким он был всю жизнь, и, случалось, насмешливый огонек блестел в его глубоких пронзительных глазах».

Бывший единомышленник Толстого Л. П. Никифоров после многолетнего с ним общения вынес убеждение, что сам Толстой далеко не был тем «непротивленцем», каким хотели его видеть «последователи». «Толстой,— пишет Никифоров,— совсем не обладал натурой Манилова, а был борец по самой своей природе и не раз повторял, что нужно что есть сил пробивать и «колупать» эту стену народного бесправия».

В отличие от последователей его учения, Толстой с молодых лет и до конца своих дней проявлял страстную заинтересованность во всех делах века, живо и горячо откликался на самые насущные вопросы своего времени.

Ни возраст, ни трудные обстоятельства жизни в семье, не разделявшей его убеждений, ни угрозы и преследования со стороны «власть имущих», ни собственная проповедь непротивления злу насильем — ничто не могло потушить беспокойный пламень его страстного сердца, кипение его пытливой мысли.

Как пишет в своих мемуарах учитель детей Толстого В. И. Алексеев, «Лев Николаевич всю жизнь свою стремился начать жить сызнова». Так оно и было в действительности, вплоть до ухода из Ясной Поляны, который ведь, в сущности, также был попыткой «начать жить сызнова».

Одной из привлекательнейших черт Толстого, отмеченной многими из современников, является его жизнелюбие. Как верно писал А. В. Луначарский, главное своеобразие личности Толстого состояло в «необычайной, изумительной, широкой жизненности, связанной с общественными чувствами, страстями»¹.

Жизнелюбие Толстого проявлялось в большом и малом. Воспоминания о Толстом скульптор И. Гинцбург назвал «Радость жизни». Простыми словами очевидца он рассказывает о том, как любил Толстой солнце, воздух, леса, поля, птиц, зверей — все живое.

Мудрость соединялась в Толстом с детскостью, рассудочность — с непосредственностью. «Он,— пишет Е. В. Оболенская,— любил простое, не требующее никакой обстановки веселье. Это свойство у него было общее с моей матерью, и когда они чему-нибудь радовались, смеялись, в них было что-то наивное, детское».

Любовь ко всему простому, естественному была такой же органической чертой натуры Толстого, как его любовь к природе, порожденная чувством, которое писатель выразил словами: «Я — сам природа».

5

Наиболее пронизательные из современников Толстого рано заметили, с каким упорством и бесстрашием он вырабатывал свои взгляды на жизнь, как отстаивал независимость и самостоятельность своих суждений, добытых непрерывным и нередко мучительным трудом.

Некрасов говорил Толстому, что еще до встречи с ним он уже по первым произведениям угадал его сильную и правдивую личность. «На мои глаза,— писал Некрасов,— в Вас происходит та душевная ломка, которую в свою очередь пережил всякий сильный человек, и Вы отличаетесь только — к выгоде или невыгоде — отсутствием скрытности и пугливости. Признаюсь, я лично люблю такие характеры»².

Душевная ломка, переживавшаяся, по свидетельству Некрасова, многими передовыми людьми эпохи 50—60-х годов, была вызвана

¹ «Л. Н. Толстой в русской критике», М. 1952, стр. 513.

² Там же, стр. 566.

высоким напряжением общественно-политической борьбы в стране, вступившей, после тяжелого поражения царской России в Крымской войне, в полосу «первого демократического подъема».

Участвуя в военных действиях на Кавказе и в Крыму, своими глазами увидев беспримерный героизм солдат и матросов, могучую силу народа, бездарность и жестокость его управителей, Толстой пришел к выводу, что «Россия или должна пасть, или совершенно преобразоваться» (47, 31).

Центральным вопросом эпохи был вопрос об отмене крепостного права и о дальнейших путях развития России. Вопрос об отношении к мужику, о способах его освобождения служил пробным камнем для определения политических взглядов разных общественных классов и групп. Он явился главной причиной размежевания и раскола в писательском кружке «Современника».

Н. Г. Чернышевский, с 1856 года руководивший редакцией «Современника», указывал, что до определенной поры «не замечали между собой разницы во взглядах люди, далеко разошедшие ныне», объединявшиеся до той поры, пока «вопросы были поставлены не так определенно и ответы на них не могли быть так разнородны, как сделались при дальнейшем развитии общественной жизни»¹.

Молодой Толстой вошел в кружок «Современника» накануне его размежевания. Писатели-либералы А. В. Дружинин, В. П. Боткин, П. В. Анненков приложили много стараний для того, чтобы привлечь Толстого на свою сторону, восстановить его против Чернышевского и других революционных демократов. На короткое время «бесценному триумvirату»² удалось приобрести доверие молодого писателя. Однако очень скоро Толстой охладил к ним.

Идея крестьянской революции, которую выдвигали революционные демократы, оказалась Толстому чуждой. Вслед за Тургеневым, Гончаровым он ушел из «Современника». Однако он не примкнул ни к либералам с их «реформизмом» и преклонением перед буржуазной Европой, ни к славянофилам с их проповедью национальной ограниченности и защитой «старины». Он искал свой путь.

Тургеневу, Григоровичу и некоторым другим из старших современников Толстого казалось, что его неуступчивость, его постоянная готовность противоречить и спорить были вызваны лишь свойственным молодости задором и «трудным» характером писателя. «Лев Толстой продолжает чудить,— писал Тургенев Фету по поводу увле-

¹ Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. VII, М. 1950, стр. 172.

² Так Толстой называл А. В. Дружинина, В. П. Боткина и П. В. Анненкова — сторонников теории «чистого искусства».

чения Толстого школьным делом.— Видно, так уж написано ему на роду. Когда он перекувыркнется в последний раз и станет на ноги?»¹

Однако за «чуждечествами» и «перекувыркиваниями» молодого Толстого скрывалась напряженная внутренняя работа, смысл которой не сразу становился понятным для современников. Как представлялось Григоровичу, молодой Толстой больше всего был озабочен тем, чтобы озадачить собеседника, поразить его неожиданностью своих суждений, что он просто любил «дразнить» Тургенева и других «стариков». Между тем причины ссор молодого Толстого и Тургенева лежали не столько в несходстве их характеров, сколько в разнице взглядов на многие вопросы современности.

Мемуаристы свидетельствуют, что во взглядах писателя не было цельности и последовательности. Молодой Толстой нес в себе такие «следы барского и офицерского влияния», которые, как опасался Некрасов, могли погубить его «отличный талант»². Это немало осложнило его отношения не только с Тургеневым, но и с Некрасовым, Чернышевским, которые сильно были встревожены тем, как бы Толстой «не вывихнул» своего дарования.

Уже в первых произведениях Толстой показал себя писателем, глубоко постигающим те явления жизни, о которых он пишет, и смело ставящим самые острые вопросы своего времени. Оценивая его рассказ «Утро помещика», Чернышевский заметил, что «Толстой с замечательным мастерством воспроизводит не только внешнюю обстановку быта поселян, но, что гораздо важнее, их взгляд на вещи»³.

С этой проникновенной характеристикой глубоко созвучно то, что сказал о Толстом Ленин, беседуя с Горьким в первые послеоктябрьские годы: «Вот это, батенька, художник... И — знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было»⁴.

Между этими двумя оценками Толстого, одна из которых дана Чернышевским в 1857 году и другая — В. И. Лениным через несколько лет после кончины писателя, как между двумя вехами, пролегал весь путь Толстого. Здесь указано главное направление пути писателя, ставшего идеологом патриархального крестьянства.

Любопытно, как сходятся показания современников — самых разных по их величине и значению. Характеризуя путь Толстого,

¹ А. А. Фет, Мои воспоминания, ч. I, М. 1890, стр. 321.

² «Л. Н. Толстой в русской критике», М. 1952, стр. 564.

³ Там же, стр. 107.

⁴ М. Горький, Собр. соч., т. 17, М. 1952, стр. 39.

Горький утверждает, что «мысль Толстого направлялась всегда по линии интересов крестьянской массы». В сущности, о том же говорит и слуга Толстого С. П. Арбузов: «Словом, в течение 22-х лет, как я служил у графа, он по собственному своему желанию все время вращался в обществе крестьян».

О постоянной тяге Толстого к «обществу крестьян» убедительно рассказывают ученики и учителя Яснополянской школы, члены семьи писателя, его единомышленники и многие другие мемуаристы.

Буржуазные идеологи выдвигали и выдвигают на первый план противореволюционные стороны доктрины Толстого, они обходят те высказывания писателя, из которых видно, что он, даже и не сочувствуя революционным методам борьбы, понимал, почему революционеры *вынуждены* прибегать к насилию над эксплуататорами.

В воспоминаниях Х. Н. Абрикосова, до конца жизни оставшегося толстовцем, приведен интереснейший разговор с Толстым на эту тему. Весной 1903 года в одной из бесед обсуждался путь, которым предстояло идти России. Как пишет Абрикосов, они «договорились до того, что для блага народа надо свержение правительства». «Но как этого достигнуть?» — спросил Шаховской. И Толстой ответил: «Есть два способа борьбы с правительством: мирный — словом и террористический — бомбой. Первый способ испробован был полностью и никакого результата: остается только второй способ — бомба».

Несмотря на все свои предрассудки и заблуждения, Толстой говорил своим последователям о революции: «А все-таки это роды, это подъем общественного сознания на высшую ступень» (89, 27).

А. Б. Гольденвейзер записал следующие слова Толстого, сказанные в июле 1905 года: «Современное движение в России — движение мировое, важность которого еще мало понимают. Это движение, которое, как французская революция когда-то, может быть, даст своими идеями толчок на сотни лет. Русский народ обладает в высшей степени способностью к организации и самоуправлению»¹.

Всю жизнь испытывая острый интерес ко всему новому, растущему, развивающемуся, движущемуся вперед и выше, Толстой сказал в декабре 1905 года: «Хотя мне это на том свете ни на что не пригодится, а все-таки я рад, что дожил до революции. Очень интересно это все!»²

¹ А. Б. Гольденвейзер, Вблизи Толстого, Гослитиздат, М. 1959, стр. 167.

² Там же, стр. 180.

Как писал В. Г. Короленко, Толстой в высшей степени обладал способностью «заражаться народными настроениями». В этой способности Короленко справедливо увидел основу, которая «определяла крупнейшие повороты во взглядах самого Толстого». Рассказывая о своей второй встрече с Толстым, Короленко подчеркивал, что бурная эпоха подготовки первой русской революции вызвала серьезный перелом в умонастроении великого писателя.

В статье «Великий пилигрим» Короленко, снова вспоминая об этой встрече с Толстым, говорит, что тогда писатель находился как бы «на распутье»: «Казалось, он был готов еще раз усомниться и отойти от всего, что нашел и проповедовал: от анархизма и от непротivления».

Пользовавшийся большим расположением Толстого и часто встречавшийся с ним писатель из крестьян С. Т. Семенов видел, что Толстой «весь кипел... общественными, литературными вопросами». Семенов приводит десятки примеров, показывающих, с какой страстью писатель откликнулся на вопросы, волновавшие русское общество.

В годы приближения первой русской революции Толстой заявлял, что свои требования к правительству, к господствующим классам он обращает «снизу от 100 миллионов». Сознание кровной близости к трудовому земледельческому народу и делало Толстого сильным и бесстрашным.

Мемуаристы приводят немало противоречивых суждений Толстого по самым острым и болезненным вопросам его эпохи. Ничего не сглаживая и не затушевывая в кричащей противоречивости взглядов великого писателя, мы должны помнить, что она не была капризом его личной мысли, а явилась следствием тех исторических условий, в которых протекала деятельность самого Толстого и того класса, идеологом которого он стал после перелома в мировоззрении,— патриархального русского крестьянства.

6

Воспоминания современников о Толстом содержат богатейшие материалы, освещающие его взгляды на искусство и литературу. В них приводятся многочисленные суждения Толстого о писателях и художниках, об отдельных произведениях, о работе над своими произведениями. Воспоминания современников сохранили множество таких высказываний Толстого об искусстве и литературе, в которых выразились сильные стороны его эстетики, его борьба за правдивость и реализм искусства, беспощадное обличение буржуазно-

аристократического, антинародного искусства — декаданса, символизма, натурализма и формализма, критика ремесленных подделок под искусство, требование высокого художественного мастерства, простоты и ясности художественной формы.

Но в мемуарах, письмах и дневниках современников нашла отражение и противоречивость эстетических взглядов Толстого, отразились не только сильные, но и слабые их стороны.

Так, создавая свою программу истинного, «доброе» искусства, Толстой в основу ее положил «религиозное сознание своего времени», объявив его наивысшим мирозерцанием.

Резко и справедливо критикуя современное упадочное буржуазное искусство, Толстой нередко говорил о «ненужности» народу целого ряда великих классических произведений, так как они казались ему лишены морально-нравственной основы. По выражению писателя, он готов был выбросить, «осердясь на блох, и шубу в печь», то есть готов был отказаться от всякого искусства, от всех завоеваний культуры, исходя из того, что народ «не понимает» классических произведений литературы и искусства, а, главное, потому, что и цивилизация и культура выросли на жестокой эксплуатации трудящихся масс.

Следуя своей программе «доброе» искусства, Толстой доходил до «отрицания» Пушкина, Шекспира, Бетховена, Рафаэля и других величайших мастеров поэзии, музыки, живописи.

Уже в 50-е годы Толстой прослыл свирепым «отрицателем» Шекспира, как об этом рассказывают мемуаристы. Но 15 февраля 1870 года С. А. Толстая записала в своем дневнике о том, что Толстой много говорил о Шекспире «и очень им восхищался; признает в нем огромный драматический талант».

В 1906 году была напечатана статья Толстого «О Шекспире и о драме», утвердившая за ним славу яростного «ниспровергателя» великого английского драматурга. Но еще в 1902 году А. Б. Гольденвейзер отметил такое признание Толстого: «Вот я себе позволял порицать Шекспира. Но ведь у него всякий человек действует и всегда ясно, почему он поступает именно так. У него столбы стояли с надписью: лунный свет, дом. И слава богу, потому что все внимание сосредоточивалось на существо драмы, а теперь совершенно наоборот»¹.

Из этих слов Толстого очевидно, что его отношение к Шекспиру далеко не исчерпывается одним «отрицанием». Да и в статье «О Шекспире и о драме» Толстой не только «отрицает» и крити-

¹ А. Б. Гольденвейзер, Вблизи Толстого, Гослитиздат, М. 1959, стр. 114

кует Шекспира, но и говорит о серьезных достоинствах его драматургии.

Еще менее оснований причислять Толстого к «отрицателям» пушкинского творчества.

В педагогических статьях 60-х годов Толстой «отрицал» Пушкина, ссылаясь на то, что ученики Яснополянской школы не понимали стихотворений великого поэта. А в 70-е годы жена писателя записала в дневнике его признание: «Многому я учусь у Пушкина. Он мой отец».

В воспоминаниях о Толстом 900-х годов, в дневниках его секретарей и других лиц приводится множество его восторженных отзывов о Пушкине.

Д. П. Маковицкий отметил в «Яснополянских записках»: «Лев Николаевич говорил про Пушкина, что чем старше он становится, тем выше его ставит». В марте 1908 года, в письме «В редакции газет», Толстой как бы подвел итоги своих раздумий о Пушкине, заявив: «Я высоко ценил (и ценю) гений Пушкина».

Может показаться, что Толстой «признавал» Белинского только в молодости, а потом изменил к нему свое отношение. Но мемуаристы отвергают такие предположения.

В. Ф. Лазурский приводит интересный рассказ о беседе Толстого с одним из рабочих, который сказал писателю, что выбирает книги для чтения «по рекомендации господина Белинского». «Вот видите,— сделал заключение Лев Николаевич,— какое благотворное действие оказывает Белинский».

Сложный вопрос об отношении Толстого к Чернышевскому освещается порой односторонне. Приводятся лишь те материалы, где говорится об «отрицании» Толстым Чернышевского. Все сводится к заявлению Толстого, записанному секретарем 5 февраля 1908 года, что Чернышевский ему «всегда был очень неприятен и писания его неприятны». Однако в дневниковой записи от 18 декабря 1856 года молодой Толстой отметил, что «Чернышевский мил», а 11 января 1857 года записал, что «Чернышевский умен и горяч».

В 80-е и более поздние годы Толстой не раз выражал преклонение перед мужеством и стойкостью Чернышевского, которого не могли сломить ни Петропавловская крепость, ни десятилетия ссылки.

Перечитывая сочинения Чернышевского в конце 80-х годов, Толстой нашел в них «много очень хороших, высоких в нравственном отношении мыслей».

К этим свидетельствам нужно прибавить письмо В. В. Стасова к брату о его замечательной беседе с Толстым в 1896 году по по-

воду Чернышевского и других революционных демократов. Толстой выказал к ним громадный интерес и уважение.

Подлинное отношение Толстого к демократам-«шестидесятникам» выражено в его дневниковой записи от 19 декабря 1889 года, появившейся в связи с чтением романа В. А. Слепцова «Трудное время». «Да, требования были другие в 60-х годах. И оттого, что с требованиями этими связывалось убийство 1-го марта, люди вообразили, что требования эти неправильны. Напрасно. Они будут до тех пор, пока не будут исполнены» (50, 194).

Так, не приняв методов общественной борьбы, к которым звали революционные демократы, Толстой признал историческую справедливость их дела, их требований.

К числу самых значительных русских писателей Толстой относил Гоголя. К оценке его наследия он обращался много раз, при этом высказывая о нем самые противоречивые суждения. Итоги своих многолетних раздумий об авторе «Мертвых душ» он попытался подвести в статье «О Гоголе», относящейся к 1909 году. И хотя статья осталась незавершенной, мы можем судить, как далеко продвинулся Толстой в поисках верной меры для оценки гоголевского наследия, в сравнении с первой его статьей о Гоголе, начатой в 80-е годы и также оставшейся незаконченной.

В первой статье о Гоголе главное внимание Толстой уделяет печально-известной книге «Выбранные места из переписки с друзьями». Толстой находит в ней много интересного и поучительного и критикует Белинского (правда, не называя его) за резкий отзыв об этой книге. В статье 1909 года Толстой пишет о Гоголе-художнике. Он называет «прекрасными литературными произведениями» и первый том «Мертвых душ», и повесть «Старосветские помещики», и комедию «Ревизор», и рассказ «Коляска» — этот «верх совершенства в своем роде» (38, 50).

В этой же статье Толстой решительно осуждает гоголевские сочинения «на нравственно-религиозные темы». Он находит, что, когда Гоголь пытается «придать уже написанным произведениям не свойственный им нравственно-религиозный смысл», у него выходит «ужасная, отвратительная чепуха».

Тем, кто в «позднем» Толстом видел только религиозного проповедника, его статья «О Гоголе», написанная в 1909 году, казалась «непостижимой», «невероятной». Для нас эта статья — один из многих и замечательных примеров того, как Толстой преодолевал присущие его взглядам предрассудки, отказывался от ошибочных суждений и стремился найти «верную меру вещей». То же самое можно видеть, изучая разноречивые толстовские оценки Тургенева и других писателей.

«Главное в нем — это его правдивость... — писал Толстой о Тургеневе. — Воздействие Тургенева на нашу литературу было самое хорошее и плодотворное» (63, 149—150). В этих словах выражено подлинное отношение Толстого к творчеству его старшего современника. В свете этой и того же оценки мы по-иному воспринимаем и отрицательные высказывания Толстого об отдельных тургеневских произведениях и даже историю личных взаимоотношений писателей, которой так много внимания уделено в мемуарах современников. Готовясь произнести речь о Тургеневе, Толстой нашел вершнюю меру оценки его значения для русской литературы.

Знакомясь с высказываниями Толстого о тех или иных поэтах, пужно не забывать о противоречивости его отношения к стихам вообще. Старший сын писателя С. Л. Толстой замечает: «К стихотворной речи отец вообще относился отрицательно. Он говорил, что поэты связаны размером и рифмой и нередко подгоняют под них свои образы и выражения; они не свободны в выражении своих мыслей. Он ценил только очень немногих поэтов — Тютчева, Лермонтова, Фета и, разумеется, Пушкина»¹.

Надо заметить, что, высоко ценя произведения подлинных поэтов, Толстой видел не только «недостатки», но и особые достоинства стихотворной формы, присущие лишь ей одной. Тот же мемуарист пишет о Толстом: «... он соглашался с тем, что у поэтов, особенно у Пушкина, иногда искание формы приводит к удачным выражениям».

Мемуаристы приводят немало «удачных выражений», отмеченных Толстым в стихотворениях Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Баратынского, Фета и других поэтов.

«Он, — пишет об отце С. Л. Толстой, — говорил, что ни у кого, кроме Тютчева, нельзя найти такие образные выражения, как, например:

Тени сизые смешались...

Осенью 1910 года, провозжая жену на станцию железной дороги, Толстой «почему-то вспомнил стих Тютчева «Дыханьем ночи обожгло...» и умилился.

— Это тютчевская манера, — заметил он, — выразить одним словом целый ряд понятий и контрастов: «морозом обожгло»².

¹ С. Л. Толстой, Очерки былого, М. 1957, стр. 80—81.

² «Литературное наследство», № 37—38, М. 1939, стр. 534.

В другой раз он вспомнил тютчевское стихотворение «Есть в осени первоначальной...» и привел из него строки «И паутины тонкий волос блестит на праздной борозде».

— Мне,— сказал он,— особенно нравится «праздной». Особенность поэзии в том, что в ней одно слово намекает на многое»¹.

Толстой был необыкновенно чуток к подлинно поэтическому слову и умел по достоинству оценить красоту и силу настоящих стихов. В этом можно убедиться, познакомившись, например, с тем, что писал и говорил он об одном из выдающихся русских поэтов-лириков А. А. Фете (Шеншине).

За 37 лет знакомства с Фетом отношение Толстого к личности и творчеству поэта претерпевало большие перемены. В 60 и 70-е годы Толстой и Фет были очень дружны, о чем свидетельствует их оживленная переписка. Позднее, с начала 80-х годов, Толстой отдаляется от Фета, осуждает его эпикурейский образ жизни и консервативные взгляды. Мемуаристы приводят немало резко отрицательных суждений «позднего» Толстого о стихах Фета. В предисловии к роману В. фон Поленца «Крестьянин» (1898) Толстой говорит о Фете, как об одном из «сомнительных поэтов». В воспоминаниях В. Ф. Лазурского и А. К. Чертковой приведены такие суждения Толстого о Фете, из которых видно, что он отказывал произведениям поэта в серьезности и значительности содержания. В одной из бесед, имевших место в 1905 году, назвав Пушкина, Лермонтова, Тютчева, как трех самых больших русских поэтов, Толстой сказал: «После них падение. Фет, Майков, Полонский, Апухтин, потом декаденты»².

Но вот в феврале 1910 года В. Ф. Булгаков записал в своем дневнике совсем иную оценку творчества Фета, которую высказал Толстой. Он сказал тогда:

«Художник, и писатель, и музыкант дорог и интересен своим особенным отношением к явлениям жизни, дорог тем, что он не повторяется... Так и Фет».

Продекламировав стихотворение Фета «Шепот, робкое дыханье...», Толстой сказал:

«А ведь сколько оно шума наделало когда-то, сколько его ругали!.. Но в нем одно только нехорошо и не нравится мне: это выражение «пурпур розы»³.

¹ «Литературное наследство», № 37—38, М. 1939, стр. 534.

² Д. П. Маковецкий, Яснополянские записки. М. 1923, вып. 2, стр. 44.

³ В. Булгаков, Л. Н. Толстой в последний год его жизни, М. 1957, стр. 104.

Здесь уже и речи нет о «сомнительности» поэзии Фета. Напротив, Толстой высоко оценивает самостоятельность поэтической мысли Фета и совершенство художественной формы его стихов.

Но и теперь он не «перехваливает» Фета, не забывая, что по идейному содержанию его произведений, их «масштабности» и историческому значению Фета нельзя «равнять» не только с Пушкиным и Лермонтовым, но и с Тютчевым. Так, сопоставляя оценки личности и творчества Фета, которые давал Толстой в разные периоды своей жизни, мы видим, как постепенно он отказывался от «крайних» суждений (восторженные в 60 и 70-е годы, резко отрицательные в 80 и 90-е годы) и находил «нужную меру».

То же самое можно сказать и о толстовских оценках Тютчева. Очень любя Тютчева и его поэзию, говоря, что «без него нельзя жить», Толстой без малейших колебаний отвергал те стихи поэта, в которых отразились славянофильские веяния. «Это вздор!» — говорил Толстой с подобных стихах¹.

Из сказанного выше вовсе не вытекает, что Толстому удалось найти верные оценки для всех русских писателей — его предшественников и современников, или высказать безошибочные суждения о всех произведениях этих писателей. Как известно, до конца дней Толстой «не принимал» пьес одного из любимейших своих писателей — Чехова, отказываясь признавать их новаторское значение. Толстой «не принял» романа М. Горького «Мать» и его пьесу «Мещане». Но при всей противоречивости оценок ряда горьковских произведений Толстой всегда относился к нему как к большому народному писателю.

Редкий из мемуаристов не приводит тех или иных отзывов Толстого о зарубежных писателях — его предшественниках и современниках. Обилие этих отзывов свидетельствует о том, как внимательно следил Толстой за развитием не только отечественной, но и иностранной литературы, как зорко подмечал появление новых талантливых имен.

Своим предисловием к сочинениям Мопассана (1894) Толстой открыл русскому читателю малоизвестного в России французского писателя. С его предисловием вышло первое издание романа «Крестьянин» немецкого писателя В. фон Поленца.

Поль Буайе, Э. Моод, И. Токутоми, воспоминания которых о встречах с Толстым публикуются в этой книге, и многие другие иностранные гости Ясной Поляны поражались его острым интересом ко всему, что происходило в мире. «Я еще не успел его расспросить о новостях, — пишет Буайе, — как он уже начал говорить

¹ «Литературное наследство», № 37—38, М. 1939, стр. 469.

о Франции, о наиболее видных писателях, о недавно появившихся французских произведениях».

Интересовался Толстой и тем, как относились за рубежом к русской литературе и, в частности, к его произведениям. На Западе немало писали о влиянии на Толстого классиков иностранной литературы. Интересны его собственные высказывания по этому поводу. Так, когда Толстой узнал, что некоторые зарубежные критики называют его последователем Руссо, он нашел нужным возразить против этого и в дневнике 1905 года сделал такую запись: «Меня сравнивают с Руссо. Я много обязан Руссо и люблю его, но есть большая разница» (55, 145).

Возражал Толстой и против отождествления его творческого метода и метода французского классика Стендаля, хотя признавался тому же Полю Буайе в том, что многому учился у автора «Пармской обители». «Я думаю,— писал Толстой Октаву Мирбо,— что каждый народ употребляет различные приемы для выражения в искусстве общего идеала и что благодаря именно этому мы испытываем особое наслаждение, вновь находя наш идеал выраженным новым, неожиданным образом» (74, 194).

Толстой умел находить в каждой культуре подлинные ценности и отметить то, что заслуживало осуждения.

Все добросовестные мемуаристы единодушно подтверждают, что Толстой никогда не был врагом искусства вообще, а лишь буржуазно-аристократического, декадентского, господского искусства, что он никогда не был врагом всякой науки, а только такой науки, которая служила интересам правящих классов и помогала им угнетать народ.

Воспоминания Горького, дневники секретарей писателя, записи Д. П. Маковицкого, А. Б. Гольденвейзера, В. Ф. Лазурского и многих других лиц сохранили множество убийственных характеристик и оценок, которые были даны Толстым декадентским поэтам и писателям — русским и западноевропейским.

Горький рассказывает, как относился Толстой к стихам одного из «бардов» декадентской поэзии, Бальмонта, приславшего в Ясную Поляну свои книжки с посвящениями Толстому.

«Это ...не стихи, а шарлатанство,— смеялся Толстой,— а «ерундистика», как говорили в средние века,— бессмысленное плетение слов».

Беседуя с литератором А. В. Жиркевичем в начале 90-х годов о стихах «новых» поэтов, Толстой говорил: «Стихотворения многих современных поэтов я иначе не зову, как «ребусами». Он находил, что в символистско-декадентских произведениях нет «ни поэзии, ни смысла».

Суровую критику Толстой обращал на сочинения Д. Мережковского, З. Гиппиус, стихи А. Добролюбова, И. Северянина, А. Белого, на некоторые рассказы и пьесы Л. Андреева, романы М. Арцыбашева и других декадентствовавших поэтов и писателей.

О нашумевшем романе Арцыбашева «Санин» Толстой писал: «Прочел все рассуждения самого Санина и ужаснулся не столько гадости, сколько глупости, невежеству и самоуверенности, соответствующей этим двум свойствам автора» (78, 58).

В трактате «Что такое искусство?», в предисловиях к сочинениям Мопассана и роману Поленца «Крестьянин», в дневниках и письмах Толстой подверг уничтожающей критике западноевропейских и американских декадентов. В мемуарах о Толстом приводятся многочисленные его отзывы о Бодлере и Верлене, о Малларме и Метерлинке, о Пшибышевском и других символистах и декадентах стран Запада.

Из воспоминаний и писем Горького, Репина, Чайковского, Чехова, Короленко и других виднейших мастеров русской литературы и искусства можно увидеть, что все они горячо поддерживали Толстого в его борьбе против «декадентской чумы». Беспощадная критика декадентства, которую Толстой вел с позиций реализма, сохранила свое значение до нашего времени.

7

Особый интерес представляют те страницы воспоминаний о Толстом, где он выступает перед нами как необычайно взыскательный художник, требовательный мастер. Мемуаристы сообщают ценные сведения по истории создания многих произведений Толстого — его романов, повестей, пьес, публицистических трактатов.

Так, например, «Мои записи разные для справок» С. А. Толстой и ее же «Записки о словах, сказанных Львом Николаевичем во время писания» содержат важные свидетельства по истории создания таких произведений, как «Война и мир», «Декабристы», роман о Петре I, «Анна Каренина». В 1876 году Софья Андреевна записала замечательные слова Толстого о том, что писатель должен особенно любить в своем произведении главную, основную мысль. И тогда же Толстой сказал, что в «Войне и мире» он любил мысль *народную* («вследствие войны 12-го года»), а в «Анне Карениной» любит мысль *семейную*.

Автор «Очерков былого» С. Л. Толстой рассказывает о характерных особенностях творческой работы Толстого, помогает «заглянуть» в его писательскую лабораторию.

«Он работал почти ежедневно,— сообщает Сергей Львович.— Когда он занимался, к нему никто не смел входить, даже моя мать: ему нужна была полная тишина и уверенность, что никто не прервет его занятий. Когда его кабинет находился в комнате с большим итальянским окном, обе двери — из зала и из гостиной — запирались. Даже в соседнюю комнату можно было входить только тихо и осторожно. В зале тогда играть на фортепиано нельзя было, так как отец говорил, что он *не может не слушать музыку, хотя бы еле слышную*».

Любопытные подробности об «атмосфере», в которой протекала творческая работа Толстого, о его писательских «привычках» приводятся в записях Д. П. Маковицкого, Н. Н. Гусева и других мемуаристов.

Как свидетельствуют люди, близко знавшие писателя, Толстой вел строго размеренный образ жизни, заполненной каждодневным сосредоточенным трудом. Из их воспоминаний зримо вырисовывается образ великого труженика, для которого творческий труд был и первейшей жизненной необходимостью, и глубоко осознанным долгом, и источником самых больших радостей и волнений. «Поэт лучшее своей жизни отнимает от жизни и кладет в свое сочинение», — отметил Толстой в записной книжке 27 ноября 1866 года. Он любил повторять пушкинский афоризм: «Слова поэта суть уже его дела». «Писанье мое есть весь я», — говорил Толстой.

Современники, близко знавшие Толстого, изумлялись его огромной работоспособности. «Толстой работает за всех», — с восхищением говорил Чехов.

Оценивая писательский подвиг великого художника, Горький указывал, что Толстой «рассказал нам о русской жизни почти столько же, как вся остальная наша литература»¹.

В воспоминаниях современников можно почерпнуть много сведений о самом процессе творческой работы Толстого. Приступая к созданию нового произведения, Толстой много сил и времени тратил на изучение материалов, относящихся к намеченной теме. «Когда я пишу историческое,— указывал Толстой,— я люблю быть до малейших подробностей верным действительности» (73, 353).

Очень интересен рассказ С. А. Берса, сопровождавшего Толстого во время его поездки на Бородинское поле. Работая над третьим томом своей эпопеи, центром и вершиной которой служит картина Бородинского сражения, Толстой поехал в Бородино. Он пробыл здесь два дня, дважды объехал поле сражения и набросал

¹ М. Горький, История русской литературы, М. 1939, стр. 295.

его план. «Я очень доволен, очень,— своей поездкой...— сообщал он жене.— Только бы дал бог здоровья и спокойствия, а я напишу такое бородинское сражение, какого еще не было» (83, 152—153). И тут же добавил шутивно: «Все хвастается».

Сколько в этом письме душевного подъема, вдохновения, веры в свои силы и воодушевления высокой темой!

Учитель тифлисской гимназии С. Н. Шульгин, принимавший по просьбе Толстого участие в разыскании архивных документов о Хаджи-Мурате, в 1903 году побывал в Ясной Поляне. Беседуя с ним, Толстой сказал:

«Приходится окунуться с головой в эпоху Николая и пересмотреть большой материал — и печатный и рукописный. И все это, быть может, только для того, чтобы извлечь какие-нибудь две-три черты, которых читатель, пожалуй, и не заметит, а между тем они очень важны».

Великий художник не жалел труда для того, чтобы «выверить» каждую мельчайшую деталь в своих произведениях на исторические темы.

Собирая материалы для романа о Петре I, Толстой, как сообщает его жена, заносил «в разные записные книжечки все, что может быть нужно для верного описания нравов, привычек, платья, жилья, и все, что касается обыденной жизни, особенно народа и жителей вне двора и царя». Однажды Софья Андреевна была весьма удивлена упорством, с которым Толстой «допытывался по разным материалам, не ошибка ли, что написано, будто высокие воротники носились при коротких кафтанах». Писатель предполагал, что они «носились при длинных верхних платьях».

П. А. Буланже рассказывает, как Толстой был встревожен, вспомнив, что в «Хаджи-Мурате» он всюду называет кавказского наместника Воронцова князем, и просил установить, в каком году последнего «сделали князем». Когда ему дали нужную справку, Толстой успокоился: «В таком случае — верно. Переделывать не надо».

Из воспоминаний целого ряда современников можно увидеть, какими путями Толстой «добывал» материалы, необходимые ему для судебных, тюремных и иных сцен романа «Воскресение», в которых изображается действие страшного «механизма», охранявшего «людоедский» строй жизни. Надзиратель Бутырской тюрьмы И. В. Виноградов и начальник Тульской тюрьмы С. И. Бродовский рассказывают, с какой пытливостью расспрашивал их Толстой о мельчайших подробностях тюремного быта, как он стремился быть абсолютно точным в описании тюремных порядков.

Бывший председатель Тульского суда Н. В. Давыдов, близко знавший Толстого, вспоминает о том, что писатель «подолгу пребывал в тюрьмах и исправительных отделениях, беседуя с «преступниками» всех категорий в Крапивне, Туле и Москве». Работая над «Воскресением», Толстой побывал на заседании Тульского суда, где беседовал с обвиняемыми.

Посылая Давыдову корректурные гранки «Воскресения», Толстой поручил «исправлять допущенные им в описании судебного процесса ошибки». По настоянию писателя, Давыдов составил образец кассационной жалобы, написал перечень типичных вопросов, задаваемых на суде, судебное решение и т. д. Все это было нужно писателю как материал, которым он воспользовался, отшлифовывая судебные сцены в романе «Воскресение».

Н. В. Давыдов познакомил Толстого с судебным делом крестьянина Е. Колоскова, которым писатель воспользовался для драмы «Власть тьмы». Интересен рассказ Н. В. Давыдова о том, как он сопровождал Толстого на сеанс гипноза, устроенный в доме князя Львова. Это посещение дало писателю материал для «спиритических» сцен комедии «Плоды просвещения».

От известного судебного деятеля А. Ф. Кони Толстой услышал о судебном процессе Розалии Оні. Толстой сначала посоветовал Кони написать о ней рассказ, а через некоторое время просил «подарить» ему этот сюжет. История Розалии Оні легла в сюжетную основу романа «Воскресение».

Н. В. Давыдов, А. Ф. Кони и другие лица знакомили Толстого с отдельными, «частными» случаями, имевшими место в действительности. Изучая эти «случаи», Толстой создавал произведения громадного обобщающего значения.

Художник Л. О. Пастернак в воспоминаниях «Как создавалось «Воскресение» приводит много интересных сведений о творческой работе писателя, показывающих, как расширялся и углублялся авторский замысел, как Толстой все сильнее «заострял» свое произведение, делал все более резкой его социально-обличительную направленность.

В воспоминаниях К. С. Станиславского, В. И. Немировича-Данченко глубоко раскрыто значение Толстого не только для созданного ими Московского Художественного театра, но и для всего русского и мирового сценического искусства.

Мемуары многих актеров и режиссеров содержат драгоценные сведения, относящиеся к истории написания и первых постановок пьес «Власть тьмы», «Плоды просвещения» и «Живой труп».

Толстой принадлежал к числу драматургов, работающих в тесном общении с театром, глубоко чувствующих законы сцены и про-

веряющих свои пьесы в их живом звучании «с голоса». Необыкновенно интересны рассказы участников первой любительской постановки «Плодов просвещения» в Ясной Поляне о том, как комедия «дописывалась» автором после репетиций, на которых он присутствовал, как при помощи исполнителей он «дорисовывал» образы действующих лиц.

Мировой судья В. М. Лопатин, живший по соседству с Ясной Полянкой, был приглашен на роль 3-го мужика. На первой же репетиции его игра так понравилась автору комедии, что роль 3-го мужика была значительно расширена. В своих воспоминаниях Лопатин пишет о Толстом:

«Знаете ли,— сказал он,— я всегда упрекал Островского за то, что он писал роли на актеров, а теперь вот я его понимаю; если бы я знал, что третьего мужика будете играть вы, я бы многое иначе написал: ведь вы мне его объяснили, показали, какой он; надо будет изменить».

И Лев Николаевич взял рукопись и пошел ее переделывать».

Эпизод с Лопатиным ярко освещает одну из замечательных черт в характере Толстого-художника: его всегдашнюю готовность подхватить и поддержать в искусстве все новое, раскрывающее еще неизвестные, но типические стороны жизненных явлений.

Подлинный художник не может достигнуть предела в изучении жизни. Не может он достигнуть предела и в совершенствовании своих произведений. Эту мысль Толстой настойчиво подчеркивал.

Как рассказывает писатель Н. И. Тимковский, Толстой упрекал многих молодых литераторов за то, что они «не любят работать», и часто повторял слова Репина: «Талантливый человек никогда не кончает».

Процесс творческой работы самого Толстого состоял в поисках все более совершенной и точной художественной формы для выражения своего замысла.

Нередко беседы Толстого об искусстве и литературе превращались в настоящие уроки художественного мастерства. Беседуя с писателями или художниками, Толстой не только оценивал те или иные произведения, но и делился своим творческим опытом.

Высказав Тимковскому замечания о его рассказах, Толстой сказал: «Надо учиться писать для массы. Мы еще не умеем, потому что все писали для господ... Я вот учусь теперь, как писать для простого читателя, но пока иду ощупью и недоволен собою». Умение это нельзя приобрести из книг, в тиши кабинета. «Для народа,—

говорил он С. Т. Семенову,— хорошо выходит у тех писателей, кто сам знает народ и живет с ним».

Толстой не раз указывал, что красота и совершенство художественной формы произведения равнозначны ее простоте, ясности, общедоступности. «Надо,— говорил он,— стараться довести свою мысль до такой степени простоты, точности и ясности, чтобы всякий, кто прочтет, сказал бы: «Только-то? Да ведь это так просто!» А для этого нужно огромное напряжение и труд».

Беседуя с начинающим писателем Н. Н. Ивановым о его рассказе, Толстой обратил внимание на одну художественную деталь. Описывая весеннюю распутицу, автор «упомянул» грачей, перелетавших по сторонам дороги, и подметил, что «длинные носы грачей блестяли на солнце». Эта деталь очень понравилась Толстому. Он сказал:

«Вот в этих подробностях, в этих «чуть-чуть» — вся судьба каждого автора; нет этого — этих «чуть-чуть» — значит, все пропало, нет произведения».

Литератор П. А. Сергеенко записал такой совет Толстого:

«Никакою мелочью нельзя пренебрегать в искусстве, потому что иногда какая-нибудь полуоторванная пуговица может осветить известную сторону жизни данного лица. И пуговицу непременно надо изобразить. Но надо, чтобы и все усилия и полуоторванная пуговица были направлены исключительно на внутреннюю сущность дела, а не отвлекали внимания от главного и важного к частностям и пустякам, как это делается сплошь и рядом».

«Художественные детали и подробности,— подчеркивал Толстой,— не должны затушевывать «сущность дела», то есть главную мысль произведения, его идею».

В этих и других советах великого мастера, адресованных писателям, обобщен его творческий опыт.

Толстой проявлял большую заботу о тех начинающих писателях, в произведениях которых он находил искру таланта. В то же время он был очень требователен к начинающим авторам, без обиняков указывал на все недостатки их произведений.

Толстой был убежден, что настоящего, подлинного художника не испугает никакая взыскательность и требовательность к его труду. Он говорил, что истинный художник пишет только тогда, когда он не может не писать. И если пишет, то вкладывает в работу все свои силы, всю душу, каждый раз как бы «оставляя в чернильнице кусок своего мяса».

Отвергая буржуазный строй и его искусство, Толстой утверждал, что их сторонники «как в политике, так и в литературе дошли до тупика». Он был уверен, что освобожденный народ отвергнет

упадочное «господское» искусство, создаваемое по заказу «избранных», но примет и высоко оценит все лучшее, что создала русская и мировая культура. Мастеров искусства — своих современников — он звал служить народу. «Писать надо для миллионов», — говорил Толстой, и в этих словах нашла выражение его самая задушевная мысль, его главное стремление, цель всей его писательской деятельности.

В своем творчестве, в гениальных романах и повестях, пьесах и рассказах, Толстой дал образцы художественных произведений, нашедших путь к уму и сердцу миллионов людей.

К. Ломунов

Л. Н. ТОЛСТОЙ
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННОКОВ

С. А. ТОЛСТАЯ

МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ Л. Н. ТОЛСТОГО И СВЕДЕНИЯ О СЕМЕЙСТВЕ ТОЛСТЫХ И ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ГРАФА ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

24 октября 1876 года.

...Не было еще Льву Николаевичу восьми лет, как раз его отец застал его за какой-то хрестоматией, в которой маленький Левочка с большим увлечением и с интонациями читал стихи Пушкина «На смерть Наполеона». Отца поразила, вероятно, верность интонаций и увлечение ребенка; он сказал: «Каков Левка, как читает, ну-ка прочти еще раз». И, позвав из другой комнаты крестного отца Льва Николаевича — Семена Ивановича Языкова, он при нем заставил сына читать стихи Пушкина¹.

Судя по словам старых тетушек², которые мне рассказывали кое-что о детстве моего мужа, и также по словам моего деда Исленьева, который был очень дружен с Николаем Ильичом, маленький Левочка был очень оригинальный ребенок и чудак. Он, например, входил в залу и кланялся всем задом, откидывая голову назад и шаркая. А то раз его заперли в наказание в комнату во втором этаже³, а он выпрыгнул оттуда, следствием чего было то, что он сутки проспал, а потом остался совершенно здоров...

Льву Николаевичу... было двенадцать лет. Это было в 1840 году, который был голодным годом. Летом, живши в Ясной Поляне, все мальчишки имели своих лошадок. У Льва Николаевича была тоже своя, вороненькая лошадка. По случаю голода детским лошадям овса не давали, и они бегали в поле, мальчишки в шапках приносили чей-то овес и сами кормили своих лошадей.

И в голову им не приходило, что это овес какого-нибудь бедного мужика, так сильно было в то время чувство собственности.

В многочисленных экипажах, каретах потянулось все семейство осенью из Тулы в Казань⁴. В карете ехали меньшие с тетенькой Пелагеей Ильиничной. Дорогой шла целая жизнь. Останавливались иногда в поле, в лесу, собирали грибы, купались, гуляли...

Пять лет прожили Толстые в Казани. Каждое лето все семейство, сопровождаемое Пелагеей Ильиничной, отправлялось в Ясную Поляну. Барки нагружались вещами и прислугой и тянулись по Волге, семейство же путешествовало в экипажах. Каждую осень все возвращались в Казань, где все четыре брата вступили в университет. По собственному своему желанию вдруг Лев Николаевич решил, что он поступит на факультет восточных языков, и, не слушая никого, привел в исполнение свое решение, но не выдержал больше года и перешел на юридический факультет. Учился он плохо, всегда ему было трудно всякое навязанное другими образование, и всему, чему он в жизни выучился,— он выучился сам, вдруг, быстро, усиленным трудом.

Студенческая жизнь Льва Николаевича мало представляет интересного. Рассказывал он мне на мои вопросы о том, писал ли он тогда что-нибудь, что раз он почему-то много думал о том, что такое *симметрия*, и написал сам на это философскую статью в виде рассуждения. Статья эта лежала на столе, когда в комнату вошел товарищ братьев—Шувалов, с бутылками во всех карманах, собираясь пить. Он случайно увидал на столе эту статью и прочел ее. Его заинтересовала эта статья, и он спросил, откуда Лев Николаевич ее списал. Лев Николаевич робко ответил, что он ее сам сочинил⁵. Шувалов рассмеялся и сказал, что это он врет, что не может этого быть,—слишком ему показалось глубоко и умно для такого юноши. Так и не поверил, с тем и ушел.

На юридическом факультете пробыл Лев Николаевич менее двух лет. Братья, кончивши курс, уехали из Казани; пришло время им всем делиться. Оставшись один в университете, Лев Николаевич стал усердно готовиться к экзаменам 2-го курса, но тут он увлекся философией и решил, что учиться незачем. Философией стал он заниматься вот каким путем.

Был в Казанском университете молодой профессор Мейер; он обратил особенное внимание и заметил Льва Николаевича. Через студента Пекарского он велел передать студентам и в особенности Льву Николаевичу, чтоб кто-нибудь взял на себя труд написать сравнение наказа Екатерины с «*Esprit des lois*» Montesquieu *. С горячностью взялся за это дело Лев Николаевич⁶ и начал изучать Montesquieu, потом философию юридическую, потом философию вообще и бросил учиться, а с свойственной ему горячностью и увлечением весь отдался философии. Приехав в Ясную Поляну, он и сам вообразил себя Диогеном. Сшил себе длинный халат из грубой материи, который не снимал никогда, вел более суровый образ жизни и изучал философов...

В первый раз, живши в Москве, ему пришло в голову описать что-нибудь. Прочитав «*Voyage Sentimental*» par Sterne **, он, взволнованный и увлеченный этим чтением, сидел раз у окна, задумавшись, и смотрел на все происходящее на улице. «Вот ходит будочник, кто он такой, какова его жизнь; а вот карета проехала — кто там, и куда едет, и о чем думает; и кто живет в этом доме, какая внутренняя жизнь их... Как интересно бы было все это описать, какую можно бы было из этого сочинить интересную книгу...»

Он часто говорил мне, что лучшие воспоминания его жизни принадлежат Кавказу. Он много там читал, переводил Стерна, играл в шахматы с братом и офицерами; вел самую чистую, спокойную, нравственную жизнь... Потом охота и природа доставляли ему огромное наслаждение. Но, главное, на Кавказе он начал в первый раз свою авторскую деятельность. На Кавказе, в Тифлисе было написано «Детство», «Отрочество»...

Рассказывал он мне, что раз получили они на Кавказе «Отечественные записки» и Лев Николаевич стал читать статью о «Современнике», а там самые лестные похвалы о неизвестном авторе «Детства». Он говорил мне: «Лежу я в избе на нарах, а тут брат и Оголин, читаю и упиваюсь наслаждением похвал, даже слезы восторга душат меня, и думаю: «Никто не знает, даже вот они, что это меня так хвалят...»⁷

* «Дух законов» Монтескье (франц.).

** «Сентиментальное путешествие» Стерна (франц.).

В. Н. НАЗАРЬЕВ

ЖИЗНЬ И ЛЮДИ БЫЛОГО ВРЕМЕНИ

Однажды, в обеденное время, на крошечный дворик профессора бойко вкатил гнедой рысак, а затем в прихожей показался молодой человек в шинели военного покроя с бобровым воротником. Профессор эстетики мигом сбросил кацавейку и, очутившись в ученом мундире, повел гостя наверх, а покончив с ним и возвратившись обратно, сообщил, что приезжал граф Лев Николаевич Толстой, желающий поступить в Казанский университет, с просьбой подготовить его из русской словесности.

Вскоре начались уроки. В известные часы граф вместе с профессором взбирался на мезонин и проходил в кабинет. Изредка я тоже присутствовал на этих уроках, сторонясь от графа, с первого же раза оттолкнувшего меня напускной холодностью, щетинистыми волосами и презрительным выражением прищуренных глаз. В первый раз в жизни встретился мне юноша, преисполненный такой странной и непонятной для меня важности и преувеличенного довольства собою. Профессор все в том же неизменном полуженском костюме, несколько не смущаясь присутствием чопорного графа, тяжелыми шагами расхаживал по комнате и зычным голосом, точно в аудитории, переполненной слушателями, рассказывал что-нибудь интересное из истории русской литературы. Он объяснял значение «Слова о полку Игореве» как памятника дружинного эпоса, толковал о князе Курбском, Феофане Прокоповиче или, заливаясь смехом, передавал биографические подробности о Тредьяковском; но охотнее всего и с большим одушевлением говорил он о первом русском ученом из мужиков, Михаиле Васильевиче Ломоносове. При этом еще быстрее шагал

из угла в угол, размахивал руками, делал какие-то странные жесты и вообще одушевлялся до такой степени, что могучая фигура Ломоносова в моем воображении долгое время заслоняла собою остальных знаменитостей отечественной литературы.

По окончании урока граф тотчас же удалялся, не проронив ни слова при прощании.

На экзамен граф явился во фраке, в сопровождении не то родственника, не то гувернера. Как и следовало ожидать, все пошло как по писаному, добродушный инвалид не дремал и делал свое дело. Исполняя обязанность секретаря испытательного комитета, он в то же время зорко следил за своими питомцами и в критическую минуту с своей обычной улыбкой являлся на выручку и заговаривал с экзаменатором. Строгое, казалось неумолимое, лицо последнего тотчас же смягчалось, морщины сглаживались, и между коллегами начинался веселый разговор, после которого вставший в тупик питомец отпускался с любезной улыбкой.

Отуманенный неожиданной и далеко не заслуженной честью носить синий воротник, я в первое время ходил в университет как на праздник и, вооруженный бумагой и пером для записывания лекций, которых не понимал, ранее других являлся в длинном коридоре.

Изредка и только на лекциях истории, обязательных для всех факультетов двух первых курсов (исключая медиков), сталкивался я с графом, примкнувшим, невзирая на свою неуклюжесть и застенчивость, к небольшому кружку так называемых аристократов. Он едва отвечал на мои поклоны, точно хотел показать, что и здесь мы далеко не равны, так как он приехал на рысаке, а я пришел пешком.

После неудачного экзамена граф перешел на юридический факультет, и благодаря такой случайности мы уже ежедневно встречались в коридоре. С тем же недоумением и любопытством продолжал я наблюдать надменной фигурой графа, вдобавок носившую на себе отпечаток раздражения по случаю неудачного экзамена. Если не ошибаюсь, то в это время приехал в Казань герцог Лейхтенбергский и своим приездом вызвал ряд торжеств и балов.

С своей стороны университетское начальство составило список студентов, долженствовавших танцевать на

бале у губернского предводителя. В этот список попал и граф Толстой, но после отъезда герцога, когда воспоминания о бале сделались предметом оживленных толков так называемого аристократического кружка, граф держался в стороне, не принимая никакого участия, а его товарищи видимым образом относились к нему, как к большому чудаку и философу. Наблюдая все это, я терялся в догадках, не зная, как определить характер графа.

После рождественских праздников¹, когда снова начались лекции, я как-то запоздал на лекцию желчного профессора истории², всегда готового провалить студента, особенно из числа так называемых аристократов и ловких кавалеров, к которым он питал заметную и нескрываемую ненависть.

Стою в пустом коридоре у дверей аудитории, с замиранием сердца прислушиваюсь к плавной речи профессора и думаю, какой же я получу нагоняй в присутствии массы студентов. В эту минуту к той же двери подошел запыхавшийся от волнения, красный, с каплями пота на лбу, взъерошенный более обыкновенного граф. Между тем из глубины коридора быстрыми неслышными шагами, с зловещим, угрожающим видом уже летел на нас субинспектор Зоммер. Нечего было медлить, я отворил роковую дверь, она мучительно заскрипела, и мы с Толстым очутились в громадной аудитории, стараясь незаметно проскользнуть на верхние парты. Профессор бросил на нас грозный взгляд и с еще более напускным пафосом продолжал рассказ о походе Иоанна Грозного на Казань.

На другой день, в 8 часов утра, я уже получил приказание явиться к инспектору студентов.

Предчувствуя что-то недоброе, я пошел в канцелярию университета и, выслушав строгий выговор за то, что опоздал на лекцию, в сопровождении вахмистра с целым рядом медалей на груди, отправился в шестую аудиторию под арест³.

Дверь захлопнулась... Я остался один в огромной пустой комнате, среди невозмутимой тишины, а оживленное, праздничное движение на Воскресенской улице еще более увеличивало тяжесть заключения...

Несколько успокоившись и устроившись на скамье, я только что принялся за чтение Лермонтова, как в кори-

доре раздались чьи-то шаги, дверь отворилась, и перед глазами моими предстал граф Толстой в серой шинели военного покроя. Его сопровождал тот же вахмистр, но далеко более вежливый, искательный и тотчас же разрешивший графу иметь в коридоре своего слугу для посылок.

Сбросив шинель и не снимая фуражки, не обращая на меня никакого внимания, граф быстро заходил назад и вперед, заглядывал в окна, расстегивал и застегивал сюртук и вообще обнаруживал нетерпение и недовольство своим глупым положением...

Он отворил дверь и громко, точно у себя в квартире, позвал слугу.

— Скажи кучеру (вероятно, дожидавшемуся у подъезда), чтобы он проехал мимо окон,— приказал граф.

— Слушаю! — отвечал вошедший слуга, а недовольный граф расположился у одного из окон с намерением как-нибудь убить время.

Я продолжал читать, но наконец не выдержал и тоже подошел к окну. Мимо нас по улице то шагом, то крупной рысью, вытянув вперед руки, пронесился кучер.

Мы перекинулись двумя-тремя словами относительно рысака, а час спустя уже вступили в горячий, нескончаемый спор...

Десятки лет уже разделяют меня с сутками, проведенными глаз на глаз с графом Толстым, и, невольно с каждым годом все более подчиняясь влиянию его гениального таланта, мне бог знает как бы хотелось припомнить каждое слово, сказанное им во время нашего невольного заключения, но в памяти уцелело только общее впечатление, общий смысл наших разговоров. Помню, что, заметив «Демона» Лермонтова, Толстой иронически отнесся к стихам вообще, а потом, обратившись к лежавшей возле меня истории Карамзина, напустился на историю как на самый скучный и чуть ли не бесполезный предмет.

— История,— рубил он сплеча,— это не что иное, как собрание басен и бесполезных мелочей, пересыпанных массой ненужных цифр и собственных имен. Смерть Игоря, змея, ужалившая Олега, что же это, как не сказки, и кому нужно знать, что второй брак Иоанна на дочери Темрюка совершился 21 августа 1562 года, а четвертый, на Анне Алексеевне Колтовской,— в 1572 году,—

а ведь от меня требуют, чтобы я задолбил все это, а не знаю, так ставят единицу. А как пишется история: все пригоняется к известной мерке, измышленной историком. Грозный царь, о котором в настоящее время читает профессор Иванов, вдруг с 1560 года из добродетельного и мудрого превращается в бессмысленного, свирепого тирана. Как и почему, об этом уже не спрашивайте...— приблизительно в таком роде рассуждал мой собеседник.

Меня сильно озадачила такая резкость суждений, тем более что я считал историю своим любимым предметом.

Незаметно наступил вечер, графский лакей принес свечи, в углах аудитории царил мрак, а во всем громадном здании университета какая-то подавляющая тишина.

Прижавшись в угол и завернувшись в шинель, я пожелал своему собеседнику покойной ночи, но он решительно воспротивился моему намерению, удивляясь, каким образом можно спать на голых досках.

Делать было нечего, и мы снова принялись спорить, а вся неотразимая для меня сила сомнений Толстого обрушилась на университет и университетскую науку вообще. «Храм наук» уже не сходил с его языка. Оставаясь неизменно серьезным, он в таком смешном виде рисовал портреты наших профессоров, что, при всем желании оставаться равнодушным, я хохотал, как помещанный.

— А между тем,— заключил Толстой,— мы с вами вправе ожидать, что выйдем из этого храма полезными, знающими людьми. А что вынесем мы из университета? Подумайте и отвечайте по совести. Что вынесем мы из этого святилища, возвратившись восвояси в деревню, на что будем пригодны, кому нужны? — настойчиво допрашивал Толстой.

Измученный бессонницей, я только слушал и упорно молчал.

Едва забрезжилось утро, как дверь отворилась — вошел вахмистр и, раскланявшись, объявил, что мы свободны и можем расходиться по домам.

Толстой нахлобучил фуражку на глаза, завернулся в шинель с бобрами, слегка кивнул мне головой, еще раз ругнул храм и скрылся в сопровождении своего слуги и вахмистра. Я тоже поспешил выбраться и вздохнул во всю грудь, отделившись от своего собеседника и очутившись на морозе, среди безлюдной, только-только просы-

павшейся улицы. Отяжелевшая, точно после угара, голова была переполнена никогда еще не забиравшимися в нее сомнениями и вопросами, навеянными странным, решительно непонятым для меня товарищем по заключению...

В последний раз встретились мы на переводных экзаменах, обыкновенно происходивших в университетской актовом зале. Юристы первых двух курсов, обезумев от страха, ожидали экзамена кровожадного профессора истории.

Вызывают графа Толстого, он подходит к столу и берет билет; я пробираюсь как можно ближе и с нетерпением жду, что будет. Мне любопытно было послушать, как отличится мой бывший собеседник, которого в глубине души я уже признавал выходящим из ряда вон.

Я мог что-нибудь забыть, перепутать в своих воспоминаниях, но смутное сознание чего-то выдающегося, особенного и в то же время непонятого, что заключалось в графе Толстом, это сознание живо помнится мне, и я твердо уверен, что не ошибаюсь в этом.

Прошла минута, две, несколько минут. Я ждал с замиранием в сердце, между тем как Толстой смотрел на билет, краснел и молчал. Ему предложили переменить билет, с которым повторилась та же история. Профессор тоже молчал, вперив в студента насмешливый, ядовитый взгляд. Разыгравшаяся передо мной тяжелая сцена кончилась тем, что граф положил билет, повернулся и, не обращая ни на кого внимания, не торопясь направился к выходным дверям.

— Нуль, нуль, закатил нуль...— шептались вокруг меня.

Я потерял голову от волнения, а в ближайшей группе аристократов, разодетых точно на бал и ожидавших такой же участи, передавался слух, что какие-то дамы высшего круга пристудили к профессору истории с просьбой пощадить графа и тот торжественно обещал не ставить ему единицы.

— А ведь ловко нашелся— поставил нуль и прав... ловко извернулся...— толковали студенты.

Я прислушивался к насмешкам и остротам, сыпавшимся со всех сторон на голову Толстого, но в глубине души готов был поклясться, что он знал предмет не хуже других, мог отвечать— и только не хотел... По-

чему поступил он так, а не иначе, чем было вызвано его упорное молчание — чрезмерной застенчивостью или гордостью, этого я уже никак не мог понять и объяснить себе.

После экзаменов я не встречал более Толстого в Казани и уже лет четырнадцать — пятнадцать спустя неожиданно столкнулся с ним на лестнице петербургского дома Краевского, на Литейной, где в то время жили Панаев с Некрасовым. В самых дверях квартиры Ивана Ивановича Панаева я столкнулся с господином в шубе и артиллерийской фуражке. Глаза наши встретились, и я тотчас же узнал графа Толстого, тогда уже известного писателя. Я остановился как вкопанный и следил за ним, пока он не повернул в улицу. В изящном кабинете Панаева я нашел Некрасова в халате по случаю болезни, Гербеля в уланском мундире с красными отворотами, Языкова и в стороне, всегда державшегося особняком, Добролюбова. Между собеседниками шел оживленный разговор, предметом которого был только что покинувший общество граф Толстой.

— Как жаль, что опоздали... ну что бы вам приехать пораньше, — обратился ко мне всегда и для всех одинаково приветливый и радушный Панаев. — Вот бы послушались всяких чудес... узнали бы, что Шекспир дюжинный писака и что наше удивление и восхищение Шекспиром не более как желание не отставать от других и привычка повторять чужие мнения. Да-с, это курьез... человек не хочет знать никаких традиций, ни теоретических, ни исторических, — и между собеседниками снова завязался оживленный разговор о том же загадочном, давно уже непонятном для меня человеке...⁴

Интересовали меня продолжительные беседы о Толстом с одним весьма симпатичным артиллерийским полковником, вместе с которым я провел лето на Балтийском море близ Риги. Бывший товарищ Толстого по Севастополю с видимым удовольствием вспоминал о графе и времени, проведенном с ним в одной батарее. Он даже узнавал себя в одном из героев севастопольских рассказов графа.

— Так скажу, — с блаженной улыбкой повествовал старик, — Толстой своими рассказами и наскоро набросанными куплетами одушевлял всех и каждого в трудные минуты боевой жизни. Он был, в полном смысле,

душой батареи. Толстой с нами — и мы не видим, как летит время, и нет конца общему веселью... Нет графа, укатил в Симферополь — и все носы повесили. Пропадает день, другой, третий... Наконец возвращается... ну точь-в-точь блудный сын — мрачный, исхудалый, недовольный собой... Отведет меня в сторону, подальше, и начнет покаяние. Все расскажет, как кутил, играл, где проводил дни и ночи, и при этом, верите ли, казнится и мучится, как настоящий преступник... Даже жалко смотреть на него — так убивается... Вот это какой был человек. Одним словом, странный и, говоря правду, не совсем для меня понятный, а с другой стороны, это был редкий товарищ, честнейшая душа, и забыть его решительно невозможно.

Р. ЛЕВЕНФЕЛЬД

РАЗГОВОРЫ С ТОЛСТЫМ И О ТОЛСТОМ

— Как это объяснить, Лев Николаевич,— спросил я,— что вы так круто оборвали свое университетское образование, когда вся ваша жизнь есть одно сплошное стремление к расширению своих познаний? Я этого никак не могу себе объяснить.

— Да,— отвечал граф,— я прервал мои университетские занятия, конечно, не без причины. Меня совсем не интересовало то, что читали наши профессора в Казани. Я около года посвятил изучению восточных языков, но больших успехов не сделал. Я горячо отдавался всему, читал бесконечное количество книг, но все в одном направлении. Когда меня интересовывал какой-нибудь вопрос, то я, не сворачивая ни вправо, ни влево, старался познакомиться со всем, что могло бросить свет на этот интересующий меня вопрос. Так было со мной и в Казани. На второй и на третий год я занялся изучением права. Из всех профессоров юридического факультета меня привлек только профессор Мейер. С ним я сошелся ближе. Он задал мне работу — сравнить «Дух законов» Монтескье с «Наказом» Екатерины Второй, и я так углубился в эту работу, что бросил все другие занятия и потерял охоту готовиться к экзаменам. В это время уезжали из Казани мои старшие братья, и я почувствовал себя одиноким. И вот в один прекрасный день я уложил свой чемодан и отправился в Ясную Поляну.

— И здесь в действительности разыгралась та сцена, которая нарисована вами в «Утре помещика»?

— Да, это так, и вот мы с вами в той самой деревне, где молодой помещик пережил все свои разочарования...

Мне было очень приятно жить здесь с тетушкой Ергольской, но неопределенная жажда знания снова увлекла меня вдаль. Это было в 1848 году¹, я все еще раздумывал, за что мне приняться. В Петербурге мне открывались две дороги. Я мог поступить в армию, чтобы принять участие в Венгерском походе, и мог закончить свои университетские занятия, чтобы по окончании их получить место чиновника. Но моя жажда знания победила мое честолюбие, и я вновь принялся за занятия. Я выдержал даже два экзамена по уголовному праву, как вдруг все мои благие намерения рухнули. Наступила весна, и прелесть деревенской жизни вновь потянула меня в имение...

Ю. И. ОДАХОВСКИЙ

ВОСПОМИНАНИЯ О Л. Н. ТОЛСТОМ

В 1855 году, после Инкерманского дела, наша батарея (3-я легкая 11-й бригады), участвовавшая в этом деле, была помещена в Бельбеке (в 15—20 верстах от Севастополя) и стояла в резерве, когда прибыл в нее граф Л. Н. Толстой, в чине поручика, с которым я тут лично познакомился впервые (раньше же я, как и другие офицеры, конечно, слышал о Толстом как писателе и читал его произведения)...

Стоянка в Бельбеке была очень скучная. Батарея в Инкерманском сражении понесла большой урон и стояла без дела. Каждый офицер имел свой барак, наскоро сколоченный из досок солдатами. Обедали все вместе, по обычаю, у командира батареи капитана Филимонова. Обилие свободного времени наталкивало на более близкое знакомство, сближало, и прибывший граф Толстой скоро сделался душой нашего небольшого кружка.

Наружность Толстого была некрасивой, но говорил он хорошо, быстро, остроумно и увлекал всех слушателей беседами и спорами.

Толстой сражался часто с нами в карты, но постоянно проигрывал. Впрочем, игра была у него несерьезная, «от нечего делать», так как, кроме офицеров батареи, в ней никто не участвовал. Толстой по ночам играл в карты, днем же сидел в своем бараке один и писал; я заходил к нему в барак и часто заставлял его за литературной работой, но о работе этой с ним не заговаривал...

Графа Толстого все очень полюбили за его характер. Он не был горд, а доступен, жил как хороший товарищ

с офицерами, но с начальством вечно находился в оппозиции (хотя на Бельбеке у него больших столкновений не выходило), вечно нуждался в деньгах, спуская их в карты...

На Бельбеке мы простояли сравнительно недолго — с 24 октября по 27 марта, встретили там Новый год и приняли присягу. Затем нас двинули в Севастополь, осада которого была в полном ходу... Я и граф Толстой очутились в резерве, то есть в бездействии. Офицеры батареи, в том числе и Толстой, разместились по отдельным квартирам на Екатерининской улице, у главной Екатерининской пристани...

Ежедневно на обед в мою квартиру собирались граф Толстой и другие, свободные от службы (вылазок, дежурства) офицеры, хотя редкий день мы могли сойтись все вместе. Эти обеды соединяли наше общество. После обеда начинались оживленные беседы, споры, шутки. Приходили ко мне и посторонние офицеры, как, например, граф Тотлебен — тогда еще простой инженерный подполковник. Граф Толстой и другие нападали на Тотлебена, критикуя построенные им и инженерами укрепления (например, Язоновский редут, находя, что он слишком выдвинут), а Тотлебен нападал на артиллеристов и в свою очередь критиковал их действия. Все подобные споры происходили в мирном, товарищеском тоне. Во время обедов рассказывались севастопольские новости, и граф Толстой собирал материал для своих будущих произведений. В квартире моей стоял рояль. Обыкновенно, после того как выпьем водки и прилично закусим, граф Толстой садился за этот рояль — играл нам и пел шутовские песни, им же сочиненные, под аккомпанемент рояля, рассказывал анекдоты, читал нам сочиненные им в Севастополе на злобы дня и на начальство стихотворения¹, придумывал новые игры и забавы, рассказывал о своих похождениях. Вообще по-прежнему, как и в Бельбеке, он был душой нашего общества.

Стоянка с батареей в резерве, видимо, томила графа Толстого: он часто, без разрешения начальства, отправлялся на вылазки с чужими отрядами, просто из любопытства, как любитель сильных ощущений, быть может и для изучения быта солдат и войны, а потом рассказывал нам подробности дела, в котором участвовал.

Иногда Толстой куда-то пропадал, и только потом мы узнавали, что он или находился на вылазках как доброволец, или проигрывался в карты. И он нам каялся в своих грехах.

Часто Толстой давал товарищам лист бумаги, на котором были набросаны окончательные рифмы: мы должны были подбирать к ним остальные начальные слова. Кончалось тем, что Толстой сам подбирал их, иногда в очень нецензурном смысле. В таких шутках в обществе Толстого мы коротали послеобеденное время...

В Севастополе начались у графа Толстого вечные столкновения с начальством. Это был человек, для которого много значило застегнуться на все пуговицы, застегнуть воротник мундира,— человек, не признававший дисциплины и начальства. Всякое замечание старшего в чине вызывало со стороны Толстого немедленную дерзость или едкую, обидную шутку.

Так как граф Толстой прибыл с Кавказа, то начальник штаба всей артиллерии Севастополя, генерал Крыжановский (впоследствии генерал-губернатор), назначил его командиром горной батареи...

Тут, во время командования горною батареей, у Толстого скоро и произошло первое серьезное столкновение с начальством. Дело в том, что по обычаю того времени батарея была доходной статьею, и командиры батареи все остатки от фуража клали себе в карман. Толстой же, сделавшись командиром батареи, взял да и записал на приход весь остаток фуража по батарее. Прочие батарейные командиры, которых это било по карману и подводило в глазах начальства, подняли бунт: ранее никаких остатков никогда не бывало и их не должно было оставаться... Принялись за Толстого. Генерал Крыжановский вызвал его и сделал ему замечание. «Что же это вы, граф, выдумали? — сказал он Толстому. — Правительство устроило так для вашей же пользы. Вы ведь живете на жалованье. В случае недостачи по батарее чем же вы пополните? Вот для чего у каждого командира должны быть остатки... Вы всех подвели.» — «Не нахожу нужным оставлять эти остатки у себя! — резко отвечал Толстой. — Это не мои деньги, а казенные!»

А. В. ДРУЖИНИН

ИЗ ДНЕВНИКА

1855

23 ноября. Среда.

Вчера обедал у Некрасова с новыми, весьма интересными лицами: туристом Ковалевским и Л. Н. Толстым. Оба из Севастополя.

Четверг. 1 декабря.

К Тургеневу, и обедал у него с... Толстым и Долгоруким... Пели, врали, слушали рассказы о Севастополе.

Воскресенье. 4 декабря.

...Попал к Тургеневу. Обедал еще бородатый Максель, а после обеда Толстой читал очень хорошие главы из своей «Юности»... Вечером я сvez Толстого к А. М. Тургеневу, и до половины первого мы предавались тихой беседе.

Понедельник. 5 декабря.

...Толстой представил мне мальчика — поэта Апухтина из училища правоведения.

Среда. 7 декабря.

Обедал у Некрасова... Толстой, Бекетов, Иван Иванович с супругой. Перед обедом был Гончаров — он поступает в цензора. Толстой вел себя милейшим троглодитом, башибузуком и редифом. Он не знал, например, что значит цензурный комитет и какого он министерства, потом объявил, что не считает себя литератором, и т. д. Мы

проехали к больному Тургеневу, и там сей (1 нрзб.) объявил, что удивляться Шекспиру и Гомеру может лишь человек, пропитанный фразою.

Суббота. 10 декабря.

Пятница была проведена таким образом... Конец вечера, то есть до 1½, провел у Тургенева, где по случаю болезни хозяина происходят отличные рауты. Были Надя, Краснокутский, Фредро, Маркевич, Жемчужников, а потом Иславин, и Толстой, и Панаев... Изящному посвятили несколько времени, читая сцены из комедии Островского «Не так живи, как хочется». Груша в комедии всех пленила ¹.

Понедельник. 12 декабря.

Воскресенье — день истинно башибузукский, дикий и глупый. Из дома выехал я в 7 часов к Иславину. Ждем Толстого до 9 — вотще. Заезжаем к нему, нам говорят, что он, Тургенев, Соллогуб и другие лица в Hotel Napoléon. Что бы это значило? Едем туда, и дело объясняется. Башибузук закутил и дает вечер у цыган на последние свои деньги. С ним Тургенев, в виде скелета на египетском пире, Долгорукий и Горбунов...

Среда. 14 декабря.

Пришли Языков, Панаев и Тургенев с обеда у Ковалевского, Тургенев в великом озлоблении на башибузука за его мотовство и нравственное безобразие.

Вторник. 20 декабря.

Вечеру Толстой читал начало «Севастополя в августе». Этот милейший товарищ, кажется, остается в Петербурге, чему мы все весьма рады.

Среда. 28 декабря.

...Обедал у Тургенева с Ковалевским, Анненковым, Толстым и пр. Анненков был забавен, а Толстой и Тургенев спорили чуть не до слез... На вечере у Некрасова видел братьев Жемчужниковых и слышал еще частичку «Севастополя в августе». Наш милейший башибузук Толстой есть талант первоклассный.

3 января. Вторник.

Обедало 14 человек. Между прочими Маслов, Ребиндер и Панаев, последнее время невидимый. После обеда читали стихи Огарева и Пушкина, Тургенев спорил с Толстым по обыкновению ².

Воскресенье. 29 января.

Обедали у Некрасова с вернувшимся башибузуком Толстым ³, Тургеневым, Гончаровым и Григоровичем. После обеда читали предполагаемое собрание очищенных творений Фета ⁴. Впечатление осталось отличное...

Во вторник, после обеда у Некрасова, читал в ареопаге все, что было готово из «Короля Лира» ⁵... Вот мои слушатели: Толстой, Майков, Некрасов, Анненков, Гончаров, Фет, Панаев, Григорович. Самым пламенным оказался Павел Васильевич. Теперь дело о «Лире» есть дело решенное. Вечером я и Тургенев сидели у Толстого, вразумляя его насчет Шекспира.

Вторник. 14 февраля.

Генеральный обед у Некрасова. Пили здоровье Островского. Потом Толстой и Григорович передали мне какой-то странный план о составлении журнальной компании, исключительного сотрудничества в «Современнике», с контрактом, дивидендами... В субботу обо всем этом будет говорено серьезнее, но я не вполне одобряю весь замысел ⁶...

Среда. 15 февраля.

Утром по плану Толстого сошлись у Левицкого я, Тургенев, Григорович, Толстой, Островский, Гончаров, а перед нами Ковалевский. Сняли фотографиями наши лица... Пересматривали портреты свои и чужие, беседовали и убивали время. Общая группа долго не давалась, наконец удалась по желанию ⁷.

Понедельник. 27 февраля.

В субботу... справляли новоселье у Толстого. Тут был один любезный человек, кавказский герой Кутлер ⁸.

Д. В. ГРИГОРОВИЧ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Вернувшись из Марьинского¹ в Петербург, я встретился с графом Л. Н. Толстым. Знакомство мое с ним началось еще в Москве, у Сушковых, когда он носил военную форму. Он жил в Петербурге на Офицерской улице, в нижнем этаже небольшой квартиры, как раз окно в окно литератора М. Л. Михайлова. С ним, кажется, он не был знаком. Наем постоянного жительства в Петербурге необъясним был для меня; с первых же дней Петербург не только сделался ему несимпатичным, но все петербургское заметно действовало на него раздражительно.

Узнав от него в самый день свидания, что он сегодня зван обедать в редакцию «Современника» и, несмотря на то, что уже печатал в этом журнале, никого там близко не знает, я согласился с ним ехать. Дорогой я счел необходимым предупредить его, что там не следует касаться некоторых вопросов и преимущественно удерживаться от нападок на Ж. Занд, которую он сильно не любил, между тем как перед нею фанатически преклонялись в то время многие из членов редакции. Обед прошел благополучно; Толстой был довольно молчалив, но к концу он не выдержал. Услышав похвалу новому роману Ж. Занд, он резко объявил себя ее ненавистником, прибавив, что героинь ее романов, если б они существовали в действительности, следовало бы, ради назидания, привязывать к позорной колеснице и возить по петербургским улицам². У него уже тогда выработался тот своеобразный взгляд на женщин и женский вопрос, который

потом выразился с такою яркостью в романе «Анна Каренина».

Сцена в редакции могла быть вызвана его раздражением против всего петербургского, но скорее всего — его склонностью к противоречию. Какое бы мнение ни высказывалось и чем авторитетнее казался ему собеседник, тем настойчивее подзадоривало его высказать противоположное и начать резаться на словах. Глядя, как он прислушивался, как всматривался в собеседника из глубины серых, глубоко запрятанных глаз и как иронически сжимались его губы, он как бы заранее обдумывал не прямой ответ, но такое мнение, которое должно было озадачить, сразить своею неожиданностью собеседника. Таким представлялся мне Толстой в молодости. В спорах он доходил иногда до крайностей. Я находился в соседней комнате, когда раз начался у него спор с Тургеневым; услышав крики, я вошел к спорившим. Тургенев шагал из угла в угол, выказывая все признаки крайнего смущения; он воспользовался отворенной дверью и тотчас же скрылся. Толстой лежал на диване, но возбуждение его настолько было сильно, что стоило немало трудов его успокоить и отвезти домой. Предмет спора мне до сих пор остался незнаком...

А. А. ФЕТ

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

...Три-четыре дня моего пребывания на этот раз в Петербурге я проводил преимущественно в литературном кругу. Тургенева я нашел уже на новой и более удобной квартире в том же доме Вебера¹, и слугою у него был уже не Иван, а известный всему литературному кругу Захар. Тургенев вставал и пил чай (по-петербургски) весьма рано, и в короткий мой приезд я ежедневно приходил к нему к десяти часам потолковать на просторе. На другой день, когда Захар отворил мне переднюю, я в углу заметил полусаблю с аннинской лентой.

— Что это за полусабля? — спросил я, направляясь в дверь гостиной.

— Сюда пожалуйста, — вполголоса сказал Захар, указывая налево в коридор. — Это полусабля графа Толстого, и они у нас в гостиной ночуют². А Иван Сергеевич в кабинете чай кушают.

В продолжение часа, проведенного мною у Тургенева, мы говорили вполголоса из боязни разбудить спящего за дверью графа.

— Вот все время так, — говорил с усмешкой Тургенев. — Вернулся из Севастополя с батареи, остановился у меня и пустился во все тяжкие. Кутежи, цыгане и карты во всю ночь; а затем до двух часов спит, как убитый. Старался удерживать его, но теперь махнул рукою.

В этот же вечер мы и познакомились с Толстым, но знакомство это было совершенно формальное, так как я в то время еще не читал ни одной его строки и даже не слышал о нем как о литературном имени, хотя Тургенев толковал о его рассказах из детства. Но с первой минуты я заметил в молодом Толстом невольную оппо-

зицию всему общепринятому в области суждений. В это короткое время я только однажды видел его у Некрасова вечером в нашем холостом литературном кругу и был свидетелем того отчаяния, до которого доходил кипящийся и задыхающийся от спора Тургенев на видимо сдержанные, но тем более язвительные возражения Толстого.

— Я не могу признать,— говорил Толстой,— чтобы высказанное вами было вашими убеждениями. Я стою с кинжалом или саблею в дверях и говорю: «Пока я жив, никто сюда не войдет». Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрывать сущность ваших мыслей и называете это убеждением.

— Зачем же вы к нам ходите? — задыхаясь и голосом, переходящим в тонкий фальцет (при горячих спорах это постоянно бывало), говорил Тургенев.— Здесь не ваше знамя! Ступайте к княгине Белосельской-Белозерской!

— Зачем мне спрашивать у вас, куда мне ходить! И праздные разговоры ни от каких моих приходов не превратятся в убеждения³.

Припоминая теперь это едва ли не единственное столкновение Толстого с Тургеневым, которому я в то время был свидетелем, не могу не сказать, что хотя я понимал, что дело идет о политических убеждениях, но вопрос этот так мало интересовал меня, что я не старался вникнуть в его содержание. Скажу более. По всему слышанному мною в нашем кружке полагаю, что Толстой был прав и что если бы люди, тяготившиеся современными порядками, были принуждены высказать свой идеал, то были бы в величайшем затруднении формулировать свои желания.

Кто из нас в те времена не знал веселого собеседника, товарища всяческих проказ и мастера рассказать смешной анекдот,— Дмитрия Васильевича Григоровича, славившегося своими повестями и романами?

Вот что, между прочим, передавал мне Григорович о столкновениях Толстого с Тургеневым на той же квартире Некрасова. «Голубчик, голубчик,— говорил, захлебываясь и со слезами на глазах, Григорович, глядя меня по плечу.— Вы себе представить не можете, какие тут были сцены. Ах, боже мой! Тургенев пищит, пищит, зажмет рукою горло и с глазами умирающей газели про-

шепчет: «Не могу больше! У меня бронхит!» и громадными шагами начинает ходить вдоль трех комнат. «Бронхит,— ворчит Толстой вослед,— бронхит — воображаемая болезнь. Бронхит — это металл!» Конечно, у хозяйна — Некрасова — душа замирает: он боится упустить и Тургенева и Толстого, в котором чувствует капитальную опору «Современника», и приходится лавировать. Мы все взволнованы, не знаем, что говорить. Толстой в средней проходной комнате лежит на сафьяновом диване и дуется, а Тургенев, раздвинув полы своего короткого пиджака, с заложенными в карманы руками, продолжает ходить взад и вперед по всем трем комнатам. В предупреждение катастрофы подхожу к дивану и говорю: «Голубчик Толстой, не волнуйтесь! Вы не знаете, как он вас ценит и любит!»

— Я не позволю ему,— говорит с раздувающимися ноздрями Толстой,— ничего делать мне назло! Это вот он нарочно теперь ходит взад и вперед мимо меня и виляет своими демократическими ляжками!»

...У нас иногда по вечерам составлялись дуэты, на которые приезжала пианистка и любительница музыки графиня М. Н. Толстая, иногда в сопровождении братьев — Николая и Льва,— или же одного Николая, который говорил:

— А Левочка опять надел фрак и белый галстук и отправился на бал...

Он, видимо, обожал младшего своего брата Льва. Но надо было слышать, с какой иронией он отзывался о его великосветских похождениях...

И. П. Борисов, бывший сам человеком недюжинным и выдавший Льва Толстого еще на Кавказе, не мог, конечно, с первой встречи с ним в нашем доме не подпасть под влияние этого богатыря. Но в то время увлечение Л. Толстого щегольством бросалось в глаза, и, видя его в новой бекеше с седым бровным воротником, с вьющимися длинными темно-русыми волосами под блестящею шляпой, надетой набекрень, и с модной тростью в руке выходящего на прогулку, Борисов говорил про него словами песни:

Он и тросточкой подпирается,
Он калиновой похваляется.

В то время у светской молодежи входили в моду гимнастические упражнения, между которыми первое место занимало прыганье через деревянного коня. Бывало, если нужно захватить Льва Николаевича во втором часу дня, падо отправляться в гимнастический зал на Большой Дмитровке. Надо было видеть, с каким одушевлением он, одевшись в трико, старался перепрыгнуть через коня, не задевши кожаного, набитого шерстью, конуса, поставленного на спине этого коня. Не удивительно, что подвижная, энергическая натура двадцатидевятилетнего Л. Толстого требовала такого усиленного движения ⁴...

...Громека от 15 января ⁵ писал:

«Согласно вашей просьбе, спешу уведомить вас, милый Афанасий Афанасьевич, что на этих днях, около 18 или 20 числа, я еду на медведя. Передайте Толстому, что мною куплена медведица с двумя медвежатами (годовалыми) и что если ему угодно участвовать в нашей охоте, то благоволит к 18 или 19 числу приехать в Волочок, прямо ко мне...»

Для большей убедительности известный вожак на медвежьих охотах, Осташков, явился на квартиру Толстых. Его появление в среде охотников можно только сравнить с погружением раскаленного железа в воду. Все забурлило и зашумело. Ввиду того, что каждому охотнику на медведя рекомендовалось иметь с собою два ружья, граф Лев Николаевич выпросил у меня мою немецкую двустволку, предназначенную для дроби. В условленный день наши охотники (Лев Николаевич и Николай Николаевич) отправились на Николаевский вокзал. Добросовестно передам здесь слышанное мною от самого Льва Николаевича и сопровождавших его на медвежьей охоте товарищей.

Когда охотники, каждый с двумя заряженными ружьями, были расставлены вдоль поляны, проходившей по изборожденному в шахматном порядке просеками лесу, то им рекомендовали пошире отоптать вокруг себя глубокий снег, чтобы таким образом получить возможно большую свободу движений. Но Лев Николаевич, становясь на указанном месте, чуть не по пояс в снег, объявил отаптывание лишним, так как дело состояло в стрельбе в медведя, а не в ратоборстве с ним. В таком соображении граф ограничился поставить свое заряженное ружье

к стволу дерева так, чтобы, выпустив своих два выстрела, бросить свое ружье и, протянув руку, схватить мое. Поднятая Осташковым с берлоги громадная медведица не заставила себя долго ждать. Она бросилась к долине, вдоль которой расположены были стрелки, по одной из перпендикулярных к ней продольных просек, выходявших на ближайшего справа ко Льву Николаевичу стрелка, вследствие чего граф даже не мог видеть приближения медведицы. Но зверь, быть может учуяв охотника, на которого все время шел, вдруг бросился по поперечной просеке и внезапно очутился в самом недалеком расстоянии на просеке против Толстого, на которого стремительно помчался. Спокойно прицелясь, Лев Николаевич спустил курок, но, вероятно, промахнулся, так как в клубе дыма увидел перед собою набегающую массу, по которой выстрелил почти в упор и попал пулею в зев, где она завязла между зубами. Отпрянуть в сторону граф не мог, так как неотоптанный снег не давал ему простора, а схватить мое ружье не успел, получивши в грудь сильный толчок, от которого навзничь повалился в снег. Медведица с разбегу перескочила через него.

«Ну,— подумал граф,— все кончено. Я дал промах и не успею выстрелить по ней другой раз». Но в ту же минуту он увидел над головою что-то темное. Это была медведица, которая, мгновенно вернувшись назад, старалась прокусить череп ранившему ее охотнику. Лежащий навзничь, как связанный, в глубоком снегу Толстой мог оказывать только пассивное сопротивление, стараясь по возможности втягивать голову в плечи и подставлять лохматую шапку под зев животного. Быть может, вследствие таких инстинктивных приемов зверь, промахнувшись зубами раза с два, успел только дать одну значительную хватку, прорвав верхними зубами щеку под левым глазом и сорвав нижними всю левую половину кожи со лба. В эту минуту случившийся поблизости Осташков, с небольшой, как всегда, хворостиной в руке, подбежал к медведице и, расставив руки, закричал свое обычное: «Куда ты? куда ты?» Услыхав это восклицание, медведица бросилась прочь со всех ног, и ее, как помнится, вновь обошли и добились на другой день.

Первым словом поднявшегося на ноги Толстого с отвисшею на лицо кожей со лба, которую тут же перевязали платками, было: «Что-то скажет Фет?»⁶

...Однажды, когда мы после завтрака в двенадцать часов взошли с женою на наши антресоли и я расположился читать что-то вслух, на камнях у подъезда раздался железный лязг, и вошедший слуга доложил, что граф Н. Н. Толстой желает вас видеть... На расспросы наши о Льве Николаевиче граф с видимым наслаждением рассказывал о любимом брате. «Левочка,— говорил он,— усердно ищет сближения с сельским бытом и хозяйством, с которыми, как и все мы, до сих пор знаком поверхностно. Но уж не знаю, какое тут выйдет сближение: Левочка желает все захватить разом, не упуская ничего, даже гимнастики. И вот у него под окном кабинета устроен бар. Конечно, если отбросить предрассудки, с которыми он так враждует, он прав: гимнастика хозяйству не помешает; но староста смотрит на дело несколько иначе. «Придешь, говорит, к барину за приказанием, а барин, зацепившись одною коленкой за жердь, висит в красной куртке головою вниз и раскачивается; волосы отвисли и мотаются, лицо кровью налилось, не то приказания слушать, не то на него дивиться». Понравилось Левочке, как работник Юфан растопыривает руки при пахоте. И вот Юфан для него эмблема сельской силы, вроде Микулы Селяниновича. Он сам, широко расставляя локти, берется за соху и юфанствует»⁷.

Показавшаяся из-за рощи коляска, быстро повернувшая с проселка к нам под крыльцо, была для нас неожиданностью; и мы несказанно обрадовались, обнимая Тургенева и Толстого⁸... Когда гости оправились от дороги и хозяйка воспользовалась двумя часами, оставшимися до обеда, чтобы придать последнему более основательный и приветливый вид, мы пустились в самую оживленную беседу, на какую способны бывают только люди, еще не утомленные жизнью...

После обеда мы с гостями втроем отправились в рощицу, отстоявшую сажен на сто от дому, до которой в то время приходилось проходить по открытому полю. Там на опушке мы, разлегшись в высокой траве, продолжали наш прерванный разговор еще с большим оживлением и свободой...

Утром, в наше обыкновенное время, то есть в восемь часов, гости вышли в столовую, в которой жена моя занимала верхний конец стола за самоваром, а я

в ожидании кофея поместился на другом конце. Тургенев сел по правую руку хозяйки, а Толстой по левую. Зная важность, которую в это время Тургенев придавал воспитанию своей дочери⁹, жена моя спросила его, доволен ли он своею английскою гувернанткой. Тургенев стал изливаться в похвалах гувернантке и, между прочим, рассказал, что гувернантка с английскою пунктуальностью просила Тургенева определить сумму, которою дочь его может располагать для благотворительных целей. «Теперь,— сказал Тургенев,— англичанка требует, чтобы моя дочь забирала на руки худую одежду бедняков и, собственноручно вычинив оную, возвращала по принадлежности».

— И это вы считаете хорошим? — спросил Толстой.

— Конечно, это сближает благотворительницу с насущною нуждой.

— А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену.

— Я вас прошу этого не говорить! — воскликнул Тургенев с раздувающимися ноздрями.

— Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден,— отвечал Толстой.

Не успел я крикнуть Тургеневу «перестаньте!», как, бледный от злобы, он сказал: «Так я вас заставлю молчать оскорблением». С этим словом он вскочил из-за стола и, схватившись руками за голову, взволнованно зашагал в другую комнату. Через секунду он вернулся к нам и сказал, обращаясь к жене моей: «Ради бога извините мой безобразный поступок, в котором я глубоко раскаиваюсь». С этим вместе он снова ушел.

Поняв полную невозможность двум бывшим приятелям оставаться вместе, я распорядился, чтобы Тургеневу запрягли его коляску, а графа обещал доставить до половины дороги к вольному ямщику Федоту¹⁰...

Размышляя впоследствии о случившемся, я поневоле вспоминал меткие слова покойного Ник. Ник. Толстого, который, будучи свидетелем раздражительных споров Тургенева со Львом Николаевичем, не раз со смехом говорил: «Тургенев никак не может помириться с мыслью, что Левочка растет и уходит у него из-под опеки».

Б. Н. ЧИЧЕРИН

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ. МОСКВА Сороковых годов

Я ввел в кружок Станкевича другого моего сверстника, с которым я в это время очень подружился,— Льва Толстого¹. Но он скоро отстал; серьезные умственные интересы были вовсе не его сферой. Он тогда успел уже приобрести себе громкое имя своими очерками: «Детство и юность» и своими «Севастопольскими рассказами». По окончании войны, прожив некоторое время в Петербурге, он вышел в отставку и поселился в Москве, где жили его братья и сестра. Мы скоро с ним сблизились. Меня привлекала эта чуткая, восприимчивая, даровитая, нежная, а вместе с тем крепкая натура, это своеобразное сочетание мягкости и силы, которое придавало ему какую-то особенную прелесть и оригинальность. Мы виделись почти каждый день, иногда ездили ужинать вдвоем и вели долгие беседы. Образования он не имел почти никакого, ничего не читал; но душа его была в то время всему открыта, и собственные его более или менее фантастические мысли облекались в своеобразную и заманчивую форму. Наклонность его преследовать всякую позу в себе и других, которая привела к столкновению его с Тургеневым, никогда не вносила ни малейшей тени в наши взаимные отношения. Мы жили душа в душу. Я и теперь не могу без умиления перечитывать его старые письма. От них веет такою свежестью, искренностью и молодостью, они так хорошо рисуют его в эту первую пору развития его таланта и так живо переносят меня в это далекое время...

Однако и в то время уже проявлялась у него погубившая его впоследствии склонность к резонерству. Уединенная жизнь в деревне еще более развила в нем эту

болезнь. Его занимали высшие вопросы бытия, а подготовки для решения их не было никакой. Он и предавался своеобразному течению мысли, перемешанной с фантазией. В лице Левина он изобразил себя, валяющегося на стоге сена и размышляющего обо всем на свете без малейшей руководящей нити. Такое резонирующее направление уже само по себе вредит художественному смыслу; но у него к этому присоединилось еще удивительное упорство в отстаивании случайно взбредшего ему на ум всякого вздора. Он сам и его близкие рассказывали мне со смехом, что с самой ранней молодости на него по временам находила разная дурь. Вдруг он вообразил себе, что человеку ничего не нужно, устроил себе халат, который служил ему единственной одеждою и жилищем, и жил, как Диоген. Затем эта дурь проходила и являлась какая-нибудь другая, которой он держался так же упорно, как и первой. С годами это упорство в исключительно овладевшей им мысли, это радикальное отрицание всего, что к ней не подходило, получало все большее развитие. Я видел тому удивительные примеры. В 1860 году он поехал за границу, был в Италии и приехал в Париж, где я находился в это время. Я начинал тогда составлять собрание гравюр старинных мастеров и показывал ему свои приобретения. Рембрандтами и Дюрерами он восхищался; но Марк-Антониев² он презрительно отбрасывал в сторону, уверяя, что вся итальянская школа совершеннейшая дрянь. В это время он вздумал заниматься педагогикой и покупал в Париже разные раскрашенные литографии для своей будущей школы. Эти литографии изделия какого-то Гренье очень ему нравились. Накупивши картинок и осмотревши несколько школ, он поехал на несколько дней в Брюссель, повидаться с знакомою дамою, занимавшеюся также педагогикой³. Оттуда он писал мне всякий день, и я отвечал ему из Парижа. В одном из его писем было буквально следующее: «Когда Рафаэль с картофельно-шишковатыми формами мне противен, а картинки Гренье приводят меня в умиление, я ни единой минуты не сомневаюсь, что Гренье выше Рафаэля»⁴.

Е. И. СЫТИНА-ЧИХАЧЕВА

ВОСПОМИНАНИЯ

(Запись И. А. Гриневской)

Наше имение Нашекино, в Тамбовской губернии, граничило с имением Перфильевых, куда Толстые приезжали ежегодно гостить. С Толстыми у нас были дружеские отношения.

Толстые с детства дружны были с Исленьевыми; у них же, у Исленьевых, было два незаконных брата и сестра, которым дали фамилию Иславины. Иславина вышла замуж за доктора Берса, на дочери которого женат Лев Николаевич.

Лев Николаевич, будучи еще студентом, был неравнодушен к матери своей будущей жены. Жена же его, Софья Андреевна, ему понравилась, будучи еще подростком, четырнадцати лет.

Он мне однажды сказал: «Вот если бы ей было шестнадцать лет, а не четырнадцать, я ей сейчас же сделал бы предложение» (Льву Николаевичу было тогда лет тридцать). Когда обе сестры Берс выросли, он сам не знал, кто из них ему нравится больше. Это я узнала от Феоктистовой, так как я сама в то время уже была в Петербурге замужем и потеряла Толстых из виду. Когда он приехал, чтобы сделать одной из них предложение, обе сестры ждали решения своей судьбы, так как ни одна из них не знала, на которой остановился его выбор. Обе они были заинтересованы им. Когда оказалось, что он сделал предложение Софье Андреевне, то с Елизаветой Андреевной сделалось дурно.

[Вопрос И. А. Гриневской к Е. И. Сытиной:]

— Разве Лев Николаевич был так интересен? Ведь он совсем некрасив.

— Очень был интересен, даже его дурнота имела что-то привлекательное в себе. В глазах было много жизни, энергии...

Это было за три-четыре года до его женитьбы. В это время вышло его «Семейное счастье». Он был влюблен тогда, я знаю, в княгиню Львову, урожденную княжну¹... За ним ухаживала «вся Москва». Как же! Он был знатен и уже известен как писатель...

В числе ухаживающих за ним девиц была Ольга Киреева, впоследствии Новикова. У нее было некрасивое, крупное, широкое русское лицо с добрыми умными глазами. Он заочно мне называл ее «Маланьюшкой». Другая была Александра Николаевна Чичерина, впоследствии Нарышкина (жена «элегантного» Нарышкина). Она была тоже некрасивая, но очень образованная и умная. Обе они занимались очень вопросами буддизма.

Они звали его постоянно к себе на музыкальные вечера, которые организовывал Николай Рубинштейн в зале матери Ольги Киреевой (в доме Юсуповой) и которых мы всегда были членами.

Так как я всегда выезжала на эти концерты вместе с сестрой Льва Николаевича, Марией Николаевной, то нас обе барышни (Киреева и Чичерина) встречали с восторгом, с улыбкой радости в передней, зная, что за нами последует и Лев Николаевич. Они вели нас чуть ли не под руку в залу, сажали в первый ряд — на заранее оставленные кресла, выказывали нам всякий почет...

Лев Николаевич во время концерта, сидя вдали от нас на стуле, при исполнении какого-нибудь адажио Бетховена, обращаясь ко мне, выражал телеграфно свои восторги музыкой при помощи знаков, жестов и мимики: возводил глаза к небу, прижимал обе руки к сердцу, а для выражения наивысшего восторга крестился.

Все общество, конечно, следившее за всем, что он делал, обращало внимание и на меня, с которой он переговаривался таким оригинальным образом.

Иногда, по окончании концерта, Киреева оставляла нас на чашку чая, после чего мы с Марией Николаевной уезжали раньше, а Лев Николаевич оставался еще беседовать с умными барышнями, хотя они были не в его вкусе, так как он тогда особенно отличал женщин доб-

рых, простых, красивых, а главное здоровых. Ум женщины не представлялся ему достоинством, скорее наоборот...

Мы целых три года находились в очень дружеских отношениях со всей семьей Толстых, живших в Москве. Из Толстых Сергей и Николай ухаживали за мной. Николай сделал мне предложение. Лев Николаевич очень хотел, чтобы я вышла за Николая, но он был чахоточный и не нравился мне, и я, несмотря на советы Льва Николаевича, отказала ему. Мне нравился Сергей, который был красивее братьев, но он предложения мне не сделал.

Лев Николаевич очень хотел, чтобы я вышла за Николая. Он всегда говорил: «Мой брат Николай умнее, гораздо умнее меня, и все, что я имею, я получил от него». К сожалению, он рано умер от чахотки. Смерть его была большим горем для Льва Николаевича...

Надо также рассказать о Льве Николаевиче, что в это время он страстно увлекался охотой на медведей. И раз попался медведю в лапы, а тот хватил его в лоб, и я застала Льва Николаевича с повязкой на лбу. Он весело рассказывал историю этого происшествия и говорил, что испытал жуткие минуты...

Раз он говорит:

— Знаете, mesdames, сегодня вечером я вам готовлю сюрприз: познакомлю вас с одним интересным субъектом, которого я встречу сегодня вечером в Малом театре и привезу сюда ужинать в двенадцать часов. Так как я больше надеюсь на вас, Катерина Ильинична, чем на Машеньку, насчет устройства этого ужина, то прошу вас заказать хорошую закуску повару гостиницы, какое-нибудь хорошее жареное, сладкое, пирожное, вина несколько бутылок, а главное две бутылки замороженного шампанского.

Можете себе представить, в каком мы были напряженном состоянии, не зная, кого он может привезти. Все было исполнено, и в двенадцать часов явился Лев Николаевич с гостем. Вошел невзрачный молодой человек лет двадцати пяти, некрасивой, но выразительной наружности.

Лев Николаевич представил его нам так: «Будущая знаменитость, Иван Федорович Горбунов».

Вначале он произвел безразличное впечатление, но когда за ужином, после шампанского, разошелся, то рас-

сказывал много своих рассказов, которыми всех нас пленил ².

Толстой много смеялся, был оживлен и весел.

[Вопрос И. А. Гриневской к Е. И. Сытиной:]

— А какой был голос у Льва Николаевича?

— Не помню, не могу описать, но знаю, что он всегда говорил громко, ясно, с увлечением даже о пустяковых вещах, и с его появлением вдруг все озарялось. Всякая скука мигом исчезала, лишь он только покажется.

А. А. ТОЛСТАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ

...Вижу его [Толстого] совершенно ясно уже по возвращении его из Севастополя (1855 год) молодым артиллерийским офицером и помню, какое милое впечатление он произвел на всех нас. В то время он уже был известен публике («Детство» появилось в 1852 году). Все восхищались этим прелестным творением, а мы даже немного гордились талантом нашего родственника, хотя еще не предчувствовали его будущей знаменитости.

Сам по себе он был прост, чрезвычайно скромен и так игрив, что присутствие его воодушевляло всех. Про самого себя он говорил весьма редко, но всматривался в каждое новое лицо с особенным вниманием и презабавно передавал потом свои впечатления, почти всегда несколько крайние (*absolus*). Прозвище *тонкокожего*, данное ему впоследствии его женой, как раз подходило к нему: так сильно действовал на него в выгодную или невыгодную сторону малейший подмеченный им оттенок. Он угадывал людей своим артистическим чутьем, и его оценка часто оказывалась верною до изумления. Некрасивое его лицо с умными, добрыми и выразительными глазами заменяло, по своему выражению, то, чего ему недоставало в смысле изящества, но оно, можно сказать, было лучше красоты...

Мы все его так полюбили, что всегда встречали его с живейшею радостью, но это еще не было между ним и мною началом той дружбы, которая впоследствии связала нас на всю жизнь. Она вполне развилась только в 1857 году, в Швейцарии...

В Женеве мы прожили всю зиму, и в марте, к нашему великому удивлению, предстал пред нами Лев

Толстой¹. (Скажу кстати, что его появления и исчезновения всегда имели какой-то характер de coup de théâtre *.)

Не будучи в то время с ним в переписке, мы совершенно не знали, где он находится, и думали, что он в России.

— Я к вам прямо из Парижа,— объявил он.— Париж мне так опротивел, что я чуть с ума не сошел. Чего я там не насмотрелся... Во-первых, в maison garnie **, где я остановился, жили тридцать шесть ménages ***, из коих девятнадцать незаконных. Это ужасно меня возмутило. Затем хотел испытать себя и отправился на казнь преступника через гильотину, после чего перестал спать и не знал, куда деваться. К счастью, узнал нечаянно, что вы в Женеве, и бросился к вам опрометью, будучи уверен, что вы меня спасете.

Действительно, высказавши все, он скоро успокоился, и мы зажили с ним прекрасно: виделись ежедневно — гуляли по горам и вполне наслаждались жизнью. Погода стояла чудная, о природе и говорить нечего. Мы ею восхищались с увлечением жителей равнин, хотя Лев Николаевич старался подчас умерить наши восторги, уверяя, что все это дрянь в сравнении с Кавказом. Но нам и этого было довольно...

Он постоянно стремился начать жизнь сызнова и, откинув прошлое, как изношенное платье, облечься в чистую хламиду. С какою наивностью мы оба верили тогда в возможность сделаться в один день другим человеком — преобразиться совершенно, с ног до головы, по мановению своего желания. Хотя это было даже не сообразно с нашими, уже не совсем юными, годами, но мы поддавались самообману с полным убеждением, будучи душевно гораздо моложе наших лет...

Разговоры наши клонились большею частью к религиозным темам, но едва ли мы друг друга понимали. Где мне было постигнуть в то время всю многообразность его исключительной природы! Смешно даже подумать о том, как я силилась переделать его на свой лад, а он чуть-чуть не отрещивался от моих идеальных теорий, и, кро-

* неожиданного события (франц.).

** гостинице (франц.).

*** семей (франц.).

ме бесконечных споров, ничего из этого не выходило, хотя и не мешало нам сблизиться еще теснее.

Лев беспрестанно являлся из Веве в Женеву, но уже не один, а в сопровождении двух Михайлов². Фарсам их не было конца. Почтенный М. И. Пущин, добродушнейший из смертных, школьничал вместе с ними.

Одна приятельница наша, старая француженка, гостившая у нас, не могла надивиться на их turbulence*. Ils arrivent toujours comme un ouragan**,— говорила она...

Никогда не забуду, как они явились один раз в ту минуту, как я отправлялась именно с этой француженкой в Женеву на концерт бедного скрипача, которому я покровительствовала.

Они застали меня на пороге.

— Как же быть? — говорю я.— Мне необходимо ехать на концерт.

— Так что же, мы поедem с вами,— куда вы, туда и мы.

Если бы я могла предвидеть то, что случилось, то, конечно, осталась бы дома. Эти три шалуна, из коих два уже седовласые, дурачились без удержу, стараясь рассмешить меня. Один вторил пискливой скрипке, другой — контрабасу, третий гудел, как труба,— все это как будто мне на ухо,— хотя непрошенные звуки доходили, вероятно, и до других соседних ушей.

Француженка была вне себя: «Au nom du ciel, ne riez pas, Alexandrine, et tâcher de les arrêter...»*** Куда! они уже слишком расходились... Я сама была как на иголках; но чем серьезнее и внушительнее я на них смотрела, тем более они проказничали и трунили над артистами, действительно чересчур плохими. Наконец, во избежание публичного скандала, я вынуждена была уехать прежде конца, забравши их всех с собою...

После нескольких дней странствования по горам и по долам мы наконец очутились в Люцерне, и тут нежданно-негаданно опять явился Лев, как будто вырос из

* буйность (франц.).

** Они всегда являются, как ураган (франц.).

*** Ради бога не смейтесь, Alexandrine, и постарайтесь их удержать (франц.).

земли. Он прибыл в Люцерн двумя днями ранее нас и уже успел пройти через целую драму, рассказ о которой появился после в печати под заглавием «Записки князя Нехлюдова»³. Лев был страшно возбужден и пылал негодованием.

Вот что мы узнали от него и что случилось накануне. Какой-то бродячий музыкант играл очень долго под балконом Швейцергофа, на котором расположилось весьма порядочное общество. Все слушали артиста с удовольствием, но когда он поднял шляпу для получения награды, никто не бросил ему ни единого су; факт, конечно, некрасивый, но которому Лев Николаевич придавал чуть ли не преступные размеры.

Чтобы отомстить расфранченной публике, он на ее глазах схватил музыканта под руку, посадил его с собою за стол и приказал подать ужин с шампанским. Едва ли публика, да и сам бедный музыкант, поняли всю иронию этого действия...

По возвращении нашем в Россию, где мы пробыли безотлучно до 1859 года, Лев часто приезжал в Петербург и большую часть своего времени проводил у нас: то у моей матушки, то у сестры Елизаветы Андреевны или у меня на верху Мариинского дворца.

Вечером мы обыкновенно собирались у сестры, которая жила в нижнем этаже того же дворца. Лев близко сошелся с нашими друзьями, не дичился их и даже любил многих из них. Затем, когда мы оставались наедине, определял нам их характеры с изумительною верностью, как будто он жил с ними уже давно...

Нельзя умолчать и еще об одной черте, ему свойственной.

Он страшно боялся быть неправдивым не только словом, но и делом, что, однако ж, иногда приводило к совершенно противоположному результату.

Так, например, приглашенный один раз к моей сестре на вечер, где должно было собраться довольно многочисленное общество, утром этого дня Лев написал мне, что быть к нам не может,— только что получив известие о смерти брата⁴. (Братьев своих он любил страстно.) Разумеется, я отвечала ему, что совершенно его понимаю. И что же? Вдруг он является на вечер как ни в чем не бывало.

Это появление взволновало меня до негодования.

— Pourquoi êtes-vous venu, Léon? *— спрашиваю я его потихоньку.

— Pourquoi? Parce que ce que je vous ai écrit ce matin n'était pas vrai. Vous voyez — je suis venu, donc je le pouvais **.

Мало того, через несколько дней он мне признался, что ходил тогда же в театр.

— И, вероятно, вам было очень весело,— говорю я ему еще с большим негодованием.

— Ну, нет, не скажу. Когда я вернулся из театра, у меня был настоящий ад в душе. Будь тут пистолет, я бы непременно застрелился.

— A force de vouloir être vrai, vous ne faites que des caricatures de la vérité ***,— говаривала я ему в подобных случаях, и он даже с этим соглашался, но не мог удержаться от экспериментов над самим собою.

— Хочу проверить себя до тонкости,— говорил он...

В эту зиму он приносил нам иногда кое-что из своих неизданных сочинений. Так, например, «Семейное счастье», «Три смерти» были впервые читаны у нас. Читал он плохо, застенчиво и благодушно выслушивал всякое замечание. Скрывал ли он свое самолюбие, или его еще тогда не было,— кто может сказать?..

Всего вероятнее, что в то время он смотрел еще на себя как на дилетанта-писателя, сам не ожидая, что из него выйдет.

Иначе как мог бы он беспрестанно увлекаться совершенно посторонними предметами?..

Проекты рождались в его голове, как грибы. В каждый приезд он привозил новый план занятий и с жаром изъяснял свою радость, что наконец попал в настоящее дело.

То был поглощен пчеловодством, то облесением всей России или чем-либо другим... Школа держалась всего долее, но и она исчезла почти бесследно, как скоро он понял наконец свое истинное призвание...

Со времени его женитьбы (1862 года) он почти безвыездно жил в деревне, и мы стали видаться гораздо

* Почему вы пришли, Лев? (франц.)

** Почему? Потому что то, что я вам написал сегодня утром,— неправда. Видите, я пришел, следовательно я мог прийти (франц.).

*** Стремясь быть правдивым, вы искажаете правду (франц.).

реже, хотя и пользовались всяким случаем взглянуть друг на друга. Он ловил меня на железных дорогах, когда я ехала в Крым с царской семьей, и даже решился однажды приехать ко мне в Ильинское... Это было в 1866 году...

Помню, что в этот день он мне рассказывал про свою ссору с Тургеневым, которая едва не дошла до дуэли. Подробности этой ссоры исчезли из моей памяти (причина ее была самая пустая), но слов Льва Николаевича я не забыла⁵.

— Могу вас уверить,— сказал он, покрасневши до ушей,— что моя роль в этой глупой истории была не дурная. Я был решительно ни в чем не виноват и, несмотря на свою сознательную невинность, я написал Тургеневу самое дружеское, примирительное письмо; но он отвечал на него так грубо, что невольно пришлось прекратить с ним всякие сношения.

Впоследствии все уладилось, и они продолжали видеться; но настоящей дружбы между ними быть никогда не могло. Они слишком расходились всем существом своим...

В 1879 году Лев Николаевич приезжал в Петербург, чтобы собрать кое-какие сведения насчет декабристов, замышляя написать роман из этой эпохи.

«Я хочу доказать,— говорил он,— что в деле декабристов никто не был виноват—ни заговорщики, ни власти».

Для изучения местности он отправился в Петропавловскую крепость. Комендант (не помню теперь его имени) принял его очень любезно, показывал, что можно было показать, но никак не мог понять, чего именно он добивается⁶... Лев Николаевич пресмешно рассказывал нам эту беседу...

Кроме того, Лев Николаевич замышлял еще написать историю императора Павла, находя особенный интерес в его загадочной личности, но это осталось неисполненным.

Д. Д. ОБОЛЕНСКИЙ

ОТРЫВКИ

(Из личных впечатлений)

Гр. Лев Николаевич был очень горячий и настоящий *русский* охотник со многими охотничьими предрассудками и приметами. Вследствие его горячности на охоте происходили иногда пылкие пререкания и чуть даже не ссоры из-за того, чья взяла *первая*, какая догнала и т. д.

Лев Николаевич любил и щегольнуть на охоте ловкостью и лихостью, что называется, «джигитнуть».

Один эпизод особенно врезался в моей памяти (1858).

Дело было близ Гурьева, имения князя Е. Н. Черкасского. В лесу гончие гоняли по волкам. За болотом, пролежавшим близ леса, стоял со своей сворой борзых Л. Н. Толстой. Невдалеке от него — мелкопоместный помещик В. Е. Кобылин, сосед кн. Черкасских, каширский землевладелец, затем князь Евг. Черкасский и другие. Из-под стаи гончих на опушке леса показывается матерой волк; его со стаей «выставляет» знаменитый в свое время доезжачий Иван Рушальщик; он выносится вслед за стаей, которая на щипцах выносит волка в поле, по направлению, где стоят Лев Николаевич и другие. Волк стремительно несется к болоту. Доезжачий Иван Рушальщик (тип Данилы, доезжачего в «Войне и мире») — за волком. Но в болоте так топко, что лошадь его завязла... перебраться нельзя... И Рушальщик вопит с отчаянием:

— Эх, уйдет! Уйдет: *на господ побежал*.

Как ни обиден был этот полупрезрительный крик ярого доезжачего, но он оказался пророческим... За болотом матерого волка встретили своры Кобылина и

Толстого и, что, в сущности, бывает очень редко, остановили материка. Первый примчался и слез с лошади Кобылин. Но Лев Николаевич, подскакав, закричал:

— Мои, мои собаки взяли, я сам приму.

Кажется, Кобылин отчасти даже обрадовался этому, потому что «принять» матерого не так-то легко и не всегда безопасно. Лев Николаевич, видимо желая джигитнуть, по-черкесски перекинулся через седло и хотел с лошади зарезать волка. Но это у него не вышло: лошадь шарахнулась и отнесла Льва Николаевича в сторону. И, пока он справлялся с лошадей, а Кобылин собирался с духом, волк стряхнул собак, насевших на него, разметал их и был таков. Горькие предсказания доезжачего оправдались: *господа упустили материка*. Князь Евгений Черкасский, страстный охотник до кровных лошадей, но не до собак, тщетно метался вокруг и меньше других мог что-нибудь сделать.

Он все досадовал, что у него не было пики; он заколол бы волка...

Лев Николаевич вернулся мрачный, недовольный.

Особенно много охотился Лев Николаевич в тех краях в 1857—1858 годах с моим дядей И. А. Раевским, с сыном которого граф был на «ты» и очень дружил.

Наиболее удачны были охоты на волков в имениях князей Евгения и Владимира Черкасских в Веневском и Каширском уездах. Впоследствии многие картины из этих охот вошли в бессмертные произведения автора «Войны и мира». Можно было даже узнать в романе некоторых охотников по их ярким чертам и характерным выражениям.

Однажды, после удачной охоты у П. М. Глебова, соседа князей Черкасских, Лев Николаевич был в особенном ударе и на дневке написал юмористический рассказ-набросок под заглавием «Фаустина и Паулина»¹, который и прочел вечером вслух, заставив всех нас много смеяться. Куда задевался этот рассказ — не знаю, но я его впоследствии нигде не встречал... Фаустина и Паулина были две гувернантки гг. Глебовых, которые выезжали посмотреть на охоту и дали повод Льву Николаевичу к безобидной юмористической шутке...

Лев Николаевич признавался, что когда на охоте на него долго не шел зверь, то он внутренне молился, чтобы наконец зверь на него вышел.

— Но не Христу — это было слишком бы серьезно... Выделялся Лев Николаевич от других охотников и по внешности. Одевался он всегда не как другие, а по-своему, так, стремяна у его седла были не металлические, а деревянные, что он перенял в Самаре, у степняков; но блуза, характерная и тогда, как и поныне, была любимым одеянием Льва Николаевича — так что, когда меня спрашивают теперь об оригинальности костюма Льва Николаевича, я говорю, что уже 50 лет почти он носит тот же костюм.

Охотничье искусство Лев Николаевич знал до тонкостей и часто сравнивал охоту с войной.

— Как от сметки и находчивости охотника, — говорил он, — часто зависит удача охоты, так и успех войны — от находчивости военачальника. Диспозиция, иногда прекрасно задуманная, из-за какого-нибудь непредвиденного пустяка не достигала цели. Все тогда спутывалось, и в результате — полная неудача.

Как-то при одном из таких сравнений Лев Николаевич рассказал, со слов Н. Н. Муравьева-Карсского, почему неудачен был в 1855 году штурм Карса:

— Муравьев усомнился в верности сделанной им диспозиции, изменил ее за несколько часов до штурма, послушав своего начальника штаба. И потерпел поражение. А выполни он первый план, им сделанный, успех был бы полный. Но не хватило уверенности в себе... И так часто бывает и на войне и на охоте...

Особенно часто приходилось мне беседовать со Львом Николаевичем, когда он писал «Войну и мир».

Мои деды делали кампанию 1812 года и последующих годов. Моя мать, урожденная Бибикова, была племянницей братьев Бибиковых — адъютантов князя Кутузова, который был женат на сестре А. И. Бибикова — усмирителя Пугачева. Так что многое у нас в доме было известно из первых рук. И, будучи ребенком, я много слышал от деда Бибикова рассказов, а потом уже студентом многое передавал Льву Николаевичу. Но я был за это и богато вознагражден Львом Николаевичем. Окончивши «1805 год», Лев Николаевич пригласил меня слушать знаменитый роман в его чтении.

Читал нам Лев Николаевич на своей небольшой квартире, которую он занимал на Большой Дмитровке, в доме Шаблыкина, зимой 1866 года².

На чтении присутствовал генерал Перфильев, старик, помнивший хорошо то время и 12-й год. Замечаниями его Лев Николаевич очень дорожил; генерал Перфильев останавливал графа, когда, по его мнению, бывала ошибка в отношении военных того времени. Так, Перфильев заметил, что могли получить кресты только в военное время, но не в мирное (Лев Николаевич кому-то из генералов своего романа приписал крест, полученный в мирное время).

При чтении еще были: графиня Софья Андреевна, моя жена, С. М. Сухотин и еще кто-то из домашних...

Он читал «1805 год» (так называлось начало «Войны и мира») необыкновенно просто, но невольно захватывал нас увлекательностью своего произведения.

Помню еще одно чтение. Как-то после охоты на Льва Николаевича нашел какой-то особенный стих, и он начал читать на память стихи, восхитив нас своим чтением. После этого я никогда не слышал, чтобы он читал или хвалил стихи.

Как я выше сказал, мне удалось несколько раз, может быть и случайно, но все же добывать материал для повестей гр. Л. Н. Толстому в то время, как Лев Николаевич писал «Войну и мир» и «Анну Каренину». Как конский охотник и любитель скачек я сообщал много подробностей. Между прочим, я передал Льву Николаевичу подробности и обстановку красносельской скачки, которая и вошла в ярком изображении в «Анну Каренину».

Падение Вронского с Фру-Фру взято с инцидента, бывшего с князем Д. Б. Голицыным, а штабс-капитан Махотин, выигравший скачку, напоминает А. Д. Милютину...

Лев Николаевич разрешил мне знакомить с ним моих друзей без предварительных извещений и церемоний. Я пользовался очень осторожно этим исключительным правом. И только раз Лев Николаевич мне предъявил отвод и именно в отношении человека, про которого Лев Николаевич знал, что я очень его люблю и высоко ценю, и с которым мне хотелось познакомиться графа. Это был Михаил Дмитриевич Скобелев.

С. ПЛАКСИН

ГРАФ Л. Н. ТОЛСТОЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ

В гостиную вошел очень высокий, плотный и широкоплечий мужчина лет сорока, с добродушной улыбкой на лице, окаймленном темно-русой густой бородой. Из-под большого лба с глубоким шрамом (от лапы медведя, как мы потом узнали) в глубоких глазных впадинах искрились умные и добрые глаза. Насколько мне помнится, Лев Николаевич тогда походил на портрет, помещенный в «Художественном листке» Тима¹.

Лев Николаевич говорил громко, но не скоро, а более мягко и ровно; в тоне голоса чувствовались прямота и простодушие, движения были естественны и не носили отпечатка светской выправки; одет он был в коричневый костюм. Он подошел к моей матери, пожал ей руку и сейчас же заговорил с ней как давнишний знакомый...

Нечего говорить, что душою нашего маленького общества был Лев Николаевич, которого я никогда не видел скучным; напротив, он любил нас смешить своими рассказами, подчас самого неправдоподобного содержания, и когда наш детский смех уж слишком начинал терзать уши наших маменек, они обращались с просьбой к тому же Льву Николаевичу — засадить нас за какую-нибудь тихую работу, вроде переписки из книг или рисования...

Лев Николаевич поставил свой письменный стол в стеклянной галерее с видом на море. Вставал он очень рано, и мы, дети, только на минутку забегали к нему здороваться, помня строгое приказание наших маменек не беспокоить Льва Николаевича, когда он пишет...

Неутомимый ходок, Лев Николаевич составлял нам маршрут, изобретая все новые места для прогулок. То мы

отправлялись смотреть на выварку соли на полуострове Rocqueolle, то подымались на священную гору, где построена каплица с чудотворной статуей пресвятой девы, то ходили к развалинам какого-то замка, почему-то носившего название Trou des fées*.

По дороге Лев Николаевич рассказывал нам, детям, разные сказки. Помню я какую-то о золотом коне и о гигантском дереве, с вершины которого видны были все моря и города. Зная мою слабую грудь, он нередко сажал меня на свои плечи, продолжая рассказывать на ходу свои сказки. Надо ли говорить, что мы души в нем не чаяли?..

За обедом, вечером, Лев Николаевич рассказывал нашим добродушным хозяевам всевозможные забавные небылицы о России, и те не знали, верить ему или не верить, пока графиня или моя мать не отделяли правды от вымысла.

Сейчас же после обеда мы располагались, смотря по погоде, или на обширной террасе, или в зале, и начиналась возня. Под звуки фортепьяно мы изображали балет и оперу, немилосердно терзая слух наших зрителей: маменок, Льва Николаевича и моей бонны Лизы. Балет и опера сменялись гимнастическими упражнениями, причем профессором являлся тот же Лев Николаевич, направший, главным образом, на развитие мускулов.

Ляжет, бывало, на пол во всю длину и нас заставляет лечь и подниматься без помощи рук; он же устроил нам в дверях веревочные приспособления и сам кувыркался с нами, к общему нашему удовольствию и веселию...

* Дыра фей (франц.).

Р. ЛЕВЕНФЕЛЬД

У ГРАФА ТОЛСТОГО

...Второй мой вопрос касался поездки Толстого в Италию.

— Невозможно, чтобы вы, побывав в Италии, не видели Рима,— сказал Левенфельд.— Но об этом нет нигде и следа. И в материалах, которые я получил от графини в 1890 году, ничего не было сказано о Риме.

— Я несомненно был в Риме,— отвечал Толстой.— Я очень хорошо знаю этот город и с одним русским художником, имени которого теперь не припомню, предпринимал оттуда продолжительные экскурсии в Неаполь, Помпею и Геркуланум. Мы сходились в «Café Gresco» и оттуда отправлялись в путь. Благодаря своему многолетнему пребыванию в Риме он хорошо знал этот город.

Само собою разумеется, что речь зашла о сокровищах искусства, находящихся в Риме.

— Должен сознаться,— сказал Толстой,— что античное искусство не произвело на меня необычайного впечатления, которому, по-видимому, подчинялись все вокруг меня. Я тогда много говорил по этому поводу с Тургеневым, я был убежден в том, что классическое искусство слишком уже высоко ценят...

— Для меня вообще,— продолжал Толстой,— человек представлял наибольший интерес. В том, что вы писали обо мне, я прочел вчера замечание, которое мне показалось удачным¹. Вы говорите, что меня повсюду интересует только человек; насколько это верно, свидетельствует мое пребывание в Риме. Когда я мысленно возвращаюсь к тому времени, в моей памяти пробуждается только одно маленькое событие. Я предпринял

со своим товарищем небольшую прогулку в Монте-Пинчио. Внизу, у подошвы горы, стоял восхитительный ребенок с большими черными глазами. Это был настоящий тип итальянского ребенка из народа. Теперь еще слышу его крик: «Date mi un baiocco»*. Все прочее почти исчезло из моей памяти. И происходит это потому, что я занимался народом больше, чем прекрасной природой, которая меня окружала, и произведениями искусства.

* Дайте денежку (*итал.*).

В. БОДЭ

ТОЛСТОЙ В ВЕЙМАРЕ

...В час дня я был во втором классе и хотел начинать урок, как вдруг ученик семинарии, просунув голову в двери, сказал:

— Этот господин хочет присутствовать на вашем уроке.

За ним вошел какой-то господин, не называя себя, и я принял его за немца, потому что он говорил по-немецки так же хорошо, как мы.

— Какие уроки у вас сегодня после обеда? — спросил он.

— Сначала история, потом немецкий язык, — отвечал я.

— Очень рад. Я посетил школы южной Германии, Франции и Англии и хотел бы также познакомиться и с северогерманскими... Сколько классов в вашей школе?

— Семь. Это второй. Но я еще не знаю моих учеников по фамилиям, так как мы только что начинаем. И потому я не могу демонстрировать их успехи.

Я сам выработал себе план преподавания истории и изложил его перед незнакомым мне школьным учителем. Я его принимал за учителя.

Он вынул из кармана записную книжку и стал в ней с увлечением записывать. Вдруг он сказал:

— В этом столь обдуманном плане я вижу один пробел — отсутствие отечествоведения.

— Нет, оно не забыто, родиноведению посвящен прешествующий класс.

Мне нужно было начинать урок, и я стал рассказывать о четырех эпохах культуры человечества. Незна-

комец все время записывал. Когда урок кончился, он спросил:

— А теперь что будет?

— Немецкий. Я хотел, собственно говоря, начать чтение. Но если вы желаете что-нибудь другое, то можно переменить.

— Мне это очень приятно. Видите ли, я много думал о том, как сделать более свободным течение мысли (flüssig).

Этого выражения иностранца я никогда не забуду. Я тотчас постарался удовлетворить его желание и задал им небольшое сочинение. Я назвал какой-то предмет, и дети должны были написать об этом сочинение в своих тетрадах. Это очень заинтересовало незнакомца, он стал ходить между парт, брать по очереди тетради учеников и смотреть, что пишут дети.

Я оставался на кафедре, чтобы не развлекать детей. Когда работа подходила к концу, незнакомец сказал:

— Теперь могу я взять эти работы с собой? Они меня очень интересуют.

«Но это уже слишком»,— подумал я, но ответил ему вежливо, что это нельзя сделать. Дети только что купили себе тетради, каждая стоит тридцать копеек.

— Веймар— бедный город, и родители будут недовольны, если им придется покупать новые тетради.

— Этому можно помочь,— сказал он и вышел из класса.

Мне было не по себе, и я послал ученика за моим другом, директором Монгауптом, чтобы он пришел в класс, так как у нас происходит что-то странное.

Монгаупт пришел.

— Ты мне славную штуку устроил,— сказал я ему,— прислал мне какого-то чудака, и он хочет забрать у учеников их тетради.

— Я тебе никого не посылал,— сказал Монгаупт.

— Но ведь ты же директор семинарии, а его привел семинарист.

Тогда вспомнил Монгаупт, что в его отсутствие приходил к нему какой-то важный чиновник, который сказал его жене, что сопровождавшему его господину нужно оказать всяческое содействие.

Незнакомец вернулся, держа в руках большую пачку писчей бумаги, которую он купил в соседней лавке.

Теперь мы должны были узнать, кто он, так как я представлял его директору:

— Директор Монгаупт.

— Граф Толстой, из России.

Итак, это был граф, а не учитель. И был русский, так прекрасно говоривший по-немецки.

Мы велели детям переписать написанное ими на листы принесенной бумаги, и Толстой, собрав все листы, отдал их ожидавшемуся его на дворе слуге¹.

В. С. МОРОЗОВ

ВОСПОМИНАНИЯ УЧЕНИКА ЯСНОПОЛЯНСКОЙ ШКОЛЫ

В 1859 году ранней осенью нам оповестили по деревне, Ясной Поляне, о желании Льва Николаевича, — «граха», как мы тогда его называли, — открыть школу в Ясной Поляне и о том, чтобы желающие дети приходили учиться, что школа открывается бесплатная. Я помню, какая была суматоха. На деревне начались сходки, начались разные толки, суждения.

— Как? Почему? Не обман ли какой? Махина не махонькая учить бесплатно. Их, пожалуй, наберется пятьдесят ребят, а то и больше...

Дело оставили до вторника, как легкий день. Во вторник я встал рано, прильнул к окну, рассматривая улицу, не собираются ли ребята, не идут ли. На улице кучек ребят нету, только видно, из хаты в хату перебегают товарищи. Вижу, то Данилка к Семке, то Семка к Игнатке, то Тараска к Никишке. Все уже приготовились: рубашки белые, чистенькие, лапти новые, головы промаслены деревянным маслом или коровьим, у кого какое было... Через несколько минут мы стояли перед барским домом...

— Здравствуйте! Вы привели своих детей? — обратился Лев Николаевич к родителям.

— Так точно, васятельство, — отвечали старшие с поклоном.

— Ну вот, я очень рад, — сказал он, улыбаясь и осматривая всех.

И он быстро пронизал глазами толпу, отыскивая маленьких, что спрятались за отца или за мать. Он вошел в середину толпы и начал спрашивать первого мальчика:

— Ты хочешь учиться?

— Хочу.

— Как тебя звать?

— Данилка.

— А фамилия твоя?

— Козлов.

— Ну вот, мы будем учиться.— И он начал обращаться к каждому мальчику.— Тебя как звать?

— Игнатка Макаров.

— Тебя?

— Тараска Фоканов.

Поворачиваясь в другую сторону, Лев Николаевич наткнулся на мою сестру.

— Ты что, учиться пришла? Будешь учиться? И девочки приходят. Все будем учиться.

— Нет, я не учиться пришла, я вот...— слезливо, застенчиво не договорила сестра.

Очередь дошла до меня.

— Ты что, учиться хочешь?

И глаз на глаз я стоял перед учителем, тряся, как осиновый лист.

— Хочу,— ответил я ему робко.

— Как тебя звать?

— Васька.

— А фамилию знаешь свою? — спросил он, и мне показалось, он смотрел на меня, как на заморуха.

— Знаю.

— Скажи.

— Морозов.

— Ну, я тебя буду помнить. Морозов Васька-кот.— И улыбнулся, и лицо его показалось мне одобрительным. Мы будто как виделись когда-то с ним раньше.

— Ну, Морозов, пойдем! Макаров, Козлов, идите все за мной. А вы идите с богом домой. Я им покажу школу, присылайте еще детей. И девочки пусть приходят. Мы все будем учиться...

Прошла в учении неделя, за ней другая, скользнул месяц. Незаметно кончилась осень. Наступила зима. Мы успели ознакомиться хорошо со стенами школы, успели привыкнуть душою ко Льву Николаевичу. Однажды Лев Николаевич сказал нам: «Не называйте меня «ваше сиятельство». А меня зовут Львом Николаевичем, так и зовите меня». И мы уже после этого никогда не говорили ему «васятельство».

Не прошло трех месяцев, а ученье у нас разгорелось вовсю. В три месяца мы уже бойко читали, а из двадцати двух человек у нас собралось до семидесяти учеников...

Все семьдесят учеников осаждали Льва Николаевича. Кто подходит с вопросом, кто подносит тетрадку.

— Лев Николаевич, так я пишу? — спрашивал один.

Он просматривает.

— Это так, это хорошо. Только здесь пропустил, а то все хорошо. Не торопись.

— А я так написал? — сует другой, и третий, и весь класс.

Он просматривает серьезно, любезно одобряет и местами делает замечания...

Вся кипучая его охота ободряла нас, и подъем духа у нас рос с каждым днем. Во время перерыва нам давался завтрак. Тут игры и веселье.

— Вы хотите поесть и погулять немного? — спрашивал Лев Николаевич.— И я тоже. Ну, кто скорее выбежит наружу?

Мы все с криком и визгом бежим взапуски по лестнице за Львом Николаевичем. Он через три на четвертую ступень прыгает, убегая от нас. Мы гурьбою за ним.

— Я скоро приду,— говорит он, добегая до другого дома, во флигель, где он жил.

И мы разбегаемся по всем дорожкам сада. Скоро появляется опять Лев Николаевич. Опять новые затеи, шум, крик, беготня, друг друга валим в снег, перекидываясь комками снега.

— Ну, все на меня валяйте! Свалите или нет?

И мы окружаем Льва Николаевича, цепляемся за него сзади и спереди, подставляя ему ноги, кидаемся на него снежками, набрасываемся на него и вскарабкиваемся ему на спину, усердно стараясь его повалить. Но он еще усердней нас и, как сильный вол, возит нас на себе. Через некоторое время от усталости, но чаще в шутку, он валится в снег. Восторг неописанный наш! Мы сейчас же начинаем его засыпать снегом и кучей наваливаемся на него, крича: «Мала куча, мала куча»...

В таких радостях, и весельях, и скорых успехах в учении мы так сблизились со Львом Николаевичем, как вар с дратвой. Мы страдали без Льва Николаевича, а Лев Николаевич без нас. Мы были неотлучны от Льва Нико-

лаевича, и нас разделяла только одна глубокая ночь. День же мы проводили в школе, а вечер у нас в играх проходит, до полуночи сидим у него на террасе. Он рассказывает какую-нибудь историю, рассказывает про войну, как его тетушку в Москве повар зарезал¹, как он был на охоте, как его было медведь заел, и показывал нам около глазу метину, как медведь его лапой цапнул...

Сидим мы однажды со Львом Николаевичем опять на террасе его дома, каким-то, не помню, праздничным днем, но помню, что в последних числах августа, потому что с поля стали убираться. Сидим все первоклассные ученики, то есть старшие. Беседуем, шутим, переливаем из пустого в порожнее, хотя иногда беседа делается серьезной и для нее требуется внимание и размышление.

Вот Лев Николаевич рассказал нам о войне, о том, чего-чего он там не насмотрелся: убитых, раненых, больных и как доктора отпиливают раненым ноги, и как отрезают им руки и вытаскивают пробитый глаз. От такого жуткого рассказа редкий кто из учеников не съеживался в комочек.

— Теперь я вам расскажу, что я надумал новенького,— сказал Лев Николаевич.— Вы хотите слушать?

— Хотим, хотим! — ответили мы все вместе.

— Вот что я надумал,— начал Лев Николаевич,— хочу бросить свое хозяйство, барскую жизнь, перейти на крестьянство, выстроить хату себе на краю деревни, женюсь на деревенской девке, буду работать, как вы, копать, пахать, во всякую работу.

— Что ж, батраком быть, людям на посмешище,— сказал Игнат.

— Зачем батраком, работать буду на себя, для своего хозяйства, для семьи.

— Ну, коли так, а пожитки-то куда свои денешь? — спросили мы.

— Какие пожитки? Земля? Мы ее разверстаем, ваша и наша, сделаем ее общей, будем хозяева равные.

— А если над тобой будут смеяться: вот, мол, прогорелый барин Толстов, обнищал, сам работает, тебе не стыдно будет? — спросили мы.

Лев Николаевич начал отчеканивать слова, как бы находясь со взрослым обществом:

— Какой же вы понимаете стыд? Самим работать на себя? Что, ваши отцы говорили вам когда, что им стыдно работать? Нет! То в чем же стыд, если человек своим трудом честным кормит себя и свое семейство, и вот как раз смех подходит ко мне обратным путем. Так я думаю: не велик смех работать, а велик смех и ругань за то, что я не работаю, живу лучше вас, мне стыдно. Пью, ем, катаюсь, играю на инструменте, а все как-то скучно, ду-маешь: бездельник.

Лев Николаевич остановил взгляд на Игнате, мельком бросил взгляд на меня и всех остальных и сказал:

— Ну, как, Игнат, будем решать дело?

Вопрос для нас был новый и удивительный и никогда не слыханный, очень мудреный. На что Игнат болтлив, и то не сразу заговорил. Все мы смолкли, на нас пало какое-то недоумение, недоверчивость к выдумке Льва Николаевича. Похоже, всякий думал, что Лев Николаевич правду говорит или шутит — как можно из барина сделаться мужиком...

Наконец у всех развязались языки, стали обсуждать мудреные задачи, как Льва Николаевича женить, как его устроить, какую подобрать невесту получше, поработящей; если в своей деревне не окажется, присмотреть в чужой, в Казначеевке или в Бабурине. «Жениться не напасть, как бы после не пропасть; не лапоть, с ноги не сбросишь!» И в самых мельчайших подробностях мы его учили.

Он сидел, поглядывал на всех, улыбался, некоторых переспрашивал и что-то записывал в тетрадку...

Сам Лев Николаевич находился с нами почти безотлучно. В особенности он более привязался к первоклассникам, то есть лучшим ученикам. Занятие было серьезное. Он как бы доставал что-то глубокое в душе ученика.

Не раз мы запаздывали с учением. Второй и третий классы бывали уже распущены по домам, а мы оставались вечерять, так как любил Лев Николаевич по вечерам читать с нами книги. Любимая наша вечерняя книга была «Робинзон Крузо». Я читал бойко и внятно, и чтение поручалось мне и Чернову. И когда поздно засиживались до полуночи в чтении, рассказах и шутках, в дурную ненастную погоду Лев Николаевич развозил нас на своих лошадях по домам...

Читали мы как-то вместе со Львом Николаевичем одну книгу. Не упомяну заглавие книги, но книга была очень хороша. Я часто спрашивал Льва Николаевича, останавливаясь на точках, с вопросом:

— Лев Николаевич, а вы можете так сами составить?

— Не знаю.

После чтения книги Лев Николаевич сказал нам, всему классу:

— Давайте и мы что-нибудь напишем, выдумаем...

Он задавал нам писать на пословицы, но что-то у нас ничего не выходило. Один раз мы стали писать сочинение втроем: Лев Николаевич, Макаров и я, Морозов². Все пошло у нас порядком. То Лев Николаевич скажет, то Макаров, то я. И мы как бы друг другу не уступали, сочинители были равные. Написали уже целый лист, перешли на другой. Лев Николаевич восхищался нашему успеху и то и дело говорил:

— Как прекрасно у нас выходит! Как хорошо! Бог даст окончим и напечатаем, будет книга.

Мне стало завидно, что Лев Николаевич воспользуется один всеобщей книгой, будут читать и скажут: «Лев Николаевич написал». Не желая ему одному уступить то, что выдумывали и мы, я заявил ему претензию, сказал:

— Лев Николаевич, а как будете отпечатывать?

Лев Николаевич посмотрел на меня и не понял вопроса.

— Так и напечатаем.

— Нет, Лев Николаевич, а вы напечатывайте всех нас троих. Вот, например, по фамилии: Макаров, Морозов, а ваша как фамилия?

— Толстой.

— Ну, вот так троих и ставьте: Макаров, Морозов и Толстов.

Лев Николаевич улыбнулся и сказал утвердительно:

— Так мы и напечатаем троих.

К сожалению, я не могу вспомнить ничего из «знаменитого нашего произведения», как называл его Лев Николаевич. Все забыл, исчезло из воспоминаний. И, к сожалению, тот самый наш труд не осуществился. Он был уничтожен нашими учениками, на игры на хлопущки. И долго-долго Лев Николаевич скучал о нашем сочинении, негодовал на шалунов. Я взялся было возобновить потерянное и написать точь-в-точь, что было. Мы оста-

лись на всю ночь ночевать в доме Льва Николаевича и с Макаровым приступили к делу. И переписка у нас не выходила. Мы спорили между собой с Макаровым, и оба забывали самую суть. Мы написали, но уже не так хорошо, и всегда Лев Николаевич скучал о потерянном. Все-таки желание свое Лев Николаевич не оставил, и он сказал мне:

— Морозов, напиши ты что-нибудь мне сам.

— А что писать, Лев Николаевич?

— Напиши так, как ты стал себя помнить, каких лет ты был. Пяти или шести лет. Как вы жили и как ты помнишь вообще свою жизнь.

— Хорошо, Лев Николаевич.

И я стал писать, долго я писал, мудрствовал. Написанное Лев Николаевич просматривал и все говорил:

— Хорошо, очень, очень хорошо!

Я опять с большим усердием продолжаю, и опять Лев Николаевич просматривает и опять говорит:

— Хорошо, очень, очень хорошо! Продолжай еще.

Я мудрствовал все дальше и дальше, и мне наконец стало надоедать. Мне казалось длинно и хотелось скорей закончить конец.

В конце я поставил: «С тех пор мы стали хорошо жить» и потом подношу ему и говорю:

— Лев Николаевич, посмотрите, что не довольно мне писать?

Лев Николаевич посмотрел и сказал:

— Хорошо, очень, очень хорошо! — свернул мое писание, прибрал к себе.

— Вот я тебе его напечатаю.

Я в душе не верил этому. Но вскоре я свой рассказ прочел напечатанным. «Солдаткино житье», как назвал мой рассказ Лев Николаевич³...

Лев Николаевич мне предложил путешествие. Он собрался ехать в Самарскую губернию на кумысное лечение.

Предложил Лев Николаевич поехать с ним и моему товарищу ученику Чернову. И еще должен был с нами поехать Алексей Степанович⁴...

Как ни томительна была дорога, мы все-таки дождались последнего перегона. Дежурил уже я на козлах. Стало вечереть, и стемнело. Вот и матушка Москва, о которой я много слышал. Ух, как тут жарко горят

огни, и везде светло, дома большущие, народу, народу сколько шатается,— как есть глаза растеряешь!

Из тарантаса голос Льва Николаевича:

— Ямщик, вези нас в гостиницу.

— В какую прикажете?

— На Пятницкую, там я тебе укажу.

Гостиница была чуть не с полверсты, освещена светло, как днем. Лев Николаевич попросил не номер, а отделение в три комнаты.

— Ну, теперь, слава богу, отдохнем на месте. Ну, как вам Москва нравится? — спросил Лев Николаевич.

— Да, хорошо,— ответили мы.— Ух, какие дома, а народу, народу!..

— А мне не нравится Москва,— сказал Лев Николаевич.

— Почему? — удивленно спросили мы.

— Потому что здесь нету пахотных полей, лесов, таких садов, как у нас, ни птиц, ни овец, не на что порадоваться и погулять на свежем воздухе.

Мы со Львом Николаевичем не согласились. Конечно, это потому, что для нас Москва была новинкой...

Из Казани мы добрались до Самары, из Самары опять нам пришлось ехать на лошадях сто тридцать верст, надоело путешествие. Ну, слава богу, приехали на место! Это была степь, ни одной деревни не было видно, ни лесочков, ни кусточков, только видны неустроенные какие-то кибитки войлочные. Мы остановились у одной из кибиток. Здесь нам была квартира-кочевка...

Кибитка наша была не тесная, четверым нам было вполне просторно. Алексей Степанович стал разбирать вещи, привел все в порядок. Вскоре принесли нам два больших старых ковра и еще какой-то войлок. Ковры были расстелены на земляном полу, а войлок был принесен для постели Льва Николаевича. В кибитке стало опрятно как изнутри, так и снаружи. Кибитка была большая, с целую просторную избу, кругообразная, построена была на каких-то колышках и перекладинах, покрыта и обтянута довольно свежими войлоками. Наша кибитка стояла в числе многих других кибиток, расположенных в два ряда, друг против друга...

Вот незаметно прошло две недели с нашего приезда к башкирам. Нам показалось у них весело, мы скоро привыкли к башкирам, и башкиры к нам. В особенности

полюбили все башкиры Льва Николаевича, от старого и до малого; он способный с кем как обойтись: с некоторыми стариками беседовал серьезно о вере, боге, аллахе, с некоторыми шутил до веселого смеха, а с некоторыми происходил все башкирские игры, и во всем он участвовал. И всякий его любил за свое, и это продолжалось каждый день за все время, что мы там прожили.

Башкиры с ним все вскоре так сблизились, что всякий, встречаясь с ним, с радостью улыбался и кланялся ему. Даже четырех- пятилетние башкиренки, встречаясь с ним, кивали головой, улыбались и обзывали его:

— Князь Тул. (Это значило: «Тульский князь».)...

Частенько устраивал Лев Николаевич с башкирами игры. В играх принимали участие и большие, и маленькие, и, конечно, мы с Черновым. Игры были такие: играли в чехарду. Расстанавливались несколько человек гусем и начинали по очереди перепрыгивать. Лев Николаевич был легкий, перепрыгивал высоко, ловчее всех. Еще играли в игру, которая называется, как помню, по-башкирски «пшалоyle». Сделан круг на земле, в кругу ямочка, несколько шаров, шары эти гнались палками в ямочку, из ямочки выбивался шар, за ним бегали, схватывали,— подробно не упомяну эту игру, но помню, что смеху бывало много. Еще, бывало, Лев Николаевич боролся с башкирами. Бороться он был большой охотник. Он был сильный богатырь, и ему не находилось противников. Только один башкир был ему равный по силе, и Льву Николаевичу не удавалось его класть на землю, но и башкиру не удавалось Льва Николаевича положить. Запыхавшись, Лев Николаевич говорил ему:

— Нет, я с тобою не могу, ты сильнее меня.

Во время таких игр все башкиры из всех кибиток собирались, от большого и до малого.

П. В. МОРОЗОВ

ВОСПОМИНАНИЯ УЧИТЕЛЯ ТОЛСТОВСКОЙ ШКОЛЫ

... Мы встретили около барского дома мужчину в овчинном полушубке и валеных сапогах. «Нам графа надо». — «Я — граф». — «Оно и видно, — насмешливо ответил мой брат. — У графа истопником служишь? Я привез графу мучителя»... Мужчина в полушубке оказался графом. Он пошел со мной в школу. Вошли. Я был поражен невообразимым гамом ребятишек. При входе ребята закричали:

— Лев Николаевич! Опять нанял нового учителя! Ведь и этот убежит, как И. И. и Н. О.! Ты уж лучше один с нами занимайся — учителя нам не надо!

После я узнал, что до меня в продолжение месяца у графа переменялось человек пять или шесть учителей, из которых одни сами уходили, не имея сил справиться с учениками, а других граф увольнял за грубость.

Оглядевшись, я стал присматриваться к занятиям. Ничего похожего на школу, в какой я сам учился и какие видел, не было. Ребята сидели большей частью парами, редко тройками или большими группами, человек в пять. Одна пара читает, другая пишет буквы или слова, третья пишет цифры, четвертая рисует и т. д. Одним словом, всякий делает, что ему сподручней. Только слышны возгласы:

— Лев Николаевич! Подойди к нам, посмотри: так ли мы читаем?

В этот день граф уехал к брату гр. Сергею Николаевичу, в Пирогово. Я остался один в школе. Пришел конторщик и закричал на ребят:

— Убирайтесь по домам! Дайте Петру Васильевичу отдохнуть с дороги, а завтра приходите!

Ребята с большой неохотой ушли. Под вечер они опять пришли, но сторож прогнал их...

Скоро приехал Лев Николаевич. Как сейчас помню, ребята вбежали в школу с оживленными личиками и с криком:

— Лев Миколаиц приехал! Лев Миколаиц приехал! Сейчас к нам придет!

Граф вошел в школу, и ребята буквально облепили его, как рой пчел куст. Мне минут десять не было возможности подойти к нему поздороваться.

Мы стали заниматься вместе с графом...

Встаешь утром часов в шесть или семь, никак не позднее, а ребята уже тут как тут. Некоторые на дворе играют в снежки или в коридоре упражняются в гимнастике, другие в школе занимаются. Приходилось идти в школу, иногда не напившись чаю. Часов в восемь, а иногда и ранее, приходит сам граф. Занимаемся весь день. Вы спросите: когда же ребята обедают? Они свободно располагают своим временем, не стесняясь никакими часами для своих занятий. Одни уходят, другие приходят, и так с раннего утра до позднего вечера. Разве самому графу бывает не время заниматься вечером, — тогда, что называется, прогоняли ребят из школы. И то не мы с графом, а сторож. У нас же не хватало духа прогонять их, разве все уснут под столом. Тогда, разбудив уснувших, мы с графом идем провожать ребят на деревню. Частенько приходилось нам слышать ворчанье матерей. Стучим, например, к Матрене Козловой.

— Кто там? — спросит Матрена.

— Отопри, Матрена! Это мы. Возьми ребят своих.

— Эх вы, шатуны полунощные! Видно, вам делать-то нечего! Ребят только балуете да добрых людей беспокоите!

Школа не утомляла меня благодаря отсутствию казенщины. Никто здесь никого не обязывал быть навязкой. Всякий чувствовал себя как дома, попросту, и это вовсе не указывало на отсутствие порядка; напротив, таков был именно порядок школьных занятий. Кажущиеся беспорядки были здесь принципиальны, ибо граф вел занятия не по учебникам дидактики, а по тому плану, который выработала его гениальная голова, желавшая школу превратить в семью. Ребята приходят, уходят, не спрашиваясь ни у кого, сами берутся за дело, без всякого

принуждения, по своей воле, и притом за дело, какое хочет каждый делать.

Об Яснополянской школе на этом основании составилось неправильное мнение, будто школа Льва Николаевича была похожа на цыганский табор или на сельскую сходку. Все это ложь: особых шалостей в школе никогда не замечалось,— разве уже явится какой-нибудь беспардонный шалун и начинает в школе затевать уличные игры; так такого шалуна сами ребята сейчас же проводят из школы без церемонии. Был у нас такой шалун — Федька Резун, несказанный мастер на шалости. Но лишь только он забалуется, как ребята начинают его урезонивать:

— Ну, Федюха, если хочется тебе играть, ступай на улицу, а нам не мешай. Тебе небось не понравится, если ты будешь молотить на гумне, а мы придем к тебе да будем играть на току?

Впрочем, бывали случаи, что на таких, как Федька Резун, никакие доводы товарищей не действовали. Тогда начиналась товарищеская потасовка. Граф в таких случаях уходил из школы, в дела ребят не вступался. Но, повторяю, все это было весьма редко.

Я свыкся с школой, работал в ней до последнего дня ее существования и с сожалением оставил Ясную Поляну.

Н. П. ПЕТЕРСОН

ИЗ ЗАПИСОК БЫВШЕГО УЧИТЕЛЯ

Впервые я увидел Льва Николаевича в начале 1862 года, в Москве, на Лубянке, в гостинице, кажется, «Лабоди», куда я пришел к нему со своими товарищами как один из согласившихся на его приглашение ехать учительствовать в одной из сельских школ, которые Лев Николаевич предполагал тогда открыть, будучи мировым посредником.

Несколько школ в ближайших к Ясной Поляне селениях были открыты Толстым раньше. Была школа и в Ясной Поляне, на барской усадьбе, в одном из находившихся в ней домов.

В этой школе учительствовал и сам Лев Николаевич. Учителями в открываемые школы Лев Николаевич приглашал студентов, среди которых были в то время волнения, начавшиеся из-за вводившихся матрикул и переходившие на политическую почву. Лев Николаевич указывал на бесплодность этих волнений и приглашал к плодотворной работе над просвещением народа, который казался тогда Льву Николаевичу источником истины, блага и красоты, но источником закрытым, за отсутствием органов, способных проявить внутреннее содержание. Внося в среду народа грамотность, мы должны были способствовать, помогать народу выразить его внутреннюю сущность, сказать *свое слово*, и мы должны были прислушиваться к этому слову, а не вносить в народ что-либо свое. *Цивилизация* (слово «культура» тогда еще не употреблялось) казалась Льву Николаевичу извращением здоровой жизни людей. И я не раз, между прочим, слышал от него:

— Жениться на барышне — значит навязать на себя весь яд цивилизации.

И хотя мы все и были продуктом цивилизации, но не заражать народ своим «ядом» приглашал нас Лев Николаевич, а самим оздоровиться от соприкосновения с здоровой жизнью народа.

Я, как и все откликнувшиеся на приглашение Льва Николаевича, с радостью пошел за ним... Для меня было величайшей радостью приезжать по субботам и перед праздниками в Ясную Поляну из Плеханова (деревня, где я учительствовал, верстах в семнадцати от Ясной) и проводить целый день вместе с остальными сотоварищами, которых было человек десять, в беседах со Львом Николаевичем и слушать его рассказы. Некоторые я потом встретил в его «Казаках» и «Войне и мире».

Для меня было еще большим наслаждением слушать его дивную игру на рояле. Особенно запечатлелся в моей памяти «Лесной царь» Шуберта, сопровождаемый словами баллады Жуковского.

В Ясной Поляне нам было необыкновенно приятно. Все относились к нам с редкой добротой, не исключая и тетушки Льва Николаевича, Татьяны Александровны Ергольской, хотя мы, вероятно, и не могли не шокировать ее своими манерами и своими несовершенными (за неимением средств) костюмами. Впрочем, и сам Лев Николаевич не блистал тогда костюмами. Мне помнится, что у него был только один сюртук, в котором он ездил на съезды мировых посредников, но и тот с короткими рукавами и с талией не на своем месте; а ваточное пальто Льва Николаевича было даже с прорванной подкладкой, и из-под нее лезла вата...

После съездов мировых посредников Лев Николаевич всегда бывал недоволен и очень нелестно отзывался о своих сотоварищах по съезду, из которых я ни одного не видал в Ясной Поляне.

Впрочем, Лев Николаевич недолго оставался мировым посредником. В апреле или мае 1862 года он подал в отставку.

Недолго, однако, мы учительствовали. С началом весенних работ наши школы опустели. И некоторые из нас, в том числе и я, должны были поселиться в Ясной

Поляне в ожидании, когда, по окончании полевых работ, снова соберутся ученики в наши школы.

Жить в Ясной Поляне было хорошо. Но сам Лев Николаевич что-то заскучал. Он взял с собою двоих учеников Яснополянской школы и уехал с ними в мае месяце в самарские степи, откуда возвратился только месяца через два. Без него приезжали жандармы и производили обыски, но, конечно, безрезультатно. Лев Николаевич был чужд политике и нас всех отчудил от нее.

Жандармы были направлены на Ясную Поляну, вероятно, по неудовольствию, которое Лев Николаевич возбудил против себя как мировой посредник¹.

После возвращения Льва Николаевича из самарских степей приезжал, я помню, в Ясную Поляну Е. Л. Марков, бывший тогда учителем тульской гимназии, впоследствии известный публицист и литератор. Е. Марков приезжал в Ясную Поляну вскоре после того, как вышла книжка «Русского вестника» с его статьею об Яснополянской школе и о журнале «Ясная Поляна». В этой книжке Марков весьма критически отнесся к педагогическим идеям Льва Николаевича и этим всех нас возбудил против себя. Тем не менее Лев Николаевич принял его весьма любезно; и когда мы слишком яростно нападали на Маркова, в особенности после его отъезда, Лев Николаевич, не соглашаясь с Марковым, заявил, однако, что Марков очень умен и статья его — очень умная статья. Тем и были сдержаны наши нападки.

В августе (1862 года) Лев Николаевич поехал в Москву по делам редакции журнала «Ясная Поляна», которой заведовал один студент. Окна квартиры этого студента были вровень с тротуаром. И мне помнятся рассказы, что Лев Николаевич входил к этому студенту для сокращения через окно. Говорили также, что Лев Николаевич, приехав в Москву, остановился на этот раз не в гостинице, а на студенческой квартире. Но скоро мы услышали, что он переехал в одну из лучших тогдашних гостиниц в Москве — к Шевалдышеву, а затем и в самую лучшую — к Шевалье, в Газетном переулке. Не могу, однако, утверждать, что все это именно так происходило, но все это так сохранилось у меня в памяти.

Потом мы узнали, что Лев Николаевич решил жениться. А в сентябре 1862 года он приехал в Ясную Поляну уже со своею супругою Софьей Андреевной...

Ко времени приезда Льва Николаевича в Ясную Поляну с молодою женою все учителя разъехались по своим школам. Я был младший из всех. Мне было семнадцать лет, и моя деятельность в Плехановской школе была не особенно удачна, а потому с осени я должен был заниматься в Яснополянской школе, где преподавал и сам Лев Николаевич. Но по приезде его с женою занятия в школе что-то не начинались. Я спрашивал Льва Николаевича:

— Когда же мы будем заниматься?

Он каждый раз отвечал:

— Будем, будем!

В конце концов брат Льва Николаевича, Сергей Николаевич, предложил мне давать уроки его сыну, который жил с матерью в Туле. И я переехал в Тулу...

Так кончилось мое пребывание в Ясной Поляне. Вскоре закрылись и все школы, открытые Львом Николаевичем...

Помню, что, живя летом в Ясной Поляне, мне приходилось ездить в Тулу, отстоящую верстах в тринадцати — четырнадцати от Ясной Поляны, приходилось ездить иногда верхом на небольшой белой лошадке Льва Николаевича, которая была приведена им с Кавказа, где он ускакал на ней, как говорили, от черкесов, гнавшихся за ним и не догнавших его благодаря быстроте его коня.

В одну из поездок в Тулу я был там в книжной лавке, кажется Пантелеева, который обратился ко мне с просьбой спросить Льва Николаевича, не продаст ли он ему издание «Князя Серебряного». Я объяснил Пантелееву, что это произведение другого графа Толстого, не Льва Николаевича. Но по приезде в Ясную Поляну рассказал об этом Льву Николаевичу. Помню его слова:

«Скажите ему (то есть Пантелееву), что я такой драни не пишу».

В начале 1863 года я покинул Тулу. Но и после мне приходилось встречаться со Львом Николаевичем. И, между прочим, в Москве, в 1868 и 1869 годах, в Чертковской библиотеке, где я был помощником библиотекаря, П. И. Бартенева (издатель «Русского архива»). Бартеневу Лев Николаевич поручил тогда и издание «Войны и мира», после того как начало этой поэмы, под заглавием «1805 год», было напечатано в «Русском вестнике». Мне приходилось держать и корректуру первого

издания «Войны и мира». Во время печатания этого произведения Лев Николаевич и заходил в Чертковскую библиотеку. Однажды он попросил меня разыскать все, что писалось о Верещагине, который в двенадцатом году был отдан Растопчиным народу на растерзание как изменник. Помню, я собрал множество рассказов об этом событии, газетных и других, так что пришлось поставить особый стол для всей этой литературы. Лев Николаевич что-то долго не приходил, а когда пришел и я указал ему на литературу о Верещагине, то он сказал, что читать ее не будет, потому что в сумасшедшем доме встретил какого-то старика — очевидца этого события, и тот ему рассказал, как это происходило.

А. А Ш А Р И Н

ИЗ ЖИЗНИ ЛЬВА ТОЛСТОГО

Это было в 1862 году, когда я поступил к генералу Костомарову управляющим его имения Харино, расположенного в Тульской губернии.

В марте 1862 года познакомился с нашим соседом по имению, графом Львом Толстым, по совершенно деловому поводу. Толстой был мировым посредником¹, и спорные вопросы о разделе крестьянской земли заставили меня в сопровождении сельского старосты лично посетить графа...

Мы проехали по деревне и приблизились к господскому дому. Нас встретили радостный визг и крики детских голосов. Из ворот выбежал мужчина, преследуемый весело шумящей толпой мальчиков. У всех мальчиков, просто, но опрятно одетых, были в руках комья снега, которыми они с победными криками бомбардировали убегающего от них мужчину. Когда он нас увидал, он спасся бегством, спрятавшись за нас, и начал из своего убежища вести переговоры с победителями. Мальчики прекратили нападение, и я представился графу. О тождестве его с нашим подзащитным мне уже повестил староста.

Страхивая снег с своего платья, граф пригласил меня в дом... Пока мы подходили к дому... я имел время ближе рассмотреть его лицо. Роста он был немного выше среднего, но широк в плечах; вся его жилистая фигура показывала незаурядную физическую силу. Коричневатое лицо было обрамлено небольшой окладистой бородой; темные волосы были зачесаны назад со лба. Его лицо, обычно несколько угрюмое, когда он улыбался, располагало к себе. В его глазах светилось много сердечной

доброты. На нем было короткое пальто и мягкая серая шляпа с широкими полями.

Придя в дом, он прошел в просто меблированную комнату и учтивым движением руки пригласил меня сесть. Я сообщил ему цель моего приезда и получил нужные мне сведения. Немного подкрепившись, я двинулся в обратный путь.

На обратном пути староста, обычно неразговорчивый, но теперь, под влиянием оказанного ему в графском доме гостеприимства, почувствовавший потребность в живом общении, не переставал восхвалять доброту и гуманность графа. «Он как отец заботится о своих крестьянах, которым он дал свободу еще в те годы, когда ни один человек не предчувствовал манифеста нашего государя². Он открыл школу, пригласил немцев-учителей и сам возится с деревенскими олухами и делает из них образованных людей. Да, вот это настоящий благодетель,— закончил он свой хвалебный гимн,— а не живодер, как наш барин.— При этом он презрительно сплюнул.— Никто из соседних помещиков не любит за то его сиятельства; они его ненавидят, как наш оборотень. Но Льву Николаевичу это нипочем». И он щелкнул пальцем.

Через месяц граф Толстой приехал к нам в простой телеге, в сопровождении кучера и мальчика лет двенадцати, которого он шутя называл своим «маленьким землемером». Дело было к вечеру. Цель его посещения была содействовать размежеванию земель; мальчик нес небольшую цепь. Я попросил его от имени генерала в господский дом, но он наотрез отказался.

— В господский дом я не пойду,— сказал он,— но если вы меня пригласите к себе, то я с благодарностью приму ваше приглашение.

Я извинился, что не могу предоставить ему большой комфорт.

— Не беспокойтесь,— отвечал он,— матрацы, подушку и одеяло я везу с собой в телеге, и больше мне ничего не нужно.

При первой моей встрече со Львом Николаевичем я говорил по-русски; мое знание русского языка было достаточно для простого делового разговора; но когда беседа сделалась более сложной и поднялась в более высокую область, дело не пошло. Лев Николаевич заметил это и повел беседу на немецком языке, на котором он

говорил столь же правильно, как и свободно, хотя несколько с акцентом.

За чаем он сделался более оживленным, и разговор принял непринужденный характер.

— Это неоценимый напиток,— высказал он свое мнение относительно чая.— После ночи, проведенной в сыром бивуаке, после поездки в суровый зимний холод стакан горячего чая делает чудеса. Чувствуешь, как новая жизнь разливается по застывшим жилам, и дух и тело вновь начинают функционировать. Чай во всяком случае нужно предпочитать кофе; кофе возбуждает нервы, а чай — спасительное средство.

— И однако,— продолжал он после некоторой паузы,— чай, как и некоторые другие чрезмерно употребляемые наркотики, в известной мере повинен в возрастающей нервозности культурных людей.

Он начал говорить о различных явлениях в высших слоях русского общества; их ветреность, легкомыслие и жажда наслаждений чужды народу...

— Русский мужик,— говорил он,— понятлив, внимателен, терпелив и невзыскателен. Ярмо крепостного права, тяготевшее над ним в течение нескольких веков, не смогло уничтожить в нем эти хорошие качества. Во время моей военной жизни мне не раз представлялся случай изучить нашего мужика как солдата, и я должен признаться, что русские солдаты представляют собой материал для лучшей армии в мире...

Рано утром граф был уже на ногах. Торопливо позавтракав, граф принял депутацию крестьян, пришедшую поговорить с мировым посредником относительно раздела крестьянской земли. Это были два волостных старшины и выборный. Они вошли в полуотворенную дверь в комнату и низко поклонились графу, который, с своей стороны, ласково встретил их вопросом:

— Ну, ребята, чего вы хотите?

Выборный — маленький седобородый крестьянин, морщинистое лицо которого не было лишено некоторой важности, как того требовала доверенная ему миссия,— изложил просьбу сельского общества. Они хотели вместо назначенного им выгона получить другой кусок земли.

— Мне очень жаль, что я не могу исполнить ваше желание,— сказал граф. И он начал объяснять им сущность дела.

— Ну, как-нибудь сделайте, батюшка,— сказал выборный.

— Нет, в самом деле я сделать ничего не могу,— подтвердил граф...

Мужики переглянулись, почесали затылки и упрямо продолжали твердить свое: «Уж как-нибудь, батюшка!»

— Если захочешь, батюшка, то уж непременно сделаешь,— снова заговорил выборный.

Остальные в знак одобрения закивали головами.

Граф перекрестился и сказал:

— Как бог свят, клянусь вам, что я ничего не могу для вас сделать.

Но когда мужики, несмотря на это, продолжали твердить свое: «Уж как-нибудь сделай, батюшка!» граф с досадой обернулся ко мне и сказал:

— Можно быть Амфионом и скорее сдвинуть горы и леса, чем убедить в чем-нибудь мужика³.

В продолжение всей беседы, тянувшейся почти час, я удивлялся, какое терпение и даже доброжелательство проявлял он в ответ на упорство крестьян. Ни одного резкого слова не сорвалось у него с языка, и единственным выражением досады, вырвавшимся у него, были слова, обращенные ко мне. Я потом еще раз имел случай убедиться в подлинном человеколюбии и гуманности графа.



ВОСПОМИНАНИЯ О ТОЛСТОМ ПРИБАЛТИЙСКОГО НЕМЦА

Когда я более тридцати лет тому назад принял в управление расположенное в Тульской губернии имение генерала Костомарова, я не имел никакого понятия о существовании графа Толстого, несмотря на то, что он проживал всего только в сорока верстах от моего места жительства. Я обратил на него внимание благодаря тогдашнему становому, в ведении которого находилось как мое Харино, так и имение графа Толстого Ясная Поляна. Он мне рассказал о графе, его авторитете, популярности и у лиц его сословия и у крестьян.

От него я узнал, что графа очень не любили лица его сословия и соседи, а больше всего не любил его становой, так как он всегда защищал своих крестьян от гнета полицейского произвола.

— Видите ли, Людвиг Петрович, граф, положим, человек хороший, но у него есть воззрения, свои собственные мнения; конечно, и у меня есть свои взгляды, но эти взгляды вот какие: исполняй свой долг, свои служебные обязанности так, чтобы начальство и власти были довольны, вот и все. А он еще до отмены крепостного права даровал своим крестьянам личную свободу, даже не подумав о том, в какое затруднительное положение он этим поставил остальных дворян. Что будет делать крестьянин с своей личной свободой? Может он свою личную свободу отнести в кабак, там ее заложить и устроить себе веселый день? Такой свободный крестьянин — все равно что выгнанная из дома собака, которой хозяин даже хлеба из милости не дает; он пропадает! Но это не беспокоит такого теоретика, как граф Толстой. Теперь он

хочет воспитать в своих идеях подрастающую детвору и устроил на собственный счет у себя в Ясной Поляне школу. Помилуйте, школу для крестьянских детей! И он сам в качестве учителя? Граф — учитель! И после этого человек требует еще к себе уважения, которое ему подобает как графу, как помещику, как бывшему офицеру. Ну, я стараюсь как можно меньше встречаться с ним в обществе, избегаю более близкого знакомства и бываю у него только по делам. Да и о чем с ним говорить, о чем беседовать? Вот, Людвиг Петрович, полюбуйтесь, что он опять недавно написал; книжка как раз при мне. Здесь в самом начале он поставил немецкий эпиграф¹... В этой брошюре он хочет нам, дворянам, доказать, что отмена крепостного права не дело рук человеческих, нет, что это, напротив, закон природы, который был неизбежен². Ну, погоди, батюшка, как бы тебя самого не двинули! Двинут тебя, то есть, по-нашему, попросту говоря, прогонят, — учитель!»...

Еще прошло несколько монотонных недель, которые были заполнены работой и постоянной скукой; я почувствовал желание видеть других людей. Случилось, что я был приглашен моим становым в известный своим гостеприимством дом управляющего в О. Там меня дружески приняли и пригласили на вечеринку. Я пришел и застал очень смешанное общество уже сильно навеселе, которое тем неприятнее подействовало на поздно пришедшего. И мой становой был там. Едва он меня увидел, как бросился ко мне навстречу и торжественно закричал:

— Ну, Людвиг Петрович, разве я не прав? Вот свидетель, господа, что я еще несколько месяцев назад предсказывал: двинут тебя! Ха-ха-ха! И вот его двинули, прогнали тебя, мировой посредник, учитель! Граф! Еще лучше будет, подожди немного, тебя и из учителей прогонят! Теперь он может писать брошюры с немецкими изречениями: «*Ach du lieber Augustin, alles ist hin*»*... Видите, Людвиг Петрович, я тоже умею произносить немецкие изречения...

То, что я увидал, было веселье, доходившее до сумасшествия, непринужденность, доходившая до непристойности, и чрезмерное количество «очищенной»...

* Ах, милый Августин, все прошло (нем.).

С тяжелой головой от всего, что видели мои глаза и слышали уши, поехал я домой. И такие люди присваивали себе право судить Толстого!.. Люди, которые были всего только бюрократическими говорящими и пишущими машинами, покрытыми лаком приличия, который, однако, здесь и там исчезал, раскрывая большие дыры и трещины...

С. А. ТОЛСТАЯ

ЖЕНИТЬБА Л. Н. ТОЛСТОГО

В начале августа 1862 года мы, три сестры, были страшно обрадованы известием, что моя мать с маленьким братом Володей и нами, тремя девочками, собирается ехать на лошадях в ходивших в то время анненских каретах к отцу своему, нашему деду, Александру Михайловичу Исленьеву.

Дедушка Исленьев (описанный Львом Николаевичем в «Детстве» в лице «папа») жил в то время в имении своем «Ивицы», Одоевского уезда...

Имение деда моего отстояло от Ясной Поляны приблизительно в пятидесяти верстах. В Ясной Поляне находилась в то время сестра Льва Николаевича, Мария Николаевна, приехавшая из Алжира, и так как моя мать была лучшим другом детства Марии Николаевны и им, естественно, хотелось повидаться, то мать моя, с детства не посещавшая Ясную Поляну, решила непременно заехать туда...

Мария Николаевна и Лев Николаевич встретили нас шумно-радостно.

Сдержанная и любезная тетенька Татьяна Александровна Ергольская встретила нас французскими, учтиво любезными приветствиями, а приживалка ее, старушка Наталья Петровна, то молча гладила меня по плечу, то, подмигивая, заигрывала с моей меньшей сестрой Таней, которой было в то время 15 лет.

Нам отвели внизу большую комнату со сводами, не только просто, но бедно меблированную. Вокруг этой комнаты стояли диваны, выкрашенные белой краской, с очень жесткими подушками вместо спинок и такими же

сиденьями, все обитое полосатеньким, синим с белым, тиком. Тут же стояло длинное кресло, с такими же подушками, и тоже белое. Стол был простой, березовый, сделанный домашним столяром. В потолок сводов вделаны были железные кольца, на которые вешали в старину седла, окорока и прочее, когда при деде Льва Николаевича, князе Волхонском, комната эта была кладовой.

Дни уже были не очень длинные. Это было в начале августа. Мы едва успели обежать сад...

Когда стало смеркаться, мать послала меня вниз разложить вещи и приготовить постели. Мы с Дуняшей, горничной тетеньки, занялись приготовлением к ночлегу, как вдруг вошел Лев Николаевич, и Дуняша обратилась к нему, что троим на диванах постелила, а вот четвертой места нет.

— А на кресле можно,— сказал Лев Николаевич и, выдвинув длинное кресло, приставил к нему широкую квадратную табуретку.

— Я буду спать на кресле,— сказала я.

— А я вам постелю постель,— сказал Лев Николаевич и неловкими, непривычными движениями стал разворачивать простыню. Мне было и совестно и было что-то приятное, интимное в этом совместном приготовлении ночлегов.

Когда всё было готово и мы пришли наверх, сестра Таня, усталая, свернувшись, спала на диванчике в комнате тетеньки... Сестра Лиза вопросительно встретила нас глазами. Всякую минуту этого вечера я помню живо.

В столовой с большим итальянским окном косенький, маленького роста лакей, Алексей Степанович, накрывал ужин. Величавая, довольно красивая Дуняша (дочь дядьки Николая, описанного в «Детстве») помогала ему и что-то расставляла на столе.

Дверь в середине стены была отворена в маленькую гостиную с старинными розового дерева клавибордами, а из гостиной были отворены двери, с таким же итальянским окном, на маленький балкон, с которого был прекрасный вид...

Я взяла стул и, выйдя на балкон одна, села любоваться видом...

Все собрались ужинать. Лев Николаевич пришел звать и меня.

— Нет, благодарю вас, я не хочу есть,— сказала я,— здесь так хорошо...

Лев Николаевич вернулся в столовую, но, не кончив ужинать, пришел опять ко мне на балкон. О чем мы говорили,— я подробно не помню; помню только, что он мне сказал: «Какая вы ясная, простая». И мне это было приятно.

Как хорошо спалось в длинном кресле, приготовленном мне Львом Николаевичем! С вечера я вертелась в нем, было немного неловко и узко от двух сторон локотников, но я смеялась в душе каким-то внутренним весельем, вспоминая, как Лев Николаевич готовил мне этот ночлег, и засыпала с новым, радостным чувством во всем моем молодом существе.

Радостно было и утреннее пробуждение. Хотелось всюду обежать, все осмотреть, со всеми поболтать. Какой был легкий дух тогда в Ясной Поляне! Лев Николаевич хлопотал, чтоб нам было весело; Мария Николаевна очень этому сочувствовала. Запрягли так называемые катки — длинный экипаж-линейку. В корню был рыжий Барабан, пристяжная — Стрелка. Потом оседлали старинным дамским седлом гнедую Белогубку, а Льву Николаевичу — очень красивую белую лошадь, и стали собираться на пикник...

Мне Лев Николаевич предложил ехать верхом на Белогубке, чего мне очень хотелось.

— А как же, у меня здесь амазонки нет,— сказала я, оглядывая свое желтенькое платье с черными бархатными пуговками и таким же поясом.

— Это ничего,— сказал Лев Николаевич, улыбаясь,— здесь не дачи, кроме леса, вас никто не увидит,— и посадил меня на Белогубку.

Казалось, что счастливее меня никого нет на свете, когда я скакала рядом с Львом Николаевичем по дороге в Засеку, где теперь наша ближайшая станция, а тогда был сплошной лес... Мы приехали на какую-то полянку, где стоял стог сена. Мария Николаевна пригласила всех лезть на стог и оттуда скатываться, на что все охотно согласилось. Вечер прошел весело и шумно.

На другое утро мы уехали...

Нас неохотно отпускали из Ясной Поляны и взяли с моей матери честное слово, что на обратном пути мы

снова заедем, хотя бы на один только день, в Ясную Поляну...

На другой же день нашего пребывания в Ивицах неожиданно явился верхом на своей белой лошади Лев Николаевич. Он проехал пятьдесят верст и приехал бодрый, веселый и возбужденный. Мой дед, любивший Льва Николаевича, да и вообще всю семью Толстых, по дружбе с графом Николаем Ильичом Толстым, особенно радостно и любовно приветствовал Льва Николаевича.

Было что-то очень много гостей. Молодежь, после дневного катанья, вечером затеяла танцы. Тут были и офицеры, и молодые соседи-помещики, и много барышень и дам. Все это — толпа неизвестных нам, чужих и чуждых лиц. Но что было за дело? Было весело, и только и надо было. Танцы на фортепьяно играли, чередуясь, разные лица.

— Какие вы здесь все нарядные,— заметил Лев Николаевич, глядя на мое белое с лиловым береговое платье, с светло-лиловыми бантами на плечах, от которых висели длинные концы лент, называемые в то время «*Suivez moi*»*.— Мне жаль, что вы при тетеньке не были такие нарядные,— прибавил с улыбкой Лев Николаевич.

— А вы что ж не танцуете? — сказала я.

— Нет, куда мне, я уже стар.

На двух столах старички и дамы играли в карты. Когда потом все разъехались и разошлись, столы остались открытыми, свечи догорали, а мы все еще не шли спать, потому что Лев Николаевич оживленно разговаривал и удерживал нас. Но мама нашла, что всем пора отдохнуть, и строго велела идти спать. Мы не смели ослушаться. Уже я была в дверях, когда Лев Николаевич меня окликнул:

— Софья Андреевна, подождите немного!

— А что?

— Вот прочтите, что я вам напишу.

— Хорошо,— согласилась я.

— Но я буду писать только начальными буквами, а вы должны догадаться, какие это слова.

— Как же это? Да это невозможно! Ну, пишите.

Лев Николаевич счистил щеточкой все карточные записи, взял мелок и начал писать. Мы оба были очень

* Следуйте за мной (франц.).

серьезны, но сильно взволнованы. Я следила за его большой, красной рукой и чувствовала, что все мои душевные силы и способности, все мое внимание были энергично сосредоточены на этом мелке, на руке, держащей его. Мы оба молчали.

«В. м. и п. с. с. ж. н. м. м. с. и н. с.»,— написал Лев Николаевич.

«Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья»,— прочла я.

Сердце мое забилося так сильно, в висках что-то стучало, лицо горело,— я была вне времени, вне сознания всего земного: мне казалось, что я все могла, все понимала, обнимала все необъятное в эту минуту.

— Ну, еще,— сказал Лев Николаевич и начал писать:

«В в. с. с. л. в. н. м. и в. с. Л. З. м. в. с. в. с. Т.».

«В вашей семье существует ложный взгляд на меня и вашу сестру Лизу. Защитите меня вы с вашей сестрой Танечкой»,— быстро и без запинки читала я по начальным буквам.

Лев Николаевич даже не был удивлен. Точно это было самое обыкновенное событие¹...

Послышался недовольный голос матери, звавшей меня спать. Мы наскоро простились, потушили свечи и разошлись. Наверху за шкафом я зажгла маленький огарок и принялась писать свой дневник, сидя на полу и положив тетрадь на деревянный стул. Я тут же вписала слова Льва Николаевича, написанные мне начальными буквами, и тут же смутно поняла, что между им и мной произошло что-то серьезное, значительное, что уже не может прекратиться. Но я не дала ходу ни своим чувствам, ни своим мечтам по разным причинам. Я точно заперла на ключ все случившееся в этот вечер, с тем чтобы спрятать до времени то, что еще не должно видеть света.

Когда мы уехали из Ивиц, мы снова на один день заехали в Ясную Поляну.

На этот раз там весело не было. Мария Николаевна собиралась уезжать с нами вместе в Москву, оттуда за границу, где она оставила своих детей, и тетенька Татьяна Александровна, страстно любившая свою Машеньку, была грустна и молчалива. Ей всегда тяжела была разлука с той, которую она с детства воспитала и любила, как дочь, и которая так глубоко была несчастна

с ее родным племянником, сыном ее сестры Елизаветы Александровны, графом Валерианом Петровичем Толстым. Меня смущало отношение Льва Николаевича ко мне и подозрительные взгляды сестер и окружающих. Мать моя, казалось, тоже была чем-то озабочена. Маленький Володя и сестра Таня устали и стремились скорее домой.

Послали в Тулу нанять большую анненскую карету (названные так по их содержателю, Анненкову). Внутри ее было четыре места и сзади два, как в крытой пролетке с верхом. Мы, старшие девочки, с сожалением оставляли Ясную Поляну. Простились с тетенькой и Натальей Петровной и искали Льва Николаевича, чтоб проститься с ним.

— Я еду с вами,— сказал он просто и весело.— Разве можно теперь оставаться в Ясной Поляне? Будет так пусто и скучно,— прибавил он.

Не отдавая себе отчета, почему мне вдруг стало так весело, почему таким все светилось счастьем, я побежала объявить новость матери и сестрам. Решено было, что в заднем, наружном месте будет все время ехать Лев Николаевич, а мы с сестрой Лизой будем чередоваться: одну станцию поедет она, другую — я, и так до Москвы.

И вот мы едем, едем... Помню, вечером мне страшно хотелось спать. Я зябла, куталась и чувствовала такое спокойное счастье возле любимого мною с детства, привычного друга семьи, любимого автора «Детства», и теперь такого ласкового и еще более симпатичного. Он рассказывал мне длинно и красиво о Кавказе, о своей жизни там, о красоте гор и первобытной природы, о своих подвигах. Мне так хорошо было от его голоса, равномерного, но как будто горлового, издаелека откуда-то, и нежно-растроганного. И я то минутами засыпала, то опять просыпалась, и все тот же голос рассказывал мне красиво и поэтично свои кавказские сказки. Мне совестно было за свою сонливость, но я была еще так молода, и хотя жаль было не все услышать, что рассказывал Лев Николаевич, я все-таки минутами не могла преодолеть сна. Ехали всю ночь. Внутри кареты все спали, и только изредка переговаривались моя мать с Марией Николаевной или пищал во сне маленький Володя.

Но вот стали подъезжать к Москве. Последняя станция опять моя, и я должна ехать со Львом Николаевичем

в заднем, наружном, месте. На последней станции подходит ко мне моя сестра Лиза и просит уступить ей ехать в наружном месте.

— Соня, если тебе все равно, уступи мне,— просила она.— В карете так душно.

Мы вышли из станции и стали все садиться по местам. Я полезла в карету.

— Софья Андреевна,— окликнул меня Лев Николаевич,— ведь теперь ваша очередь ехать сзади.

— Я знаю, но мне холодно,— уклончиво ответила я, и дверка кареты захлопнулась за мной.

Лев Николаевич постоял минуту, как бы задумавшись о чем-то, и сел на козлы.

На другой день Мария Николаевна уехала за границу, а мы вернулись в Покровское, на нашу дачу², где ждали нас отец и братья...

Приехав с нами из Ясной Поляны в Москву, Лев Николаевич нанял себе квартиру у какого-то немца-сапожника и поселился у него. В то время он был занят школьной деятельностью и журналом под названием «Ясная Поляна»...

Лев Николаевич приходил к нам в Покровское почти ежедневно. Иногда привозил его к нам мой отец, ездивший часто в город по обязанностям службы.

Раз Лев Николаевич пришел и сказал нам, что был в Петровском парке во дворце и подал через дежурного флигель-адъютанта письмо государю Александру II по поводу оскорбления, нанесенного ему без всякого повода жандармским обыском в Ясной Поляне³. Это было 23 августа 1862 года. Государь находился в то время в Петровском парке по случаю маневров на Ходынском поле.

Мы много гуляли и беседовали с Львом Николаевичем, и он меня раз спросил, пишу ли я свой дневник. Я сказала, что пишу давно, с одиннадцатилетнего возраста, и, кроме того, написала в прошлое лето, когда мне было шестнадцать лет, длинную повесть.

— Дайте мне прочесть ваши дневники,— просил меня Лев Николаевич.

— Нет, не могу.

— Ну, так дайте повесть.

Повесть я дала. На другое утро я спросила его, читал ли он ее. Он мне ответил спокойно и равнодушно, что

просмотрел ее. А в дневнике его впоследствии я прочла по поводу чтения моей повести следующее: «Дала прочесть повесть. Что за энергия правды и простоты». И потом он мне рассказал, что не спал всю ночь и очень его взволновало мое суждение о лице повести, князе Дублицком, в котором он узнал себя и про которого говорилось, что «князь необычайно непривлекательной наружности, и в нем переменчивость суждений»⁴...

Какие были тогда чудесные лунные вечера и ночи. Как сейчас вижу я ту полянку, всю освещенную луной, и отражение луны в ближайшем пруду. Были какие-то стальные, свежие, бодрящие, августовские ночи... «Какие сумасшедшие ночи»,— часто говаривал Лев Николаевич, сидя с нами на балконе или гуляя с нами вокруг дачи. Не было между нами никаких романических сцен или объяснений. Мы так давно знали друг друга. Общение между нами было так легко и просто. И точно я спешила доживать какую-то чудесную, свободную жизнь, ясную, ничем не спутанную девичью жизнь. Все было хорошо, легко, ничего не хотелось, никуда я не стремилась.

И вот опять и опять приходил к нам Лев Николаевич. Иногда, когда он поздно у нас засиживался, родители мои оставляли его ночевать. Раз мы пошли его провожать,— это было в самом начале сентября,— и когда надо было уже с ним расстаться и возвращаться домой, сестра Лиза поручила мне пригласить Льва Николаевича ко дню ее именин, 5 сентября. Я как-то задорно-настойчиво стала его звать; он сначала отказывался, удивлялся и спрашивал: «Почему вы именно на пятое зовете?» Объяснить я не смела. Меня просили об именинах не упоминать.

Лев Николаевич обещал и к общей нашей радости пришел. С ним всегда все было интересно и весело.

Сначала я посещения его относила не к себе. Но начинала сознавать, что меня забирает к нему серьезное чувство...

Между 5-м и 16 сентября мы всей семьей переехали в Москву...

В Москве опять начались почти ежедневные посещения Льва Николаевича. Рѣз вечером я тихонько вошла к матери за перегородку в ее спальне. Она была уже в постели...

— Ты что, Соня? — спросила меня мать.

— Вот что, мама. Все думают, что Лев Николаевич женится не на мне, а он, кажется, меня любит,— робко сказала я.

Моя мать почему-то рассердилась и напала на меня.

— Вечно воображает, что все в нее влюблены,— почему-то напустилась она на меня.— Ступай, уходи и не думай глупостей.

Меня огорчило подобное отношение матери к моей откровенности, и я после этого уже ни с кем не говорила о Льве Николаевиче. Отец тоже сердился, что Лев Николаевич, посещая так часто наш дом, не делал по старому русскому обычаю предложения старшей дочери, и был холоден с Львом Николаевичем и недобр со мной. Положение в доме было натянутое и тяжелое, особенно для меня.

14 сентября Лев Николаевич мне сказал, что должен мне сообщить нечто очень важное, но не успел мне сказать, что именно. Догадаться было нетрудно. Разговаривал он со мной в этот вечер долго. Я играла на рояле в гостиндой, а он стоял, прислонившись всей фигурой к печке, и как только я замолкала, он повторял: «Играйте, играйте...» Музыка мешала другим слышать его слова, а руки мои дрожали от волнения, и пальцы путались, играя чуть ли не в десятый раз все тот же мотив вальса «Il Vassio»...

Предложения мне тогда Лев Николаевич еще не делал, и я подробно не помню теперь его речи. Помню, что смысл его слов был таков, что он меня любит, что хочет на мне жениться. Но все это были только намеки...

Прошел еще день 15-го. 16 сентября, в субботу вечером, приехали кадеты: мой брат Саша и его товарищи. В столовой пили чай и кормили голодных кадетов. Лев Николаевич весь этот день провел у нас и, выбрав от посторонних глаз минутку, вызвал меня в комнату моей матери, где никого в то время не было.

— Я хотел с вами поговорить,— начал он,— но не мог. Вот письмо, которое я уже несколько дней ношу в кармане. Прочтите его. Я буду здесь ждать вашего ответа.

Я схватила письмо и стремительно бросилась бежать вниз, в нашу общую девичью комнату, где мы жили все три сестры⁵...

Письмо это я хорошенько не прочла сразу, а пробежала глазами до слов: «Хотите ли вы быть моей женой». И уже хотела вернуться наверх, к Льву Николаевичу, с утвердительным ответом, как встретила в дверях сестру Лизу, которая спросила меня: «Ну, что?» — «Le comte m'a fait la proposition»*, — отвечала я ей быстро. Вошла моя мать и сразу поняла, в чем дело. Взяв меня решительно за плечи и повернув к двери, она сказала:

— Поди к нему и скажи ему свой ответ.

Точно на крыльях, с страшной быстротой вбежала я на лестницу, промелькнула мимо столовой, гостиной и вбежала в комнату матери. Лев Николаевич стоял, прислонившись к стене, в углу комнаты и ждал меня. Я подошла к нему, и он взял меня за обе руки.

— Ну, что? — спросил он.

— Разумеется, да, — отвечала я.

Через несколько минут весь дом знал о случившемся, и все стали нас поздравлять.

На другой день, 17 сентября, были именины моей матери, Любви Александровны, и мои. Все московские родные, друзья и знакомые приезжали нас поздравлять, и всем объявляли о нашей помолвке...

Невестой я была только неделю: от 16 до 23 сентября. Возили меня по магазинам, и я равнодушно примеряла платья, белье, уборы на голову. Приходил ежедневно Лев Николаевич и принес мне раз свои дневники. Помню, как тяжело меня потрясло чтение этих дневников, которые он мне дал прочесть, от излишней добросовестности, до свадьбы. И напрасно: я очень плакала, заглянув в его прошлое.

Помню, раз, вечером, мама с сестрами поехала в театр. Давали «Отелло», и играл знаменитый тогда трагик Ольридж. Мать моя прислала и за нами коляску, чтобы мы тоже приехали в театр. Помню мое чувство, что я немного боялась Льва Николаевича, боялась, что он во мне, глупой, ничтожной девчонке, скоро разочаруется. И мы почти всю дорогу молчали...

Эта неделя прошла, как тяжелый сон... Лев Николаевич страшно торопил свадьбой. Моя мать говорила, что нужно сшить если не все приданое, то хотя бы все самое необходимое.

* Граф сделал мне предложение (франц.).

— Да ведь она одета,— говорил Лев Николаевич,— да еще всегда такая нарядная.

Кое-что сшили мне наскоро, главное — весь свадебный наряд, и назначили свадьбу на 23 сентября, в семь часов вечера, в дворцовой церкви. У нас шли спешные приготовления, но и у Льва Николаевича было много хлопот. Он купил прекрасный дормез, заказывал фотографии всей моей семьи, подарил мне брошку с бриллиантом. Снял и свой портрет, который я просила вделать в подаренный мне отцом золотой браслет.

Еще немало ему было хлопот и неприятностей с неким г. Стелловским, которому Лев Николаевич продал тогда свои сочинения⁶. Но от подарков и нарядов я большого восторга не испытывала — не то меня интересовало. Я вся была поглощена своей любовью и страхом потерять любовь Льва Николаевича...

Когда мы со Львом Николаевичем говорили о нашем будущем, он предлагал мне избрать, где я хочу быть после свадьбы: остаться пожить в Москве, с родными, ехать ли за границу, или прямо в Ясную Поляну. И я избрала последнее, чтоб сразу начать серьезную семейную жизнь *дома*. И Лев Николаевич, по-видимому, был этому рад.

Наступил и день свадьбы, 23 сентября. Я весь день не видала Льва Николаевича. Только на минутку забежал он, и мы сидели с ним на уложенных уже каретных важах, и он начал меня мучить допросами и сомнениями моей любви к нему. Мне даже казалось, что он хочет бежать, что он испугался женитьбы. Я начала плакать. Пришла моя мать и напала на Льва Николаевича. «Нашел когда ее расстраивать,— говорила она.— Сегодня свадьба, ей и так тяжело, да еще в дорогу надо ехать, а она вся в слезах». Льву Николаевичу стало как будто совестно. Он скоро ушел...

Обряд нашего венчания прекрасно описал Лев Николаевич в романе своем «Анна Каренина», когда он описывал свадьбу Левина и Кити. Он ярко и художественно изобразил и внешнюю сторону обряда, и весь психологический процесс в душе Левина. Что касается меня, я уже столько за все дни пережила волнений, что, стоя под венцом, я ничего не испытывала и не чувствовала...

Обряд кончился, нас поздравляли, и мы уже вдвоем

со Львом Николаевичем поехали в карете домой. Он был ласков и, по-видимому, счастлив... Дома, в Кремле, приготовлено было все то, что обычно бывает на свадьбах: шампанское, фрукты, конфеты и проч. Гостей было немного, только родные и самые близкие друзья.

Меня переодели в дорожное платье...

Привели шестерку почтовых лошадей с форейтором, впрягли в новенький дормез, только что купленный Львом Николаевичем, увязали наверх кареты черные, глянцевитые, перетянутые ремнями важи, и Лев Николаевич начал торопить отъездом...

Начались прощания...

Осенний дождь лил не переставая; в лужах отражались тусклые фонари улиц и только что зажженные фонари кареты. Лошади нетерпеливо стучали копытами, а передние с форейтором тянули вперед. Дверку кареты захлопнул за нами Лев Николаевич... Зашлепали лошади по лужам, и мы поехали. Забившись в уголок, вся разбитая от усталости и горя, я, не переставая, плакала. Лев Николаевич казался очень удивленным и даже недоумевающе-недовольным. У него настоящей семьи — отца, матери — не было, он вырос без них, и понять меня, как мужчина, он тоже не мог. Он мне намекал, что я его, стало быть, мало люблю, если так тяжело расстаюсь с своей семьей. Он тогда не понял, что если я так страстно и горячо люблю свою семью, то ту же способность любви я перенесу на него и на наших детей. Так и было впоследствии.

Когда выехали из Москвы за город, стало темно и жутко. Я никогда прежде никуда не ездила ни осенью, ни зимой. Отсутствие света и фонарей удручало меня. До первой станции, кажется Бирюлево, мы почти не разговаривали. Помню, что Лев Николаевич был как-то особенно бережно нежен со мной. В Бирюлеве нам, молодым, да еще титулованным, приехавшим шестериком в новом дормезе, открыли царские комнаты, большие, пустые, с красной триповой мебелью и такие неуютные. Принесли самовар, приготовили чай. Я забилась в угол дивана и молча сидела, как приговоренная.

— Что же, хозяйничай, разливай чай,— говорил Лев Николаевич.

Я повиновалась, и мы начали пить чай, и я конфузилась и все чего-то боялась. Ни разу я не решилась

перейти на «ты», избегала как-либо назвать Льва Николаевича и долго после говорила ему «вы».

Ехали мы от Москвы до Ясной Поляны немного менее суток и на другой день к вечеру приехали домой, чему я была очень рада...

С этого дня началась моя жизнь в Ясной Поляне, откуда я почти не выезжала первые восемнадцать лет.

МОИ ЗАПИСИ РАЗНЫЕ ДЛЯ СПРАВОК

Ясная Поляна, 14 февраля 1870 года.

На днях, читая биографию Пушкина, мне пришло в голову, что я могла бы быть полезна для потомства, которое будет интересоваться биографией Левочки, и записывать не вседневную его жизнь, а жизнь умственную, насколько я способна следить за ней. Мне и прежде это приходило в голову, да времени у меня мало.

Теперь начать хорошо. «Война и мир» кончено, и ничего еще серьезно не предпринято.

Все лето прошлое он читал и занимался философией; восхищался Шопенгауэром, считал Гегеля пустым набором фраз. Он сам много думал и мучительно думал, говорил часто, что у него мозг болит, что в нем происходит страшная работа; что для него все кончено, умирать пора и прочее. Потом эта мрачность прошла. Он стал читать русские сказки и былины. Навел его на это чтение замысел писать и составлять книги для детского чтения для четырех возрастов, начиная с азбуки. Сказки и былины приводили его в восторг. Былина о Даниле Ловчанине навела его на мысль написать на эту тему драму. Сказки и типы, как, например, Илья Муромец, Алеша Попович и многие другие, наводили его на мысль написать роман и взять характеры русских богатырей для этого романа. Особенно ему нравился Илья Муромец. Он хотел в своем романе описать его образованным и очень умным человеком, происхождением мужик, и учившийся в университете. Я не сумею передать тип, о котором он говорил мне, но знаю, что он был превосходен.

После чтения былин и сказок, именно все это последнее время, он перечитал бездну драматических произведений. И Мольера, и Шекспира, и Пушкина «Бориса Го-

дунова», которого не хвалит и не любит, и сам все собирается писать комедию. Он даже начал ее и рассказал мне довольно пустой сюжет, но я знаю, что это не серьезная его работа. Он сам на днях сказал мне: «Нет, испытавши эпический род (то есть «Война и мир»), трудно и не стоит браться за драматический». Но я вижу, что он только и думает о комедии и все свои силы направил на драматический род.

15 февраля.

Вчера вечером много говорил Левочка о Шекспире и очень им восхищался; признает в нем огромный драматический талант. Про Гете говорил, что он эстетик, изящен, пропорционален, но что драматического таланта у него нет, что в этом он слаб, и все собирается поговорить с Фетом о Гете, которым Фет так восхищается. Еще Левочка говорил, что когда Гете рассуждает, философствует, тогда он велик.

Нынче утром Левочка зазвал меня в кабинет, когда я проходила мимо, и говорил много об русской истории и исторических лицах. Я застала его за чтением истории Петра Великого — Устрялова.

Типы Петра Великого и Меншикова очень его интересуют. О Меншикове он говорил, что чисто русский и сильный характер, только и мог быть такой из мужиков. Про Петра Великого говорил, что он был орудием своего времени, что ему самому было мучительно, но он судьбою назначен был ввести Россию в сношение с европейским миром. В истории он ищет сюжета для драмы и записывает, что ему кажется хорошо. Сегодня он записал сюжетом историю Миновича, хотевшего освободить Иоанна Антоновича из крепости. Вчера он сказал мне, что опять перестал думать о комедии, а думает о драме, и все толкует: как много работы впереди!

Мы с ним сейчас катались на коньках, и он добивается уметь делать все штуки на одной и двух ногах, задом, круги и проч. Это его забавляет, как мальчика.

24 февраля 1870.

Наконец, после долгих колебаний, сегодня Левочка приступил к работе. Вчера он сказал, что когда думает серьезно, тогда ему представляется не драматическое, а опять эпическое.

На днях он был у Фета, и тот сказал ему, что драматический не его род, и, кажется, теперь мысль о драме и комедии оставлена.

Сейчас, утром, он написал своим частым почерком целый лист кругом. Действие начинается в монастыре, где большое стечение народа и лица, которые потом будут главными.

Вчера вечером он мне сказал, что ему представился тип женщины, замужней, из высшего общества, но потерявшей себя. Он говорил, что задача его сделать эту женщину только жалкой и не виноватой и что как только ему представился этот тип, так все лица и мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины. «Теперь мне все выяснилось»,— говорил он. Давно придуманный им характер из мужиков образованного человека вчера он решил сделать управляющим...

Мы не получаем ни газет, ни журналов, Левочка говорит, что не хочет читать никаких критик. «Пушкина смущали критики,—лучше их не читать». Нам даром посылают «Зарю», в которой Страхов так превозносит талант Левочки¹. Это его радует. Еще Рис посылает немецкую газету², вот и все. «Revue des deux Mondes»³ мы выписываем и читаем.

9 декабря 1870.

Сегодня в первый раз начал писать, мне кажется, серьезно. Не могу выразить, что делалось у него в голове все время его бездействия. Была мысль писать о путешествующем по России человеке, была мысль о взятом из крестьян и образованном человеке. А тут теперь, в том начале, которое он мне нынче прочел, опять замысел о гениально умном человеке, гордом, хотящем учить других, искренне желающем приносить пользу и потом, после нескольких времени путешествия по России, столкновения с людьми простыми, истинно приносящими существенную пользу, после разной борьбы приходящему к заключению, что его желание приносить пользу, как он это понимал,—бесплодно, и потом переход к спокойствию ума и гордости, к пониманию простой, существенной жизни, и тогда — смерть.

Я по крайней мере так поняла то, что он мне нынче говорил и растолковывал.

В настоящую минуту Левочка сидит с семинаристом в гостиной и берет первый урок греческого языка. Ему вдруг пришла мысль учиться по-гречески.

Все это время бездействия, по-моему умственного отдыха, его очень мучило. Он говорил, что ему совестно его праздности не только передо мной, но и перед людьми и перед всеми. Иногда ему казалось, что приходит вдохновение, и он радовался...

27 марта 1871.

С декабря упорно занимается греческим языком. Просиживает дни и ночи. Видно, что ничто его в мире больше не интересует и не радует, как всякое вновь выученное греческое слово и вновь понятый оборот. Читал прежде Ксенофонта, теперь то Платона, то «Одиссею» и «Илиаду», которыми восхищается ужасно. Очень любит, когда слушаешь его изустный перевод и поправляешь его, сличая с Гнедичем, перевод которого он находит очень хорошим и добросовестным. Успехи его по греческому языку, как кажется по всем расспросам о знании других и даже кончивших курс в университете, оказываются почти невероятно большими.

Иногда, проверяя его перевод, я замечаю в двух-трех страницах едва ли два-три слова и иногда непонятый оборот речи.

Писать ему хочется, и часто говорит об этом. Мечтает, главное, о произведении столь же чистом, изящном, где не было бы ничего лишнего, как вся древняя греческая литература, как греческое искусство... Я не могу объяснить, хотя понимаю ясно, в каком роде его задуманное произведение. Он говорит, что «не трудно написать что-нибудь, а трудно *не* написать». То есть удержаться от лишнего пустословия, от которого почти никто никогда не удерживается.

Мечтает написать из древней русской жизни. Читает четьи минеи, житие святых и говорит, что это наша русская настоящая поэзия...

16 января 1873.

Замысел мой я не выполнила и не записывала, что занимало все это время, а главное, как был занят ум Левочки. Он составил четыре детские книги, занимался с уверенностью, гордостью и твердым убеждением, что

дело его и полезно и хорошо. Азбука эта имеет страшный неуспех⁴, который ему очень неприятен и особенно смутил и сердил его сначала. К счастью, это не мешает ему заниматься. Вчера он говорил: «Если б мой роман потерпел такой неуспех, я бы легко поверил и помирился, что он не хорош. А это я вполне убежден, что «Азбука» моя есть необыкновенно хороша и ее не поняли».

Занят он теперь чтением материалов из истории времен Петра Великого. Его вдруг охватило какой-то бессознательной потребностью избрать себе умственную деятельность именно из этого времени. Как это подкралось — было даже незаметно. Он записывает в разные записные книжечки все, что может быть нужно для верного описания нравов, привычек, платья, жилья и всего, что касается обыденной жизни, особенно народа и жителей вне двора и царя. А в других местах записывает все, что приходит в голову касательно типов, движения, поэтических картин и проч. Эта работа мозаичная. Он вникает до таких подробностей, что вчера вернулся с охоты особенно рано и допытывался по разным материалам, не ошибка ли, что написано, будто высокие воротники носились при коротких кафтанах. Левочка предполагает, что они носились при длинных верхних платьях, особенно у простонародья. Вечером мы читали вслух записки [Котошихина] о свадьбах и обычаях русских времен Алексея Михайловича. Левочка очень ценит и хвалит историю Устрялова как труд вполне добросовестный.

31 января 1873.

Чтение материалов продолжается. Типы один перед другим возникают перед ним.

Написано около десяти начал, и он все недоволен. Вчера говорил: «Машина вся готова, теперь ее привести в действие».

19 марта 1873.

Вчера вечером Левочка мне вдруг говорит: «А я написал полтора листочка, и, кажется, хорошо». Думая, что это новая попытка писать из времен Петра Великого, я не обратила большого внимания. Но потом я узнала, что начал он писать роман из жизни частной и со-

временной эпохи. И странно он на это напал. Сережа все приставал ко мне дать ему почитать что-нибудь старой тете⁵ вслух. Я ему дала «Повести Белкина» Пушкина. Но оказалось, что тетя заснула, и я, поленившись идти вниз, отнести книгу в библиотеку, положила ее на окно в гостиной. На другое утро, во время кофе, Левочка взял эту книгу и стал перечитывать и восхищаться. Сначала в этой части (изд. Анненкова) он нашел критические заметки и говорил: «Многому я учусь у Пушкина, он мой отец, и у него надо учиться». Потом он перечитывал вслух мне о старине, как помещики жили и ездили по дорогам, и тут ему объяснился во многом быт дворян во времена и Петра Великого, что особенно его мучило; но вечером он читал разные отрывки и под влиянием Пушкина стал писать. Сегодня он продолжал дальше и говорит, что доволен своей работой⁶.

4 октября 1873.

Роман «Анна Каренина», начатый весной, тогда же был весь набросан. Все лето, которое мы провели в Самарской губернии, он не писал, а теперь отделявает, изменяет и продолжает роман.

Крамской пишет его два портрета и немного мешает заниматься. Зато споры и разговоры об искусстве всякий день...

20 ноября 1876.

Сейчас Лев Николаевич мне рассказывал, как ему приходят мысли к роману. «Сижу я внизу, в кабинете, и разглядываю на рукаве халата белую шелковую строчку, которая очень красива. И думаю о том, как приходит в голову людям выдумывать все узоры, отделки, вышиванья; и что существует целый мир женских работ, мод, соображений, которыми живут женщины. Что это должно быть очень весело, и я понимаю, что женщины могут это любить и этим заниматься. И, конечно, сейчас же *мои мысли* (то есть мысли к роману) Анна... И вдруг мне эта строчка дала целую главу. Анна лишена этих радостей заниматься этой женской стороной жизни, потому что она одна, все женщины от нее отвернулись, и ей не с кем поговорить обо всем том, что составляет обыденный, чисто женский круг занятий».

Всю осень он говорил: «Мой ум спит», и вдруг неделю тому назад точно что расцвело в нем: он стал весело работать и доволен своими силами и трудом. Сегодня, не пивши еще кофе, молча сел за стол и писал, писал более часу, переделывая главу Алексей Александрович в отношении Лидии Ивановны и приезд Анны в Петербург.

ЗАПИСКИ О СЛОВАХ, СКАЗАННЫХ Л. Н. ТОЛСТЫМ
ВО ВРЕМЯ ПИСАНЬЯ

21 ноября 1876 г.

Подошел и говорит мне: «Как это скучно писать». Я спрашиваю: «Что?» Он говорит: «Да вот я написал, что Бронский и Анна остановились в одном и том же номере, а это нельзя, им непременно надо остановиться в Петербурге по крайней мере в разных этажах. Ну, и, понимаешь, из этого вытекает то, что сцены, разговоры и приезд разных лиц к ним будет врозь, и надо переделывать».

3 марта [1877 г.]

Вчера Лев Николаевич подошел к столу, указал на тетрадь своего писанья и сказал: «Ах, скорей, скорей бы кончить этот роман (то есть «Анну Каренину») и начать новое. Мне теперь так ясна моя мысль. Чтоб произведение было хорошо, надо любить в нем главную, основную мысль. Так, в «Анне Карениной» я люблю мысль *семейную*, в «Войне и мире» любил мысль *народную*, вследствие войны 12-го года; а теперь мне так ясно, что в новом произведении я буду любить мысль русского народа в смысле *силы завладевающей*». И сила эта у Льва Николаевича представляется в виде постоянного переселения русских на новые места на юге Сибири, на новых землях к юго-востоку России, на реке Белой, в Ташкенте и т. д.

Много разных сведений слышны со всех сторон о переселенцах. Так, например, в прошлое лето жили мы в Самаре и поехали раз вдвоем к казакам, верст 20 от нашего самарского хутора. Встречаем мы целый обоз, несколько семейств, дети, старики, все веселые. Мы остановились и спросили старика: «Куда вы?» — «Да на

новые места едем из Воронежской губернии. Наши уже давно ушли на Амур, а теперь пишут оттуда, вот мы и едем туда же».

Это очень взволновало тогда и заинтересовало Льва Николаевича. Теперь ему рассказали на железной дороге другой случай. Поехали человек сто или больше тамбовских крестьян в Сибирь по своей воле. Пришли на степь около Иртыша, им сказали, что тут земля киргизская и им сесть тут нельзя. Они пошли немного дальше. Там тоже земля киргизов и сесть нельзя. Но у них осталось мало хлеба и денег нет. Тогда они на этой земле посеяли хлеб, собрали его, обмолотили и пошли дальше. И так на будущий год сделали то же и опять пошли дальше, пока не пришли на китайскую границу. Там брошенная китайцами-маньчжурами земля на двух речках. Тут и сели эти тамбовские крестьяне, назвав речки именами тех русских, тамбовских речек, которые они покинули. Хотя земля китайцев, но ее стали считать русскою, и теперь она, несомненно, завоевана не войною, не кровопролитием, а этой русской земледельческой силой русского мужика. Маньчжуры на них иногда нападают, но русские сделали крепость и защищаются.

И вот мысль будущего произведения, как поняла ее я, а кругом этой мысли группируются факты, типы еще не ясные даже ему самому⁷.

Сегодня пришел Лев Николаевич с утренней прогулки и говорит: «Как я счастлив». Я спросила: «Чем?» Он говорит: «Во-первых, тобой, а во-вторых, своей религией. И не Бобринский, не граф. Ал. Андр. Толстая обратили меня своим христианством, а матерьялист Захарьин (доктор) и вчерашний (наш гость) Левицкий. Захарьин своим искренним желанием быть религиозным, а Левицкий чтением рассказов о русской истории с новой, оригинальной и прекрасной точкой зрения — именно религиозной».

Он рассказывает исторические факты в том тоне, что прежде русские были не христиане и жили для нужд своих и бог карал их, и потом они стали христиане и стали жить для души своей... Чтение это очень тронуло Льва Николаевича, и сегодня он говорит, что он и не мог бы жить долго в той страшной борьбе религиозной, в какой находился эти последние два года, и теперь надеется,

что близко то время, когда он делается вполне религиозным человеком, но не как... (мне помешали, и я не помню, что хотела написать).

1877, 25 августа.

Лев Николаевич уехал в Москву искать детям русского учителя. Все более и более укрепляется в нем религиозный дух. Как в детстве, всякий день становится он на молитву, ездит по праздникам к обедне, где мужики всякий раз обступают его, расспрашивая о войне; по пятницам и средам ест постное и все говорит о духе смирения, не позволяя и останавливая полустутя тех, кто осуждает других. Ездил в Оптину пустынь 26 июля и остался очень доволен мудростью, образованием и жизнью тамошних монахов-старцев.

Вчера он мне говорит: «Умственный клапан мой открылся, но зато и голова ужасно болит». Его очень волнует неудача в Турецкой войне и положение дел в России, и вчера он писал все утро об этом. Вечером он мне говорил, что знает, какую форму придать своим мыслям, именно написать письмо к государю⁸. Пусть напишет, но форма рискованна и посылать нельзя.

12 сентября 1877.

Лев Николаевич говорит: «Пока война, ничего не могу писать, так же как если пожар в городе, то нельзя ни за что взяться, и все тянет туда...»

25 октября 1877.

Лев Николаевич уехал на охоту с борзыми, но все утро мне рассказывал, как понемногу нанизывается одна мысль за другой для нового произведения. Не могу еще ясно понять, что именно он будет писать, — да, кажется, ему самому неясно еще, но, как я понимаю, главная мысль будет народ и сила народа, проявляющаяся в земледелии исключительно. Сегодня он мне говорил: «А эта пословица, которую я прочел вчера, мне очень нравится: *«Один сын не сын, два сына — полсына, а три сына — сын»*. Вот для моего начала эпиграф. У меня будет старик, у которого три сына. Одного отдали в солдаты, другой так себе, дома, а третий, любимый отца, выучивается грамоте и смотрит вон из мужицкого быта,

что больно старику. И вот она, семейная драма, в душе зажиточного мужика, для начала». Потом, кажется, этот выучившийся сын-мужик придет в столкновение с людьми другого, образованного круга, и потом ряд событий. Во второй части, как говорит Лев Николаевич, будет переселенец, русский Робинзон, который сядет на новые земли (самарские степи) и начнет там новую жизнь, с самого начала мелких, необходимых человеческих потребностей.

«Крестьянский быт мне особенно труден и интересен, а как только я описываю свой — тут я как дома», — говорит Лев Николаевич.

«Анна Каренина» печатается и скоро выйдет в особом издании. И сегодня Лев Николаевич сказал: «И в новом будет проведена та же мысль последовательно»... Но какая?

8 января 1878.

«Со мной происходит что-то похожее на то, когда я писал «Войну и мир», — сказал мне сейчас Лев Николаевич с какой-то полуушмешкой, отчасти радостной, отчасти недоверчивой к словам, которые он сказал. — И тогда я, собираясь писать о возвратившемся из Сибири декабристе, вернулся сначала к эпохе бунта 14 декабря, потом к детству и молодости людей, участвовавших в этом деле, увлекся войной 12-го года, а так как война 12-го года была в связи с 1805 годом, то и все сочинение начал с этого времени». Теперь Льва Николаевича заинтересовало время Николая I, а главное — турецкая война 1829 года. Он стал изучать эту эпоху; изучая ее, заинтересовался вступлением Николая Павловича на престол и бунтом 14 декабря.

Потом он мне еще сказал: «И это у меня будет происходить на Олимпе, Николай Павлович со всем этим высшим обществом, как Юпитер с богами, а там где-нибудь в Иркутске или в Самаре переселяются мужики, и один из участвовавших в истории 14 декабря попадет к этим переселенцам — и простая жизнь в столкновении с высшей».

Потом он говорил, что как фон нужен для узора, так и ему нужен фон, который и будет его теперешнее религиозное настроение. Я спросила: «Как же это?» Он говорит: «Если б я знал — как, то и думать бы не о чем».

Но потом прибавил: «Вот, например, смотреть на историю 14 декабря, никого не осуждая, ни Николая Павловича, ни заговорщиков, а всех понимать и только описывать».

1 марта 1878 г.

Все время Лев Николаевич занимается чтением времен Николая Павловича и, главное, заинтересован и даже весь поглощен историей декабристов. Он ездил в Москву и привез целую груду книг и иногда до слез тронут чтением этих записок⁹.

18 декабря 1879 г.

Пишет о религии, объяснение евангелия и о разладе церкви с христианством. Читает целые дни... Все разговоры проникнуты учением Христа. Расположение духа спокойное и молчаливо-сосредоточенное. Декабристы и вся деятельность в прежнем духе совсем отодвинута назад, хотя он иногда говорит: «Если буду опять писать, то... напишу совсем другое, до сих пор все мое писание были одни этюды».

31 января 1881 г.

...Лев Николаевич серьезно занимается только зиму. Изучив материалы, набросав кое-что для «Декабристов», он не успел еще написать ничего серьезного, как уже наступило лето. Чтоб не терять времени и вместе с тем здорово его употреблять, он стал делать продолжительные и длинные прогулки по проходящему от нас в двух верстах шоссе (Киевский тракт), где летом можно всегда встретить множество богомольцев, идущих со всех концов России и Сибири на богомолье в Киев, Воронеж, Троицу и прочие места.

Считая свой язык русский далеко не хорошим и не полным, Лев Николаевич поставил целью своей в это лето изучать язык в народе. Он беседовал с богомольцами, странниками, проезжими и все записывал в книжечку народные слова, пословицы, мысли и выражения. Но эта цель привела к неожиданному результату.

Приблизительно до 1877 года религиозное настроение Льва Николаевича было неопределенное, скорее равнодушное. Неверия не было полного никогда, но и веры *определенной* тоже не было...

Придя в близкое столкновение с народом, богомоль-

цами и странниками, его поразила твердая, ясная и непоколебимая их вера. Ему стало страшно за свое неверие, и он вдруг всей душой пошел той же дорогой, как и народ.

Он стал ходить в церковь, есть постное, становиться на молитву и исполнять все церковные обряды. Это продолжалось довольно долго.

Но Лев Николаевич скоро увидел, что источник добра, терпения, любви в народе не исходил из ученья церкви; и он сам выразился, что, когда он увидел лучи, он по лучам добрался до настоящего света и увидел ясно, что свет в христианстве — в евангелии. Всякое другое влияние он упорно отвергает, и с его слов делаю это замечание.

«Христианство живет в преданиях, в духе народа, бессознательно, но твердо». Вот его слова.

Тогда же мало-помалу Лев Николаевич увидел с ужасом, какой разлад между церковью и христианством. Он увидел, что церковь как бы рука об руку с правительством составила заговор тайный против христианства. Церковь молится и благодарит бога за побитых людей, празднуя победу, тогда как в Ветхом завете сказано: «Не убий». А в евангелии: «Люби ближнего, как самого себя». Церковь выносит и покровительствует даже присяге, а Христос сказал: «Не клянись». Церковь дала людям обрядность, которой люди должны спасаться, и поставила преграду христианству; истины ученья о царстве божьем на земле затмились тем, что людей усиленно убеждали о их несомненном спасенье посредством крещенья, причастия, постов и проч.

Вот что пришло в голову Льву Николаевичу. Он стал изучать евангелие, переводить его и комментировать. Работа эта продолжается второй год и доведена, кажется, до половины. Но он стал, как он говорит, счастлив душой. Он познал (по его выражению) «свет». Все мирозерцание осветилось этим светом. Взгляд на людей стал таков (как он сам говорил), что прежде был известный кружок людей *своих, близких*, а теперь миллионы людей стали братьями. Прежде было именье и богатство *свое*, а теперь, кто беден и просит, тому надо давать.

Всякий день садится он за свою работу, окруженный книгами, и до обеда трудится. Здоровье его сильно слабеет, голова болит, он поседел и похудел в эту зиму.

Он, по-видимому, совсем не так счастлив, как бы я того желала, а стал тих, сосредоточен и молчалив. Почти никогда не прорывается то веселое, живое расположение духа, которое, бывало, увлекало всех нас, его окружающих. Приписываю это усталости от тяжелого, напряженного труда. Не то, как бывало, когда описывалась охота или бал в «Войне и мире», он, веселый и возбужденный, имел вид, как будто сам побывал и участвовал в этих увеселениях. Ясность и спокойствие личного его состояния души несомненно, но страдание о несчастьях, несправедливости людей, о бедности их, о заключенных в тюрьмах, о злобе людей, об угнетении — все это действует на его впечатлительную душу и сжигает его существование.

*ПОЧЕМУ КАРЕНИНА АННА И ЧТО НАВЕЛО НА МЫСЛЬ
О ПОДОБНОМ САМОУБИЙСТВЕ*

У нас есть сосед лет пятидесяти, небогатый и необразованный — А. Н. Бибилов. У него была в доме дальняя родственница его покойной жены, девушка лет тридцати пяти, которая занималась всем домом и была его любовница. Бибилов взял в дом к сыну и племяннице гувернантку — красивую немку, влюбился в нее и сделал ей предложение. Прежняя любовница его, которую звали Анна Степановна, уехала из дома его в Тулу, будто повидать мать, оттуда с узелком в руке (в узелке была только перемена белья и платья) вернулась на ближайшую станцию — Ясенки, и там бросилась на рельсы под товарный поезд. Потом ее анатомировали. Лев Николаевич видел ее с обнаженным черепом, всю раздетую и разрезанную в Ясенковской казарме. Впечатление было ужасное и запало ему глубоко. Анна Степановна была высокая, полная женщина с русским типом и лица и характера, брюнетка с серыми глазами, но некрасивая, хотя очень приятная...

*ПРИМИРЕНИЕ ГР. ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО
С ИВАНОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ ТУРГЕНЕВЫМ*

Написано 12 августа 1878 года.

Все более и более приходя в религиозное расположение, Льву Николаевичу стало грустно думать, что есть человек, с которым он как будто в враждебных отноше-

ниях, и он весной раз написал Тургеневу письмо в Париж, в котором просил его забыть, если было что-либо враждебное в их отношениях, вспомнить только те хорошие отношения, которые существовали во время вступления Льва Николаевича на литературное поприще, когда он любил его искренно, и даже писал: «Простите меня, в чем я был виноват перед вами». Тургенев ответил таким же душевным письмом, отвечая: «Охотно жму протянутую вами руку...» и обещал, когда будет в России, приехать к нам.

Теперь, только что мы вернулись из Самары, 6 августа, мы получили телеграмму, что Тургенев будет к нам 8-го числа. Лев Николаевич поехал его встречать в Тулу, и о встрече их я ничего не знаю. Тургенев очень сед, очень смиренен, всех нас прельстил своим красноречием и картинностью изложения самых простых и вместе и возвышенных предметов. Так он описывал статую Христос Антокольского, точно мы все видели его, а потом рассказывал о своей любимой собаке Пегас с одинаковым мастерством. В Тургеневе теперь стала очень видна слабость, даже детская, наивная слабость характера. Вместе с тем видна мягкость и доброта. Вся ссора его с Львом Николаевичем мне объяснилась этой слабостью.

Например, он наивно сознается, что боится страшно холеры. Потом нас было тринадцать за столом, мы шутили о том, на кого падет жребий смерти и кто ее боится. Тургенев, смеясь поднял руку и говорит: «Que celui qui crint la mort, lève la main»*.

Никто не поднял, и только из учтивости Лев Николаевич поднял и сказал: «Eh bien, moi aussi je ne veux pas mourir**».

Тургенев пробыл у нас два дня. О прошлом речи не было: были отвлеченные споры и разговоры, и, на мой взгляд, Лев Николаевич держал себя слегка почтительно и очень любезно, не переходя никакие границы.

Тургенев, уезжая, сказал мне: «До свиданья, мне было очень приятно у вас».

Он сдержал слово «до свиданья» и опять приезжал в начале сентября.

* Кто боится смерти, пусть поднимет руку (франц.).

** Я тоже не хочу умирать (франц.).

С. А. БЕРС

ВОСПОМИНАНИЯ О ГРАФЕ Л. Н. ТОЛСТОМ

...Вся жизнь Льва Николаевича в полном смысле слова трудовая. Почти во всех письмах, написанных мне зимою, сестра упоминает: «Мы все очень заняты. Зима наша рабочая пора». Лев Николаевич писал преимущественно зимою, в течение целого дня, а иногда и до поздней ночи. Он, по-видимому, не ждал вдохновения и не признавал его. Он садился ежедневно утром за стол и работал. Если он не писал, то готовился к писанию изучением источников и материалов. Иногда перед работой и после обеда он любил читать английские романы. Даже летом, когда дети пользовались отдыхом и жена упрашивала его отдыхать и не работать, он уступал просьбе не всегда. В самом добросовестном труженике я не видал такого строгого отношения к праздности, как у Льва Николаевича по отношению к самому себе.

Утром он приходил одеваться в свой кабинет, где я спал постоянно под гравированным портретом известного философа Артура Шопенгауэра. Перед кофе мы шли вдвоем на прогулку или ездили верхом купаться. Утренний кофе в Ясной Поляне едва ли не самый веселый период дня. Тогда собирались все. Оживленный разговор с шуточками Льва Николаевича и планами на предстоящий день длился довольно долго, пока он не встанет со словами: «Надо работать!» и уходит в особую комнату со стаканом крепкого чая.

Никто не должен был входить к нему во время занятий. Даже жена никогда не делала этого. Одно время такую привилегию пользовалась старшая дочь его, когда была еще ребенком...

Нельзя передать с достаточной полнотой того веселого и привлекательного настроения, которое постоянно царило в Ясной Поляне. Источником его был всегда Лев Николаевич. В разговоре об отвлеченных вопросах, о воспитании детей, о внешних событиях его суждение было самое интересное. В игре в крокет, в прогулке он оживлял всех своим юмором и участием, искренне интересуясь игрой и прогулкой. Не было такой простой мысли и самого простого действия, которым бы Лев Николаевич не умел придать интереса и вызвать к ним хорошего и веселого отношения в окружающих...

Дети одинаково дорожили его обществом, наперерыв желали играть с ним в одной партии; радовались, когда он затеет для них какое-нибудь упражнение. Подчиняясь его влиянию и настроению, они без затруднения совершали с ним длинные прогулки, например пешком в г. Тулу, что составляет около пятнадцати верст. Мальчики с восторгом ездил с ним на охоту с борзыми собаками. Все дети спешили на его зов, чтобы с ним делать шведскую гимнастику, бегать, прыгать, что сам он делал опять же искренне и весело, а потому и все делали так же. Зимой все катались на коньках, но с бóльшим еще удовольствием расчищали каток от снега, потому что эта инициатива принадлежала Льву Николаевичу...

Со мной он косил, веял, делал гимнастику, бегал наперегонки и изредка играл в чехарду, городки и т. п. Далеко уступая его большой физической силе, так как он поднимал до пяти пудов одною рукою, я легко мог состязаться с ним в быстроте бега, но редко обгонял его, потому что всегда в это время смеялся. Это настроение всегда сопровождало наши упражнения. Когда нам случалось проходить там, где косили, он непременно подойдет и попросит косу у того, кто казался наиболее уставшим. Я, конечно, следовал его примеру. При этом он всегда объяснял мне вопросом: отчего мы, несмотря на хорошо развитую мускулатуру, не можем косить целую неделю подряд, а крестьянин при этом еще и спит на сырой земле и питается одним хлебом?

— Попробуй-ка ты так! — заключал он свой вопрос.

Уходя с луга, он вытащит из копны клочок сена и, восхищаясь запахом, нюхает его...

Юмор Льва Николаевича проявлялся удивительно разнообразно...

Ласковый и смешной тон его, которым всегда сопровождалась... шутки, придавали им такой добродушный и веселый характер, что все потому и смеялись. Лев Николаевич любил играть в четыре руки с своей сестрою, графиней Марией Николаевной Толстой. Графиня прекрасно играет на рояле, и поспевать за ней было трудно. Тогда он шутками заставлял сестру смеяться и этим замедлял ее игру. Когда же все-таки поспеть трудно, он вдруг остановится и, ко всеобщему удовольствию, снимет один сапог со своей ноги, как будто для успеха игры, и продолжает, приговаривая: «Ну, теперь пойдет хорошо!»...

Иногда он читал вслух. Я помню, как он прекрасно прочел «Историю капитана Копейкина» Гоголя¹...

В произведениях своих он пишет, что только земледелец и охотник знают природу. А сам он был охотником и остался земледельцем. Буквально не было такого несчастья, которое бы удержало его от прогулки... Он любил всякий моцион вообще, верховую езду и гимнастику, но ходьбу в особенности. Если работа идет неуспешно или надо рассеять какую-нибудь неприятность, Лев Николаевич идет пешком. Он мог ходить целый день не уставая. Верхом мы часто проводили по десяти и двенадцати часов сряду. В кабинете его лежали чугунные гири для упражнения, а иногда устраивались приспособления для гимнастики...

Нападая на роскошь в обстановке и во всем вообще, он отрицал смысл и прелесть комфорта, находя влияние его на дух и организм растлевающим. Обстановка в яснополянском доме всегда была самая простая.

Неприхотливый и неразборчивый на еду, он не мог спать на пружинном матраце и не любил мягкой постели и спал одно время на кожаной подушке.

Одевался всегда в высшей степени просто, дома не носил крахмаленых рубашек и так называемого немецкого платья. Костюм его — серая фланелевая, а летом парусиновая блуза своеобразного фасона, которую умела сшить только одна старуха Варвара из яснополянской деревни. В этой же блузе Лев Николаевич и на портретах, написанных художниками Крамским и Репиным. Верхнее платье — кафтаны и полушубки из

самого простого материала тоже особенного покроя, приноровленного отнюдь не к изяществу, а к ненастью...

Лев Николаевич всегда терпеть не мог железных дорог. В своих сочинениях он часто высказывал это отвращение. После езды на железной дороге он всегда жаловался на ощущение, испытываемое в вагоне. На пути от станций домой он сравнит железную дорогу с ездой на лошадях и похвалит последнюю. Он отрицал в принципе пользу железных дорог, особенно для простого народа, и не любил напускной вежливости кондукторов и чуждости, господствующей между пассажирами. Поэтому, как бы в противоположность общему духу, со всеми в вагоне любил заговаривать. Он часто ездил в третьем классе и тогда забирался в тот вагон, где сидели мужики преимущественно.

Педагогический гений его я испытал на самом себе. Я помню, как он совершенно серьезно рассуждал со мною обо всех вопросах, научных и философских, которые мне только вздумалось ему поставить, и независимо от того, в каком я был тогда возрасте. На всё он отвечал просто и ясно и никогда не стеснялся сказать, что то или другое ему самому непонятно. Беседа с ним нередко имела характер спора, в который я вступал с ним, несмотря на сознаваемую мною огромную разницу между нами. Поэтому легко и приятно было с ним соглашаться и слепо верить всему, что он говорил.

Лев Николаевич всегда любил детей и их общество. Он умеет расположить их к себе, как будто у него есть ключи от детского сердца, которым он легко и скоро завладевает... Лев Николаевич первым вопросом как будто избавит ребенка от его застенчивости и потом общается с ним свободно. Независимо от этого, как тонкий психолог, он поразительно угадывал детские мысли. Случалось, дети его прибегают и сообщают, что у них есть секрет. Когда они отказывались сообщить секрет добровольно, отец на ухо открывал ребенку его секрет.

— Ах, этот папа! Как он узнал?! — удивлялись они...

Однажды мы ехали вдвоем на охоту. Я рассказал ему, что в Училище правоведения произведения его, особенно «Война и мир», читаются у нас с большим увлечением и преимущественно перед другими сочинителями. Он с радостными слезами на глазах отвечал мне, что

это очень льстит его самолюбию, потому что молодые люди — лучшие ценители красоты и поэзии. Тогда же он высказал мне свой взгляд на произведения Пушкина и на отличие их от его произведений. Он утверждал, что лучшие произведения Пушкина те, которые написаны прозой. А разница в их произведениях между прочими та, что Пушкин, описывая художественную подробность, делает это легко и не заботится о том, будет ли она замечена и понята читателем; он же как бы пристанет к читателю с этою художественною подробностью, пока ясно не растолкует ее...

К журналистам и критикам он относился с оттенком презрения и негодовал, если их относили к разряду хотя плохих писателей... Критических разборов своих произведений он никогда не читал и даже ими не интересовался...

Он презрительно улыбался, если слышал предположение, что истинный художник творит ради денег...

Он как будто не любит аккуратности в вещах, обстановке и вообще во внешней жизни. Хотя в большинстве случаев он признавал необходимость быть аккуратным, но часто высказывал, что черта эта свойственна преимущественно неглубоким натурам. Сам Лев Николаевич просто не умел, а потому и никогда не пытался приводить свои вещи в порядок. Раздеваясь, он оставлял платье и обувь на том месте, где снимал их, и если он в то время переходил с места на место, платье его оставалось раскиданным по всей комнате, а иногда и на полу. Мне казалось, что уложить вещи в дорожку для него стоило больших усилий. Сопровождая его, я всегда и охотно делал это за него и доставлял ему этим удовольствие. Помню, однажды мне почему-то очень не хотелось укладывать его вещи, а он заметил это и, по свойственной ему деликатности, не просил меня и сам уложил свой чемодан. Я положительно утверждаю, что умышленно нельзя привести вещи в такой ужасный беспорядок, в каком они были уложены в чемодан Львом Николаевичем.

Искренность, как выдающаяся черта в характере Льва Николаевича, проявлялась у него даже в мелочах. Случалось, мы опоздаем на поезд и, подъезжая к станции, увидим, как поезд уже отъезжает прочь. Лев Николаевич так искренне и громко вскрикнет:

«Ах!!! опоздали!!!», что все окружающие сначала испугаются, а потом тотчас же вместе с ним засмеются. Искренность подобных его ощущений невольно передавалась окружающим. Я помню, как кучер погнал во всю мочь лошадей к станции благодаря этому восклицанию, хотя очевидно было, что поспеть к поезду невозможно; а также как кучер рассмеялся, когда Лев Николаевич остановил его, сказав: «Не гони! Все равно опоздали!» Точно так же он ахал, а потом смеялся в игре в крокет, когда сделает важный промах или когда, сидя на кресле, вспомнит и спохватится о чем-либо позабытом. Если этим он пугал свою жену, то он полухоткой всегда прибавит: «Ну больше никогда не буду!»

Смех Льва Николаевича отличался тоже заразительностью. Когда он смеется, голова его пригибается набок, и он трясется всем телом; а в начале смеха в голосе его слышны высокие ноты.

Я ни в ком еще не встречал такого уважения к чужому сну, как у Льва Николаевича. Он безусловно не мог разбудить спящего и часто поручал это сделать мне, когда это было необходимо, например в дороге с семьей. Правда, он сам любил выспаться, зато он даже оберегал чужой сон. Помню, когда мы поздно ночью засидимся, а прислуга позабудет поставить холодный ужин на стол и заснет одетая, Лев Николаевич ни за что не позволит разбудить человека и сам отправляется по буфетам за едой и посудой. Он делал это с особенной осторожностью и даже украдкой, стараясь сохранить тишину, что придавало этому характер веселого похождения. Но он сердился на меня, если я в то время, хотя нечаянно, например посудой, наделаю шуму.

Лев Николаевич всегда любил музыку... Он часто садился за рояль перед тем, как работать. Кроме того, он всегда аккомпанировал моей младшей сестре и очень любил ее пение. Я замечал, что ощущения, вызываемые в нем музыкой, сопровождались легкой бледностью на лице и едва заметной гримасой, выразившей нечто похожее на ужас...

Обладая удивительным тактом и деликатностью, он вместе с тем отличался мягкостью в обращении. Я никогда не слышал, чтобы он когда-либо выговаривал прислуге. Между тем прислуга всегда глубоко уважала,

любила и почему-то боялась его. Будучи всю жизнь свою страстным охотником, он никогда не прибил ни лошади, ни собаки, по крайней мере при мне...

В семейном кругу он рассказывал, что звуковая азбука, существующая в местах заключения, впервые создана декабристами². Когда им запрещались переговоры и таким способом, они доходили до такого искусства, что делали это на ходу, например стуча палочкой об заборы, чего стража не замечала. Между прочим, Лев Николаевич со слезами на глазах рассказывал, как один декабрист, заключенный в крепости, упросил сменявшегося часового купить ему яблоко и дал последние деньги. Часовой принес прелестную корзину фруктов и деньги назад. Оказалось, что посылал это купец, когда узнал о личности заключенного³. Декабрист, полковник кавалергардского полка Лунин, удивлял Льва Николаевича своею несокрушимою энергией и сарказмом. В одном из писем с каторги к своей сестре, находившейся в Петербурге, он осмелел назначение министром графа Киселева. Письмо, разумеется, шло через начальство работ, и содержание его сделалось известным в Петербурге. Лунин был прикован к тачке навсегда⁴. Тем не менее смотритель каторжных работ, полный майор и немец по происхождению, ежедневно уходил с осмотра работ, долго смеялся еще по дороге. Так умел Лунин насмешить его под землею и прикованный к тачке⁵...

В 1866 году осенью Лев Николаевич приехал в Москву с целью съездить и осмотреть Бородинское поле, на котором происходило знаменитое сражение в 1812 году. Он приехал один и остановился у нас⁶.

Он просил отпустить меня с ним. Родители отпустили меня, и восторг мой был неописанный. Мне было тогда одиннадцать лет. Мой отец предоставил Льву Николаевичу свою охотничью коляску и погребец. Дорога, не считая десяти верст по шоссе от города, была по гати, и Лев Николаевич очень беспокоился за экипаж. Отъехавши несколько станций, мы намеревались закусить и тут увидели, что погребец и провизия были забыты; а сохранилась только маленькая корзина с виноградом, которая была поручена мне. Лев Николаевич говорил: «Мне жаль не то, что мы забыли погребец и провизию, а то, что твой отец будет волноваться и сердиться за это на своего человека». На почтовых лоша-

дах мы доехали в один день и остановились около поля сражения в монастыре, основанном в память войны.

Два дня Лев Николаевич ходил и ездил по той местности... Он делал свои заметки и рисовал план сражения, напечатанный впоследствии в романе «Война и мир». Хотя он и рассказывал мне кой-что и объяснял, где стоял во время сражения Наполеон, а где Кутузов, я не сознавал тогда всей важности его работы... Я помню, что на месте и в пути мы разыскивали стариков, еще живших в эпоху Отечественной войны и бывших свидетелями сражения. По дороге в Бородино нам сообщили, что сторож памятника на Бородинском поле был участником Бородинской битвы и как заслуженный солдат получил это место. Оказалось, что старик скончался за несколько месяцев до нашего приезда. Лев Николаевич досадовал. Вообще наши поиски были неудачны...

Зимой 1869/70 года, после окончания романа «Война и мир», Льву Николаевичу вздумалось изучить древнегреческий язык и познакомиться с классиками⁷. Я достоверно знаю, что он изучил язык и познакомился с произведениями Геродота в течение трех месяцев, тогда как прежде греческого языка совсем не знал. Побывав тогда в Москве, он посетил покойного профессора Катковского лицея П. М. Леонтьева, чтобы передать ему свои впечатления о древнегреческой литературе. Леонтьев не хотел верить возможности такого быстрого изучения древнего языка и предложил почитать вместе с ним *à livre ouvert* *. В трех случаях между ними произошло разногласие в переводе. После уяснения дела профессор признал мнение Льва Николаевича правильным...

В начале лета 1870 года поехали мы вдвоем в Николаевский уезд Самарской губернии, на реку и деревню Каралык к башкирам⁸... В третьем классе на пароходе он интересовался бытом поволжских народностей.

Лев Николаевич обладает замечательною способностью сходитья с незнакомыми пассажирами во всех классах. Когда он попадал на угрюмых и необщительных незнакомцев, он все-таки не затруднялся подойти

* без словаря (франц.).

к ним и после нескольких попыток удачно вызывал их на разговор. Его талант психолога и сердце подсказывали ему приемы, и он умел купить незнакомцев своим участием. В двое суток на пароходе он перезнакомился со всею палубою, не исключая и добродушных матросов, у которых на носу парохода мы проспали все ночи.

На Каралыке его встретили, как старого знакомого. Мы поселились в отдельной кочевке, нанятой у муллы, который жил с семьей в другой кочевке рядом...

Тотчас по приезде Лев Николаевич со всеми перезнакомился и разогнал их уныние. Старик, учитель семинарии, стал прыгать с ним через веревочку; товарищ прокурора искал случая с ним побеседовать; а молодой помещик и охотник из Владимирской губернии вполне поддался его влиянию.

Вскоре была предпринята вчетвером поездка по башкирским деревням. Мы запаслись подарками и ружьями. В дороге мы охотились по озерам на уток, а останавливались у башкир в кочевках, где отдыхали и пили кумыс. За наши посещения мы отплачивали подарками при удобном случае. В гостях у башкир Лев Николаевич как-то вышел в степь из кочевки, загляделся на лошадь, отделившуюся из табуна, и сказал мне: «Посмотри, какой прекрасный тип дойной кобылы». Когда через час мы уезжали, хозяин привязал похваленную лошадь к нашей бричке в подарок графу. На обратном пути пришлось отдарить за похвалу.

Лев Николаевич находил много поэтичного в кочевой и беззаботной жизни башкир. Он знал их быт и обычаи...

В степи мы прожили ровно шесть недель. В это время мы сделали еще одну поездку вдвоем на Петровскую ярмарку в г. Бузулук, за семьдесят верст. Поехали мы на одной лошади в небольших дрогах и взяли с собой запас кумыса в небольшом турсуке. Ярмарка отличалась пестротой и разнообразием племен: русские мужики, уральские казаки, башкиры и киргизы. И в этой толпе Лев Николаевич расхаживал со свойственной ему любознательностью и со всеми заговаривал. Даже с пьяными он не боялся вступать в разговор...

В Бузулуке мы посетили старика отшельника, который жил около монастыря в пещере. Лев Николаевич

только внимательно слушал старика, говорившего исключительно о священном писании, но сам не говорил и впечатление свое мне не передавал...

По возвращении домой Лев Николаевич, вспоминая башкир, заинтересовался их религиею и прочел коран на французском языке.

Во второй раз мы ездили в самарское имение... всей семьей летом 1878 года... В это же лето Лев Николаевич устроил у себя замечательное зрелище. Через Мухамедшаха Романыча было разглашено, что граф Толстой устраивает у себя в имении скачку на пятьдесят верст. Все местные и окрестные национальности: башкиры, киргизы, уральские казаки и русские мужики — все чрезвычайно любят скаковой спорт. Независимо от этого Лев Николаевич заготовил призы: быка, лошадь, ружье, часы, халаты и т. п., и об этом разглашалось вместе с приглашениями на скачки. Мы сами выбрали ровную местность, опахали и измерили огромный круг в пять верст длиною и на нем расставили знаки. Для угощения были заготовлены бараны и даже одна лошадь. К назначенному дню съехалось несколько тысяч народу. Башкиры и киргизы приехали с своими кочевками, кумысом, котлами и даже баранами. Дикая степь, покрытая ковылем, устала рядом кочевков и ожилилась пестрой толпой. На коническом возвышении, называемом по-местному шишка, были разостланы ковры и войлоки, и на них кружком расселись башкиры с поджатыми под себя ногами. В середине кружка из большого турсука молодой башкир разливал кумыс и подавал чашку по очереди сидевшим. Это шла круговая. Песни, игра на дудке и на горле звучали грустно и заунывно для слуха европейцев. Тут же любители состязались в борьбе...

Желавшие участвовать в скачках привели тридцать лошадей, заранее тренированных. Седоками были мальчики лет десяти, без седел. Скачка в пятьдесят верст продолжалась один час и сорок минут, следовательно каждую версту проскакали в две минуты. Гувернер швейцарец наблюдал за часами. Из тридцати лошадей прискакало десять, остальные стали. Пир длился два дня и отличался замечательной чинностью, порядком и оживлением. К удовольствию Льва Николаевича, не было никого из полиции... Даже в толпе, мне кажется,

Лев Николаевич умел поселить entrain* и уважение к благопристойности.

Это было последнее лето, которым кончались мои каникулы. Я поступал на службу. Когда Лев Николаевич услышал, что я еду служить в Закавказский край, он сказал мне: «Ты опоздал на Кавказ!»...

Он советовал мне не создавать себе в чужих краях никаких требований, а применяться к местным условиям и относиться к ним с любовью и интересом, и за это обещал много новых удовольствий. Желая predispose меня к тому, что меня ожидает, он сам прочел мне что-то воспоминания о Закавказском крае.

* веселость (франц.)

Е. В. ОБОЛЕНСКАЯ

МОЯ МАТЬ И ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

...Перед отъездом он ласково со мной поговорил¹ и сказал мне:

— Если ты будешь смотреть на замужество как на легкую, свободную и праздничную жизнь, то тебя ждет много огорчений и разочарований. Смотри на нее серьезно, как на большой труд, и тогда все будет хорошо. Жизнь вообще есть труд.

Я часто позднее вспоминала его слова.

Это он говорил в 1870 году. А много позднее, в 900-х годах, в одно из моих пребываний в Ясной Поляне, я как-то сидела в большой зале, вошел Душан Петрович Маковицкий, доктор, попросил меня написать ему что-нибудь в альбом. Я написала: «Ernst ist das Leben»* (Шиллер). В это время вошел Лев Николаевич, вернулся с гулянья и говорил:

— Я гулял и думал о том, какая жизнь серьезная вещь и как было бы все иначе, если бы люди это понимали...

Частым гостем был у нас Николай Михайлович Нагорнов. Он служил тоже в Москве. Отец его жил в деревне, а мать, сестры и брат постоянно жили за границей, преимущественно в Ницце. Младший брат его, Ипполит Михайлович, был хороший музыкант, он удивительно играл на скрипке, скрипка его точно пела. Свое музыкальное образование он получил в Париже. Он бывал в Ясной Поляне, когда сестра была уже несколько лет замужем, играл там, и игра его очень нра-

* Жизнь серьезна (нем.).

вилась Льву Николаевичу. Я не знаю, его ли описал Лев Николаевич в «Крейцеровой сонате», но во всяком случае очень похожий на него тип: шаблонно красивый, по-европейски элегантный, немного полный, черные на обе стороны расчесанные волосы, самоуверенно спокойный — таков был Ипполит Нагорнов, но музыкант удивительный, как пишет Лев Николаевич про Трухачевского: «тонкий, благородный вкус, совсем не свойственный его характеру»²...

Приезжая в Москву на несколько дней, дядя всегда заглядывал к нам хоть на короткое время...

Раз Лев Николаевич зашел к нам, гуляя вечером; я сидела за круглым столом с детьми. Он сказал:

— Как ты хорошо сидишь, только лампа у тебя гадкая.

На другой день он прислал мне очень хорошенькую лампу. Не в его обычаях было делать подарки, а потому я очень дорожила этой лампочкой и берегла ее до самого последнего времени. Другой раз он застал нас за обедом; он был такой редкий, дорогой гость, что мы не хотели отпустить его и упросили остаться обедать. Он был весел и шутлив. Жили мы с мужем скромно, семья была большая, средства небольшие. Подали суп самый простой, дядя сказал:

— Как вы вкусно едите, я буду каждый день ходить к вам обедать.

Потом подали котлетки и печеные яблоки. Он ел с аппетитом и говорит:

— Нет, я буду к вам ходить два раза в день обедать.

Нам было так радостно, что он у нас хорошо себя чувствует...

Весной 1877 года он приехал в Москву с дочерью Татьяной Львовной...

Не помню, чья была инициатива, вероятно его, но мы тут же поехали к Троице — дядя с Танечкой, я и мой большой друг Елизавета Сергеевна Фохт, рожденная Сухотина. Приехавши, мы пошли прямо в собор; шла обедня, служил архиерей; собор был полон народу, было очень тесно и душно. Толпа почти вся состояла из крестьян-богомольцев с котомками за плечами, именно такая толпа, которую любил Лев Николаевич. Я ждала рождения ребенка, Лев Николаевич беспокоился, что меня затолкают, и поручил Танечке

охранять меня, что она исполняла очень добросовестно, толкаясь сама, за что была обозвана какою-то бабой не очень ласковым словом. По окончании обедни Лев Николаевич сказал нам, что ему нужно поговорить с архиереем, и мы все и он тоже подошли под благословение к архиерею, причем он предварительно внушил Танечке, что она должна поцеловать у него руку. Она это исполнила, но от конфуза прежде перекрестилась, а потом приложилась к руке. Архиерей улыбнулся. Лев Николаевич прямо из церкви пошел к нему, а мы, напившись чаю в гостинице, пошли осматривать все, что было достопримечательного у Троицы. Был он еще у старца, который жил тогда там,— имени его не помню. К сожалению, я не знаю, в чем состояли его разговоры с духовными лицами, так как он не сообщал их нам³. Но они ни в чем не убедили его, не разрешили его сомнений, потому что он уже с конца 70-х годов начинает отпадать от церкви, а в 1879 году уже совершенно отпал от нее...

Он ценил в людях больше всего духовную жизнь. Как-то в разговоре я упомянула поговорку: «В здоровом теле — здоровый дух».

— Я не люблю эту поговорку,— сказал Лев Николаевич,— это неверно. В здоровом теле редко бывает здоровый дух. Чем здоровее тело, тем меньше духовной жизни. Вот посмотри на Марию Александровну⁴, уж какое тут тело, чем только дышит, а дух такой — дай бог всякому...

В 1881 году вся семья дяди Льва Николаевича переехала на зиму в Москву и с тех пор стала всякую зиму проводить в Москве. Первую зиму они жили на квартире в доме Волконского в Денежном переулке, а в 1882 году поселились в собственном доме в Хамовниках. Лев Николаевич сам очень внимательно занялся устройством дома и его мебелировкой. Сначала он делал это для того, чтобы облегчить Софью Андреевну, но потом сам увлекся. Он сам очень охотно по всем мебельным магазинам разыскивал старинную мебель красного дерева и покупал все с большим вкусом. Зайдешь, бывало, проведать его в Хамовники и застанешь в хлопотах по размещению мебели и по распределению комнат. Иногда он спрашивал совета, и я охотно помогала ему.

Наконец все было устроено, и в октябре семья переехала уже в свой дом. Это был большой перелом в их жизни. С тех пор характер жизни Толстых не только зимой, но и летом совершенно изменился. Он утратил ту простоту, безыскусственность и, главное, самобытность, которые были так привлекательны. Пошло все, как у всех. Изменилась внешность, изменилось и внутреннее содержание жизни. Хамовнический дом скоро наполнился народом. Всякий считал за честь и счастье попасть туда, да оно так и было и не могло быть иначе.

К сожалению, для своих близких Лев Николаевич стал мало доступен. Зайдешь днем — он или гуляет, или занят; а вечером он большей частью сидел в своем маленьком, низеньком кабинете, окруженный людьми, жаждущими его послушать. Придешь туда и чувствуешь, что лишняя, что стесняешь. Когда же Лев Николаевич выходил в большую залу, где за большим чайным столом сидели гости Софьи Андреевны, он был любезным, обворожительным хозяином. Тут тоже жадно ловили каждое его слово; при его появлении все разговоры умолкали, а все внимание было устремлено на него. Он каждому находил, что сказать, с кем поговорит серьезно, с кем пошутит, с молодежью был всегда ласков и шутив. И все это выходило у него так естественно, так непринужденно и привлекательно. Он был настоящий аристократ старого времени; это проявлялось во всем: в его обращении с людьми, в его манерах, в его вкусах; все грубое, все пошлое, все безвкусное, даже в туалетах, его коробило.

Но городская жизнь была ему, конечно, не по душе и в особенности первое время очень утомляла его. Утомляла его уличная суета и шум.

— И чего они суетятся, — говорил он, — куда спешат?.. Все дела, а главного не видят; так и пройдет вся жизнь, и не заметят, как смерть подойдет.

Городовые с револьверами возмущали его, он не мог равнодушно проходить мимо них. Я как-то раз вышла с ним из их дома; на перекрестке стоял бравый, рослый городской. Проходя мимо, Лев Николаевич с досадой сказал:

— Здоровый, страшный какой.

Я засмеялась:

— Да что ты, дядя, чем же он страшный?

А он говорит:

— Ну, а револьвер-то зачем?

Очень неприятно ему также было, когда кто-нибудь из прохожих узнавал его, кланялся ему или провожал любопытными глазами. Все это раздражало его и нередко приводило в дурное настроение...

Любил он уходить на Москву-реку; там он пилил дрова с пильщиками и разговаривал с ними; любил также гулять совсем поздно вечером, перед сном; иногда заходил к нам — мы жили недалеко, в Неопалимовском переулке. Пишу эти строки и вспоминаю одну прогулку зимой в Ясной Поляне. Это было много поздней, они тогда уже не жили в Москве. Была чудная лунная ночь; Лев Николаевич сманил нас всех гулять. Народу было много; все с радостью согласилось. Софья Андреевна не хотела идти, но мы ее уговорили, и Лев Николаевич повел ее под руку. Лунный свет обманчив; дядя завел нас довольно далеко в лес и не мог выйти на настоящую дорогу, так что нам пришлось покружить по елочкам. Но ночь была такая дивная, теплая, что мы никто не жалели, а он наслаждался, был весел и шутил, говоря, что как Сусанин завел поляков, так и он завел нас в лес.

А как он любил свои уединенные прогулки в Ясной Поляне! Однажды он позвал меня с собой; я пошла одеваться — это было зимой, — но когда я пришла, он уже ушел, не дождавшись меня. Вернувшись, он мне говорит:

— А я тебя обманул, ты обиделась?

— Не обиделась, а очень пожалела.

— Ты не обижайся, с тобой было бы хорошо, ну, а с богом лучше.

И вот этих прогулок «с богом» ему недоставало в Москве...

Лев Николаевич как-то посетил мою мать в монастыре⁵. Расспрашивал ее о том, как она живет, что с них требуется; он очень не одобрял послушания. «Как можно жить и действовать по воле другого человека?» — говорил он. От нее он пошел к игуменье. Умная и приветливая старуха приняла его ласково и просто и очень понравилась ему. Вернувшись от нее, он сказал матери:

— Вас тут шестьсот дур, одна умная — ваша игуменья.

Мать очень этому смеялась и передала многим монахиням и самой игуменье. Все отнеслись к этому очень добродушно. После этого посещения она вышила по канве маленькую подушку по красному фону черными буквами: «Одна из шестисот шамординских дур» — и отвезла ее Льву Николаевичу... Подушка эта всегда лежала на кресле в его кабинете и сейчас показывается посетителям...

Он любил простое, не требующее никакой обстановки веселье. Это свойство было у него общее с моей матерью; и когда они чему-нибудь радовались, смеялись, в них было что-то наивное, детское. Они любили вспоминать далекое прошлое, но никогда не вспоминали грустное, неприятное; воспоминания их были всегда светлые. Все почти дети его были музыкально одаренные; и когда молодежь с гитарами начинает петь цыганские романсы, он всегда выйдет из своего кабинета послушать, слушает с истинным удовольствием и, когда они кончат, скажет: «Ну-ка еще!» А как он иногда бывал по-детски шутлив и весел, как умел заразительно до слез смеяться! Такой смех вызывал у него Душан⁶, когда вдруг с спокойным, серьезным лицом, не выражающим никакого особенного веселья, начинает плясать словенский трепак; отпляшет и так же спокойно отойдет в сторону.

Не помню, какой это был день, какой год (кажется; после Крыма), я летом была в Ясной Поляне; мы обедали на дворе под большими деревьями; был Владимир Григорьевич Чертков, моя мать; фотограф, приехавший из Москвы, должен был снять нас за обеденным столом. Все были в веселом настроении. Лев Николаевич перед этим чему-то смеялся, на него напал «смехун». Только что фотограф направил на него свой аппарат и юркнул под свое покрывало, как дядя неудержимо расхохотался. Пришлось начинать опять сначала. Во второй раз — то же самое. В. Г. Чертков, который сидел рядом с ним, с ласковым укором в голосе сказал: «Лев Николаевич, что с вами?» У дяди сделалось сконфуженное, виноватое лицо.

— Ну, не буду, не буду больше.

А «нумидийская конница»? Я думаю, мало кто ее знал. «Нумидийская конница» всегда была после отъезда какого-нибудь нудного, неприятного гостя; Лев Ни-

колаевич не позволял бранить отъехавшего, но только что этот гость выходил из дома, дядя вскакивал, за ним часть детей (Мария Львовна первая), и, как-то особенно подняв правую руку, на цыпочках, бесшумно и безмолвно — Лев Николаевич впереди — обегали все верхние комнаты и точно так же безмолвно возвращались на свои места; «нумидийская конница» выражала радость, что скучный гость уехал...

Он любил цветы; пойдешь, бывало, гулять и принесешь ему на письменный стол букет полевых цветов; он доволен и любитесь ими. Любила я вечера. Сидим мы в большой зале яснополянского дома вокруг стола, кто с работой, кто за пасьянсом. К нему в кабинет мы без особой нужды никогда не ходили, всегда боялись помешать, но если он ничем особенно не занят, то дверь туда отворена, он читает что-нибудь несерьезное или раскладывает пасьянс и прислушивается к нашему разговору; иногда выйдет, посмеется над нашей детской болтовней или сделает какое-нибудь замечание. Он очень не любил пересудов, всегда говорил, что осуждающий грешит против трех людей — против себя, против того, кого осуждает, и против того, с кем осуждает. Как-то говорили о частых случаях развода. Лев Николаевич слушал и говорит:

— Да... вот когда я умру, про меня не будут говорить: «Толстой, знаменитый писатель», а скажут: «Какой это Толстой?» — «Да вот этот чудак, который прожил сорок лет с одной женой».

Он очень любил детей и умел с ними обращаться; «дедушка, дядя Ляля», — звали они его и с радостью бежали к нему.

— Как было бы грустно жить на свете, если бы не было детей. Вот беда-то будет, как женщины забастуют и перестанут рожать, — говорил он в 1905 году, когда начались повсюду забастовки.

Он не признавал так называемого «женского вопроса», с раздражением говорил:

— Какой вопрос? Никакого вопроса нет. У женщин всегда готовое, несомненно полезное дело — дети, старики, больные, служи им — вот и весь вопрос. Вот N интегралы и дифференциалы знает, а ребенка на руках держать не умеет.

Его обычные любимые прогулки на шоссе, где он

любил говорить с встречными крестьянами, в 1905 году иногда огорчали его; настроение крестьян ему не нравилось. Как-то раз за обедом он сказал:

— Должен сознаться, что крестьяне стали какие-то неприятные, не такие, как прежде...

В 1910 году я приехала к матери в монастырь поздней осенью. Она из наших писем знала о той драме, которая происходила в Ясной Поляне весь этот год и которая окончилась уходом и смертью Льва Николаевича. Конечно, все разговоры наши вертелись около этого предмета.

29 октября днем мы пошли с матерью походить. Погода была холодная, и было очень грязно, так что мы не выходили за ограду. Навстречу нам попала монахиня, только что вернувшаяся из Оптиной пустыни. Она рассказала нам, что видела там Льва Николаевича, который, узнав, что она из Шамордина и туда возвращается, сказал:

— Скажите моей сестре, что я нынче у нее буду.

Нас очень взволновало это известие. То, что он решил приехать в такую пору года и в такую погоду, не предвещало ничего хорошего. Мы поспешили вернуться и стали его ждать и гадать, что мог означать его приезд. Ждали мы долго; наконец он пришел к нам в шесть часов, когда было уже совсем темно, и показался мне таким жалким и стареньким. Был повязан своим коричневым башлыком, из-под которого как-то жалко торчала седенькая борода. Монахиня, провожавшая его от гостиницы, говорила нам потом, что он пошатывался, когда шел к нам. Мать встретила его словами:

— Я рада тебя видеть, Левочка, но в такую погоду!.. Я боюсь, что у вас дома нехорошо.

— Дома ужасно,— сказал он и заплакал...

За чаем мать стала спрашивать про Оптину пустынь. Ему там очень понравилось (он ведь не раз бывал там раньше), и он сказал:

— Я бы с удовольствием там остался жить. Нес бы самые тяжелые послушания, только бы меня не заставляли креститься и ходить в церковь.

На вопрос матери, почему он не зашел к отцу Иосифу, он сказал, что думал, что он «отлученного» не примет.

Весь остальной вечер он был спокоен, говорил о посторонних предметах, расспрашивал много о монастыре; как всегда, с особенным чувством умиления рассказывал об отказавшихся от воинской повинности; сказал, что думает пожить в Шамордине; с интересом выслушал, что около Оптиной можно нанять отдельный домик, что там многие так устраиваются...

На другой день в десять часов утра я зашла к нему; он лежал на диване, читал и сказал, что плохо себя чувствует, слаб и не может заниматься. Рассказал, что ходил на деревню посмотреть, нельзя ли там нанять избу, но ничего подходящего не нашел.

— Дядя, милый, трудно тебе будет жить в избе, да и не оставят тебя здесь; ведь, по словам Сергеенки, на твой след напали, и тетя Соня просила Андриюшу за тобой поехать.

На это он мне сказал:

— Вы так меня утешили, так успокоили, я теперь еще больше утвердился в моем решении не возвращаться. Я не могу вернуться; пойми, в том состоянии, в каком сейчас, возвращение будет равносильно смерти. Еще одна сцена, еще один припадок — и конец!..

Когда спустя некоторое время я опять пришла к нему, он был уже покойнее душевно, но физически слаб и в подавленном состоянии. Поговорил со мной о новоселовских книжках, которые взял у матери; нашел некоторые интересными (особенно понравилась ему о социализме) и сказал, что напишет Новоселову;⁷ спросил, когда мы обедаем, какие мы получаем газеты, и сказал, что придет к обеду и почитает газеты...

Но спокойное настроение продолжалось недолго. Вечером совершенно неожиданно приехали Александра Львовна с Варварой Михайловной Феокритовой и привезли ему письма детей и Софьи Андреевны. Письма детей были очень хорошие, особенно письмо Сергея Львовича. Чтение этих писем очень его взволновало; он плакал, читая их...

Стал просить, чтобы ему подробно рассказали, как Софья Андреевна кинулась в пруд. Александра Львовна сказала, что необходимо скорей ехать, потому что каждую минуту можно ожидать Софью Андреевну, которая говорила: «Только бы мне привезти его, теперь я с глаз его не спущу, я спать буду около его двери».

Дядя слушал молча и глубоко задумавшись; мать моя тоже примолкла. Когда стали оживленно разговаривать, куда ехать — на Юг, на Кавказ, в Бессарабию (кажется, там были толстовские колонии), он сказал:

— Все это мне не нравится..

Увидя Душана над картой, он сказал:

— Только ни в какую колонию, ни к каким знакомым, а просто в избу к мужикам.

И. Л. ТОЛСТОЙ

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

ВПЕЧАТЛЕНИЯ РАННЕГО ДЕТСТВА

...Когда мне было шесть лет, я помню, как папа учил деревенских ребят.

Их учили в том доме, где жил Алексей Степаныч¹, а иногда и в нашем доме, внизу.

Деревенские ребята приходили к нам, и их было очень много. Когда они приходили, в передней пахло полушубками, и учили их всех вместе и папа, и Сережа, и Таня, и дядя Костя. Во время уроков бывало очень весело и оживленно.

Дети вели себя совсем свободно, сидели где кто хотел, перебегали с места на место и отвечали на вопросы не каждый в отдельности, а все вместе, перебивая друг друга и общими силами припоминая прочитанное. Если один что-нибудь пропускал, сейчас же вскакивал другой, третий, и рассказ или задача восстанавливались сообща.

Папа особенно ценил в своих учениках образность и самобытность их языка.

Он никогда не требовал буквального повторения книжных выражений и особенно поощрял все «свое».

Я помню, как один раз он остановил мальчика, бегущего в другую комнату.

— Ты куда?

— К дяденьке, мелку откусить.

— Ну, беги, беги. Не нам их учить, а учиться у них

Надо,— сказал он кому-то, когда мальчик отошел.— Кто из нас сказал бы так? Ведь он не сказал — взять или отломить, а сказал точно: «откусить», потому что именно откусывают мел от большого куска зубами, а не ломают его...

ПАПА

За всю мою жизнь меня отец ни разу не приласкал. Это не значит, чтобы он меня не любил. Напротив, я знаю, что он любил меня, бывали периоды, когда мы были очень близки друг к другу, но он никогда не выражал своей любви открытой прямой лаской и всегда как бы стыдился ее проявления. В нашем детстве всякие проявления нежности назывались «телячьими ласками»...

Я помню отца до того, как он начал писать «Анну Каренину», приблизительно таким, каким его написал Крамской. В то время у него была недлинная борода, темные, немного выющиеся к концам волосы и быстрые, очень уверенные движения. Он был очень силен и довольно ловок. С детства он приучал нас к гимнастике, учил плавать, кататься на коньках и ездить верхом. И здесь часто проявлялась та же его суровость. «Не могу» или «устал» для него не существовало.

— Плыви,— и он отталкивал меня в глубокое место реки, конечно следил, чтобы я не утонул, но не помогал и подбадривающе хвалил, если я, наполовину захлебнувшись, с вытаращенными от страха глазами доплывал до берега.

Или, бывало, едем верхом. Отец переводит лошадь на крупную рысь. Я стараюсь за ним поспеть. Чувствую, что теряю равновесие. С каждым толчком рыси сбиваюсь все больше и больше. Чувствую, что пропал. Надо лететь. Еще несколько бесполезных судорожных движений — и я на земле.

Отец останавливается.

— Не ушибся?

— Нет,— стараюсь отвечать твердым голосом.

— Садись опять.

И опять той же крупной рысью он едет дальше, как будто ничего и не произошло.

Папа учил меня арифметике, латинскому и греческому... Он учил прекрасно, ясно и интересно, но, как и в верховой езде, он шел крупной рысью все время, и надо было за ним успевать во что бы то ни стало. Вероятно, благодаря его разумному началу я, вообще плохой ученик, всегда шел по математике прекрасно и математику любил...

Мне было пять лет... Мне подарили большую фарфоровую чайную чашку с блюдцем... Увидав чашку на своем столике, я... схватил ее обеими руками и побежал ее показывать.

Перебегая из залы в гостиную, я зацепился ногой за порог, упал, и от моей чашки остались одни осколки.

Конечно, я заревел во весь голос и сделал вид, что расшибся гораздо больше, чем на самом деле. Мама кинулась меня утешать и сказала мне, что я сам виноват, потому что был неосторожен. Это меня рассердило ужасно, и я начал кричать, что виноват не я, а противный архитектор, который сделал в двери порог, и если бы порога не было, я бы не упал.

Папа это услышал и начал смеяться: «Архитектор виноват, архитектор виноват...»

С тех пор поговорка «архитектор виноват» так и осталась в нашей семье, и папа часто любил ее повторять, когда кто-нибудь старался свалить свою вину на другого...

Таких поговорок, взятых из жизни, у папа было много.

Была у него еще поговорка «для Прохора»...

В детстве меня учили играть на фортепьяно. Я был страшно ленив и всегда играл кое-как, лишь бы отбарабанить свой час и убежать.

Вдруг как-то папа слышит, что раздаются из залы какие-то бравурные рулады, и не верит своим ушам, что это играет Илюша. Входит в комнату и видит, что это действительно играю я, а в окне плотник Прохор вставляет зимние рамы. Тогда только он понял, почему я так расстарался. Я играл «для Прохора».

И сколько раз потом этот «Прохор» играл большую роль в моей жизни, и отец упрекал меня им.

Было у отца еще хорошее слово, которое он часто пускал в ход.

Это «Анковский пирог».

У мамашиных родителей был знакомый доктор Анке (профессор университета), который передал моей бабушке, Любови Александровне Берс, рецепт очень вкусного именинного пирога. Выйдя замуж и приехав в Ясную Поляну, мама передала этот рецепт Николаю-повару.

С тех пор, как я себя помню, во всех торжественных случаях жизни, в большие праздники и в дни именин, всегда и неизменно подавался в виде пирожного «Анковский пирог». Без этого обед не был обедом, и торжество не было торжеством. Какие же именины без сдобного кренделя, посыпанного миндалем, к утреннему чаю и без «Анковского пирога» к вечеру?

То же самое, что рождество без елки, пасха без катания яиц, кормилица без кокошника, квас без изюминки...

Без этого уже ничего не останется святого.

Всякие семейные традиции,— а их много внесла в нашу жизнь мама,— назывались «Анковским пирогом».

Папа иногда добродушно подтрунивал над «Анковским пирогом», под этим «пирогом» подразумевая всю совокупность мамашиных устоев²...

ИГРЫ, ШУТКИ ОТЦА, ЧТЕНИЕ, УЧЕНИЕ

Ближе всего и по возрасту и по духу я сходиллся с сестрой Таней. Она на полтора года старше меня, черноглазая, бойкая и выдумчивая. С ней всегда весело, и мы понимаем друг друга с полуслова...

Нас с Таней понимал как следует только один папа, и то не всегда. У него были свои очень хорошие штуки, и кое-чему он нас научил. Была, например, у него «нумидийская конница». Бывало, сидим мы все в зале, только что уехали скучные гости — все притихли,— вдруг папа соскакивает со стула, подымает кверху одну руку и стремглав бежит галопом вприпрыжку вокруг стола. Мы все летим за ним и так же, как он, подпрыгиваем и махаем руками. Обежим вокруг комнаты несколько раз и, запыхавшись, садимся опять на свои места совсем в другом настроении, оживленные и веселые. Во многих случаях «нумидийская конница» действовала очень хорошо.

В этот же период нашего детства мы увлекались чтением Жюлья Верна.

Папа привозил эти книги из Москвы, и каждый вечер

мы собирались, и он читал нам вслух «Дети капитана Гранта», «80 000 верст под водой», «Путешествие на луну», «Три русских и три англичанина» и, наконец, «Путешествие вокруг света в 80 дней».

Этот последний роман был без иллюстраций. Тогда папа начал нам иллюстрировать его сам.

Каждый день он приготавливал к вечеру подходящие рисунки пером, и они были настолько интересны, что нравились нам гораздо больше, чем те иллюстрации, которые были в остальных книгах.

Я как сейчас помню один из рисунков, где изображена какая-то буддийская богиня с несколькими головами, украшенными змеями, фантастичная и страшная...

Мы с нетерпением ждали вечера, и все кучей лезли к нему через круглый стол, когда, дойдя до места, которое он иллюстрировал, он прерывал чтение и вытаскивал из-под книги свою картинку. После Жюль Верна, уже при французе Nief'e, нам читали «Les trois Mousquetaires» * Дюма, и папа сам вычеркивал те места, которые нельзя было слушать детям...

Выше я рассказал о том, как в раннем детстве папа учил меня арифметике. После, кажется лет с тринадцати, я стал учиться с ним по-гречески.

Он сам научился греческому языку на моей памяти. Я помню, с каким увлечением и настойчивостью он за это принялся, и в шесть недель он добился того, что свободно читал и переводил Геродота и Ксенофонта.

С этого-то Ксенофонта мы с ним и начали.

Он объяснил мне азбуку и сразу заставил читать «Анабазис». Сначала было трудно. Я сидел с стеклянными глазами, иногда принимался реветь, но кончилось тем, что я все-таки понял, что надо, и научился.

Так же я научился и латыни.

Когда в 1881 году я держал вступительный экзамен в классической гимназии Поливанова, я удивил всех учителей тем, что, не зная совсем грамматики, я читал и переводил классиков гораздо лучше, чем требовалось. В этом я вижу доказательство того, что своеобразная система преподавания отца была правильна.

Ведь так же точно, позднее, он научился древнееврейскому языку и знал его настолько хорошо, что свободно

* «Три мушкетера» (франц.).

разбирался в нужных местах Ветхого завета и иногда предлагал своему учителю, раввину Минору, собственные объяснения некоторых текстов.

ВЕРХОВАЯ ЕЗДА. ЗЕЛЕНАЯ ПАЛОЧКА

С поездками на купальню у меня связано несколько интересных воспоминаний.

Прежде всего сказка о «зеленой палочке». С правой стороны «купальной дороги», в вершине оврага, есть место с насыпной почвой и тропинкой между дубами. Это место описано мною выше.

Вот тут-то, по рассказам папа, его брат Николенька закопал таинственную зеленую палочку, с которой он связал свою наивно-детскую легенду: «Если кто-нибудь из муравейных братьев найдет эту палочку, тот будет счастлив сам и силою любви осчастливит всех людей».

Проезжая по этому месту, папа любил нам рассказывать эту сказку, которую он рассказывал с особой нежностью, и мне помнится даже, что один раз я стал спрашивать его, какая это палочка на вид, и собрался было идти с лопатой ее искать.

Другое воспоминание вот какое.

Едем мы купаться.

Папа обращается ко мне и говорит:

— Знаешь, Илюша, я нынче очень доволен собой. Три дня я с нею мучился и никак не мог заставить ее войти в дом. Не могу, да и только. Все выходит как-то не то. А нынче я вспомнил, что во всякой передней есть зеркало, а на каждой даме есть шляпка. Как только я это вспомнил, так она у меня пошла и пошла и сделала все как надо. Кажется, пустяки — шляпка, а в этой-то шляпке, оказывается, всё.

Восстанавливая в памяти этот разговор, я думаю, что отец мне говорил о той сцене из «Анны Карениной», когда Анна приходила на свидание с сыном.

Хотя в окончательной редакции романа в этой сцене ничего не говорится ни о шляпе, ни о зеркале (упомянута только густая черная вуаль), но я предполагаю, что в первоначальном виде, работая над этим местом, отец мог подвести Анну к зеркалу и заставить ее поправить или снять шляпу,

Я помню, с каким увлечением папа мне это рассказывал, и мне теперь странно, что он делился такими тонкими художественными переживаниями с семилетним мальчиком, который в то время едва ли мог ему сочувствовать.

Впрочем, такие вещи бывали с ним не раз. Как-то я слышал от него очень интересное определение того, что нужно писателю для его работы.

— Ты не можешь себе представить, что значит настроение,— говорил он.— Иногда бывает так, что встанешь утром бодрый, свежий — голова ясная,— начинаешь писать, выходит умно, последовательно,— на другой день перечтешь, и приходится все выкинуть, потому что все хорошо, а главного-то и нет. Нет воображения, нет талантливости, нет того «чего-то», того «чуть-чуть»³, без чего весь твой ум ничего не стоит. В другой раз встанешь, не выспавшись, нервы натянуты — ну, думаешь, нынче буду писать хорошо. И действительно, пишешь красиво, образно, воображения сколько хочешь,— пересмотришь — и опять никуда не годится, потому что написано глупо. Краски есть, а ума не хватило. Только тогда может выйти хорошо, когда ум и воображение в равновесии. Как только одно из двух пересилило, так все пропало,— бросай и начинай сызнова.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Летом, когда в Ясной съезжались две семьи, наша и Кузминских, когда оба дома бывали полны народа, своих и гостей, у нас устраивался почтовый ящик.

Он зародился очень давно, когда я был еще совсем маленький и только что научился писать, и существовал с перерывами до середины 80-х годов.

Висел он на площадке, над лестницей, рядом с большими часами, и в него каждый опускал свои произведения: стихи, статьи и рассказы, написанные в течение недели на злобы дня.

По воскресеньям все собирались в зале у круглого стола, ящик торжественно отпирался, и кто-нибудь из старших, часто даже сам папа, читал его вслух.

Все статьи были без подписей, и был уговор не подсматривать почерков, но, несмотря на это, мы всегда почти без промаха угадывали авторов или по слогу, или

по его смущению, или, наоборот, по натянуто-равнодушному выражению его лица...

К сожалению, многое из ящика пораспропало, часть сохранилась у некоторых из нас в списках и в памяти, и я не могу восстановить всего, что было в нем интересного. Вот некоторые вещи, наиболее интересные (из эпохи 80-х годов).

«Старый хрен» продолжает спрашивать. Почему, когда в комнату входит женщина или старик, всякий благовоспитанный человек не только просит их садиться, но уступает им место?

Почему приезжающего Ушакова или сербского офицера не отпускают без чая или обеда?

Почему считается неприличным позволить более старому человеку или женщине подать шубу и т. д.?

И почему все эти прекрасные правила считаются обязательными к другим, тогда как всякий день приходят люди, и мы не только не велим садиться, и не оставляем обедать или ночевать, и не оказываем им услуг, но считаем это верхом неприличия?

Где кончаются те люди, которым мы обязаны?

По каким признакам отличаются одни от других?

И не скверны ли все эти правила учтивости, если они не относятся ко всем людям? Не есть ли то, что мы называем учтивостью, обман,— скверный обман?

Лев Толстой».

«Просят ответить на следующие вопросы:

Почему Устюша, Маша, Алена, Петр и пр. должны печь, варить, мести, выносить, подавать... а господа есть, жрать, сорить, делать нечистоты и опять кушать?

Л. Толстой».

«Из апрельского номера «Русской старины» 2085 года. Жизнь обитателей России 1885 года можно по дошедшим до нас богатым материалам этого времени восстановить приблизительно в следующем виде. Возьмем хоть ту местность Ясной Поляны, в которой теперь находится дом собрания. Местность эта была обитаема в 1885 году 70-ю семействами благородных тружеников, поддерживавших в это время, несмотря на тяжесть условий, свет истинного просвещения — науки общежития и труда для другого и искусств возделывания полей, постройки

жилищ, воспитания домашних животных — и двумя семействами совершенно одичавших людей, потерявших всякое сознание не только любви к ближнему, но и чувства справедливости, требующего обмена труда между людьми. 70 семейств, просвещенных по тому времени людей, жили на тесной улице, работая, и старый и малый, с утра до вечера и питаюсь одним хлебом с луком, не имея возможности заснуть в день более трех-четырёх часов и вместе с тем отдавая все, что у них требовали, тем, которые брали это у них, кормя и помещая у себя странников и прохожих людей и развозя больных и давая своих лучших людей в солдаты, т. е. в рабство тем, которые этого у них требовали. Два же дикие семейства жили отдельно от них среди просторных тенистых садов в двух огромных равняющихся величине 15 домов образованных жителей и держали себе до 40 человек людей, занятых только тем, чтобы кормить, возить, одевать, обмывать эти два дикие семейства. Занятие диких семейств состояло преимущественно в еде, разговорах, одеванье и раздеванье, игрании (продолжение листка утрачено)...

Л. Толстой».

Идеалы Ясной Поляны

Лев Николаевич.— 1. Нищета, мир и согласие.
2. Сжечь все, чему поклонялся,— поклониться всему, что сжигал.

Софья Андреевна.— 1. Сенека. 2. Иметь 150 малышей, которые никогда бы не становились большими.

Татьяна Андреевна.— 1. Вечная молодость. 2. Свобода женщин.

Илья.— Тщательно скрыть, что есть сердце, и делать вид, что убил 100 волков.

Виг* Маша.— Общая семья, построенная на началах грации и орошаемая слезами умиления.

М-me Сеурон.— Изящество.

Вера.— Дядя Ляля**.

Князь Урусов.— Расчет в крокет и забыть все земное.

Всех малышей.— Напихиваться целый день всякой дрянью и изредка, для разнообразия, зареветь благим матом.

* Большая (англ.). (Маша Кузминская.)

** То есть Лев Николаевич.

Таня.— Стриженная голова. Душевная тонкость и постоянно новые башмаки.

Лёля.— Издавать газету «Новости».

Княгиня Оболенская.— Счастье всех и семейность вокруг.

Little * Маша.— Звуки гитарных струн.

Трифоновна.— Ихняя свадьба.

Скорбный лист душевнобольных яснополянского госпиталя

№ 1. Лев Николаевич. Сангвинического свойства. Принадлежит к отделению мирных. Больной одержим манией, называемой немецкими психиатрами «Weltverbesserungswahn» **. Пункт помешательства в том, что больной считает возможным изменить жизнь других людей словом. Признаки общие: недовольство всем существующим порядком, осуждение всех, кроме себя, и раздражительная многоречивость, без обращения внимания на слушателей, частые переходы от злости и раздражительности к ненатуральной слезливой чувствительности. Признаки частные: занятие несвойственными и ненужными работами, чищенье и шитье сапог, кошение травы и т. п. Лечение: полное равнодушие всех окружающих к его речам, занятия такого рода, которые бы поглотили силы больного.

№ 2. Софья Андреевна. Находится в отделении смиренных, но временами должна быть отделяема. Больная одержима манией: *retulanta toropigis maxima* ***. Пункт помешательства в том, что больной кажется, что все от нее всего требуют и она никак не может успеть все сделать. Признаки: разрешение задач, которые не заданы; отвечание на вопросы прежде, чем они поставлены; оправдание себя в обвинениях, которые не деланы, и удовлетворение потребностей, которые не заявлены. Больная страдает манией Блохино-банковской ⁴. Лечение: напряженная работа. Диета: разобщение с легкомысленными светскими людьми. Хорошо тоже действуют в этом случае в умеренном приеме воды Кузькиной матери...

* Маленькая. (Маша Толстая.)

** «страсть исправлять мир» (нем.).

*** необузданная стремительно-торопливая магия (лат.).

Отец говаривал про Фета, что главная заслуга его — это что он мыслит самостоятельно, своими, ниоткуда не заимствованными мыслями и образами, и он считал его, наряду с Тютчевым, в числе лучших наших поэтов. Часто, бывало, и после смерти Фета он вспоминал некоторые его стихотворения и, обращаясь почему-то ко мне, говорил: «Илюша, скажи это стихотворение — «Я думал, — не помню, что думал» или «Люди спят»... Ты, наверное, его знаешь», — и он с восторгом вслушивался, подсказывал лучшие места, и часто на его глазах показывались слезы.

Я помню посещения Фета с самой ранней поры моего детства.

Почти всегда он приезжал с своей женой Марьей Петровной и часто гостил у нас по нескольку дней.

У него была длинная черная седеющая борода, ярко выраженный еврейский тип лица и маленькие женские руки с необыкновенно длинными, выхоленными ногтями.

Он говорил густым басом и постоянно закашливался залившимся, частым, как дробь, кашлем. Потом он отдышал, низко склонив голову, тянул протяжно гм... гммм, проводил рукой по бороде и продолжал говорить.

Иногда он бывал необычайно остроумен и своими остроумными потешал весь дом.

Шутки его были хороши тем, что они выскакивали всегда совершенно неожиданно даже для него самого.

Сестра Таня умела необыкновенно похоже передразнивать, как Фет декламировал свои стихи:

«И вот портрет, и схоуже и несхоуже, гм... гм...

Где сходство в нем, несходство где найти... гм... гм... гм... гммм».

Вспоминаю еще посещения Николая Николаевича Страхова.

Это был человек чрезвычайно тихий и скромный.

Он появился в Ясной Поляне в начале 70-х годов и с тех пор приезжал к нам почти каждое лето, до самой своей смерти.

У него были большие, удивленно открытые серые глаза, длинная борода с проседью, и, когда он говорил, он к концу своей фразы всегда конфузливо усмехался: ха, ха, ха...

Обращаясь к папа, он называл его не Лёв Николаевич, как все, а Лев Николаевич, выговаривая «е» мягко.

Жил он всегда внизу, в кабинете отца, и целый день, не выпуская изо рта толстую самодельную папиросу, читал или писал.

За час до обеда, когда к крыльцу подавали «катки», запряженные парой лошадей, и вся наша компания собиралась ехать на купальню, Николай Николаевич выходил из своей комнаты в серой мягкой шляпе, с полотенцем и палкой в руках, и ехал с нами.

Все без исключения, и взрослые и дети, любили его, и я не могу себе представить случая, чтобы он был кому-нибудь неприятен.

Он умел прекрасно декламировать одно шуточное стихотворение Козьмы Пруткова, «Вянет лист», и часто мы, дети, упрашивали его и надоедали до тех пор, пока он не расхохочется и не прочтет нам его с начала до конца.

«Юнкер Шмит, честное слово, лето возвратится,— кончал он с ударением и непременно на последнем слове улыбался и говорил,— ха, ха, ха!..»

Страхову принадлежат первые и лучшие критические работы по поводу «Войны и мира» и «Анны Карениной»⁵.

Когда издавались «Азбука» и «Книги для чтения», Страхов помогал отцу в их издании.

По этому поводу между ним и моим отцом возникла переписка, сначала деловая, а потом уже философская и дружественная.

Во время писания «Анны Карениной» отец очень дорожил его мнением и высоко ценил его критическое чутье...

Папа вообще не любил критиков и говаривал, что этим делом занимаются только те, которые сами ничего не могут создать.

«Глупые судят умных»,— говорил он про профессиональных критиков.

В Страхове он больше всего ценил глубокого и вдумчивого мыслителя.

Даже в разговорах, когда, бывало, отец задавал ему какой-нибудь научный вопрос (Страхов был по образованию естествоиспытатель), я помню, с какой необыкновенной точностью и ясностью он излагал свой ответ.

«Дедушка Ге», как мы его звали, познакомился с отцом в 1882 году.

Живя у себя на хуторе в Черниговской губернии, он как-то случайно прочел статью отца «О переписи», нашел в ней решение тех самых вопросов, которые в это же время мучили и его, и, недолго думая, собрался и прилетел в Москву.

Я помню его первый приезд, и у меня осталось впечатление, что он и мой отец с первых же слов поняли друг друга и заговорили на одном языке.

Так же, как мой отец, Ге в это время переживал тяжелый душевный кризис, и, идя в своих исканиях почти тем же путем, которым шел и отец, он пришел к изучению и новому уразумению евангелия...

«Дедушка» часто приезжал гостить к нам в Москве и в Ясной, и с первого же знакомства он сделался у нас в доме совсем своим человеком.

Когда он писал отцовский портрет в его кабинете в Москве, папа так привык к его присутствию, что совершенно не обращал на него внимания и работал, как будто его не было в комнате. В этом же кабинете «дедушка» и ночевал.

У него было удивительно милое, интеллигентное лицо.

Длинные седеющие кудри, свисающие с голого черепа, и открытые умные глаза придавали ему какое-то древнебиблейское, пророческое выражение.

Во время разговоров, когда он разгорался, а разгорался он всегда, как только вопрос касался евангельского учения или искусства, он, со своими горящими глазами и энергичными, размашистыми жестами, производил впечатление проповедника, и странно, что даже в те времена, когда мне было 16—17 лет и когда вопросы веры меня совсем не интересовали, я любил слушать проповеди «дедушки» и ими не тяготился.

Вероятно, оттого, что в них чувствовалась громадная искренность и любовь.

Под влиянием отца Николай Николаевич снова принялся за художественную работу, которую он до этого одно время совсем забросил, и последние его вещи — «Что есть истина?», «Распятие» и другие — являются уже плодом его нового понимания и объяснения евангельских сюжетов, отчасти навеянного ему моим отцом.

Прежде чем начинать картину, он долго вынашивал ее в душе и всегда устно и письменно делился своими замыслами с отцом, который глубоко ему сочувствовал и искренне восторгался его тонким пониманием и мастерством.

Дружба Николая Николаевича была дорога отцу.

Это был первый человек, всецело разделявший его убеждения и в то же время любивший его нелицемерно.

Став на путь искания истины и посылно ей служа, они находили друг в друге поддержку и делились родственными переживаниями.

Как отец следил за художественными работами Ге, так и Ге никогда не упускал ни одного слова, написанного отцом, сам списывал его рукописи и умолял всех присылать ему все, что будет нового.

Одновременно оба они бросили курить и сделались вегетарианцами.

Они сошлись даже и в любви и признании необходимости физического труда.

Оказалось, что Ге умел прекрасно класть печи, и у себя на хуторе исполнял печные работы для своих домашних и крестьян.

Узнав это, отец попросил его сложить печку у одной ясенской вдовы, для которой он выстроил глинобитную избу.

«Дедушка» надел фартук и пошел работать.

Он был за мастера, а отец помогал ему в виде подмастерья...

ТУРГЕНЕВ

Иван Сергеевич был в Ясной Поляне на моей памяти три раза.

Два раза в августе и в сентябре 1878 года и в третий и последний раз в начале мая 1880 года.

Все эти приезды я помню, хотя, возможно, что некоторые мелочи я могу перепутать.

Я помню, что, когда мы ждали Тургенева, это было целое событие, и больше всех волновалась мама. От нее мы узнали, что папа был с Тургеневым в ссоре и когда-то вызывал его на дуэль и что теперь он едет, вызванный письмом папа, чтобы с ним мириться.

Тургенев все время сидел с папа, который в эти дни даже не «занимался», и раз как-то в середине дня мама собрала всех нас в необычный час в гостиную, где Иван Сергеевич прочел свой рассказ «Собака».

Я помню его высокую, мощную фигуру, седые, шелковистые, желтоватые волосы, несколько разгильдяйную, мягкую походку и тонкий голос, совершенно не соответствующий его величавой внешности.

Он смеялся с заливом, чисто по-детски, и тогда голос его становился еще тоньше.

Вечером, после обеда, все собрались в зале.

В это время в Ясной гостили дядя Сережа (брат отца), князь Леонид Дмитриевич Урусов (тульский вице-губернатор), дядя Саша Берс с молоденькой женой, красавицей грузинкой Патти, и вся семья Кузминских.

Тетю Таню попросили петь.

Мы с замиранием сердца слушали и ждали, что скажет о ее пении Тургенев, известный знаток и любитель.

Он, конечно, похвалил, и, кажется, искренне.

После пения затеяли кадрили.

Во время кадрили кто-то спросил у Тургенева, танцуют ли еще французы старую кадрили, или же все танцы сводятся к канкану. Тургенев сказал: «Старый канкан вовсе не тот неприличный танец, который теперь танцуют в кафешантанах; старый канкан приличный и грациозный танец». И вдруг Иван Сергеевич встал, взял за руку одну из дам и, заложив пальцы за проймы жилета, по всем правилам искусства, отплясал старинный канкан с приседаниями и выпрямлением ног.

Все хохотали, и больше всех хохотал он сам.

После чая «большие» начали о чем-то говорить, и между ними завязался горячий спор. Больше всех горячился и напирал на Тургенева князь Урусов.

Это было в то время, когда в отце уже началось его «духовное рождение» (как он называл этот период сам), и кн. Урусов был одним из первых его искренних единомышленников и друзей.

Не помню, что доказывал князь Урусов, сидя у стола против Ивана Сергеевича и широко размахивая рукой, как вдруг случилось что-то необыкновенное: из-под Урусова выскользнул стул, и он, как сидел, так и опустился на пол с вытянутой вперед рукой и грозяще приподнятым указательным пальцем.

Нисколько не смутившись, он, сидя на полу и жестикулируя, продолжал начатую фразу.

Тургенев взглянул на него сверху вниз и неудержимо расхохотался.

— Он меня убивает, il m'assome, этот Трубецкой,— визжал он сквозь смех, путая фамилию князя.

Урусов чуть-чуть не обиделся, но потом, видя, что хочут и другие, поднялся и рассмеялся сам...

В третий приезд Тургенева я помню тягу.

Это было 2 или 3 мая 1880 года.

Мы пошли всей компанией, то есть папа, мама и мы, дети, за Воронку.

Папа поставил Тургенева на лучшее место, а сам стал шагах в полтора от него на другом конце той же поляны.

Мама стояла с Тургеньевым, а мы, дети, недалеко от них развели костер.

Папа стрелял несколько раз и убил двух вальдшнепов, а Ивану Сергеевичу не везло, и он все время завидовал счастьем отца.

Наконец, когда стало уже темнеть, на Тургенева налетел вальдшнеп, и он выстрелил.

— Убили? — крикнул отец с своего места.

— Камнем упал, пришлите собаку поднять,— ответил Иван Сергеевич.

Папа послал нас с собакой. Тургенев указал нам, где искать вальдшнепа, но, как мы ни искали, как ни искала собака,— вальдшнепа не было.

Наконец подошел Тургенев, пришел папа—вальдшнепа нет.

— Может быть, подранили, мог убежать,— говорил папа, удивляясь,— не может быть, чтобы собака не нашла, она не может не найти убитую птицу.

— Да нет же, Лев Николаевич, я видел ясно, говорю вам, камнем упал, не раненый, а убитый наповал, я знаю разницу.

— Но почему же собака его не находит? Не может быть, что-нибудь не то.

— Не знаю, но только скажу вам, что я не лгу, камнем упал,— настаивал Тургенев.

Так вальдшнепа и не нашли, и остался какой-то неприятный осадок, как будто кто-то из двух не совсем прав: или Тургенев, говоря, что он убил вальдшнепа на-

повал, или папа, утверждая, что собака не может не найти убитой птицы.

И это случилось как раз тогда, когда обоим так хотелось избежать всяких недоразумений.

Ведь для этого они даже избегали серьезных разговоров и проводили время только в приятных развлечениях...

Вечером, прощаясь с нами, папа тихонько шепнул нам, чтобы мы утром пораньше пошли опять на это место и поискали бы хорошенько.

И что же оказалось?

Вальдшнеп, падая, застрял в развилине, на самой макушке осины, и мы насилу его оттуда вышибли.

Когда мы торжественно принесли его домой, это было целое событие, которому папа и Тургенев радовались еще гораздо больше, чем мы...

В 1883 году папа получил от Ивана Сергеевича его последнее, предсмертное письмо, написанное карандашом, и я помню, с каким волнением он его читал. А когда пришло известие о его кончине, папа несколько дней только об этом и говорил, и везде, где мог, выискивал разные подробности о его болезни и последних днях.

Кстати, раз мне пришлось упомянуть об этом письме Тургенева, я хочу сказать, что папа искренно возмущался, когда слышал в применении к себе заимствованный из этого письма эпитет «великий писатель земли Русской»*.

Он вообще всегда ненавидел избитые эпитеты, а этот он даже считал нелепым.

— Почему «писатель земли»? В первый раз слышу, чтобы был писатель земли. Бывает же, что привяжутся люди к какой-нибудь бессмыслице и повторяют ее без всякой надобности.

ГАРШИН

Мои воспоминания о Всеволоде Михайловиче Гаршине относятся к периоду моего детства... Он посетил Ясную Поляну ранней весной 1880 года...

Мы сидели в зале за большим столом и кончали обед. Подавая последнее блюдо, лакей Сергей Петрович доложил отцу, что внизу его дожидается какой-то «мужчина».

* У Тургенева: «Русской земли».

- Что ему надо? — спросил папа.
- Он ничего не сказал, хочет вас видеть.
- Хорошо, я сейчас приду.

Не доев пирожного, папа встал из-за стола и пошел вниз по лестнице. Мы, дети, тоже повскакали с своих мест и побежали за ним.

В передней стоит молодой человек, довольно бедно одетый и не снимая пальто.

Папа здоровается с ним и спрашивает:

— Что вам угодно?

— Прежде всего мне угодно рюмку водки и хвост селедки,— говорит человек, глядя в глаза отца смелым лучистым взглядом, наивно улыбаясь.

Никак не ожидавший такого ответа, папа в первую минуту как будто даже растерялся. Что за странность? Человек трезвый, скромный на вид, по-видимому интеллигентный, что за дикое знакомство?

Он взглянул на него еще раз своим глубоким, пронизывающим взглядом, еще раз встретился с ним глазами и широко улыбнулся. Улыбнулся и Гаршин, как ребенок, который только что наивно подшутил и смотрит в глаза матери, чтобы узнать, понравилась ли его шутка.

И шутка понравилась.

Нет, конечно, не шутка, а понравились глаза этого ребенка, светлые, лучистые и глубокие.

Во взгляде этого человека было столько прямоты и одухотворенности, вместе с тем столько чистой, детской доброты, что, встретив его, нельзя было им не заинтересоваться и не пригреть его.

Вероятно, это же почувствовал и Лев Николаевич.

Сказав Сергею подать водки и какой-нибудь закуски, он отворил дверь в кабинет и попросил Гаршина снять пальто и войти.

— Вы, верно, озябли,— ласково сказал он, внимательно вглядываясь в гостя.

— Не знаю, кажется немножко озяб, ехал долго.

Выпив рюмку водки и закусив, Гаршин назвал свою фамилию и сказал, что он «немножко» писатель.

— А что вы написали?

— «Четыре дня». Этот рассказ был напечатан в «Отечественных записках». Вы, верно, не обратили на него внимания.

— Как же, помню, помню. Так это вы написали? Прекрасный рассказ. Как же, я даже очень обратил на него внимание. Вот как, стало быть вы были на войне?

— Да, я провел всю кампанию.

— Воображаю, сколько вы видели интересного. Ну расскажите, расскажите, это очень интересно.

И отец стал расспрашивать Гаршина последовательно и подробно о том, что ему пришлось видеть и пережить.

Папа сидел рядом с ним на кожаном диване, а мы, дети, расположились вокруг.

Я, к сожалению, не помню точно этого разговора и не берусь его передать. Я помню только, что было очень и очень интересно.

Того человека, который удивил нас в передней, теперь уже не было.

Перед нами сидел умный и милый собеседник, ярко и правдиво рисовавший нам картины пережитых ужасов войны, и рассказы его были так увлекательны, что мы весь вечер просидели с ним, не отрывая от него глаз и слушая...

С. ярко горящими, широко открытыми глазами он выбрасывал нам одну картину за другой, и чем больше он говорил, тем образнее и выразительнее становилась его речь.

Когда он временами замолкал, выражение его лица изменялось, и на нас опять смотрел милый и кроткий ребенок...

Я не помню, ночевал ли он в Ясной, или уехал в этот же день...

ШПИОН

Как-то летом, гуляя по саду, мы наткнулись на молодого человека, сидящего на канаве и спокойно курящего папироску.

Наши собаки кинулись к нему и залаяли.

Мы исподтишка подравили собак, а сами убежали в другую сторону.

Через несколько дней этот же молодой человек встретился с нами опять на дороге, недалеко от дома.

Увидав нас, он приветливо поздоровался и вступил с нами в разговор.

Оказалось, что он поселился на деревне, в избе одного из наших дворовых, и живет здесь на даче с своей невестой Адей и ее матерью.

— Заходите попить чайку,— обратился он ко мне,— мне скучно, посидим, поболтаем, я вам кое-что расскажу; и, кстати, вы поможете мне в одном деле. Я на днях собираюсь жениться, а у меня нет шафера. Я надеюсь, что вы не откажете сделать мне это удовольствие.

Предложение было заманчиво, и я согласился.

Через несколько дней Симон успел настолько очаровать меня, что мы сделались большими друзьями и я каждый день ходил к нему в гости и часто подолгу у него засиживался.

В день свадьбы я отпросился у родителей на целый день, надел чистую курточку и был очень горд своей ролью шафера.

Вернувшись из церкви, мы обедали у молодых и пили за их здоровье наливку.

Заметив мое увлечение новым знакомством, мама насторожилась и стала меня сдерживать.

Одним из ее аргументов против Симона было то, что порядочный человек, принимающий у себя мальчика, должен по правилам вежливости прежде всего познакомиться с родителями.

«Не могу же я пускать сына к человеку, которого я совсем не знаю».

Я передал это Симону, и он в тот же день пошел к маме и извинился за то, что не представился ей раньше.

После этого он познакомился с отцом и стал иногда бывать у нас в доме.

К нему привыкли и принимали его просто и ласково, как своего человека.

Иногда он принимал участие в полевых работах отца и, казалось, вполне разделял его убеждения.

Осенью, уезжая из Ясной Поляны, он пришел к отцу и искренне покаялся в своем преступлении. Он сознался отцу, что он был шпионом, командированным Третьим отделением для наблюдения за ним и за всеми остальными посетителями Ясной Поляны.

Другой человек, появившийся в Ясной Поляне значительно позднее Симона и игравший тоже довольно некрасивую роль, был тульский острожный священник, перио-

дически наезжавший в Ясную Поляну для религиозных собеседований с отцом.

Своим лжелиберальным тоном он вызывал отца на откровенности и делал вид, что очень интересуется его идеями.

— Что за странный человек,— удивлялся на него отец,— и, кажется, искренний. Я спрашивал, не поставит ли ему в вину его начальство то, что он так часто ко мне ездит,— он на это не обращает никакого внимания. Я наконец стал думать, что он ко мне подослан нарочно и высказал ему это предположение, но он уверяет, что он бывает у меня по своему собственному почину.

Впоследствии оказалось, что синод после отлучения отца от церкви ссылался на этого священника, который бесплодно «вразумлял» Льва Николаевича по его поручению.

В последний раз он был у отца уже после его отлучения, во время одной из его болезней.

Ему сказали, что папа болен и принять его не может. Это было летом.

Священник сел на террасе и заявил, что он не уедет, пока лично не повидается с Львом Николаевичем.

Прошло часа два — он упорно сидит и не уезжает.

Пришлось объясниться с ним очень резко и попросить его уехать.

С тех пор я его уже не видал ни разу.

КОНЕЦ 1870-х ГОДОВ

...Летом 1879 года у нас в Ясной Поляне гостил рассказчик былин Щеголенок. Его звали по отчеству — Петровичем.

Его манера пересказывать былины была похожа на пение слепых, но в его голосе не было той противной гнусоватости, которая в них действовала на меня всегда отталкивающе.

Почему-то я помню его сидящим на каменных ступенях, на балконе, против кабинета отца...

Папа слушал его с особенным интересом, каждый день заставлял рассказывать его что-нибудь новое, и у Петровича всегда что-нибудь находилось. Он был неистощим.

Из его рассказов отец впоследствии заимствовал несколько сюжетов для своих народных повестей («Чем люди живы», «Три старца»)..

Около каменных ворот яснополянской усадьбы проходит старая Екатерининская большая дорога, так называемая Московско-Киевская «Муравка». В старину это была одна из главных российских артерий... Позднее большая дорога была заменена каменным шоссе, которое местами шло с ней параллельно, местами же немного от нее отклонялось... Шоссе это проходит от Ясной в одной версте под самым горизонтом и видно из окон большой залы. По этому шоссе, а иногда даже и по старой дороге спокон веков хаживали странники, калики перехожие и паломники-богомольцы...

Отец любил после занятий, то есть часа в четыре дня, или гулять, или ездить верхом. Вместо прежних катаний на купальню, вместо охоты, он стал все чаще и чаще ходить пешком на шоссе. Гуляя по шоссе, он разговаривал со странниками и иногда встречал среди них чрезвычайно умных и интересных.

Опять открылась перед ним многовековая народная мудрость, так ярко и просто выраженная в дивных русских пословицах и поговорках, и чем дальше он в эту мудрость углублялся, тем более ему казалось, что в этой мудрости, быть может, и лежит разгадка к его мучительным сомнениям...

Хождение на шоссе стало теперь не только увлечением, но и потребностью.

— Иду на Невский проспект,— говорил он шутя и иногда пропадал до глубокой ночи.

— Встретил удивительного старика и дошел с ним до Тулы,— рассказывал он, возвращаясь, без обеда, часов в десять вечера.

Его дневники того времени пересыпаны пословицами, выражениями чеканной народной мудрости... которые он среди этих странников собрал. Многие из его позднейших народных рассказов вдохновлены его друзьями с «Невского»... И он, Лев Толстой, великий писатель, славный, богатый, образованный, не раз искренне завидовал этим нищим, оборванным, подчас голодным, но счастливым и внутренне спокойным людям.

Осенью 1881 года вся наша семья переселилась в Москву... В этом году, весной, я выдержал в Туле переходный экзамен из четвертого класса в пятый и должен был поступить в казенную гимназию.

Папа пошел к директору одной из московских казенных гимназий с тем, чтобы меня поместить, но вышло неожиданное затруднение в числе бумаг, требуемых по правилам для моего поступления, отцу предложили подписать поручительство за мою благонадежность. Он не захотел подписать эту бумагу, и из-за этого мне пришлось поступить в частную гимназию Поливанова, где меня приняли по экзамену, но без всяких лишних формальностей.

— Как я могу ручаться за поведение другого человека, хотя бы и родного сына? — говорил отец, возмущаясь. — Я объяснил директору, что глупо требовать от родителей такие подписки, он соглашается с тем, что это ненужная формальность, а в конце концов все-таки оказывается, что без этого принять мальчика нельзя...

В январе 1882 года отец участвовал в московской трехдневной переписи.

Он выбрал себе самый бедный район города Москвы, около Смоленского рынка, заключающий в себе Проточный переулок и знаменитые в то время ночлежные дома, Ржанову крепость и другие.

Я помню, как к нему приходили студенты, с которыми он подолгу говорил, запершись в своей комнате, и помню, как один раз он взял меня с собой осматривать ночлежный дом.

Мы ходили вечером по каморкам в страшной вони и грязи, и отец опрашивал каждого ночлежника, чем он живет, почему он попал сюда и сколько он платит и чем питается.

В общей комнате, куда пускали ночевать бесплатно, было еще хуже. Там нечего было и спрашивать, потому что ясно было, что все это люди совершенно опустившиеся, и было только противно и страшно от этой кучи нищеты и гадости.

Я смотрел на папа и видел на его лице все то, что я чувствовал сам, но в нем было еще выражение страдания и сдержанной внутренней борьбы, и это выражение запечатлелось во мне, и я помню его до сих пор.

Чувствовалось, что и ему, так же как и мне, хочется убежать отсюда поскорее, поскорее, и вместе с тем чувствовалось, что он не может этого сделать, потому что бежать некуда и куда бы он ни убежал, впечатление виденного останется и будет продолжать его мучить все так же, если не больше.

И это действительно так и было...

ФИЗИЧЕСКИЙ ТРУД

...Отец всегда любил физический труд как полезное, здоровое упражнение и как общение с природой.

Помимо того огромного нравственного и воспитательного значения, которое отец видел в физическом труде, он его просто любил.

Он увлекался самым процессом работы, изучал ее во всех мельчайших подробностях, и часто, я думаю, в ней он находил тот спасительный предохранительный клапан, который помогал ему переживать самые трудные минуты его жизни.

Отношение же его к труду как к религиозной обязанности стало особенно ярко проявляться лишь с начала 1880-х годов. Я помню, как в первую же зиму нашей жизни в Москве он ходил куда-то за Москву-реку, к Воробьевым горам, и там с мужиками пилил дрова. Приходил он домой усталый, весь в поту, полный новых впечатлений здоровой, трудовой жизни, и за обедом рассказывал нам о том, как работают эти люди, во сколько упряжек, сколько они зарабатывают; и, конечно, он всегда сопоставлял трудовую жизнь и потребности своих пильщиков с нашей роскошью и барской праздностью...

Помню я еще случай, связанный с единственным моим воспоминанием о поэте Якове Петровиче Полонском. Сидим мы вечером около верстака и работаем... Приходит лакей Сергей Петрович и докладывает, что графа хочет видеть какой-то барин Потогонский.

— Что за Потогонский? Не знаю такого, проси сюда, — сказал отец.

Проходит по крайней мере минут пять. Мы уже забыли о Потогонском, как вдруг слышим по коридору какие-то странные, как будто деревянные, неровные шаги.

Отворяется дверь, и появляется высокий седой старик на костылях.

Вглядевшись в лицо гостя и вдруг узнав его, отец вскочил и начал его целовать.

— Батюшки, Яков Петрович, так это вы, простите меня ради бога, что я заставил пройти все эти лестницы; если бы я знал, я сошел бы к вам вниз, а то Сергей говорит — Потогонский. Я никак не мог догадаться, что это вы. Чем вас угостить?

— Ну, если так, так дайте мне потогонного, я с удовольствием выпью чаю,— сострил Полоцкий, отдуваясь от усталости и садясь на диван ⁶...

ОТЕЦ КАК ВОСПИТАТЕЛЬ

...Кроме некоторых уроков, которые папа взял на себя, он обращал особенное внимание на наше физическое развитие, на гимнастику и на всякие упражнения, развивающие смелость и самостоятельность.

Одно время он каждый день собирал нас в аллею, где была устроена гимнастика, и мы все по очереди должны были проделывать всякие трудные упражнения на параллелях, трапедии и кольцах...

Когда собирались идти гулять или ехать верхом, папа никогда не ждал тех, которые почему-либо опаздывали, а когда я отставал и плакал, он передразнивал меня: «Меня не подождали», а я ревел еще больше, злился и все-таки догонял.

Слово «неженка» было у нас насмешкой, и не было ничего обиднее, чем когда папа называл кого-нибудь из нас «неженкой».

Я помню, как бабушка Пелагея Ильинична ⁷ один раз поправляла лампу и взяла в руки горячее стекло. Она обожгла себе пальцы до волдырей, но стекло не бросила, а осторожно поставила его на стол. Папа это видел и потом, когда ему понадобилось упрекнуть кого-то из нас в малодушии, он вспоминал этот случай и приводил нам его в пример:

— Вот удивительная выдержка. Ведь тетенька имела право бросить стекло на пол; стекло стоит пять копеек, а тетенька, хотя бы даже своим вязаньем, зарабатывает каждый день в пять раз больше,— и то она этого не сде-

лала. Вся обожглась, а не бросила. А ты бы бросил. Да и я, пожалуй, бросил бы,— говорил он, восхищаясь ее терпением.

Папа почти никогда не заставлял нас что-нибудь делать, а выходило всегда так, что мы как будто по своему собственному желанию и почину делали все так, как он этого хотел...

Громадная сила отца как воспитателя заключалась в том, что от него, как от своей совести, прятаться было нельзя. Он все знал, и обманывать его было то же самое, что обманывать себя. Это было и тяжело и невыгодно...

[ПОМОЩЬ ГОЛОДАЮЩИМ]

...Мне пришлось поработать с отцом на этом же поприще в Чернском и Мценском уездах в 1898 году.

После недорода двух предыдущих лет уже к началу зимы стало ясно, что в наших местах надвигается новая голодовка и что благотворительная помощь народу необходима.

Я обратился к отцу.

К весне ему удалось собрать денег, и в начале апреля он приехал ко мне сам.

Надо сказать, что отец, бережливый по природе, в делах благотворительности был чрезвычайно осторожен и, скажу, даже почти скуп. Конечно, это понятно, если взвесить то безграничное доверие, которым он пользовался среди жертвователей, и ту большую нравственную ответственность, которую он не мог перед ними не чувствовать. Поэтому, прежде чем что-нибудь предпринять, ему надо было самому убедиться в необходимости помощи.

На другой день после его приезда мы оседлали пару лошадей и поехали. Поехали, как когда-то, лет двадцать до этого, с ним же езжали в наездку с борзыми,— прямиком, полями.

Мне было совершенно безразлично, куда ехать, так как я считал, что все окрестные деревни одинаково бедствуют, а отцу по старой памяти захотелось повидать Спасское-Лутовиново, которое было от меня в девяти верстах и где он не был со времен Тургенева.

Дорогой, помню, он рассказывал мне про мать Ивана Сергеевича, которая славилась во всем околотке необык-

новенно живым умом, энергией и сумасбродством. Не знаю, видал ли он ее сам, или передавал мне слышанные им предания.

Проезжая по тургеневскому парку, он вскользь вспомнил, как исстари у него с Иваном Сергеевичем шел спор, чей парк лучше, спасский или яснополянский? Я спросил его:

— А теперь как ты думаешь?

— Все-таки яснополянский лучше, хотя хорош, очень хорош и этот.

На селе мы побывали у сельского старосты и в двух или трех избах. Голода не было.

Крестьяне, наделенные полным наделом хорошей земли и обеспеченные заработком, почти не нуждались.

Правда, некоторые дворы были послабее, но того острого положения, которое считается голодом и которое сразу кидается в глаза, этого не было.

Помнится мне даже, что отец меня слегка упрекнул за то, что я забил тревогу, когда не было для этого достаточного основания, и мне одно время стало перед ним как-то стыдно и неловко.

Конечно, в разговорах с каждым из крестьян отец спрашивал их, помнят ли они Ивана Сергеевича, и жадно ловил о нем всякие воспоминания. Некоторые старики его помнили и отзывались о нем с большой любовью.

Из Спасского мы поехали дальше. В двух верстах отсюда нам попалась по пути заброшенная в полях маленькая деревушка Погибелка. Заехали.

Оказалось, что крестьяне живут на «нищенском» наделе, земля неудобная, где-то в стороне, и к весне народ дошел до того, что у восьми дворов всего только одна корова и две лошади. Остальной скот весь продан. Большие и малые «побираются».

Следующая деревня, Большая Губаревка — то же самое. Дальше — еще хуже.

Решили, не откладывая, сейчас же открывать столовые. Работа закипела.

Самую трудную работу — распределение количества едоков из каждой крестьянской семьи — отец почти везде производил сам, поэтому целые дни, часто до глубокой ночи, разъезжал по деревням. Раздача провизии и заготовка лежала на обязанности моей жены. Явились и помощники. Через неделю у нас уже действовало около

двенадцати столовых в Мценском уезде и столько же — в Чернском.

Так как кормить весь народ без различия нам было не по средствам, мы допускали в столовые преимущественно детей, стариков и больных, и я помню, как отец любил попадать в деревню во время обеда и как он умилялся тем благоговейным, почти молитвенным отношением к еде, которое он подмечал у столоующихся.

К сожалению, дело не обошлось и без административных неприятностей.

Началось с того, что двух барышень, приехавших из Москвы и заведовавших одной из больших наших столовых, просто прогнали под угрозой закрытия столовой. Затем явился ко мне становой с требованием дать ему разрешение начальника губернии на открытие столовых. Я стал убеждать его в том, что не может быть закона, воспрещающего благотворительность.

Конечно, безуспешно.

В это время в комнату вошел отец, и между ним и становым завязался дружелюбный разговор, в котором один доказывал, что нельзя запрещать людям есть, а другой просил войти в положение человека подневольного, которому так приказывает начальство.

— Что прикажете делать, ваше сиятельство?

— Очень просто: не служить там, где вас могут заставить поступать против совести.

После этого мне все-таки пришлось во имя сохранения дела съездить к орловскому и тульскому губернаторам и в заключение послать министру внутренних дел телеграмму с просьбой устранить препятствия, которые ставят местные власти делу частной благотворительности, законом не возбраняемой.

Таким образом удалось спасти существующие у нас столовые, но новых открывать уже не разрешалось...

И. Н. БРАМСКОЙ

ПИСЬМО К П. М. ТРЕТЬЯКОВУ

Козловка-Засака, 5 сентября 1873 г.

...Граф Лев Николаевич Толстой приехал, я с ним видался и завтра начну портрет. Описывать Вам мое с ним свиданье я не стану, слишком долго — разговор мой продолжался с лишком два часа, четыре раза я возвращался к портрету, и все безуспешно; никакие просьбы и аргументы на него не действовали, наконец я начал делать уступки всевозможные и дошел в этом до крайних пределов. Одним из последних аргументов с моей стороны был следующий: «Я слишком уважаю причины, по которым ваше сиятельство отказываете в сеансах, чтобы дальше настаивать, и, разумеется, должен буду навсегда отказаться от надежды написать портрет, но ведь портрет ваш должен быть и будет в галерее». — «Как так?» — «Очень просто: я, разумеется, его не напишу, и никто из моих современников, но лет через тридцать, сорок, пятьдесят он будет написан, и тогда останется только пожалеть, что портрет не был сделан своевременно». Он задумался, но все-таки отказал, хотя нерешительно. Чтобы наконец кончить, я начал ему делать уступки и дошел до следующих условий, на которые он и согласился: во-первых, портрет будет написан, и если почему-нибудь он ему не понравится, будет уничтожен; затем время поступления его в галерею Вашу будет зависеть от воли графа, хотя и считается собственностью Вашею. Последнее обстоятельство было настолько уже безобидно для него,

что он как бы сконфузился даже и должен был согласиться. А затем оказалось из дальнейшего разговора, что он бы хотел иметь портрет и для своих детей, только не знал, как это сделать, и спрашивал о копии и о согласии наконец впоследствии сделать ее, то есть копию, которую и отдать Вам. Чтобы не дать ему сделать отступление, я поспешил ему доказать, что копии точной нечего и думать получить, хотя бы и от автора, и что единственный исход из этого — это написать с натуры два раза совершенно самостоятельно, и уже от него будет зависеть, который оставить ему у себя и который поступит к Вам. На этом мы расстались и порешили начать сеансы завтра, то есть в четверг.

Н. И. ШАУТИЛОВ

ИЗ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО

В середине 70-х годов мне пришлось несколько раз побывать в Ясной Поляне у графа Льва Николаевича Толстого.

Еще в 60-х годах он приезжал к нам в Моховое вместе с Дмитрием Алексеевичем Дьяковым. В то время он начинал писать «Войну и мир» и собирал материалы для этого романа.

Полагая, что в моховской библиотеке найдутся еще старые газеты времен освободительной войны, он интересовался познакомиться с ними. Не помню, нашел ли он то, чего искал, или нет.

В 70-х годах с ним познакомился Павел Дмитриевич Голохвастов, с которым я в первый раз и был в Ясной Поляне. В это время Лев Николаевич начинал писать «Анну Каренину».

Поехали мы в Ясную Поляну зимой, на второй или третий день нового года. Эта поездка, как и две остальные, оставила во мне самые светлые воспоминания. На полустанке Козловская Засака нас ожидали лошади графа. Сколько мне помнится, мы приехали вечером и были встречены самым радушным образом как графом, так и его супругой. Графу тогда было, вероятно, лет 47 или 48, он был высокого роста, худощавый, широкоплечий и с хорошо развитыми мышцами человек. Что больше всего привлекало в его наружности, так это выразительные, глубоко сидящие под густыми бровями темно-голубые глаза, в которых отражались все испытываемые им впечатления; при спокойном состоянии выражение их было задумчивое и доброе. Хотя тогда граф

и не увлекался еще теми идеями, которые стал проповедовать впоследствии, но уже и тогда он жил очень просто и обыкновенно ходил в серой суконной блузе, подпоясанной ремнем...

Мы провели в наш приезд в Ясной Поляне два или три дня. Меня поместили в кабинете графа; я и сейчас припоминаю испытанное мною чувство благоговения, когда я впервые вошел в этот так просто обставленный кабинет с письменным столом около окна, на котором ничего не было лишнего, с полками книг и висящими на стене охотничьими принадлежностями. Граф тогда еще любил охоту как с ружьем, так и с борзыми собаками.

На другой день после нашего приезда вечером, когда мы после обеда сидели в гостиной и разговаривали, слуга доложил графу, что пришли ряженые, и граф сказал позвать их в зал, куда мы все вышли и куда через мгновение ввалилась толпа ряженых дворовых людей и рабочих. Граф и графиня приняли их ласково и просто. Ряженые плясали, выкидывали всякие коленца и веселились, как у себя дома, безо всякого стеснения. В пляске особенно отличалась своим проворством и ухарством небольшого роста худенькая женщина, лица которой не было видно из-за надетой на нее какой-то размалеванной маски. Лев Николаевич сказал нам, что эта неутомимая плясунья, служащая у него скотницей, 60-летняя старуха. Смотреть на ряженых собрались и все дети Льва Николаевича, которые тогда были еще очень юны.

Ряженые веселились от души, хозяева шутили с ними и смеялись их остротам и прибауткам. Графу, очевидно, нравилось их веселье, и он говорил, что на святках ряженые всегда приходят к ним.

При разговорах граф любил расспрашивать своих собеседников и узнавать их взгляды на различные вопросы. В нем была заметна большая наблюдательность, и он интересовался даже разными мелкими деталями. Так, я помню, что он расспрашивал меня, из каких классов общества происходят некоторые выдающиеся художники. Отвечая на его вопрос, я тогда, между прочим, сказал ему, что один из талантливейших учеников московской школы живописи сын швейцара Кремлевского дворца, и Лев Николаевич, описывая художника в «Анне Карениной», говорит, что он был сыном придворного лакея.

П. И. ЧАЙКОВСКИЙ

ИЗ ДНЕВНИКА

1 июля 1886 г. Когда я познакомился с Л. Н. Толстым, меня охватил страх и чувство неловкости перед ним. Мне казалось, что этот величайший сердцевед одним взглядом проникнет во все тайники души моей. Перед ним, казалось мне, уже нельзя с успехом скрывать всю дрянь, имеющуюся на дне души, и выставлять лишь казовую сторону. Если он добр (а таким он *должен быть* и есть, конечно), думал я, то он деликатно, нежно, как врач, изучающий рану и знающий все наболевшие места, будет избегать задеваний и раздражения их, но тем самым и даст мне почувствовать, что для него ничего не скрыто; если он не особенно жалостлив, — он прямо ткнет пальцем в центр боли. И того и другого я ужасно боялся. Но ни того, ни другого не было. Глубочайший сердцевед в писаниях оказался в своем обращении с людьми простой, цельной, искренней натурой, весьма мало обнаружившей того *всеведения*, коего я боялся. Он не избегал *задеваний*, но и не *причинял* намеренной боли. Видно было, что он совсем не видел во мне *объекта* для своих исследований, а просто ему захотелось поболтать о музыке, которою в то время он интересовался. Между прочим, он любил *отрицать* Бетховена и прямо выражал сомнение в гениальности его...

Может быть, ни разу в жизни, однако ж, я не был так польщен и тронут в своем авторском самолюбии, как когда Л. Н. Толстой, слушая *andante* моего 1-го квартета и сидя рядом со мной, залился слезами.

С. Л. ТОЛСТОЙ

МУЗЫКА В ЖИЗНИ МОЕГО ОТЦА

Я не встречал в своей жизни никого, кто бы так сильно чувствовал музыку, как мой отец. Слыша музыку, Лев Николаевич не мог не слушать ее; слушая же нравившуюся ему музыку, он волновался, у него что-то сжималось в горле, он всхлипывал и проливал слезы. Беспочинное волнение и умиление были те чувства, которые в нем возбуждала музыка. Иногда музыка волновала его против его воли, даже мучила его, и он говорил: «Que me veut cette musique?»*...

В 70-х годах Толстой сам увлекался музыкой до того, что играл по три-четыре часа в день. Впечатление от его игры — одно из моих ярких детских впечатлений. Бывало, когда мы, дети, ложились спать, отец садился за фортепьяно и играл до двенадцати или часа ночи, иногда в четыре руки с матерью. Хорошо помню, как в то время он играл некоторые сонаты Моцарта, Вебера и Бетховена (первого его периода), некоторые вещи Шопена, «Jugendalbum» Шумана, «Accelerationen Wolzer» Штрауса, «Рысь» Рудольфа и пр.; как он пытался играть некоторые недоступные ему по технике пьесы, как, например, «Скерцо» b-moll Шопена, симфонические этюды Шумана или «Роёте d'апоиг» Гензельта, и как он с матерью играл в четыре руки симфонии Гайдна и Моцарта, септет Бетховена и другие пьесы. Помню первые сладостные впечатления от музыки, слышанной мною издалека, с верхнего этажа, где играл отец... Особенно хорошо почему-то запомнились мне первые такты as-dur'ной

* «Чего хочет от меня эта музыка?» (франц.)

сонаты Вебера, которая очень нравилась отцу. Впоследствии он высказывал свое удивление Н. Рубинштейну, что эта соната и пьесы Моцарта и Гайдна почти никогда не исполняются в концертах. Рубинштейн отвечал, что эти вещи трудно играть, потому что надо играть их безукоризненно.

Вспоминая теперь, как играл отец, я думаю, что он играл ритмично и выразительно, но иногда он понимал пьесу своеобразно, не совсем так, как хотел композитор, а недостаток техники мешал ему вполне выразить то, что он хотел. Игра на фортепьяно требовала от него больших усилий. Его неразвитые пальцы ему с трудом повиновались, он сгибался, потел, но играл с большим увлечением.

В начале 70-х годов событием в музыкальном мире Ясной Поляны был приезд одного свойственника Льва Николаевича, Ипполита Михайловича Нагорнова, замечательного скрипача, мало выступавшего в концертах в России, но имевшего когда-то успех в Италии и Франции. Он много играл в Ясной Поляне, между прочим «Крейцерову сонату», которая произвела особенно сильное впечатление на Льва Николаевича... Кроме этой сонаты, я помню, что Льву Николаевичу также очень нравились в исполнении И. Нагорнова другие сонаты для фортепьяно и скрипки Бетховена, сонаты Вебера, Шуберта и Моцарта (особенно анданте еs-dug'ной сонаты), легенда, полонезы и мазурки Венявского...

С 1881 по 1901 год Лев Николаевич проводил почти все зимы в Москве... В этот московский период своей жизни Лев Николаевич почти не бывал в концертах, находя, что в концертах трудно слушать музыку, так много в их обстановке ненужного и искусственного, и что современные концерты устраиваются только для приятного препровождения времени богатых и праздных людей. В этот период его жизни из опер он видел, если я не ошибаюсь, только «Волшебную флейту» Моцарта и два акта из «Зигфрида», к которому отнесся совершенно отрицательно. Тем не менее он за это время переслушал много музыки; многие музыканты приезжали к нему, играли и пели для него. Назову тех, кого помню: Антон Рубинштейн, Аренский, Игумнов, С. И. Танеев, Гольденвейзер, Гофман, Шаляпин, Муромцева-Климентова, Скрябин, Брандуков, Гржимали. Одним из певцов, кото-

рого особенно любил слушать Лев Николаевич, был Николай Михайлович Лопатин. Лопатин записывал русские народные песни и сам пел их так, как поет их народ, как говорится — «полевым голосом».

Летом в Ясной Поляне процветала любительская музыка. Лев Николаевич не только снисходительно относился к такой музыке, но иногда даже предпочитал любительскую музыку профессиональной. В этом он иногда доходил до крайних мнений. Помню, он как-то сказал, что особенно любит слушать тех, кто поет или играет (на фортепьяно, гитаре или балалайке), не зная нот, потому что слух и память у них, несомненно, хорошо развиты и потому, что они, наверное, хорошо знают и любят то, что играют или поют.

Он нередко с удовольствием слушал пение своих двух старших дочерей Тани и Маши, особенно когда они пели деревенские яснополянские песни; пение его свояченицы, Т. А. Кузминской, импровизированные хоры и игру на балалайках яснополянской молодежи, мою или еще чью-нибудь любительскую игру на фортепьяно. Бывало, он по вечерам скажет мне: «Поиграй». Тогда я садился за фортепьяно, а он отворял двери своего кабинета и, раскладывая пасьянс, читая или просто отдыхая, слушал. Иногда он спрашивал про незнакомую ему пьесу, что это за вещь, иногда он заказывал играть ту или другую пьесу, например старинные гавоты, Шопена, Шумана (например, «Waldesgespräch» или «Nachtstück»), Шуберта (например, «Impromptu» as-dur), Грига («Люблю тебя»), Годара («Au matin») и др. Помню, как раз он мне сказал: «Сыграй три полонеза: Шопена (cis-moll), Монюшко (B-dur) и Вебера (E-dur)»...

В последние годы своей жизни (1901—1910) Лев Николаевич окончательно поселился в Ясной Поляне. Музыка, так же как и прежде, волновала и трогала его, но уже меньше раздражала и мучила, чем в те годы, когда писалась «Крейцера соната». За это время многие музыканты приезжали к нему в Ясную Поляну. Там побывали, между прочим, чешский квартет, Сибор, Шор вместе со своим трио, Ванда Ландовска, Оленина-д'Альгейм, В. Философова, С. И. Танеев, Аренский и др.; каждое лето вблизи Ясной Поляны проживал профессор Московской консерватории А. Б. Гольденвейзер, нередко игравший для Льва Николаевича.

Лев Николаевич в продолжение всей своей жизни страстно любил музыку и имел возможность знать и действительно знал почти все, что было выдающегося в музыке в его эпоху, кроме новейших композиторов. Поэтому его мнения о тех или других композиторах, о тех или других пьесах должны быть особенно интересны. Какая же музыка сильнее всего действовала на него? Какую музыку он больше всего любил?

Вопрос этот осложняется тем, что Лев Николаевич далеко не всегда считал наилучшей ту музыку, которая ему всего больше нравилась... В одном — в высокой оценке народного творчества и любви к нему — его рас­судок и непосредственное чувство сходились. Он не только находил, что народная музыка есть настоящее искусство, но непосредственно любил ее...

Лев Николаевич жил в годы наибольшего распро­странения русской народной песни. Он с детства слышал, как в Ясной Поляне и других деревнях бабы «играли» свои песни (в Ясной Поляне говорят «играть» песни вместо «петь»), слышал народные песни на Волге, в Казанской и Самарской губерниях, у казаков, у солдат и в других местах. Упомяну о некоторых песнях, которые он с удовольствием слушал. Это яснополянские песни: «Как по морю, морю синему», «Как под лесом», «Не будите меня, молоду», «Соловей с кукушечкой», «Гуляй, гулюшка», «Улица широкая», свадебные песни и др. Назову еще следующие песни, о которых он отзывался с похвалой: «Дубинушка», «Вниз по матушке по Волге», «Эй, ухнем», «Сени мои, сени», «Сад, ты мой сад», «Как под яблонькой одной», «Во пиру была», «Здравствуй, милая, хорошая моя», «Светит месяц» и др. ...

В своей семье Лев Николаевич поощрял исполнение народных песен. Иногда он говорил: «Вы бы попели или поиграли». Его дочери Татьяна и Мария пели песни из репертуара яснополянских баб и цыганские песни. К ним присоединялись и другие. Мой брат Миша и Михаил Кузминский хорошо играли песни на балалайках.

Вот несколько песен, исполненных Лопатиным в присутствии Льва Николаевича: «Горы Воробьевские», «Степь Моздокская», «Вспомнил, моя любезная», «Подуй, непогодушка», «Бурлацкая» (Дуняша), «Не шуми ты, мать, зеленая дубравушка», «Размолодчики» и солдатские: «Гремит слава трубой», «Черная галка».

В 1900 году в нашем московском доме пел Ф. И. Шаляпин¹. Его пение не особенно понравилось отцу, может быть потому, что ему не нравились те пьесы, которые пел Шаляпин, например «Судьба» Рахманинова и «Блоха» Мусоргского; но когда по его просьбе Шаляпин спел народную песню, а именно «Ноченьку», Лев Николаевич с удовольствием его слушал и сказал, что Шаляпин поет эту песню по-народному, без вычурности и подделки под народный стиль.

Нечто в этом роде произошло, когда в 1909 году в Ясную Поляну приехала М. А. Оленина-д'Альгейм². Лев Николаевич не особенно восхищался ее исполнением разных романсов, но оживился, когда она без аккомпанемента спела несколько рязанских народных песен. «Чарочку», записанную ее братом Александром, он просил повторить.

В Москве в 90-х годах Лев Николаевич слушал и одобрял игру на балалайках Андреева и Трояновского³, исполнявших русские песни, аранжированные для этих инструментов.

Отец с удовольствием слушал не только русские народные песни, но и песни других народов. Он любил слушать цыган, когда они пели народные русские и цыганские песни. Он говорил, что цыгане хорошо интерпретируют русские песни...

В 900-х годах Лев Николаевич не раз просил поставить на граммофоне пластинку с пением известной Вари Паниной и похваливал ее. Иногда, когда около Ясной Поляны располагались табором так называемые полевые цыгане, он ходил их слушать и смотреть на их пляску. На Кавказе Лев Николаевич слушал грузинские, калмыцкие, персидские и татарские песни. В Самарской губернии он с удовольствием слушал башкирские мелодии, игранные на курае. Знал он и украинские и белорусские песни. Песни Западной Европы, особенно французские, также ему были знакомы...

В 1909 году я показывал ему свои обработки шотландских песен; они ему понравились, а про одну («Сог rid») он сказал: «Да это русская песня». И в самом деле, эта песня похожа на русскую «Светит месяц».

В декабре 1907 года известная артистка Ванда Ландовска, специалистка по игре на клавесине, провела несколько дней в Ясной Поляне и там играла

на рояле и привезенном ею клавесине песни разных западных и восточных народов и напевала их. Я был тогда в Ясной Поляне и помню, как отец восхищался ее игрой...

Перехожу к отношению Л. Н. Толстого к музыке композиторов.

Вот некоторые выводы, к которым я пришел на основании моих личных наблюдений и тех мнений, которые Лев Николаевич высказывал в своих произведениях и в устных разговорах.

Прежде всего он любил простую, ясную мелодию, причем он не боялся любить избитые мелодии. Он любил музыку ясную, энергическую, преимущественно мажорного характера...

Гармонию, контрапункт и разработку он чувствовал лишь постольку, поскольку этим оттенялась мелодическая канва пьесы. Фуги он находил искусственным и скучным родом музыки. Из произведений Баха ему нравились: известная ария Баха, его гавоты и некоторые старинные танцы, а из *Wohetemperirtes Clavier* лишь немногие пьесы, например первая прелюдия и некоторые темы фуг, но не их разработка. Не знаю, насколько он был знаком с церковной музыкой Баха.

Он был довольно равнодушен к оркестровым краскам и даже говорил, что фортепьянные вещи нередко лучше оркестровых, так же как в живописи рисунки нередко бывают лучше картин, писанных масляной краской. Из инструментов на него сильнее всего действовали смычковые и фортепьяно, что не мешало ему с удовольствием слушать даже балалайку и гитару. Вокальную музыку он любил не менее инструментальной, особенно песни. Оперу, как ложный, по его мнению, род искусства, соединяющий несоединимое — музыку и драму, он не любил, говоря, что она не дает иллюзии, что на сцене он не может не видеть «толстого певца в трико». Он делал исключение для весьма немногих опер. Кроме «Дон-Жуана», «Волшебной флейты»⁴ и «Фрейшютца»⁵, я знаю только, что он с удовольствием смотрел «Орфея»⁶ и «Севильского цирюльника»⁷.

Танцы, но не банальные танцы, очень нравились ему. Он с удовольствием слушал вальсы Штрауса, венгерские танцы, полонезы Монюшко, не говоря уже про мазурки, полонезы и вальсы Шопена...

Кроме народной музыки, он любил слушать старинных мастеров вроде Рамо, Глюка, Джона Булля и др., классиков — Гайдна, Моцарта, Бетховена, а также Вебера, Шумана, особенно Шопена и разные пьесы других композиторов. В 70-х годах он с удовольствием играл в четырехручном изложении симфонии и квартеты Гайдна, а также симфонии Моцарта и Шуберта, увертюры Вебера и пр. Дуэт «La ci darem» можно назвать его любимым дуэтом...

Отношение Л. Н. Толстого к Бетховену было несколько сложно. Бетховен, кроме его последнего периода, производил на него очень сильное впечатление... сам он нередко играл как сонаты Бетховена, так и оркестровые его вещи (в четыре руки). Но, требуя в этом, как и в других случаях, критического отношения к общепризнанным кумирам, он всегда восставал против исключительного культа Бетховена, считая, что Бетховен злоупотребляет эффектами и что предшественники Бетховена, Гайдн и Моцарт, не ниже, если не выше его. Он считал, что Бетховен был не довершителем периода высшего расцвета музыки, а родоначальником упадка музыки, продолжающегося до сих пор. Я помню, как в 70-х годах он говорил, что гениальный художник дает в своих произведениях не только новое содержание, но и новую форму: Гайдн создал сонатную или симфоническую форму, Моцарт — оперу, Бетховен же творил в прежних формах, а именно в формах Гайдна и отчасти Моцарта; поэтому он спрашивал себя, следует ли признавать Бетховена гением... Затем он находил, что Бетховен понятен сравнительно небольшому числу людей, что надо несколько искутиться в музыке, испортить свой вкус, чтобы понимать его, что в нем много искусственного. Наконец он решительно не любил произведения последнего периода Бетховена...

Другим композитором, который по своему бодрому мажорному характеру был ему сродни, был Вебер. В 70-х годах он увлекался его сонатами и увертюрами.

В списке любимых произведений Толстого видное место занимают также Шуберт и Шуман, особенно их песни. В романсе Шумана «Ich grolle nicht»* он восхищался аккордами аккомпанемента и верно замечал, что

* Я не сержусь (нем.).

в них есть что-то общее с первой прелюдией Баха (Wohltemperirtes Clavier).

Больше других композиторов Л. Н. Толстой любил Шопена. Чуть ли не все им написанное ему нравилось. Шопен волновал и умилял его. Когда я ему как-то сказал, что Шопен мало доступен людям, плохо знакомым с музыкой, например крестьянам, он согласился с этим и сказал, что, к сожалению, он должен признать, что для понимания Шопена нужна некоторая музыкальная подготовка. «Я же его люблю,—прибавил он,—вероятно потому, что мой вкус уже испорчен».

Однажды он был тронут до слез прелюдией Шопена в d-moll и сказал: «Вот это — музыка! И какой простой и новый прием для окончания пьесы — эти три ре в басу!» По поводу одного вальса Шопена он сказал: «У Шопена, как у всякого композитора, есть банальные места, но у него их мало, и он хорош даже и в этих местах; он банален как-то по-своему».

Казалось бы, что его особенное пристрастие к Шопену противоречит мнению, что он любил преимущественно энергическую, мажорную музыку. Но я думаю, что здесь противоречия нет, так как его прежде всего прельщала мелодичность Шопена, а затем из произведений Шопена он больше всего любил энергические и мажорные пьесы. В минорных же пьесах ему нередко больше всего нравились вторые мажорные темы, ярко выступающие на минорном фоне.

К Вагнеру, Листу (кроме некоторых его переложений), Берлиозу, Брамсу, Рихарду Штраусу и другим более молодым композиторам Лев Николаевич относился отрицательно.

Он говорил про композиторов-новаторов: «Когда слушаешь их, иногда кажется, что вот-вот начнется что-то хорошее, мелодичное, но не успеет это хорошее начаться, как оно уже кончилось и потонуло в непонятных и ненужных диссонансах. Композитор мучает слушателей этими диссонансами, пока опять не проблеснет что-то понятное и опять потонет. Остается неудовлетворенное, беспокойное впечатление». Лев Николаевич вообще не любил Вагнера. Однажды он, прослушав два акта «Лоэнгрина», недовольный ушел из театра. Известно, как саркастически он отнесся к «Зигфриду», особенно к сюжету Нибелунгов. Помню только, что однажды я играл сва-

дебный марш из «Тангейзера», и он, не зная, чья эта пьеса, похвалил ее. Когда же я ему сказал, что это композиция Вагнера, он довольно верно заметил, что эта музыка напоминает Вебера...

Некоторые пьесы Грига нравились Льву Николаевичу, особенно романс «Люблю тебя». Он чувствовал оригинальность Грига, но, прослушав «Марш троллей», он сказал: «Это уже слишком *григисто*».

Из русских композиторов Лев Николаевич любил слушать некоторые романсы Глинки, но без восторга относился к его операм и был равнодушен к «могучей кучке», произведения которой он, впрочем, мало знал. Знаю только, что его трогал романс Балакирева «Слышу ли голос твой».

Когда-то анданте Чайковского вызвало слезы Льва Николаевича; я думаю, что это было самое сильное его впечатление от музыки Чайковского. Помню, что он с удовольствием слушал некоторые романсы Чайковского и еще кое-что (например, первую симфонию).

Про А. Рубинштейна он говорил: «Рубинштейн знает слишком много чужой музыки: это мешает ему быть самобытным. У него есть немного искренних, но довольно банальных вещей (например, его романсы для фортепьяно Es-dur и F-dur, Valse caprice и др.)»...

Можно не соглашаться с суждениями Л. Н. Толстого о тех или других пьесах, особенно с его отрицательными суждениями, но нельзя не признать, что у него был верный и тонкий музыкальный вкус и что он ценил только действительно хорошую музыку...

А. Д. ОБОЛЕНСКИЙ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

ДВЕ ВСТРЕЧИ С Л. Н. ТОЛСТЫМ

Первый раз пришлось мне увидеть Л. Н. Толстого в середине 70-х годов...

Это было летом 1877 года в той самой Оптиной пустыни Козельского уезда Калужской губернии, куда, много лет спустя, Лев Николаевич приходил незадолго перед своей смертью. Верстах в десяти от Оптиной расположено наше имение, где в то время жила вся наша семья. В Оптину пустынь приехал Толстой вместе с философом Страховым. Кажется, это был первый его приезд туда. Он остановился в так называемой странноприимной гостинице, всегда битком набитой разным народом и богомольцами, стекавшимися в монастырь со всех концов России. Эти богомольцы шли в Оптину, главным образом, к известному старцу отцу Амвросию, чтобы получить от него благословение и совет по самым разнообразным делам и вопросам, начиная от дел сложных и тонких в области душевных переживаний до самых обыденных вопросов домашнего и сельского хозяйства, вроде, например, продать теленка или нет, купить корову или не покупать и пр. Но как только монахи узнали, что у них находится граф Толстой, то, разумеется, не могли не перевести его в другую гостиницу для привилегированных, чему и он не мог не подчиниться...

Отец мой, знавший лично давно Льва Николаевича, решил его позвать к нам в гости. В это лето у нас гостило довольно много знакомых, в том числе был и Ни-

колай Григорьевич Рубинштейн, так что мы могли уго-
стить Толстого и хорошей музыкой...

Толстой, обращаясь ко мне, спросил:

— Вы читали исповедь Левина в «Анне Карениной»?

— Как же, конечно, читал и очень хорошо помню.

— Ну вот скажите мне: на чьей стороне я сам был,
по вашему мнению, на стороне Левина или священника?

Я отвечал, что так это написано правдиво и хорошо,
что из самого рассказа совершенно не видать, на чьей
стороне сам автор.

— Во всяком случае,— прибавил я,— вряд ли вы мо-
жете быть всецело на стороне священника.

— Ну вот видите, вам кажется, что я на стороне Ле-
вина, а вот сегодня мне отец Амвросий рассказал, что
у него был какой-то человек и просил его принять в мо-
настырь. На него, говорил этот человек, очень сильное
впечатление произвел мой рассказ об этой исповеди. Отец
Амвросий, конечно, сам не читал «Анны Карениной»,
и спрашивал меня, где это я так хорошо написал про
исповедь. Я в самом деле думаю, что написал хорошо.
Сам я, конечно, на стороне священника, а вовсе не на
стороне Левина. Но я этот рассказ четыре раза переде-
лывал, и все мне казалось, что заметно, на чьей я сам
стороне. А заметил я, что впечатление всякая вещь,
всякий рассказ производит только тогда, когда нельзя ра-
зобрать, кому сочувствует автор. И вот надо было все
так написать, чтобы этого не было заметно.

Н. Н. СТРАХОВ

[ВОСПОМИНАНИЯ]

Летом 1877 года я гостил у гр. Л. Н. Толстого в Ясной Поляне (июнь, июль) и подал ему мысль просмотреть «Анну Каренину», чтобы приготовить ее для отдельного издания. Я взялся прочитывать наперед, исправлять пунктуацию и явные ошибки и указывать Льву Николаевичу на места, которые почему-либо казались мне требующими поправок,— преимущественно, даже почти исключительно, неправильности языка и неясности. Таким образом, сперва я читал и наносил свои поправки, а потом Лев Николаевич. Так дело шло до половины романа, но потом Лев Николаевич, все больше и больше увлекаясь работой, перегнал меня, и я исправлял после него, да и прежде всегда просматривал его поправки, чтобы убедиться, понял ли я их и так ли разбираю, потому что мне предстояло держать корректуру.

Утром, вдоволь наговорившись за кофеем (его подавали в полдень на террасе), мы расходились, и каждый принимался за работу. Я работал в кабинете, внизу. Было условлено, что за час или за полчаса до обеда (5 часов) мы должны отправляться гулять, чтобы освежиться и нагулять аппетит. Как ни приятна была мне работа, но я, по свойственной мне внимательности, обыкновенно не пропускал срока и, изготовившись на прогулку, принимался звать Льва Николаевича. Он же почти всегда медлил, и иногда его было трудно оторвать от работы. В таких случаях следы напряжения сказывались очень ясно: был заметен легкий прилив крови к голове, Лев Николаевич был рассеян и ел за обедом очень мало.

Так мы работали каждый день больше месяца. Этот упорный труд приносил свои плоды. Как я ни любил роман в его первоначальном виде, я довольно скоро убедился, что поправки Льва Николаевича всегда делались с удивительным мастерством, что они проясняли и углубляли черты, казавшиеся и без того ясными, и всегда были строго в духе и тоне целого. По поводу моих поправок, касавшихся почти только языка, я заметил еще особенность, которая хотя не была для меня неожиданностью, но выступала очень ярко. Лев Николаевич твердо отстаивал малейшее свое выражение и не соглашался на самые, по-видимому, невинные перемены. Из его объяснений я убедился, что он необыкновенно дорожит своим языком и что, несмотря на всю кажущуюся небрежность и неровность его слога, он обдумывает каждое свое слово, каждый оборот речи не хуже самого щепетильного стихотворца. А вообще — как много он думает, как много работает головою, — этому я всегда удивлялся, это поражало меня как новость при каждой встрече, и только этим обилием души и ума объясняется сила его произведений.

В. И. АЛЕКСЕЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ

...Я поехал в Ясную Поляну. Это было осенью 1877 года.

Лев Николаевич своим теплым и радушным отношением тотчас же уничтожил во мне все страхи к окружающей его обстановке. Он произвел на меня сильное впечатление. Прежде всего меня поразили его серые глаза, светящиеся из-под нависших бровей, хотя небольшие, но пронизательные, как бы колющие, пронизывающие мою душу насквозь и притягивающие ее к себе...

С первых же дней... между нами установились самые дружеские отношения.

Меня поразило во Льве Николаевиче какой-то простой, мужицкий уклад мысли и выражения. Никаких условностей — один здравый смысл служил основанием его суждений. Оно и понятно: он вырос и всю жизнь свою провел в деревне...

Однажды зашла речь о собственности, на тему Прудона «собственность есть воровство». Я утверждал, что хозяин производства, пользуясь существующими законами и порядками, к которым привыкли и сами рабочие, берет себе львиную долю из продуктов производства, а рабочему оставляет только столько, сколько необходимо для поддержания его скудного существования, не оставляя ему средств даже на образование его самого и детей его.

Лев Николаевич настаивал, что так и должно быть, так как, не будь хозяйского капитала, рабочему не к чему было бы приложить свои руки, и ему пришлось бы

совсем голодать. Кроме того, хозяин, вкладывая свой капитал в дело, рискует его потерять в случае убыточности производства. При перевозке товара, например, на заграничные рынки, он рискует лишиться его в случае крушения на море или от пожара и т. д. ...

Лев Николаевич чувствовал, кажется, свою позицию в этом разговоре непрочною, потому что очень горячился. Увидев, что этот разговор его очень волнует, я постарался незаметно перейти на другую тему.

Вообще к чести Льва Николаевича надо сказать, что он всегда поражал меня искренностью и добросовестностью в своих выводах. Все, что он говорил, он говорил убежденно: видно было, что сам додумался до этого. Но если почему-либо он ошибался и видел, что доводы ваши верны, он, не задумываясь, оставлял свои доводы, как бы они дороги ему ни были. Эта честность его всегда поражала меня, возбуждала все больше и больше уважения к нему.

Но я заметил, что время от времени в его душу закрадывалось чувство неудовлетворения его убеждениями...

Лев Николаевич вел самый правильный образ жизни. Утром, часу в девятом, он в халате проходил одеваться вниз, где была его уборная и кабинет. На лестнице обыкновенно подбегали к нему дети и здоровались с ним. Одевшись, он легко, свободно и быстро поднимался наверх, входил в столовую поздороваться с нами, преподавателями, и проходил в гостиную, где приготовлен был к этому времени кофе для него и Софьи Андреевны. Тут же был приготовлен и чай для Льва Николаевича.

Иногда, перед тем как подняться наверх, он проделывал несколько прыжков на параллельных брусьях, которые стояли в передней. Проделывал он эти прыжки с замечательной ловкостью: он был физически хорошо развит...

Затем, часов в одиннадцать, напившись кофе, Лев Николаевич уходил со стаканом чая вниз, в свой кабинет, и садился заниматься. В это время к нему никто не входил, опасаясь помешать его работе.

При писании он не разбирал, на чем ему писать: брал первый попавшийся под руки клочок бумаги и писал. Были случаи, что он писал на обратной стороне старого

почтового конверта, на оставшихся чистыми страницах полученных им писем. Вероятно, это происходило оттого, что он торопился записать интересующую его мысль, которая казалась ему тогда самую подходящею.

Занятия его продолжались часов до четырех дня. Потом он уходил гулять или ездил верхом часов до шести. Ходил он очень легко; с трудом, бывало, поспеваешь за ним. Ездил верхом он, как хороший наездник.

По возвращении с прогулки Лев Николаевич со всеми вместе обедал. Лакеи в белых перчатках и во фраках, прислуживавшие за обедом Толстых, диссонировали с простотою и скромностью обстановки кабинета, в котором работал Лев Николаевич.

За обедом обыкновенно велся общий разговор, всегда очень интересный. Помню, однажды за столом я рассказал, как моя няня горько плакала, когда я читал ей рассказ Льва Николаевича «Бог правду видит, да не скоро скажет». Лев Николаевич прослезился и сказал:

— Эти слезы няни есть истинная критика и высшая награда для меня за этот рассказ. Я для того его и писал, чтобы показать, с каким терпением люди должны переносить в жизни все несчастья. Я сам проливал слезы, когда описывал состояние купца Аксенова в тюрьме в то время, когда его жена пришла навестить его и спросила: «Неужели же ты в самом деле решился убить соседа на постоялом дворе?»

— Настоящий критик писателя,— прибавил Лев Николаевич,— это большая публика, а не записные критики, которые оценивают только технику. Задача настоящей критики — найти и показать в произведении луч света, без которого оно ничто. Большая публика ищет в произведении нравственного смысла. Задача искусства должна заключаться в том, чтобы внести в жизнь свет истины, осветить мрак жизни и указать истинный смысл ее. Истинно художественное изображение жизни у писателя выходит тогда только, когда он сможет сам прийти в то состояние, которое описывает в людях. Чтобы верно изобразить состояние разбойника, сидящего под мостом на большой дороге и поджидающего проезжего с целью убить и ограбить, нужно самому прийти в его состояние, дрожать тою дрожью, которою дрожит он,

выжидая свою добычу. Тогда только выйдет истинное изображение действительности. Без этого выйдет только пустое измышление, а не художественное произведение, все описания и характеры которого кажутся читателю такими естественными, что иными они в действительности быть не могли бы...

Из всех искусств более всего действовала на Льва Николаевича музыка. Она захватывала, овладевала им. Слушая хорошую музыку, он приходил в волнение и умиление, доходившие до слез. Он не мог не прислушаться к звукам музыки, даже если они долетали до него через три запертые двери из комнаты, где играл его сын Сергей...

Лев Николаевич не любил оперы, говорил, что нельзя соединять два искусства — музыку и драму, что от такого совмещения действие каждого искусства не только не усиливается, но, наоборот, ослабляется.

Когда я спросил его однажды, какую музыку он больше всего любит, он ответил:

— Простую, народную. И самый лучший композитор — это народ...

После обеда Лев Николаевич спускался к себе в кабинет и там или читал, чаще что-нибудь из периодической литературы, или просто отдыхал, хотя почти никогда не спал в это время.

Вечером, часов в восемь, он подымался наверх. Тут велся общий разговор о том, что кому было интересно, при участии Льва Николаевича.

Иногда Лев Николаевич садился за рояль... играл или Шопена, или Бетховена. Когда приезжала его сестра, Мария Николаевна, то он любил играть с нею в четыре руки. Иногда аккомпанировал Т. А. Кузминской, которая почти каждое лето приезжала в Ясную Поляну с детьми. Она очень хорошо пела, и Льву Николаевичу нравился тембр ее голоса и манера петь...

Иногда Лев Николаевич привлекал к пению детей под свой аккомпанемент.

Вечером пили чай вместе. Затем дети уходили спать, а взрослые оставались еще долго, часов до двенадцати. В это время что-нибудь читали вслух или так разговаривали.

Читали обыкновенно что-нибудь новое из журналов, по указанию Льва Николаевича. Однажды Лев Николаевич сообщил, что И. С. Тургенев очень хвалил рассказы В. Гаршина, и все с удовольствием слушали чтение их. Помню, особенно сильное впечатление произвело на всех чтение его рассказа «Четыре дня».

Стихов Лев Николаевич не любил. Он говорил, что стихотворная форма стесняет выражение мысли и чувства писателя. При изображении мысли и чувства словом проза дает больше свободы, стихи же стесняют, требуют, чтобы писатель сообразовался с формой фразы, чтобы в ней соблюден был известный размер, а тут и рифму надо подобрать.

— При изображении действительности и прозою-то художнику нужно много потрудиться: надо подыскать такие выражения, которые бы выражали не только мысли художника, но и возбуждали бы в читателе те чувства, то настроение, которое художник желает вызвать в читателе.

Однако он очень любил читать стихотворения Ф. И. Тютчева. Раз он привез из Москвы в подарок мне стихотворения Тютчева и особенно хвалил и часто декламировал два из них:

И гроб опущен уж в могилу,
И все стоят вокруг¹...

Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты твои²...

Произведения Тютчева, отражающие его политические взгляды, не производили на Льва Николаевича никакого впечатления; зато произведения, отражающие его внутренний мир, его отношение к сущности природы, очень нравились Льву Николаевичу.

Лев Николаевич всю жизнь свою стремился начать жить сызнова, откинуть прошлый образ жизни, как изношенное платье.

Однажды во время прогулки он сказал:

— Мне постоянно думается, как думалось в молодости, что, когда я вырасту большой, проживу не так, как теперь. Постоянно думается, что мне нужно бросить ту жизнь, какую я живу, и сделать, как вы сделали,— «поехать в Америку», бросить все привилегии, которые имею

по образованию, покинуть ту обстановку с хорошим содержанием, в которой я живу, и, надев простое рабочее платье, простые сапоги, взяв в руки топор или плуг, отправиться работать ту простую работу, которую делают крестьяне, то есть почти все люди. Это был бы внешний вид той перемены, того перерождения, который должен быть последствием перемены внутреннего мира — нравственного перерождения...

Почти каждое лето в Ясную Поляну приезжала семья А. М. Кузминского, прокурора Тифлисского окружного суда, женатого на Татьяне Андреевне Берс, сестре графини Софьи Андреевны. Иногда и сам Кузминский приезжал с семьей.

Однажды ему пришлось присутствовать в Тифлисе в качестве прокурора при повешении одного политического преступника. Лев Николаевич очень заинтересовался этим и просил его рассказать, как это было. А. М. Кузминский подробно рассказал, как подвезли присужденного к помосту, на краю которого было утверждено два столба с перекладиною; а посредине перекладины висела веревка. Кругом стояли солдаты с ружьями. Затем подошел к нему священник в рясе с крестом в руках. Через несколько минут священник отошел, раздался треск барабана, и в это время на помост взошел палач в русской рубахе, смело взял приговоренного за руки, дерзко загнул их ему за спину и связал. Приговоренный все время стоял смиренно и кротко повиновался палачу. Затем палач подвинул его толчком к виселице, намылил петлю веревки, быстро накинул ему на голову холстинный мешок, завязал его вокруг пояса и моментально, накинув петлю веревки на шею осужденного, оттолкнул его с помоста. Несчастный повис...

На другой день Лев Николаевич во время прогулки взволнованным голосом сказал мне:

— Удивляюсь, с каким хладнокровием Александр Михайлович рассказывал мне всю процедуру этого ужасного происшествия. Я его спросил потом, как он сам перенес этот ужас. Он сказал: «Что же? Ничего. Все товарищи прокурора окружного суда отказались присутствовать при казни, я и пошел. Я ожидал видеть более ужасное зрелище — я думал, что осужденный будет бороться со смертью, а он ничего, — только два раза поднял плечи кверху, как бы желая вздохнуть. Тут палач

дёрнул его за ноги книзу, и конец... Голова неестественно вытянулась вперед, и ноги повисли, как плети. Сейчас же веревку обрезали, сняли мешок с головы, и обезображенный труп с вытянутой вперед шеей, с безумно вытаращенными глазами, с опухшим, высунувшимся синим языком с кровавой пеной у рта бросили в ящик и зарыли в землю. Вот и все».

— Ну а все присутствовавшие так же хладнокровно перенесли ужас казни? — спросил его Лев Николаевич.

— Нет, некоторые были взволнованы, — отвечал он, — плакали, вскрикивали. Один солдат меня удивил: выпустил из рук ружье, затрясся и тут же упал в обморок. Да пристав, командированный с отрядом полицейских, стоял и навзрыд плакал.

— Каково вам кажется, — прибавил Лев Николаевич, — его удивил солдат, что упал в обморок и что пристав плакал при виде этого ужаса. До чего условности нашей жизни убивают в нас все человеческое! Тут присутствовал не он, А. М. Кузминский, в сущности очень порядочный человек, а прокурор окружного суда. Поэтому он и чувствовал себя спокойно, как будто его тут самого не было. Он и не думал, что тут, может быть, мать этого несчастного присутствовала и мучилась, вспоминая, как она кормила его маленького грудью, любовалась шейкой, головкой этого ребенка, как он потом бегал голыми ножками в матроске и коротких панталончиках; затем вспоминала, когда он был в университете и все стремления его были направлены к тому, чтобы быть полезным людям, как она была против этой опасной для него деятельности. И вот теперь он присужден к виселице и полупьяный, грубый палач надел на его шею скользкую петлю и задушил. Господи, когда проснутя эти люди?

— Знаете, что я скажу вам, — продолжал Лев Николаевич, — чем более высокое положение занимает человек в государстве, тем больше он забывает в себе истинное значение человека, а помнит в себе лишь ту должность, которую он занимает, которую ему дали люди. К нам приезжал как-то из Петербурга старый знакомый нашей семьи князь Оболенский. Он состоял членом Государственного совета. В разговоре за чаем он стал доказывать желательность возобновления телесных нака-

заний. Мало того, он высказал мнение, которое им будто бы было предложено в Государственном совете, что лиц, осужденных на каторжные работы, нужно лишать зрения, так как некоторые из них весьма искусно устраивают побег, содержание же стражи для предупреждения этих побегов слишком дорого стоит государству. Каково вам кажется это предложение?

Мы подходили к дому. Лев Николаевич был так взволнован, что слезы текли у него ручьем, и он все время вытирал их платком.

С. П. АРБУЗОВ

ВОСПОМИНАНИЯ БЫВШЕГО СЛУГИ ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО

30 июня 1878 года Лев Николаевич говорит мне:

— Пойдем завтра богу молиться в Оптину пустынь.

Я ответил, что очень рад этому.

— Ну, так приготовь с вечера мои вещи, которые потребуются в дороге; мы пойдем больше чем на неделю.

Я отправился в кабинет и выбрал из комода его белье, а графиня уселась за шитье сумки; потом я пошел на свою квартиру к жене сообщить ей, чему она была очень рада, так как мы оба с нею никогда не были ни в одном монастыре, а теперь хоть я побываю. Захватив нужные мне для дороги вещи, я вернулся в дом графа. На другой день я встал рано, а в семь часов встал и граф и поджидал, скоро ли нам принесут лапти, заказанные на деревне одному мужику по мерке наших ног. Лапти принесли в девять часов, я понес их Льву Николаевичу и спросил, сейчас он станет обувать их или дойдет до г. Крапивны в сапогах. Лев Николаевич решил лапти надеть сейчас же, а мужичку за работу двух пар лаптей велел заплатить 30 копеек. В кабинет пришла и графиня с сумкой, сшитой из простого холста; граф при моем содействии обулся в лапти по всем правилам крестьянского искусства, с онучами, и завязал их на ногах бечевкой; я же обулся уже раньше его. Затем нам на плечи были приспособлены сумки с вещами; в сумке графа лежали ночное белье, две пары носков, два полотенца, несколько носовых платков, две холщовых блузы, простыня, маленькая подушка и кожаные сапоги. На путевые расходы Лев Николаевич дал мне двадцать рублей, а сколько он взял с собою, я не знаю. При встрече

на дороге с нищими я обязан был давать по 10, 15 копеек.

Все было готово для дороги. Лев Николаевич был одет в белый простой кафтан и такую же блузу, а я в холщовую куртку. В одиннадцать часов дня граф простился со всем своим семейством, и мы отправились в дорогу от дома налево по старой липовой аллее, мимо второго дома, где жили Кузминские (Татьяна Андреевна Кузминская — родная сестра нашей графини); прошли старую аллею, старый большой сад, мимо гумна, около опушки леса, который почему-то зовут «Заказом». Версты через две от дома лес окончился; идем полем, спустились вниз, пересекли луг, который зовут «Кочаком»; к Лимоновскому своему лесу шли тихо, потому что дорога шла в гору.

Когда мы дошли до сторожки лесного сторожа Александра, на нас бросилась собака. Сторож, увидя графа в таком наряде, крайне удивился и спросил, куда мы идем; я удовлетворил его любопытство. Идем дальше. Граф сказал мне, что первый день надо идти тише, а второй побыстрее.

Пройдя Лимоновский лес, мы шли крыльцовскими полями и вошли в деревню Крыльцово. Около домов стоят мужики; некоторые узнали нас и приветствовали, а некоторые не узнали графа в страннике, хотя они каждый год убирают покос в Ясной Поляне и в это время всякий мужик видит графа. Идем дальше в гору и видим, что в стороне от дороги, на луговине, бабы старательно расстилали холсты, которые после беления в золе мыли в чистой воде в реке; при нашем проходе бабы встречали графа приветствием: «Здравствуй, дедушка».

Прошли деревню Головеньки; здесь мы мало кого видели, только на конце деревни шла женщина, лет сорока, похожая на однодворку, в ситцевом темном платье; она несла на коромысле два ведра воды. Поздоровавшись с нами, она спросила, куда нас бог несет — не молиться ли. Граф ответил утвердительно. На вопрос, в какой монастырь мы идем, он сказал, что идем в Оптину пустынь.

— Небось ты в монастыре останешься навсегда?

— Не знаю, может быть, — отвечал граф.

— Да, тебя-то оставят, а вон его, — указывает она на меня, — не оставят.

Прошли Головеньки, то есть сделали верст пятнадцать, в ногах начали чувствовать усталость, потому что мы все время шли без отдыха. Впереди мы увидели молодой тонкий березняк, и граф сказал, что в том березняке мы сядем отдыхать. Граф уселся у опушки, а я в тени и переобул лапти. Граф сказал мне:

— Как ты хорошо теперь надел лапти, что подложил под подъем ноги пучки соломы.

— Да, теперь хорошо,— ответил я,— а прежде было ногам больно от бечевы, потому что очень тонки онучи; у мужика они толстые, и бечева через них ног не режет, нам же в дороге толстые онучи неудобны: жарко будет ногам.

В это время по дороге шел какой-то мужик, и, когда он поравнялся с нами, граф спросил его, откуда он.

— Из сельца Юрьевки.

— А куда идешь?

— В Головеньки на отвод.

Граф пригласил его сесть с нами; тот согласился и спросил нас, куда идем мы.

— В Оптину пустынь,— ответил граф и спросил, чья виднеется версты за две усадьба.

— Это усадьба покойного Щелина.

— Кто же теперь ею управляет?

— Сейчас тут есть управляющий, да и сын умершего живет здесь же в имении, но он совсем полоумный, никуда не выходит из дома и находится под присмотром прислуги. Это имение, Юрьевка, принадлежит ему, а его брату досталась деревня Лапино за Крапивной. Они поделились после смерти своих родителей.

— Хорош ли был этот Щелин к своим крестьянам во время крепостного права? — спросил Лев Николаевич.— Тебе сколько лет?

— Да сколько? Годов пятьдесят, не больше.

— Ты, значит, хорошо помнишь то время?

— Как же мне не помнить, я уж тогда справлял тягло и хаживал на барщину. Вот что я тебе скажу, почтенный человек: нас, крестьян, он мало драл на конюшне, больше нас бил бурмистр или приказчик, а кучеров, лакеев и поваров на конюшне часто драли.

— Да, нехорошо, что он оставил о себе такую память.

— Ну, прощайте,— сказал мужик, вставая,— дай бог вам сходить хорошо. А откуда вы сами-то?

Я сказал, что недалеко от Тулы. Мужичок пошел своей дорогой. Хорошо отдохнув, пошли скоро и мы. На пути у нас лежало село Селиваново, и, как сказал граф, мы там будем пить чай, ужинать и ночевать. Во время отдыха в лесу я предлагал графу что-либо съесть, но он отказался и сказал, что мы лучше поужинаем на месте; а у меня желудок немного отошал.

Когда мы подходили к селу Спасскому, Лев Николаевич указал мне на барский домик, принадлежавший двоюродным сестрам Софьи Андреевны, жившим здесь зиму и лето; я спросил его, что он пойдет ли к ним ночевать, но граф не хотел к ним идти. Пройдя Спасское, мы спустились к реке Солова. Дорогой граф спросил меня, какая деревня будет по пути.

— Налево Переловки, а прямо на дороге Селиваново. Переловки господ Игнатьевых, Селиваново было помещика Гурьева, а теперь его зятя, Андрея Ивановича Морозова.

— Откуда ты это знаешь? — спрашивает граф.

— Как же мне не знать! Наш барин, Петр Александрович Воейков, был их друг и приятель; он часто к ним ездил, и они к нему; а деревни эти я знаю потому, что часто здесь хаживал к своей матери в Крапивну, когда она жила у купца Астафьева. Вот и Селиваново.

— Войдем в крайнюю избу, — сказал граф, — чтобы быть поближе к дороге.

Подходим к избе. Черная злая собака бросилась нам под ноги, но не укусила; на лай собаки вышла из избы старуха и прогнала ее на двор. Старуха была покрыта какой-то грязной синей затрапезной тряпкой, худая, одета она была в синюю паневу и рубаху из белого грубого холста, босая.

— Старушка, пусти нас ночевать, — обратился к ней граф.

— Батюшка, я рада пустить странников, да лечь негде: на хорах мухи не дадут спать, да и жарко, а кроватей у нас нет.

— Нам кровати не нужны, — возразил граф. — Ты нам, бабушка, принеси вязанку соломы в сени, там мы и ляжем спать; только нет ли у тебя самовара, молока и яиц?

— Все есть, батюшка.

— Нам больше ничего и не нужно.

— Ну, батюшка, если не побрезгуете ночевать в сенях, то милости просим.

Старуха обращалась с нами просто и радушно и, как видно, любила принимать странников. По ее приглашению мы вошли в избу, сняли сумки, граф снял кафтан и остался в холщовой блузе; я сказал старухе, чтобы она поставила самовар, принесла кринку молока и десяток яиц. Граф спросил ее, где же ее семья.

— Все они сейчас, батюшка, заняты тяжелой работой: бьют кирпич на две хаты.

— А сколько душ у тебя в семье?

— У меня только один сынок, сорока пяти лет, а у него жена да один сын, внучек мне; его тоже месяца два тому назад мы женили. Вон скотину гонят, сейчас и семейные придут ужинать.

— А хорош, бабушка, твой сын?

— Хорош, батюшка, хорош; он был в нашей волости три года старшиной.

— Что же, хорош он был к мужичкам?

— Его все мужики любили, он все судил по правде; только кое-кто невзлюбил его и наговорил исправнику; так и настояли высадить его из старшин. Теперь на его место выбран другой старшина, из Переловок.

Самовар был готов; я достал из сумки чай и сахар, захваченные из Ясной Поляны, заварил чай и вымыл стаканы. В это время граф что-то записывал в памятную книжку, а старуха стояла недалеко и пристально смотрела на нас.

— Я сейчас умоюсь,— поднялся граф.— Бабушка, где можно умыться?

— Иди, кормилец, умойся в сенцах над лоханкой; там на веревке привязан рукомойник, в нем есть и вода.

Граф пошел умываться, а я развязал графскую сумку, достал оттуда полотенце и подал графу. Старуха в это время что-то копается на хорах в каком-то коробе, достает оттуда посконного холста полотенце с какими-то перевязанными бахромочками на конце и несет графу.

— На, кормилец, утрись; оно хотя не тонкое, но чистое, я недавно его отрезала от холста; свое же не мажьте, а то вам самим же придется его мыть где-нибудь в реке; вам еще дорога дальняя. Вы откуда идете-то?

Мы сказали и сказали также, что идем в Оптину пустынь.

— Ну, вот, кормилец, вы еще долго проходите.

Видя, как старуха ласково с нами обходится, я подумал, что она такая оттого, что мы пригласили ее с собой чай пить. Я раньше замечал, что деревенские старухи очень любят пить чай; если же у них нет ни чая, ни самовара, то они парят в печке в горшке какую-нибудь траву — мяту, зверобой — и пьют с удовольствием. Вообще летом крестьяне, у кого есть самовар и чай, пьют его только по праздникам, потому что в это время у них много работы, следовательно не до чаю, а поскорее поужинать бы, да и спать.

Чай был готов, яйца варились в самоваре, на столе стояла кринка молока со сливками сверху; старуха сказала, что это молоко хорошее, надоено рано утром. Я попросил глиняную кружку, куда снял сливок для графа; затем вынул из самовара яйца и выстрогал из лучины маленькую лопаточку для графа вместо ложки для яиц. Все было готово, поставлено на стол, а старуха с погреба принесла целую ковригу хлеба и дала нам резать, сколько нам нужно.

Граф пригласил старуху пить с нами чай за один стол; она была очень рада и не отказывалась, только сказала:

— Пейте себе на здоровье, а я разве выпью только одну чашечку; все лучше тепленьким попарить на старости лет свои кости.

Принялись за чай и яйца. Лев Николаевич сидел на лавке под образами, я против него на скамейке, а старуха с левой стороны от него на конике. Граф выпил стакан чаю и от жары в избе и мух вышел на крыльцо и что-то писал в памятную книжку¹. Старуха наша оказалась очень разговорчивой, спросила меня, кто мы такие. Я отвечал, что старик этот очень богатый человек, вот ходит, странствует, а я хожу с ним для компании, понятно за его счет.

— А тебе-то, батюшка, — говорит старуха, — хорошо походить на его счет помолиться богу и посмотреть святыне монастыри. Я, батюшка, вижу, что он добрый человек; а что, он вдов или женат?

Я, чтобы прекратить этот разговор, сказал, что он вдов и что детей у него нет. Граф вошел в избу, и я ему налил еще чаю. Пока он был на крыльце, мы без него пили чай, и старуха выпила чашек пять, а я стакана че-

тыре. Она сейчас же опрокинула чашку на блюдце вверх дном и поблагодарила графа.

Часов в девять пришло с работы ее семейство. Войдя в избу, они все поздоровались с нами. Граф пригласил сына старухи пить с нами чай, чему тот был очень рад, сел, а я налил ему чаю.

— То-то хорошо,— говорит он,— после трудной работы попить чаю; водки я не пью, но чай очень люблю и скажу тебе, почтенный человек, что в рабочую пору, как бы ни было поздно, я вечером пью с семьей чай; выпьешь и чувствуешь себя развязней и лучше.

Бывший старшина пил чай до тех пор, пока с него не полил пот; все это время я всматривался в него и думал, с каким удовольствием рабочий народ пьет чай после трудов. Он выпил четыре стакана, опрокинул стакан на блюдце и поблагодарил нас. Стало смеркаться. Граф напомнил старухе про солому; та велела своему сыну взять веревку и принести с гумна соломы посуше. Сын встал, принес соломы и разостлал ее в сенях, потом достал какую-то дерюжку, постелил ее на солому и положил жесткую подушку, набитую крупным пером, с посконной синей набивной наволокой. Я достал из сумки простыню и маленькую подушечку и приготовил постель для графа. Лев Николаевич разговаривал с сыном старухи, Василием, о том, как он исправлял должность старшины. Василий рассказал подробно, что он действовал по закону, за что его невзлюбил кое-кто; при этом он добавил, что он не интересовался тем, что был старшиной и получал четыреста рублей жалованья, потому что были большие расходы: надо было иметь на свой счет две лошади для разъездов да десятника, так что ничего не оставалось; кроме того, дома нужно было брать работника; теперь же он все делает сам со своим сыном и считает, что стало жить лучше, чем прежде, когда был старшиной.

— А ты знаешь грамоту? — спросил граф.

— Знаю, хотя и не очень хорошо; могу письмо написать и прочитать евангелие, а по воскресеньям пою на клиросе с дьячками.

— Скажи, Василий, ты каждое воскресенье ходишь в церковь?

— Да, почтенный человек, редко когда-либо пропущу по какому-нибудь случаю.

— А что, Василий, нравится тебе церковная служба?

— Очень нравится; в этот день делаешься смиренным и помнишь, что грешно ругаться с семейными и соседями.

— Если ты стерпишь один день и не будешь ругаться, надо стараться терпеть и второй и третий, и так войдет в привычку; будешь любить бога и ближнего и никогда не будешь ругаться.

— Эх, батюшка, это трудно для нас; например, какой-нибудь пьяный мужик начнет ругаться и завидовать, что у меня хлеб есть, а у него нет, или у меня скотина хороша, а у него плоха.

Лев Николаевич сказал, что пора спать ложиться, чтобы пораньше завтра встать, так как холодком лучше идти; он прибавил, что чай пить здесь не будем, а напьемся в Крапивне, где и отдохнем. Василий, пожелав нам покойной ночи, ушел спать наружу, в сарай, семья же его давно уже спала. Мы разулись, вытряхнули из онуч и лаптей пыль. Граф оделся кафтаном и скоро заснул, на меня же напала бессонница, и я долго не мог заснуть; со двора доносился запах навоза.

Скоро начало рассветать, зачирикали касаточки, что жили в сенях и свили себе гнезда высоко, под самым князьком. Я долго смотрел, как они кормили своих маленьких птенчиков. Наседка с цыплятами слетела с гнезда, закудаhtала, от их крика проснулась старуха. Она подошла к умывальнику, умылась, прочитала несколько молитв, помянула на молитве за упокой родителей, а за здравие себя, сына, внука и всех родных; затем захватила в совок круп и посыпала наседке и цыплятам. Я все время не спал и глядел на старуху; она взяла доильник, прошла мимо нас, отворила дверь и пошла на двор, где стояла корова и ела скошенную траву; подойдя к корове, она подставила маленькую скамеечку, села, перекрестилась и начала доить, а потом пошла цедить молоко. Я встал, оделся, умылся, спросил старуху, сколько ей следует с нас за самовар, молоко, яйца и ночлег. Я дал ей рубль и спросил, довольно ли с нее.

— Довольно, батюшка, мне даже и это совестно брать, потому что я вчера с Василием пила чай вместе с вами.

Я пошел разбудил графа; через пятнадцать минут он был совсем готов, спросил меня, заплатил ли я старухе.

Мы поблагодарили ее за привет и спросили, где же ее семейные. Она ответила, что они давно уже глину готовят для кирпича. Распростились; старуха просила заходить к ним на обратном пути; граф обещался зайти, если пойдем по этому же пути, но, вероятно, сказал он, мы пойдем другой дорогой.

Тронулись в путь, вышли на большую дорогу, по обе стороны которой стояли хлеба, покрытые серебристой росой. В них кричали перепела и дергачи.

— Приятно идти утром,— сказал граф,— как легко дышится!

Он посмотрел на часы, было четыре часа.

Солнце взошло высоко, дуба на три, как говорят крестьяне, и грело нам правый бок и спину. Впереди видна была пригородная слобода Крапивны, где жили земледельцы, бывшие казенные крестьяне.

Через час мы были уже в Крапивне, прошли слободу, потом мост через реку Плову, мимо кузен в гору вышли на большую площадь, где стоит собор. В этот день был базар, на площадь с раннего утра наехало из деревень очень много мужиков, которые привезли разной живности и изделий для хозяйственных потребностей. Проходя по торговым рядам по направлению к постоялому двору, мы увидели, что около одной мелочной лавочки у порога стоит Филат Васильев, к которому мы шли пить чай и отдыхать. Он узнал графа, пошел к нам навстречу, поздоровался, предложил свое помещение к нашим услугам, куда мы с ним и отправились. Там мы разделись и попросили себе самовар. При номере, в котором мы поместились, стоял мужик в красной рубахе; минут через пятнадцать он подал нам самовар, а я попросил его принести молока и десяток яиц; я приготовлял чай, а граф умылся и сказал, что в путь мы отправимся, когда спадет зной.

Хозяин двора спросил меня, почему граф так обут и одет и куда мы держим путь; я ответил, что мы идем в Оптину пустынь богу молиться. Я пошел в лавку, купил в запас чаю, сахару, табаку для графа,— в то время он еще курил, а теперь уже лет десять, как не курит. Напившись чаю, закусив яйцами и молоком, мы легли отдохнуть и проспали до трех часов. Граф стал обуваться, а я спросил его, будет он или нет пить чай или что есть; он ответил, что чай пить не будем, а лучше всего чего-

нибудь съедим, потому что неизвестно, где мы будем ночевать. Я пошел к Филату Васильевичу, и тот предложил нам квасу с рыбой, который мы поели с большим удовольствием.

Мы скоро оделись, расплатились с Филатом Васильевичем и тронулись в путь. На дороге за городом, где ребята стерегли лошадей, я спросил их, далеко ли деревня. Деревня была верстах в пятнадцати.

— Там мы и будем ночевать,— сказал граф,— но только, Сергей, пойдем потише, у меня ноги ослабли; ты слишком ходко идешь; я не думал, что ты так хорошо можешь идти, хотя и сумка у тебя тяжелей моей.

Разговаривая, мы незаметно дошли до Ченцовских дворов Ивицкой волости; по обе стороны дороги тянулась довольно длинная деревня. Подходим к крайней избе и спрашиваем, в каком бы доме нам переночевать.

— А вот попроситесь в каменной избе у нашего старшины, там две избы.

— А самовар у него есть?

— У него есть большой самовар.

Мы подошли домов через десять к указанному дому и просимся ночевать. В это время на крыльце стоял сын старшины и ответил, что он спросит своих стариков. Минуты через три он пригласил нас войти. Мы вошли в избу. Там было человек 25 рабочих, дожидавшихся расчета от старшины за бойку кирпича; мы сняли сумки, положили их на хоры и сели. Старшина обратился к рабочим:

— Вы получили деньги с меня, теперь должны взять полведра водки и угостить меня и мою семью.

Лев Николаевич сказал мне, что здесь очень жарко, и мы вышли на крыльцо и сели на лавочку. Через несколько минут вышел на крыльцо и старшина и, сев на противоположную скамейку, привалился к стене. Ему было лет 65; он имел большой живот, пухлое красное лицо; очевидно, это у него было от водки, да и сейчас он был полупьян. К нему подошла женщина и говорит:

— Батюшка, Назар Васильевич, завтра хотят лодку мою задворок.

— Я тебе говорю, не сломают; я все уже укрепил.

— Назар Васильевич, ведь это уже целый год тянется, я уже вся истратилась: то к старосте, то к писарю, то к судьям.

Граф подозвал к себе эту женщину и спросил, чего она просит у старшины.

— Да вот, родимый старичок, в чем дело: мой задворок хотят ломать; у меня было четыре сына, а два теперь умерли, так вот у меня обществом и хотят половину усадьбы отнять.

Старшина обращается к графу и говорит:

— Позволь, что ты тут расспрашиваешь? Есть ли у тебя документ? А то я много знаю таких стариков ханжей. Ну-ка, покажи документ.

— Сергей, достань из сумки документ,— обратился ко мне граф.

Я достал документ и подал старшине.

— Я без очков не вижу,— отвечает он,— в избе сидит мой сын Василий; он жил в Питере кучером, так хорошо умеет читать; покажи ему.

Я вхожу в избу и говорю:

— Кто здесь Василий, сын старшины?

— Я,— отозвался молодой парень, встретивший нас на крыльце.

— Вот вам документ; отец велел вам посмотреть, а сам он без очков не видит.

Василий прочитал: «Граф Лев Николаевич Толстой» и потихоньку сказал отцу. Как от грома и молнии народ прячется под защиту строений, так и от слов «граф Толстой» всех, старшину с сыном, артель крестьян-рабочих и бабу-просительницу, всех в несколько минут как дождем смыло, только я да граф остались на крыльце.

Когда самовар был готов, Василий попросил нас в избу, где, кроме него с матерью, никого уже не было. Граф спросил, где же старшина и все рабочие. Старуха на это ответила, что муж ее уехал в Ивицкое волостное правление, а рабочие разошлись по домам.

— Как жалок вот такой старшина,— сказал мне граф,— сами себе все портят и попадают в беду.

Старуха принесла нам кринку молока и десяток яиц; граф приглашал ее с сыном пить чай, но они отказались. Я попросил ее принести вязанку соломы, потому что мы ляжем спать на полу, но она предлагала нам свою постель, а граф отказался. После чая и ужина мы легли спать, и в избе, кроме старухи с сыном, никого не было.

На другой день утром я попросил поставить самовар и, когда он был готов, разбудил графа. Старшиниха приготовила воды и хотела было подать графу умыться, но я сказал, что он умывается сам и что полотенце у нас есть свое. Как видно, ей хотелось чем-нибудь нам услужить. Мы напились чаю, позавтракали, расплатились с хозяйкой, хотя она ничего не хотела брать. На прощанье граф сказал Василью, что такая жизнь и поступки отца могут плохо для него кончиться.

Верст через десять мы дошли до села Дубки и сели отдохнуть у крайнего дома; к нам вышел мужик; я попросил у него корец кваса и хлеба; граф отказался есть хлеб, но квасу напился, а я ел хлеб и запивал его квасом. Граф разговаривал с мужиком и спросил его, почему он навеселе.

— Нынче праздник бог дал, почтенный старичок, ну, мы для праздника всей деревней и выпили.

— На какие же деньги? Кого-нибудь в общество приняли или землю общественную сдали внаем?

— Нет, почтенный, по нашей деревне ехал какой-то барин тройкой; бог знает отчего, только левая пристяжная у него пала, и дух вон; он не стал с ней возиться и отдал нам; мы шкуру сняли, продали за семь рублей, да и выпили водки.

Мы отдали мужику за хлеб и квас десять копеек, распростились и пошли. Было уже три часа. На конце деревни граф спросил, сколько верст до села Монанки. Оказалось верст двадцать. Мы решили дойти до Монанок, там обедать, пить чай и ночевать. Отправились мы преселочными дорогами. Едва мы сделали верст восемь, начали собираться тучки, и образовалась сильная гроза, непрерывная молния, оглушительный гром и проливной дождь. Жилья вблизи нигде не было, укрыться некуда, и мы промокли так, что сухой нитки не было на нас. Совсем стемнело, и мы начали прозябать.

— Сергей, голубчик,— обратился ко мне граф,— нельзя ли согреть чайник воды, выпить чашку чая; я заболел, меня схватывают спазмы.

— Лев Николаевич, я все готов сделать для вас, но этого нельзя: нет ни воды, ни дров, в поле ничего нельзя достать. Подойдем до ближнего жилья, там попросим самовар, а нет самовара, то мы вскипятим чайник на тагане.

Темнота была страшная. Веревки, которыми были привязаны лапти, от сырости сселись и врезались в ноги. Слышим, журчит вода.

— Вот, кажется, мельница,— сказал я,— попросимся здесь ночевать.

Спустились вниз с крутой горы и перешли плотину. Дождь начал переставать. Подходим к жилой избе, и я стучу в окно; хозяйева спали, но от стука мужик проснулся, подошел к окну и окликнул нас.

— Хозяин, пусти нас ночевать да самовар поставь.

— Ночевать у меня негде и ночью самовара вам ставить не стану; не возьму и пяти целковых.

Я говорю графу, что такого человека не убедишь, надо идти дальше. Едва отошли мы от мельницы шагов двести, как услышали грохот телеги; навстречу нам ехал мужик. Я стал впереди, остановил лошадь и говорю:

— Мужичок, ты нас не бойся; вот тебе рубль, отвези нас до деревни в тот дом, где есть самовар. А куда ты ехал?

— На поле за бороной.

Мужик был рад деньгам и поехал вволю. Минут через двадцать мы были у дома Ануфриевны, какой-то вдовы, которая потихоньку приторговывала водкой и имела самовар. Мы вошли в избу, попросили поскорее чаю, молока и яиц, разулись, а хозяйка положила лапти в печку, а онучи на печку. Когда все было готово, я заварил чай и пригласил пить с нами хозяйку; она не отказывалась и предложила нам водки, но Лев Николаевич сказал, что он водку не пьет. Напившись чаю и поужинав, мы легли спать и от страшной усталости проспали до девяти часов утра. Самовар был уже готов, лапти и онучи в полном порядке, мы напились чаю, позавтракали, я дал хозяйке полтора рубля, за что она нас очень благодарила.

Пройдя верст двадцать, мы пришли в село Монанки и прямо к священнику Владимиру Акимовичу, который раньше был учителем в Ясной Поляне и тогда просил графа походатайствовать за него получить место священника, чего скоро он и добился. Отец Владимир был на гумне; мы вошли в дом и попросили разыскать его; жена пошла за ним и привела вскоре. С графом отец Владимир расцеловался. Скоро был готов чай, мы пили чай, обедали, отдыхали, снова пили чай; затем о. Вла-

димир запряг в телегу пару лошадей и предложил Льву Николаевичу довезти его до Белева, от чего граф не отказался. Дорогой Лев Николаевич все время разговаривал со священником; между прочим, о. Владимир говорил:

— Мне здесь очень хорошо было бы жить, ваше сиятельство, только теща очень капризна и во всем свою дочь, то есть мою жену, расстраивает, так что жена стала относиться ко мне хуже, чем прежде.

Подъехали к Белеву, вылезли из телеги, причем, прощаясь с о. Владимиром, Лев Николаевич просил, чтобы тот всегда обращался к нему, когда что будет нужно, и что он ни в чем ему не откажет. Мы надели сумки и вошли в Белев. В простом трактире пили чай и ели уху из свежей рыбы; затем отправились дальше, шли очень хорошо и часов в шесть вечера пришли в Оптину пустынь. Звонил колокольчик на ужин, мы с котомками за плечами вошли в трапезную; нас не пустили в чистую столовую, а посадили ужинать с нищими. Я посматривал на графа, но он нисколько не гнушался своими соседями, кушал с удовольствием и пил квас, который ему очень понравился.

После ужина пошли на ночлег в гостиницу третьего класса. Монах, видя, что мы обуты в лапти, номера нам не дает, а посылает в общую ночлежную избу, где всякая грязь и насекомые.

— Батюшка,— говорю я монаху,— вот вам рубль, только дайте нам номер.

Он согласился и отвел нам номер, причем сказал, что нас будет трое: третий — сапожник из Болховского уезда. Я достал из котомки простыню и подушечку, приготовил графу постель на диване; сапожник лег на другом диване, а я для себя постелил постель на полу недалеко от графа. Сапожник вскоре заснул и сильно захрапел, так что граф вскочил с испуга и сказал мне:

— Сергей, разбуди этого человека и попроси его не храпеть.

Я подошел к дивану, разбудил сапожника и говорю:

— Голубчик, вы очень храпите, моего старичка пугаете; он боится, когда в одной комнате с ним человек спит и храпит.

— Что же, прикажешь мне из-за твоего старика всю ночь не спать?

Не знаю почему, но после этого он все-таки не храпел.

На другой день мы встали часов в десять, напились чаю. Я пошел к обедне, а граф — посмотреть, как монахи косят, пашут и как занимаются ремеслом. Одет он был в кафтан и лапти. Шел он мимо книжной лавки и остановился посмотреть книги; в это время какая-то женщина просит продавца-монаха показать евангелие.

— У нас дешевых нет,— говорит он ей.— Возьми вот описание Оптиной пустыни, и пусть твой сын читает.

Тогда Лев Николаевич купил евангелие и отдал его этой женщине для ее сына, а сам пошел дальше по пустыни.

Вскоре откуда-то монахи узнали, что в стенах их обители находится граф Лев Николаевич Толстой. Они от имени архимандрита и о. Амвросия начали разыскивать его. Случайно встретив меня, они спросили, кто со мной стоит в гостинице.

— А вам кого нужно?

— Графа Льва Николаевича.

— Я его человек.

Узнав от меня, во что он одет, они пошли разыскивать его, отыскиали и просили к архимандриту и о. Амвросию. Граф пришел в гостиницу третьего класса, где мы ночевали, и говорит мне:

— Сергей, коли меня узнали, делать нечего; дай мне сапоги и другую блузу; я переоденусь и пойду к архимандриту и отцу Амвросию.

Но не успел граф переодеться, как приходят два монаха, чтобы взять вещи графа и просить его в первоклассную гостиницу, где все обито было бархатом. Граф долго отказывался идти туда, но под конец все-таки решился. Я взял вещи графа и перенес по указанию монахов, а графу сказал:

— Лев Николаевич, я останусь в той гостинице, где мы ночевали; там очень весело, там болоховский сапожник очень умный человек да молодой, лет двадцати, еврей (еврей пришел в номер позже), который крещен и по собственному желанию хочет поступить в монахи. Его о. Офросим окрестил, назвал Александром и благословил быть ему монахом Оптиной пустыни.

Действительно, я разговорился с евреем, и он оказался человеком хорошего и доброго нрава и самого открытого сердца. Он рассказал мне про всю свою жизнь. Сапожник оказался тоже очень хорошим человеком. Мы

пили вместе чай и дружелюбно разговаривали. Сапожник был крайне удивлен, что граф не побрезговал быть в трапезной за столом с нищими, а потом ночевать в гостинице третьего разряда, где по стенам и на диванах попадает немало клопов.

Граф Лев Николаевич, прежде чем пойти в перво-классную гостиницу, пошел посетить о. архимандрита. Я ждал его недалеко от кельи о. архимандрита. Граф пробыл там часа два или три. О чем они разговаривали с о. архимандритом, я не знаю, но, вероятно, о монастырской жизни. По выходе из кельи о. архимандрита граф направился в скит к о. Амвросию. Я старался не выпускать Льва Николаевича из глаз, чтобы сказать ему, что после него я тоже пойду к о. Амвросию. Я видел шагов за двести, как Лев Николаевич вошел в его келью. Он пробыл там часа четыре. Я же, подойдя к келье, остановился у крыльца и видел, что здесь ожидают увидеть о. Амвросия человек двадцать или тридцать. С некоторыми богомольцами я разговорился и спрашивал, сколько они здесь дней. Некоторые говорили, что они здесь дней пять или шесть и каждый день бывают в скиту у кельи о. Амвросия и не могут его видеть и получить благословения. Я спросил, почему же о. Амвросий не может их принять? Говорят, что это происходит не от о. Амвросия, а что о них не докладывает келейник.

— Мы видим здесь богатых купцов, приезжих из Воронежа, Москвы, Петербурга, которые подойдут к келье, позвонят, келейник сейчас же отпирает дверь; они спрашивают, можно ли им видеть о. Амвросия. Келейник расспрашивает их, кто они такие. Они отвечают, что они, например, только что приехавшие воронежские купцы. И келейник сейчас же просит их к о. Амвросию.

Я разговорился с одним человеком из Тулы, каким-то сыном дьякона, окончившим пятый класс семинарии. На нем были худые сапоги и какая-то казинетовая поддевочка. Он говорил, что хочет просить у о. Амвросия помощи, так как не на что дойти до Тулы и купить сапоги. Я старался не упустить, когда выйдет Лев Николаевич, не решаясь звониться во время его беседы с о. Амвросием. Лев Николаевич вышел из кельи и, раздав милостыню всем подошедшим богомольцам и нищим, пошел по направлению к той гостинице, где ему был отве-

ден номер. Я сейчас же позвонил в дверь кельи. Келейник спросил, что мне нужно. Я ответил ему, что пришел получить благословение от о. Амвросия.

— А кто вы будете?

— Человек графа Льва Николаевича Толстого.

Он доложил старцу, который меня сейчас же принял. Я, войдя в келью о. Амвросия, стал перед ним на колени. Он благословил меня, а я по-христианскому обряду поцеловал его руку. Он спросил:

— Ты со Львом Николаевичем пришел пешком?

— Да,— говорю,— пешком.

— Ну, скажи мне, голубчик, добр ли граф?

— Да, он очень добр ко всем бедным. Он помогает не одним только своим крестьянам, а и дальним; милостиво помогает и деньгами, и хлебом, и лесом или у кого не хватает корма для скота; в особенности он добр ко вдовам с детьми: своими руками пашет землю, косит траву и весь хлеб.

— Ах, голубчик, как я рад слышать так много хорошего о таком великом человеке. Но не потер ли он себе ног от такой дальней ходьбы?

Я рассказал ему про всю нашу дорогу. Отец Амвросий сказал: «Спаси его, господи!», благословил меня и дал просфору для семьи. Я простился и пошел из кельи. Около нее было еще много народа, желавшего видеть о. Амвросия. Я тоже роздал несколько денег. Это у меня были деньги графа, но он еще раньше сказал мне, чтобы я подавал бедным богомольцам.

Я сейчас же пошел в гостиницу, где был граф, и рассказал ему, как меня принял о. Амвросий и дал просфору для семьи. Отворяется дверь, входит монах и спрашивает, не угодно ли его сиятельству обедать. Граф согласился, и в то же время раздался звонок в общей трапезной. Я сказал графу, что пойду обедать в трапезную. Минуты через четыре я был в трапезной, где распорядитель-монах впустил меня в чистую столовую с монахами. Там мне все понравилось. Все время, пока шла трапеза, монах читал молитвы. Сидевшие рядом со мной монахи спросили, откуда я. Я ответил, что я из Тулы, служащий Льва Николаевича и пришел с ним вместе. Монахи с удивлением спрашивали, неужели мы всю дорогу шли пешком. Я подтвердил это и рассказал, как мы были с графом обуты и одеты. Они взглянули друг на друга и

сказали, что так никто и из них не может поступить, а тут так делает такой великий человек, о котором знает вся Россия. Монахи во все время ухаживали за мной. После обеда я пришел к графу и спросил, когда же мы пойдем домой.

— Не знаю,— ответил он,— может быть, завтра. А ты где обедал?

— Сегодня с монахами в чистой трапезной.

Затем я вернулся в третьеразрядную гостиницу к своим болховскому сапожнику и перекрещенному еврею.

На другой день были у обедни: граф в большом соборе, а я в маленькой церкви; потом граф мне сказал, что мы пойдем сегодня после обеда домой. Вскоре зазвонили к обеду; я пошел в трапезную, граф же, как и накануне, обедал в первоклассной гостинице, где ему служили монахи. Затем я забрал свои вещи из гостиницы, простился с сапожником и евреем и пошел к графу. Граф стал обуваться, а я завязывать котомки. Минут через пятнадцать тронулись в путь по направлению к Калуге...

Часов в восемь вечера были в Жиздре. Там остановились ночевать на постоялом дворе, где пили чай и ужинали. Граф пригласил домохозяев с нами в компанию. Хозяин расспрашивал, кто и откуда мы. Граф ему все рассказал, и они побеседовали часов до десяти, причем хозяин рассказывал графу про о. Амвросия.

Часов в десять легли спать, граф на диване, а я на лежанке. На другой день встали часов в десять, напились чаю, немного закусили и, рассчитавшись с хозяином, простились и пошли дальше. До Калуги дошли благополучно, а там зашли в простую гостиницу и поместились внизу; в хорошие номера нас наверху не пустили по нашему костюму. Здесь мы отдохали четыре часа; попросили себе самовар, молока и яиц. Все это нам принес какой-то коридорный в простом пиджаке. Граф спросил у него, хороша или нет Калуга.

— Хороша, батюшка, только у нас много разноверцев.

Граф спросил, какая же у них вера.

— Да я их и не пойму. Здесь целый ряд купцов, все какие-то воздыханцы, молококане и субботники.

— А образа у них есть?

— Нет. Они молятся в простых избах, ничего у них там нет, только они избы содержат чисто; водку они не пьют, табаку не курят.

— А хороши душой?

— Со своими живут дружно, а нам, кто ходит в церковь, ни в чем не помогут. Поэтому и мы от них держимся далеко.

Граф, чтобы прикончить разговор с коридорным, спросил, не готова ли заказанная нами уха из налимов. Через несколько минут коридорный принес несколько тарелок и миску с ухой.

Отдохнув здесь, мы оделись и пошли по направлению к вокзалу, чтобы остаток пути сделать по железной дороге. Я спросил графа, в каком классе он поедет; он велел брать билеты третьего класса. Я взял билеты; вагоны уже стояли у платформы и дан был первый звонок садиться. Мы подошли к двери, где теснился народ, большею частию, как и мы, с сумками. Некоторые были франтовски одеты и без всяких сумок; они смело проходили вперед, а нас, несчастных богомольцев, заставляли стоять и ждать. Я хотел пробраться через толпу в вагон и занять места, но граф сказал, что этого делать не надо. Пока мы ждали, я слушал разговор графа с богомольцами. Одна старушка говорила, что ходила в Киев, потому что была вся больна и в ранах.

— Ну, как же ты теперь себя чувствуешь? — спросил граф.

— Как чувствую? Да здоровье, батюшка, очень хорошо, да и ранок нет.

— Ну, вот, бабушка, — сказал граф, — ты, наверное, как из дома вышла, так про дом и забыла?

— Да какой тут, родимый, дом! Об одном только думала, как бы святыню посмотреть.

— Ну, бабушка, одно тебе скажу, что вера твоя спасла тебя, потому что, говорю я, ты об одном только думала, как бы святыню посмотреть.

— А сам ты, родимый, куда ходил богу молиться?

— В Оптину пустынь, бабушка.

— Что же, ты разве чем был болен?

— Нет, я, слава богу, здоров.

— Ну, так, родимый, наверное, обещался?

— Да, обещался.

— Батюшка, не дашь ли сколько-нибудь копеечек?

Граф уже раньше приготовил денег для старухи и сейчас дал их ей. Тогда еще несколько богомольцев подошли к графу и просили, чтобы он и им дал денег;

он оделил их всех. В это время дали еще звонок. Чисто одетый народ прошел уже весь. Тогда прошли и мы и сели в вагон. Третий звонок — и поезд тронулся. Граф в вагоне сел на левую скамью, а против него сидели два каких-то мужика, одетых в русские поддевки, и граф всю дорогу до Тулы разговаривал с ними. Он расспрашивал, чем они занимаются; они ответили, что занимаются всевозможной посудой, щепной и глиняной, а землей не занимаются, потому что у них — в селе Неделеине Калужской губернии — земля очень плохая.

— Мы ездим и скупаем посуду, — говорили они, — и торгуем в Неделеине. Наши мужички больше живут на чужой стороне на заработках; дома же землю пахут и траву косят и все домашние работы исполняют бабы.

Вот и Тула. Граф распростился с мужичками, и мы вышли наружу. У вокзала стоял кучер Филипп с парой лошадей и плетеным экипажем. Граф расспросил кучера, все ли дома благополучно. Мы сели в экипаж и скоро были в Ясной Поляне.

Я впоследствии привык ко всем домашним делам графа и убирал его кабинет, а когда убирал письменный стол, видал множество рукописей на столе. Иногда я прочитывал несколько строк; так я раз прочитал что-то такое про Кутузова, про Москву и про нашествие французов. После я узнал, что это было его сочинение под заглавием «Война и мир».

К графу часто приходили мужики насчет какого-нибудь дела, и он всегда обходился с ними очень любезно. Все мужики говорили, что на всем свете, наверное, нет таких еще господ. Граф часто даже ходил на деревню беседовать с мужиками. Раз, 6 декабря, на Николу, он пошел побеседовать с ними, но на улице не было ни одного мужика. Тогда граф зашел в одну избу, к Сергею Резуну; там сидели обедали и попросили обедать и его. Лев Николаевич сел, немного поел с ними и хвалил их стол.

У графа было большое хозяйство, были шленские овцы, свиньи, голландские коровы. Но все это надоело ему; он отбросил их и занимается только писанием да пашет, косит, дрова пилит — словом, делает всю черную работу крестьянина и даже шьет сапоги. Словом, в те-

чение двадцати двух лет, как я служил у графа, он по собственному своему желанию все время вращался в обществе крестьян.

Когда он писал книгу «Анна Каренина», то много ездил в церковь, не менее пяти, шести раз кряду. Встанет в пять часов, меня не будит, сам возьмет сапоги и все платье, оденется, пойдет на конюшню, оседлает сам лошадь, чтобы не будить кучера, и поедет в церковь.

Раз он встретился с яснополянскими мужиками, спросил, скоро ли они начнут пахать под яровое, и прибавил:

— Ну, и мне надо готовиться сеять овес для вдовы Анисьи Копыловой.

Через несколько дней он запрягает одну из рабочих лошадей в соху и едет пахать; сам идет впереди лошади и в правой руке держит повод. Вот и пашня; он перевертывает соху и начинает пахать, причем лошадь никогда не ударит кнутом. Вскоре земля была готова, и граф посеял овес.

Этой же весной граф видит, что Анисье Копыловой негде жить, — изба плоха; тогда граф решил построить ей новую и принялся за работу. Ему помогала сама Копылова и его дочь, Марья Львовна; они приготовили земли, соломы и воды и начали все это месить вместе. Когда материал был готов, граф начал класть стены, а потом пригласил плотника устроить потолок, притолоки, вставить двери и окна. А печную работу он производил сам; только много доставила ему возни выделка сводов. Долго он думал над ними, но все-таки вывел. После печи он вместе с Марьей Львовной делал соломенные щиты для крыши. Изба была совсем готова, и Анисья Копылова и до сих пор живет в ней; на новоселье Лев Николаевич дал ей муки и разной провизии.

Потом Лев Николаевич начал собирать партию мужиков косить вдове траву. Косить с ним вызвались Константин Николаев, Степан Резунов и сапожник Павел, который иногда шил с графом сапоги. Вот трава уже готова для покоса. 25 июля, в пять часов утра, все косцы собрались с графом на Красной улице. Косцы подобраны слабые, страдающие одышкой, которым трудно косить с другими, но со Львом Николаевичем им легко, потому что они косят не спеша. Граф спросил их, завтракали ли они. Степан Резунов сказал, что он закусил хле-

бом с водой, Павел сказал, что поел хлеба с молоком, а Константин ответил:

— Разве вы, Лев Николаевич, не знаете, что у меня и хлеба нет. А что вчера вечером моя дочь Марья принесла с вашей людской хлеба, то поели, а сейчас ничего не ел.

— Ну, начнемте косить,— сказал граф.— Степан, иди вперед.

Степан пошел вперед, за ним граф, дальше сапожник Павел, а позади Константин. Покосили несколько времени, на покос из графского дома несут обед; обед принесла Марья Львовна; тут были хлеб, молоко, каша, картофель, огурцы и квас.

— Кончайте косить, садитесь со мной завтракать.

После завтрака снова взялись за косьбу. Через несколько дней покос был окончен. Когда сено было готово, то все мужики пошли собирать его домой, со своими бабами, а граф Лев Николаевич остался один, потому что Анисья Копылова заболела. Тогда дочь графа Марья Львовна приходит на покос и начинает делать все, как деревенские бабы, даже лучше, старательнее, чисто сгребает сено граблями и очень хорошо разбивает траву для сушки. Когда сено было готово, граф берет веревку и меряет трехсаженные копны вместе со всеми, чтобы никому не было обидно, что одна копна меньше, другая больше. На другой день погода была прекрасная; все приехали с запряженными в телеги лошадьми к тому месту, где было сметано сено. Одна копна была лишняя, и лошадей поставили к ней кормиться. Лев Николаевич был вместе с мужиками, только без лошади.

— Я велел,— говорит он,— лошади приехать через час, потому что на траве есть роса.

Через час приехала Марья Львовна на лошади, и все принялись навивать возы. Так как мужики косили это сено исполу с приказчиком, то они прежде повезли сено к себе домой, а потом будут возить в экономию приказчику. Так посоветовал сделать граф. Когда Лев Николаевич с Марьей Львовной навил воз, то повез его прямо к Копыловой избе. Дорога была немного в гору, и граф должен был помогать лошади за гуж. Когда подъехали к избе Анисьи, она вышла наружу в старой, худой поневе и в белой тряпке на голове и говорит:

— Батюшка Лев Николаевич, сено надо отвезти на гумно и там сложить.

— Анисья,— сказала Марья Львовна,— ступай в избу, не стой на сквозном ветру; мы с папой все уберем. Возка сена была благополучно окончена; вышло всего шесть возов. У Анисьи была одна корова и четыре овцы, так что сена вполне хватит, так как будет еще яровая солома да хоботья.

Анисья Копылова считала уже, что граф Лев Николаевич обязан не пропустить время, когда надо будет косить рожь.

Всю работу простого человека Лев Николаевич делает не за тем только, чтобы люди видели, вроде игрушки, совсем нет; он работает по собственному желанию и с большой охотой и старанием. Крестьяне Ясной Поляны знают, что его работа не игрушка и что он занимается ей десятки лет.

Сначала, когда окрестные крестьяне видели, как граф работает в поле, то говорили, что он делает это от нечего делать. Но, как я знаю, все они глубоко ошибаются. Как сам Лев Николаевич говорил мне, нет ничего лучше крестьянской работы, пахоты, косьбы — словом, всей черной работы. Я спросил раз его:

— Лев Николаевич, согласны были бы вы жить так, как живет мужик? У мужика три десятины земли, ему из них нужно подать заплатить, семейство прокормить и произвести разные расходы по дому.

— Так я только этого и желал бы,— ответил он.

— Я вполне уверен, Лев Николаевич, что вы так можете жить, но семейство ваше далеко нельзя привлечь к такой жизни. Я одно могу вам сказать, что если дать мужику земли десятин десять, тогда только он не будет терпеть нужды; яснополянским мужикам хорошо, что они исполу сеют вашу землю, да на поденной работе почти каждый день, то на железной дороге, то у вас в экономии. Ну, а другим, степным мужикам, только земель приходится жить; ну, и быются всю жизнь, как рыба об лед.

Граф, возвратившись с косьбы, обыкновенно вешал косу в своем кабинете на олени рога, а сам немного отдыхал на клеенчатом диване. В это время он ходил в белой холстинной рубаше и в таких же панталонах самого простого покроя.

И. Е. РЕПИН

ИЗ МОИХ ОБЩЕНИЙ С Л. Н. ТОЛСТЫМ

Лев Николаевич Толстой как грандиозная личность обладает поразительным свойством создавать в окружающих людях свое особое настроение. Где бы он ни появился, тотчас выступает во всеоружии нравственный мир человека, и нет более места никаким низменным житейским интересам.

Для меня духовная атмосфера Льва Николаевича всегда была обуревающей, захватывающей. При нем, как загипнотизированный, я мог только подчиняться его воле. В его присутствии всякое положение, высказанное им, казалось мне бесспорным.

Его трактаты известны. Касаться их я не буду. Здесь, в этой краткой заметке, я попытаюсь сообщить только несколько эпизодов внешнего, бытового характера его жизни, близким свидетелем которых мне посчастливилось быть.

1. В МОСКВЕ

Его первое появление. В 1880 году в Москве, в Большом Трубном переулке, в моей маленькой мастерской под вечер все вдруг приняло какой-то варевой тон и задрожало в особом приподнятом настроении, когда вошел ко мне коренастый господин с окладистой серой бородой, большеголовый, одетый в длинный черный сюртук.

Лев Толстой. Неужели? Так вот он какой! Я хорошо знал только его портрет работы И. Н. Крамского и представлял себе до сих пор, что Лев Толстой очень своеобразный барин, граф, высокого роста, брюнет и не такой большеголовый...

А это странный человек, какой-то деятель по страсти, убежденный проповедник. Заговорил он глубоким, задушевным голосом... Он чем-то потрясен, расстроен — в голосе его звучит трагическая нота, а из-под густых грозных бровей светятся фосфорическим блеском глаза строгого покаяния.

Мы сели к моему дубовому столу, и, казалось, он продолжал только развивать давно начатую им проповедь о вопиющем равнодушии нашем ко всем ужасам жизни: к ним так привыкли мы — не замечаем, сжились и продолжаем жить и преступно подвигаемся по отвратительной дороге разврата; мы потеряли совесть в нашей несправедливости к окружающим нас меньшим братьям, так бессовестно нами поработанным, и постоянно угнетаем их.

И чем больше он говорил, тем сильнее волновался и отпивал стаканом воду из графина.

На столе уже горела лампа, мрачное и таинственное предвестие дрожало в воздухе. Казалось, мы накануне страшного суда... Было и ново и жутко...

Когда он поднялся уходить, я попросил позволения проводить его до их квартиры,— четверть часа ходьбы.

Прощаясь, он предложил мне по вечерам, по окончании моей работы, заходить к ним для предобеденной прогулки, когда я буду свободен.

Эти прогулки продолжались почти ежедневно, пока Толстые жили в Москве, до отъезда в Ясную Поляну.

По бесконечным бульварам Москвы мы заходили очень далеко, совсем не замечая расстояний: Лев Николаевич так увлекательно и так много говорил.

Его страстные и в высшей степени радикальные рассуждения взбудораживали меня до того, что я не мог после спать, голова шла кругом от его беспощадных проговоров отжившим формам жизни.

Но самое больное место для меня в его отрицаниях был вопрос об искусстве: он отвергал искусство.

— А я,— возражаю ему,— готов примкнуть к огромному большинству нашего образованного общества, которое ставит вам в упрек ваше отстранение, от себя особенно, этого прекрасного дара божьего.

— Ах, этот упрек! Он похож на детские требования от няни: непременно рассказать ту самую сказку, что няня вчера рассказывала,— знаете? Непременно эту,

знакомую,—новой не надо. Я знаю, один молодой художник бросил искусство: он нашел, что теперь отдаваться искусству — просто безнравственно. Он пошел в народные учителя.

Значительно запоздав к обеду, мы возвращались уже на конках. Непременно наверху, на империале,—так он любил.

В сумерках Москва зажигалась огнями; с нашей вышки интересно было наблюдать кипучий город в эти часы особенного движения и торопливости обывателей. Кишел муравейник и тонул в темневшей глубине улиц, во мраке. Но я мысленно был далек от этой обыденности, меня глодала совесть.

— Знаете, на что похоже ваше искусство и ваше пристрастие к нему? — сказал Лев Николаевич.— Пахарю надо взорать поле плугом глубоко, а ему тут кто-то заступает дорогу, показывает копошащихся в земле червячков и говорит: «Да пощадите же вы этих, так хорошо устроившихся червячков,—ведь это варварство!» Или еще: «А неужели же вы не обойдете этих красивеньких полевых цветков?!» Вот ваше искусство для нашего серьезного времени.

II. В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

В августе 1891 года¹ в Ясной Поляне я увидел Льва Николаевича уже опростившимся.

Это выразалось в его costume: черная блуза домашнего шитья, черные брюки без всякого фасона и белая фуражечка с козырьком, довольно затасканная. И, несмотря на все эти бедные обноски, с туфлями на босу ногу, фигура его была поразительная по своей внушительности. И при взгляде на него не было уже и помину о той характеристике одного очевидца, бывшего в шестидесятых годах учителем в крестьянской Яснополянской школе: «Что? Сам Толстой? Да, но это же, батенька мой, граф на всю губернию».

По лесной тропинке мы часто ходили вместе купаться версты за две, в их купальню в небольшой речке с очень холодной водой.

Лев Николаевич, выйдя из усадьбы, сейчас же снимал старые, своей работы, туфли, засовывал их за ременный пояс и шел босиком. Шел он уверенным, быст-

рым, привычным шагом, не обращая ни малейшего внимания на то, что тропа была засорена и сучками и камешками. Я едва поспевал за ним и за эту быструю двухверстную ходьбу так разогревался, что считал необходимым посидеть четверть часа, чтобы остыть,— простудиться можно сразу в такой холодной воде.

— Все это предрассудки,— говорил Лев Николаевич, быстро снимая с себя свое несложное одеяние, и, несмотря на обильные струи пота по спине, одним прыжком бросался в холодную воду.— Ничего от этого не бывает,— говорил он уже в воде.

Я еще не успевал остыть, а он, выкупавшись, уже быстро одевался, брал свою корзиночку и шел собирать грибы один.

Да, внушительная, необыкновенная фигура: босяк с корзинкой в лесу, а осанка военного — в скорой походке и особенно в манере носить этот белый картузик с козырьком, немножко набекрень.

Грозные нависшие брови, пронзительные глаза — это несомненный властелин. Ни у кого не хватит духу подойти к нему спроста, отнестись с насмешкой. Но это добрейшая душа, деликатнейший из людей и истинный аристократ по манерам и особому изяществу речи. Как свободно и утонченно говорит он на иностранных языках! Как предупредителен, великодушен и прост в общении со всеми! А сколько жизни, сколько страсти в этом отшельнике! Еще никогда в жизни не встречал я более заразительно смеющегося человека. Когда скульптор Гинцбург на террасе у них, в Ясной Поляне, после обеда представлял перед всею семьею и гостями свои мимические типы, конечно, смеялись все. Но Гинцбург говорил потом, что даже он боялся с эстрады взглянуть на Льва Николаевича. Невозможно было удержаться, чтобы не расхохотаться, глядя на него. А я, признаюсь, забывшись, смотрел уже только на Льва Николаевича, оторваться не мог от этой экспрессии².

Чувства жизни и страстей льются через край в этой богато одаренной натуре художника.

Только мудрецы всех времен и народов, возлюбившие бога, составляют его желанное общество, только с ними он чувствует свое блаженство, только с ними он в своем кругу. Разумеется, его религиозность несоизмерима ни с каким определенным формальным культом

религий, она у него обобщается в одном понятии: бог один для всех.

В одном впечатлительном месте, в молодом лесу, над большим спуском вниз, Лев Николаевич рассказал, как в детстве они играли здесь с другими детьми, и их играми заправлял всегда старший его брат Николай. Конец целой серии игр, с одной заветной палочкой, заключился тайными похоронами этой магической палочки. Было сказано, что когда найдется эта палочка, тогда на земле наступит райская жизнь³.

— Мы все детьми обожали брата Николая и часто и подолгу искали заветную палочку,— вспоминал Лев Николаевич.

— Теперь я пойду один,— вдруг сказал Лев Николаевич на прогулке.

Видя, что я удивлен, он добавил:

— Иногда я ведь люблю постоять и помолиться где-нибудь в глуши леса.

— А разве это возможно долго? — спросил я наивно и подумал: «Ах, это и есть «умное делание» у монахов древности».

— Час проходит незаметно,— отвечает Лев Николаевич задумчиво.

— А можно мне как-нибудь, из-за кустов, написать с вас этюд в это время?

Я рисовал с него тогда, пользуясь всяким моментом. Но тут я сразу почувствовал всю бессовестность своего вопроса:

— Простите, нет, я не посмею...

— Ох, да ведь тут дурного нет. И я теперь, когда меня рисуют, как девица, потерявшая честь и совесть, никому уже не отказываю. Так-то. Что же! Пишите, если это вам надо,— ободрил меня улыбкой Лев Николаевич.

И я написал с него этюд на молитве, босого⁴. И мне захотелось написать его в натуральную величину в этом моменте. Показалось это чем-то значительным.

Татьяна Львовна уступила мне свой холст, но он оказался мал, пришлось надшивать.

Лев Николаевич великодушно позировал мне и для большого портрета (устроились ближе в саду) и даже одобрял мою работу. Вообще у Льва Николаевича есть слабость к искусству, и он увлекается им невольнo.

В один жаркий августовский день, в самую припеку, после завтрака, Лев Николаевич собирался вспахать поле вдовы; я получил позволение ему сопутствовать^б. Мы тронулись в путь в час дня. Он был в летней белой фуражке и легком пальто сверх посконной рабочей рубахи лилового цвета. На конюшне Лев Николаевич взял двух рабочих лошадок, надел на них рабочие хомуты без шлей и повел их в поводу.

За выселками деревни Ясной Поляны мы заходим на нищенский дворик. Лев Николаевич дает мне подержать за повод одну лошадку, а другую привязывает веревочными постромками к валявшейся тут же на дворе бороне — дрянненькой рогатой самодельщине. Выравнивает постромки и идет в знакомый ему сарайчик, вытаскивает оттуда соху и, повозившись с сошничками и веревочными приспособлениями, приправив их умело, как приправляют плотники пилу, он запрягает в соху другую лошадку.

Берет пальто, вынимает из его бокового кармана бутылку с водой, относит ее в овражек под кусты и прикрывает пальто. Теперь, привязав к своему поясу сзади за повод лошадь с бороной, берет в руки правила сохи. Выехали со двора и начали пахать. Однообразно, долго до скуки...

Шесть часов, без отдыха, он бороздил сохой черную землю, то поднимаясь в гору, то спускаясь по отлогой местности к оврагу.

У меня в руках был альбомчик, и я, не теряя времени, становлюсь перед серединой линии его проезда и ловлю чертами момент прохождения мимо меня всего кортежа. Это продолжается менее минуты, и, чтобы удвоить время, я делаю переход по пахоте на противоположную точку, шагах в двадцати расстояния, и становлюсь там опять в ожидании группы. Я проверяю только контуры и отношения величины фигур; тени после, с одной точки, в один момент.

Проходили нередко крестьяне-яснополянцы, сняв шапку, кланялись и шли дальше, как бы не замечая продвига графа.

Но вот группа, должно быть дальние. Мужик, баба и подросток-девочка. Остановились и долго-долго стояли. И странное дело: я никогда в жизни не видел яснее выраженной иронии на крестьянском простом лице, как

у этих проходящих. Наконец переглянулись с недоумевающей улыбкой и пошли своей дорогой.

А великий оратаюшка все так же неизменно методически двигался взад и вперед, прибавляя борозды. Менялись только тени от солнца, да посконная рубаха его становилась все темнее и темнее, особенно на груди, на лопатках и плечах от пота и черноземной садившейся туда пыли. Изредка, взобравшись по рыхлой земле на взлобок, он оставлял на минуту соху и шел к овражку напиться из бутылки воды, запроваженной слегка белым вином. Лицо его блестело на солнце от ручьев пота, струившегося по впадинам, с черным раствором пыли.

Наконец я попросил позволения попробовать пахать. Едва-едва прошел линию под гору, — ужасно накривил, а когда пришлось подниматься на взлобок, не мог сделать десяти шагов. Страшно трудно! Пальцы, с непривычки держать эти толстые оглобли, одеревенели и не могли долее выносить; плечи от постоянного поднимания сохи для урегулирования борозды страшно устали, и в локтях, закрепленных в одной точке сгиба, при постоянном усилии этого рычага делалась нестерпимая боль. Мочи не было. «Вот оно *в поте лица*», — подумал я, утираясь.

— Это с непривычки, — сказал Лев Николаевич. — И я ведь не сразу привык; у вас еще и завтра в руках и плечах скажется труд. Да, все же физический труд самый тяжелый, — добродушно рассуждал он с улыбкой.

И опять началось бесконечное тяжелое хождение взад и вперед по рыхлой пахучей земле. Вот он, Микула Селянинович, непобедимый никакими храбрецами в доспехах. Микула вооружен только вот таким терпением и привычкой к труду.

Мы возвращались к дому в сумерках; вызвездило на холод. Было уже настолько свежо, что я боялся, как бы он не простудился. Ведь его рубаха была мокрая насквозь. В окнах дома весело блистал свет: нас ждали к обеду. Я мог повторить за мухой: «Мы пахали».

III. В ГОЛОДНЫЙ ГОД

Зимой в 1892 году, во время голода, я был у Льва Николаевича в Рязанской губернии, где он кормил голодающих в организованных им столовых⁶. Снегу вы-

пало тогда невероятно много. Заносы заметали все дороги и совершенно заглаживали все, даже глубокие овраги.

Район столовых Льва Толстого раскинулся верст на тридцать, и Лев Николаевич несколько раз в неделю объезжал их для проверки.

— Не хотите ли прокатиться со мною? — пригласил он меня.

Я, конечно, с удовольствием.

— Да у вас это городская шинель, этого мало, в поле продует, надо одеться потеплее. Не наденете ли мой тулуп?

Тулуп черной овчины, крытый синим полусукном, был так тяжел — не поднять, и я решил остаться в своей шинели; попросил только еще что-нибудь поддеть. А главное — валенки.

— Непременно наденьте валенки. Что, глубокие каалоши? Нет, без валенок нельзя ехать, вы увидите. У нас запасные есть.

И действительно, я увидел (убедился на опыте) и был очень рад, что надел валенки.

День был морозный, градусов двадцать по Реомюру при северном ветре, и светом солнца слепило глаза. В деревнях от заносов появились импровизированные горы; сильным морозом они были так скованы, что казались из белейшего мрамора с блестками. Дорога местами шла выше изб, и спуски к избам были вырыты в снегу, между белыми стенами. Совсем особый, необычный вид деревни⁷.

Мы заезжали в два места. В одной большой избе во всю длину, и даже в сенях, стояли приготовленные столы, узкие, в две доски на подставках. Здесь кормилось много детей. Час для еды еще не наступил, но дети давно, уже с утра, ждали здесь обеда, околачиваясь то на лавках, то в сенях и особенно на печи, где сидели один на другом. Лев Николаевич принял отчет от распорядительниц-хозяек, и мы поехали дальше. В другом селе, пока мы доехали, нахлебники только что вставали из-за стола. Молились, благодарили и уходили не торопясь. И здесь больше подростки-дети. Взрослые как будто стыдились.

Некоторым семьям выдавали пайки — мы заехали и к таким пайщикам. В одной избе мне очень понравился

свет. В маленькое оконце рефлексом от солнца на белом снегу свет делал совсем рембрандтовский эффект.

Лев Николаевич довольно долго расспрашивал хозяйку о нуждах, о соседях. И наконец мы повернули назад, домой, но другой дорогой. Место пошло гористое. Красиво. Вдали виднелся Дон. То с горы, то на гору. Сани наши при поворотах сильно раскатывались. Весело было. Но хотелось уже и домой вернуться; сидеть в санях надоело, плечи и ноги устали.

И мы быстро несемся домой по блестяще-залосненной дороге. Лошадь постояла в четырех местах и бежала домой резво. Скрипели гужи, и ворковала дуга с оглоблями.

— Эх, мороз-морозец!

Но вот на спуске с одного пригорка наши розвальни без подрезов очень сильно раскатились, сделали большой полукруг, завернулись влево, тр-р-р! — и мы с санями потянулись назад; вдруг глубоко провалились в овраг и потянули за собой лошадь; оглоблями подбивало ее под ноги, она не могла удержаться на залосненной горе, сдавалась, сдавалась за нами назад и провалилась наконец и сама между оглоблей глубже саней; только голова из хомута торчала вверх. Побилась, побилась, бедная, и улеглась спокойно... Мягко ей стало. И мы в санях сидели уже по грудь в снегу.

Я решительно недоумевал, что мы будем делать. Сидеть и ждать, не проедут ли добрые люди и не вытащат ли нас из снежного потопа?

Но Лев Николаевич быстро барахтается в снегу, снимает с себя свой пятипудовый тулуп, бросает его на снег по направлению к лошади и начинает обминать снег, чтобы добраться к ней.

— Прежде всего надо распрячь, — говорит он, — освободить от чересседельника и оглоблей, чтобы она могла выбраться на дорогу.

Северный ветер поднимал кругом нас белое облако снежной пыли. На фоне голубого неба Лев Николаевич, барахтаясь в белом снегу, казался каким-то мифическим богом в облаках. Энергическое лицо его раскраснелось, широкая борода искрилась блестками седины и мороза. Как некий чародей, он двигался решительно и красиво. Скоро он был уже близ лошади. Тогда я, следуя его примеру, начинаю пробираться к лошади с дру-

гой стороны по краю саней и по оглоблям, чтобы помогать. Вот где я сказал «спасибо» своим валенкам! Чтобы я теперь делал в калошах? Они были бы полны снега. Какое блаженство! Вот я и у лошади.

Но с животным недалеко до беды: оно не понимает наших добрых намерений. И, отдохнув, так вдруг рванется и двигает ногами! Ушибет, ногу сломает! Я уже получил несколько чувствительных толчков от ее подкованного копыта.

А Лев Николаевич уже размотал супонь, вынул дугу, бросил ее в сани и, освободив лошадь от оглоблей, взял ее за хвост и погнал к дороге, на кручу. Лошадь взлезла на дорогу прыжками, и Лев Николаевич, не выпустив ее хвоста из рук, уже стоял на дороге; он держал ее в поводе, бросив мне вожжи, чтобы завязать ими оглобли саней и лошадью вытащить сани на дорогу.

Руки коченели от мороза и от непривычки. Трудно, но, как загипнотизированному, мне как-то все удается: я все понимаю и все делаю как надо. Завязал вожжи за оглобли, вытащил даже втоптаный в снег тулуп, взвалил его на сани и по значительно уже примятому снегу лезу с концами вожжей ко Льву Николаевичу. Он вытягивает меня на вожжах, привязывает их к гужам хомута, и наши сани торжественно поднимаются на дорогу. Какое счастье!

И во все это время ни души проезжих.

Слава богу, и сани и сбруя — все в целости, только запрячь. Лев Николаевич совершенно легко и просто проделал всю запряжку, как обычное дело, хорошо ему знакомое. Закладывается дуга, поднимается нога к хомуту, чтобы стянуть гужи тонким ремешком супони, продевается повод в кольцо дуги, завожживается лошадь, — готово. Надо было только выбить овчину тулупа. Мы взяли его за края и долго старались вытряхнуть забившийся в овчину снег. Вот тяжесть! На месте трудно удержаться во время тряски. Нельзя же его надевать со снегом... Разгорелся и я от этих упражнений, весело стало.

— Хо-ох, так вот как... — улыбнулся Лев Николаевич радостно. — Теперь, — говорит он, — мы спустимся вон с той горы и поедем Доном. Я знаю, там дорога хорошая, и внизу по реке не намечает таких сугробов. А? Каков глубокий овраг. Ужас как намело. А вы мне

хорошо помогали. Я замечаю: живописцы народ способный. Вот Ге тоже, бывало, удивительно подвижной человек, необыкновенно находчив и ловок во всех таких делах. Ну, что, вы не промерзли? — смеется он добрейшими глазами со слезинками от ветра и мороза.

По тихому Дону мы катили весело и бойко. Лошадь, полежав в овраге, отдохнула, да и дорога ровная по льду, — кати! Только левую сторону неумолимо пробирает морозным ветром. Борода моего ментора развеивается по обеим сторонам, и мы весело разговариваем о разных знакомых.

— Ну, так как же? А вы все такой же малодаровитый труженик? Ха-ха! Художник без таланта? Ха! А мне это нравится, если вы действительно так думаете о себе. Искусство очень любите и никогда его не бросите?

— Да.

— Вот так!.. Как лошадка бежит охотно... И по своим нравственным идеалам вы все еще язычник, не чуждый добродетели? Так, кажется, говорили вы? Этого мало, мало.

Вдруг я с поразительной ясностью вижу: впереди нас, шагах в тридцати, полынья. Из глубины черной воды валит морозный пар. Я оглядываюсь на Льва Николаевича, но он совершенно спокойно правит разогнавшейся лошадью. Резво мы летим прямо в пропасть. Я в ужасе...

С криком «боже мой!» я схватываю его за обе руки с вожжами, стараясь остановить.

Но где же удержаться на лету! Лошадь скользит, и мы, как в сказке, летим по пару над черной глубиной.

О счастье! Так зеркально в этом глубоком и тихом омуте замерз Дон, а снежная пыль, несущаяся поверху, делает вид пара. Я точно проснулся от тяжелого сна, и мне было так совестно.

IV. В ПЕТЕРБУРГЕ В 1897 ГОДУ

Моя академическая мастерская в Петербурге также удостоилась посещения Льва Николаевича, даже в обществе Софии Андреевны и ревностных его последователей — Черткова, Бирюкова, Горбунова и других⁸.

Было около одиннадцати часов утра, когда неожиданные гости, как буря с грозой, освежили мои работы.

Дорогие гости зашли ко мне по дороге к Черткову в Гавань, где он жил в доме своей матери. Лев Николаевич приехал из Москвы проводить Черткова за границу, куда его высылали с Бирюковым административным порядком.

И вот в моей огромной мастерской собралась группа близких, преданных Льву Николаевичу. Посетившие ходили гурьбой за учителем и слушали, что скажет он перед той или другой картиной.

Счастье выпало на долю картины «Дуэль». Перед ней Лев Николаевич прослезился и много говорил о ней с восхищением. Все смотрели картину и ловили каждое его слово⁹.

После осмотра целой гурьбой по академической лестнице мы спустились на улицу, где нас ждала уже порядочная толпа.

Соединившись, мы заняли весь тротуар и двигались к Большому проспекту, к конкам.

Кондуктор конки, уже немолодой человек, при виде Льва Николаевича как-то вдруг оторопел, широко раскрыл глаза и почти крикнул: «Ах, батюшки, да ведь это ж, братцы, Лев Николаевич Толстой!» — и благоговейно снял шапку.

Лев Николаевич, в дубленом полушубке, в валенках, имел вид некоего предводителя скифов. Что-то несокрушимое было в его твердой поступи, — живая статуя каменного века.

Удивительно! Широкие скулы, грубо вырубленный нос, длинная косматая борода, огромные уши, смело и решительно очерченный рот, как у Вяя, брови над глазами в виде панцирей. Внушительный, грозный, воинственный вид, а между тем и этот предводитель и последователи его сожгли уже давно всякое оружие насилия и вооружились только убеждениями кротости на защиту мира жизни и свободы духа.

И сам Лев Николаевич своею личностью и физиономией выражает победу духа над миром собственных житейских страстей. И глаза его ярко светятся светом этой победы.

В. Г. Чертков помещался всегда необыкновенно живописно, где-нибудь на окраинах. Красота его жилища начиналась уже с ограды — большими кудрявыми деревьями. И самый дом стоял в глубине парка. Это был

еще помещичий особняк в один этаж, расположенный очень симпатично.

Здесь, на дворе и в комнатах, его уже ждали незнакомые серьезные люди, скромно и опрятно одетые сектанты, с виду люди решительного характера, больше мужчины типа ремесленников.

В самой большой комнате скоро началось нечто вроде проповеди.

Лев Николаевич сидел в центре, кругом него, кто на чем, сидели, стояли, без всякого порядка, дамы, интеллигенты, курсистки, подростки, гимназистки, а дальше начинались те простые серьезные глаза из-под сдвинутых бровей. Само внимание.

Зал все наполнялся, образовались возвышения вроде амфитеатра к стенам и углам. Сидели, стояли не только на полу, на подоконниках, подставках, скамейках, стульях, — даже на комодах и на шкафах кое-как громоздились люди. Двери в другие комнаты также были заполнены слушателями обоего пола. И все больше простые, серьезные люди и взгляды, полные веры. Ласково, но внушительно раздавался часто вибрирующий от слез голос проповедника. И так дотемна, когда зажглись лампы, слушали его с самозабвением. И мне казалось, что у Льва Николаевича это были одни из самых желанных часов его жизни.

У. ОПЯТЬ В ЯСНОЙ

В конце сентября 1907 года я опять был в Ясной Поляне¹⁰, спустя двадцать лет после первого посещения.

Лев Николаевич был очень бодр и здоров, но появилась в нем какая-то бесстрастность праведника.

Он все понял и все простил.

Главное его внимание сосредоточено теперь на книге «Круг чтения», которую он редактирует и дополняет для нового издания¹¹. И кажется, что он только для этой книги и существует.

Утром, до девяти часов, он гуляет пешком; потом, до часу с половиною, без перерыва работает над книгой, и в это время уже никто не смеет отвлекать его. В кабинет никто не входит.

Семейство завтракает в половине первого. Один он выходит завтракать во втором часу. После завтрака спу-

скается к дереву бедных, где ждут его, иногда с утра, чающие помощи: мужчины, странницы, босяки, прохожие и иногда даже монахини.

После приема этих божьих людей Лев Николаевич садится на верховую лошадь для прогулки по окрестностям. Ездит с небольшим два часа. Возвращается часам к пяти и около получаса отдыхает перед обедом.

У меня наследственная страсть к лошадям и верховой езде, и я любил смотреть, как Лев Николаевич садится на лошадь и уезжает.

Меня возмущала профанация ездовых, лезущих на лошадь, как на избу; по лестнице сбоку, даже немножко сзади, или со скамеечки, с тумбы карабкаются они с опасностью жизни на лошадь, без всяких приемов; хорошо, что это деревенские клячи, а на строгую лошадь разве так сядете?!

Лев Николаевич подходит к лошади, как опытный кавалерист, с головы, берет, правильно подобрав, повод в левую руку и, выровняв их у гривы на холке и захватив вместе с поводками пучок холки, берет правой рукой левое стремя. Несмотря на довольно подъемный рост лошади, без возвышения, без всякой помощи конюха с другой стороны у седла, он — в семьдесят девять лет — высоко поднимает левую ногу, глубоко просовывает ее в стремя, берет правой рукой зад английского седла и, сразу поднявшись, быстро перебрасывает ногу через седло. Носком правой ноги ловко толкает правое стремя вперед, быстро вкладывает носок сапога в стремя, и кавалерист готов — красивой, правильной французской посадки.

В 1873 году мне писал Крамской, который работал тогда над портретом Льва Толстого, что в охотничьем костюме, верхом на коне Толстой — самая красивая фигура мужчины, какую ему пришлось видеть в жизни.

В этот приезд мой я сопутствовал два раза Льву Николаевичу в его прогулках верхом. На первой прогулке он направился по фруктовому саду вверх, повернул направо, выехал через окоп сада на дорогу и круто повернул к лесу, без всякой дороги. Между ветвями высоких деревьев, по густой траве, он стал спускаться в темный овраг, заросший высокой травой. Я едва поспевал за ним, ветки мешали видеть, лошадь увязала в сырой почве под травой оврага; надо было отстранять ветки от глаз и от-

валиваться назад при крутом спуске вниз. И мне вдруг стало так весело от всех этих неудобств, что я почувствовал себя очень молодым и храбрым. А впереди мой герой, как рафаэлевский бог в видении Иезекииля, с раздвоенной бородой, с какой-то особой грацией и ловкостью военного или черкеса лавирует между ветвями, то пригибаясь к седлу, то отстраняя ветки рукой.

Выехали на дорогу. Вся она густо покрыта желтыми листьями кленов и дубов, шумит под копытами.

— А вы не боитесь — хорошей рысью или проскакать? — осведомляется он кротко и ласково.

— Нет, — отвечаю я в восторге. — Как вам угодно, я не отстану, пожалуйста!

Мой лесной царь понесся быстро английской рысью. Транспарантным светом, под солнцем, особенно эффектно блестит золотом его борода по обе стороны головы. Царь все быстрее наддаёт, я за ним. А впереди, вижу, молодая береза перегнулась аркой через дорогу, в виде шлагбаума. Как же это? Он не видит? Надо остановить... У меня даже все внутри захолонуло... Ведь перекладина ему по грудь. Лошадь летит... Но Лев Николаевич мгновенно пригнулся к седлу и пролетел под арку. Слава богу, не задел. Я за ним — даже по спине слегка ерзнула березка.

«Вот бесстрашный и неосторожный человек! Это неблагоприятно», — подумал я.

Но скоро и я привык к этим заставам. В молодом лесу на нашей дороге их было более двадцати.

Проезжали казенным лесом, где было много брошенных заросших и полужаросших ям, — из них добыто железо и чугун.

Потом Лев Николаевич показал мне два провала в огромном дубовом лесу. Еще во времена его юности эти места провалились так глубоко, что самые высокие дубы, стоявшие на них, были видны только вершинками, когда вода тотчас же залила эти провалы. Теперь на середине этих мест образовались острова, и на них вновь растут уже довольно высокие дубы. Мы спускались вниз к ручью. Природа богатейшая. Пожелтевшие колоссальные клены, порыжевшие дубы-великаны, и целая долина леса уходила по склону вдаль. В эту сухую осень золото листвы, с серым серебром мелких ветвей, особенно от осин, блестело кое-где на солнце и создавало чудо.

Какой художественный и новый мотив! Точно из металла все было выковано тонко на голубой эмали осеннего густого, синего неба.

— А что же вы так совсем не восхищаетесь природой,— упрекает меня ласково Лев Николаевич.— Посмотрите, как здесь красиво!

— Перед такой природой молчать хочется,— отвечаю я.— Только ведь у вас в парке, кругом усадьбы, особенно с вашего балкона, еще красивее.

Я даже не воображал встретить в наше время в России такие богатства природы! Этакие колоссы дубы! Вчера сейчас за парком мы вдвоем не могли обнять одного дуба; и ведь это тянется без конца, целый лес!

С горки Лев Николаевич вдруг быстро рысью пустился к ручью. У ручья его лошадь взвилась и перескочила на другую сторону. Я даже удивился; съезжаю — но тише — и намереваюсь искать местечка переехать ручей вброд.

— А что, запнулись? — оглянулся, смотрит на меня Лев Николаевич.— Вы лучше перескочите разом. Наши лошади привыкли. В ручье вы завязнете — топко, это даже небезопасно... Ничего, ничего, вы его обласкайте; завернитесь немного назад и разом понукните его. Я знаю, он скачет хорошо.

Никогда еще мне не приходилось скакать через такой ручей, и мне стало стыдно. Ну, думаю, будь что будет... И опять, как загипнотизированный, стараюсь проделать по-сказанному. И так приготовился к скачку, что даже не узнал самого момента, а это — как большой раскат на качелях — даже приятно; только уж очень скоро.

— Ну, вот,— сказал с довольной улыбкой Лев Николаевич.— Да вы недурно ездите и сидите в седле как-то крепко.

Усмехнулся.

— Лу-у-чше, лу-у-чше, чем в шахматы играет. А вот Чертков здесь свалился. Но он не виноват: лошадь ногой завязла — он ведь отличный кавалерист-конногвардеец! А лошадь под ним упала и даже ногу ему отдала. Я уж тут его вытаскивал, и он даже пролежал немного с ногой.

В. Г. Чертков — человек огромного роста и довольно тучный.

Во вторую поездку мы сделали, по словам Льва Николаевича, верст семнадцать. Ехали и напрямик лесом, и по едва заметным дорожкам, и совсем без дорог. Наконец Лев Николаевич объявил, что он потерял дорогу...

— Ну, это ничего, кстати и домой пора. Теперь я отпущу ей поводья, и она нас выведет к дому, вот заметьте.

И мы, уже скорым шагом, подвигались по воле лошадей, чтобы не сбить их с пути. Впереди, как всю дорогу, шла лошадь Льва Николаевича. Проехали версты четыре, лошадь повернула между кустами влево.

— Что же это? — остановил лошадь Лев Николаевич. — Здесь, кажется, надо прямо, что это он повернул влево? Кажется, надо прямо.

Едем прямо. Проехали с полверсты. Льва Николаевича берет сомнение.

— Нет, нет... Я напрасно остановил. Это я его спугал, надо назад, назад!.. Вот видите, не надо было его сбивать.

Проехали полверсты до прежнего места. Конь опять ворочает направо в том же месте.

— Вот, конечно, конь прав. Как это я не узнал этого места? Вот и дорога, верно! Вот видите, они лучше нас эти вещи знают.

Скоро показалось большое поле озимой ржи чудесного темно-изумрудного цвета. Лев Николаевич сворачивает напрямик по зеленым; вдали завиднелась уже усадьба Ясной Поляны.

— А как же это, — осторожно замечаю я, — мы по хлебу? Ведь это рожь.

— Да это теперь ей ничего. Это всегда; вот и на охоте, бывало: это нипочем; даже скот пасется на озими в морозные дни.

Мы возвращались высокими холмами полей, то спускаясь с горы, то поднимаясь. И я дивился ловкости наездника в семьдесят девять лет. В очень крутых местах, где я приспособлялся с трудом, он съезжал без запинки, незаметно.

— Знаете, на этих крутых подъемах надо держаться за гриву и хорошенько прижимать коленями седло к лошади, — предупреждает меня Лев Николаевич, — а то, иногда бывает, лошадь очень вытянется, подпруги ослабнут, и седло может свалиться. Седок тогда, если держит-

ся только за повод, может свалиться и лошадь повалить назад.

Усадьба уже была близко, за дорогой. Солнце свежими розоватыми лучами резко рисовало контуры Льва Николаевича и его гнедой лошади. Съехав вниз, на дорогу, Лев Николаевич вдруг пустился в карьер. Мне показалось это против правил: и близко к дому, и лошади уже были достаточно горячи. И все-таки *подъем* к усадьбе.

Но уж тут моего Казака — имя моей лошади — удержать было невозможно, так он меня подхватил. Мы проскакали восхитительно. Сколько героизма и задору в характере лошадей! Мой Казак вошел прямо в раж от скачки! Дошел до полной анархии, отверг мое почтительное положение сопровождающего несколько сзади, каким держался я всю дорогу, и обскакал лошадь моего ментора. Невозможно было удержать его на трензеле. Он горел каким-то бурным пламенем подо мной и казался как из раскаленного железа; сильно чувствовалось, как под седлом мускулы его ходили ходуном. Здорово прокатились!

У крыльца Лев Николаевич совсем молодцом соскочил с коня, и я почувствовал, что и я на десять лет помолодел от этой прогулки верхом.

О ГРАФЕ ЛЬВЕ НИКОЛАЕВИЧЕ ТОЛСТОМ

(Мои личные впечатления и воспоминания)

1

Летом в Ясной Поляне Лев Николаевич встает в десять — десять с половиной часов. Умывшись и надев всегда одну и ту же черную блузу, он пьет кофе, чай в обществе жены. Пьет вдоволь, не торопясь. Если хорошая погода, чай сервируется на открытом воздухе, в саду, между акациями, под большой, развесистой липой; если дождик, — графиня ждет Льва Николаевича в гостиной.

Окончив чай и закусив парой яиц всмятку, Лев Николаевич идет вниз, в свой небольшой кабинет, заставленный весь очень тесно книжными шкафами простой работы, и погружается там в умственную работу.

Занимается он усидчиво, серьезно до трех и более часов; после идет на полевую работу, если она есть. Полевые работы не всегда бывают, и работает граф только в пользу бедных, слабых, вдов и сирот. Если полевой работы не предвидится, Лев Николаевич берет корзиночку и идет в лес собирать грибы, это дает ему часы уединения с природой и самим собою.

Случается, что это время от трех до шести часов он отдает какому-нибудь заезжему гостю. Знакомые и совсем незнакомые люди, иногда из очень далеких краев России и других стран, приезжают к нему нарочно, по самым разнообразным вопросам жизни.

В его душевной беседе и отзывчивом сердце эти ищущие люди всегда находят много утешения, разъяснений и глубоко разумных истин.

К шести часам Лев Николаевич возвращается к обеду в свою многочисленную семью, состоящую из десяти детей всех возрастов, начиная от двадцатилетнего старшего сына, кончая двухлетним младенцем. Надо прибавить к этому гостей, товарищей сыновей, кузин, подруг дочерей, учителей, гувернанток и заехавших иногда приятелей графа и графини. Большой белый зал старого графского дома, увешанный фамильными портретами предков, весь пересекается огромным столом и наполняется во время обеда веселым, громким разговором всех возрастов и всевозможных интересов.

После обеда Лев Николаевич перебирает и перечитывает привезенный только что из Тулы большой ворох писем, журналов, брошюр и разных корреспонденций со всего света. В этом очень утомительном деле Льву Николаевичу помогает его старшая дочь, Татьяна, она же часто пишет и ответы по инструкции отца.

Вечером, часов в девять, вся семья, за исключением малолетних, которые идут спать, собравшись опять в зал к вечернему чаю и фруктам, устраивает самые разнообразные развлечения. Или это бывает литературное чтение — читает большею частью сам Лев Николаевич, читает он хорошо: просто, выразительно и необыкновенно завладевает всеобщим вниманием. Или пение — аккомпанирует чаще всего сам Лев Николаевич, с большим тактом помогая певице. Или устраивается музыка; молодой скрипач из Московской консерватории, преподаватель музыки детям Льва Николаевича, — на скрипке, а

старший сын графа — на рояле исполняют какую-нибудь музыкальную пьесу, большею частью Бетховена. Играют всегда с большим энтузиазмом, какой встречается только у любителей, и часто очень удачно.

Сам Лев Николаевич очень любит музыку, хорошо ее знает, сопровождает игру очень вескими замечаниями и нередко бывает растроган до слез патетическими пассажами музыки. Случалось, что после какой-нибудь впечатлительной сонаты Лев Николаевич рассказывал нам целую драму, которая рисовалась ему во время исполнения пьесы¹.

Молодежь, дети и племянницы Льва Николаевича, составляют из себя часто целый цыганский хор, с гитарами. Они очень близко подражают захватывающей страстности цыган, переливам, замирианиям и пронзительным взвизгиваниям цыганок, хватающим за душу. Этим особенно отличается вторая дочь графа, Мария — вегетарианка, строгая последовательница жизненной теории отца, неутомимая работница в поле с крестьянами; стройная, высокая, худенькая блондинка, с чисто русским типом лица.

После двенадцати часов семья расходится спать.

2

Лев Николаевич необыкновенно искренне и горячо увлекается всяким занятием. Я был свидетелем его неутомимой, трудной работы в поле. От часу дня до самых сумерек, восьми с половиной часов вечера, он неустанно проходил взад и вперед по участку вдовы², направляя соху за лошадью и таща другую, привязанную к его ременному поясу, лошадь с бороной; он запахивал, «раздывал» поле. Пот валил с него градом, толстая посконная рубаха, одеваемая им на полевые работы, была мокра насквозь, а он мерно продолжал. Плоскость была неровная: надо было то всходить на гору, то спускать соху под гору с осторожностью, чтобы не подрезать задние ноги лошади. Внизу, в овраге, лежала бутылка воды с белым вином, завернутая в пальто графа от солнца; иногда он, весь мокрый, отпивал наскоро из этой бутылки, прямо с горлышка, и спешил на работу.

Часто во время подъема на гору побледневшее лицо его, с прилипшими волосами к мокрому лбу, вискам и щекам, выражало крайнее напряжение и усталость, а он, поравнявшись со мной, каждый раз бросал ко мне свой приветливый, веселый взгляд и шутовское словцо. Я попросил его наконец дать мне соху попробовать попыхать. Он сообщил мне необходимые правила, и я пошел. Сначала мне показалось легко; но, от неумелости держать соху на равномерной глубине в земле и в то же время следить за правильностью борозды и за шагом лошади, я начал спутывать линию борозды, соха то врезывалась очень глубоко, то скользила поверх, и я, собрав всю свою выдержку, едва дотянул второй подъем на гору и возвратил соху хозяину, вспотев и устав до невероятности от непривычного труда; правда, и день был жаркий, 9 августа.

Я вспомнил про свой карманный альбомчик и зарисовал графа пашущим, в двух позах, ловя моменты, пока он проходил близко мимо меня.

Поздно в сумерках кончил он наконец второй участок вдовьей земли. С оврага подымался уже сырой туман, и я боялся, чтобы Лев Николаевич не простудился. Он надел пальто сверх промокшей насквозь рубахи, и мы отправились домой.

Лев Николаевич был в самом счастливом расположении духа, в голосе его слышалась переполненность благостью душевной, без всякой сентиментальности. «Меня удивляет,— говорил он,— как это люди лишают себя самого блаженного состояния, самых счастливых часов жизни — часов полевого труда. Сознание несомненно принесенной пользы, сладкое утомление, превосходный аппетит и крепкий сон — вот награда полемому работнику».

Голос его звучал необыкновенно глубоко и трогательно. Он говорил много интересного: о пустоте, измелчании человечества в городах, о их пустозвонной, фальшивой суете и крайнем нравственном и физическом бессилии и развращенности горожан.

А между тем сделалось совсем темно, дорога исчезла и только вызвездившее мириадами бездонное небо помогало нам не спотыкаться в колеях. Мы были в самом счастливом, блаженном настроении, хотя я уподоблялся мухе на рогах пахавшего вола.

Однако по приходе домой графиня немножко отрезвила нас и заставила присмиреть. В самом деле, вся многочисленная семья, с гостями и детьми, ждала нас до половины восьмого — мы пришли в девять. Переспевший обед, долгое голодание детей — все это вещи, неприятные для матерей и хозяек; но, главное, графиня ни на минуту не могла забыть, что Лев Николаевич только что оправился от серьезной болезни, простуды желудка, происшедшей от такого же, как и сегодня, непомерного увлечения тяжелой работой в поле.

Доктор положительно запретил ему такие большие дозы физического труда. Что молодому Льву Николаевичу сходило благополучно, теперь каждый раз грозило каким-нибудь серьезным недугом. Она была права.

Надо сказать несколько слов и о графине. Высокая, стройная, красивая, полная женщина с черными энергичными глазами, она вечно в хлопотах, всегда за делом. Большое, сложное хозяйство целого имения почти все на ее руках. Вся издательская работа трудов мужа, корректуры типографии, денежные расчеты — все в ее исключительном ведении. Детей она обшивает сама и Льву Николаевичу сама шьет его незатейливое платье; сапоги себе он шьет сам. Всегда бодрая, веселая, графиня несколько не тяготится трудом, и я видел, как она в свободные часы стегала ватное платье какой-то выжившей из ума дворовой женщине. Казалось невероятным, как эта не первой молодости графиня, повергшись всем своим красивым корпусом над разостланной в зале материей, в продолжение нескольких часов, не разгибая спины, работает так, как не работает ни одна женщина в бедной семье.

Графиня наделена живым, реальным умом и необыкновенно острым взглядом. Во время писания мною у них портрета с Льва Николаевича самые верные замечания были сказаны ею — быстро, на лету, без всякой претензии.

Иногда я не удерживался от удивления при меткости ее замечаний. Тогда она с грустью говорила, что прежде и Лев Николаевич слушался ее замечаний в его беллетристических трудах, но теперь, с тех пор как он перешел на философию, он уже избегает ее и не делится с ней своими идеями. «По-моему, это совсем не его дело», — говорит она нетерпеливо.

Во всем, что касается семейных и хозяйственных дел, Лев Николаевич всегда советуется с ней и очень ценит и любит ее как верного, преданного друга. Сам он устранился от всех хозяйственных дел и в семейных вопросах необыкновенно добр и до крайности терпелив. Дети его страстно любят.

3

Беседы Льва Николаевича производят всегда искреннее и глубокое впечатление; слушатель возбуждается до экстаза его горячим словом, силой убеждения и беспрекословно подчиняется ему. Часто на другой и на третий день после разговора с ним, когда собственный ум начинает работать независимо, видишь, что со многими взглядами его нельзя согласиться, что некоторые мысли его, являвшиеся тогда столь ясными и неотразимыми, теперь кажутся невероятными и даже трудно воспроизводимыми, что некоторые теории его вызывают противоположные даже заключения, но во время его могучей речи этого не приходило в голову.

В Москве я жил недалеко от квартиры Льва Николаевича и часто после работы, под вечер, отправлялся к нему, ко времени его прогулки.

Не замечая ни улиц, ни усталости, я проходил за ним большие пространства. Его интересная речь не умолкала все время, и иногда мы забирались так далеко и так уставали наконец, что садились на империал трамвая, и там, отдыхая от ходьбы, он продолжал свою интересную беседу. Как часто я жалел, что не был стенографом: сколько глубоких мыслей, метких характеристик и вечных истин высказывал он над явлениями жизни, политики, литературы и искусств.

В моей мастерской, стоя иногда перед начатой мною картиной, он поражал меня совершенно неожиданными и необыкновенными замечаниями самой сути дела; освещал вдруг всю мою затею новым светом, прибавлял животрепещущие детали в главных местах, и картина чудесно оживлялась. Чувствовался огонь гениального художника. Такое же действие производил он и на товарища моего, художника Сурикова, который жил по соседству; встретившись с ним и сообщив друг другу

замечания Толстого, мы чуть не лезли на стену от восторга — так он нас подымал!..

В Ясной Поляне однажды встретили мы босого мужичонку, что называется «заморуха». Он шел к Льву Николаевичу за пособием, просить семян, посеяться.

— Хорошо, тебе дадут,— сказал ему кротко Лев Николаевич.— Я попрошу, ты через час придешь к приказчику и получишь.

Заморух поблагодарил апатичным кивком почти безбородой головы и побрел назад, подковыривая босыми пятками.

— Вот,— сказал Лев Николаевич,— этот Трофим к зиме по миру пойдет.

— Как, неужели? — спросил я.— Да разве ему нельзя помочь?

— Что вас это так удивляет? — сказал спокойно Лев Николаевич.— В народном быту у нас это вовсе не так страшно. Зиму он будет питаться с семьей кусочками — будут сыты, будут и работать; а к будущей осени урожаям бог даст и поправится. У него было много несчастий: пала корова, угнали лошадь и, главное, была долго больна жена, а она у него сильная работница. Сам-то он плохой, забитый, а жена молодец, ею только он и жил.

— Но, мне кажется, Лев Николаевич, нищенство возвращает, деморализует людей, ведь он обленится,— возразил я.

— О, совсем нет, вы судите как горожанин. «От тюрьмы да от сумы не отцураться» — говорит пословица. Сума — это есть дно для каждого утопающего крестьянина; он опускается на это дно, становится ногами, упирается в него и опять выталкивается наверх. Не беспокойтесь, поправится, будет работать и пойдет понемногу. Это часто бывает. И ведь это особенное нравственное состояние человека простого. Он смиряется, входит в себя, раскаивается во многих ошибках; возбуждаются в это время все его умственные и душевные силы и служат хорошим лекарством слабой воли и нерадения. И, знаете ли, это особенная, внутренняя сладость смирения — почти лирическое состояние души, оно возвышает простого человека.

Да, бедность, нищета — это великие учителя жизни.

В самом деле, и мне рисовалась глубоко нравственная повесть из крестьянской жизни. Дошедшая до нищенства семья смирением, трудом и прилежанием снова приходит к благосостоянию. Но после, в раздумье, мне стало приходить в голову, уже не скуп ли Лев Николаевич и не туг ли он на помощь ближним.

Однажды в сумерках, разыскивая графа, косившего в поле, я попросил деревенского мужичка провести меня в поле, где работает граф. По дороге мы разговорились, и я спросил у него, каковы гр. Толстые, помогают ли они крестьянам в нужде?

«Это уж что говорить, грех сказать что-нибудь — отцов родных не надо, — сказал он серьезно и строго. — Ни в чем нам отказу нет. А два года назад тут пожар сильный был, полдеревни выгорело, так граф все новые избы построил и на обзаведение по двадцать пять рублей дал погоревшим. Известно, у кого дочиста все сгорело, по-нашему, по крестьянству значит».

И она добра, добра! Друг дружку стоят, надо правду сказать. Лев Николаевич нередко навещает в деревне больных, а также и здоровых. Однажды я сопровождал его. Больных мы обошли в обществе медика, студента Московского университета 5-го курса³. Этот молодой человек был последователь Толстого, лето он провел на покосе, с крестьянами, работая все время за установленную плату рабочим наравне с косарями. Теперь он возвращался в университет к началу лекций. Пространство верст триста он делает пешком, до Москвы. Сначала, рассказывал он, к нему косари относились недоверчиво, считали его то за писаря, то за рассчитанного приказчика, но, когда он своими советами помог несколько раз заболевшим, к нему стали относиться с большим уважением. Под конец его очень полюбили за тихий характер и считали за фельдшера. При нас он осмотрел и выслушал тщательно старуху, больную воспалением кишок, давал советы, прописывал лекарства.

Аптека у Толстых своя. Иногда дочери графа ухаживают за беспомощными больными; носят им легкую пищу и лекарство.

Посещение здоровых было гораздо приятней. Возвратившиеся только что с поля вечером крестьяне были веселы; они шутили запросто с барином, графом, и незаметно переходили на нравственные вопросы жизни

о душе, когда вспоминали о прочитанных книжках, которыми наделяет их граф. Эти пожилые уже люди все были грамотны, все они выучились здесь же в Ясной Поляне, у этого же графа Льва Николаевича. И им очень хорошо уже были известны многие нравственные вопросы жизни, занимавшие так его.

В сумерках мы зашли к одному страстному грамотею мужику⁴. Он сидел на пасеке и, высоко подымая книгу к глазам и свету, не мог оторваться от строк. Увидав Льва Николаевича, он быстро, радостно заговорил книжным языком, под сильным впечатлением только что читанного. «Читаю биографию художника Иванова-с». И он негодовал на несправедливость судьбы к истинным талантам в чиновном Питере, погрязшем в интригах, бесчувственном... Лев Николаевич прервал его.

— Ну, что, барышня уехала? — спросил он.

— Уехала, уехала!.. Так мать родную не провожают, как мы ее провожали.

— Ну, а что, каков она человек? — спросил Лев Николаевич.

— Она, то есть человек очень, очень хороший человек она! Посудите сами, ваше сиятельство; мы в поле — она у нас и детей уходит, ведь, извините, маленькие; всего тут... и накормит малых,— и самовар поставит, и все готово, как нам вернуться с поля. Такая барышня, так просто удивленье одно!.. И книжки хорошие давала читать. А это у меня старая: «Русский вестник» шестьдесят второго года; да что делать, нечего читать. Нет ли у вас еще чего новенького, ваше сиятельство?

Лев Николаевич обещал прислать ему. Эта барышня была одна из многочисленных теперь последовательниц учения Толстого. Они летом, во время страды, приезжают в деревни и помогают крестьянам по дому, у кого некому присмотреть за хозяйством и за малыми ребятами, моют им белье и стряпают обед.

Последователей у Льва Николаевича делается все больше и больше. Люди самых разнообразных профессий и возрастов приезжают к нему за советом. Часто зайдет и странник по святым местам, то наконец придет к нему целая группа странников и странниц затем только, чтобы посмотреть на него. Он дарит им на память книжечки для народа, изд. «Посредника», большей частью сочинения его и его последователей.

Однажды утром прервал наш сеанс какой-то приехавший господин с женой — просил видеть наедине Льва Николаевича.

Через час Лев Николаевич вернулся очень возбужденный и даже несколько сконфуженный.

— Можете представить, молодой человек перед окончанием курса женился... женился на проститутке, по страстной любви, и теперь желает обратить ее на путь истины, — говорил вполголоса Лев Николаевич. — Безнадежнейшее существо! В ней глубоко укоренился нигилизм жизни, настоящий страшный нигилизм. «Верите ли вы в бога?» — спрашиваю ее. «Нет», — отвечает почти нагло. Сколько ни старался, кажется ничем не удалось ее растрогать — погибшее существо... Жаль его, кажется хороший и даровитый человек.

Лев Николаевич очень любил обходиться без помощи прислуги. И когда семья его на зиму переезжает в Москву, он остается иногда еще целый месяц в Ясной Поляне совсем один. Сам себе ставит самовар и делает все горячее. Он особенно любит это свое одинокое время. Говорит, что из поставленного самим самовара чай несравненно вкуснее. Зайдет к нему какой-нибудь прохожий, странник, зазовет он его, накормит, напоит и так-то хорошо бывает, тепло, любовно. Больше простору, больше свободы душевным интересам.

1888, сент.

В. ГИЛЯРОВСКИЙ

СТАРОГЛАДОВЦЫ

I

Сырым осенним утром на усталой кляче ночного извозчика-старика, в ободранной пролетке я тащился по безлюдным переулкам между Пречистенкой и Арбатом. Был девятый час утра. Кухарки с корзинками, полными провизии, семенили со Смоленского рынка; два пригостишки неторопливо путались в подолах своих серых шинелей, сшитых с расчетом на рост... На перекрестке, против овощной лавки, стояла лошадь в телеге на трех колесах; четвертое подкатывал к ней старичок огородник в белом фартуке; другой, плотный, бородатый мужчина в поношенном пальто, высоких сапогах и круглой драповой шапке, поднимал угол телеги. Дело, однако, не клеилось. Толстая лавочница, стоявшая у двери в лавку, равнодушно лущила подсолнухи, выплевывая скорлупу на узенький тротуар. На земле валялся картофель, выпавший из телеги, а ей и горя мало! Лущит да поплевывает. Я спрыгнул с пролетки, подбежал, подхватил ось, а старателя в драповой шапке слегка отодвинул в сторону:

— Пусти, старик, я помоложе!

Я поднял угол телеги, огородник ловко накатил колесо на ось и воткнул чеку. Я прыгнул обратно в пролетку. Поехали.

Мой извозчик, погоняя клячу, смеялся беззубым ртом и шамкал, указывая кнутом назад:

— Граф-то как старается!

— Какой граф?

— Да вон, у телеги.

Я оглянулся.

Оба старика подбирали с мостовой картофель. Лавочница по-прежнему лушила семечки.

— И чего только ему надо? К нам в Дорогомилово приходил надясь работать. Наш хозяин, Козел, два пятака дров купил, свалил их на улице и нанял нас перетаскивать во двор и уложить в поленницы, а граф тут как тут: давайте, говорит, ребята, я помогу... Мы дрова таскаем, а он укладывает. Поработал и денег не взял. Потом наши ребята его видели на Красном лугу, — с золоторотцами из Аржановки¹ тоже дрова укладывал...

Старик болтал всю дорогу, пока я не отпустил его на Арбате. Но и получив деньги, он все продолжал говорить:

— Свой дом в Хамовническом переулке, имение богатое... Настоящий граф — Толстов по фамилии...

Я тогда не обратил внимания на слова старика и тотчас забыл о них.

Прошло два года. Я работал в «Русских ведомостях». Они еще помещались в наемной квартире, в доме Мецгера, как раз на переломе несуразного Юшкова переулка между Мясницкой и Сретенкой. Редакция помещалась в доме, выходящем на улицу, а типография занимала большой корпус в глубине двора. Вот туда-то я и шел, чтобы сдать в набор заметки, так как происходило это утром, когда в редакции обычно никого не бывало. Впереди меня к редакционному подъезду подошел плотный человек в поношенном драповом пальто, высоких сапогах и драповой шапке, как-то знакомо нахлобученной. И вся фигура сзади показалась мне знакомой: видал где-то! Человек входил в подъезд, когда я шел мимо. Затворяя дверь, на миг он повернулся, и я увидел бородатое лицо. Где я его видел? Пробыв минут пять в типографии, я забежал в редакцию посмотреть газеты. Швейцар в очках читал «Московский листок».

— Никого еще нет?

— Никого. Вот сейчас только Лев Николаевич заходил, спрашивал Василия Михайлыча².

— Кто?

— Граф Толстой... Да как вы его не встретили? Сей минут вышел.

А! Так вот кому я когда-то помог колесо надеть!

Я совершенно забыл об этой встрече, да и думать никак не мог, что знаменитый писатель ходил в Дорогоми-

лово дрова в пятерики укладывать и одевался так бедно. Я полагал, что он живет в своей Ясной Поляне, и не знал, что, когда мы встретились, он уже переехал в Москву.

Познакомился я со Львом Николаевичем уже в собственном доме редакции, в Чернышевском переулке, и потом встречался не раз, но, конечно, никогда не напоминал о первой встрече. Раза два по утрам я встречал его, всегда одного, на утренних прогулках. Зная мое прошлое по рассказам и очеркам в «Русских ведомостях», он всегда меня расспрашивал о бурлацкой жизни, о степях, об охоте на Кавказе.

Как-то — это было в конце 90-х годов — я встретил Льва Николаевича на его обычной утренней прогулке у Смоленского рынка. Мы остановились разговаривая. Я шел в редакцию «Русской мысли», помещавшуюся тогда в Шереметьевском переулке, о чем, между прочим, и сообщил своему спутнику.

— Вот хорошо — напомнили; мне тоже надо туда зайти.

Пошли. Всю дорогу на этот раз мы разговаривали о трущобном и бродяжном мире. Лев Николаевич расспрашивал о Хитровке, о беглых из Сибири, о бродягах. За разговором мы незаметно вошли в редакцию, где нас встретили редакторы В. М. Лавров и В. А. Гольцев.

При входе Лев Николаевич мне сказал:

— Я только на минуточку.

И действительно, хотя Лавров и Гольцев просили Льва Николаевича раздеться, но он, извинившись, раздеться отказался и так и стоял в редакции в шапке с повязанным сверх нее башлыком.

Весь разговор продолжался не более двух-трех минут, и мы вышли.

День был морозный, что-то около двадцати градусов, у Льва Николаевича заиндевели борода.

— А у меня к вам просьба. Вы этот мир хорошо знаете, и я даже думал о вас и очень рад, что мы встретились. Дело в следующем: я получил на этих днях очень интересную рукопись из Сибири: арестант один рассказывает о своей жизни... Очень занимательно и литературно написано. Просит напечатать и, конечно, желает что-нибудь получить. Я прочел рукопись внимательно,

но мне некогда заняться ей как следует. Просмотрите ее и отдайте куда-нибудь в газету. Если заплатят ему рублей десять — пятнадцать, и то хорошо.

Рукопись на следующий день принес мне сын Льва Николаевича, Андрей Львович. Я внимательно прочел ее. Она имела дату: «18 октября 1899 г., Каинск Томской губ.», в начале и конце было обращение ко Льву Николаевичу, а посредине помещалась интереснейшая исповедь арестанта Лизгоро³...

Обращение к Льву Николаевичу заканчивалось словами:

«Согласен все то, что изложено, пустить в печать; если нужно, переделать и исправить, изменить фамилии действующих лиц, пишу с целью материальной поддержки голодающей семье».

Прочитав рукопись Лизгоро, о деяниях которого я слышал раньше, я на следующий же день переслал ему двадцать пять рублей, упомянув в письме, что рукопись получил от Льва Николаевича, а сам отправился к Толстому и сказал об этом, отдав почтовую квитанцию.

— Зачем вы сами это сделали? И так много вдобавок! Лучше бы напечатать. Интересно!

Я кое-что знал о Лизгоро и ответил Льву Николаевичу, что в письме слишком многое присочинено и обо многом недосказано.

— Все равно — интересно прочиталось бы. Во всяком случае очень вам благодарен. Да ему, думаю, больше ничего и не нужно, кроме денег.

И Лев Николаевич оказался прав. Вскоре я получил от Лизгоро из тюрьмы благодарственное письмо, из которого было видно, что он очень доволен, о чем я и сообщил Льву Николаевичу.

— Я был в этом уверен, — сказал он и добавил: — А все-таки когда-нибудь напечатайте!

Украинский ученый исследователь Запорожья, Д. И. Эварницкий тогда читал в Московском университете историю Малороссии и часто просил меня:

— Ты знаком со Львом Николаевичем Толстым, бываешь у него, сведи меня когда-нибудь к нему. Моя заветная мечта — повидать его.

И вот однажды после такой просьбы я предложил

ему поехать сейчас же,— было около семи часов вечера,— но он отказался:

— Надо его предупредить, а то вдруг так, сразу.

Но я уговорил Эварницкого, и через полчаса мы были уже в хамовническом доме и поднимались наверх, по-слав заранее визитные карточки.

Мы вошли в кабинет. Лев Николаевич встал с кресла, поднял руки кверху и, улыбаясь, сказал:

— Вот они, запорожцы! Здравствуйте!

Мы просидели более часа. Эварницкий заинтересовал Льва Николаевича своими рассказами о Запорожье. Лев Николаевич, в свою очередь, припоминал о своей жизни у гребенских казаков, а потом разговор перешел на духовоборов и штундистов. Последних Эварницкий знал очень хорошо.

Но мне слушать этот совершенно не интересный для меня разговор было скучно. Я вынул табакерку — хлопнул двумя пальцами по крышке, открыл и молча предложил Льву Николаевичу. Он тоже молча взял табакерку у меня из рук, заправил изрядную щепотку в свой широкий нос — в одну и тотчас же в другую ноздрю, склоняя при этом голову то вправо, то влево, и громко чихнул. Эварницкий, перебитый, должно быть, на самом интересном месте своего повествования, удивленно посмотрел на него, но Лев Николаевич уже оправился и, закрыв табакерку, проговорил:

— Ну и крепок!

Он снова чихнул в платок и обратился к Эварницкому:

— Я ведь только у него и нюхаю. Очень табак хорош! Боюсь, как бы не привыкнуть...

И снова чихнул, затем передал мне табакерку, погладив ее, как всегда, по крышке, и опять обратился к Эварницкому:

— А знаете, профессор, если бы все курильщики бросили курение и перешли на нюханье — наполовину бы у нас меньше пожаров было и вдвое больше здоровых людей...

II

Пребывание Льва Николаевича Толстого в дни его юности в гребенских казачьих станицах, впечатления, рожденные в широкой вольной душе особыми условиями

боевой и свободной жизни среди опасностей и патриархальной простоты казачества, ярко отразились на всем его последующем творчестве. Вспомним его произведения «Казачи», «Набег», «Рубка леса» и «Встреча в отряде». Вечное его стремление опроститься зародилось там же, в этих станицах, среди самобытных людей. Я думаю, что и умереть ему хотелось там же.

Недаром ведь, когда, через шестьдесят лет после того как он жил в этих местах, Толстой ушел из Ясной Поляны, покинул роскошь, славу и почет, железнодорожный билет, найденный в его кармане, был до Владикавказа: он стремился в казачьи станицы!⁴ Там, на воле, в жизненной простоте, в тихой пустыне, он искал, видимо, последнего покоя... Эти глухие станицы гребенские до самой революции хранили старинный уклад во всей его неприкосновенности, с казачьими обычаями и той простотой быта, которые так ярко описаны Львом Николаевичем в его чудесной повести «Казачи».

Мне посчастливилось найти человека, который помнил Льва Николаевича, когда тот жил в Старогладовской станице.

И вот его-то рассказы я вполне точно передаю здесь. Это единственный современник, который мог что-либо рассказать о жизни Льва Николаевича в то время, когда на него обращали внимания столько же, сколько на всякого юнкера, стоявшего со своей частью в станицах. А там солдат недолюбливали, особенно в гребенских станицах, населенных старообрядцами своеобразно строгой жизни, соблюдавшими свои обычаи и верования.

В своем письме к гр. Сергею Николаевичу Толстому от 23 ноября 1853 года Лев Николаевич, между прочим, упоминая о своем брате Николае, который увез из станицы гончих собак, говорит:

«Мы с Епишкой часто называем его за это «швиньей».

Этот Епишка, неразлучный друг Льва Николаевича, удалец-казак былых времен, и есть тот самый Ерошка, который выведен как живой в повести «Казачи». И вот сверстник Льва Николаевича, о котором я говорю, хорошо помнил Епишку и много мне о нем рассказал.

Эту встречу я записал подробно в Ессентуках в 1910 году и здесь передаю в том виде, как я набросал ее тогда под свежим впечатлением:

Ессентуки, 19 июня.

Редко бывают такие встречи. Давно обратил мое внимание старый терец, офицер с солдатским георгием и кавказским крестом. Мы разговорились. Оказался исконный гребенской казак Кирилл Григорьевич Синюхаев, родом из Старогладовской станицы. Я знал, что это и есть та самая Новомлинская станица, которая описана в повести «Казак».

Я помню, что несколько лет назад к Льву Николаевичу приезжал гребенской казак-офицер, но то был молодой человек, а мой собеседник — однолеток Льва Николаевича, ему далеко за семьдесят, но это бодрый, энергичный старик, на вид гораздо моложе своих лет.

Гляжу на него и радуюсь: голова белая, как снеговая вершина, а сам сухой, стройный, как тростник. Заговорили о Льве Николаевиче.

— Как же! Я очень, очень хорошо помню Толстого. В 1845 году к нам в станицу перебрались старообрядцы с Украины и полстаницы новой построили. Так он сначала по приезде поселился в новой, а потом к нам перешел. У нас стояла двадцатая артиллерийская бригада, в ней его брат был офицером. Только он с братом не жил, а отдельно, у казака Сехина квартировал. У нас много Синюхаевых и Сехиных, и все родня меж собой. Так Толстой — у нас его все Толстов звали, — поместился у богатого Сехина, а рядом жил другой брат Сехина, друг Толстого, дядя Епишка, охотник и джигит, каких теперь нет да и прежде едва ли где другой такой отыскался. Знатный казак был дядя Епишка. Жил он одиноко, со своими собаками да ястребами и с разным зверьем прирученным, — у него в хате так они и помещались. Любили и уважали его все вокруг, да не то что мы одни, а и чеченцы и ногайцы... К немирным в аулы, бывало, хаживал, и везде его принимали, как почетного гостя. А говорил он всем одно и то же: «Все живем, а потом умрем. Люди не звери, — так и драться людям не надо. Вот зверя — того бей!» Так и жил он: либо на

охоте, либо с балалайкой. В праздник разрядится, бешмет красный шелковый наденет — немирные князья Гирей подарили, — чувяки и ногавицы, серебром расшитые. Папаха у него была волчья или лисья, каких, кроме него, никто не носил. И обязательно с балалайкой и без оружия. Ростом в сажень, силищи непомерной. Каким я-то его помню, — так ему уже под семьдесят было. А выпьет, бывало, чихиря с полведра да в хоровод — поет и пляшет. А как плясал! «Дядя Епишка, еще, еще!» — просят его. «А ну-ка, швинья, тащи чапуру чихиря». Принесут, выпьет — и опять поет и пляшет да на балалайке звенит. Такой Ерошка в праздник бывал. А в будни — суровый, ни с кем слова не скажет. Тогда носил он старый бешмет, козловой кожи штаны, поршни буйволового, папаху старую волчью, на плечах шкуру звериную вверх шерстью, а в руках у него была всегда винтовка с золотой насечкой, — промаха он из нее по зверю никогда не делал. В те времена порох и свинец были дороги, состязаний в стрельбе не устраивали, ну да и промахов не давали...

Мимо нас в эту минуту проходил огромный, широкоплечий кубанец.

— Куда повыше и пошире его был дядя Епишка! — сравнил рассказчик. И тут смог я представить себе, какой в самом деле был богатырь этот друг Льва Николаевича...

— И кроме охоты, ничем он не занимался. Был у него и крест георгиевский, но никогда он его не надевал, а носил только засаленную ленточку на старом бешмете, да и то так, чтобы людям видно не было, для себя носил ее. О прежних своих отличиях не любил говорить, а старики про него чудеса рассказывали: славный был джигит, но потом от войны отказался, почему — никто не знал.

Веселый, мягкий был человек. И никого никогда ни словом, ни делом не обижал, разве только «швиньей», бывало, назовет. Со всеми дружил и всем говорил «ты». Никому не услуживал, а любили его все. Слушать его рассказы, песни сбегалась вся станица. Голос сильный, звонкий. На станичные сборы не ходил, общественных дел не касался: «Я сам по себе. Я одинец», — знал лишь свое ружье, охоту, сети, попить да погулять. Для одного Толстого только и делал исключенье — любил его. Кунаки были, на охоту с собой никогда и никого, кроме Толстого, не брал. Бывало, у своей хаты варит кулеш, на

камешках казанок стоит, и Толстой тут же сидит — вярят кулеш и вдвоем едят. Или идут с Толстым вдвоем с охоты — оба дичью увешаны, сумки набиты, за плечами ружья и шаталы (рогатки, на которые ставят ружья для прицела). Походка легкая — а в самом пудов десять веса! На коне, как я его помню, никогда дядя Епишка не ездил, всегда пешком ходил. Говорил по-кумыкски, по-ногайски, у немирных князей Гиреев в гостях бывал, и все его любили, даже при нем марушки чадрой не закрывались. Горцы с ястребами охотились,— так дядя Епишка вынашивал ястребов и продавал им за большую цену.

— Скажите, Кирилл Григорьевич, а вы хорошо помните Толстого?

— Как сейчас вижу.

— Вы помните повесть «Казачи»?

— Чуть не наизусть. Ведь мы все ею зачитывались... Так и говорили: «Пишет наш Толстов».

— С кого он писал Лукашку?

— Лукашка был у нас сапожник. А того джигита не Лукашкой звали. Забыл я его имя... Да ведь тогда все у нас такие, как Лукашка, были,— все такие джигиты.

— А Марьяна?

— Не так давно умерла...

Потом стал он вспоминать дальше:

— Помню я, у Толстого в конюшне были хорошие лошади — гнедая и чалая. Выведут, разгорячат лошадь, а он вскочит на нее и скачет по станице... Лихой джигит был. Только ведь потому все и обращали внимание на Толстого, что он джигит был да с дядей Епишкой дружил, а то разве знал кто, что он такой будет после! У меня-то в памяти еще потому, что мы жили рядом... Помню, он сначала у Глушка на Новой улице жил, а потом к Сехину, родному брату дяди Епишки, переехал, к Михаилу Петровичу. А это рядом с нами. Потом уж, когда Толстой офицером был, рассказывали, что он в набегах отличался. За старый Юрт ходил со своей батареей, потому о нем тогда и говорили. А если не был бы джигит, кто бы на него внимание у нас обратил?

— Кто-нибудь, кроме вас, в станице помнит Льва Николаевича?

— Едва ли. Разве Ергушевы. Так уж ему, старому, больше восьмидесяти лет.

— Знакомая фамилия Ергушев. В «Казаках» ее упоминает Лев Николаевич.

— Ну да,— который пьяный-то казак лежит. Это он с натуры взял и настоящей фамилией назвал. Любитель выпить был Ергушев... Родственник наш.

— Сажите, Кирилл Григорьевич, в станице узнали после, какой Толстой жил у вас?

— Конечно. Давным-давно, после первых произведений. И книги его все читали и в школах о нем говорили... Да вот мой племянник Сехин, сын Михаила Сехина, родной племянник дяди Елишки, к Толстому в Ясную Поляну ездил, портрет с надписью для станицы от самого получил, только у него украли дорогой портрет этот.

— Как же это было?

— А уж это пусть сам Дмитрий расскажет. Он теперь служит в Кизляро-Гребенском полку. Вы можете повидать его хоть завтра, около Пятигорска, он под Юцой в лагере стоит. Кланяйтесь ему от меня...

III

Рано утром я приехал в лагерь под горой Юцой, верстах в шести от Пятигорска, и попал на ученье Екатеринодарского полка. Жара была невыносимая, пыль непроглядная. Ученье окончилось к полудню, и, пока расседлывали коней и готовились к обеду, я воспользовался перерывом и отправился к Дмитрию Михайловичу Сехину.

Полки расположились рядом. Гребенцы уже вернулись с ученья, и я нашел Сехина в палатке. Вышел ко мне красавец казачина с огромными усищами, в синих шароварах «шире Черного моря», в белой рубахе и огромной черной папахе. Он был весь покрыт пылью — еще умыться не успел.

— Я Сехин; вам меня? — сурово спросил он.

— Дмитрий Михайлович?

— Да, это я! Вам что угодно будет?

— А я к вам от Кирилла Григорьевича.

Я назвал свою фамилию. Оказалось, что Сехин знает меня как литератора. Он пригласил меня в палатку, и я передал ему наш разговор с Синюхаевым и цель моего приезда.

— Ну, что же, я все вам с радостью расскажу. Эта встреча с великим Львом Николаевичем незабвенна, это лучшая минута моей жизни.

С его разрешения я вынул записную книжку, строки из которой и воспроизвожу сейчас.

— В Ясную Поляну я приехал 21 февраля 1908 года. Въезжаю. Снег. Аллея. Идут два мужика. Гляжу — один из них Лев Николаевич. Я спрыгнул с саней, подбежал, — а он в снег свернул, лошадям дорогу дает. Подошел я, поклонился и говорю:

— Лев Николаевич! Необыкновенный случай: пятьдесят пять лет спустя внук за деда делает вам ответный визит.

Лев Николаевич не понял и строго посмотрел на меня. Я повторил мои слова.

— А! Палкин? — спросил меня Лев Николаевич.

— Нет, не Палкин, а внук дяди Ерошки.

Насупился Лев Николаевич, стоит и вниз глядит.

— Какого Ерошки?

— Того самого, у которого вы пятьдесят пять лет назад в гостях бывали, с которым охотились и которого в повести описали.

— Епи-ишки? Вот оно! — И лицо Льва Николаевича просияло. — Да не может быть! У Епишки и детей-то не было!

— А был брат Михаил Петрович, — я его сын, Дмитрий Михайлович Сехин.

— Сехин! Сехин!

Руку мне протянул и крепко пожал.

— А вы кто? Ротмистр? — и посмотрел на мою военную шинель.

— Нет, я войсковой старшина.

— А, значит, подполковник. Ну, пойдете.

Он повернул к дому, а потом вдруг сказал:

— Да вы садитесь в сани! Поезжайте ко мне и скажите Илье Васильевичу, что мне надо еще десять минут погулять.

Я передал слова Толстого Илье Васильевичу, который и принял меня, поместив в комнату внизу. Через десять минут Илье Васильевич позвал меня наверх. Там были Горбунов-Посадов, Гусев и две переписчицы. Лев Николаевич вышел с сияющим лицом и отрекомендовал меня:

— Позвольте представить племянника моего дяди Ерошки.

И он начал меня расспрашивать о станице, вспоминая виденное им:

— А камышовые крыши еще есть?

— Есть.

— А сверстники мои живы?

— Ергушев Иван Варфоломеевич еще жив.

— А чихирь тот же? Какой прекрасный напиток! А рыбка шемайка?

— Мало, да притом очень измельчала.

— Жаль, жаль! А я отлично все помню: и Старогладовскую, и Старый Юрт! Горы — какая красота! Терек! Степи! Вот где настоящая жизнь. А Лукашка, брат Михаила Алексеевича! Да, да! Все помню. А как дом, где я жил? А дом Бабенковых, где жил брат Николай?.. А Епишкина хата?

— Все перестроено.

Лев Николаевич встал и сказал мне:

— Вот вам Гусев, расскажите ему.

Он вышел, но через пять минут вернулся, сел радостный и всё вопросы о старине задавал.

— Забывчив вообще я стал. Но что тогда было — все помню!

Он опять встал и ушел, а через несколько минут позвал меня в кабинет. Я стал прощаться.

— Садитесь, куда вы торопитесь? Я еще не успел с вами поговорить...

— Но, ваше сиятельство... — начал было я, но Лев Николаевич перебил меня:

— Зачем так?..

— Как же мне вас звать? Звать Лев Николаевич — уж очень будет фамильярно.

— А вы меня по-гребенскому.

— Да у нас тех, кто старше тебя; зовут, как, помните, дядю звали: дядя Епишка.

— Стало быть, и зовите: дядя Левка. Это очень, очень почтенно! — Он засмеялся ласково-ласково.

Я попросил у Льва Николаевича для старогладовской школы его портрет.

Он достал портрет и надписал:

«На память старогладовцам Лев Толстой».

Я уехал обласканный, счастливый. Но дорогой случилась беда: у меня украли чемодан, а вместе с ним и портрет.

Довелось мне разыскать на Кавказе и еще одного старика генерала, служившего в дни юности в одной батарее со Львом Николаевичем. Но от него я добился только одной фразы:

— Как же-с!.. Мы оба с ним имели честь служить в одной батарее, славный был офицер.

Г. А. РУСАНОВ

ПОЕЗДКА В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

(24—25 августа 1883 г.)

Толстой перешел к тому, что молодое поколение — все эти милые Перовские — гибнет, не зная света, что ему следует помочь, вывести его на настоящий путь.

— Правда, — сказал я, — но любимый писатель современной молодежи — Щедрин, так как он касается политики, злобы дня, молодежь любит его больше остальных писателей.

— И он вполне стоит этого, — возразил Толстой. — Щедрина я люблю, он растет, и в последних произведениях его звучит грустная нота.

Разговор перешел к Тургеневу.

— Атеист ли Тургенев? — спросил я.

— Вполне, — ответил Толстой. — В последний раз, как он был у меня, вот в этой самой комнате, на него горячо напал по этому поводу один знакомый мой, человек верующий¹... Жалко было видеть в это время Тургенева; с ним бог знает что делалось... Такое страдание выражалось на его лице!.. Тургенев хороший человек, огромный ум, гуманный... Я люблю его, но жаль его... Теперь он так болен... Вы не слышали, что с ним теперь?

Я передал последнее газетное известие.

— Да, я читал это, — сказал Толстой. — Пишут, что его посещает масса наших русских, что этот, как его?.. Ожье? читал ему свою комедию. Какие ж теперь комедии! — с неодобрительной миной продолжал Толстой. — Недавно он написал ко мне собственноручно, тогда еще

он мог сам писать, очень доброе письмо, просит меня не оставлять писать².

— А будете ли вы писать? Я спрашиваю о художественных произведениях...

— Конечно, буду. Если умеешь писать, нельзя не писать, так же как, если умеешь говорить, нельзя не говорить.

— Правда ли, что вы не читаете газетных и иных критик на вас?

— Правда... но вот недавно я сделал исключение для одной. Это статья Громеки в «Русской мысли»³. Превосходная статья! Он объяснил то, что я бессознательно вложил в произведение.

— В этом я затрудняюсь согласиться с вами. Сам эпиграф к «Анне Карениной», мне кажется, указывает на сознательное отношение автора к произведению.

— В известном смысле, пожалуй... Прекраснейшая, прекраснейшая статья! Я в восхищении от нее. Наконец-то объяснена «Анна Каренина»...

Затем он... указав на стоящие на одной из полок сочинения свои, сказал:

— Я думаю, что от меня и вообще от нас ничего не останется.

— Почему? — спросил я с удивлением.

— А потому, что пишем мы очень много. Посмотрите на массу написанного каждым из нас, на количество томов, а то, что остается, что переходит в века, то не бывает велико по объему.

— А Шекспир? — возразил я.

— Я очень никогда не любил Шекспира... Про Шекспира так прокричали, что теперь против него слово всякий боится сказать... Я всегда не очень ценил его...

В разговоре... мне пришлось к слову упомянуть о недавних отзывах некоторых русских и французских критиков о Толстом.

— В последнее время,— заметил на это Толстой,— я, действительно, с удивлением вижу переворот нашей критики в отношении ко мне. Прежде ведь меня ужасно бранили, совсем отрицали меня как мыслителя. Вы помните, что было после «Войны и мира»? Тогда еще меня занимало это и... помните ли вы статью Анненкова?⁴ Статья эта во многом была неблагоприятна для меня, и что ж? После всего, что было писано обо мне другими,

я с умилением читал ее тогда... Вот до какой степени тогда бранили меня. А об «Анне Карениной» чего не писали!

— Вы читали рецензию о ней в «Отечественных записках»? ⁵— спросил я.

— Нет.

В это время я вспомнил слышанное мною два дня тому назад на железной дороге курьезное мнение некоей курсистки об «Анне Карениной» и сказал Толстому:

— Говорят, что вы очень жестоко поступили с Анной Карениной, заставив ее умереть под вагоном, что не могла же она всю жизнь сидеть с «этой кислятиной», Алексеем Александровичем.

Толстой улыбнулся.

— Это мнение,— сказал он,— напоминает мне случай, бывший с Пушкиным. Однажды он сказал кому-то из своих приятелей: «Представь, какую штуку удрала со мной моя Татьяна! Она — замуж вышла! Этого я никак не ожидал от нее». То же самое и я могу сказать про Анну Каренину. Вообще героини и герои мои делают иногда такие штуки, каких я не желал бы: они делают то, что должны делать в действительной жизни и как бывает в действительной жизни, а не то, что мне хочется.

— Меня радует,— продолжал затем Толстой,— замеченное мною отношение ко мне французов после перевода «Войны и мира», сделанного княгиней Паскевич. Я был удивлен, говоря с французами, с которыми мне пришлось встретиться на московской выставке ⁶. Я увидел, что мои исторические воззрения в «Войне и мире» начинают цениться. А помните, как отнеслись к ним все по выходе «Войны и мира»?

— Да, но ведь впоследствии были отзывы и противоположные: так, например, мнение покойного историка Попова, написавшего историю войны двенадцатого года, до сих пор еще вполне не изданную. Мне пришлось как-то прочитать в «Ниве» о его мнении.

— Какой это Попов? Андрей Николаевич? ⁷ Да, он говорил мне как-то об этом.

После этого мы еще говорили о чем-то, но о чем именно, не припомню, помню только, что я по какому-то поводу сказал, что Гончаров в недавнем ответе своем депутации русских женщин, поднесшей ему адрес по поводу пятидесятилетия его литературной деятельности, высказал мысль, что публика наша настолько выросла, что

не нуждается в указаниях критики при оценке своих писателей.

— Разве исполнилось уже пятьдесят лет деятельности Гончарова?

— Да.

— Я не знал этого. Мне всегда жалко Гончарова, когда я подумаю о нем. Старик, один, забытый... Он сильно страдает.

— Чем?

— Неудовлетворенным славолубием. Писал что-то о себе...

Затем я опять свел разговор на сочинения Толстого и, между прочим, сказал, что «Детство» его и «Записки охотника» Тургенева вышли почти в одно время («Записки охотника» — в 1847—1852 годах, «Детство» — в 1852 году), и между тем как в «Записках охотника» можно встретить места устаревшие (например, сентиментальное описание крестьянских мальчишек в «Бежином луге»), в «Детстве» ничего не устарело и нет основания думать, чтобы устарело когда-нибудь. Толстой сказал на это, что «Детство» его несколько сладковато (он не это слово употребил, но какое-то другое в этом смысле). Я, конечно, никак не мог с этим согласиться и стал возражать. Толстой замолчал.

— У Тургенева, — сказал Толстой, — мне нравятся только «Записки охотника», хотя теперь уж нельзя так изображать народ, как он там изображается. Все остальное у Тургенева я не очень ценю, и мне кажется, что слава его сочинений не переживет его⁸. Мне кажется, что о Тургеневе сохранится память, похожая на ту, какую оставил по себе Жуковский. Он такой добрый, гуманный, обязательный, стольким помогал.

Затем по поводу его «Стихотворений в прозе» Толстой прибавил:

— Я с удовольствием читал их, но думаю, что лет тридцать тому назад они произвели бы гораздо больше впечатления.

Я упомянул о «Песни торжествующей любви». Толстой нашел сюжет ее отвратительным.

— Это отвратительно, — сказал он.

— Скажите, пожалуйста, Лев Николаевич, взята ли ваша Наташа Ростова с действительно существующего лица или нет?

— Да, отчасти взята с натуры.

— А князь Андрей?

— Он ни с кого не списан... У меня есть лица списанные и не списанные с живых людей. Первые уступают последним, хотя списывание с натуры и дает им эту несравненную яркость красок в изображении. Но зато изображение страдает односторонностью. Меня очень радует,— сказал потом Толстой,— что мне говорят, что мои прежние сочинения не противоречат моим теперешним воззрениям.

— Когда вы писали «Анну Каренину», вы уже перешли к нынешним воззрениям?

— Нет еще.

— Отчего в произведениях первого периода вашей деятельности, до «Войны и мира», у вас встречается много лирических мест, в «Войне и мире» их мало, а в «Анне Карениной» совсем нет?

— Да ведь пора же когда-нибудь мазурку бросить! — улыбнувшись, ответил мне Толстой...

Разговор наш... коснулся, между прочим, Достоевского.

— «Записки из мертвого дома» — прекрасная вещь, но остальные произведения Достоевского я не ставлю высоко. Мне указывают на отдельные места. Действительно, отдельные места прекрасны, но в общем, в общем — это ужасно! Какой-то выделанный слог, постоянная погоня за отысканием новых характеров, и характеры эти только намеченные. Вообще Достоевский говорит, говорит, и в конце концов остается какой-то туман над тем, что он хотел доказать. У него какое-то странное смешение высокого христианского учения с проповедованием войны и преклонением перед государством, правительством и полами.

— «Братья Карамазовы» вы читали?

— Не мог дочитать.

— Недостаток этого романа,— сказал я,— тот, что все действующие лица, начиная с пятнадцатилетней девочки, говорят одним языком, языком самого автора.

— Мало того, что они говорят языком автора, они говорят каким-то натянутым, деланным языком, высказывают мысли самого автора.

— Но «Преступление и наказание»? Это его лучший роман. Что вы о нем скажете?

— «Преступление и наказание»? Да, лучший. Но вы прочтите несколько глав с начала, и вы узнаете все последующее, весь роман. Дальше рассказывается и повторяется то, что вами было прочитано в первых главах... Михайловский правду писал тогда о Достоевском...

— В статье «Жестокий талант»?

— Да, и в этой статье⁹ и в той, которую написал он после похорон Достоевского¹⁰... Вот посмотрим, что напишет Страхов. Ему поручено составить биографию Достоевского, и она уже готова¹¹.

— Читали вы статью Михайловского о вас, напечатанную в 1875 году, под заглавием: «Десница и шуйца Льва Николаевича»?¹²

— Нет... Не помню, не читал... Вообще Михайловский очень хорошо пишет. Вы читали его «Герои и толпа»?¹³ Я с удовольствием прочитал...

— Скажите, пожалуйста, Лев Николаевич, в каком возрасте можно дать детям ваше «Детство»?

— Да ни в каком.

— Как ни в каком?!

— По-моему, так. «Детство и отрочество» не думаю, чтобы было полезно детям. Вот «Кавказский пленник»,— вдруг особенно оживившись, сказал Толстой,— «Жилин и Костылин» — вот это я люблю. Это дело другое. «Кавказский пленник» можно дать детям, и они любят его. Хотя это могло бы быть и лучше.

— Чем же?

— Язык можно было бы сгладить несколько, некоторые резкие народные выражения заменить другими, но уж я этого не могу. Я всегда пишу так,— слегка улыбувшись, сказал Толстой.

— Относительно «Детства и отрочества» я не могу согласиться с вами,— возразил я.— Я читал мнение, которое мне кажется совершенно справедливым, о том, что лучшее чтение для детей — это книги, написанные для взрослых и притом, конечно, истинно художественные.

— Да, это правда.

— И в пример таких полезных для детского чтения книг мне приходилось встречать указание на ваше «Детство и отрочество» и на первую часть «Копперфилда».

Толстой промолчал.

— Наконец я могу сослаться,— продолжал я,— на мнение Достоевского, который на вопрос о том, какие книги следует читать подросткам, сказал, что им следует давать Пушкина, Гоголя, Тургенева и Гончарова, если хотите, говорил он, мои сочинения не думаю, чтобы пригодились, Лев Толстой должен быть прочтен весь ¹⁴.

Толстой улыбнулся и ничего не сказал...

— Да,— помолчав, сказал Толстой.— Так и не удалось мне написать исторического романа после «Войны и мира». Сначала я хотел написать роман из эпохи Петра Великого, а потом из эпохи декабристов. Из Петровской эпохи я не мог написать, потому что она слишком удалена от нас, и я нашел, что мне трудно проникнуть в души тогдашних людей, до того они не похожи на нас. А из эпохи декабристов я не мог написать потому, что она, наоборот, оказалась чересчур недавнею, слишком близкою ко мне. Декабристы были слишком всем известные люди. Осталась масса записок, мемуаров, писем их эпохи, и я положительно терялся в этой массе.

— Скажите, Николенька Болконский должен был выступить в романе из эпохи декабристов?

— О да, непременно! — с улыбкой, осветившей его лицо, сказал Толстой. Помолчав немного, он продолжал:— Так и не пришлось мне побывать у вас в Острогжске... Знаете ли, ведь я непременно хотел ехать в Острогжск, когда собирался писать роман о декабристах?

— Да, я слышал об этом от Тевяшовых, вы к ним, кажется, собирались?

— Нет. Какие Тевяшовы? Что такое Тевяшовы? Да, кажется, Рылеев был женат на Тевяшовой?

— Да.

— А скажите, в самом деле ваш Острогжский уезд такая благодатворенная, цветущая страна, как мне говорили?

— Как вам сказать? Я не нахожу этого.

Затем, не помню каким образом, разговор опять коснулся Тургенева.

— У него прекрасные описания природы,— сказал я.

— О да, несравненные,— подтвердил Толстой...

Мы говорили затем еще несколько времени, говорили, между прочим, о Флобере, Додэ. При этом Толстой сказал, что «Евангелистка» ¹⁵ ему не понравилась. «М-те

Вовагу» * он читал некогда, а теперь забыл, но помнит, что тогда ему понравилось это ¹⁶...

Разговор зашел о детях. Толстой, между прочим, сказал:

— У меня есть сказка, которая имеет очень большой успех у маленьких детей. Я часто рассказываю ее. Все содержание ее заключается в том, что маленький мальчик нашел семь огурцов. Сначала он съел маленький огурец, потом побольше, потом еще больше и т. д. Нужно видеть восторг детей, когда рассказ доходит до того места, когда мальчик берется за последний, седьмой огурец, который был вот, вот какой огромный!..— Толстой смеялся, широко расставил руки, чтобы показать величину.

Когда мы остались с ним одни, я спросил его, читал ли он безобразнейшую брошюру московского цензора Леонтьева о его рассказе «Чем люди живы?» и разбор этой брошюры, сделанный Лесковым ¹⁷.

Толстой сказал, что не читал ни того, ни другого, но что о существовании брошюры Леонтьева ему известно. «Я знаю Леонтьева, он раза два был у меня в Москве, и мы не очень, кажется, понравились друг другу. Он не глуп, но я не мог говорить с ним. Он все говорит сам и беспрестанно перепрыгивает с предмета на предмет, не дает высказаться, а я люблю, если говорить, то говорить доказательно, чтоб я мог высказать свою мысль».

Затем разговор перешел опять на тему об искусстве. Толстой стал говорить о Лермонтове.

— Вот кого жаль, что рано так умер! Какие силы были у этого человека! Что бы сделать он мог! Он начал сразу как власть имеющий. У него нет шуточек,— презрительно и с ударением сказал Толстой,— шуточки не трудно писать, но каждое слово его было словом человека, власть имеющего.

— Тургенев — литератор,— дальше говорил Толстой,— Пушкин был тоже им, Гончаров — еще больше литератор, чем Тургенев; Лермонтов и я — не литераторы.

В разговоре этом, между прочим, я заметил, что когда читаешь Пушкина, то как бы видишь перед собою добродушного, умного, бодрого и иногда шутливого человека.

— Вот это правда,— сказал Толстой...

* «Мадам Бовари».

На вопрос мой о знакомстве его с Салтыковым-Щедриным, он сказал мне:

— В пятьдесят шестом году в Петербурге я часто встречался с ним, а когда он впоследствии служил в Туле, нам как-то не пришлось видеться.

Когда зашел разговор о популярности Тургенева за границей, Толстой сказал:

— Я удивляюсь, почему так переводят его там. Ну, вот возьмите вы хоть последнюю его вещь, которая, кажется, на все языки переведена... как она называется?

— «Клара Милич»?

— Да, «Клара Милич». Ну, для нас, русских, положим, она может иметь интерес; ну, положим, мы знаем, что, желая описать современную Москву, Тургенев описывает там ту Москву, которая была пятьдесят лет тому назад... Но им-то, им-то что в этом? Не могу понять...

— Знаете,— сказал он мне,— как Лесков с Леонтьевым, о которых говорили мы, представляются мне всегда вместе парюю, так же точно, такими же парами представляются мне обыкновенно еще Данилевский и Чаев, Маркевич и... как его? Авсеенко? Маркевич и Авсеенко, Сальяс и Мельников. Сальяса и Мельникова я читать не могу... это противное подражание простонародному языку, слащавое, деланное, фальшивое отношение к народу невыносимо.— При этом Толстой привел какую-то цитату из Мельникова, в которой, как я припоминаю, говорилось, между прочим, о том, как мужик валит дерево кондовое, и указал на лживость описания, а затем привел образчик какой-то нелепости Сальяса в его «Избушке на курьих ножках».

— Первые небольшие рассказы Мельникова,— заметил я,— лучше, чем его большие вещи.

— Я не помню их,— сказал Толстой.— Да, прибавил он,— Маркевича и Авсеенко я могу читать, а Сальяса и Мельникова не могу. Вы читали Маркевича и Авсеенко?

— Нет.

— Отчего?

— У меня есть нюх по этой части,— ответил я.— Впрочем, Авсеенко, пожалуй, следовало бы прочесть. Я, помню, читал у Достоевского, что будто бы Авсеенко пишет для поправки вашей «Анны Карениной», находя, что вы не с достаточным уважением отнеслись к большому свету.

Толстой улыбнулся и ничего не сказал.

— Вообще,— продолжал я,— я мало читаю современных беллетристов, которые печатаются в наших журналах. Я читаю только Щедрина...

— Ну да!

— Глеба Успенского...

— Ну да, конечно! А читали вы Гаршина? — вдруг с большим оживлением спросил Толстой.

— Да, читал.

— Это прелесть, прелесть! Тургенев первый указал мне на него. «Вот прочтите»,— сказал он мне, увидав у меня книжку журнала. И действительно, прелесть. Странно, право! Видишь книжку «Устоев»¹⁸ (кажется, уж прекратились), просматриваешь оглавление, и там, вместе с другими, какими-нибудь Федоровыми, Сидоровыми, Карониными и прочее и прочее, значится наравне и Гаршин с своим рассказом. Так и чутся,— оживленно говорил Толстой,— что редакция и не подозревает, что Гаршин и эти другие — совсем не одно и то же. Он положительно выделился, сразу выделился. Вы читали его [*пропуск в рукописи*]? А его «Художники»? Прелесть! А «Ночь»? А [*пропуск в рукописи*]?

— В его военных рассказах,— сказал я,— чувствуется ваше влияние. Вот, например, в последнем рассказе (не помню заглавия), помещенном в «Отечественных записках», есть несколько мест, напоминающих подобные же у вас.— При этом я указал на некоторые из этих мест.

— Ну что ж, это ничего не значит,— заступнически возражал Толстой.

— А описание смотра наших войск, который был сделан Александром Николаевичем в Яссах или Бухаресте — не помню... — продолжал я¹⁹.

— Да, да,— перебил меня Толстой,— помню: это описание действительно меня неприятно поразило, оно напомнило мне...

— Смотр накануне Аустерлица из «Войны и мира»²⁰.

— Да. Но у меня описаны там ощущения Ростова, лица, к которому автор относится объективно, а у Гаршина о них говорится, как об ощущениях самого автора, точно эти ощущения присущи всем.

— «Четырнадцать дней» также отчасти навеяны вашими сочинениями.

— Может быть, но у Гаршина есть и свое собственное («Денщик и офицер»). Жаль, что он, говорят, болен.

О Златовратском Толстой отозвался, что он не нравится ему...

— А как вы находите Глеба Успенского?

— Он очень хорош, но его беда в том, что к своим прекрасным изображениям народа он постоянно примешивает разные идейки свои, и идейки — довольно мелкие (неглубокие).

— В последнее время он почти вполне публицистом сделался.

— Да, жаль. Но он все-таки очень хорош.

— У него прекрасный юмор.

— Да, он очень, очень нравится мне.

— Читали вы его «Власть земли»?

— О да, конечно!

— Следовательно, вы читали его рассуждения по поводу Каратаева? ²¹

— Не помню что-то,— уклончиво сказал Толстой.

После этого разговор перешел к Соловьеву (философу), к Аксакову (издателю «Руси») и к Победоносцеву.

— Что такое Аксаков? — сказал Толстой.— Фразистость, широковещательные слова, высокопарность и — больше ничего. То же и Соловьев. Этот несколько лучше, так как Аксаков уж совсем выписался. Соловьев — это последователь Хомякова, держится попов.

— Я читал первую половину статьи его,— вмешался Шидловский,— но не понял ее.

— Да и никто не поймет! — презрительно сказал Толстой.

— Странно,— заметил я,— что Победоносцев — умный человек и между тем бог знает что делает!

— В том-то и вопрос,— как бы нехотя сказал Толстой: — умный ли, это очень относительное понятие.

Разговор коснулся Каткова.

— Катков — это страшная, всемогущая сила в России,— сказал Толстой.— Вот вам один из фактов его могущества. Один из подсудимых в процессе 193-х, оправданный, с которым я познакомился в Самаре (Толстой назвал его фамилию) ²², был оскорблен становым приставом. Дело разбиралось судебным порядком. Становой был признан виновным и приговорен, кажется, к аресту. Так губернатор и другие высшие чины приезжали к по-

терпевшему и лично просили прекратить дело, потому что иначе, как и объяснили они, Катков, который и без того преследует суды, начнет громить судей, и дело для многих может кончиться скверно. Вот факт... до смешного!

— Какое ваше мнение о Каткове?

— Я некогда виделся с Катковым и знаю его. Он туп... В одном только он сообразил, как ему поступать, и этого одного он неуклонно держится. Он силен связями с лицами, стоящими во главе, всегдашним знанием петербургских интриг. Он всегда на стороне большинства лиц, стоящих во главе, и, действуя согласно видам этого большинства, руководит им. Он — выразитель его.

— Как же он может руководить высшими лицами?

— А потому он ими руководит, что он все-таки умнее тех глупых людей, которые там, в Петербурге, сидят во главе власти, он туп, но умнее прочих. Они — глупы. Что такое Катков? Он был когда-то недолго профессором, но ведь уж это известно, что для того, чтобы быть профессором, нет необходимости быть умным человеком. Он написал тогда статейку о Пушкине, этим и покончил. Потом стал издавать «Московские ведомости». Тут уж труды его общеизвестны. Вот вам что такое Катков.

Потом разговор перешел к искусству.

Толстой сказал, что статуя Антокольского «Христос» ему не нравится. Картина Макса «Христос» — тоже. По этому поводу я сказал, что мне не пришлось встретить в живописи ни одного изображения Христа, которое было бы согласно с моим идеалом, с моим представлением о Христе, что ни одно изображение Христа не удовлетворило меня.

— Как, и Крамского? — спросил Толстой. — Вы видели его картину?

— Да, и Крамского, я видел ее, — ответил я.

Толстой ничего не сказал на это, может быть, и потому, что в это время хозяйка позвала нас к другому столу, на котором кипел самовар...

Опять вспомнили о Тургеневе. Жалели о его болезни.

— Недавно еще он был крепкий, бодрый старик, — сказал Толстой...

— В каких отношениях он с Виардо? — спросил я.

— Кажется, в платонических, — ответил Толстой.

— Я слышал, что у Тургенева есть дочь?

— Дочь — от другой женщины, — сказал Толстой, — да и дочь весьма сомнительная. Это особая история... Скверно ему, — сказал потом Толстой, — жалко его!

— Почему же скверно?

— Да уж он не может же не знать, что, как там ни ухаживает за ним Виардо, а все-таки нет-нет да и подумает: хоть бы уж поскорей все это кончилось...

— Пишут, что он все мечтает перебраться в Россию.

— Да, Тургенев понял наконец... — сказал Толстой и не кончил фразы. — Противно как-то и жалко: умирающий старик в этом французском доме! Да, его тянет в Россию, должно тянуть!

— Пишут, — сказал Шидловский, — что к нему проведен телефон из оперы.

— Скверно! — повторил Толстой. — Умирающий и боящийся смерти старик должен утешать себя телефоном, оперной музыкой! Плохое утешение!

Разговор перешел к вопросу о будущности, предстоящей телефону.

— Великая, блестящая будущность! — говорил Толстой. — Железные дороги и телеграфы много сделали, телефон сделает больше...

Разговор перешел к современному положению дел в России...

— Удивительное, удивительное дело, что делается у нас в Петербурге! — говорил Толстой. — Вместо того чтобы посоветовать Александру Александровичу²³ сделать хоть что-нибудь для народа, эти во главе стоящие люди делают то, что Александр Александрович пальцем до сих пор не подвинул для народа. А уж что-нибудь да будет у нас... Народ недоволен, он ждет, разочаровывается, бродит в нем что-то. Положение Александра Александровича дурное, напортил ему Александр Николаевич²⁴. Он напортил ему, дав свободу народу, и он будет героем у народа, а Александр Александрович ничего не хочет сделать, а народ ждет от него. Удивительное дело! удивительная слепота! «Слушайте предводителей дворянства!» — вот что говорит он народу. Он говорит народу, что увеличения наделов не будет, чтоб этого и не ждали. Как может говорить он это? Почему уверен он в этом? Народ хочет этого, все толкуют, пишут об этом, а он говорит — не будет. Почему он знает, что ему самому не придется потом другое сказать?..

Может его не быть (умереть может), и это (то есть увеличение наделов) случится, наконец форма правления может измениться, и тогда что? — горячо говорил Толстой.

Разговор коснулся Щедрина.

— Вы читали его «Современную идиллию»? — спросил меня Толстой. — Помните суд над пискарями?

— Да, помню, — ответил я, — там хороши еще лоботрясы.

— Это прелестно, — сказал Толстой и при этом привел на память небольшую цитату из Щедрина, в которой говорилось о лоботрясах. — Хорошо он пишет, — закончил Толстой, — и какой оригинальный слог выработался у него.

— Да, — сказал я и потом прибавил: — Такой же в своем роде оригинальный слог был у Достоевского.

— Нет, нет, — возразил Толстой, — у Щедрина великолепный, чисто народный, меткий слог, а у Достоевского что-то деланное, натянутое...

После того как уже много было переговорено нами, Толстой вдруг с горечью сказал мне:

— Вы можете справедливо указать мне на противоречие моей жизни с моими убеждениями; вы можете спросить меня, почему же я не роздал своего имения, и вы будете правы, к сожалению.

Видно было, что ему тяжело было это говорить. Мне было неловко и жалко его.

— Лев Николаевич, — перебил я его, — зачем вы это говорите? Я со вчерашнего дня в ваших краях, немного слышал, а уж многое узнал о том добре, которое делаете вы крестьянам. Обязанности ведь у всех одинаковые, я такой же (человек), а я и того не делаю, что вы.

— Это трудный вопрос, — не слушая меня, продолжал Толстой. — Мучительный вопрос. Я — не один. У меня восемь человек детей и жена. Я хотел раздать и роздал бы все, если бы был один. Но как сделать теперь? Жена, дети возопиют, что я сделал их несчастными! Как поступить? Положим, с моей точки зрения, я ничего бы не желал так, как если бы (я часто думал это) какая-нибудь волшебница сделала, чтобы я лишился всего имущества. Я лично убежден, что это было бы лучше для моей семьи. Сыновья мои больше бы работали, чем имея состояние, дочь моя не думала бы о модных нарядах...

Но сделать это *самому* — я не могу. Кроме того, «два будут в плоть едину» — я и жена моя — это одно. Она — половина *меня*, она то же, что и я, что мое, то и ее, и я не могу раздать всего имущества, пока не хочет этого она, а она этого не хочет! Когда она согласится со мной, тогда только я буду вправе раздать имение... Вопрос об этом — мучительный вопрос. Да, я очень, очень был бы рад, если бы меня сослали куда-нибудь или засадили...

— Я читал, Лев Николаевич, — сказал я, — объявление в газетах, что в «Художественном журнале» в нынешнем году будет помещена ваша статья об искусстве²⁵. Правда ли это?

— Да, я обещал статью. Не знаю, к чему они напечатали объявление; я просил Александрова (редактора «Художественного журнала») не печатать объявлений, но они все-таки явились. Статья уже написана мною, но мне нужно пересмотреть ее, поправить. Не могу же я ее, не пересмотренную, отдать в печать. На это нужно свободное время, а его у меня нет пока.

— Вот, — сказал я, — кто, вероятно, очень отделяет свои произведения, — это Тургенев?

— Нет, — нехотя ответил Толстой, — пишет он скоро, не особенно переделывает; я видел его черновые книги (он пишет в переплетенные книги). Он мне показывал.

— А мне показалось, что он пишет по гоголевскому способу, — сказал я.

— По какому гоголевскому?

— Гоголь советовал, написав, спрятать написанное и затем через долгое время просмотреть и поправить, затем опять спрятать и так далее, чуть ли не до восьми раз.

— Да, это хорошо — дать вылежаться произведению, посмотреть на него потом другими глазами...

ВОСПОМИНАНИЯ

ВСТРЕЧА С ТОЛСТЫМ В ХАРЬКОВЕ

Прошло полтора года со времени моей поездки в Ясную Поляну, подробно описанной в моем дневнике, выдержки из которого составили первую главу этих вос-

поминаний. Здоровье мое с того времени значительно ухудшилось. Я продолжал служить в Харькове. Однажды, это было 12 марта 1885 года, я участвовал в качестве члена суда в публичном заседании гражданского отделения окружного суда. Заседание было посвящено исключительно допросу свидетелей по разным делам, преимущественно же по делам о давностном владении. Публики, как и всегда при допросах свидетелей по делам охранительного порядка, было мало, и она состояла большею частью из заинтересованных лиц: адвокатов или уже допрошенных свидетелей, почти исключительно крестьян. Заседание закончилось часа в два пополудни. Я вышел в судейскую комнату и стал просматривать и подписывать бумаги; принесенные секретарем. В комнате сидели, писали, ходили, курили и разговаривали члены суда; входили и выходили просители, просительницы и адвокаты. Усталый, я сидел у стола, наклонив голову над бумагами. Вдруг слышу:

— Гавриил Андреевич, вы меня узнаете?

Поднимаю голову и не верю глазам: передо мною... Толстой. Да, это он. Его глаза (таких глаз нельзя забыть!), его с проседью борода. На нем что-то вроде поддевки или полушубка, на ногах сапоги выше колен. Я почувствовал себя, как во сне.

— Это вы, Лев Николаевич?! Какое счастье! Как же вы...

— Я еду в Крым по одному важному для меня делу,— сказал он, пожимая мне руку,— в Харькове остановка, и вот я зашел повидаться с вами, и, кроме того, у меня есть просьба к вам.

Из находившихся в комнате никто не обращал внимания на Толстого и даже не глядел на него.

— Я все готов сделать для вас,— ответил я.— Какая неожиданность! Как я счастлив!

Лев Николаевич объяснил, что в Харьковском тюремном замке содержится политический арестант, по фамилии Т. ¹, родственники которого, знакомые Льва Николаевича, живущие в Москве, умоляли его попросить кого-нибудь в Харькове об облегчении положения Т., так как в продолжение нескольких месяцев ему не разрешают даже свидания с женой, живущей в Харькове, а также просили узнать, если можно, в чем, собственно, он обвиняется.

Не ручаясь за успех, я обещал попытаться сделать все, что можно, то есть поговорить с кем-нибудь из лиц, власть имеющих.

— Как я счастлив, что вы не забыли меня и нашли меня здесь,— сказал я.

— Я и не мог забыть вас. Уже и потому не мог забыть, что от вас впервые узнал о Черткове Владимире Григорьевиче. Это друг мой теперь... Я сидел у вас тут,— прибавил Лев Николаевич,— в зале заседания, в публичке, с этими бедными хохлами, которых таскают сюда... Какое безобразие!

Поговорив еще немного, Лев Николаевич стал прощаться и сказал, что хочет быть у меня. Адрес моей квартиры он записал в книжечку. Я был так взволнован при этом, что продиктовал было ему название не той улицы, на которой жил, но, к счастью, тотчас же опомнился, и ошибка была исправлена.

— Куда же вы теперь? — спросил я.

— Мне нужно побывать еще кое-где.

Я проводил его по длинейшим судейским коридорам до лестницы.

— Я непременно буду у вас,— сказал Толстой, когда мы дошли до лестницы,— не буду, если только особенное что-нибудь случится.

Я скоро уехал домой. Квартировал я на Кузнечной улице, в доме Коняевых, во втором этаже.

Дома я застал семью за обедом и почти ничего не мог есть от радостного волнения и ожидания. Встав из-за стола, я беспрестанно подходил к окнам, чтобы не пропустить извозчика, который должен был привезти Льва Николаевича. Но время проходило, а Льва Николаевича все не было. Я уже стал бояться, что и не будет. Вдруг — звонок... Я сам поспешил отворить. Отворяю — Толстой.

— Вы не на извозчике?

— Пешком.

Лев Николаевич снял верхнее платье (он был без калош) и оказался в темной шерстяной блузе с отложным воротничком белой рубашки.

Он пожал мне руку, и мы поцеловались. Не выпуская руки его, я хотел ее поцеловать. Лев Николаевич не дал ее и сконфуженно проговорил:

— Благодарю вас, благодарю... Мне приятно, что вы

так меня всего любите... Я увижу ваших? Вы покажите их мне,— сказал он, когда мы вошли в гостиную.

— Да, жена выйдет сейчас.

Лев Николаевич несколько изменился с 1883 года, спина больше сгорбилась.

Мы сели: он на диване, я против него.

— Счастливы ли вы? — спросил он меня после нескольких минут разговора.

— В семейной жизни — да, но вот болезнь, служба...

— Какой вы молодой! Сколько у вас детей?

— Много, пятеро... Но больше не будет.

— Почему?

— Нахожу, что не следует мне больше иметь детей.

Я болен, и неизлечимо.

— Да что такое у вас?!

— Доктора нашли сухотку спинного мозга.

— О, они часто ошибаются! — И Лев Николаевич сейчас же заговорил о чем-то другом.

— Бойтесь ли вы смерти? — между прочим, спросил он меня в дальнейшем разговоре.

Скоро пришла жена. Я познакомил ее со Львом Николаевичем.

Он рассказал нам, что везет на южный берег Крыма друга своего Л. Д. Урусова.

— У него чахотка в последнем градусе и болезнь сердца. Он теперь один — семья его за границей, и вот я везу его в Крым, в имение Мальцева, тестя его, куда его послали доктора.

Затем Лев Николаевич рассказал, что дорогой в Харьков, где-то между Орлом и Харьковом, в вагоне или на станции, он потерял рукопись нового сочинения², которое пишет теперь, и что телеграфировал об этом в Орел.

— Под влиянием чтения ваших сочинений,— сказал я,— я стараюсь работать над собою, но беспрестанно сбиваюсь на старое.

— Чтение это ненадолго действует на него,— заметила жена.

— А все-таки действует? Вы оба одних убеждений? — обратился Лев Николаевич к жене.

— Да.

Нина, между прочим, сказала Толстому, что ей часто приходится спорить о нем, защищать его.

— Ломаете копья! — улыбнулся Лев Николаевич. При этом он сказал, что намерен непременно написать воззвание к женщинам образованного класса.

Жена заговорила с ним о воспитании детей. Лев Николаевич просил ее не сердиться на детей. Затем говорил вообще о непротивлении злу насилием. Я сказал, что меня огорчает, что любимая игра моих детей в войну.

— Отчего же это так у вас? — Лев Николаевич улыбнулся. — Не запрещайте детям, это хуже, — прибавил он, — не насилуйте, это пройдет.

— Старший — гимназист, когда играет в войну, то часто называет себя Володей Козельцовым.

— Вот видите, и принесли вред мои рассказы.

Жена вышла и привела ко Льву Николаевичу младших мальчиков наших (старший занимался в это время с репетитором).

— У, какой сердитый! — сказал Лев Николаевич, когда к нему подвели пятилетнего Колю, который только что перед этим капризничал в детской.

— А это девочка? — с живостью спросил Лев Николаевич, нежно притянув к себе самого младшего.

— Нет, мальчик.

Толстой обнял его и, пока дети были в комнате, не отпускал от себя.

Когда детей увели, он встал, прошелся по комнате и, остановившись перед книжным шкафом, окинул его беглым взглядом. На самом почетном месте, на верхней полке, стояли его сочинения. В это время вошел старший сын мой — гимназист первого класса.

— Вы что же учили сейчас? — спросил Толстой, когда Андрюша поклонился.

— Грамматику.

— Латинскую? — слегка неодобрительно спросил Толстой.

— Нет, русскую.

— А!..

Подали чай. Лев Николаевич выпил два стакана вприкуску, с блюдечка и закурил папиросу. Курил он у нас довольно часто, как и полтора года назад, с той только разницей, что тогда курил готовые папиросы, а теперь крутил их сам. За чаем разговор коснулся лите-

ратуры и последних сочинений Льва Николаевича. Он сказал:

— Попам, как мне говорили, нравится «Исповедь», за исключением мест о православии, и не нравится «В чем моя вера?», а профессорам, наоборот, нравится «В чем моя вера?» и не нравится «Исповедь».

Я стал нападать на фельетон Скабичевского по поводу статьи Громеки о последних произведениях Льва Николаевича («Анна Каренина» и др.)³. Толстой улыбнулся и пошутил: «У вас зуб против Скабичевского». О Громеке он сообщил печальное известие: Громека застрелился. «Он страдал умственным расстройством — манией преследования», — прибавил он.

Лев Николаевич пробыл у нас часа полтора. Когда он поднялся, чтобы проститься, я предложил послать за извозчиком, но он отказался. Мы с Ниной собрались проводить его на вокзал. На улице я хотел позвать извозчика, но Толстой опять отказался.

— У вас конка есть, мы дойдем до нее.

Мы пошли. Совсем смеркло, и горели фонари. Было грязно. По дороге несколько раз встречались нищие — и взрослые и дети. Дети говорили жалобным голосом обычное: «Барин, кушать хочется». Фразу эту мне часто приходилось слышать в Харькове. Толстой, как заметила Нина, поспешно давал каждому из них, стараясь делать это незаметно. Стали проходить мимо лавок. Лев Николаевич попросил указать ему какую-нибудь бакалейную лавку, так как ему нужно было купить сардинок для больного, и мы зашли в одну из рыбных лавок. Пока приказчик доставал коробочку, двое нищих, один за другим, входили в отворенную настежь дверь лавки, и Толстой торопливо совал им деньги. Делал он это так быстро, что нищие не успевали договорить просьбы. Потом заходили мы в галантерейную лавку. Льву Николаевичу нужно было купить мундштучок для папирос, но мундштучка, какой ему нужен был, не нашлось в лавке. Наконец дошли до конки. Сесть пришлось только Нине и мне, а Толстому не достало места. Как я ни просил его сесть, он отказался и усадил меня, а сам всю длиннейшую дорогу до вокзала стоял, продолжая разговаривать с нами. От места, где остановился вагон, до подъезда вокзала пришлось идти по липкой грязи. Мне было трудно это. Лев Николаевич взял меня под руку и повел до

вокзала, а затем в зал первого класса, где ожидал его Л. Д. Урусов. Лев Николаевич познакомил нас. Урусову было лет сорок пять на вид: бледный, худой, истощенный. Лицо симпатичное. Говорил он оживленно, но почти шепотом и мало, так как ему запретили говорить. Вскоре Лев Николаевич сказал, что ему необходимо написать письмо к жене, и попросил извинения, что оставляет нас. Писал он за тем же столом, за которым сидели мы. Сидел он против нас, и я как теперь гляжу на него. В это время он был точно такой, каким изображен на портрете, написанном Н. Н. Ге. Лицо его было очень красиво в это время.

Еще Лев Николаевич не кончил письма, как к нему подошли А. М. Калмыкова⁴ и Х. Д. Алчевская с мужем. Лев Николаевич перезнакомил нас. Калмыкова и Алчевские случайно узнали от кого-то, что Толстой в Харькове и что он у меня; были у меня на квартире, где им сказали, что Лев Николаевич отправился на вокзал.

Подошло время отхода поезда. Прощаясь, Лев Николаевич сказал, что через несколько дней проедет через Харьков обратно в Москву. Все мы просили его телеграфировать о времени проезда через Харьков. Он обещал. Мы проводили его до вагона. До самого отхода поезда он разговаривал с нами, сначала стоя у вагона (нищие и здесь подходили к нему, и он давал им), а затем стоя на площадке вагона.

ПОЕЗДКА В МОСКВУ

В феврале 1888 года приехал ко мне в Воронеж Павел Александрович Буланже, и мы решили с ним съездить в Москву, чтобы повидаться с Львом Николаевичем⁵...

Мы нашли Льва Николаевича в небольшой и невысокой комнате, довольно скромно меблированной (небольшой и простой письменный стол, диван, несколько кресел и книжный шкафчик; стены беленые, и на них нет ни портретов, ни картин). У Льва Николаевича был гость—студент, ушедший тотчас же после нашего прихода. Лев Николаевич встретил нас весело и ласково; мы обнялись, и я представил ему Буланже, видевшего его в первый раз.

Лев Николаевич позвал нас в свой кабинет, и тут мы говорили с ним о многом и задушевном, интимном. Под конец разговор коснулся супружеской жизни.

— Браки большей частью несчастны потому, — сказал Лев Николаевич, — что в основе их обыкновенно чувственность.

По мнению Льва Николаевича, в большинстве случаев бывает, что муж и жена желают смерти друг друга; хоть изредка, мимолетно мелькнет в голове: «Хоть бы она умерла!..» Где является или хоть раз мелькнула такая мысль, там брак несчастный.

— Была ли у вас когда-нибудь такая мысль? — обратился ко мне Лев Николаевич.

Я ответил отрицательно.

— Ваш брак принадлежит к исключениям, — сказал он.

Говорили о литературе и, между прочим, о последних произведениях Гончарова («Слуги», «На родине»).

— У Гончарова узкий кругозор чувашенина, — сказал Лев Николаевич.

— Теперь вы отказываетесь от ваших прежних художественных произведений, — сказал я, — но если не теперь, то прежде, какое ваше произведение вам самому нравилось больше: «Война и мир» или «Анна Каренина», какое вы тогда ставили выше?

— Да я и теперь ставлю «Войну и мир» выше «Анны Карениной»...

За чаем, который пили в зале, продолжался разговор о литературе. Лев Николаевич сказал, что читает в настоящее время «La terre» * Золя и роман этот нравится ему.

— Есть недостатки, — прибавил он, — но только в этом романе в первый раз мы видим настоящего, реального французского крестьянина. Большой талант.

В дальнейшем разговоре я упомянул о двадцатипятилетнем юбилее литературной деятельности изобразителя наших русских крестьян, Г. И. Успенского.

— Недавно я прочел, — сказал я, — что первое произведение его было помещено в вашем журнале «Ясная Поляна».

— Какое? — быстро спросил Лев Николаевич.

Я не мог ответить ⁶.

* «Земля».

Лев Николаевич посмотрел на меня и промолчал.

— Говорят, он пьет,— сказал он.— Пьяница никогда,— прибавил он потом,— не идет вперед ни в умственном, ни в нравственном отношении.

— «Паровой цыпленок»⁷,— продолжал Лев Николаевич,— прекрасная вещь, но «Живые цифры»⁸ мне не нравятся. Рассказ о бабе, которая привязала ребенка на спину и которой было так трудно идти, неверен в действительности.

Лев Николаевич припомнил при этом об одном из прежних рассказов Глеба Успенского, в котором говорится о шурине и девере какого-то мужика.

— Чтобы у мужика мог быть и шурин и деверь,— заметил Лев Николаевич,— нужно было бы, чтобы мужик был вместе с тем и баба, так как деверь может быть только у женщины.

В этот вечер Толстой получил с почты массу вырезок из парижских газет с отзывами о представлении «Власти тьмы» в театре Антуана. Некоторые из них он читал вслух и был, видимо, доволен ими.

— Откуда взят вами сюжет «Власти тьмы»? — спросил я.

— Сюжет «Власти тьмы»,— ответил Лев Николаевич,— заимствован из действительного происшествия, о котором я узнал от прокурора суда. Детоубийство было совершено в действительности так же, как в драме, но отравления не было. Была связь с падчерицей, как и в драме. В действительности, когда дочь от первого брака стала звать убийцу идти благословлять, то он ударил ее чем-то, и она упала. Сочтя ее убитою, он до такой степени был потрясен этим, что пошел и покаялся при народе.

В дальнейшем разговоре Лев Николаевич сказал:

— Я раньше объявил, что буду писать для народа, и «Власть тьмы» я писал для народа.

ПОЕЗДКА В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

3 декабря [1890 г.]⁹ вечером я и Буланже приехали в Тулу. На другой день в пятом часу пополудни мы были в Ясной Поляне.

Лев Николаевич и семья его приняли нас ласково, и мы пробыли у них три дня...

Однажды вечером Лев Николаевич прочел вслух две последние песни «Одиссеи». Он и до нашего приезда читал ее по вечерам и прочел всю, за исключением последних песен, дочерям своим. Чтение происходило за круглым столом. Читает Толстой очень просто и хорошо. Лучшего чтения Гомера мне не приходилось слышать. Интонация и выражения, с которыми он читал некоторые стихи, врезались мне в память. В особенности почему-то запомнились ласково и просто прочитанные слова, с которыми Одиссей обращается к не узнавшему его отцу.

При чтении того места, где Одиссей рассказывает о себе отцу выдуманную историю, Толстой на минутку приостановился.

— А плут же! — сказал он смеясь. — Мастер врать. Беспреданно врет.

Окончив чтение, Лев Николаевич сказал мне, что прочесть «Одиссею» одному, про себя у него не хватило бы теперь силы, читать ее мог он только с другими.

Пока Лев Николаевич читал, Татьяна Львовна нарисовала в альбоме мой портрет карандашом. В числе других портретов и набросков в ее альбоме я видел и портрет Льва Николаевича. Он изображен затылком к зрителю. Когда я рассматривал этот набросок, Лев Николаевич также взглянул на него.

— А что ж, недурно. Как хорошо, наивно вышли эти косички, — сказал он добродушно.

Однажды вечером Лев Николаевич ушел от нас в рабочую комнату, чтобы написать письмо кому-то. Вернувшись, он подсел ко мне. В это время я перелистывал иллюстрации салона «Фигаро». Лев Николаевич тоже стал смотреть и хвалил некоторые картины. Одна из картин понравилась ему в особенности. Сюжет ее был взят из эпохи первой революции. На первом плане песчаный берег и спокойное море во время отлива. На берегу две или три кареты, из которых вышли изящные дамы и кавалеры, спешащие к ожидающей их лодке. Вдали корабль, который должен спасти их. Вопрос, успеют ли они добраться до него...

— А молодцы французы! — с удовольствием сказал Толстой, смотря на действительно мастерски сделанную вещицу...

Однажды Лев Николаевич пригласил нас в свою рабочую комнату. Обстановка этой невысокой, со сводами, комнаты самая простая. Два окна выходят в сад. На одном из них — сапожные инструменты, а около другого — небольшой стол, на котором пишет Толстой. У противоположной окнам стены — диван, перед ним другой стол и несколько кресел. На одной из стен — вешалка для одежды. Стены беленые, пол некрашенный. Лев Николаевич занимался при нас, впрочем недолго, сапожной работой и потом прилег на диван, и мы проговорили с ним часа полтора.

Пришлось мне поговорить со Львом Николаевичем и наедине. Беседа была интимная (касалась моей личной жизни, воспитания детей и т. п.), и я имел ее в виду, когда ехал в Ясную Поляну. За исключением этой беседы разговоры мои со Львом Николаевичем касались большею частью литературы. Приведу здесь кое-что из того, что он говорил.

Лев Николаевич очень жалеет, что Герцен недоступен нашей публике и в особенности молодежи: чтение его может только отрезвить и отвратить от революционной деятельности.

— Французам, англичанам или немцам, литературы которых обладают бóльшим числом великих писателей, чем наша литература, легче перенести утрату одного из них. Но у нас кого читать, много ли у нас великих писателей? — говорил Толстой. — Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Герцен, Достоевский, ну... я (без ложной скромности), некоторые прибавляют Тургенева и Гончарова. Ну вот и все. И вот один из них выкинут, не существует для публики — невознаградимая утрата!

Лев Николаевич видел Герцена в Лондоне¹⁰, и тот произвел на него сильное впечатление. Но политика тогда не занимала его, он увлекался другим.

— На мне были тогда надеты шоры, — говорил Толстой, — и я видел только то, чем увлекался тогда.

Литературным критикам Толстой не придавал значения и удивлялся Тургеневу, носившемуся с Белинским, видевшему что-то чрезвычайное в сочинениях его.

— У Тургенева выше всего «Записки охотника»... и бесподобные описания природы, — сказал однажды Лев Николаевич.

Разговор как-то коснулся Диккенса, которого Толстой

очень любил (портрет его висит в комнате, бывшей прежде рабочим кабинетом Льва Николаевича).

— А читали вы его «Историю двух городов»? А «Наш общий друг»? — И Лев Николаевич назвал мне еще два-три романа Диккенса и, как нарочно, именно те, которых я не читал... — А, прочтите их, — добавил он, — ах, как я вам завидую, сколько удовольствия вам предстоит. Диккенс — на верхней ступеньке, ступенькой ниже Теккереи¹¹, еще ниже Тrollop¹².

— А Джордж Эллиот? — спросил я.

— О, это рядом с Диккенсом, на одной ступеньке с ним, — поспешно ответил мне Лев Николаевич.

— Что вы скажете об Альфонсе Додэ? — спросил я однажды.

— Додэ? Что такое Додэ? Как вам сказать... Вы кого знаете из московских актеров Малого театра?

— Теперешних не всех знаю.

— А прежних?

— В шестидесятых годах знал всех. — И я стал перечислять: — Садовский, Шумский, Самарин...

Лев Николаевич перебил меня:

— Вы знали Самарина. Ну вот Додэ — это Самарин. У него главное — выучка¹³.

Лев Николаевич читал «В сумерках» Чехова¹⁴. Чехов нравился ему. Он находил у него сходство с Мопассаном и большой талант...

Лев Николаевич говорил, что ему очень хочется написать драму, задушевную драму, вложить в нее все, что пережил в последнее время¹⁵.

ПЕРВЫЙ ПРИЕЗД ТОЛСТОГО В ВОРОНЕЖ

...1 апреля 1894 года я получил телеграмму от В. Г. Черткова, извещавшую о том, что Л. Н. Толстой вечером этого дня приедет в Воронеж¹⁶. Нина и Боря ездили на вокзал встретить Толстых. В половине двенадцатого они вернулись с ними...

На большом столе в гостиной готов был самовар и ужин.

Поцеловавшись со мной, Лев Николаевич и Марья Львовна сели к столу. Пришли дети — Алеша, Коля и Сережа. Их представили гостям. Лев Николаевич ласково

спросил у каждого, в каком он классе и каких лет, и удивился тому, что Коля старше Сережи и уже в четвертом классе. От ужина и чая он отказался и стал пить горячую воду с лимоном и, вместо сахара, с изюмом. Он рассказал коротко о своем пребывании у Чертковых и о том, что жене его теперь лучше. Спросил меня о моей болезни. Выражение его лица было веселое и довольное. Я был взволнован и счастлив.

— А я дорогой от вокзала,— весело сказал Лев Николаевич,— много смеялся: Боря ваш много рассказывал мне и смешил... Все это так молодо!

— Вы, конечно, писали что-нибудь у Черткова? — спросил я.

— Каждый день. Я и у вас завтра буду писать.

Лев Николаевич был очень оживлен и бодр, но было уже поздно, и ему после дороги необходимо было дать отдохнуть. Поговорив еще немножко, в половине первого все разошлись. Толстому была отведена небольшая комната рядом с гостиной, с окном во двор. Ложась спать, он позвал к себе Борю, который, видимо, понравился ему, и еще несколько минут разговаривал с ним.

Вернувшись из комнаты Льва Николаевича, Боря рассказал мне, что дорогой от вокзала Лев Николаевич, между прочим, спросил его, как относятся к нему (Льву Николаевичу) в гимназии. Боря ответил, что батюшка беспрестанно бранит его на уроках и опровергает его учение. «А что же, разве я введен в программу у вас?» — сказал Толстой. Когда же проезжали мимо кадетского корпуса, он заметил: «А у вас еще сохранилась эта пасть...»

На другой день Толстой проснулся в девятом часу утра и опять позвал к себе Борю. Боря, по его просьбе, принес ему ваксу и щетки.

Часов в девять Толстой вышел в гостиную, и опять все собрались за чайным столом. Боря также был тут: в этот экстраординарный день он просил у меня позволения не ходить в гимназию. Все пили чай, а Лев Николаевич ел овсянку, которую приготовила ему Нина, разговаривал и шутил. Выражение лица его было такое же, как накануне,— веселое и ласковое.

После чая я прочел ему несколько отрывков из писем к нам Андрюши, в которых последний рассказывает о своих вечерах с товарищами и курсистками (на этих

вечерах читалось «Царство божие»), описывает споры и пр.

— Так, «девицы поголовно спят»,— засмеялся Лев Николаевич, повторяя слова Андриюши о девицах.

Дойдя до места, где Андриюша говорит о том, какие книги читал он за последнее время, я хотел пропустить это место и стал было читать дальше, но Лев Николаевич остановил меня: «А что он читает?» Когда я прочел сообщение Андриюши о том, что «девицы окончательно изгнаны и больше не присутствуют на чтениях», Толстой опять смеялся.

— Он хорошо пишет! — похвалил он, когда я окончил чтение.

Продолжая разговаривать, Лев Николаевич встал и прошелся по гостиной, останавливаясь перед некоторыми фотографиями на стенах. За исключением «Сикстинской мадонны» и любимых им картин Ге на глаза ему должны были попадаться (и мне было радостно это) преимущественно его собственные портреты, которых у меня очень много.

Пройдясь по комнате, Лев Николаевич сел опять на прежнее место.

Нина спросила его, надевает ли он очки, когда пишет. Лев Николаевич сказал, что до сих пор обходится без них.

— Я всегда был близорук, но никогда не носил ни очков, ни пенсне и нахожу, что благодаря этому и сохранил зрение. Я и теперь близорук. Да вот я отсюда не рассмотрю, что изображает эта фотография,— и он указал на одну из небольших фотографий на стене, аршинах в трех от себя.

— На этой фотографии,— сказал я,— изображены вы в Бегичевке с мужиками.

— Это Бегичевка? А мне казалось, что тут какие-то развалины!

Около половины одиннадцатого Лев Николаевич объявил, что пойдет писать (пишет он в настоящее время статью о Мопассане), и выбрал себе для писания детскую (с дешевенькой конторкой и столом, накрытым изрезанной и вытертой клеенкой). Он ушел писать.

Толстой писал часа полтора и в первом часу вышел в гостиную. Посидев и поговорив с нами недолго, ушел... он к Денисенко. Нина пошла с ним, чтобы показать до-

рогу. Вскоре Лев Николаевич и Марья Львовна вернулись. Был подан завтрак. В это время приехал А. И. Алмазов (из деревни) и был чрезвычайно удивлен неожиданной встречей со Львом Николаевичем. Лев Николаевич был рад ему. Толстой говорил и со мной, и с Ниной, и с Алмазовым.

Однажды он обратился к Боре:

— Что вы читаете? — спросил он, увидев в его руках книжку. — Писемского? Да, вот забытый теперь писатель! — с легким вздохом сказал Лев Николаевич.

Я стал сравнивать Писемского с Гончаровым, считая первого в некоторых отношениях выше.

— Да, это правда, пожалуй, — сказал Лев Николаевич.

Говоря об «Обрыве», я стал указывать на слабые, по моему мнению, стороны этого романа.

— Да, но он (Гончаров) и хорошее писал, — возразил Толстой и затем прибавил: — Лучшее, что он написал, это его первая вещь: «Обыкновенная история»...

Лев Николаевич рассказал, что на железной дороге, когда ехал в Воронеж, он, сидя в вагоне, был приятно удивлен, услышав неожиданную музыку.

— Какой-то старик на скрипке играл «La ci darem la mano» из «Дон-Жуана», и я с большим удовольствием слушал его. Вы знаете эту арию? — спросил Лев Николаевич.

— Но вы не любите оперной музыки, — сказал я.

— Да... Но ведь это Моцарт! «Дон-Жуан»!

— А Глинка? Неужели он не нравится вам?

— Когда я вспоминаю о Глинке, — сказал Толстой, — мне сейчас же представляется (он сделал гримасу) табак Жукова¹⁷, водка и селедка... неопрятное что-то, — сказал он, понизив голос. — Конечно, — поспешил он прибавить, — я признаю его достоинства. В музыке его столько мелодии, поэзии!..

Затем Толстой стал говорить об искусстве.

— Изящная литература теперь кончилась как новое. Кончились и скульптура и архитектура... изящная. В музыке всё старые формы продолжают. Только в живописи еще что-то трясется. Прежде в литературе было не то — вырабатывались новые формы. «Записки охотника», «Мертвые души», «Записки из Мертвого дома», Аксакова «Семейная хроника», наконец... без ложной скром-

ности, мое «Детство и отрочество» — это все были новые формы... Теперь это кончилось...

— Лев Николаевич, что вы посоветуете мне читать? — спросил Боря, сидевший за столом против него.

— Читайте Достоевского. Вот «Бесы» его прочтите.

Толстой стал говорить о Достоевском и хвалить роман «Бесы». Из выведенных в нем лиц он остановился на Шатове и Степане Трофимовиче Верховенском. В особенности нравится ему Степан Трофимович.

— А можно ли, — спросил я, — дать Боре «Анну Каренину» и вообще в каком возрасте можно дать ее?

— После смерти.

Все рассмеялись. Толстой улыбнулся.

Затем я сказал, что после нового издания Писарева он опять в ходу между гимназистами.

— Ах, это несчастье! — сказал Лев Николаевич и затем прибавил: — Волынский полезен, он правду пишет (о критиках)... Собственно, в Писареве хороша, впрочем, смелость, с которой говорит он. — Вообще критики, — продолжал Толстой, — никогда не имели для меня большого значения. Я никогда не мог дочитать Белинского... скучно...

Не помню как, разговор коснулся сказок «Тысяча и одна ночь». Лев Николаевич очень хвалил их. Он читал их в отрочестве и любит до сих пор. В особенности большое впечатление произвела на него некогда сказка о принце Камаральзамане. Хвалил он также романы Диккенса.

— Диккенс и Виктор Гюго — это настоящие христианские писатели, — сказал он.

Разговор коснулся Гете.

— Из сорока трех томов Гете (я все прочел) два тома хороши, а остальные плохи, — сказал Толстой.

Ибсен не нравился ему. Когда он говорил о нем, Нина сказала, что ей понравилась «Гедда Габлер».

— «Гедда Габлер»? Да, это недурно, но я решительно не понимаю, зачем она сожгла эту рукопись¹⁸.

На вопрос, какого мнения Лев Николаевич о «Степи» Чехова и о последних рассказах его, он сказал:

— «Степь» — прелесты! Описания природы прекрасны. Рассказ этот представляется мне началом большого биографического романа, и я удивляюсь, почему Чехов не напишет его.

О последних произведениях Чехова Толстой отзывался так:

— «Рассказ неизвестного человека» — плох, но «Черный монах» — прелесть.

Я показал Льву Николаевичу недавно приобретенную мною книжку «Современник» 50-х годов, с рассказом брата его Н. Н. Толстого «Охота на Кавказе»¹⁹. В рассказе этом, между прочим, выведен действительно существовавший казак Епишка, послуживший прототипом для знаменитого дяди Ерошки в «Кавказах».

— Это ваша книга? — спросил Лев Николаевич, оживившись, и стал перелистывать ее. На него, видимо, как бы нахлынули воспоминания далекого прошлого. Выражение лица его было растроганное. Он замолчал.

— Да, все это прошло! — сказал он потом, вздохнув. В голосе его были и грусть и умиление. — А как хороша эта статья брата! И вообще хорошие тут вещи... Кто тут еще? Островский, его «Праздничный сон до обеда», Фет... Все это прошло...

Вечер пролетел незаметно. Приближалось время разлуки со Львом Николаевичем. Я попросил детей принести мне первый том дорогого роскошного издания сочинений его и попросил Льва Николаевича написать на память мне несколько слов на этой книге. Взяв книгу и оглянув дорогой изящный переплет, он развернул ее и весело сказал:

— А! Это у вас последнее издание? Я еще не видал его. А что ж? Ведь хорошо! — прибавил он с удовольствием и полувопросительно, как бы желая получить мое подтверждение этому. В голосе его было в то время что-то детски простодушное, милое... — И шрифт крупный, вам легко читать...

Взяв перо, Лев Николаевич на одной из первых страниц книги написал: «Дорогому другу Гавриилу Андреевичу Русанову. Лев Толстой. Воронеж. 2 апреля 1894 года».

Только что он кончил писать, как сидевший против него за столом гимназист Щеголев²⁰ обратился к нему с умоляющим видом.

— Лев Николаевич! Позвольте просить вас написать и мне что-нибудь на память.

Юноша этот, очень неглупый и начитанный, раза два

в течение вечера обнаружил свою начитанность, блеснув цитатами из модных сочинений.

— Что же мне написать вам, да и на чем же? Не на чем,— возразил Толстой.

— Пожалуйста, напишите, на листе бумаги напишите! Пожалуйста.

Перед Львом Николаевичем очутился лист бумаги. Он покорился необходимости.

— Что же я напишу вам? — сказал Лев Николаевич с пером в руке.

— Что хотите!

Спросив об имени и фамилии, Толстой быстро написал что-то, но только что Щеголев хотел взять бумагу, как он, не давая бумаги, сказал:

— Ну, вот видите, я вам и глупость написал,— и хотел зачеркнуть написанное.

Щеголев упросил не зачеркивать. На полученном им листе бумаги было написано: «П. Е. Щеголеву. Желаю Вам думать своим умом».

Л. П. НИКИФОРОВ

ВОСПОМИНАНИЯ О Л. Н. ТОЛСТОМ

Однажды я с моим старым приятелем Владимиром Федоровичем Орловым, с которым я в 1869—1870 годах сидел и привлекался по так называемому Нечаевскому делу¹, отправились как-то вечером к Толстому в Хамовники. Орлов был хорошо знаком с Львом Николаевичем. Мы вошли во двор, позвонили у парадного подъезда, лакей во фраке и в белых перчатках отпер нам дверь, и, так как «граф был у себя», то мы вошли. Замечу, что сколько раз мне после этого ни приходилось осведомляться, дома ли Лев Николаевич, лакей всегда неизменно считал своим долгом поправлять меня, отвечая: «граф у себя» или: «граф вышли». Очевидно, уже было так заведено.

Так как на этот раз Лев Николаевич был «у себя», то мы по широкой лестнице поднялись наверх, прошли через зал с роялем и большим обеденным столом, спустились в маленький и очень узенький коридорчик и постучались в простенькую белую дверь, находившуюся в конце его.

— Войдите! — послышался голос Толстого, и мы вошли. Орлов познакомил меня, и Лев Николаевич, по своему обыкновению, стал подробно расспрашивать, где я живу и как живу.

У него было две комнаты. Первая, небольшая, служила ему спальней; в ней, кроме кровати, отгороженной ширмами, стояла в углу керосиновая печка, а против окна помещался столик с табуреткой, за которым Лев Николаевич еще в то время шил сапоги. Другая комната, очень просторная, служила ему кабинетом и прием-

ной бесчисленных посетителей. Влево от входа стоял большой письменный стол, вправо от кожаного дивана другой стол, круглый или, вернее, овальный, и, наконец, третий помещался между диваном и печкой. На всех столах, как и на этажерке, лежало и стояло много книг и журналов, русских и иностранных. Несколько мягких кресел и стульев довершали убранство этой комнаты...

Кто из посетителей Льва Николаевича не помнит этой комнаты и кто из людей, имевших счастье принадлежать к числу его близких знакомых и друзей, не вспоминает о ней с необычайной любовью, как о чем-то беспрельдно милым и дорогим?! И кого только не видала эта комната в своих стенах! Приведу несколько образчиков посетителей, которые, впрочем, дадут лишь слабое понятие о широком гостеприимстве Льва Николаевича, двери которого были раскрыты для всех... мужчин. Представительницы женского пола редко допускались к нему в этот кабинет — их приглашали обыкновенно в столовую, помещавшуюся внизу, и, насколько я могу припомнить, мне пришлось встретить здесь только Леонилу Фоминишну Анненкову, большую поклонницу Льва Николаевича, и еще одну молоденькую девушку, собиравшуюся ехать к голодающим в Казанскую губернию. О последней мне придется сказать подробнее после. Но если женский элемент не допускался в кабинет, то приток мужского был крайне обилен и разнообразен.

Тех посетителей, которые приходили исключительно ко Льву Николаевичу, окрестили прозвищем «темные». Они появлялись в общей зале только вместе со Львом Николаевичем во время общего чаепития и затем спешили вернуться в его кабинет, куда заходили иногда и «светлые», то есть знакомые Софьи Андреевны, но они редко сидели подолгу и еще реже принимали живое участие в общей беседе.

Помимо «темных» и «светлых» посетителей, тут иногда появлялись и действительно темные личности, желавшие выудить что-нибудь для своих далеко не духовных целей. К числу последних принадлежал, например, господин Зубатов, известный впоследствии начальник Московского охранного отделения, в то время служивший на телеграфе прокурора судебной палаты Муравьева. Зубатов приходил, конечно, не для того, чтобы

пучаться у Толстого или чтобы наслаждаться беседой с ним. Нет, он просто появлялся, чтобы пронюхать и чем-нибудь поживиться, а это было не трудно, так как толстовцы ничего не скрывали и делились всем, что было у них на душе, и подробно сообщали все, что делали и собирались делать.

В числе тогдашних горячих поклонников Толстого был молодой юноша, недавно кончивший курс университета по филологическому факультету,— Михаил Александрович Новоселов. Новоселову очень понравился только что написанный Львом Николаевичем рассказ «Николай Палкин», и он отпечатал его на гектографе и раздавал всем желающим. Узнал ли Зубатов раньше об этом издании, и это потянуло его к Толстому, или же он проведал об этом при своих посещениях Льва Николаевича, не знаю; но как бы то ни было, а он решил создать из этого дело. К Новоселову и к его приятелю Льву Николаевичу Моресу, начали появляться какие-то господа с предложением продать двести экземпляров «Николая Палкина» для «Русской мысли». Новоселов ответил, что он не продает, а может дать несколько экземпляров; Зубатов напирал однако, главным образом, на то, что приобрести их в большом количестве желает именно «Русская мысль», имея в виду припутать и ее. Новоселов отвечал, что ему безразлично, кто и для кого хочет их иметь; продать он все равно не продаст, а несколько экземпляров охотно может дать. Одновременно с этим Новоселов стал получать какие-то странные письма с приглашением на таинственные свидания, и наконец вся эта история, как и всегда, закончилась тем, что Новоселова, Мореса и еще нескольких их знакомых арестовали.

Лев Николаевич, узнав об этом аресте и об огорчении матери Новоселова, отправился к начальнику жандармского управления хлопотать об освобождении арестованных, причем указывал на незаконность их ареста, когда он, главный виновник, остается на воле. Известен ответ генерала, кажется Слезкина: «Граф, слава ваша слишком велика, чтоб наши тюрьмы могли ее вместить». Но так как приходилось привлекать к этому делу не только Толстого, а и Зубатова, то оно кончилось сравнительно легко: Новоселов был в скором времени освобожден и отделался годом гласного надзора...

Оставим, однако, этих исключительных посетителей из породы очень «темных» и перейдем к обычным «темным». Нередко у Толстого, конечно, приходилось встречать молодых писателей, которые шли с своими пробами пера на суд Толстого; из числа их особенно донимали его поэты,—Толстой вообще недолго любил стихов. Зная это, я был немало удивлен, когда, войдя как-то вечером в кабинет, я увидел на столе посвященный ему томик стихотворений. Комната была полна посетителей, но самого Льва Николаевича не было. Я спросил у кого-то из знакомых, как эта книжка попала к Толстому на стол. Ведь Лев Николаевич не любит стихов и не читает. Но тут незнакомый господин поднялся и сказал:

— Да-с, Лев Николаевич стихов не любит, а мои одобряет и даже дал мне весьма лестный о них отзыв.

Меня это заинтересовало, но как-то неловко было спросить у автора, почему его стихотворения составляют исключение и понравились Толстому.

Лев Николаевич долго не приходил, так что некоторым посетителям и в том числе поэту пришлось, не дождавшись, уйти. Когда вошел Толстой, то он первым делом спросил о поэте и, узнав, что он ушел, заметил:

— Это хорошо, он такой тяжелый человек.

Я поинтересовался узнать, что это за поэт и действительно ли его стихотворения нравятся Льву Николаевичу.

— А разве вы его не знаете? — ответил он, улыбаясь.— О, да какой же вы отсталый! Это самый популярный и распространенный современный писатель в России; и чего только он не пишет: и житие любого святого по три рубля за штуку, и стихотворение на какую угодно тему и по поводу какого угодно события от рубля и дороже. Посмотрите, каких только нет у него посвящений, и все это по самой сходной цене. Купцы его очень любят.

Этот поэт, некий Ивин, был из числа очень немногих людей, которых Толстой органически не выносил. Находясь однажды в зале, я, к удивлению моему, услышал, как внизу, в прихожей, Лев Николаевич говорил с кем-то необыкновенно раздраженным тоном; он даже кричал и был, очевидно, вне себя. Оказалось, пришел этот популярнейший писатель Ивин, которого Лев Николаевич просил не тревожить его и оставить в покое, и, однако,

как Толстой потом конфузливо сознался, он не счел возможным отказать ему и дал рекомендательное письмо, кажется к Гольцеву в «Русскую мысль», чем Ивин впоследствии так гордился, утверждая, что стихи его понравились Толстому, а Лев Николаевич конфузился и говорил в свое оправдание:

— Ну что ж, я только рекомендовал, что у него гладкий стих, и, право, не нахожу, чтоб он в этом чем-нибудь уступал многим из числа современных печатающихся поэтов...

С другим поэтом, явившимся пленять Льва Николаевича своими стихами, произошло курьезное недоразумение.

Приехали как-то сектанты из Дубовки, очень желавшие повидать Льва Николаевича и побеседовать с ним. Зашли они ко мне, мы решили предварительно узнать, когда Лев Николаевич будет дома и свободен, чтоб провести с ним вечерок. Лев Николаевич, очень дороживший такими посетителями, просил их зайти в тот же вечер и, если он несколько позамешкается, подождать его в комнате молодого Ге, сына известного художника и друга Толстого. Комнатка, занимаемая Ге во время его приездов, выходила в тот узенький коридор, который вел в комнаты Льва Николаевича. Лакею сказано было направлять всех проходящих в эту комнату, и скоро она наполнилась. Немного погодя вошел Лев Николаевич и попросил всех к себе. Тут он, как всегда, начал знакомиться с каждым и подробно расспрашивать, откуда он и чем занимается. Когда очередь дошла до одного из более молодых и Лев Николаевич спросил его:

— Вы тоже с ними из Дубовок? — то, к общему удивлению, последний ответил:

— Я? Нет-с, я из Большой Московской.

— Как из Большой Московской?

— Да-с, я из Большой Московской гостиницы. Стою там коридорным. Я кум Антона Павловича Чехова. Они изволили у меня крестить².

— Значит, вы не с ними? — переспросил удивленный Толстой.

— Нет-с, я по своему особенному делу.

— По какому же?

— А вот извольте ли видеть: я пишу стихи и принес прочесть вам, чтоб узнать, как вы их одобрите.

При этих словах он вытащил из кармана тетрадочку стихов.

Не так ужаснулся бы Толстой при виде револьвера, как при появлении этой тетрадочки, и невольно воскликнул:

— Да я, право, ничего в них не понимаю, так что вы уж увольте.

Поэт, однако, никак не хотел уволить и просил позволения прочесть хоть несколько стихов.

— Но к чему? Ведь едва ли кто из нас этим интересуется, а я меньше всех, так что вы уж лучше оставьте стихи и побеседуйте с нами.

Кум Антона Павловича был так уверен, что его стихи понравятся Льву Николаевичу, и так ему хотелось услышать от него слово одобрения, что убедительно просил прослушать хотя бы только два-три и наконец помирился на одном. Толстой с небольшой охотой стал слушать. Стихи были самые обыкновенные, искусственные, даже вымученные, и когда он кончил одно и хотел приняться за чтение другого, Лев Николаевич неожиданно спросил его:

— А вы пьете?

— Пил-с, и очень шибко, так что лишился даже места и впал с семьей в большую нужду. Но благодаря бога бросил пить, оправился и занялся теперь стихами.

— И напрасно, совсем напрасно, лучше бы пили, а не писали стихов. От пьянства вы старались отстать, так как понимали, что оно вредно, а от писания стихов вы не так-то легко отстанете, так как не скоро поймете, что это такое же пустое и вредное занятие. И вот если вы уж хотите послушаться моего совета, то бросьте забавляться стихами и считать это чем-то серьезным и хорошим. Поверьте, что это — самое пустое дело.

И поэт ушел сильно разочарованный.

А Лев Николаевич долго не мог успокоиться, и беседа с дубовцами как-то не клеилась. На прощание он просил их зайти к нему на следующий же день.

— Постараемся провести вечерок пополезнее, без этих поэтов, — заметил он, улыбаясь.

На другой день поэтов не было, беседа, преимущественно по религиозным вопросам, была очень оживлена и интересна, а на прощание Толстой прочел при-

сланные ему крестьянином Новиковым сценки из крестьянской жизни о туманных картинах и о посещении земской амбулатории. Художественный, глубоко трагический юмор этих сцен и их неподражаемая правдивость так всех восхитили, что дубовцы просили списать их, а сам Лев Николаевич не раз прерывал свое чтение, так как рыдания подступали у него к горлу.

— Вот это писатель, настоящий писатель, и какой меткий, неподражаемый язык! — восхищался он. — Вот у кого, а не у нас, нужно учиться писать.

Известно, что к этому Новикову Лев Николаевич думал было направиться по уходе из Ясной Поляны.

Уйти из барской обстановки и от условий жизни, вполне не соответствовавших его убеждениям, было давнишней, заветной мечтой Льва Николаевича, которую он едва ли от кого скрывал. Помню, как однажды, придя к нему, я застал его за беседой с высоким пожилым крестьянином. Крестьянин этот оказался старовером, приехавшим из Сибири; он рассказывал о своем житье, и Лев Николаевич не сводил с него глаз, упиваясь его речью. Оказалось, что этот крестьянин вместе со своими единоверцами поселился сначала в глухом месте Сибири, желая избежать всяких сношений с властями, как духовными, так и светскими, считая это за великий грех. Но в конце концов начальство напало на их поселок и заставило их платить подати и подчиняться своим распоряжениям. Тогда он с несколькими единомышленниками удалился еще дальше в глубь лесов, устроили они там себе скит, развели огород, завели пчельник; никаких товаров они не покупают, никаких податей и налогов, ни прямых, ни косвенных, не платят и сами выращивают и выделывают, что им нужно. Такая жизнь особенно пленяла Льва Николаевича, и он, слушая, все повторял:

— Ах, как хорошо! Вот так пожить бы, хоть под старость.

— А за чем же дело стало? — спросил я его.

— За чем? А вас старуха ваша пустит?

— Меня, конечно, пустит.

— Ну, а моя не пустит, и вот в чем вся моя беда, — с грустью заметил он.

Вспоминается мне и наш разговор по тому же вопросу во время одной из прогулок в Ясной Поляне. Отой-

дя немного от дома, Лев Николаевич по обыкновению сбросил калоши, снял носки, засунул калоши за пояс, носки запрятал в карман и зашагал по лесной тропинке. Время было осеннее, земля холодная, на каждом шагу попадались торчавшие корни и сучья, а он шагал себе по ним, словно по гладкому паркету, и удивлялся, что я не соблазняюсь разуться. На обратном пути, подходя к усадьбе, он остановился, чтоб обуться, и, любуясь красотой леса и ширью полей, заметил, продолжая начатый разговор о моей тогдашней жизни:

— Ах, как хотелось бы и мне пожить по-человечески, а не в этой барской обстановке!

— И как это нужно, чтоб не было вопиющего противоречия между вашим учением и жизнью,— заметил я.

— Знаю, отлично знаю все это и рвусь всей душой, но вырваться не могу... и знаете ли почему? Потому, что боюсь переступить через кровь, через труп, а это так ужасно, что уж лучше влачить до конца эту постыльную жизнь, как она ни тяжела. Да и почему знать? Быть может, эта именно жизнь и есть тот крест, который мне положено нести.

Слова эти сказаны были так глубоко искренне, а слезы, невольно появившиеся у него на глазах, так ясно говорили, какой это был большой для него вопрос, что я более никогда уже не решался его затрагивать.

Что именно эта боязнь — основательная или нет — переступить через кровь заставляла его оставаться жить в условиях людоедства, как он любил называть их, в этом не могло быть никакого сомнения. И если он все же решился под конец жизни сделать желанный шаг и уйти, то, очевидно, потому, что убедился — или что никакого трупа не будет, или что к тому же поведет и дальнейшее его пребывание в Ясной Поляне³...

Толстой, как я мог впоследствии убедиться, никогда ничего не забывал, в особенности же не забывал решительно ничего, что казалось интересным, и в особенности какой-нибудь даже самой малейшей, художественной черты в жизни или в передаваемом рассказе. Так, я выше упомянул об одной девушке, которую в виде исключения встретил в кабинете Льва Николаевича. Расскажу теперь о ней поподробнее. Я тогда (кажется, в 1889 году) собирался к голодающим в Казанскую губернию и зашел к Толстому узнать, нет ли у него знакомых в Казани, к

которым я мог бы обратиться; оказалось, что Лев Николаевич был всецело увлечен девушкой, приходившей к нему накануне с той же просьбой, как и я.

— Ах, какая девушка! — говорил он с восторгом. — И как она хорошо рассказывала мне об ее приюте; она должна сегодня зайти за рекомендациями, и вам нужно непременно послушать ее.

Пока мы с ним перебирали тех лиц, к которым я мог бы обратиться в Казани, вошел лакей и доложил о «вчерашней барышне». Лев Николаевич кинулся навстречу к ней, словно к давножданному другу, усадил ее в кресло и просил повторить ее вчерашний рассказ. Курсисточка, сильно волнуясь, стала рассказывать о том, как в детском приюте, в котором она занималась, у учительницы пропали деньги. Подозревали нескольких детишек, но меньше всего настоящую виновницу, которая созналась сама, желая снять подозрение с остальных. Ее мать жила в страшной нищете, заболела, и тогда девочка решила во что бы то ни стало помочь матери. Она нисколько не раскаивалась в своем проступке, не считала его дурным и всецело поглощена была мыслью, как и что она на эти деньги купит мамке. При этом рассказе курсисточка, очень нервная, так волновалась, как будто снова переживала драму ее воспитанницы, и так была трогательна в своей простоте, что Лев Николаевич не мог без слез слушать ее и готов был все сделать для той, кто умел так пережить страдания несчастной девочки.

Курсистка эта поехала на голод, заболела там не то тифом, не то нервным расстройством, прожила несколько месяцев у своей родственницы в монастыре, и, когда несколько оправилась, ее потянуло к Льву Николаевичу. Она приехала в Москву, но Толстой был в Ясной Поляне, и она направилась туда. При встрече Лев Николаевич не узнал ее; чтоб напомнить ему о себе, она сказала, что пришла поблагодарить его за те рекомендации, которые он дал ей, когда она отправлялась в Казань к голодающим, но он решительно ничего не мог припомнить и с недоумением все больше всматривался в ее лицо. Наконец он вдруг просиял и воскликнул:

— А что же та девочка? Ведь это вы мне так хорошо тогда о ней рассказывали? Как же, как же, отлично теперь все помню.

И стал ласково и внимательно расспрашивать, где

она была, что делала и как жила за все это время, и, прощаясь, просил ее узнать о дальнейшей участи девочки.

Владимир Федорович Орлов говорил, что в начале его знакомства с Толстым Лев Николаевич иногда как-то странно всматривался в его лицо, словно хотел что-то выведать или разгадать. Однажды в разговоре Орлов заметил, что его дед был мордвин. Тут лицо Толстого мгновенно просияло радостной улыбкой, и он воскликнул:

— Да что же вы, Владимир Федорович, давно мне это не сказали, а я-то все всматриваюсь и не понимаю, откуда в вас это что-то такое особенное. А теперь ясно — это в вас осталось еще ваше мордовское.

Иногда, рассказывая об интересовавшем его человеке, Лев Николаевич так картинно рисовал его, что легко можно было, не видав, составить о нем полное представление...

Иногда достаточно было одного какого-нибудь названия, чтоб у Толстого создавалась целая картина и один, никем не замечаемый, штрих окончательно запечатлевал ее в его памяти.

Одно время решено было отвадить «темных» от посещения Льва Николаевича; а так как я имел честь принадлежать к их числу, то мне никак не удавалось его повидать: то оказывалось, что «графа нет дома», то «графу нездоровится, и просят его не беспокоить». И вот, безрезультатно зайдя в третий или четвертый раз, я оставил записку с моим адресом и просил уведомить, когда я могу его повидать, так как мне это и хочется и нужно. Прошло дня два, и в один сырой, ветреный осенний вечер кто-то позвонил ко мне. Я вышел отпереть и удивленно увидел Льва Николаевича. Оказалось, что он зашел звать меня к себе и сказать, что вышло какое-то недоразумение, так как вечером он всегда дома и давно уже ждет меня. Во избежание такого же недоразумения он просил всегда прямо проходить к нему.

— Приходите поскорей, приходите завтра, ведь мы так давно не виделись,— сказал он на прощание, торопясь попасть домой к обеду, чтоб не заставлять домашних ждать.

Я жил тогда в Антроповых Ямах, и это название забавляло его... Я пошел проводить Толстого, и когда он

увидел на улице множество ребяташек, то рассмеялся и, любуясь ими, заметил:

— Да это настоящие ямы, а я до сих пор не имел никакого понятия об этих ямах. Но где же сам Антроп?..

Лев Николаевич... долго не мог забыть этих Антроповых Ям, которые рисовались ему лужей, кишашей ребятами, словно головастиками, и нередко и впоследствии спрашивал:

— А вы все еще живете в этих Антроповых Ямах, и они по-прежнему кишат ребятами?

Поразительна была энергия Льва Николаевича не только духовная, но даже физическая. Иногда, если я рано уходил, он шел провожать меня, но так как он ходил скоро и я не поспевал, то он, чтоб замедлить свои шаги, оставлял меня идти дальше, а сам с половины, например, Смоленского бульвара возвращался к Зубовской площади и затем, догнав меня, уже мог идти более медленным шагом. Провожал он меня нередко до Кудрина, и тут мы расставались.

Однажды я встретил Льва Николаевича у манежа и, желая пройтись и поговорить с ним, спросил, куда он идет.

— Стыдно сказать,— сконфуженно ответил он,— иду вот в этот манеж, чтоб поездить на велосипеде; как поезжу с полчаса или с час да пробегусь до дома, то чувствую такое облегчение, словно с плеч свалилась большая тяжесть, и тогда опять работается легко.

В Москве когда-то поселился Иван Иванович Бочкарев и завел столярную мастерскую для устройства ульев. Лев Николаевич ходил к нему работать по целым вечерам, заботясь только о том, чтобы никто им не мешал.

В последний раз я встретил Льва Николаевича в 1908 году в Овсянникове. Мы с Горбуновым хотели поехать в Ясную Поляну, как неожиданно приехал Лев Николаевич навестить М. А. Шмидт. Когда он собрался уезжать, мы пошли проводить его. Взобравшись с трудом на своего коня, он проехал несколько шагов шагом и затем, улынувшись и кивнув на прощание головой, пустился во весь карьер, тешась, словно молодой юноша, а не старик, которому самые пожилые из нас годились в сыновья.

Этому избытку физической энергии не уступала и сила его духовной энергии. Он всегда всем горячо интересовался — или восхищался, или возмущался, — если не жизненными, то литературными явлениями; и если он был не оживлен, то безошибочно можно было сказать, что ему сильно нездоровится; а если брался за что-нибудь, то какое бы это ни было неважное дело, торопился сделать это поскорей и не любил откладывать...

Задумав выбрать лучшие произведения Гюи де Мопассана и согласившись сделать этот выбор для моих переводов, он тотчас же принялся перечитывать Мопассана, хотя ему сильно нездоровилось, и когда я заметил, чтоб он не утруждался и что лучше это отложить, он с упреком заметил мне, что никогда не следует откладывать хорошее дело, если уже решил взяться за него. И в этом он всегда был верен себе и не только не откладывал, а постоянно спешил, с ужасом иногда замечая, как много нужно еще сделать хорошего, и всегда опасаясь, что не успеет.

Замечу здесь одну своеобразную черту в Льве Николаевиче: он не любил изменять и выбрасывать из своих писаний то, что почему-нибудь он, очевидно, выстрадал, когда писал. Это отнюдь не противоречит тому, что он десятки раз переделывал написанное; но если его не удовлетворяло что-нибудь из написанного, он давал вылежаться, то есть откладывал на неопределенное время; если же что считал законченным, то уже не любил изменять или сокращать. Мы с З. решили как-то на гектографе издавать некоторые его вещи, которые по тогдашним условиям были нецензурны и сдавались в так называемый «Архив Л. Н. Толстого». В одном из таких его произведений, избранных нами для издания, попадались места, которые могли оттолкнуть читателя из народа, показавшись ему кощунственными. Мы заметили это, и Лев Николаевич с нами согласился и попросил оставить рукопись у него до следующего дня, обещая выкинуть отмеченные места или несколько изменить их. Когда же я на следующий день зашел за рукописью, то Лев Николаевич, отдавая мне ее, сказал, что решил ничего не изменять и не выбрасывать; пусть уж останется все, как было. А когда мы все-таки издали с выпусками, он хотя и не возражал, но, по-видимому, был не совсем доволен нами...

Обыкновенно принято считать Толстого «непротивленцем», проповедующим идеал человека, который, сложив руки, умильно смотрит, как его последователи подставляют не только свои левые щеки, но и левые щеки своих ближних, когда их ударяют по правой; но тут крупное недоразумение... Толстой совсем не обладал натурой Манилова, а был борец по самой своей природе и не раз повторял, что нужно что есть сил пробивать и «колоть» эту стену народного бесправия... Лев Николаевич был по самому свойству своей природы не Манилов, а бунтарь, но бунтарь, искавший наиболее радикального средства для победоносной, а не бесплодной борьбы, и он находил его в замене веры в городского и урядника верой в Христа и его учение.

И его бунтарская натура часто ставила в тупик и вызывала недоумение людей, считавшихся его единомышленниками.

Синодское отлучение Толстого в 1901 году как раз совпало с одним из студенческих волнений. По улицам Москвы расхаживали толпы студентов в сопровождении рабочих, зевак и мальчишек, обращавшихся к студентам, важно называя их коллегами. Помню, как, проезжая по конке, я был поражен зрелищем Кузнецкого моста, сплошь запруженного толпами студентов и рабочих; такая же толпа собралась на Лубянской площади, и в промежутке между зданиями, выходящими на Лубянскую площадь, и тем, в котором помещается политехнический музей, она была особенно велика. Конка остановилась, так как все место запружено было народом, который, сняв шапки, кому-то махал и оглашал воздух криками «ура!». Оказалось, что в толпе появился Толстой, его узнали и шумно, горячо приветствовали. Конечно, тотчас же налетели конные жандармы и погнались толпу; тут мне первый раз пришлось испытать, что значит быть подхваченным толпой; она буквально несла меня за собой; я не касался ногами до земли, а махал ими в воздухе, уносимый движением толпы. Но Льва Николаевича успели усадить на извозчика, и он без всяких неприятностей вернулся домой, где его поджидали депутации, спешившие выразить ему сочувствие.

На другой день я зашел к нему и застал множество посетителей, причем некоторые и в том числе недолюб-

диваемый им писатель особенно негодовали на манифестантов, запружающих улицы, бьющих стекла в фонарях и позволяющих себе, по их словам, «всякого рода бесчинства». Господа эти были вполне уверены, что того же мнения был и Лев Николаевич, но он нисколько не сочувствовал этим негодованиям.

— О каких бесчинствах говорите вы? — возражал он. — Я нигде не замечал ничего подобного, хотя все время был в толпе. Толпе хочется гулять, и я не понимаю, почему бы ей не гулять по улицам. Вам не нравится, чтобы мы гуляли по Никитской; извольте, мы пойдем по Моховой, по Кузнецкому, по Арбату; а если вы будете гоняться за нами и давить нас лошадьми, то мы, естественно, побегим и скучимся.

— Но позвольте, Лев Николаевич, — возражали возмущенные господа, так рассчитывавшие на поддержку со стороны Толстого, — вы во всяком случае не станете оправдывать это битие фонарей и запускание ледяшками в жандармов?

— Я ничего не оправдываю, — говорил Толстой, — я только не понимаю, что может вызывать ваше негодование. Вы сами говорите, что расшалившиеся ребятишки, ликующие, кричащие студентам «коллега», запускают ледяшками и попадают иной раз в фонарь. Ребятишки всегда любят запускать снежками, ледяшками, и если попадут случайно в фонарь и выбьют стекло, то какая же тут беда? Фонари содержатся на городской счет; ну, нас, домовладельцев, обложат лишней копейкой — вот и все; а вот те, что давят народ, те действительно бесчинствуют, но ведь вы не возмущаетесь ими, а находите, что они охраняют и водворяют порядок, по моему же мнению, от них и происходит весь беспорядок. Вы утверждаете, что благодаря манифестантам нельзя даже выйти на улицу, а я этого решительно не понимаю. Я гулял все эти дни, пойду и завтра, и если меня не задавят конные и не намнут мне бока пешие охранители, то отлично прогуляюсь, так как толпа очень добродушно и миролюбиво настроена; ей только хочется погулять так же, как и мне, и она отлично делает, что отстаивает свое неотъемлемое право.

И Лев Николаевич шел гулять, вмешиваясь в самую гущу толпы, и чувствовал себя в ней, как в родной стихии.

До начала этих так называемых студенческих волнений к нему приходила депутация от студентов за советом. Лев Николаевич внимательно выслушал ее, долго беседовал и, узнав, что студенты хотят протестовать против возмутительных условий прекращением посещения лекций, вполне одобрил эту меру, считая ее единственно разумной и правильной. В это время у него по вечерам собиралось особенно много людей самых различных слоев и взглядов. Было немало родителей студентов и профессоров, возмущенных тем, что их дети и слушатели отказываются посещать лекции, пока не будут удовлетворены их требования; и Лев Николаевич не скрывал, что его сочувствие было всецело на стороне студентов.

Г. П. ДАНИЛЕВСКИЙ

ПОЕЗДКА В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

...Беседу с графом о прошлом и настоящем прерывает, вбегая, красивая рыжая лягавая собака. Она ложится у ног хозяина.

— Это не Ласка? — спрашиваю я, вспоминая «Анну Каренину».

— Нет, та пропала; эта охотится с моим старшим сыном.

— А вы сами охотитесь?

— Давно бросил, хотя хожу по окрестным полям и лесам каждый день... Какое наслаждение отдыхать от умственных занятий за простым физическим трудом! Я ежедневно, смотря по времени года, копаю землю, рублю или пилю дрова, работаю косою, рубанком или иным инструментом... А работа с сохой! — продолжал граф. — Вы не поверите, что за удовольствие пахать! Не тяжкий искус, как многим кажется, — чистое наслаждение! Идешь, поднимая и направляя соху, и не заметишь, как ушел час, другой и третий. Кровь весело переливается в жилах, голова светла, ног под собой не чуешь; а аппетит потом, а сон?..

Граф с сочувствием говорил об искусстве, о родной литературе и ее лучших представителях. Он горячо соболезновал о смерти Тургенева, Мельникова-Печерского и Достоевского. Говоря о чуткой, любящей душе Тургенева, он сердечно сожалел, что этому преданному России, высокохудожественному писателю пришлось лучшие годы зрелого творчества прожить вне отечества, вдали от искренних друзей и лишённому радостей родной, любящей семьи.

— Это был независимый, до конца жизни, пытливый ум,— выразился граф Л. Н. Толстой о Тургеневе,— и я, несмотря на нашу когда-то мимолетную размолвку, всегда высоко чтил его и горячо любил. Это был истинный, самостоятельный художник, не унижавшийся до сознательного служения мимолетным потребам минуты. Он мог заблуждаться, но и самые его заблуждения были искренни.

Наиболее сочувственно граф отозвался о Достоевском, признавая в нем неподражаемого психолога-сердцевода и вполне независимого писателя...

Коснувшись Гоголя, которого Лев Николаевич в своей жизни никогда не видел, и ныне живущих писателей, Гончарова, Григоровича и более молодых, граф заговорил о литературе для народа.

— Более тридцати лет назад,— сказал Лев Николаевич,— когда некоторые нынешние писатели, в том числе и я, начинали только работать, в стомиллионном русском государстве грамотные считались десятками тысяч; теперь, после размножения сельских городских школ, они, по всей вероятности, считаются миллионами. И эти миллионы русских грамотных стоят перед нами, как голодные галчата, с раскрытыми ртами, и говорят нам: господа родные писатели, бросьте нам в эти рты достойной вас и нас умственной пищи; пишите для нас, жаждущих живого литературного слова; избавьте нас от все тех же лубочных Ерусланов Лазаревичей, Милордов Георгов и прочей рыночной пищи. Простой и честный русский народ стбит того, чтобы мы ответили на призыв его доброй и правдивой души. Я об этом много думал и решился по мере сил попытаться на этом поприще¹...

Мы разговорились о различных художественных приемах в литературе, живописи и музыке.

— Недавно мне привелось прочесть одну книгу,— сказал, между прочим, граф Лев Николаевич, останавливаясь перед бревнышками, перекинутыми через ручей,— это были стихотворения одного умершего молодого испанского поэта. Кроме замечательного дарования этого писателя, меня заняло его жизнеописание. Его биограф приводит рассказ о нем старухи, его няни. Она, между прочим, с тревогой заметила, что ее питомец нередко проводил ночи без сна, вздыхал, произносил вслух какие-то слова, уходил при месяце в поле, к деревьям

и там оставался по целым часам. Однажды ночью ей даже показалось, что он сошел с ума. Молодой человек встал, приоделся впотьмах и пошел к ближнему колодезю. Няня за ним. Видит, что он вытащил ведром воды и стал ее понемногу выливать на землю; вылил, снова зачерпнул и опять стал выливать. Няня в слезы: «Спя- тил малый с ума». А молодой человек это проделывал с целью — ближе видеть и слышать, как в тихую ночь, при лунном сиянии, льются и плещутся струйки воды. Это ему было нужно для его нового стихотворения. Он в этом случае проверял свою память и заронившиеся в нее поэтические впечатления — тою же природой, как живописцы, в известных случаях, прибегают к пособию натурщиков, которых они ставят в нужные положения и одевают в необходимые одежды. Читая своих и чужих писателей, я невольно чувствую, кто из них верен природе и взятой им задаче и кто фальшивит. Иного модного и расхваленного, особенно из иностранных, не одолеешь с первой страницы, как ни усиливаешься. Даже угроза телесным наказанием, кажется, не могла бы заставить меня прочесть иного автора...

— Вы не устали? — спросил Лев Николаевич, весело посматривая на меня и бодро всходя по внутренней лестнице в верхний этаж своего дома.— Для меня ежедневное движение и телесная работа необходимы, как воздух. Летом в деревне на этот счет приволье; я пашу землю, кошу траву; осенью, в дождливое время,— беда. В деревнях нет тротуаров и мостовых,— в непогоду я крою и тачаю сапоги. В городе тоже одно гулянье надоедает; пахать и косить там негде,— я пилю и рублю дрова. При усидчивой умственной работе, без движения и телесного труда, сущее горе. Не походи я, не поработай ногами и руками в течение хоть одного дня, вечером я уже никуда не гожусь; ни читать, ни писать, ни даже внимательно слушать других; голова кружится, а в глазах звезды какие-то, и ночь проводится без сна.

Н. Н. ИВАНОВ

У Л. Н. ТОЛСТОГО В МОСКВЕ В 1886 ГОДУ

Познакомился я с Л. Н. Толстым в Москве, в марте 1886 года, по письму Д. В. Григоровича.

Поводом для этого знакомства послужило то, что я начал писать стихи и прозу и давал читать свои литературные упражнения близким людям. Один мой родственник, студент университета, убедил меня послать мои тетради на суждение Д. В. Григоровичу, с которым он был знаком...

С — в отослал все мои тетради в Петербург Григоровичу, у которого они пробыли несколько месяцев, и наконец в начале 1885 года С — в получил от Григоровича письмо, в котором тот писал ему, что находит во мне способность к литературе и брожение мысли и что поэтому рекомендует нам обратиться к Л. Н. Толстому за руководящим советом. Кроме того, Д. В. Григорович писал, что Л. Н. Толстой недавно предпринял со своими друзьями дело улучшения народных изданий и что я могу в этом деле найти у Льва Николаевича приложение моих способностей.

Родственник мой последовал совету Григоровича и послал все мои тетради, возвращенные им, в Ясную Поляну Толстому...

Долго не было ответа из Ясной Поляны. Наконец в последних числах февраля 1886 года С — в пришел ко мне и сказал, что Толстой был у него и желает со мной познакомиться...

Числа 6 или 7 марта С — в пришел за мной, и мы с ним часа в три дня отправились к Толстому через всю Москву...

— Здравствуйте, садитесь, пожалуйста,— сказал Толстой, и, когда мы сели, он тоже сел против нас на стул.

— Я читал ваши стихи,— сказал он, обращаясь ко мне.— Способность у вас есть, и вообще вы пишете недурно. У вас много подражания Шиллеру, Лермонтову, Некрасову, а нового, своего мало. Это увлечение народом, преувеличение его страданий и бедности — все это устарело. Пора это бросить. Нужно другое. Теперь так много пишут и печатают, и все не то, все лишнее... Не писать нужно, а вывозить навоз, который все мы, дармоеды, накопили. Ко мне много ходит этих литераторов, журналистов, шелкоперов... Чем дармоедничать, лучше бы работали. Я сам слишком много занимался писанием того, что, в сущности, ни на что не нужно, что годится только для забавы праздных и сытых людей и совершенно ни на что не нужно огромному большинству человечества — трудовому, кормящему всех нас народу. Писать можно только тогда, когда имеешь что сказать доброго или нового, и когда это действительно нужно для блага людей, для всех миллионов трудящегося народа...

Некоторое время разговор колебался по сторонам, удаляясь от существенного, но потом Толстой высказал мне приблизительно следующее:

— Много написано и напечатано,— сказал он,— но для народа, кормящего всех нас, для большой публики ничего не сделано. Этот народ, как галчата голодные с раскрытыми ртами, ждет духовной пищи, и, вместо хлеба, ему предлагают лубочные издатели камень... Впрочем, недавно мои друзья успешно начали дело издания народных книг и картин. Я сам тоже делаю в этом отношении, что могу. Попробуйте и вы свои силы на этом деле...

Толстой подошел к шкафу и отворил его. Нагнувшись к нижней полке, он стал набирать народных книжек издания «Посредника» по одной книжке каждого названия. Верхние полки были наполнены переплетенными книгами. На переплетах нескольких томов я прочитал надпись: «Что делать?»¹. Набрав книжек «Посредника», Толстой подал их мне. Потом вынул из шкафа мои тетради.

— Несколько ваших стихотворений я отметил здесь как лучшие, по моему мнению,— сказал Лев

Николаевич, передавая мне тетрадки.— Садитесь, пожалуйста.

Мы сели близ стола у окон. Толстой сел на диван против нас. Я заглянул в свои тетради, чтобы узнать, какие именно стихотворения одобрительно отметил Лев Николаевич. Он заметил это и сказал:

— У вас хорошо написано стихотворение о старушке, потерявшей все дорогое и умершей одинокой. Но, говоря вообще, все это теперь устарело; нужно другое, новое. Двадцать, тридцать лет тому назад и еще раньше нужно было писать все то, что писали Некрасов, Никитин и другие о народе; в это время нужно было вызвать в обществе сочувствие к народу. И сочувствие было вызвано, и теперь нужно идти дальше. Теперь уже мало одного сочувствия к народу. И нам и народу нужна внутренняя, высшая правда. Вот в книжках,— указывая рукой на лежавшие на столе издания «Посредника», сказал Толстой,— есть это сознание и чувство высшей правды...

Я взял со стола издания «Посредника» и стал их рассматривать. Заметив, что я пристально разглядываю рисунки на обложке «Кривой доли», Лев Николаевич сказал:

— «Кривую долю» и «Деда Софрона» написал человек из крестьян, и очень хорошо написал: правдиво, искренне, и вызывает добрые чувства и хорошие мысли²...

Толстой советовал мне попытаться сокращенно изложить какой-либо роман Диккенса для народного издания, так как целиком романы Диккенса во многом могут быть непонятны простому народу. Я сказал, что очень рад последовать его совету, но что у меня нет сочинений Диккенса, и мне достать их для долгого употребления крайне трудно.

— Я вам могу дать,— сказал он и вышел.

В комнате совсем стемнело. Лакей внес зажженные свечи и поставил их на письменный стол. Толстой вернулся и передал мне переплетенную книгу. Это был роман Диккенса «Наш общий друг»...

Толстой заговорил об изданиях «Посредника» — о переделках произведений известных авторов. М. А. Шмидт отозвалась неодобрительно о книжке «Посредника» «Жервеза» (переделка из романа Э. Золя.) Толстой сказал, что «Жервеза» — вещь малосодер-

жательная и что «Брат на брата» (из В. Гюго) несравненно лучше³. Говоря это, Толстой отозвался отрицательно о пристрастии Золя наполнять свои произведения излишне подробными описаниями обстановки и будничных мелочей жизни...

— А теперь вы нам почитайте свой рассказ,— сказал Лев Николаевич.

Я читать отказался, ссылаясь на то, что я плохо читаю вслух. Тогда Толстой предложил Озмидову прочесть мою рукопись.

Во время чтения Толстой сделал несколько замечаний, из которых я запомнил ясно одно. В рассказе описывалась, между прочим, весенняя распутица, как крестьянин шел по протаявшей под весенними лучами солнца дороге, а по сторонам перелетали грачи, садившиеся и на дорогу, и длинные носы грачей блестели на солнце. Эта последняя деталь вызвала замечание Толстого, который, обращаясь к Озмидову, сказал:

— Вот в этих подробностях, в этих «чуть-чуть» — вся судьба каждого автора; нет этого — этих «чуть-чуть» — значит, все пропало, нет произведения...

— Вы можете писать; написали бы что-нибудь,— сказал он.— Напишите о блохе и мухе,— добавил он улыбаясь. И он рассказал мне сюжет.

— Вы сумеете это изложить простым слогом. Пожалуйста, напишите. Это ваше прямое и близкое вам дело...

В конце апреля я отправился к Льву Николаевичу с рукописью, содержавшею несколько написанных мною басен: «Блоха и муха» (по ...сюжету Толстого⁴), «Три друга», «Юродивый» (две последние — оригинальные) и еще две вещицы.

Я застал Льва Николаевича почти одного в доме; семья его уже выехала на лето в Ясную Поляну, и в московском доме оставались только два сына и несколько человек прислуги.

Я пришел рано утром, как просил меня об этом накануне Лев Николаевич. Он только что встал и принял меня по-домашнему, не одевшись. При мне он торопливо стал умываться, причесываться и одеваться, переходя из кабинета, где я сидел, в соседнюю комнату и обратно. Он сам принес себе воды, сам все себе делал и только с изысканной простотой попросил меня полить ему на

руки над тазом воды из кувшина, поблагодарил меня за эту помощь и среди этих утренних хлопот поддерживал со мною разговор, входил в кабинет, заглядывая в разложенные и раскрытые везде, и на письменном столе, и на столиках, и на диване, книги и бумаги, не убранные с вечера. Книги были на разных языках: много на еврейском, несколько на французском и английском, два-три тома греко-латинского лексикона. Я немного разбираю напечатанное на этих языках (кроме еврейского) и по заглавиям и тексту книг догадался о их содержании, относившемся к экзегетике и изучению христианства. Разного формата и из разной бумаги листки, исписанные высоким, густым и размашистым почерком Льва Николаевича, были заложены в книгах и лежали пачкой на столе под пресспапье.

— Я тут вечером немного работал,— мимоходом заметил Лев Николаевич.— Сегодня я уезжаю тоже в Ясную Поляну... Это хорошо, что вы пришли сегодня. Ну, что там еще у вас новенького?

И с этими словами он взял у меня из рук мою рукопись.

— А-а! «Блоха и муха»,— весело сказал он, просматривая рукопись.— Хорошо, хорошо... Я сейчас, я одну минутку...

И он удалился с рукописью в соседнюю комнату.

— Хорошо, очень хорошо,— сказал он, возвращаясь через две-три минуты в кабинет.— Я только о двух последних вещицах ничего не могу сказать... кажется, не подойдут... А все остальные превосходны — «Три друга», «Юродивый» и «Блоха и муха». Откуда вы взяли сюжет «Три друга»?

— Записал в народе со слов прохожего на шоссе.

— Я так и думал, что это народная притча,— с очевидным удовольствием сказал Лев Николаевич.— Выдумать такую вещь единичный ум не может; здесь — произведение народного духа... То же и «Юродивый» ваш... Но в нем уже народный, здоровый и грубоватый, но очень меткий и правдивый юмор... Вот именно так и надо писать. Пишите так, именно так. Вы на верном пути... И не отклоняйтесь. Это мы постараемся напечатать... Хотя цензура теперь дошла до последних пределов глупости и безобразия... Но мы попробуем⁵...

В. Г. КОРОЛЕНКО

ВЕЛИКИЙ ПИЛИГРИМ

(Три встречи с Л. Н. Толстым)

Я видел Льва Николаевича Толстого только три раза в жизни. В первый раз это было в 1886 году. Второй — в 1902¹ и в последний — за три месяца до его смерти. Значит, я видел его в начале последнего периода его жизни, когда Толстой — великий художник, автор «Войны и мира» и «Анны Карениной» — превратился в анархиста, проповедника новой веры и непротивления; потом я видел его на распутье, когда, казалось, он был готов еще раз усомниться и отойти от всего, что нашел и что проповедовал: от анархизма и от непротивления. Наконец в третий раз я говорил с великим искателем у самого конца его жизненного пути и опять слышал от него новое, неожиданное, порой загадочное... Так по этой дороге вечных сомнений и неустанного движения вперед он неожиданно шагнул в неизвестность, которую всю жизнь старался разгадать и связать с земной жизнью неразрывной связью.

Эти три свидания стоят в моей памяти живо и ярко, как будто они происходили совсем недавно. А между тем их разделяют промежутки в пятнадцать и в семь лет. И когда я оглядываюсь на них, то впечатление у меня такое, как будто на длинном пути, загроможденном всякого рода жизненными впечатлениями, яркими и тусклыми, крупными и мелкими, важными и неважными, — три раза весь этот житейский туман раздвигается, и на расчищенном месте является яркий образ крупного, замечательного человека... Человека, идущего куда-то бодро и без усталости. Каждый раз впечатление дру-

гое: точно это три разных снимка, и только в конце они сливаются в один образ великой человеческой личности.

Это, конечно, потому, что и действительно это были три разных снимка. Менялась жизнь, менялся Толстой, и я тоже менялся: и фон, и предмет, и негативная пластинка каждый раз становились другими.

Теперь я намерен восстановить эти свои впечатления. Но я не хочу сводить их в одно таким образом, чтобы последующие впечатления накладывались на прежние и изменяли их. Я употреблю все усилия, чтобы восстановить каждую встречу со всей полнотой *тогдашнего* моего восприятия. Я был таким-то. Толстой мне представлялся так-то. И если порой для меня лично это будет очень невыгодно, я все-таки охотно иду на это. Толстой сам не боялся правды. Мы, средние люди, можем и должны подражать Толстому в этом, как и в искренности своего отношения к явлениям жизни... Хотя бы эти явления стояли перед нами в такой стихийно-подавляющей форме и размерах, как то, которое носит имя *Льва Толстого*.

Итак, я расскажу, как я три раза видел Толстого, каким он мне каждый раз представился, что я при этом чувствовал, что думал, что я в нем в разное время ощущал и чему удивлялся.

В 1881 году, во время реакции, наступившей после 1 марта, мне пришлось расстаться с Пермью. «Новое веяние» умчало меня далеко на северо-восток Сибири. В сентябре этого года я уже был в Иркутске, где судьба свела меня с целой партией политических, пересылавшихся на Карийскую каторгу. Тут были, между прочим, «централисты», пересылавшиеся из страшных центральных тюрем, где они провели долгие годы точно заживо погребенными. Одни из них представляли старые течения идеалистического народничества. Другие принадлежали к самым последним фракциям народофильства. На меня накинулись как на свежего человека с расспросами, и я помню до сих пор тесную группу людей с бритыми головами, в кандалах, жадно прислушивавшихся к моему рассказу. До них уже доходили слухи о душевном перевороте Толстого. И, забывая на время о своих спорах, все жадно ловили известия о том, что знаменитый русский писатель направляется в сторону, куда, несмотря на взаимные разногласия, обращались они все. В сторону отрицания существующих

форм во имя опрощения и слияния с народом... И всем казалось, что за этим последуют дальнейшие акты исповедания их общей веры... Трудно представить теперь, с какой жадностью в те годы вся ссыльная Сибирь ловила приходившие из России известия об эволюции толстовских воззрений, пока не определилось, что Толстой проповедует новое христианство и «непротивление злу насилием»... Тогда интерес значительно упал. Рассеянная по каторжным тюрьмам, по глухим деревням и улусам Сибири оппозиционная, борющаяся Русь охладела к Толстому. Великий писатель прошел мимо нее и отправился какой-то своей дорогой. Ему было, очевидно, не по пути с людьми, которые отдавали свободу и жизнь во имя пламенного, страстного «противления».

В 1885 году я вернулся из Якутской области, поселился в Нижнем-Новгороде, начал писать и нередко бывал в Москве. Здесь, между прочим, жила г-жа Дмоховская², мать одного из каторжан, умершего в 1881 году в сибирской тюрьме³. Дочь ее была невестой другого каторжанина, К — а⁴. Во время своей остановки в Иркутске я узнал обоих, а с Дмоховским даже сблизился перед его смертью. Узнав об этом, бедная мать, знавшая мою жену, захотела увидеть меня, и мы оба с женой стали от времени до времени заходить к ней. У нее часто бывал и Толстой⁵.

Однажды она сказала мне, что говорила Толстому о знакомстве со мной. В моей ссыльной карьере была, между прочим, одна черта, которая, пожалуй, могла подать повод к сближению с толстовским исповеданием⁶. Толстой очень заинтересовался и сказал Дмоховской:

— Мне кажется, что я знаю господина Короленко. Если бы он захотел прийти ко мне, чтобы разрешить какие-нибудь свои сомнения и вопросы, я рад был бы его увидеть и поговорить с ним.

Я тогда уже писал, но еще не был писателем в настоящем значении этого слова, то есть человеком с преобладающим интересом наблюдения. Конечно, я рад был бы повидать Толстого, но, узнав, зачем он зовет меня и чего ждет от моего появления, я как-то оробел, почувствовал обострение присущей мне застенчивости и решил не идти, так как мне казалось, что самым своим приходом я уже солгу. Относиться к Толстому как к предмету наблюдения я не смел; и в то же время у

меня не было сомнений такого рода, за разрешением которых я мог бы искренно обратиться к нему. Я мог бы пойти только затем, чтобы спорить. Я никогда не был террористом, но необходимость противления казалась мне до такой степени очевидной, ясной, обязательной, что я не мог бы равнодушно слушать противное. И в то же время преклонение перед художником мешало мне даже представить себе, что я стану с ним спорить...

О Толстом в то время говорили уже очень много, и из этих рассказов на меня, по тому моему настроению, особенное впечатление произвели следующие эпизоды. Однажды, кажется через ту же г-жу Дмоховскую, с Львом Николаевичем познакомилась г-жа У — ская⁷, вдова нечаевца, умершего на Карийской каторге. Бедная женщина, слабая и больная, изнемогала в жизненной борьбе, стараясь вывести в люди единственного сына. Ей приходилось жить в тесной квартирке, без прислуги, самой носить дрова, стряпать и мыть полы. При встрече с нею Толстой посмотрел на нее, покачал головой и сказал растроганным голосом: «Какая вы счастливая! У вас есть настоящая, невыдуманная работа».

Эта фраза повторялась в интеллигентных кружках Москвы с укоризной и насмешкой.

Передавали также один рассказ Толстого, доказывавший универсальность его теории непротivления. Однажды он шел по улице. Рядом ехал мужик в розвальнях. Мальчишка захотел вскочить на розвальни сзади, но нога его провалилась в переплет. Заметив это, мужик погнался на лошадь; испуганный мальчик прыгал на одной ноге за санями. Это ли не случай, чтобы кинуться к лошади и силой задержать ее? «У меня, — говорил будто бы Толстой, — проснулись старые инстинкты. Я готов был уже броситься на улицу и схватить лошадь под уздцы, но в это время все разрешилось без моего вмешательства: мальчик упал, нога выскользнула из переплета, а мужик уехал...»

Во всех этих бесчисленных рассказах, которые реяли, точно мухи, вокруг Толстого-проповедника, мне чуялся какой-то самодовольный догматизм человека, ушедшего от мучительных житейских противоречий и теперь тщательно закрывавшего все щели своей наскоро сооруженной часовенки, чтобы до нее не достигали отголоски

живой, смятенной, страдающей и противоречивой жизни. Сам я в то время чувствовал себя на распутье: растеряв много догматов, я искал новых формул. Но толстовское решение казалось мне слишком простым, слишком удобным и легким... А довольство своим решением, которое, казалось, я улавливал в настроении проповедника, мне в то время было органически неприятно.

И я решил, что не пойду к великому художнику, отрицающему искусство, мыслителю, отрицающему науку, искателю истины, успокоившемуся на узкой формуле полухристианского квиетизма...

Так прошло несколько месяцев. Однажды, приехав в Москву, я застал литературный кружок, группировавшийся около Гольцева и «Русской мысли», занятым идеей какого-то сборника по какому-то особому случаю. Сборник должен был напоминать о чем-то и отчасти носить характер протеста. Составилась редакция, в которую вошел Гольцев, кажется В. С. Пругавин, Н. Н. Златовратский и я. В одном из собраний было решено пригласить к участию в сборнике Л. Н. Толстого, и задачу эту возложили на меня и на Н. Н. Златовратского.

Теперь у меня была, значит, определенная цель, и опасение солгать самым своим появлением у Толстого устранялось. Я решил идти.

Под вечер, если не ошибаюсь, ранней осенью оба мы с Н. Н. Златовратским отправились в Хамовники⁸, и я с невольным волнением поднялся по приглашению должившего о нас камердинера по лестнице во второй этаж. Мой спутник, кажется, тоже сильно волновался. Н. Н. Златовратский еще недавно напечатал в «Русской мысли» полуаллегорический рассказ «Мои видения», в котором рисовал фигуру «великого мудрого старца», разрешающего все сомнения. Весь рассказ, который велся от лица человека, вышедшего из народа, был проникнут горьким раскаянием и жгучим недовольством: сын народа проклинал культуру, к которой приобщился, и как будто шел навстречу толстовскому отрицанию просвещения. Мне слышалось в этом очерке толстовское влияние, и оно казалось расслабляющим и нездоровым.

Я плохо помню теперь расположение комнат в Хамовниках, где я был только один раз. Может быть, это потому, что сразу же я обратил все внимание на высокого человека с седеющей бородой, который стоял на

верхней площадке лестницы, окруженный группой людей. Прямо перед ним стоял невысокий, слегка сгорбленный худощавый человек, лысый, с двумя седыми буклями на висках. У него были круглые глаза, нос с горбинкой. Приятное белое лицо имело выражение ясное, а круглые глаза глядели как-то по-глубинному. Когда мы приблизились к ним, большой бородатый человек в блузе поздоровался с Златовратским (они уже были знакомы) и потом, когда я в свою очередь назвал себя, взял мою руку и, удержав ее в своей, продолжал или, вернее, закончил свою речь, обращенную к человеку с седыми буклями:

— Да, да... Я действительно нашел истину. И она все мне объясняет: большое и малое... и все детали... Вот... (он слегка притянул к себе мою руку) это вот пришел Короленко... Он был в Сибири... и...

Он сообщил ту подробность моих ссыльных скитаний, которая должна была казаться ему особенно близкой и родственной.

— И теперь вот он пришел ко мне. И я знаю, зачем он пришел, и что ему нужно, и что он хочет у меня спросить.

Я почувствовал, что густо краснею. Вышло все-таки, что я не избежал того, чего хотел избежать, и мой приход все-таки оказался некоторой ложью. Как теперь сказать этому подавляющему меня одним своим видом огромному человеку, автору «Войны и мира», что он совершенно ошибается, что в моей душе совсем нет того, что он в ней прочитал, и что я пришел лишь по чужому поручению, по делу сборника, которому едва ли даже придется увидеть свет.

— Ну, пойдем ко мне,— сказал Толстой, меняя тон и слегка взяв меня за руку. Все направились в его кабинет.

— Счастливый вы человек, Владимир Галактионович,— говорил Толстой на ходу и, заметя мой удивленный и вопросительный взгляд, пояснил: — Вот вы были в Сибири, в тюрьмах, в ссылке. Сколько я ни прошу у бога, чтобы дал и мне пострадать за мои убеждения,— нет, не дает этого счастья.

Кабинет Толстого представлял сравнительно просторную, но невысокую комнату, в которую пришлось, помнится, подняться по двум или трем ступенькам. Мне невольно пришло в голову, не поднят ли пол этой ком-

наты нарочно, чтобы сделать ее несколько ниже других?.. Не помню теперь ее мебелировки, помню только, что всюду виднелись книги, бумаги, а в одном месте лежала сапожная колодка. Теперь эта комната была тесно набита людьми.

Кроме нас с Златовратским и старика с круглыми глазами, который оказался знаменитым художником Николаем Николаевичем Ге, я вспоминаю теперь еще сына Ге, тоже Николая, затем Владимира Федоровича Орлова и еще г-на О[змидо]ва. Остальные рисуются в памяти безлично и смутно.

Орлова я немного знал. Это был старый нечаевец, переживший разные фазы русского интеллигентского брожения, прошедший через нигилизм к какой-то странной религии, отчасти напоминавшей богочеловечество. Незадолго перед этим я видел его на вечере у Златовратского. Разговор шел о растерянности и апатии, охватившей молодежь в эти (80-е) годы. Двое или трое юношей сидели вокруг какого-то небольшого человека, подвижного, широкоплечего, с быстрыми темными глазами и курчавыми волосами. Я не слышал, о чем шла речь, но все общество, беспорядочно заполнявшее приемную Златовратских, повернулось к этой группе, когда курчавый человек внезапно вскочил со стула, с шумом откинул его, выпрямился и, сверкая глазами, громко крикнул своим молодым собеседникам:

— У вас нет бога? Вы не знаете, перед кем вам поклониться? Преклонитесь передо мною! Я — бог...

Я с любопытством подошел к этой группе. Молодые люди с любопытством смотрели на новоявленное божество, видимо озадаченные его заявлением, а курчавый человек, сверкая глазами, говорил что-то быстро, пламенно и непонятно... Он как будто сердился. Было, пожалуй, пламенно, но не глубоко... Вскоре он погас так же внезапно, как и вспыхнул, только глаза его долго горели огоньком беспредметного гнева.

На мои вопросы Златовратский сказал, что Орлов человек очень хороший, в своем роде замечательный, и еще недавно написал рассказ «Пьяная ночь», который не может быть напечатан по цензурным условиям, но необыкновенный по силе и талантливости. Теперь он как будто толстовец. Лев Николаевич ходит к нему в Бутырки, где Орлов живет полунищим, полуфилософом с большой

семьей, существующей на случайные заработки отца... Между прочим, приходя в Бутырки, Толстой как художник любит его обстановкой, оборванными и одичалыми детишками и, сидя среди этой мелюзги, повторяет благодушно:

— Как у вас хорошо! Как я вам завидую!

Еще одна фигура осталась в моей памяти. Это был О[змидо]в, занимавшийся перепиской религиозных сочинений Льва Николаевича. Он еще не так давно служил на одной из субсидированных железных дорог и после нескольких лет бросил службу, получив по выходе крупную награду. На эти деньги он открыл под Москвой молочную ферму, быстро прогорел и теперь переписывает и продает новое «Евангелие» и «В чем моя вера?».

Орлов был мрачен, О[змидо]в держался как-то насто-роже, и оба страстно при каждом случае комментировали положения нового толстовского учения.

В кабинете на стенах и на стульях висели и лежали листы из альбома иллюстраций Ге к небольшим рассказам Толстого. Показывая их, Толстой восхищался рисунками, говорил, что они совершенно точно выражают его замыслы, и потом сказал:

— Хочу вот найти издателя для двух альбомов⁹. Сначала один подороже, для богатых людей. Старик вот без штанов ходит. Надо старику на штаны собрать. Потом издадим подешевле, для народа...

В это время в другом конце комнаты закипел спор. Орлов и О[змидо]в спорили с Златовратским.

— Да, литература — та же проституция! — кричал он так же страстно, как вчера, когда объявлял себя богом: — Все вы не лучше этих несчастных падших женщин. Задушевные мысли, лучшие чувства своей души вы выносите на рынок...

— Да! Я с этим совершенно согласен, — вставил О[змидо]в. — Это именно проституция.. Святыню души продавать за деньги... С точки зрения учения Льва Николаевича...

Златовратский возражал, но его возражения вызывали только новые потоки обличений... Глаза Орлова метали молнии.

— Раз став на эту дорогу, конечно... — говорил он язвительно, — дойдешь до того, что станешь описывать, как некий Остап играет на глупой бандуре¹⁰...

Я понял, что это кинута по моему адресу, и мне стало интересно выяснить на этот вопрос взгляд Толстого.

— Позвольте два слова,— сказал я, подходя к группе.— Вы считаете, значит, постыдным получать плату за литературную работу?

— Да, именно постыдно! — крикнул Орлов резко, а О[змидо]в тоном человека, разворачивающего хорошо усвоенную формулу, прибавил:

— Если писатель искренен,— значит, он оценивает на вес металла свои чувства и мысли... Если он ремесленник,— тогда, конечно, нечего и говорить. С точки зрения истинного христианина, то есть с той точки зрения, которую устанавливает Лев Николаевич в своих новейших произведениях...

— Позвольте, однако,— сказал я с недоумением,— ведь вот мы только что слышали, что Лев Николаевич проектирует издать альбом Николая Николаевича и продавать его за деньги...

— Это совсем другое дело,— сказал О[змидо]в.

— Почему же? Разве картина художника, проводящая задушевные идеи, которые он тоже разделяет, не выражает его лучших чувств и мыслей?

О[змидо]в не сдался. Он начал говорить что-то бойко, докторально, закругленно, и все, что он говорил, невыносимо резало ухо. Чувствовалась готовность вести диалектический спор на какую угодно тему, какое-то холодное и неискреннее резонерство. Было заметно, что всем становится неловко. Заметил это, очевидно, и Лев Николаевич. Среди громкой тирады О[змидо]ва раздался вдруг его тихий голос:

— Нет... Это не то... Я думаю, что Короленко прав...

Разговор принял другое направление. Н. Н. Златовратский, несколько волнуясь и нервничая, поставил центральные вопросы «учения» о непротивлении. Все слушали с глубоким вниманием. Златовратский обращался к Толстому, но...

На этом рукопись обрывается.

А. К. ЧЕРТКОВА

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Л. Н. ТОЛСТОМ

Зимой 1886 года (в половине декабря) мы с Владимиром Григорьевичем выехали из деревни Воронежской губернии в Петербург и по дороге решили остановиться в Москве. Лишь только мы приехали в меблированные комнаты (на Страстном бульваре), как явился Лев Николаевич и настоятельно просил переехать к ним в дом ввиду имевшейся свободной комнаты, так как «дочь Маша уехала» (не помню куда).

Итак, мы очутились у Толстых, в хамовническом доме. Нас провел в комнату Марии Львовны сам Лев Николаевич...

Мы прогостили у Толстых около недели, и это пребывание оставило во мне самое светлое воспоминание.

Самым ярким моментом стоит в памяти тот день, когда меня, захворавшую... и оставшуюся в постели весь день, посетил Лев Николаевич и просидел у меня довольно долго, наверное более часу. Это было днем, во время завтрака (который подавался поздно), я не выходила из своей комнаты, а Владимир Григорьевич ушел в город...

Вот кто-то постучал в дверь... и вошел Лев Николаевич, неся в руках большую пачку корректур. Осведомившись кратко о моем здоровье, он, помнится, сказал что-то вроде: «Я не завтракаю в этот час, а хотелось посидеть с вами, пока вы одни, чтоб вы не скучали без мужа...» И он присаживается на стул около моей постели.

Я обращаю внимание на кучу корректур, которые он держит на коленях.

— Да, вот только что принесли из типографии... И я шел к вам, собственно, с тем, чтобы предложить вам почитать, если вам не скучно послушать... Это все то же — драма моя¹, все еще балуюсь, никак не разделаюсь с

ней... Вы ведь знаете, что господа литераторы и театралы забраковали одно действие?

— Да, да,— говорю,— четвертое, знаю...

— Ну да, нашли, что слишком грубо, слишком по нервам бьет... Ну что ж, может, это и правда... Так вот я думал, думал, чем бы заменить помягче, чтоб не так шокировать их деликатные нервы... ну, и увлекся... Вспомнил тип отставного солдата, забавный был такой старик!.. Да вот лучше послушайте. А корректура, кстати, чистая, вряд ли что придется исправлять.

И он стал раскладывать корректуры на столике возле меня.

Помолчав немного и усевшись поудобней, он начал читать... Боже мой, как он читал! Никогда я не слышала такого чтеца вообще, а этой вещи в особенности. Да нет, он не читал ее, а изображал, переживал, с увлечением входя в роль каждого лица... Я совсем забылась — где я, что я! Перед глазами так и оживали эти удивительные типы Митрича и Анютки. И Митрич говорит так естественно, грубоватым охрипшим голосом привыкшего выпивать солдата, и Анютка щебечет, как настоящая живая деревенская девчонка. А это ее прелестное «однова дыхнуть» произносилось как-то удивительно ловко, шепотком, с прихлебкой, будто она действительно выдыхает его из себя...

Помню, что после чтения я спросила Льва Николаевича: «А зачем это Митрич все повторяет: в рот тебе пирога с горохом?»

Лев Николаевич вдруг засмеялся, затрясся даже:

— Да вот подите ж,— уж он таков!

И потом пояснил:

— Ведь русский человек не может без крепкого словечка, ему непременно хочется выругаться, так уж он привык, без этого не может... Ну, а Митрич, хоть и старый солдат, тоже, наверное, трехэтажными словами выражался, но все же, думаю, к старости он почище стал, поопрятней... Так вот я ему и сунул в рот поговорку, чтобы ему было чем душу отвести: «в рот тебе ситного пирога с горохом!..» И поговорка эта есть, я ее слышал именно от такого солдата.

Произнося ее, он делал ударение на первом слове: «в р-рот», с раскатом, остальные же слова произносил

быстро, скороговоркой и притом оттеняя каждый раз по-новому, смотря по смыслу предыдущей фразы. Так, например, первый раз, где Митрич говорит: «Ишь, духу-то напустили! в рот им ситного пирога с горохом...» — он произносит их громко, выразительно, с раскатом и с оттенком презрения. В другом месте, где Митрич негодуяще ворчит на баб — на их злодеяние и на то, что девчонку напугали: «Натращали, право, паскудницы, в рот им ситного пирога с горохом!..» — фраза эта произносится вполголоса, сквозь зубы, как бы с отвращением. Когда он вспоминает девчонку-турчанку, найденную солдатами во время похода: «Девчонку-то мы Сашкой прозвали. Сашка, а! * хороша была. Ведь вот, все забыл, а на девчонку, в рот ей ситного пирога с горохом! как сейчас гляжу», — он произносил эти слова нежно, с ласковым смешком, дряблым старческим голосом, — ужасно это мило у него выходило! Неподражаемо!..

Сам он так увлекался при чтении, что местами прорывался смехом и с видимым удовольствием поглядывал на меня, когда я тоже неудержимо смеялась. А в трогательных местах голос чтеца дрожал... а я, всхлипывая, бралась за платок... В одном месте он вдруг не выдержал, вскочил и выбежал из комнаты. Я оторопела и чуть не огорчилась, опасаясь, что чтение прервалось... Однако слышу, за дверью он сморкается и откашливается... Значит, не ушел... Через минуту-две он входит с красными глазами и, не глядя на меня, смущенно опять берет за корректуру.

— Докончим уж? А? Не устали?

— Ну, что вы, Лев Николаевич! Готова слушать хоть до самой ночи...

Место, так растрогавшее Льва Николаевича, было в пятом действии, там, где Никита, после слов Митрича, подымаясь, говорит: «Не велишь бояться людей?» Это тот поворотный пункт, когда в душе Никиты совесть заговорила громче страха перед людьми...

Он прочел целиком оба последние акта. И я, конечно, никогда не забуду его чтения.

После него я слышала несколько раз хороших чтецов «Власти тьмы», но все они меня не удовлетворяли, осо-

* Мне помнится, что это «а!» он произносил отдельно, вроде как «ах»! А между тем в напечатанном тексте это «а» стоит не как междометие, а как союз. (Прим. А. К. Чертовой.)

бенно в тех ролях, которые так удивительно читал Лев Николаевич: Митрича, Анютки, Акима... И скажу без преувеличения, что никогда, ни в каком театре, никакие великие артисты не доставляли мне такого истинно художественного наслаждения, какое я испытала тогда, во время его чтения, и которое до сих пор, тридцать восемь лет спустя, вспоминаю и как бы вновь с наслаждением и благодарностью переживаю...

Однажды Владимир Григорьевич позвал меня и повел по коридору в кабинет Льва Николаевича: на правах его жены я могла теперь проникнуть в это «святое святых»...

Комната эта — меньше всех других и с низким потолком — прежде всего поражала скромностью обстановки; как этот кабинет не похож на все «кабинеты» всяких писателей и даже заурядных чиновников, виденные мною в Петербурге! Нет ни традиционного, зеленого цвета, ковра, ни драпри на окнах и дверях, ни мраморного камина, ни вообще никакой роскоши. Мебель самая скромная, и ее очень мало: небольшой письменный стол налево у окна, широкий клеенчатый диван у стены направо, в углу, два-три стула или жесткие креслица — вот и вся обстановка.

Трепет охватил меня, когда я вошла в эту комнату...

Нас собралось в комнате несколько человек — помню П. И. Бирюкова, и было еще двое-трое мужчин посторонних, но кто именно — сейчас не вспомню. Обсуждали программу сборника стихотворений, доступных по содержанию каждому, даже малограмотному, читателю, и притом хороших по форме. (Сборник впоследствии был назван «Гусляр»² — заглавие не вполне удачное и не совсем нравившееся Льву Николаевичу, но из предложенных в цензуру наименований единственное, не показавшееся тенденциозным.)

Павел Иванович прочел предлагаемый нами список стихотворений. Стали обсуждать. Лев Николаевич многое посоветовал выкинуть. «Просеивайте, просеивайте как можно строже!» — говорил он.

А потом вдруг говорит:

— Что же это вы забыли моего любимого поэта? Вы знаете, кто мой любимый поэт? — спрашивает он, вдруг обращаясь ко мне.

Я замаялась и — к стыду моему — совсем оплошала ответом.

— Кто же? — говорю я нерешительно.— Вы любите Пушкина, я знаю, вы говорили... Но он вошел в список.

— Нет, нет, Пушкин не в счет... Нет, более современный,— подсказывает он.

— Фет? — нерешительно произношу я, зная, что Лев Николаевич дружен с поэтом, но внутренне удивляясь, чувствуя, что его стихи не подходят для нашего сборника.

— Ах нет, нет: у Фета есть, конечно, премилые стихотворения, но он писал для нас, господ, гастрономов, и притом — ни одного идейного, серьезного по содержанию он не написал... Нет, я имел в виду другого,— неужели не догадываетесь?..— И он взглядывает вопрошительно на Владимира Григорьевича.

— Тютчев...— произносит тихо Владимир Григорьевич...

— Ах да, да, Тютчев! Как это я забыла! — вскрикиваю я, совсем сконфуженная, как срезавшаяся на экзаме-не гимназистка.

— Ну, конечно, Тютчев! — говорит Лев Николаевич и, покачивая головой: — Как же это вы забыли его? Впрочем, не только вы, его все, вся интеллигенция наша забыла или старается забыть: он, видите, устарел... Он слишком серьезен, он не шутит с музой, как мой приятель Фет... И все у него строго: и содержание и форма. Вы знаете какое-нибудь его стихотворение?

Я называю: «Слезы людские»...

— Да, и это, но есть и лучше этого, например, «Silentium». Никто не помнит? Так вот я вам скажу, если не забыл еще... «Молчи, скрывайся и тай и мысли и мечты свои»...— начинает он тихо и проникновенно, просто и глубоко трогательно... Голос его слегка дрожит от внутреннего волнения... В памяти быстро запечатлелась вся его фигура во время чтения: вот он сидит, откинувшись на спинку сидения, руки положил на ручки кресла, голову немного склонил на грудь и ни на кого не глядит, а устремил взгляд куда-то вперед, но не вверх, а скорее вниз, в землю... Голос его звучит глухо и грустно... Чувствуется, что он сам пережил то, о чем говорит поэт. Чувствуется глубокое страдание одинокой души, и становится до слез жалко его... Я еле удерживаюсь, чтобы не заплакать... Я ведь была молода и счастлива, слишком счастлива личной жизнью, и мне казалось, что желание «одиночества» — удел *несчастливых* в личной

жизни людей, вынужденных «молчать», когда душа хочет излиться перед кем-нибудь...

Словом, хотя настроение поэта лично мне было чуждо, тем не менее чтение Львом Николаевичем этого чудесного стихотворения заставило меня понять его смысл и вызвало живой, сочувственный отклик в моей душе...

Потом Лев Николаевич назвал еще два-три стихотворения Тютчева из его любимых, но тут же сказал:

— Они не подходят к нашему сборнику: слишком тонки, трудны, к сожалению, для понимания...

Еще один раз помню я себя в кабинете Льва Николаевича; возможно, что это было в тот же приезд, а может быть, и в первое мое посещение,— я не уверена.

Это было днем, присутствует П. И. Бирюков и, насколько помнится, Мария Львовна...

Провел меня в кабинет Павел Иванович, предложивший посмотреть, «как Лев Николаевич шьет сапоги»... И мы вошли в маленькую низкую комнатку с одним окном (проходную перед кабинетом). Лев Николаевич сидел на низеньком табурете у окна, перед ним обыкновенный сапожный пенек, вокруг разбросаны принадлежности ремесла — кожа, дратва и пр.

Он слегка кивнул нам головой и продолжал, не отрываясь, вбивать гвозди в башмак. Мне показалось, что он нахмурился и недоволен нашим приходом, и мне становится совестно: так ясно, что мы пришли поглазеть, полюбопытствовать, как Толстой шьет сапоги...

И я шепчу Павлу Ивановичу, что надо бы уйти... Лев Николаевич, должно быть, понял мое смущение и, уже приветливо улыбнувшись, говорит нам:

— А вы бы прошли в кабинет. Я скоро кончу и тогда побеседуем, если хотите.

Я тотчас же прошмыгнула в дверь кабинета и от нечего делать остановилась около книжного шкафа, рассматривая заглавия книг на переплетах...

Вдруг Павел Иванович... обращается ко мне с странной просьбой:

— Лев Николаевич, узнав, что вы поете, просит вас спеть что-нибудь.

Я страшно смущена и не сразу решаюсь.

— Спойте, спойте,— настаивает и Маша.

— Что же? — спрашиваю я Павла Ивановича, затрудняясь в выборе.

— Спойте «Благословляю вас, леса...»³ — это мое любимое, и у вас это так хорошо выходит, — говорит он.

— Ну, как же это, — пробую я возражать, — без аккомпанеента эта вещь сильно теряет.

— Ничего, ничего, помните, у нас в «Посреднике» — ведь тоже без аккомпанеента вы пели, а выходило прекрасно... Пойте.

Я начала петь, но почему-то без всякого воодушевления, холодно и робко... и чувствовала все время, что пою хуже обыкновенного... Я кончила... Молчание... Я чувствую, что ему не понравилось что-то — не то мое пение, не то сама вещь. Ну, так и есть... Подходит Маша и шепчет мне:

— Папá не очень любит эти *новые* романсы. Он просит вас, не знаете ли вы что-нибудь из старых или из народных песен?

— Да, да, — раздается голос Льва Николаевича, — что-нибудь из народных песен!..

Подумав немного, пою снова: «Я ли в поле да не травушка была...»

Кончила первый куплет и замолчала. (Остановилась я сознательно, чутьем угадывая, что дальше, где идет обработка мелодии более искусственная, со вставленными большими руладами, это не понравится Льву Николаевичу. И позднее я убедилась, что не ошиблась, когда другой раз мне пришлось петь ему эту вещь.) Тут же, когда я замолчала, я услышала голос Льва Николаевича из другой комнаты:

— Вот это совсем другое дело! Это прекрасно, очень хорошо. А что, это настоящее народное или композиция чья?

— Это того же Чайковского, — говорю я, — но, вероятно, он использовал какой-нибудь народный мотив...

— Да, да, и очень удачно во всяком случае; а если и сочинил, то *ben trovato**... стиль выдержан... Это меня мирит с ним... Впрочем, у него вообще есть хорошие вещи, — например, для фортепьяно со скрипкой, я слышал... Он скорее мне приятен из всех этих новых композиторов.

И он говорит что-то на тему о музыке вообще и о народной в особенности... (не запомнила).

* Хорошо сработано (*итал.*).

— Ничего так не люблю, как наши простые деревенские песни! Вот мои дочери— и Маша и Таня— словно поют под гитару. Когда-нибудь услышите...

А когда мы уже выходим из кабинета, он вдруг подает мне руку и шутливо произносит:

— Ну-с, позвольте вас поблагодарить за визит и... за ваше пение. А у вас действительно очень приятный голос, и Павел Иванович был прав, когда хвалил его. Особенно хороши у вас эти глубокие ноты. У меня даже в носу защипало. (Павел Иванович смеется.) Нет, правда, вы разве не знаете, не испытывали этого? — обращаясь к нему, говорит Лев Николаевич.— Когда что-нибудь расстрогает, так здесь вот (показывает на переносицу) щиплет раньше, чем выступить на глаза... Не правда ли? Ну, так вот, слушая вас,— глядя мне в глаза, говорит он,— я испытал это с полным удовольствием...

Кстати, вспоминается и случай, когда мне пришлось другой раз петь для Льва Николаевича. Это было (определенно помню) в тот самый приезд, зимой 1886 года, когда мы вместе с Владимиром Григорьевичем гостили у Толстых. Это происходило в зале, вечером, в присутствии членов его семьи и кого-то из посторонних, кажется, был старик Ге... Я выбрала несколько небольших вещей из моего классического репертуара. Хорошо запомнила отзывы Льва Николаевича о каждой из этих вещей уже потому, что мне дорого было его мнение, да и отметки (сделанные мною тогда) в нотной тетради моей сохранились. Помню — первая вещица была Глюка, маленькая ария из Орфея... Когда я кончила, Лев Николаевич говорит:

— Очень мило, но жаль, что коротко.

И еще сказал:

— Я знаю, много раз слышал другую арию, «Евредуку» — знаете? А эту я что-то не помню. Ну-с, мы слушаем, что будет дальше?

Помнится, он сидит за шахматным столиком, недалеко от рояля (кто играл с ним партию; не припомню), а Владимир Григорьевич сидит рядом с ним. Затем я спела еще Генделя «Rinaldo» с малоизвестным вообще речитативом («Armida, dispietata»).

Прослушав его, Л. Н. говорит:

— Это мне знакомая вещь, то есть самая ария («Дайте мне слезы плакать о воле»), но речитатив этот

тоже слышу первый раз, мне понравилось... И эта типичная генделевская каденция...— хорошо... (Это — о заключительных аккордах речитатива перед вступлением в арию.)

Потом следовал еще Stradella: «Picta, Signore». Я спела лишь одну первую часть (вполне законченную), так как боялась, что слишком длинная вещь с повторением утомит Льва Николаевича.

Более же всего ему понравилась одна действительно гениальная вещь Бетховена: «In questa tomba». Он даже встал с своего места и подошел к фортепьяно.

— Вот, я думал, что всего Бетховена знаю, а это совсем ново мне, и какая прекрасная вещь! Чудесно, чудесно!.. И спели вы отлично, очень, очень хорошо!

И он стал просматривать ноты:

— А, здесь и немецкий текст есть?

Тут же стоит и Владимир Григорьевич.

— Не правда ли, Лев Николаевич, и содержание такое хорошее, такое трогательное и соответствует музыке? — говорит он.

— Да, да,— кивает Лев Николаевич головой, пробегая текст глазами.— Но слова для меня не так важны, а вот музыка.— хороша!

И он присаживается к инструменту и пробует аккомпанемент:

— А ну-ка, как это место, напойте-ка еще раз!

И он играет: «Lascia que l'ombre ignude...»

— Давайте-ка я попробую вам проаккомпанировать еще разок сначала... Видите, как я вошел во вкус... Хотите поближе познакомиться с этой вещью...

Нечего и говорить, с каким восторгом я приступила к повторению этого номера, еще с большим воодушевлением исполнив его...

— Вот мы как! — шутливо проговорил Лев Николаевич, поворачиваясь ко мне по окончании пьесы: — Не наврал я? Нигде? Очень рад! А мне прямо удовольствие! Не устали? Нет?

(Надо сказать, что он не везде справлялся с аккомпанементом, местами упрощая, но нигде не сбивался с такта, чутко следя за голосом.)

Кажется, тут же он просит меня спеть еще что-нибудь из старинных русских романсов:

— Например: «Я помню чудное мгновенье»,— знаете, конечно? Это мой любимый романс...

Но тут уж мне приходится отказаться:

— Я тоже очень его люблю, но петь не решаюсь, он у меня не выходит...

В конце вечера он, встав из-за шахматного столика, опять обратился ко мне:

— Ну-с, а нет ли в вашем репертуаре чего-нибудь такого легонького, чтобы я мог бы вам проаккомпанировать целиком: видите, как я разохотился,— что-нибудь полегче?..

— Спой «Певунью-пташку»,— предлагает Владимир Григорьевич, выбирая по своему вкусу.

Я объясняю Льву Николаевичу, что это очень старинный романс...

— Ну-с, давайте, давайте... Я серьезно вошел во вкус...

И он сел за инструмент. Я поставила перед ним ноты. Проглядев немного, пощупав слегка аккорды, он сыграл вступление, кое-где сфантазировал, но опять нигде не сфальшивил.

— Ну-с, начинаем, вещь не мудреная, кажется, со-владаю...

Я пела и все время невольно следила за моим аккомпаниатором: какое у него мягкое туше, как он приятно сопровождает пение, ловко попадая в темп, все время чувствуя голос и следя за всеми оттенками звука и ритма. Это редкая особенность, которой даже опытные аккомпаниаторы далеко не всегда обладают.

Воодушевленное им исполнение вышло действительно удачное — я это чувствовала.

— Прелестная вещь! Очень, очень мило! И очень хорошо это у вас выходит, так свежо, так юно... А ну-ка, повторите еще вот это местечко, отсюда...

И я повторяю второй куплет:

Как сладко льются песен звуки,
Как чудно слушать их..
В них есть и радости и муки,
Есть много чувств святых...

— Ну-ка, еще этот, вот тут с модуляцией,— говорит Лев Николаевич, перескакивая через страницу.

Не для того, чтоб сладкой воли
Ее навек лишить!..

И когда я кончила куплет:

— Ну, уж кончайте для ансамбля,— говорит он, не отрывая рук от клавиш. И по окончании, встав со стула, говорит весело:

— Вот это я понимаю,— тут (жестом указывая на ноты) и музыка и чувство... Правда, что ригурнель эта немножко тривиальна — вертлявая какая-то, я бы ее выпускал совсем... Слова тоже пошловаты и сентиментальны, ну, уж это — как водится во всех романсах... Но это не беда, я не придаю значения словам, по мне — хоть бы их совсем не было! А главное — настроение, и такая простая, понятная мелодия, искреннее чувство...

Еще один эпизод, относящийся к этим дням, ясно выступает в моей памяти.

Это — приезд М. Г. Савиной ко Льву Николаевичу ⁴...

Она оставалась в кабинете у Льва Николаевича — показалось мне — довольно долго, не менее целого часа, а может быть, и дольше...

Вот, слышу — шаги и голоса: Лев Николаевич, провожая гостью, громко говорит, приближаясь по коридору... Жалею, что не запомнила, о чем они говорили, то есть говорил он, Лев Николаевич, а она молчала, и лишь на площадке лестницы, помню, раздается ее голос: «Не беспокойтесь, Лев Николаевич, не трудитесь спускаться, я найду дорогу!..» И Лев Николаевич говорит ей какое-то любезное прощальное приветствие, благодарит за визит и просит передать привет ее «товарищам — артистам Александринского театра»... Голоса умолкают, и Лев Николаевич снова появляется в зале... Лев Николаевич идет мне навстречу, — он как будто угадывает вопрос в моих глазах и сам заговаривает:

— Ну, вот и с Савиной познакомились... Ну, что вам сказать?.. Она, право, очень мила и приятна...

Позднее в тот же день — вероятно, в ответ на распросы Владимира Григорьевича — Лев Николаевич... более подробно поделился с нами о своем впечатлении от посещения Савиной: отзыв его мне запомнился, конечно, в общих чертах. Он говорил приблизительно в следующих выражениях:

— Она приезжала просить разрешения поставить «Власть тьмы» в свой бенефис ⁵. Ну что ж, разве я могу иметь что-нибудь против?! Но ей хочется очень играть Анютку... Ну, тут я уж ее, кажется, огорчил,— нашел ее

неподходящей для этой роли: Анютка ведь девчонка, не старше десяти — двенадцати лет. Она говорит: такую не найти! Помилуйте — ну, как же не найти? В театральной школе есть же ведь дети, не правда ли? Я и говорю ей: вот вы и поучите такую девочку... Тут я постарался ее утешить: сказал лестное о ее декламации. Ведь мы с ней прочли все-таки обе роли — Анютки, а потом Акулины... Я ей посоветовал: уж если ей играть, то Акулину, это больше ей подходит, хотя, она говорит, это не совсем ее ерпюі... Все же она скромно так выслушивала и просила меня прочесть одну-две сцены, а потом сама читала, и, знаете, право, очень недурно, я никак не ожидал, она уловила верный тон... Да, она, видно, умница, понятливая и вообще так просто, серьезно держит себя, без всякого жеманства... Скажу искренне, она произвела на меня хорошее, приятное впечатление...

А. А. СТАХОВИЧ

КЛОЧКИ ВОСПОМИНАНИЙ

(«Власть тьмы», драма Л. Н. Толстого)

...Когда я вчера приехал, Лев Николаевич работал в зале и встретил меня словами:

— Как я рад, что вы приехали! Вашим чтением вы расшевелили меня*. После вас я написал драму**... Или я давно ничего не писал для театра, или действительно вышло чудо, чудо!..

Лев Николаевич послал за своим переписчиком, многострадальным странником Александром Петровичем Ивановым и за учителем школы; взялся и я переписать одно действие, чтобы к вечеру общими силами переписать всю написанную драму. Граф хотел собрать крестьян, чтобы я прочел ее им; он очень интересовался впечатлением, которое она произведет на крестьян. Но переписать драму не успели, и я остался на лишние сутки.

Давно не видал я Льва Николаевича таким веселым и здоровым... Весь вечер прошел в разговорах о литературе и театре. Лев Николаевич сожалел о плачевном состоянии современного драматического искусства. Видно было, что он был не прочь поставить на сцену свою драму, но боялся затруднений для верной обстановки крестьянского быта и, главным образом, того, что актеры плохо совладают с языком пьесы и вообще не сумеют ее

* В предыдущий мой приезд я читал Льву Николаевичу и его семье Островского и Гоголя. (Прим. А. А. Стаховича.)

** Прошло едва три недели, как я уехал из Ясной Поляны, значит менее чем в три недели написана «Власть тьмы». (Прим. А. А. Стаховича.)

сыграть, как должно... Лев Николаевич и прежде говорил, что не любит театра потому, что как бы ни было превосходно исполнение одного актера в главной роли, но не только плохая игра других исполнителей, а даже всякая неверная интонация режет ему ухо, и для него пропадает всякая иллюзия и все впечатление от игры первоклассных артистов. И вот почему он более любит читать пьесу сам или слушать в хорошем чтении. Лев Николаевич вспомнил, что, когда появилась драма Островского «Не так живи, как хочется», он, получив номер журнала, в котором она была помещена, прочел ее вслух при Тургеневе очень хорошо, и особенно удалась ему роль Груни — ее молодое, разудалое веселье и поразившее ее неожиданное горе¹.

Из всех произведений Островского «Не так живи, как хочется» — любимая пьеса Толстого. Из всех русских актеров (об иностранных он со мной не говорил) Лев Николаевич выше всех ставит Мартынова и разделяет всех знаменитых артистов, по определению А. Н. Островского, на две категории: на актеров «по слуху» и на актеров «с глазу». Актер «с глазу» подводит роль под знакомый ему подходящий тип, старательно запоминает внешность, его ухватки, костюм; гримировкою воспроизводит характерные черты и играет, не отступая уже от запомненного им типа. Актер «по слуху» старается, наоборот, уловить характер роли по содержанию ее речи, по смыслу ее слов, по живости говора, по выбору выражений; эти актеры стараются представить себе весь характер изображаемого лица по данным автора, а потом уже, насколько смогут, пригоняют его к сложившемуся в их голове облику костюмом, жестами и гримировкою. Короче: актер «по слуху» ищет характер лица в самой роли и обыкновенно играет ее вернее; а актер «с глазу» ищет подходящий для роли тип, и его исполнение эффектнее...

Лев Николаевич в восторге от игры Мартынова в роли Хлестакова; он видел его в Казани, еще бывший студентом, то есть в начале 40-х годов. Это был первый великий актер, которого видел Толстой²...

После Мартынова Лев Николаевич, и совершенно справедливо, ставит очень высоко Сергея Васильева. П. М. Садовского Лев Николаевич далеко не оценивает по его достоинствам и называет его актером «по слуху»...

Толстой в этот же вечер вспомнил о чудном исполнении в 50-х годах Мартыновым роли Михайлы в драме А. А. Потехина «Чужое добро впрок нейдет» и рассказывал, как верно оттенил Мартынов тяжелое, непривычное для мужика, опьянение ромом: до этого «Мишенька» пил только водку и вдруг угостился ромом... ошалел и в неистовстве дошел до бешенства и до решения убить отца!..³

После этого спектакля Лев Николаевич дал мысль Тургеневу и другим литераторам, бывшим в театре, пригласить Мартынова ужинать. Собралось более десяти человек, но в Мартынове-собеседнике Толстой разочаровался, и в его памяти осталось только впечатление худого подвижного лица, беззубого рта и редкого добродушия. Александр Евстафьевич на сцене поражал Льва Николаевича своею мимикой, подвижностью и выразительностью лица, а вблизи впечатление это было еще сильнее...

О начале своей авторской деятельности Лев Николаевич рассказывал, что еще ребенком ему казалось, что он может сочинять. Раз ему представилось, что «Парашу Сибирячку» (повесть Полевого) написал он, и он хотел написать ее вновь. Писал он подражание «Voyage sentimental» * Стерна. Графиня Софья Андреевна передавала мне, что губернёр Льва Николаевича, бывший страстным поклонником Мольера, рано познакомил своего воспитанника с его комедиями, и по детским литературным опытам Льва Николаевича, говоря о нем с его теткой П. И. Юшковой (у которой воспитывались сироты Толстые), губернёр всегда называл его *potre petit Molière* **...

Первые литературные произведения, которые произвели на Льва Николаевича, уже молодого человека, сильное впечатление, были: «Антон Горемыка» и «Записки охотника». Особливо «Антон Горемыка» (повесть Григоровича), но не художественностью или талантом автора, а своим содержанием увлекала его: в ней был описан мужик, который до этой повести был запретным плодом в русской литературе. Быт русского крестьянина

* «Сентиментальное путешествие» (франц.).

** Наш маленький Мольер (франц.).

был *terra incognita*; * о народе публика знала только лишь по театральным «пейзанам», а по цензурным условиям 40-х годов можно было только хвалить *доброто крестьянина*. Но говорить об его темной без просвета жизни, о гнете рабства, об его нуждах... *строго воспрещалось*.

«Ранее этих повестей Гоголь не удовлетворял меня,— говорил мне Толстой,— во всех «Мертвых душах» выведены им только два мужика: дядя Митяй и дядя Мияй — две карикатуры» **...

«Близко было моему сердцу,— говорил Лев Николаевич,— когда Тургенев описывал хоть белую березу, ту, которую я сам видел, которую знал»...

А вот как, чуть ли не в первый раз в жизни, прочел семнадцатилетний Толстой Пушкина. Поехал Лев Николаевич в соседнее имение Серговщину князя С. С. Гагарина покупать тирольских телят. Как живо рассказывал мне Лев Николаевич об устланном свежей соломой варке, на котором резвились курносые коричневые бычки, с обводами вокруг глаз, с розовыми мордочками и с задранными кверху хвостиками; как сильно и хорошо от них пахло!

Лев Николаевич остался ночевать у управляющего и на сон грядущий взял какую-нибудь книгу; оказался «Евгений Онегин». Толстой стал читать; прочел всего до конца и, окончивши, начал вновь перечитывать сначала! И не заснул всю ночь, читая до утра ⁴.

На другой день кое-как переписали драму. Вечером в нижнем этаже дома было чтение. Собралось не менее сорока крестьян. Я плохо разбирал переписанный разными почерками экземпляр, так что пятый акт читал сам Лев Николаевич. Крестьяне слушали молча. Один Андрей-буфетчик шумно выражал свой восторг громким хохотом.

Кончилось чтение; Лев Николаевич обратился к пожилому крестьянину, бывшему его любимому ученику Яснополянской школы, с вопросом, как ему понравилось прочитанное сочинение.

* Земля неизвестная (*лат.*).

** Но это не мешает Толстому восхищаться великим комизмом Гоголя, и раз, говоря о нем, он сказал мне: «Великая вещь настоящий веселый комизм и в писателе и в актере». (*Прим. А. А. Стаховича.*)

Тот ответил:

— Как тебе сказать, Лев Николаевич, Микита поначалу ловко повел дело... а потом сплоховал...

Больше Толстой ни у кого ничего не спрашивал...

Вечером Лев Николаевич был не в духе. «Это буфетчик всему виной,— говорил он.— Для него вы генерал, он вас уважает: вы даете ему на чай по три рубля... и вдруг вы же кричите, представляете пьяного; как ему было не хохотать и тем помешать крестьянам верно понять достоинство пьесы, тем более, что большинство слушателей считает его за образованного человека»...

Решено было В. Г. Черткову стараться в Петербурге устроить мне чтения «Власти тьмы» у «сильных мира сего», чтобы добиться разрешения поставить ее на сцену или по крайней мере напечатать ее в журнале «Посредник»... И начались мои странствования и чтение ⁵.

Н. В. ДАВЫДОВ

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

...Лев Николаевич, заинтересовавшись каким-либо вопросом, найдя вообще нужным почему-либо ознакомиться с ним, изучал этот вопрос со всех сторон, систематически, не жалея труда и времени, не щадя себя в тех случаях, когда такое изучение было почему-либо не легко для него...

И так он поступал всегда: знакомясь с бытом арестантов и характером отдельных лиц из них, он подолгу пребывал в тюрьмах и исправительных отделениях, беседуя с «преступниками» всех категорий в Крапивне, Туле и Москве. В то время, когда им подготовлялось и писалось «Воскресение», Лев Николаевич посещал заседания суда, и раз, по его просьбе, я провел его в Тульский суд, где рассматривалось с присяжными заседателями дело по обвинению одного молодого тульского мещанина в покушении на убийство молоденькой проститутки. В качестве свидетелей по этому делу были вызваны и давали показания: сама потерпевшая, товарки ее и хозяйка того дома, где знакомый «гость» ударил ножом в бок несчастную девушку. Присяжные признали мещанина виновным, но лишь в нанесении раны, хотя потерпевшая настаивала на том, что подсудимый хотел ее лишить жизни. По окончании заседания Лев Николаевич подошел к потерпевшей и стал ей говорить о том, что лучше бы она сделала, если бы простила своего обидчика, особенно теперь, когда он приговорен к тюрьме, что злоба к нему лишь тяжесть для нее самой. Но хорошие слова незнакомого странного старика не произвели на девицу надлежащего впечатления; она, кажется, даже обиделась, приняв их

за насмешку, и ответила Льву Николаевичу грубо, резко и именно со злобным, тупым выражением.

Помню, что одно посещение Львом Николаевичем Крапивенской уездной тюрьмы, без взятия на то особого разрешения, дойдя до сведения губернской администрации, вызвало предложение смотрителю тюрьмы — старичку, не дерзнувшему не впустить Толстого в охраняемый им замок, выйти в отставку. Предложение это не было, однако, приведено в исполнение благодаря просьбам о помиловании Льва Николаевича и Софьи Андреевны, обращенным к тогдашнему тульскому губернатору Н. А. Зиновьеву...

В течение всего тридцатитрехлетнего существования наших хороших отношений я в летнее время бывал особенно часто в Ясной Поляне... В эти летние посещения мы всегда, если только этому не препятствовало невозможное состояние погоды, совершали с Львом Николаевичем продолжительные прогулки...

Что в прогулках с Львом Николаевичем было особенно приятно,— это проявляющаяся на каждом шагу любовь его и тонкое понимание, ощущение красот природы. И зимой и летом он находил и давал почувствовать своему собеседнику эту красоту, и это его отношение к природе передавалось и его спутнику. Лев Николаевич любил движение; поездки в экипаже были ему не по душе, он предпочитал верховую езду, не оставлявшую им до конца жизни. А ездил Лев Николаевич превосходно; он чувствовал себя на лошади как дома; это замечалось тотчас же, как только взглянешь на его красивую, свободную посадку на лошади. Так же любил он и хождение пешком и, как известно, совершил несколько длительных пешеходных путешествий (между прочим, в Оптину пустынь), и охотно про них вспоминал и рассказывал. Лев Николаевич выучился ездить на велосипеде и несколько раз доезжал на нем из Ясной Поляны до Тулы; он ощущал непосредственную потребность в движении и физическом труде. Работа — будь то с топором, лопатой или косой — доставляла ему физическое и духовное удовлетворение. Его физические силы и крепкие мускулы, весь его здоровый организм требовали приложения этих сил к физической работе, так же как

духовная организация не могла обойтись без работы мысли, и даже именно писательства — литературной работы. Как-то на вопрос мой, совсем ли оставил Лев Николаевич художественное творчество, он ответил, что нет, что чувствует, что еще будет писать в этом направлении, что, быть может, это и лишнее, но что его временами неудержимо влечет к такой литературной работе, и добавил, улыбаясь: «Qui a bu — boira»*.

Несколько раз, во время летних прогулок наших, мы вдвоем с Львом Николаевичем или с мальчиками купались в протекающей недалеко от усадьбы Воронке, а иной раз уходили очень далеко от дома, причем утомлялся всегда я, а Лев Николаевич почти до конца жизни, во всяком случае до бывших у него серьезных заболеваний, по-видимому, не знал даже, что такое усталость. Часто, встречаясь на дороге и проходя деревней, Лев Николаевич останавливался и разговаривал с крестьянами, относившимися к нему просто, без подобострастия, но с несомненно искренним уважением; иные из них были его ученики по школе, в которой он сам занимался прежде. Раза два мы встречались с табором цыган, располагавшихся между шоссе и усадьбой, в ложбинке около моста, и разбивавших там около отпряженных телег палатки, причем лошади паслись тут же на заросшей травой старой большой дороге. Если с нами был кто-нибудь из яснополянской молодежи, то цыгане пели и плясали, доставляя тем, видимо, удовольствие и Льву Николаевичу, благодушно беседовавшему с ними...

Лев Николаевич, живя в семье, не отстранял себя от жизни, и хотя значительную часть дня — как в Ясной Поляне, так и в Москве — проводил в своей комнате, но обычно, по крайней мере в Ясной Поляне, послеобеденное время и вечер проводил со всеми, принимая участие в общей беседе или играя в шахматы, читая громко или слушая чье-либо чтение.

Лев Николаевич всегда любил музыку, особенно простую, народную песню, творения Гайдна, Моцарта, и мне не раз приходилось — это относится к 80-м годам — играть с ним в четыре руки (я в левой руке). Лев Николаевич охотно слушал бренчанье на гитаре, игру на фортепьяно и хоровое пение яснополянской молодежи, а

* «Кто пил — будет пить» (франц.).

иногда,— что тоже было уже давно,— принимал непосредственное участие в играх детей и юнцов, требовавших движения, вроде «жмурок», какого-то «гуся» и т. п.

Обычно Лев Николаевич бывал весел и приветлив, и даже в иное время, когда многочисленное собрание «гостей» и до известной степени «светское» течение жизни у него в семье бывало ему неприятно... он старался не показывать этого и, во всяком случае, не подчеркивать, чтобы не огорчать и не раздражать напрасно тех, с которыми он жил и к кому относился с любовью, признавая за ними право мыслить и поступать иначе, чем он...

С течением времени эта появлявшаяся иногда в домашней жизни Льва Николаевича двойственность становилась тяжелее для него, но я хорошо помню, что в 80-х годах и начале 90-х в Ясной Поляне, где домашняя обстановка и жизнь были проще, Лев Николаевич очень снисходительно относился к затевавшимся своею молодежью развлечениям и увеселениям, даже недеревенского характера. Так, в одну из зим, проводившихся всей толстовской семьей в Ясной Поляне, молодежь... устроила костюмированный вечер... Лев Николаевич не только вышел к гостям, но смотрел на танцы и любезно разговаривал с приезжими...

Пока я жил в Туле, а Толстые в Ясной Поляне, Лев Николаевич, бывая в Туле, куда он чаще всего приезжал, и зимой, верхом, а иногда приходил даже пешком, заходил обыкновенно к нам и, оставив на конюшне лошадь, отправлялся в город по делам,— в большинстве случаев хлопотать за кого-нибудь попавшего в беду или устраивая какое-нибудь нужное ему дело... Иногда Лев Николаевич привозил с собой то лицо, за которое он хлопотал, часто по судебному, уголовному или гражданскому делу — вроде вознаграждения за увечье, и тогда мы шли в суд...

В иные приезды Льва Николаевича мы с ним отправлялись в исправительный приют для несовершеннолетних, открытый местным обществом, по моей инициативе, при материальном содействии тульского купца, ныне умершего, А. С. Баташова. Не сочувствуя суду и всякой судебной деятельности вообще, Лев Николаевич относился поэтому и к исправительному приюту, принимавшему сбившихся с нормального пути мальчиков по судебным приговорам, скептически, с сомнением в пользе такого принудительного воспитания. Но, приходя в приют

и заставляя детей и подростков за работою, зимой — сапожной или столярной, а летом — огородной, а то на дворе за играми в городки и т. п., причем мальчики являлись достаточно веселый и довольный вид и охотно болтали, отвечая на вопросы, Лев Николаевич уступал впечатлению и соглашался со мною, что такой результат судебного дела допустим...

Я ни разу не слышал от Льва Николаевича озлобленного, презрительного или унижающего отзыва о ком-либо; высказывая иногда кому-либо осуждение, он спешил оговориться, что, быть может, он, Толстой, не прав. Чувство, сказывавшееся в отношении Льва Николаевича к людям, не имело ничего общего с тем, что зовется слащавостью, елейностью: в нем не проявлялось даже тени сентиментальности: Лев Николаевич на все в жизни, а в том числе и на людей в разнообразнейших проявлениях их личности, смотрел реально, не украшая их придуманными качествами, и ясно видел все их слабости, недостатки и пороки. Чувство, о котором я говорю, не было и мягкосердечием в узком значении слова; я бы скорее всего назвал его «человечностью»; оно было присуще, так же как и жизнерадостность, самой природе Льва Николаевича и развивалось в нем, оставаясь органическим, путем мышления...

Характерной чертой Льва Николаевича была искренность, откровенность и простота в отношениях со всеми; он не скрывал своих мыслей, хотя бы они не только противоречили взглядам его собеседников, но были им неприятны; в последние годы Лев Николаевич старался при этом смягчить в высказанном суждении или прямом ответе на данный вопрос то, что могло огорчить лицо, обратившееся к нему... Взгляды свои и суждения Лев Николаевич высказывал нередко не только откровенно, но и с некоторого рода резкостью, особенно когда он оспаривал чье-либо мнение и опровергал известное положение... Но это свойство Льва Николаевича с годами теряло свою остроту; Льву Николаевичу становилось неприятным резкостью, хотя бы совершенно правильного, суждения больно задевать чувства кого-либо, оскорблять его искренние верования, и Лев Николаевич становился в этом отношении — в отношении *формы, способа* выражения мысли — все мягче и терпимее. Терпимость, и очень широкая, была, впрочем, всегда свойственна Льву Николаевичу...

То же самое можно сказать про живость и даже горячность характера Льва Николаевича; и то и другое было присуще ему и тоже со временем умерялось под влиянием душевного процесса, совершившегося в Льве Николаевиче. Мне часто приходилось спорить с Львом Николаевичем по вопросам, касающимся суда, непротивления злу, отрицания Львом Николаевичем общепринятого значения науки и другим; и в начале наших отношений случалось, что мои возражения, быть может и тон их, раздражали Льва Николаевича, и спор становился слишком горячим для спора совершенно отвлеченного характера; Лев Николаевич иногда даже, хотя очень ненадолго, сердился. Помню, что раз — это было в начале 80-х годов — кажется, за обедом, мы заспорили со Львом Николаевичем о том, допустимо ли сожаление и сочувствие страданию человека, если оно вызвано ничтожным или даже отрицательным поводом. Лев Николаевич доказывал, что сожалеть и сочувствовать всякому людскому огорчению нельзя, что в этом отношении должна быть градация, а я... иллюстрируя свою мысль, говорил, что я искренне пожалел и постарался бы утешить ребенка, разбившего куклу, или взрослую даму, горько плачущую о том, что ее новую, с трудом приобретенную шляпку испортил дождь. Под конец спора Лев Николаевич сказал мне — именно по поводу этой плачущей о гибели шляпы дамы — что-то неприятное, резкое. Но после обеда Лев Николаевич подошел ко мне и попросил не сердиться на него из-за его горячности и даже выразил согласие пожалеть изобретенную мною даму...

Мне пришлось дать толчок к созданию Львом Николаевичем трех его драматических произведений, а именно: «Власти тьмы», «Плодов просвещения» и «Живого трупа». В бытность мою прокурором в Туле меня поразило своей обстановкой одно крестьянское дело о детоубийстве, рассматривавшееся в окружном суде. Это было дело об убийстве новорожденного ребенка одной крестьянской девушки отцом ребенка, состоявшим в свойстве с девушкой, проживавшей в одной семье и доме с ним. Особенность этого дела, кроме драматической обстановки самого убийства, составляло поведение убийцы, который сам, мучимый угрызением совести, заявил публично об учиненном им преступлении, а впоследствии жаждал суда и наказания, которым, хотя он был приго-

ворен на каторгу, он остался доволен, видя в наказании искупление своего греха, находя в нем успокоение и возможность дальнейшей жизни. Я подробно ознакомил Льва Николаевича с обстоятельствами дела, которое, как я и ожидал, весьма заинтересовало его; он виделся в тюрьме с осужденным и затем вскоре же написал первое свое драматическое произведение¹, в котором несколько изменил обстановку дела, прибавив обстоятельство отравления первого мужа Марфы Колосковой, но выпустив имевшую на самом деле место сцену покушения на убийство «Никитою» (на самом деле Ефремом Колосковым) его дочери, девочки «Анютки» (на самом деле Евфимьи), в то время, когда он винился перед народом в убийстве, а девочка, очень его любившая, с плачем припала к нему. Он было изо всех сил ударил ее колом по голове, решив, что Анютку лучше убить, пока она чиста и невинна, и так как без него ей плохо будет житья в семье. К счастью, он не рассчитал удара, и кол скользнул лишь по голове девочки, причем, однако, она упала замертво.

Помню, что несколько раньше или даже в то время, как Лев Николаевич писал «Власть тьмы», он говорил, что встретил на шоссе ехавшего куда-то старичка крестьянина, с которым вступил в беседу, причем старик его очень пленил благодушием и видимой кротостью; крестьянин, между прочим, рассказал, что нашел выгодную работу — отходника.

Мысль о написании комедии «Плоды просвещения» явилась у Льва Николаевича во время первого по времени переезда семьи Толстых в Москву. Случилось это так: в 80-х годах я, живя в Туле, приехал на несколько дней в Москву, где встретился с знакомым, обладавшим способностью вызывать так называемые спиритические явления, и он сообщил мне, что у жившего тогда в Москве, в своем доме на Смоленском бульваре, Н. А. Львова (отца известного члена Государственной думы) предполагается спиритический сеанс. Зная от Льва Николаевича, что ему очень хотелось бы когда-нибудь присутствовать на таком сеансе, чтобы воочию убедиться в вымышленности всего, что там бывает, я уговорил моего знакомого согласиться на присутствие на сеансе Льва Николаевича; такое же согласие дал Н. А. Львов, и я поспешил предупредить Льва Николаевича, который

очень обрадовался возможности проверить свое предположение и решил быть на сеансе. При этом Лев Николаевич говорил, что удивляется тому, как люди могут верить в реальность спиритических явлений; ведь это все равно, говорил он, что верить в то, что из моей трости, если я ее пососу, потечет молоко, чего никогда не было и быть не может.

Сеанс состоялся; на нем, кроме хозяина дома, медиума-любителя и меня, присутствовали еще П. Ф. Самарин и К. Ю. Милиоти. Но сеанс не удался; мы сели, как оно полагается, за круглый стол в темной комнате, медиум задремал, и тут начались стуки в стол и появились было фосфорические огоньки, но очень скоро всякие явления прекратились; Самарин, лоя в темноте огоньки, столкнулся с чьей-то рукой, а вскоре медиум проснулся, и дело этим и ограничилось... На другой день после сеанса Лев Николаевич подтвердил мне свое мнение о том, что в спиритизме все или самообман, которому подвергаются и медиум и участники сеанса, или просто обман, творимый профессионалами.

Следующую зиму Толстые проводили в Ясной Поляне, и, если не ошибаюсь, в ноябре старшие барышни объявили мне, что по просьбе их отец написал небольшую комедию на тему о спиритизме, план которой он набросал, кажется, тотчас же после неудачного сеанса у Львова, и что он разрешает им устроить в Ясной, у них в доме, спектакль, поставив эту шуточную комедию². При этом барышни просили меня взять на себя режиссирование пьесы, подбор и доставление актеров и дать нужные указания для устройства сцены...

Сцена была воздвигнута, и поставлены необходимые декорации при содействии машиниста-декоратора Тульского драматического общества Ивана.

Роль горничной Тани взяла на себя Татьяна Львовна, а кухарки — Мария Львовна; для третьего мужика мы выписали из Москвы служившего в судебном ведомстве В. М. Лопатина, роль Звездинцева поручили С. А. Лопухину, жену его играла, кажется, одна из барышень Кузминских, а профессора пришлось уж мне взять на себя; в спектакле участвовали еще молодой Раевский, братья Бергеры, доктор Новиков, А. А. Цингер, Е. Д. Полонский, мой племянник Давыдов, девицы Мамонова, Северцова, Рачинская и еще несколько лиц. Сахатова,

помнится, изображал Сергей Львович Толстой, а Гросмана — Лев Львович.

На первой же репетиции, происходившей в Туле, у меня, выяснилось, что мы в лице Лопатина и Марии Львовны имеем первоклассных актеров. Следующие репетиции шли уже в Ясной, и на них присутствовал Лев Николаевич. Его так пленила игра Лопатина, что он тут же, после репетиции, пополнил роль третьего мужика, вписав эти дополнения в тетрадку Лопатина, по которой тот учил роль. Наконец состоялся спектакль... Прошел он очень удачно и, видимо, доставил удовольствие автору, много смеявшемуся в сценах с мужиками...

Успех спектакля побудил меня попросить Льва Николаевича разрешить мне поставить «Плоды просвещения» в Туле, но уже публично и платно, в пользу исправительного приюта, о котором я уже говорил. Лев Николаевич согласился, но с тем, чтобы я взял на себя хлопоты перед драматической цензурой о разрешении «Плодов» к представлению на сцене...

Вернувшись в Тулу, я немедленно занялся организацией спектакля, заботясь, главным образом, о наилучшем составе актеров и актрис и соответствующем распределении ролей. На обстановку также было обращено внимание и сделано все возможное на временной сцене, возведенной в зале дворянского собрания. Звездинцева играл тот же Лопухин, кухарку — выдающаяся талантливая актриса-любительница В. А. Борисова, горничную Таню — О. Д. Леонова, а Бетси — Т. Л. Толстая. Профессора на этот раз изображал, притом очень хорошо, артиллерийский офицер Нагель, страстный любитель сцены, постоянно участвовавший в спектаклях местного драматического общества, несмотря на то, что он, после ампутации ноги, раздробленной у него ядром в турецкую кампанию, кажется под Плевной, двигался при помощи искусственной. Первого мужика отлично сыграл А. А. Федотов, впоследствии актер Малого театра, а третьего, конечно, опять Лопатин. Удивительно хороши были Коко Клинген и Петрищев, роли которых исполнили М. С. Сухотин и М. А. Стахович. Репетиции происходили частью у меня, частью в дворянском собрании, на сцене. В одну из таких репетиций сторож собрания доложил мне, что какой-то мужик, по-видимому трезвый,

желает непременно видеть меня и требует, чтобы его пустили в залу. «Мы его и гнали уже, да не идет»,— добавил сторож. Я побежал вниз в швейцарскую, догадавшись, кто этот трезвый мужик, и через несколько минут ввел в залу, к великой радости участвовавших в пьесе, Льва Николаевича, принятого за «мужика» сторожами ввиду его более чем скромной верхней одежды...

Лев Николаевич дописывал последний роман свой «Воскресение»... Описывая суд над Масловой, Лев Николаевич просил,— пересылая мне корректурные гранки...— исправлять допущенные им в описании судебного процесса ошибки. Мне пришлось, тоже по просьбе Льва Николаевича, написать имеющийся в романе отрывок кассационной жалобы, вопросы, резолюцию и т. п. В общем Лев Николаевич соглашался с моими замечаниями, за исключением, впрочем, одного, очень существенного пункта, а именно: я советовал Льву Николаевичу, во избежание некоторой, как мне казалось, натянутости, неполной правдоподобности вердикта присяжных заседателей по делу Масловой, изложить их решение просто как обвинительное, отметив его кратко: «Да, виновна, но заслуживает снисхождения», мне казалось, что обвинительный приговор не был бы невероятен, так как улики против Масловой были достаточные, а прошлое ее, то прошлое, которое было известно присяжным, а не то действительное прошлое Катюши, которое знали уже читатели, не говорило в ее пользу. Но, повторяю, Лев Николаевич не согласился со мною и оставил наличность допущенной присяжными формальной ошибки³...

В период пребывания Льва Николаевича в Москве, кажется в 1898 или 1899 году, я познакомил его с обстоятельствами судебного дела, давшего толчок к созданию им последнего большого драматического произведения, к сожалению не законченного автором — «Живого трупа». Обстоятельства этого оригинального дела достаточно известны; вкратце они таковы.

Супруги N, жившие заработком интеллигентных людей, в молодом еще возрасте разошлись, главным образом благодаря склонности мужа к злоупотреблению

спиртными напитками, причем сына мать оставила при себе, а муж, проживая без семьи, опускался все больше и больше и наконец, потеряв должность, дававшую ему средства существования, очутился «на дне». В это время жену, нашедшую поддерживавший существование ее и сына заработок, полюбил ее сослуживец и, считая ее вдовой, предложил выйти за него замуж; она также разделяла чувства хорошего человека, предложившего стать его женой, но наличность мужа, хотя он и был «на дне», являлась препятствием к их браку. Они разыскали несчастного N, он выразил полное согласие на развод и подал, признавая свою вину, прошение о расторжении брака; но консистория отказала в разводе, и тогда г-жа N придумала такой способ получения нужного ей вдовьего вида: муж написал ей письмо, в котором уведомлял, что он, отчаявшись в возможности исправить свою жизнь, решил кончить ее самоубийством; письмо это г-жа N передала полиции, а вскоре на льду Москвы-реки была найдена одежда, а в ней паспорт N, а затем из реки был извлечен чей-то труп, который был принят за тело N; жене его был выдан вдовый вид, и она вышла замуж за своего сослуживца. Но в конце концов, благодаря какой-то оплошности N, истина обнаружилась, супруги были отданы под суд судебной палаты с участием сословных представителей по обвинению ее в преступлении, предусмотренном 1554 ст. Уложения о наказаниях, а его в пособничестве к учинению этого преступления и приговорены палатой к лишению особых прав и ссылке на житье в Сибирь. Приговор этот был смягчен по представлению министра юстиции, вызванному ходатайством А. Ф. Кони, содержанием осужденных в тюрьме в течение года.

Передавая Льву Николаевичу обстоятельства этого дела, с которым я познакомился в качестве председателя окружного суда, где г-жа N подвергалась освидетельствованию состояния ее психического здоровья, я имел в виду, что его заинтересует драматичность положения несчастной г-жи N, получившаяся благодаря искусственно созданным людьми усложняющим жизнь условиям, обрядам, формальностям... В деле являлось также интересным и то, что, по-видимому, все в нем участвующие лица — хорошие, добрые люди. Лев Николаевич действительно заинтересовался этим делом и тогда же, записав

обстоятельства его, решил использовать этот материал для литературного произведения...

Произошло, кроме того, следующее: в толстовский дом в Хамовническом переулке явился бедно одетый господин и настоятельно просил свидания с Львом Николаевичем. Его провели в комнату Льва Николаевича, где он объявил, что он есть тот труп, о котором Лев Николаевич написал драму. Лев Николаевич подробно расспросил его о всей его жизни, долго убеждал перестать пить, обещал при этом условии найти ему платные занятия и при прощании взял с него слово, что он бросит вино. Кажется, в тот же день Лев Николаевич зашел ко мне и рассказал о неожиданном появлении у него г-на N и попросил меня, положившись на данное ему N слово, устроить ему какое-нибудь скромное место. Мне удалось удовлетворить желание Льва Николаевича. Г-н N получил назначение на должность, оплачиваемую небольшим жалованием, и на этой должности пробыл целый ряд лет до своей кончины, причем исполнил свое обещание и действительно больше не пил.

Как-то раз вечером я застал у Толстых (в Москве) Ф. И. Шаляпина⁴, который спел несколько романсов; но пение его не особенно понравилось Льву Николаевичу: он нашел его чересчур громким и искусственным, зато он одобрил игру балалаечников в оркестре Андреева (играли они русские песни), который нам с ним пришлось послушать у Софьи Николаевны Глебовой⁵...

Лев Николаевич читал чрезвычайно много, всего более книг серьезного содержания, философского, религиозного, исторического характера, а также интересовался литературой по политической экономии и социологии; как известно, в отношении землепользования Лев Николаевич сочувствовал теории Генри Джорджа. Но Лев Николаевич читал и беллетристику, избегая, впрочем, стихотворных произведений, а также относясь совершенно отрицательно к таким вещам, как Козьма Прутков, как остроумные шутки графа Ф. Л. Сологуба⁶.

Он отлично читал вслух и любил это, читая такие вещи, например, как рассказы Слепцова (его он тоже признавал), с неподражаемым юмором. Раз Лев Николаевич очень одобрил собственное писание, совершенно

неожиданно для себя. Вечером в Ясной Поляне кто-то из семьи стал читать вслух главу из «Войны и мира»; Лев Николаевич, который в это время оставался, будучи нездоров, в своей комнате, подошел к двери залы, где, как всегда, происходило общее чтение, и, остановившись, прислушался, а затем, войдя ко всем, спросил с интересом, что они читали, что это что-то хорошо написанное...

Из новых писателей-беллетристов Лев Николаевич одобрял во французской литературе Гюи де Мопассана, а в русской — Чехова. Лев Николаевич часто перечитывал творения Руссо, которыми всегда восхищался.

Н. И. ТИМКОВСКИЙ

МОИ ПЕРВЫЕ СВИДАНИЯ С Л. Н. ТОЛСТЫМ

Лет двадцать назад я просил Льва Николаевича прочитать мои «Вопросы жизни», нечто вроде лирико-философской поэмы в стихах. С Львом Николаевичем я не был знаком и передал рукопись через своего товарища, жившего в доме Толстого в Долго-Хамовническом переулке. От него же я вскоре узнал, что Лев Николаевич читал всю ночь бесконечную поэму и заинтересовался автором.

Очутившись в мезонине толстовского дома глаз на глаз с Львом Николаевичем, я почувствовал немалое смущение. Впрочем, и Толстой был смущен, что меня очень удивило...

— Вы видите, я конфужусь,— сказал он с своей милой, застенчивой улыбкой и затем принялся осторожно, неуверенно высказывать свое мнение.

Помню, что он хвалил содержание и идею «Вопросов», но возражал против стихотворной формы:

— Зачем стихи? Все это можно проще и удобнее выразить в прозе... Стихи связывают автора по рукам и ногам.

— Да, но некоторые вещи почему-то напрашиваются на стихи. Бывают моменты, когда хочется именно стихов, как иногда хочется песен, а не обычной речи.

Лев Николаевич задумчиво согласился:

— Может быть, может быть...

Он снова заговорил о моей поэме. Меня приятно поразила тот простой, почти товарищеский и чрезвычайно

серьезный тон, каким не часто разговаривают прославленные писатели с начинающими.

— Если для вас важно знать, стоит ли вам заниматься литературной деятельностью, то вот мое мнение: да, стоит... Только все-таки прозой — лучше...

Потом он перешел к другим темам, рассказал об издательстве «Посредник», о мерах к упорядочению лубочной литературы, убеждал меня поработать в этом направлении...

— Надо учиться писать для массы. Мы еще не умеем, потому что все писали для господ... Я вот учусь теперь, как писать для простого читателя, но пока иду ощупью и недоволен собою...

Я ушел от Льва Николаевича удовлетворенный, окрыленный и скоро принес ему маленький прозаический очерк «Вьюга» — для народного чтения. Вещица очень понравилась Льву Николаевичу. Он нашел в ней «истинный трагизм» и тут же, со свойственной ему деловитостью, указал ряд детальных промахов, допущенных мною по неопытности.

— У вас вьюга продолжается всю ночь, а утром крестьянин выходит из избы. Вы говорите просто: «Он вышел...» Но каким образом он вышел? Ведь всю избу замело, перед дверью — сугроб. Ему, конечно, пришлось отгрести снег... Надо не только упомянуть об этом, но и показать, как это происходило...

Он увлекся, беседуя о том, как следует писать: необходимо все время видеть перед собой вполне ясно и отчетливо то, что изображаешь, не выпускать ни на минуту из глаз правду жизни, идти по пятам за героем (как это встарь называли) рассказа.

— Простой деревенский читатель не простит вам малейшего искажения хорошо знакомой ему действительности. Другое дело — сказка... Ну, тогда уж лучше писать прямо сказки.

Он привел мне много иллюстраций своей основной мысли, но я не помню теперь, какие именно. В воспоминании остался только образ писателя, страстно любящего свое дело, вплоть до ничтожнейших деталей его.

Лев Николаевич решил отослать «Вьюгу» «Посреднику»¹ и прибавил с простодушно-лукавой усмешкой:

— Я им пока своего мнения не выскажу. Посмотрим, разберут ли они...

Он простился со мной, вновь повторив свой совет: писать.

— Теперь я судил снисходительно, а потом буду судить строже...

О Л. Н. ТОЛСТОМ

Начало моего знакомства с Львом Николаевичем относится к 80-м годам...

В Москве был в то время кружок, поставивший себе задачей знакомиться с литературой для народа и снабжать сельские школы бесплатными библиотеками. Кружок этот вошел потом в обветшалый комитет грамотности и содействовал его возрождению. Лев Николаевич участливо следил за деятельностью кружка, поддерживал его своим сочувствием, сам читал книги, давал отзывы, выбирал, рекомендовал, что хорошо бы перевести, переделать, издать, и сам порой хлопотал об издании.

С самым трогательным уважением относился он к бескорыстным общественным работникам: «Как это хорошо, что они делают незаметно свое скромное дело, не гоняясь за популярностью! Вот так и надо жить и действовать».

Случалось, что он деятельно участвовал в решении спорных вопросов. Когда брошюра «Посредника» «Гоголь как учитель жизни»¹ возбудила среди интеллигенции жаркие дебаты, он горячо принял под свою защиту Гоголя, разыскал и передал мне свою статью о «Переписке» Гоголя, не законченную потому, что Льву Николаевичу, по его собственным словам, «не хотелось вступать в полемику с Белинским»².

Много времени уходило у него и на возню с самоучками, нахлынувшими к нему во множестве, иногда очень издалека.

Он именно «возился» с ними: читал и перечитывал по нескольку раз их рукописи, пристраивал, учил авторов, как надо писать, заботился об их образовании. Несмотря на высказанное им скептическое отношение к художественной литературе и поэзии, он начинал просвещение самоучек с наших классических авторов.

— Вот дал ему для почина Пушкина,— говорил он мне как-то про одного крестьянина.— Потом дам ему еще кой-кого из наших... Себя-то я подожду давать.

Высоко ценил в самоучках (преимущественно из крестьян) то, что они «не сочиняют», а дают настоящую жизненную правду; но это не мешало ему жаловаться на них: «Не хотят работать над своими произведениями. Думают: как написалось, так и ладно. А ведь надо без конца перерабатывать и брать каждое слово с бою...» И при этом любил приводить слова Репина: «Талантливый человек никогда не кончает»...

При изумительной разносторонности, Лев Николаевич за всякое дело брался не как барин-дилетант, а как настоящий труженик. Стремление делать все как следует составляет, на мой взгляд, его органическую потребность: и учиться, и работать, и жить *как следует!*

Эта необычайная многогранность и редкая работоспособность, серьезное отношение ко всякому делу, даже незначительному, проходит красной нитью по всей жизни и деятельности Льва Николаевича за те годы, когда я часто видел и слышал его.

Была еще черта, поражавшая меня в Льве Николаевиче, да и не меня одного. Мне приходилось нередко слышать от лиц, знакомых с ним, самые противоречивые отзывы. Одни, например, находили, что Лев Николаевич — прежде всего аристократ; другие утверждали, что он любит поклонение и не выносит, чтобы при нем кто-нибудь мог «сметь свое суждение иметь»;³ третьи восторгались приветливостью и сердечностью Льва Николаевича. Одни утверждали, что у Толстого прямо волчьи глаза, другие находили в них ангельскую кротость...

Скажу больше: у одного и того же лица получались от него впечатления, которых, по-видимому, невозможно примирить между собой. И сам я иногда на протяжении одного вечера видел перед собой двух, трех и больше Львов Николаевичей, не имеющих как будто друг с другом ничего общего: то это — человек, с которым нельзя разговаривать, а надо лишь сидеть и трепетно внимать его проповедям, как Моисей внимал гласу божьему на Синае; то это — великий человеколюбец, глубоко и ласково смотрящий в вашу душу; то — любознательный ученик, который жадно расспрашивает обо всем и удивляет своей почти детской впечатлительностью.

Иные странности, резкости, головокружительные парадоксы, которые ставили в счет Льву Николаевичу, объяснялись его страшной впечатлительностью. Иногда какая-нибудь мелкая житейская подробность в рассказе посетителя так поражала Льва Николаевича, что он приходил в непонятное для окружающих волнение: вдруг вспыхивал гневом или готов был заплакать. Очевидно, он в одно мгновение ока рисовал себе целую потрясающую картину жизни, и она всецело захватывала его.

Мне думается, что эту же впечатлительностью объяснялись некоторые крутые перемены в его взглядах: весьма возможно, что здесь играли роль впечатления, запавшие когда-то глубоко в душу Льва Николаевича.

Для объяснения многих странностей и противоречий, приписываемых ему, необходимо также принять во внимание, помимо сложной и вместе стихийной природы Льва Николаевича, помимо страшного брожения, какое он переживал в описываемые годы, еще и своеобразную обстановку, в которой приходилось ему жить и работать.

Вспоминаю теперь дом Толстого, и передо мной вырисовывается какой-то невероятный калейдоскоп. Самые разнообразные люди приходят, уходят, соединяются наверху у Льва Николаевича или внизу, в столовой, в гостиной в чрезвычайно прихотливые группы.

Тут все, начиная с знатного иностранца, приехавшего в щегольском ландо, и кончая самоучкой-поэтом, который пришел пешком за полтораста верст, чтобы показать Льву Николаевичу свои «Песни и думы»...

Когда я видел Толстого среди толстовцев, я не мог отделаться от мысли, что Лев Николаевич надел на себя какие-то вериги или колодки...

Но я живо помню, как Лев Николаевич в этих случаях, не выдержав, прорывался. Толстовцы никогда не прорывались, а Толстой прорывался... Среди бесконечных хитросплетений о «разумном сознании» вдруг попросит кого-нибудь сыграть ему из Шопена или, наслушавшись кротких речей на тему о непротивлении, разразится бранью против Победоносцева, синода и поддерживающих властей. «Да ведь это же совершенный мерзавец!» — вдруг выделяется его голос.

Однажды, когда толстовцы решали роковой вопрос: «Позволительно ли, с точки зрения разумного сознания, пить чай, ввиду его возбуждающих свойств», Лев Ни-

колаевич в разгар спора вдруг обратился ко мне: «А нет ли у вас папиросы?» — и потом виновато прибавил: «Бросил курить... а все, знаете, тянет»...

Лев Николаевич обожал добрый смех, восхищался юмористическими шедеврами Чехова, вспоминал его «Налима» и жалел, что в литературе так мало неподдельного юмора и здорового, наивного комизма...

Хотя Лев Николаевич и тогда уже исповедовал страстно принцип непротивления, но никогда не казался мне человеком смирившимся в каком бы то ни было смысле... Все в нем — глаза, манеры, способ выражения — говорило о том, что принцип, заложенный в него глубоко самой природой, — отнюдь не смирение и покорность, а борьба, страстная борьба до конца. О том же говорят и произведения его, навлекшие на автора гнев сильных. Многие страницы их дышат вызовом, горечью, негодованием, сарказмом, а иные можно прямо сравнить с ударами бича.

Да, наконец, если бы он действительно был такой «непротивленный», то вряд ли нажил бы он себе столько яростных врагов, возбудил против себя такую бурю ненависти и проклятий... вплоть до знаменитого отлучения.

В том-то и дело, что все невольно чувствуют под налетом непротивления натуру непримиримого бойца, умеющего негодовать, бичевать и пробуждать в других воинствующий дух! Каменная стена, давно уж стиснувшая русскую жизнь и душу кольцом, всегда была для Льва Николаевича ненавистна.

— Надо во что бы то ни стало разрушить эту стену, — твердил он с страстным убеждением. — Каждый из нас должен колупать эту стену хоть ногтем... Каждый должен хоть камешек вынуть из нее... Толкать, бить, пробуравливать, чтобы наконец изрешетить ее!.. Нельзя успокаиваться, примиряться, пассивно складывать руки... Давайте же все «колупать стену»!

А. Ф. КОНИ

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

В ясное теплое утро 6 июня 1887 года я сел на станции Ясенки, Московско-Курской железной дороги, в присланную за мною рессорную тележку и направился в Ясную Поляну.

...В десятом часу все обитатели Ясной сошлись за чайным столом на воздухе под развесистыми липами, и тут я познакомился со всеми членами многочисленных семейств Толстого и Кузминского. Во время общего разговора кто-то сказал: «А вот и Лев Николаевич!» Я быстро обернулся. В двух шагах стоял одетый в серую холщовую блузу, подпоясанную широким ремнем, заложив одну руку за пояс и держа в другой жестяной чайник, Гомер русской «Илиады», творец «Войны и мира». Две вещи бросились мне прежде всего в глаза: пронизательный и как бы колющий взгляд строгих серых глаз, в которых светилось больше пылливой справедливости, чем ласкающей доброты,— одновременный взгляд судьи и мыслителя,— и необыкновенная опрятность и чистота его скромного и даже бедного наряда, начиная с какой-то светло-коричневой «шалоньки» и кончая самодельными башмаками, облекавшими белые носки. Толстой чрезвычайно просто приветствовал меня и, наливая себе в чайник кипяток из самовара, тотчас же заговорил об одном из дел, по которому я в конце 70-х годов председательствовал и которое вызвало в свое время много горячих споров и ожесточенных толков¹. Его манера держать себя, лишенная всякой аффектации, и содержательность всего, что он говорил, в связи с искренностью тона, как-то сразу сняли между нами все условные и не-

вольные преграды, почти всегда сопровождающие первое знакомство. Мне почувствовалось, как будто мы давно уже знакомы и лишь встретились после продолжительной разлуки...

Когда в первый вечер, простившись, я просил показать мне дорогу во флигель, занимаемый Кузминскими, Лев Николаевич сказал мне, что я помещен на жительство в его рабочей комнате внизу, и пошел меня туда проводить. Это была обширная комната под сводами, разделенная невысокой перегородкой на две неравные части... Приведя меня в эту комнату, он над чем-то копошился в большей ее части, покуда я разделся и лег, а затем вошел ко мне проститься. Но тут между нами началась одна из тех типических русских бесед, которые с особенной любовью ведутся в передней при уходе или на краешке постели... С тех пор все дни моего пребывания в Ясной проводились и оканчивались описанным образом... Один из таких случаев остался у меня в памяти. «А какого вы мнения о Некрасове?» — спросил он меня из-за перегородки, что-то передвигая. Я отвечал, что ставлю высоко лирические произведения Некрасова... Что же касается до его личных свойств, то я не верю яростным наветам на него и во всяком случае считаю, что то, что он был игрок, еще не дает права ставить на его личности крест и называть его дурным человеком. Он был, продолжал я, одержим страстью к игре, обратившейся, если угодно, в порок, но *порочный* человек не всегда *дурной* человек... Выслушав это мнение, Толстой вышел из-за перегородки со светлым выражением лица и, сев на «краешек», сказал мне радостно: «Ну, вот, вот, и я это именно всегда думал и говорил,— это различие необходимо делать!» И между нами снова началась длинная беседа на эту тему...

Меня, конечно, очень интересовало отношение Толстого к крестьянам, про которое ходило столько разнообразных и оригинальных слухов... Отношения между семьей графа и соседями были просты и естественны. Обитатели яснополянского дома были старыми и добрыми знакомыми, готовыми во всякое время прийти на помощь в болезни, несчастии и недостатке,— лечить и советовать, похлопотать и понять чужую скорбь. Все это, однако, совершалось без заигрыванья и заискиванья и без холодного, безразличного исполнения долга по отно-

шению к «меньшему брату». Таким же характером отличалось и обращение крестьян со Львом Николаевичем... В их глазах Толстой был не только участливый, но и сведущий человек. Недаром мне рассказывали, как крестьяне в своих отзывах про него говорили: «Это мужик умственный, хотя и барин». В одну из наших прогулок Толстой, описывая свое путешествие с богомольцами к русским обителям, кажется в Киев или в Оптину пустынь,— причем спутники считали его за *своего* и поэтому не стеснялись его присутствием,— с тонким юмором рассказывал мне про презрительные отзывы о «господишках», которые ему приходилось слышать в пути и на постоянных дворах... Иногда в беседе крестьян с ним звучали и душевные нотки.

Эти беседы припомнились мне с особенной яркостью несколько лет спустя в Москве, когда мне пришлось присутствовать при небольшом споре Толстого по поводу смысла брака как начала семейной жизни. Нахмурился брови, слушал он, как при нем один из присутствующих говорил о *рискованном* браке знакомой девушки, вышедшей замуж за человека «без положения и средств». «Да разве *это* нужно для семейного счастья?» — спросил Толстой. «Конечно,— отвечал стоявший на своем собеседник,— вы-то, Лев Николаевич, считаете это вздором, а жизнь показывает другое...» Толстой пожал плечами и, обращаясь ко мне, сказал: «Я понимаю семейное счастье иначе и часто вспоминаю мой разговор в Ясной Поляне, много лет назад, с крестьянином Гордеем Деевым. «Что ты невесел, Гордей, о чем закручинился?» — «Горе у меня большое, Лев Николаевич: жена моя померла». — «Что ж, молодая она у тебя была?» — «Нет, какой молодая! На много лет старше: не по своей воле женился». — «Что ж, работница была хорошая?» — «Какое! Хворая была. Лет десять с печи не слезала. Ничего работать не могла». — «Ну так что ж? Тебе, пожалуй, теперь легче станет». — «Эх, батюшка Лев Николаевич, как можно легче! Прежде, бывало, приду в какое ни на есть время в избу с работы или так просто — она с печи на меня, бывало, посмотрит да и спрашивает: «Гордей, а Гордей! Да ты нынче ел ли?» А теперь уже этого никто не спросит...» Так вот какое чувство дает смысл и счастье семье, а не «положение», — заключил Толстой...

Несколько раз во время наших прогулок нам приходилось говорить о «непротивлении злу», которое его в то время сильно занимало... Каждый из нас остался при своем, но во все время спора он не проявил никакого стремления насилловать мои взгляды и навязать мне свое убеждение. То же было и в споре о значении Пушкина, к которому тогда он относился недружелюбно, хотя и признавал его великий талант. Он находил, что последний был направлен против народных идеалов и что Тютчев и Хомяков глубже, содержательнее Пушкина. И в этом длинном споре Лев Николаевич был чрезвычайно объективен и, встречая во мне восторженного поклонника Пушкина, видимо старался не огорчить меня каким-либо резким отзывом или суровым приговором.

Вообще я не раз имел случай убедиться и почувствовать, что Лев Николаевич имеет редкий дар *de faire connaître l'hospitalité de la pensée...* *

Во время долгих послеобеденных прогулок он обращался часто к своим воспоминаниям и наблюдениям, и тут мне приходилось сравнивать технику его речи с техникой других мастеров литературного слова, которых мне приходилось слышать в жизни... За ним как бы чувствовалось биение сердца. Оно всегда было просто и поразительно точно по отношению к создаваемому им изображению, чуждо всяких эффектов в конструкции и в распределении отдельных частей рассказа. Оно было хронологично и в то же время сразу ставило слушателя на прямую и неуклонную дорогу к развязке рассказа, в которой обыкновенно заключались его цель и его внутренний смысл. Рассказы Толстого почти всегда начинались с какого-нибудь общего положения или афоризма и, отправляясь от него как от потока, текли спокойною рекою, постепенно расширяясь и отражая в своих прозрачных струях и высокое небо, и глубокое дно...

Вспоминая общее впечатление от того, что говорил в 1887 году Лев Николаевич, я могу восстановить в памяти некоторые его мысли по тем заметкам, которые сохранились в моем дневнике... Мне хочется привести кое-что из этого в том именно виде, в котором оно первоначально выливалось из уст Льва Николаевича.

* Дать почувствовать гостеприимство мысли... (франц.)

«В каждом литературном произведении,— говорил он,— надо отличать три элемента. Самый главный — это содержание, затем любовь автора к своему предмету и, наконец, техника. Только гармония содержания и любви дает полноту произведению, и тогда обыкновенно третий элемент — техника — достигает известного совершенства сам собою. У Тургенева, в сущности, немного содержания в произведениях, но большая любовь к своему предмету и великолепная техника. Наоборот, у Достоевского огромное содержание, но никакой техники; а у Некрасова есть содержание и техника, но нет элемента действительной любви».

«У современной критики (конец 80-х годов) писателю нечему научиться, так как она почти вовсе не касается содержания, а оценивает технику, тогда как задача критики — найти и показать в произведении луч света, без которого оно ничто. Надо писать pour le gros du public *. Суд таких читателей и любовь их есть настоящая награда писателю, и вкус большой публики никогда не ошибается, несмотря на замалчивание того или другого произведения критикой. Такая публика ищет нравственного поучения в произведении, как бы рискованно ни было его содержание, то есть как бы откровенно ни говорилось в нем о том, о чем вообще принято лицемерно умалчивать...»

«Язык большей части русских писателей страдает массою лишних слов или деланностью. Встречаются, например, такие выражения, как «взошел месяц, бледный и огромный» — что противоречит действительности, или — «сжатые зубы виднелись сквозь открытые губы». Это свойство особенно заметно у женщин-писательниц. Чем они бездарней, тем они болтливей. Прочитав иногда несколько страниц такой болтовни, хочется сказать: молчала бы ты лучше, а то вот теперь все узнают, какая ты умница! Настоящий учитель литературного языка — Диккенс. Он умел всегда ставить себя на место изображаемых лиц и ясно представить себе, каким языком каждое из них должно говорить».

* Для большой публики (франц.).

«Природа лучше человека. В ней нет раздвоения, она всегда последовательна. Ее следует везде любить, ибо она везде прекрасна и везде и всегда трудится. Тургенев рассказывал, что, охотясь, он проводил иногда на опушке леса целую ночь без сна, прислушиваясь к тому, как природа работает ночью. И ему казалось, что она тяжело дышит и по временам в своем творческом труде говорит: уф, уф! Самарские степи, например, днем, под палящим солнцем, однообразны и могут наскучить. Но какая прелесть ночью, когда земля дышит полною грудью, а над нею раскинут необъятный купол неба и к нему несутся с земли нежные звуки, издаваемые жабами...»

«У нас легко раздают титул добрых людей и любят замалчивать ужасные общественные явления после того, как они перестали существовать, как будто они не могут повториться, только в другой форме. Так у нас началось замалчиванье крепостного права и его ужасов, как только крестьяне были освобождены. И люди и отношения были покрыты забвением. Я знал, например, одного вице-губернатора, пользовавшегося всеобщую любовью и считаемого очень добрым. Он прекрасно вышивал шелками по канве и был «душою общества», а между тем за ним считалось несколько засеченных насмерть крестьян. Вообще человеческая жестокость часто только лишь меняет формы или внезапно проявляется там, где ее никак нельзя было ожидать. В конце 70-х годов один очень крупный сановник, слышавший когда-то либералом и затем, очевидно, в этом раскаявшийся, приехав в Ясную Поляну, стал доказывать желательность восстановления телесных наказаний потому, что содержание под стражей слишком дорого стоит государству, а так как некоторые весьма искусно устраивают побеги, то для предупреждения последних можно было бы арестантов, обвиненных в наиболее тяжких преступлениях, лишать каким-либо искусственным и безболезненным образом зрения, что сделало бы их всегда безвредными. Я его, — прибавил, окончив этот рассказ, Толстой, — попросил больше меня не посещать»².

Среди наших бесед о религиозных и нравственных вопросах мне приходилось не раз обращаться к моим судебным воспоминаниям... Между этими воспоминаниями на-

ходило одно, которому суждено было оставить некоторый след в творческой деятельности Льва Николаевича.

Когда я был прокурором Петербургского окружного суда... ко мне в камеру однажды пришел молодой человек... Его одежда и манеры изобличали человека, привыкшего вращаться в высших слоях общества. Он, однако, с трудом владел собою и горячо высказал мне жалобу на товарища прокурора... отказавшего ему в передаче письма арестантке, по имени Розалия, без предварительного его прочтения. Я объяснил ему, что таково требование тюремного устава... «Тогда прочтите вы,— сказал он мне, волнуясь,— и прикажите передать письмо Розалии». Это была чухонка-проститутка, судившаяся с присяжными за кражу у пьяного «гостя» ста рублей, спрятанных затем ее хозяйкой — вдовой майора, содержавшей дом терпимости самого низшего разбора в переулке возле Сенной... На суд предстала молодая еще девушка с сиплым от пьянства и других последствий своей жизни голосом, с едва заметными следами былой миловидности и с цинической откровенностью на всем доступных устах. Защитник сказал банальную речь, называя подсудимую «мотыльком, опалившим свои крылья на огне порока», но присяжные не вняли ему, и суд приговорил ее на четыре месяца тюремного заключения. «Хорошо,— сказал я пришедшему,— я даже не буду читать вашего письма. Скажите мне лишь в самых общих чертах, о чем вы пишете?» — «Я прошу ее руки и надеюсь, что она примет мое предложение, так что мы можем скоро и перевенчаться». — «Нет, этого не может быть так скоро, ибо ей придется высидеть весь свой срок... Вы ведь дворянин?» — «Да», — ответил он и на дальнейшие мои расспросы назвал мне старую дворянскую фамилию... объяснив, что кончил курс в одном из высших привилегированных заведений и состоит при одном из министерств... Он передал мне письмо и собирался уходить, когда я снова пригласил его присесть и, испросив его разрешения говорить с ним как частный человек и откровенно, вступил с ним в следующий разговор: «Где вы познакомились с Розалией?» — «Я видел ее в суде». — «Чем же она вас поразила? Наружностью?» — «Нет, я близорук и дурно ее рассмотрел». — «Что же вас побуждает на ней жениться? Знаете ли вы ее прошлое? Не хотите ли прочесть дело о ней?» — «Я дело знаю:

я был присяжным заседателем по нему». — «Думаете ли вы, выражаясь словами Некрасова, «извлеки ее падшую душу из мрака заблужденья», переродить ее и заставить ее забыть свое прошлое?» — «Нет, я буду очень занят и, может быть, буду приходить домой только обедать и ночевать». — «Считаете ли вы возможным познакомиться ее с вашими ближайшими родными и ввести ее в их круг?» Мой собеседник покачал отрицательно головой. «Но в таком случае она будет в полной праздности. Не бойтесь вы, что прошлое возьмет над нею силу, на этот раз уже без некоторого оправдания в бедности и бесприютности? Что может между вами быть общего, раз у вас нет даже общих воспоминаний? Ваша семейная жизнь может представить для вас, при различии вашего развития и положения, настоящий ад, да и для нее не станет раем! Наконец подумайте, какую мать вы дадите вашим детям!»

Он встал и начал ходить в большом волнении по моему служебному кабинету... «Вы совершенно правы, но я все-таки женюсь»... На другой день я получил от него письмо, в котором он благодарил меня за мой с ним разговор... Подтверждая, однако, свою твердую решимость жениться, он просил меня... оказать своим влиянием содействие к тому, чтобы тюремное начальство не препятствовало ему немедленно венчаться с Розалией. Я не успел еще ответить на это письмо, как поступил ответ Розалии, переданный смотрителем тюрьмы, в котором она безграмотными каракулями заявляла о своем согласии вступить в брак. А через день после этого я получил от моего собеседника крайне резкое и почти ругательное письмо, в котором он критиковал мое, как он выражался, «вмешательство в его личные планы»... Между тем наступил пост, и вопрос о немедленном браке упал сам собою. Мой собеседник стал видаться довольно часто с Розалией, причем в первое же свидание она должна была ему объяснить, что вызвана из карцера, где содержалась за неистовую брань площадными словами, которую она осыпала заключенных с нею вместе. Он возил ей разные предметы для приданого: белье, браслеты и материи... В конце поста Розалия заболела сыпным тифом и умерла. Ее жених был, видимо, поражен известием об этой смерти... Затем он сошел с моего горизонта...

Месяца через три после этого почтенная старушка смотрительница женского отделения тюрьмы рассказала мне, что Розалия, будучи очень доброй девушкой, ее полюбила и объяснила ей, почему этот господин хочет на ней жениться. Оказалось, что она была дочерью вдовца, арендатора в одной из финляндских губерний мызы, принадлежавшей богатой даме в Петербурге. Почувствовав себя больным, отец ее отправился в Петербург и, узнав на амбулаторном приеме, что у него рак желудка и что жить остается недолго, пошел просить собственницу мызы не оставить его... дочь. Это было обещано, и девочка после его смерти была взята в дом. Ее сначала наряжали, баловали... но потом... она попросту надоела и ее сдали в девичью, где она среди всякой челяди и воспитывалась до шестнадцатилетнего возраста, покуда на нее не обратил внимания только что окончивший курс в одном из высших привилегированных заведений молодой человек — родственник хозяйки, впоследствии жених тюремной сиделицы. Гости у нее на даче, он соблазнил несчастную девочку, а когда сказались последствия соблазна, возмущенная дама выгнала с негодованием вон... не родственника, как бы следовало, а Розалию. Брошенная затем своим соблазнителем, она родила, сунула ребенка в воспитательный дом и стала спускаться со ступеньки на ступеньку, покуда наконец не очутилась в притоне около Сенной. А молодой человек между тем, побывав на родине, в провинции, переселился в Петербург и тут вступил в общую колею деловой и умственной жизни. И вот в один прекрасный день судьба послала ему быть присяжным в окружном суде, и в несчастной проститутке, обвиняемой в краже, он узнал жертву своей молодой и эгоистической страсти...

Рассказ о деле Розалии был выслушан Толстым с большим вниманием, а на другой день утром он сказал мне, что ночью много думал по поводу его и находит только, что его перипетии надо бы изложить в хронологическом порядке. Он мне советовал написать этот рассказ для «Посредника»... А месяца через два после моего возвращения из Ясной Поляны я получил от него письмо, в котором он спрашивает меня, пишу ли я на этот сюжет рассказ. Я отвечал обращенной к нему горячею просьбой написать на этот сюжет произведение...

Наконец, через одиннадцать лет, у него вылилось его удивительное «Воскресение»³...

Из первого пребывания моего в Ясной мне с особенной яркостью вспоминается вечер, проведенный с Толстым в путешествии к родственнице его супруги, жившей верстах в семи от Ясной Поляны и праздновавшей какое-то семейное торжество. Лев Николаевич предложил мне идти пешком и всю дорогу был очаровательно весел и увлекательно разговорчив. Но когда мы пришли в богатый барский дом с роскошно обставленным чайным столом, он заскучал, нахмурился и внезапно, через полчаса по приходе, подсев ко мне, вполголоса сказал: «Уйдем!» Мы так и сделали, удалившись, по английскому обычаю, не прощаясь... Когда мы были в полумверсте от Ясной Поляны и перешли шоссе, в кустах вокруг нас замелькали светляки. Совершенно с детской радостью Толстой стал их собирать в свою «шапоньку» и торжественно понес ее домой в руках, причем исходящий из нее сильный зеленоватый фосфорический свет озарял его оживленное лицо...

Мы виделись затем в 1898 году... В это время он писал свое сочинение об искусстве и ходил, между прочим, в театр присутствовать при репетиции⁴. С непередаваемым юмором рассказывал он свои впечатления и описывал, как хористы поют какую-то чувствительную бессмыслицу, а ближайший руководитель уже вовсе не сентиментально на них покрикивает...

В 1904 году, на пасхе, я снова посетил... Ясную Поляну...

Я нашел на этот раз Льва Николаевича физически сильно состарившимся, осунувшимся и похудевшим...

Он весь был против пагубной войны⁵, на которую высокомерная «волокита» нашей дипломатии и наша самонадеянная неподготовленность и презрение к урокам истории толкнули Японию с давно ею затаенным оскорблением своего национального чувства. Но его русское сердце сжималось с тоскою и тревогой по поводу результатов предстоящей бойни. При мне пришло известие о гибели Макарова, чрезвычайно его расстроившее⁶. Он интересовался всеми телеграммами, ездил за ними сам в Тулу верхом и постоянно возвращался в разговорах к случившемуся...

По вечерам он иногда читал вслух с удивительной простотой и в то же время выразительностью. Так, мне помнится особенно ярко чтение им рассказа Куприна «В казарме»⁷. Он признавал большой талант за этим писателем.

В эти памятные для меня дни он дал мне прочесть в рукописи три своих произведения: «Божеское и человеческое», «После бала» и «Хаджи-Мурат» и неоконченный трактат о Шекспире.

С. Т. СЕМЕНОВ

ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЬВЕ НИКОЛАЕВИЧЕ ТОЛСТОМ

Первая моя встреча с Львом Николаевичем Толстым произошла в конце 1886 года. Я был тогда девятнадцатилетним парнем-чернорабочим и жил на окраине Москвы на фабрике...

Когда я окончил свой первый рассказ¹, прочитал его своим соседям на фабрике, рассказ произвел самое желательное для меня впечатление. Мое настроение передалось другим, и это меня очень окрылило, и я стал думать пустить свой рассказ в свет. Из образованных знакомых тогда у меня был только один бывший ученик технической школы, работавший в одной типографии как корректор. Я обратился к нему за советом, как мне лучше поступить. Тот... заявил, что самое лучшее мне обратиться в «Посредник», а так как в этом издательстве большое участие принимал Л. Н. Толстой, то завести переговоры с ним...

Выпросившись у хозяина, я взял свою рукопись, приложил к ней на всякий случай письмо со своим адресом, если бы я не застал графа дома, и отправился из Сокольников в Хамовники.

Я легко разыскал нужный мне дом, вошел во двор, позвонил у крыльца, и вдруг мне объявили, что графа нет, он еще не приехал из деревни, но не сегодня-завтра он придет, и предложили мне оставить что у меня было для передачи ему... Оставив рукопись, я возвратился к себе и стал ожидать, что будет. И вдруг через два или три дня я получил открытку, извещавшую меня,

что Л. Н. Толстой желает переговорить со мной по поводу моей рукописи и просит зайти в такие-то часы, когда мне будет угодно...

Никогда не забуду того глубокого волнения, в каком я подходил во второй раз к историческому дому в Долго-Хамовническом переулке... Меня встретил слуга и спросил, что мне нужно. Я объявил, что пришел узнать насчет рукописи. Слуга пошел с докладом. Вот он возвратился и заявил, что если я сам Семенов, то граф просит к себе. Мы поднялись по лестнице с мягкой суконной дорожкой и вошли в просторный зал... И только я... увидал стоявшего посреди комнаты высокого плотного человека с темными волосами и подернутой сильной проседью бородой, в серой блузе, подпоясанной простым ремнем, я почувствовал, что робость моя исчезла, волнение пропало, я сразу понял, что это не тот суровый библейский муж, так пугавший своим видом, образ которого я нарисовал, глядя на его портрет. Передо мной стоял совсем другой человек: живой, сердечный, внимательно глядевший; он не дождался моего поклона и приветливо сказал:

— Добро пожаловать, добро пожаловать.

Взгляд и голос Льва Николаевича совершенно рассеяли во мне всю робость, и я почувствовал себя свободно и радостно...

Лев Николаевич усадил меня на кожаное кресло, сел сам на диван, поджавши под себя одну ногу, и стал спрашивать, кто я такой. Я вкратце рассказал свою историю. Он спросил, как я учился, что читал, как написал рассказ. И когда я рассказал, он объяснил мне, что рассказ ему понравился, он ближе к жизни, чем развивавший ту же тему рассказ Эртеля «Жадный мужик», ему хочется его напечатать, но предварительно его нужно исправить. В нем есть повторения, потом о характерах только рассказывается, нужно так, чтобы характер обрисовывался поступками. Тогда он сильней запечатлевается. Он вернул мне рукопись и выразил уверенность, что я смогу улучшить рассказ. Потом он стал спрашивать, что я читал и что мне больше нравится из изданий «Посредника»...

Мне и той публике, среди которой я жил, так восхищавшейся рассказами «вроде притч» самого Л. Н. Толстого, Лескова, Эртеля и других, не совсем был ясен только что изданный рассказ Гаршина «Четыре дня», и я высказал это. Лев Николаевич слегка удивился.

— Это прекрасная вещь,— сказал Лев Николаевич,— там психология человека, отражающая ужас войны. Ведь война ужасное дело среди людей, и в рассказе чувствуется этот ужас.

Я сказал, что нашему брату это чувство не передается.

— Это потому, что наши писатели пишут, забывая о простом народе. Для народа хорошо выходит у тех писателей, кто сам знает народ и живет с ним. Вот у нас скоро будет издан рассказ... его написал один служащий из трактира, я нашел его в Туле, он описал один житейский случай и так просто, верно, что всем будет понятно²...

— Против войны хорош рассказ «Брат на брата»³,— заметил я.

— Да, этот очень хорош. Он взят из романа Виктора Гюго «Девяносто третий год».

Я стал говорить, как мало у нас хороших литературных произведений для народа...

— Да, да, это верно,— соглашался Лев Николаевич,— о народе мало заботы, но вот «Посредник» уже намечает кое-что, у него скоро появится календарь, потом отдел полезных сведений. Нужно работать.

Когда я стал прощаться, Лев Николаевич предложил заходить к нему, когда у меня будет свободное время.

При первом случае, когда у меня вышло свободное время, я решил воспользоваться предложением Льва Николаевича и прийти к нему...

На этот раз я встретил Льва Николаевича выходящим из ворот на прогулку. Он предложил мне пройтись с ним, и мы пошли...

Я стал рассказывать про гибель людей от самих себя, которые без внутренних устоев попадают в город, увлекаются чувственными удовольствиями. Я хотел описать даже один из таких случаев. Лев Николаевич одобрил мое намерение и сказал, что он сейчас пишет драму

в таком роде. Называться она будет «Коготок увяз, всей птичке пропасть»⁴.

И он стал рассказывать мне содержание ее. Дойдя до того места, где Никиту осеняет мысль, что людей бояться нечего, что ничего бояться не нужно и нужно принять одну только правду,— Лев Николаевич вдруг заплакал...

Мой первый рассказ после новой моей обработки был послан в редакцию «Посредника»... За рассказ мне пришлось несколько десятков рублей гонорара. Я решил, что жить в городе для меня больше не имеет смысла. Мне нужно ехать в деревню и пачинать земледельческую жизнь. Когда я пришел проститься с Львом Николаевичем, он очень сердечно со мной распростился. Он дал мне свое сочинение «В чем моя вера?» и отрывок из статьи «Так что ж нам делать?».

Зимою все-таки мне захотелось съездить в Москву. Меня тянуло повидаться со Львом Николаевичем, поговорить и кое-что выяснить...

У Толстого, как и прошлый год, я встретил самый радушный прием. За этот год он мало переменился. Он стал спрашивать меня, как я живу, как привык к работе... Узнавши, каким способом я добрался до Москвы, он стал рассказывать, как он... прошедшей весной ходил из Москвы в Тулу...

— Такие простые передвижения хороши, что не отрываешься от людей, всегда то с одним, то с другим, и от них что-нибудь получишь и сам можешь помочь... а главное, они очень дешевы.

Помощь голодающим было время самой кипучей деятельности для Льва Николаевича... На следующую зиму он опять приехал в Москву. Я узнал об этом и тоже поехал, чтобы повидаться с ним...

Первое впечатление от встречи было то, что Лев Николаевич значительно переменился. Борода стала совсем седая, волосы поредели, сам он стал как-то меньше, но все те же глаза, глубокие, проникающие в душу.

Лев Николаевич стал спрашивать, как я живу. Я рассказал ему все подробности своей жизни, и он позавидовал тем условиям, в которых я нахожусь. И когда сказал, что крестьянская трудовая жизнь, хозяйствен-

ные заботы очень затягивают в мелочи, и эти мелочи многое отнимают и от многого отвлекают, Лев Николаевич сказал, что нельзя же повседневно делать подвиги. Подвиги делаются очень редко, а нужно только быть готовым ко всему...

Я стал часто ходить ко Льву Николаевичу, и это было самое интересное время, какое мне приходилось проводить в Москве. Лев Николаевич весь кипел религиозными, общественными, литературными вопросами и на все давал самый живой и самый ясный ответ.

Он начал тогда писать «Царство божие внутри вас». Думал о продолжении раньше начатой им работы об искусстве. Он удивлялся, как люди высших классов увлекаются все больше и больше искусством и все меньше требуют от него содержания, приспособляя его для одного удовольствия. Его раздражало это, и он говорил: «Это они от пресыщения. Они объедались всем и требуют, чтобы и искусство доставляло им только наслаждение. Они находят поэзию там, где поэзии нет вовсе. Обращают серьезное внимание на то, на что от души хочется плюнуть, и так они развращаются сами и развращают художников. Ге — серьезный старик, а вот тоже пишет розовое тело; ему это не нужно, а он все-таки не может отделаться, ну просто потому, чтобы показать, что он может писать, только не хочет. А писатели? Когда их читают и превозносят, они убеждаются, что они страшно нужны, смотрят на свое ремесло как на призвание, начинают не по средствам жить; такая жизнь требует чрезмерного напряжения в работе, их писание делается плохо. И они не думают, что плохо то, что они так живут. Вот Фет, он говорит, что ему ничего не нужно, у него очень скромное требование: дайте ему мягкую постель, хороший бифштекс, бутылку доброго вина и пару хороших лошадок, и ему больше ничего не нужно».

Лев Николаевич часто рассказывал про «скромные» требования Фета и всегда от души над этим смеялся, но Фета он признавал настоящим поэтом и ценил его стихи.

— А как вы думаете о Лермонтове? — раз спросил Льва Николаевича один из гостей.

— Форма хороша, но настоящего содержания мало⁵. Все наносное, искусственно вызванное, хотя у него была способность проникать в самую глубину души. Я недавно

пересматривал его сборник и напал на молитву. Не ту, уже избитую, «В минуту жизни трудную», а другую, написанную в двадцать девятом году.

Софья Андреевна нашла и принесла книжку Лермонтова, и Лев Николаевич прочитал это стихотворение, начинающееся словами: «Не обвиняй меня, всесильный, и не карай меня, молю».

— Пушкин был гораздо выше, у него было больше настоящей художественности. Это был пример самого настоящего поэта, он часто писал, сам не зная, чем кончит. Восхитительно, как он сказал про Татьяну: «Знаешь, а ведь Татьяна-то замуж вышла. Я никак от нее этого не ожидал».

Когда же доходило дело до Некрасова, то у Льва Николаевича всегда делалось какое-то холодное выражение, его добродушие исчезало, и он говорил:

— Ну что ж Некрасов, что у него было? Разве «Ермил Гирин», а то все фальшиво. Этот стон мужика, где это он стонет? Это либералы повыводывали. Нет, нет, его понимающие поэзию никто не считал за поэта. Да и человек он был нехороший, Герцен не принимал даже его.

О Плещееве мне пришлось услышать отзыв еще уничижительнее. Лев Николаевич назвал его просто «сентиментальным стихотворцем».

К этому приезду у меня была готова одна рукопись. Я ее читал в одном кружке, рассказ вызвал два противоположных мнения... Чтобы выяснить недоразумение, я решил показать рассказ Льву Николаевичу. Лев Николаевич рассказ похвалил, сказал, что у меня есть писательская способность, и дал совет не полагаться на мнения первых встречных. Судьями писателя могут быть только: во-первых, он сам (доволен ли ты сам, взыскательный художник?)⁶, во-вторых, большие люди, люди выдающегося ума, образования. Средняя же публика склонна ошибаться и давать неверный отзыв.

И он рассказал мне случай с Бернарден-де-Сен-Пьером. Когда он написал свою повесть «Поль и Виржини» и прочитал ее своим друзьям, друзья ее совершенно забраковали. Он разгорячился и забросил рукопись и... забыл о ней. И только через пятнадцать лет, разбираясь в бумагах, он наткнулся на рукопись, прочитал ее, пришел от нее в восторг и сейчас же напечатал. И когда он

ее напечатал, то выдающиеся люди признали ее за образцовую, и повесть сделалась классическим произведением.

У Льва Николаевича часто бывали Н. Я. Грот, А. В. Алехин, Клопский, который собирал деньги на голодающих и приносил их Льву Николаевичу. Встретил я у него однажды князя С. Н. Трубецкого, который держал себя очень скромно и мало говорил. Приезжали люди из провинции.

Разговоры о голоде поднимались очень часто, и Лев Николаевич ясно выражал, какое участие испытывает он к голодающему народу и какое раздражение у него было против правительства и высших классов. Как сейчас вижу его негодующее лицо, когда он рассказывал, как у них в Тульской губернии и рядом в Рязанской крестьяне хотели переселяться, но помещики испугались, что от них уйдут дешевые рабочие руки, и «появился циркуляр министра внутренних дел, запрещающий временно переселяться». Но, негодую на правительство, он не щадил и общественных деятелей. Вон у нас сидит граф Бобринский и говорит, что спасение народа в том, что если всюду заведут церковноприходские школы, или говорят, что народ спасет от голода наука, когда разовьется знание и химически можно будет добыть продукты питания. Все это вздор. Не в этом дело. И зло не в том, что не уродилось достаточно хлеба. У одних хлеба не уродилось, а рядом с ними стоят полные амбары, и эти амбары заперты, а голодающим хлеб возят за тысячи верст. И никто не возмущается этим, думают, что это нормально. И в этом опять повинны высшие классы, они завели такие порядки, развращают народ. И народ чувствует это. Были случаи холерных бунтов, все возмущаются этим, ужасаются степенью темноты и невежества, а это самый естественный взрыв народного негодования против тех, кто коверкает им жизнь, только вылился-то он на случайных, подвернувшихся несчастных докторов. Тут не темнота, а сознание, что нет терпения от бестолкового вмешательства в народную жизнь.

— Но ведь надо же как-нибудь выводить народ из этого ненормального положения? — сказал один из гостей.

— Вовсе не надо. Нужно только постараться отойти от него подальше, слезть с его шеи. И когда вы слезете

с его шеи, то он сам оправится, выберет себе дорогу и выйдет на нее.

У Льва Николаевича даже явилась мысль написать рассказ, где девочка-подросток решает вопрос, как облегчить положение простого народа, и он принимался писать его, но не отделал ⁷.

Желание же временно помочь ему, народу, дать ему сейчас что-нибудь Лев Николаевич очень приветствовал. Его радовал всякий пожертвованный рубль...

...В... 94 году мне довольно подробно пришлось услышать от Льва Николаевича об его отношении к земельной собственности. Наша деревня покупала себе землю, я был уполномоченным, и мне пришлось ездить в Москву с хлопотами по этому делу. Лев Николаевич и на эту зиму приехал в Москву. Он писал в то время «Хозяина и работника». Когда я пришел к нему и объяснил, почему я в Москве, Лев Николаевич спросил меня:

— Что же, и вы покупаете на свою часть?

— И я... восемь десятин.

Лев Николаевич улыбнулся и проговорил:

— Ну, вас-то и бог простит.

— Как бог простит, разве это большой грех? — изумился я.

— Конечно. Земля — божий дар, она не может быть ничьей собственностью. Она необходима, как свет и воздух, и должна быть свободна, как свет и воздух... для всех.

— Но она не свободна. Она разобрана по рукам. Нам надоело платить за аренду, мы решили укрепить ее за собой.

— Поэтому я и говорю, что вас и бог простит, а вот тех, кто пользуется землей и жмет ею других, того бог не простит.

— Как же быть?

— Земля должна быть освобождена, собственность на нее уничтожена. Владение землей есть страшное зло, и зло это будет искоренено.

— Но ведь прежние владельцы на это не согласятся. Они считают землю принадлежащей им по праву.

— И разбойники, награбившие разного добра, это добро считают своим, но ведь прежние владельцы не

признают за ними этого права? Отнятое должно принадлежать законному владельцу, а законный владелец земли — весь народ...

Следующим летом я опять попал в Ясную⁸. Лев Николаевич в это время начал уже свое «Воскресение».

В Ясной жил композитор Танеев, гостила сестра Льва Николаевича, монахиня Мария Николаевна, старшие сыновья, Меньшиков. Было много суетни, разговоров, музыки. Меньшиков, гостивший перед этим у Чехова, сообщил, что в Ясную собирается Чехов...

К Чехову в семье Толстых относились все с большим вниманием. Лев Николаевич всегда с удовольствием читал его и восхищался его способностью изобразительности. «Это удивительный инструмент,— говорил он,— так подметит и так сжато и ярко изобразит... А какой юмор... После Гоголя и Слепцова это первый юморист»...

Когда Чехов приехал, то его встретили очень радушно. Сейчас же им завладели Софья Андреевна и Татьяна Львовна. Лев Николаевич на этот раз был не совсем здоров и не выходил из своего кабинета, но вечером он дал начало «Воскресения» и просил, чтобы его прочитали с Антоном Павловичем. Мы удалились в беседку и стали читать первые главы.

Когда рукопись была кончена, все пошли ко Льву Николаевичу. Чехов стал говорить о своем впечатлении, он говорил просто, но в этих простых словах чувствовалось, что новое произведение старика его достаточно задело. Ему показалось все очень верным, он недавно был сам присяжным заседателем и чувствует, как в описании суда схвачены все детали. Потом и преступление Масловой. Когда он был на Сахалине, то большинство преступниц сослано туда именно за отравление. Только вот приговор. В первом варианте Маслову приговаривали к двум с половиной годам каторги. Таких приговоров не бывает. В каторгу приговаривают на большие сроки.

Лев Николаевич принял это к сведению и впоследствии изменил в повести эту часть.

Лично мне пришлось на этот раз услышать не совсем лестные вещи. Я тогда написал рассказ «Пересол» и напечатал его в «Новом слове», редактируемом С. Н. Кри-

венко⁹. Когда мы увидались, Лев Николаевич спросил меня, я ли написал этот рассказ. Я ответил, что я.

— Удивительно, никак не ожидал. Очень плохо.

...Мне захотелось выяснить, почему он так суров к этому рассказу.

— Тема не художественная,— объявил Лев Николаевич.— В художественных произведениях нельзя останавливаться на таких явлениях жизни, которые имеют временный, случайный характер. Искусство захватывает вечное, и это вечное дает ему силу и смысл.

...Меня в это время интересовало наблюдаемое мною отношение отцов и детей в деревне и семейный разлад, встречающийся довольно часто, и я надумал использовать один случай в драматической форме. Вышла трехактная пьеса¹⁰... Мне захотелось познакомить с нею Льва Николаевича; я послал рукопись ему. Ответ не замедлил. Лев Николаевич категорически заявлял, что пьеса плоха. Я такими вещами порчу себе репутацию... Через несколько времени я попал в Москву. По обыкновению в первый же вечер я завернул в Долго-Хамовнический переулок. На вопрос, дома ли Лев Николаевич, мне сказали, что он не совсем здоров, но он гуляет наверху в зале. Я поднялся наверх. Лев Николаевич, значительно постаревший, взъерошенный, каким он всегда казался, когда недомогал, с пледом на плечах расхаживал по зале с Н. Я. Гротом и разговаривал. Увидавши меня, он с улыбкой воскликнул:

— Ну что, сердитесь на меня? Думаете, что я сказал неправду? Правду, правду, поверьте мне.

Грот спросил, в чем дело, и Лев Николаевич стал объяснять:

— Вот человек написал пьесу и думает, что она хороша, а я говорю, что она никуда не годится.

И он так весело засмеялся, что заразил смехом и смутившегося меня и Грота. Грот полюбозытствовал, в чем содержание пьесы. Я рассказал. Грот согласился, что тема совсем не драматическая.

— Да кроме того, это тенденциозная вещь, а что тенденциозно, никогда не хорошо.

Я сказал, что некоторые и мои рассказы считают тенденциозными.

— Нет, вот именно рассказы-то ваши и нетенденциозны, а пьеса и тот рассказ, о котором я говорил вам раньше, тенденциозны.

Мы стали ходить втроем по зале. Лев Николаевич вернулся к разговору с Гротом. Они говорили о Вл. Соловьеве. Льва Николаевича поражали последние работы философа, где он оправдывал церковность. «Это удивительно,— говорил Лев Николаевич.— Церковность не выдерживает простой грамотности, не только философии, а тут философия ее поддерживает — непостижимо!»

Разговор пошел об искусстве. Лев Николаевич сильно и убедительно стал говорить, какие темы подлежат области искусства. Художественные темы — это вопросы вечного: любовь к родине, семье, отношение к ближним. Эти чувства свойственны каждому, и описание их будет соответствовать задачам художественного, а либеральные темы не художественны, они имеют интерес в короткое время и для небольшого кружка лиц, захваченных этим настроением. А искусство не может ограничиваться кружком, группой, классом. Оно должно быть всеобщим, оно должно объединять бесконечное число душ, миллионы, сотни миллионов и вызывать в них чувства, которые волнуют художника. Не важно то, что я или кто другой написал двадцать или тридцать томов, которые нравятся некоторым; более важно для писателя написать только четверть тома, чтобы эта четверть тома могла быть интересна во все времена и всем людям, которые про него знают. И такие произведения есть.

Я спросил, не подразумевает ли он греческих классиков.

— Да, греческие классики. Гомер. Но еще больше я имею в виду некоторые из библейских рассказов. Например, история об Иосифе...

В следующий приход я решил познакомить Льва Николаевича с своим новым рассказом, который я написал к тому времени. В рассказе изображался безземельный, бесхозяйственный сорванец-пастух, обокравший степенного, хозяйственного мужика. Случай сталкивает их на ночлеге, и разговор сглаживает остроту интересов у обоих и отодвигает на задний план их враждебные чувства¹¹. Лев Николаевич сказал, что вот это верно.

Человеческое есть во всех людях, и это никогда не нужно забывать художнику. А у нас большинство писателей видят перед собою не людей, а ярлыки, ими же самими наклеенные. По их мнению, коли Разуваев¹², так это непременно отъявленный злодей, а как либерал, так весь преисполнен благородства. Я терпеть не мог Щедрина¹³... Зло несут в мир не отдельные люди, а человеческие установления, которые поработают отдельных людей...

— А наши писатели этого не понимают. Пишут она-роде, а изображают его не таким, как есть, а каким он им кажется. О психологии его судят по словечкам, подхваченным где-нибудь на базаре. Нет, писателю надо знать народ, и тогда он увидит, что и в народной среде столько захватывающих тем и тем, еще не разработанных. Вот Ляпунов, вы не знаете Ляпунова?

Я сказал, что нет. Лев Николаевич рассказал, как к нему пришел один парень и принес ему стихи¹⁴. Лев Николаевич, вообще сурово относившийся к стихам, малоприветливо отнесся и к нему, но, познакомившись со стихами, он увидел в них глубокое содержание. В одном стихотворении изображались муки пахаря, в другом — жизнь мальчика-сапожника.

— Это так хорошо, как у Никитина! — воскликнул Лев Николаевич.

— А вы цените Никитина?

— Еще бы! Это крупный поэт, и я не понимаю, как его забывают. Его нельзя забывать.

Наравне с никитинскими стихами Лев Николаевич ценил стихи Сурикова. Однажды он увидел у кого-то из прислуги народный песенник, открыл его и, напавши на суриковскую «Долю бедняка», которую уже распевали по деревням, пришел от нее в восторг. Узнавши от меня, что в Москве живет С. Д. Дрожжин, он пошел в книжный магазин, чтобы познакомиться с ним. Очень приветливо встречал представленных мною ему моих друзей, писателей из крестьян, Козырева и Вдовина...

Приехал И. Е. Репин. И с ним разговор пошел об искусстве. Лев Николаевич и Софья Андреевна очень хвалили его «Дуэль» и жалели, что ее не купили в России и картину увезли во Флоренцию. Перешли на статью Льва Николаевича об искусстве. Репин не соглашался с некоторыми определениями Льва Николаевича истинного искусства и заявил, что японская живопись не

есть искусство. Лев Николаевич спросил: почему? Репин сказал, что у них небольшие недостатки в технике, например, нарисованы рыбы, а у них не чувствуется костей. «Если вам нужны кости, то идите в анатомический театр», — горячо возразил Лев Николаевич. «Да, — сказал Репин, — но все-таки это карикатура». — «И карикатура может быть искусством, возьмите карикатуры Каран-д'аша»... Репину, очевидно, не хотелось спорить. Лев Николаевич почувствовал это и, смеясь, заявил, что ему об этом «баить не подобает», перевел разговор на другую тему...

Однажды я сказал, побывавши в театре, Льву Николаевичу, какое большое значение имеют старые уже иностранные пьесы, насколько они выше произведений для сцены последнего времени и нашей драматической стряпни. Лев Николаевич согласился с этим.

— О, еще бы! Там все, драматическое и комическое, образцово. Возьмите Мольера, какой юмор, ради него прощаешь ему все его грубости. «Мещанин во дворянстве» — это такая прелесть, а «Лекарь поневоле». Еще хороши пьесы Корнеля...

Лев Николаевич сказал, что и к ним теперь интерес уже охладел, но вовсе не потому, что они могли сами наскучить, а потому, что таким вещам появилась масса подражаний и подражаний подражаниям, которые в конце концов отбили вкус и к этим оригиналам. Это породило и другого рода искусство — будничную прозу. Появилась повесть об Иване Ивановиче и Иване Никифоровиче¹⁵. Люди набросились на нее, как на свежинку, и с восторгом стали смаковать ее. И на самом деле история Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича вовсе не интересна и не нужна. В литературе важно проявление высших чувств, и это-то и было задачей классического искусства.

Однажды вечером мы пошли на телеграф, чтобы отправить телеграмму высланному уже за границу Черткову. Я рассказал заинтересовавший меня сюжет одной повести. Лев Николаевич заявил:

— Этот сюжет не для повести, а для драмы. Вот драматический сюжет. Для всякого сюжета должна быть и своя форма. Форма драмы имеет свои законы, свои определенные этими законами условия. А теперь пишут драмы, чтобы вызвать настроения... Настроения вызы-

ваются лирическими стихотворениями, музыкальной симфонией, а никак не драмой. Зачем только переводят Метерлинка, почему им интересуются, я понять не могу. Если бы в наше время появились подобные вещи, их встретили бы хохотом, а теперь находятся люди, которые серьезно относятся к такому уродству. Удивительно!..

— Ну, а как же, когда появился романтизм, это ведь тоже было новое и небывалое для того времени, и его тоже приняли серьезно?

— Романтизм совсем другое дело. В нем были достоинства, каких у символистов и декадентов и помину нет. Вы не читали Марлинского?

Я сказал, что нет.

— Очень жаль, там было много интересного.

..Однажды он завел меня к Г. А.¹⁶.. Разговор перешел на литературу.

— У Чехова появилась новая вещь «Моя жизнь», читали ее вы?¹⁷

— Пробежал,— улыбаясь, проговорил Лев Николаевич.

— Мне думается, она навеяна историей князя Вяземского, вот этого чудака, что жил под Серпуховом.

— И что же, хороша?

— Есть места удивительные, но вся повесть слаба.

— Все-таки она интересна,— сказал Гавриил Андреевич.— Я много читаю, но что-то мало ценного. Вот в исторических журналах читаю я разные записки, и с большим удовольствием, чем художественное творчество...

— Там все-таки жизнь, а тут выдумка плохая.

— Либеральные писатели еще ничего, но консервативные совсем никуда не годятся. Там совсем нет талантов.

— Еще бы,— согласился Лев Николаевич,— какие же могут быть таланты, когда самая консервативность их свидетельствует об их ограниченности. Какие у них могут быть таланты, когда у них в голове чего-то недостает...

Когда открылся Художественный театр и вся Москва восхищалась «Федором Иоанновичем» Алексея Толстого, Лев Николаевич оставался в стороне один и

удивлялся, как это могут люди так восхищаться такой посредственной, неоригинальной, фальшивой вещью...

— Я уверен,— говорил он,— что Федор Иоаннович был не такой, и Борис Годунов тоже.

Кто-то сказал, что Федор Иоаннович имеет много общего с «идиотом» Достоевского.

— Вот неправда, ничего подобного ни в одной черте. Помилуйте, как можно сравнивать «идиота» с Федором Ивановичем, когда Мышкин — это бриллиант, а Федор Иванович — грошовойе стекло — тот стóбит, кто любит бриллианты, целые тысячи, а за стекло никто и двух копеек не даст. У Алексея Толстого есть ценные вещи, но не драмы. Возьмите «Сон статского советника Попова», ах, какая это милая вещь, вот настоящая сатира, и превосходная сатира...

Однажды в Ясной Поляне я застал гостивших там В. В. Стасова и скульптора Гинцбурга...

После завтрака пошли гулять. На прогулке говорили о той смуте, которая царит наверху: как в деле управления государственные интересы отошли совсем на задний план, а заменились искомательством и интригами и т. п., и никто из близко стоящих этим не возмущается. Печать усердно лакействует и все оправдывает. Гинцбург сказал, что, когда он последний раз виделся с Чеховым, тот страшно негодовал на постоянное флюгерство одного старого и умного журналиста¹⁸. Чехов хотел даже писать Льву Николаевичу, чтобы тот попробовал усовершенствовать его; Льва Николаевича этот журналист уважает, и, может быть, из этого что-нибудь вышло бы...

— Нет,— с грустью сказал Лев Николаевич,— заранее уверен, что ничего не выйдет. Это такая порода людей. На них ничье увещание подействовать не может. У них нет этих свойств, чтобы им стало стыдно. Я убедился в этом, когда произошел переворот с Катковым. Меня поразило тогда до глубины души. Как это может так человек распоряжаться своим даром. Ведь несомненно этот дар дан человеку для одной цели — для увеличения в жизни добра, и талант этот принадлежит *не ему*, а он употребляет его для своих личных целей и корыстных расчетов и из таких расчетов начинает служить им не добру, а злу. И может это делать спокойно. Это было для меня поразительно, и я сейчас же порвал с ним всякие сношения. Такое мое отношение и тут...

Стасов сказал, что в наше время вообще относятся ко всяким дарам легче и никаких обязательств ни перед чем не чувствуют. Это можно понять, кого теперь выставляют героями.

Последнее время привлекает к себе большое внимание Леонардо да Винчи. Вольтер написал о нем целую книгу¹⁹... но присматриваешься на ней к личности художника, и у него не оказывается никаких привлекательных устоев, никаких запросов души.

А говорят, он был образцом сверхчеловека.

— Все это Ницше наделал,— крутнув головой, сказал Лев Николаевич.— Вот сумасброд. А какой талант! Я положительно был очарован его языком. Какая сила и красота! Я так увлекся, что и себя забыл. Потом опаматовался и стал все переваривать. Бог мой, какая дикость. Это ужасно...

Когда был опубликован указ об отлучении Льва Николаевича²⁰, я жил в деревне...

Приехавши в Москву, я с первых же шагов увидел, что центром внимания всей Москвы служит Лев Николаевич...

На другой день по приезде я поехал на Девичье поле в редакцию «Посредника». Проезжая в конке по Пречистенке, я увидел, как по тротуару шли прогуливавшиеся ученики реального училища. Юноши шли, выстроенные в группы,— очевидно, была официальная прогулка. Вдруг навстречу им попался шедший вниз по Пречистенке Лев Николаевич. Он нагнул голову, свернул с тротуара и ускорил шаг, чтобы пройти незамеченным. Но это ему не удалось. Молодежь дружно, как по команде, группа за группой поднимали над головой фуражки и приветствовали его, только что объявленного врагом всего человечества...

Вечером я зашел ко Льву Николаевичу. Он был не совсем здоров, но все-таки чувствовалось, как он возбужден происходящим, которое его очень волновало. Он стал говорить, как чувствуется, что чаша народного долготерпения переполняется и для выражения протеста против ненормальности порядков объединяется все больше и больше людей. Волнения студентов теперь уже меньше раздражают, и законность их признается во всех слоях общества. Все это показывает, что что-то наболело у всех, и это наиболее нужно устранить. Он

не понимает, как это наверху застыли в своем упорстве и продолжают глядеть на людей как на неспособных к духовному росту, и поддерживают святость того, что в низах давно уже перестало считаться святым...

Зиму 1904/05 годов я жил за границей, в Англии у В. Г. Черткова... Весною 1905 года я вернулся из Англии в Россию... и поехал в Ясную.

Я вступил под знакомые своды яснополянского дома, когда Лев Николаевич, вернувшись с утренней прогулки, занимался у себя. Его до завтрака нельзя было видеть. Меня встретила исполнявшая тогда обязанности секретаря Льва Николаевича Ю. И. Игумнова. От нее я узнал, что Лев Николаевич здоров, много работает, но его очень волнуют происходящие события в России и война, где бессмысленно проливается человеческая кровь. На прогулках он часто заезжает в деревню, останавливается и разговаривает с мужиками по дороге, стараясь выяснить себе их отношение к тому, что происходит...

К завтраку вышел... Лев Николаевич. За то время, как я не видал его, он похудел и сделался как-то меньше, но был бодр и жив необыкновенно...

Я стал рассказывать о своих впечатлениях от русской жизни после заграницы и о том, что всюду разрастается недовольство, как все стремятся к переменам и по деревням, и в Петербурге, и Москве. В этих городах идут совещания, съезды. В Москве мне говорили о том, как устроился земский съезд. Съезд не был разрешен правительством, но земцы все-таки собрались. Губернатор вызвал к себе учредителей съезда и заявил, что если съехавшиеся соберутся на съезд, то он, по предписанию министра внутренних дел, вышлет всех из Москвы по этапу. Земцы заявили, что это его дело, а их дело собраться и обсудить все, зачем они съехались. Эта твердость производила большое впечатление. Льва Николаевича, однако, она несколько не прельщала; он насупил брови и, сердито сверкнув глазами, с раздражением проговорил:

— Удивительное дело, какими важными делами занимаются! Соберутся болтать, а потом станут заедать и запивать свою болтовню сладкой едой и дорогими винами.

Я попробовал было заступиться за земцев:

— Все, что делается для улучшения положения народа, делается земцами,— сказал я.

— Далеко нет. Если они заводят школы и больницы, то ведь во что это народу обходится. Ведь все налоги ложатся на народ. Они заботятся о народном благосостоянии, и народное благосостояние не улучшается, а ухудшается. Посмотрите, что делается в деревне.

И Лев Николаевич рассказал ряд фактов, указывающих, как трудно жить крестьянину...

После завтрака Лев Николаевич собрался на свою обычную прогулку. Я отправился его сопровождать... Лев Николаевич залюбовался красотой воскресающей жизни и проговорил:

— Ах, какая дивная весна!

И мы долго шли молча, любуясь новыми картинами знакомых мест. Я передал Льву Николаевичу, что его немецкий биограф Левенфельд, к которому я заезжал, бывши в Берлине, кланяется ему и очень озабочен, не пропала ли написанная Львом Николаевичем еще в 70-х годах комедия «Нигилист»²¹... Лев Николаевич засмеялся.

— Как они могут заботиться о таких пустяках!

Потом разговор перешел на другие писания Льва Николаевича, с которыми я познакомился у Черткова. Лев Николаевич сказал, что он к ним, вероятно, не возвратится; но если он и умрет, не поправивши их, такие вещи, как «Хаджи-Мурат», «Отец Сергей», ничего от этого не потеряют...

В 1906 году, в следующую годовщину Льва Николаевича, мне удалось попасть в Ясную, хотя перед этим, за сочувствие крестьянскому союзу, я два раза сидел в тюрьме и был уже назначен в административном порядке к высылке в Олонецкую губернию...

Узнавши о моей судьбе, Лев Николаевич возмутился близорукостью и произволом местных властей, готовых гнуть в бараний рог встречного и поперечного, и все спрашивал, нельзя ли как-нибудь облегчить мое положение... В Ясную в этом году приехало немного. Кроме

семейных и близких к семье, был корреспондент парижского «Temps» Поль Буайе, объезжавший Россию для выяснения ее настроения. Буайе ужасался нищете, невежеству, бесхозяйственности русского народа и не видел никаких просветов для него в будущем... Лев Николаевич не соглашался с этим.

— Поразительная самоуверенность,— говорил он потом о Буайе,— думают, что вот они сделали несколько революций, установили республиканское правление и достигли всего, что нужно людям, а загляните к ним, и вы увидите, что и у них не лучше, чем у других. Та же нищета, безнравственность, суеверия, видимое разложение общества... Вообще французы мельчают. Кого они имеют в литературе? Один Анатоль Франс выдается как мыслящий писатель, а большинство так неглубоко, одно-сторонне. Буайе осуждает русский народ, а способны ли они с их суеверными представлениями о первенстве своей нации хотя отчасти постигнуть дух нашего народа? Я думаю, что нет.

Но с Буайе он не спорил, он слушал его рассказы и суждения и поддерживал беседу в легких тонах.

Вообще Лев Николаевич стал мягче судить о многом. На другой день было восьмидесятилетие издателя «Вестника Европы» Стасюлевича; разговор перешел на литературу...

Вспомнили Гончарова и Писемского. Я только что прочитал «Взбаламученное море» Писемского, показавшееся мне малохудожественным. Но при издании Писемского было приложено письмо Льва Николаевича, полное любезностей по адресу Писемского. Лев Николаевич объяснил, что это был обычный акт вежливости и что он никогда Писемского большим писателем не считал.

От разговора о литературе отвлек И. И. Горбунов. Он вспомнил, что сегодняшней день, наверное, казнили Коноплянникову. Лев Николаевич сразу насупился, потемнел весь и проговорил:

— Это ужасно! Какое право имеют они казнить? И что это за разгул пошел с этими казнями. Когда назначили теперешнего министра внутренних дел, у меня было явилась надежда, не выйдет ли что из этого²². Я знал его отца, был приятелем с ним, играли в шахматы, его сыновей я помню мальчиками. И вдруг этот

закон, умножающий смертные казни! — у меня все надежды пропали...

Ссылка в Олонецкую губернию была заменена мне выездом за границу... По возвращении на родину я опять поспешил навестить Льва Николаевича²³...

Когда я приехал в Ясную Поляну, там, после болезни Льва Николаевича, после юбилейных беспокойств, наступила сравнительно тихая жизнь. Здоровье Льва Николаевича стало настолько хорошо, что он опять начал ездить верхом. Но, увидав его, я почувствовал, что он очень ослаб. Два года положили на него очень заметный отпечаток. Весь он осунулся, даже взгляд изменился, глаза стали светлее, и не было уж той силы, какою когда-то отличалось их выражение. Лицо его, так всем знакомое, тоже имело теперь другое выражение: чувствовалось отсутствие жгучей страстности; зато в нем было больше спокойствия и доброты. Это впечатление подкрепил и начавшийся затем разговор... Лев Николаевич стал спрашивать... как мне показались после заграницы родные углы. Мои впечатления от родных мест были не совсем радостные. Лев Николаевич заметил, что то же происходит всюду, и у них в том числе, но все это — преходящее.

— Все «образуется», — улыбаясь, сказал он. — Пройдут увлечения, люди на опыте поймут, что так жить нельзя, в новое облекаться нужно по росту, а не в детскую курточку. Удерживать народ в старом порядке невозможно, бесцельно подражать и западным образцам и рабски идти за ними шаг за шагом...

...На другой день, за обедом, зашел разговор о литературе, но прежнего интереса к ней у Льва Николаевича уже не чувствовалось. Он потерял вкус к новым произведениям, а некоторые писания молодых знаменитостей называл прямо отвратительными по своей манерности и стремлению во что бы то ни стало произвести впечатление²⁴. Даже темы, близкие ему и дорогие по замыслу²⁵, страшно испорчены такими стараниями. Он удивлялся читателям, как они это переваривают; критикам — как они об этом говорят. В погоне за внешним успехом беспринципность и развязность писателей и журналистов дошла до невозможных пределов...

Вскоре после этого Лев Николаевич поехал погостить к поселившемуся в Московской губернии В. Г. Черткову²⁶. Старый хамовнический дом опять увидел в своих стенах своего хозяина. Я тоже в это время был в Москве и, узнавши, когда Лев Николаевич должен был возвратиться от Черткова, пошел в Хамовники²⁷.

В старой гостиной нижней части дома, занимаемой семье сына Льва Николаевича, Сергея Львовича, собрался тесный кружок близких, между которыми был и Чертков. Лев Николаевич, увидавши меня, сообщил, что в той местности, где он гостил, крестьянская молодежь завела драматический театр; она подготовила мою пьесу «Раздор» и пригласила на спектакль Льва Николаевича. Лев Николаевич хотел быть, но об этом узнал местный исправник и запретил спектакль.

Лев Николаевич с оживлением стал рассказывать о своих разговорах с крестьянами той местности, где он гостил. Его очень радовали их развитие, сознательность, трудоспособность молодежи, занимающейся, между прочим, кустарными промыслами. Особенно он отметил такие черты их самостоятельности и независимости, которых ему не доводилось наблюдать в своей округе. В этой местности есть богатый помещик. Когда он приезжал в имение, установилось, чтобы к нему приходили на поклон местные крестьяне. Старики поддерживали этот обычай, но молодые не только не шли с ними, но еще смеялись над стариками за их низкопоклонство...

Пришел Маклаков и что-то заговорил о кинематографе. Лев Николаевич, услышав этот разговор, вдруг выразил желание поехать посмотреть на это новое увлечение городских жителей. Большинство сейчас же поднялось, и поехали. По предложению Маклакова поехали на Арбат. Зал был почти полон, и нам с трудом удалось занять места кучкой. Пришлось прибегнуть к приставным стульям. На экране появились сначала виды, потом мелодрама, а дальше что-то комическое. Во всем этом обнаруживалась крайняя бедность фантазии. Как только кончилось отделение, Лев Николаевич резко встал и направился к выходу. Я спросил, будем ли мы еще смотреть. Лев Николаевич ответил, что нет, покрутил головой и проговорил:

— Ужасно глупо; у них совсем нет вкуса...

Москва, чувствуя внутри себя Толстого, всколыхну-

лась. В квартире непрерывно звонил телефон с расспросами о Льве Николаевиче, осаждали репортеры. На другой день утром газеты описали каждую подробность его пребывания в Москве, это подлило масла в огонь, и когда я на другой день отправился в Хамовники, в переулке и во дворе стояли толпы. В это утро Лев Николаевич уезжал из Москвы, и москвичи собрались, чтобы проводить великого старика и поглядеть на него, может быть, в последний раз.

На вокзале толпа была уже гораздо многочисленнее. Стоял прекрасный осенний день; на обширной площади перед вокзалом кишело море голов; многие были с семьями. Все с нетерпением ждали появления Льва Николаевича, и, когда наконец коляска показалась, толпа бросилась к ней и загородила путь в вагон.

Никто не ожидал скопления такой массы народа, и не было принято мер, чтобы обеспечить свободный проход через вокзал. Пришлось пробираться в такой тесноте и духоте, что со Львом Николаевичем чуть не случился обморок. К вагону он подошел с таким усталым видом, как будто перенес тяжелую болезнь. Все-таки он имел силы сказать несколько слов из окна вагона толпившейся на платформе молодежи; но, когда поезд тронулся, он впал в забытие и в совершенном беспомоществе приехал в Ясную. В Ясной с ним повторился такой глубокий обморок, что вызвал опасение за его жизнь у окружающих...

Когда я рассказывал об одном судебном деле, Лев Николаевич вспомнил прекрасно описанный суд у Леонида Андреева в его рассказе «Христиане».

— Превосходно! — воскликнул Лев Николаевич. — Вообще у этого писателя в его первых вещах много очень хорошего. Я недавно перечитывал его и нашел вещи чуть не первоклассные: «Жили-были», «Валя», «На реке», за исключением конца, очень хорошо. Вот, говорят, еще «Губернатор» хорош, я его еще не читал, но непременно прочитаю.

Наоборот, об андреевских произведениях последнего периода Лев Николаевич говорил, что он их не понимает и удивляется, как может такой талант создавать такие неискренние, искусственные вещи.

Высказался Лев Николаевич и о последних писаниях Горького, которых он тоже не одобрял.

Манерничашье и искусственность современных модных писателей показывают, по его мнению, что у них нет того внутреннего, чем бы можно было бы подкупить читателя, вот они и придумывают разную мишуру, чтобы прикрыть свое душевное убожество. Его удивляла невежественность многих литераторов, безграмотность в важнейших областях человеческой мысли. Лев Николаевич вспомнил, как несколько лет тому назад посетивший его довольно известный критик-публицист Андреевич, писавший монографии о модных писателях и составивший чуть ли не историю новой литературы, оказался в его глазах настолько поверхностно фельетонным, что Лев Николаевич страшно удивлялся, какова же должна быть публика, которая поучается и просвещается у таких господ. Недаром она и бросается на сусальные новинки вроде «Санина»²⁸ и считает их откровениями, бредит ими.

Я сказал, что в Москве собираются праздновать двадцатипятилетний юбилей Н. Д. Телешова, и нам с И. И. Горбуновым-Посадовым приятно бы было поднести юбиляру портрет Льва Николаевича с надписью. Лев Николаевич очень охотно согласился на это, и когда я добыл небольшой портрет и подал ему для подписи, он взглянул на него и сказал:

— Подождите, у меня другой есть — получше.

И он пошел к себе, принес портрет, сделал на нем надпись, потом сказал:

— А вы мне пришлите его сочинения, я хочу напомнить их себе...

Это мое посещение Ясной Поляны было весной 1910 года, в троицын день²⁹.

Я шел в Ясную из Козловки пешком. В лощине перед яснополянскими владениями я догнал несколько баб с мешками травы за плечами. Они несли траву из казенного леса для подкорма скотины на дворе. Я разговорился с ними, и бабы стали жаловаться, что деревенским стало труднее жить в соседстве с господской усадьбой. Им запретили ходить через двор в Засеку, запахали выгон и засеяли овсом, а он никогда прежде не пахался и представлял то удобство, что если на него выскакивал скот из деревни, то за это не так преследовали. Бабы

говорили, что чем дальше, тем становится труднее, и они не знают, чем это кончится.

— Спасибо еще, старый граф заступается, а если бы не он, совсем бы нас в бараний рог согнули...

Когда вышел Лев Николаевич, то мне сразу бросилось в глаза, что он имеет усталый, утомленный вид. Он сказал, что когда этой весной гостил у дочери, перечитывал мои рассказы и пьесы. В его словах чувствовалось, что охватившая его еще осенью художественная полоса продолжается и он живет в ней.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что он опять стал писать художественное. Он начал пьесу³⁰. Работая по задуманному плану, Лев Николаевич понемногу отошел от основной мысли, а потом увидал, что первоначальный план у него не выйдет, и все должно пойти по-другому. Работа оказалась больше, чем он предполагал, и он решил отложить пьесу.

— Вчера решил, что нужно обождать, и отложил ее в сторону,— сказал Лев Николаевич.— Пьесы требуют особенно много работы. Вот у меня был финский писатель Эрнефельт. Он писал свою пьесу «Тит» восемь лет. Вот это я понимаю.

Дальше Лев Николаевич сообщил, что Чертков рекомендовал ему артиста Орленева, который последнее время примыкает к устроителям спектаклей для народа и хочет послужить этому делу. В Ясной ждали его из Тулы, где Орленев гастролировал. Лев Николаевич добавил, что и он очень интересуется развитием народного театра. В деревне театру найдется надлежащее место, и он может сослужить большую службу, просвещая и облагораживая людей. Вот только нужно бы побольше хороших пьес. Следует настоящим писателям подумать об этом. Нужно обратить внимание и на так распространяющиеся кинематографы.

— Я говорил об этом с Леонидом Андреевым, когда он заезжал ко мне³¹,— сказал Лев Николаевич.— Андреев рассказывал, что там показываются всевозможные мерзости, а вот если бы составить для них хорошие пьесы.

Я сказал, что много мерзостей распространяется и путем печати. Лев Николаевич попросил прислать ему для знакомства все, что есть теперь на рынке из копеечной литературы...

Вечером по обыкновению пришел поселившийся неподалеку от Ясной А. Б. Гольденвейзер и после двух партий в шахматы со Львом Николаевичем сел за рояль. Он мастерски сыграл несколько шопеновских вещей и привел в восторг Льва Николаевича мастерством своей игры. Лев Николаевич сказал Александру Борисовичу, что он все идет вперед, спросил, есть ли предел, которого он хочет достигнуть. Александр Борисович сказал, что у него есть идеал, в сравнении с которым он чувствует, что его техника далеко не совершенна, и он недоволен ею. Лев Николаевич очень одобрительно отнесся к этому признанию и сказал, что для артиста такое отношение к себе есть верный признак, что он развивается: как только наступит удовлетворение собою, наступит и конец, ибо его развитие приостанавливается...

По случаю троицы бабы и молодежь из нескольких окрестных деревень большой пестрой толпой подошли к дому и заняли всю площадь. Они пели песни, играли на гармонике, балалайках, плясали, водили хоровод. Лев Николаевич, Софья Андреевна и все гости переходили от группы к группе и любовались их разухабистым весельем.

Т. Е. БАЗЫКИН

ЯСНОПОЛЯНСКИЙ ПОЖАР

1888 года июня 13 дня я стоял на своем крыльце и разговаривал с своей женой. Только что я хотел уходить в табун за лошадьми, как вдруг услышал крик на Красной улице. (Так у нас называется выгон, на котором живут пять дворов наших односельчан.)... Я побежал на крик и увидел ужасное происшествие: у Василия Матвеева загорелась молотильная рига, и оттуда вытаскивали маленьких зажигателей: трех мальчиков, которые играли в риге и по своему малолетству зажгли солому.

Произошел ужасный пожар: от риги Матвеева загорелась постройка Савостьяна Макарова, и пошел пожар по всему ряду.

Это было в воскресенье: Савостьяна Макарова не было дома, он был с женой своей в Туле. Семен Владимиров тоже был в Туле с женой. У Семена в доме оставалось шесть человек маленьких детей.

И вот я бежал на пожар и на пути догнал великого помощника нашего Льва Николаевича со своей дочерью Марьей Львовной. Они тоже бежали на пожар. Я видел, что Лев Николаевич бежал по ложине, по которой у нас всегда бывает ужасная топь. Он, чтобы выгадать несколько шагов, бежал по ней и утопал по самые колени.

Когда мы прибежали, мы кинулись отстаивать другие избы, но отстоять их было невозможно, потому что крыши были соломенные, а погода стояла сухая и пожар охватывал сухие крыши.

Тогда мы с Львом Николаевичем и с другими крестьянами стали вытаскивать кое-какие домашние вещи, а именно: кафтаны, полушубки, бабьи сундуки и даже

тряпки. Мы шли рядом и исключили только избу Савостьяна Макарова, потому что она была заперта на замок. Хотя мы и разбили окна, но огонь нам не дал вытаскивать. Тогда мы пошли дальше к постройке Семена Фоканова. В его избе было шесть малолетних детей: мы вытащили их и кое-какое имущество.

Я помню, как мы с Львом Николаевичем тащили рундук с мукой, который был настолько тяжел, что нам не удалось вытащить. Мы только зашибли Марью Львовну, которая хотела нам помочь.

И так пожар прошел все пять дворов. Когда мы кончили вытаскивать все вещи, то увидели печальную картину: бабы и дети сидели на сундуках и выли на разные голоса. Бабы причитали: «И кто нам, бедным, поможет? Остались мы холодные и голодные!» Я помню, как Лев Николаевич старался уговаривать их и говорил: «Не плачьте, я вам помогу». И сам Лев Николаевич, сколько ни крепился, но горько заплакал. Он сквозь слезы говорил: «Я попрошу своих знакомых, которые тоже вам помогут».

Я никогда не забуду этого, когда я оглянулся и увидел следующую картину: это ехал Семен с своей женой из Тулы, он погонял лошадь и сам кричал что-то, но понять его было невозможно. Он был человек трезвый, никогда не напивался, но в эту минуту похож был на пьяного. А жена его была похожа на умалишенную: она кидалась по телеге, плакала и причитала: «Родимые мои детушки, сгорело наше теплое гнездышко! Остались мы беззащитные, голодные и холодные, разутые и раздетые!» В это время я помню, как наш Лев Николаевич поспешил к ним и просил Семена, чтобы он уговаривал жену. А у самого Льва Николаевича лились слезы. Он говорил Семену: «Я помогу». И указывал на свою рощу, которая была недалеко от изб погорелых крестьян.

Я все время смотрел на Льва Николаевича, который так входил в несчастное положение крестьян. В это время он казался таким жалким: на нем была грязная его обычная рубашка, запыленная горелым мусором, и грязные сапоги, оттого что он бежал на пожар по ложине, чтобы выгадать несколько шагов.

Марья Львовна тоже плакала и занималась с детьми погорелых. Она уговаривала их и обещала им какие-то гостинцы.

Так мы пробыли на пожаре часов пять. Лев Николаевич был все время с нами, пока мы заливали оставшиеся горелые кочурушки...

На другой день Лев Николаевич рано утром опять пришел на пожар, но крестьян там не нашел, — они были по своим сараям. Он пошел туда, собрал их и сказал, чтобы обрадовать их: «Я в своем доме собрал двести рублей для вас и надеюсь еще собрать от своих знакомых». Потом Лев Николаевич пошел к нашему старосте и просил его собрать сельский сход. Когда мужики собрались, тогда Лев Николаевич сказал им: «Вот для чего я просил собрать вас: я хочу просить вас, чтобы вы помогли своим погорелым братьям, которые остались без крова и без хлеба. У них все сгорело и в таком случае надо помочь каждому по возможности». И тогда мужики стали подписываться, кто на сколько мог: кто два пуда муки, кто два рубля, кто рубль, и даже самый бедный жертвовал хоть одну ковригу хлеба.

И так устроил великий наш помощник, что погорелые крестьяне начали строиться. Понакупили срубы, а остальной лес напилили в роще. Вдове Анисье Копыловой Лев Николаевич нанял мастера, и ей мазали из глины избу с помощью других добрых людей: Николая Николаевича Ге, Павла Иваныча Бирюкова, Марьи Александровны Шмидт, Татьяны и Марьи Львовны. Они толкли глину и из-под горы носили воду.

Лев Николаевич был сам и плотник и печник.

Этой же вдове Анисье Копыловой Лев Николаевич сам своеручно убирал землю, косил луга, а Марья Львовна вязала снопы и сгребала сено. Все крестьянские работы были сработаны Львом Николаевичем и Марьей Львовной.

Так жил великий наш помощник.

ЭЛЬМЕР МООД

РАЗГОВОРЫ С ТОЛСТЫМ

Лет двенадцать назад (кажется, это было в 1888 году) мой зять доктор Алексеев предложил мне зайти с ним к Толстому, который написал предисловие к его книге о вреде пьянства (позднее изданное отдельной брошюрой под названием «Зачем люди одурманиваются?») ¹. Оказавшись за чайным столом как раз напротив Толстого, которого я тогда читал довольно мало, я осмелился заметить, что узнал о его отрицательном отношении к личному обогащению, и это мне очень интересно, потому что как раз для этого я и приехал в Россию.

Мы разговорились, однако беседа с Толстым не изменила моих взглядов. Я чувствовал за собой авторитет политической экономии и полагал, что достаточно мне полностью понять взгляды Толстого, чтобы указать ему его основные ошибки.

Вскоре нас прервали. Прощаясь, Толстой был со мной очень любезен и просил заходить к нему. Однако я не воспользовался его приглашением отчасти из-за своей застенчивости, отчасти оттого, что мне показалось неудобным учить Толстого политической экономии; да и сам он, думалось мне, вряд ли скажет мне что-либо новое в этой области.

Шли годы. Разговор с Толстым не выходил у меня из памяти, и хотя дело, в котором я был занят, процветало, напряжение и беспокойства коммерческой жизни с ее конкуренцией сказывались на моих нервах и здоровье. Я начал понимать, что политическую экономию нужно связывать с другими сторонами жизни, и стал внимательно читать позднего Толстого.

И вот я снова сижу за тем же чайным столом, но на этот раз испытываю совсем иные чувства. Я был убежден, что учение Толстого важно и содержит много истинного, но — почему он сам живет в комфортабельном доме? Почему он не проводит последовательно свое учение в жизнь? Со стыдом вспоминаю, что, не обращая внимания на гостей, я так без обиняков и спросил его об этом. Я искренне стремился к истине и, как часто бывает с людьми в таких случаях, забыл не только об условностях, но и о чувствах других. Толстой не ответил тогда на мои вопросы, но при прощании, хотя и не был уверен в моей искренности, снова просил меня заходить к нему. На этот раз я не замедлил воспользоваться приглашением. Наедине, в своем кабинете, Толстой многое объяснил мне (я говорю об этом в своей статье «Лев Толстой») ², и с того времени вплоть до своего отъезда из России я никогда не упускал случая получить от него указание или совет...

Помню, как-то раз Толстой, говоря о том, что одни люди влекутся к добру сердцем, а другие головой, заметил, что последний процесс в некотором отношении более безопасен. «Может статься, вы устанете и захотите вернуться назад, но, распутав клубок жизни, вы ясно видите, что назад идти некуда и вы должны идти вперед»...

Его мнения не были результатом случайных симпатий или антипатий, они были обусловлены его пониманием смысла и цели жизни. Никогда нельзя было предугадать, что он скажет, ибо даже на вещи, мне хорошо известные, его взгляды часто являлись для меня неожиданностью, но уж если он говорил, то обычно было легко понять, почему он думает так, а не иначе.

В разговоре с близкими ему по духу людьми связь между общими взглядами Толстого и его мнением по какому-нибудь конкретно обсуждаемому вопросу проступала особенно явственно, и беседа быстро переходила на большие жизненные проблемы. Он всегда старался поддерживать общий разговор, но с кем бы он ни говорил и какой бы вопрос ни обсуждался, каждый, кто с ним соприкасался, без труда видел эту последовательность мысли, о которой я упомянул. Литература, искусство, наука, политика, экономика, социальные проблемы, отношения полов и местные новости рассматрива-

лись им не в отрыве одно от другого, как это сплошь и рядом бывает, а как части одного стройного целого.

В хорошей шахматной партии, когда играет знаток, есть логическая последовательность между ходами, так что даже самые неожиданные ходы имеют свою определенную цель. В этом ее отличие от дилетантских партий, где ходы следуют один за другим случайно, лишь изредка перемежаясь удачными идеями. Подобное же различие существует и между беседой с человеком, обладающим ясным представлением о цели жизни, и беседой с людьми, совершенно несведущими в этом вопросе.

Не знаю, насколько эта особенность разговоров с Толстым будет видна в приводимых ниже отрывках из бесед с ним о книгах и писателях. Для многих людей первое впечатление от разговора с Толстым состоит в том, что он говорит совсем не то, что говорят другие, а следовательно, он эксцентричен, и я боюсь, что при попытке воспроизвести обрывки разговоров с ним мне будет легче передать необычность некоторых его мнений, чем их обоснованность.

Роман, говорит Толстой, как в Англии, так и во Франции в настоящее время стоит на гораздо более низком уровне по сравнению с тем временем, когда он был молод. Диккенс и Виктор Гюго были тогда в расцвете сил, а кого сегодня можно поставить рядом с ними? Они сознательно брали жизненно-важные темы и разрабатывали их так, что читатели проникались их чувствами. Они взывали к жалости, сочувствию и состраданию, были заступниками бедных и угнетенных и выражали свое негодование по поводу укоренившегося зла так, что затрагивали сердца людей.

Теперь же, по словам Толстого, писатели занимаются всякого рода социальными проблемами, психологическими исследованиями, точным копированием природы, этическими головоломками и псевдонаучными задачами, но в большинстве случаев не умеют писать о значительных вещах так, чтобы затронуть сердца читателей. Среди современных писателей-романистов, которых он читал, он более всего ценит Гемфри Уорд³. Она обычно знает, что хочет сказать, и всегда думает, прежде чем дать оценку той или иной вещи.

О «Грезах» Олив Шрейнер Толстой был невысокого мнения. Насколько я понял, его главное возражение состояло в том, что она ставит проблемы огромной важности, не отдавая себе отчета в том, насколько они важны, и это мешает ей направить на верный путь тех, кого привлекает поэтичность ее манер и завидная склонность к добру. «Грезы» — это книга для тех, кто сам не обладает достаточно ясными и твердыми идеалами.

В то время Толстой не прочел еще «Рядового Питера Холкета», но мне кажется, хотя я и не могу утверждать это с полной достоверностью, что он прочел книгу впоследствии, и она произвела на него благоприятное впечатление⁴.

О Золя Толстой отзывается с похвалой в одном отношении: мы все говорим о «народе», о его правах, о путях улучшения его жизни и т. д., а Золя действительно изобразил простых людей и показал нам — вот народ, о котором вы говорите!

С другой стороны, реализм Золя, поскольку он состоит в фотографическом описании массы деталей, не есть искусство, передающее чувства от одного человека к другому. Надо уметь отделять существенное в жизни от незначительного, а не нагромождать непереваренные факты, и это в одинаковой степени относится и к художнику, и к человеку вообще.

Сенкевич, говорит Толстой, всегда интересен, но слишком окрашен католицизмом. В «*Quo vadis*» христиане изображены слишком белыми, а язычники — слишком черными. На самом же деле эти две группы людей в какой-то мере смыкаются друг с другом, как это, несомненно, и имело место в реальной жизни, подобно тому как в настоящее время преследуемые русские штундисты имеют много разновидностей и частично даже сливаются с православными...

Превыше всего Толстой ставит откровенность и ясность. Ошибки и заблуждения человека, который ясен и прост, могут быть гораздо более поучительными, чем полуправда людей, предпочитающих неопределенность. Выражать свои мысли так, чтобы тебя не понимали, — грех. Главный недостаток Уолта Уитмена состоит в том, что, при всем его воодушевлении, ему недостает ясной философии жизни. Может показаться, что он авторитетно и недвусмысленно высказывается по целому ряду

жизненных вопросов, на самом же деле он стоит на перепутье двух дорог и так и не говорит, какой путь избрать.

Великая литература рождается тогда, когда пробуждается высокое нравственное чувство. Взять, например, период освободительных движений, борьбу за отмену крепостного права в России и борьбу за освобождение негров в Соединенных Штатах. Посмотрите, какие писатели появились тогда в Америке: Гарриет Бичер-Стоу, Торо, Эмерсон, Лоуэлл, Уитьер, Лонгфелло, Уильям Ллойд Гаррисон, Теодор Паркер, а в России — Достоевский, Тургенев, Герцен и другие, чье влияние на образованные круги русского общества, по мнению Толстого, было очень велико. Последующий период, когда люди были уже не способны приносить материальные жертвы ради нравственных целей, оказался бы полностью бесплодным, если бы некоторые писатели, воспитанные и сформировавшиеся в героическую эпоху, не продолжали ее великих традиций...

Толстой с большой похвалой отзывается о религиозных книгах Матью Арнольда. По его словам, существует ходячее мнение, что первое место в творчестве Арнольда занимает поэзия, второе — критические труды, третье — религиозные, однако правильнее было бы расположить все в обратном порядке. Религиозные сочинения Арнольда — лучшая и наиболее значительная часть его творчества. Насколько верно Толстой сформулировал это «установившееся мнение», подтверждается недавно опубликованной книгой об Арнольде профессора Сэнтсбери, в которой «Литература и догма», «Бог и библия», «Комментарии к рождеству» и т. д. оцениваются как «неудачные книги», причем утверждается, что и «религия подобного рода никому не нужна».

Толстой считал, что статья Арнольда о его собственном, Толстого, творчестве, содержит обоснованную и справедливую критику⁵...

Чтобы побудить Толстого признать достоинства стихотворений Арнольда, я отметил некоторые из них, такие как «Часовня в Регби», «Другу-республиканцу», «Боже-ственность», «Прогресс», «Революция», «Самостоятельность» и «Нравственность», и послал их Толстому. Через несколько дней он возвратил книгу, заметив, что все они очень хороши, жаль только, что не написаны прозой.

В поэзии Толстому вообще очень трудно угодить. За чем, спрашивает он, люди затрудняют ясное выражение своих мыслей, обращаясь к такой сложной форме, заставляющей подбирать не те слова, которые лучше всего выражают мысль, а те, что диктуются рифмой и размером? Если то, что мы хотим сказать, можно выразить в трех словах, зачем использовать пять? Если одно или два добавленных слова устранят возможность неправильного понимания, почему не добавить их? Люди написали в стихах много ценного, но в большинстве случаев они могли выразить то же самое и гораздо лучше в прозе. А как много никчемной чепухи читается только благодаря мастерству выражения!

Сходным образом дело обстояло и с красноречием. Однажды один из гостей Толстого заговорил об обаянии красноречия. «Да,— заметил Толстой,— но какая это опасная вещь!» — и рассказал о том, как слушал в суде одного прославленного адвоката и как трудно было ему под влиянием продажного красноречия юриста остаться при своем мнении...

Толстой слишком правдив, чтобы не сказать тем, кто советуется с ним, своего действительного мнения об их произведениях, и вместе с тем слишком деликатен, чтобы обидеть их; так как его требования по отношению к самому себе и по отношению к другим очень высоки, он часто оказывается в затруднительном положении.

Помнится, однажды в Ясной Поляне он вышел к чайному столу, выставленному под открытым небом, и рассказал о своей встрече с одним старым отставным чиновником, который показал ему в кабинете свою длинную поэму. Толстой попросил его прочесть несколько стихов и, рискуя рассердить старика, вынужден был сказать ему, что он написал ужасный вздор. И действительно, судя по отдельным отрывкам, которые Толстой, смеясь, процитировал на память, стихи были из рук вон плохи. К счастью, посетитель оказался человеком довольно спокойным и только заметил: «Не может быть! Ведь я сочинял ее десять лет и она так мне нравилась!» Он тут же распрощался и уехал, очевидно, несколько не расстроенный приговором, вынесенным его детищу...

Как-то раз я спросил Толстого, чем, по его мнению, объясняется то, что Шекспира почитают величайшим из писателей во всех странах мира, в том числе и

в России. Толстой объяснил это тем, что «образованное стадо», не имея ясного представления о цели и назначении жизни, весьма способно от души восхищаться писателем, близким ему в этом смысле, то есть писателем без основополагающего принципа, определяющего его отношение к миру. Своей великой славой Шекспир обязан тому, что он — художник больших и разнообразных способностей, но еще в большей степени тому, что он разделяет со своими почитателями одну великую слабость: у него нет ответа на вопрос: «В чем смысл жизни?»

Казалось бы, что может быть общего между Шекспиром и «Review of Reviews»? Однако в основе оценки Толстым этого журнала, данной им еще в 1897 году, лежит все та же концепция потребности человека в какой-то одной направляющей идее, пронизывающей произведение; при этом Толстой совсем не задавался целью сравнить «Review of Reviews» с другими журналами того времени, а скорее стремился показать, чего мы должны требовать от хорошей литературы. Один из гостей Толстого сказал, что «Review of Reviews» всегда вызывает у него головную боль, Толстой тут же ответил, что таким же образом журнал действует и на него, хотя он до сих пор не отдавал себе в этом отчета⁶. Мешанина фактов и всевозможных мнений, не пронизанных какой-либо последовательно проводимой идеей, вызывает умственное утомление. Читая даже оригинальные статьи, время от времени появляющиеся в журнале, невозможно разобраться в этой смеси патриотизма и христианства, тянущих каждый в свою сторону и считающихся одинаково похвальными. Совместны ли любовь к свободе и восхваление самодержцев? Любовь к миру и желание видеть карту Африки, окрашенную в красный цвет?..

Среди авторов, которые оказали большое влияние на Толстого или показались ему сколько-нибудь значительными, следует упомянуть Ж.-Ж. Руссо, Стендаля, Прудона, Ауэрбаха («Schwarzwälder Dorfgeschichten» *) и Шопенгауэра.

Толстой внимательно следит за всем, что выходит в свет на иностранных языках (особенно за короткими, ясно изложенными оригинальными работами, которые следовало бы, по его мнению, перевести на русский

* «Шварцвальдские деревенские рассказы».

язык). Сплошь и рядом отобранные им книги не разрешают печатать в России. Если работа уже переведена, на пишущей машинке делается несколько копий и произведение распространяется в ограниченном количестве экземпляров. Таким образом предупреждается возможность того, что полиция полностью уничтожит его (а она часто обыскивает квартиры людей, подозреваемых в пропаганде толстовства), и к тому же оно может быть напечатано в любой момент, как только цензура в России ослабит свою мертвую хватку. Несмотря на деятельность тайной полиции, которая выслеживает его друзей, высылает их, конфискует их бумаги, произведения, рекомендуемые Толстым, как правило, удается перевести на русский язык. Так было и с двумя работами, о которых пойдет речь ниже.

Очерк Торо «Гражданское неповиновение» Толстой выбрал как лучшее из всего созданного этим писателем. Великое достоинство этого очерка состоит в ясном утверждении человеческого права отказываться от подчинения или от какой бы то ни было поддержки правительству, которое поступает безнравственно⁷...

«Анатомия нищеты» Д. К. Кенворти, маленькая книжка по экономике, очень понравилась Толстому ясностью и лаконичностью изложения, глубоким проникновением в суть дела. Он считал, что последующие произведения Кенворти, хотя в них было много полезного, далеко уступают этой книге.

Среди книг, которые Толстой не советовал переводить, хотя и хвалил их, были, помнится, философские сочинения Шанкаракариа, переведенные на русский язык Верой Джонстон, и «О компромиссе» Джона Морлея. Толстой высоко ценил Морлея за его литературное мастерство...

О романе Грант Аллена «Женщина, которая осмелилась» Толстой заметил, что, если автор хочет показать, как его героиня воплощается в действительность, он не должен убивать своего героя слишком рано. Конфликт возникает тогда, когда один из двух не желает сохранять верность, а другой все еще сохраняет ее. Убив одного из двух, вы уклоняетесь от решения проблемы...

Очень нравился Толстому писатель Генри Джордж, особенно его книги «Социальные проблемы», «Прогресс и бедность», привлекавшие Толстого как своим предме-

том, так и формой изложения. В середине нашего столетия великой проблемой в России была отмена крепостного права, а в Америке — уничтожение рабства. Другой великой проблемой было освобождение земли. Генри Джордж привлек к ней всеобщее внимание и со всей ясностью, оригинальностью и убедительностью высказался по этому поводу; его практический план разрешения этой проблемы при существующих политических условиях казался Толстому вполне осуществимым и наилучшим из всех предложенных...

О Д. С. Милле Толстой как-то заметил, что ему больше всего нравится его «Автобиография». «Поразительно,— сказал Толстой,— как далеко пошел человек в поисках смысла жизни, как четко и ясно поставил этот животрепещущий вопрос и все же остановился, не найдя ответа». Милль спрашивал себя, был бы он счастлив, если бы проекты благодетельствования человечества, над которыми он работал, осуществились, и откровенно признавался, что нет. Таким образом, он оказался лицом к лицу с вопросом: какова же тогда действительная цель моего существования?

Однако Милль так и не нашел ответа на свой вопрос и жил с чувством, что радость жизни поблекла для него.

В. Н. ДАВЫДОВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АКТЕРА

В конце 80-х годов минувшего века, живя в Москве, я получил приглашение от московских студентов принять участие в устраиваемом ими концерте. Я согласился. Но мне не хотелось читать на студенческом вечере ничего избитого и банального. И моя мысль невольно остановилась на толстовской «Власти тьмы», которая ходила тогда по рукам и возбуждала всеобщий интерес, но была еще под запретом для исполнения на сцене.

Мне и засело в голову: нельзя ли прочесть на студенческом вечере какую-нибудь сцену из «Власти тьмы»?

Чтобы осуществить эту мысль, я и решил поехать ко Льву Николаевичу, жившему тогда в Москве, в Хамовническом переулке. Я хотел попросить у него разрешение на публичное исполнение некоторых сцен из «Власти тьмы» и как бы проэкзаменовать себя; так ли я выражаю в своем чтении замысел автора, или не так.

Волнуясь и робея, я отрекомендовался. Лев Николаевич улыбнулся, и лицо его вдруг как-то особенно просияло, точно у ребенка. Именно такое милое лицо бывает у детей, когда они после слез вдруг улыбнутся: словно сквозь тучку солнышко проглянет и оживит вас.

— Очень рад видеть,— сказал Лев Николаевич, протянул мне руку и, не выпуская ее, начал поворачивать меня с веселой улыбкой.

— Покажитесь-ка, какой вы революционер?..

Слова эти относились к тому, что я оставил императорскую сцену и перешел в театр к Коршу. Тогда об этом немало говорили как о протесте с моей стороны.

Меня поразила эта фраза. Думаю: господа, когда же он успеваает среди своих занятий интересоваться еще и нами, грешными, которые, в сущности, для него ничего особенного не представляют! Между тем он попросил меня сесть и спросил, чем может служить мне.

Я объяснил, в чем дело, что приехал просить у него разрешения на публичное чтение «Власти тьмы» и не согласится ли он позволить мне прочитать в его присутствии некоторые сцены.

Вначале я хотел прочитать разговор девочки Анютки с Митричем и просить Льва Николаевича сделать мне указания, если я прочту что не так.

Лев Николаевич охотно и мило согласился, устроил меня перед диваном, поставил передо мною маленький стол, а сам сел на диван, наискось против меня...

Начал я читать, сильно волнуясь. Но затем овладел собою. И дело пошло, кажется, глаже...

Читаю я и слышу, что среди чтения разговора Анютки с Митричем Лев Николаевич иногда как бы поддакивал мне и произносил одобрительно: «Гм, гм!»

Но когда я начал читать сцену с Никитой (где он ужасается совершенному им) и случайно взглянул на Льва Николаевича, то был потрясен увиденным: по его мнимосуровому лицу катились слезы. В одном месте он даже всхлипнул.

Это меня страшно взволновало, но вместе с тем и одушевило. Значит, я взял верный тон, иначе мое чтение не произвело бы на Льва Николаевича впечатления.

Когда я кончил чтение, Лев Николаевич, приветливый и растроганный, сказал:

— Хорошо... очень хорошо! Откуда вы так хорошо знаете тон русского крестьянина?

Я сказал, что очень люблю наш народ и его песни, которые я изучал на местах в дружеском общении с народом.

— Иногда, бывало, и чарку с ними выпьешь... Изучал я русскую песню и на посиделках... Таким образом, я и познакомился с языком нашего народа,— сказал я.

— Да,— произнес Лев Николаевич,— очень, очень хорошо... Аким хорош... Матрена тоже. Но Анютка особенно. Она у вас очень превосходна. Если бы актриса сыграла ее наполовину так, как вы ее читаете, я был бы очень доволен.

Эти слова очень ободрили меня.

— А вот Митрич,— сказал Лев Николаевич,— он у вас не тот... Не надо забывать, что Митрич побывал в солдатах и в городах, и у него уже иная манера говорить и другое понимание жизни, нежели у деревенских людей...

— Лев Николаевич, не будете ли вы так добры, чтобы указать мне, как надо читать Митрича,— попросил я.

Он взял книгу и начал читать так просто, что даже не чувствовалось чтения, а казалось, что говорит сам Митрич. Лев Николаевич сумел взять столь ясный тон, что мне сразу стало понятно, в чем именно дело, как надо читать Митрича и какая разница между ним, Акимом, Петром и другими. Я тут же сделал отметки, которые храню до сих пор, и был глубоко благодарен Льву Николаевичу за его указания.

А. М. НОВИКОВ

ЗИМА 1889/90 ГОДОВ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Семья Толстых, жившая уже много лет по зимам в Москве, решила в 1889 году, по настоянию Льва Николаевича, поселиться в Ясной Поляне. Двум младшим сыновьям, Андрею и Михаилу Толстым, предстояло готовиться к поступлению в гимназию, и я, только что кончивший тогда математический факультет, получил приглашение занять место учителя.

В конце сентября 1889 года я приехал в Ясную Поляну...

Жили в Ясной Поляне недружно. С одной стороны, текла жизнь богатой помещичьей семьи, причем все хозяйство и домоводство вела графиня; она смотрела за воспитанием и учением детей, вела книгоиздательство, посылала собирать арендную плату за землю, судилась с мужиками за самовольные порубки и потравы; дети, домочадцы, прислуга обращались за разрешением всех вопросов исключительно к ней. Рядом шла совершенно отдельная жизнь Льва Николаевича. Он нисколько не интересовался ни практическими делами, ни хозяйством, ни обучением и воспитанием детей, ни недоразумениями между прислугой и домочадцами и был погружен исключительно в свою внутреннюю работу.

Работал Лев Николаевич по одному и тому же раз заведенному порядку, который никогда и ни для кого не нарушался. Вставал около восьми часов утра и первым делом выносил свой ночной горшок, чистил свое платье, мел свои комнаты... Затем Толстой одевался — летом в какое-то серое пальто и мягкую неопределенной формы шляпу, зимой в валенки и полушубок — и отправлялся

на прогулку всегда один. С прогулки он возвращался около десяти часов, пил ячменный кофе и шел в кабинет работать. В это время ему никто не должен был мешать. Кабинет его был внизу — комната под сводами, отовсюду отделенная глухими стенами и пустовавшими запертыми комнатами, куда не доходила сутолока дня. Иногда Лев Николаевич появлялся ненадолго во время завтрака в двенадцать часов, перекидывался с кем-нибудь одной-двумя фразами и тотчас уходил опять к себе и продолжал работать до трех-четырёх часов дня.

После работы он одевался, снова выходил на прогулку и тут обыкновенно гулял с кем-нибудь из гостей, любил разговаривать и идти со встречными крестьянами, причем был всегда оживлен, смеялся искренне и увлекательно своим уже беззубым ртом, принимал посетителей, дожидавшихся его у «дерева просителей», как называлось самое большое старое дерево, стоявшее неподалеку от крыльца.

Возвращался к обеду к пяти часам. За обедом всегда заходил разговор на тему, которая потом неизменно попадалась когда-нибудь в произведениях Льва Николаевича. После обеда Лев Николаевич несколько времени еще оставался в зале, разговаривая с гостями, затем около восьми часов вечера опять спускался к себе — писать дневник. К десяти часам он снова поднимался наверх и оставался здесь до двенадцати или до часа ночи, когда получалась почта со станции Козловка. Ее наскоро разбирал Лев Николаевич, отбирал свои письма, которые частью прочитывал, частью забирал с собою, и спускался спать.

Вечер посвящался, если в сборе была семья или гости, чтению. Читались французские и английские романы, русские произведения, которые присылались Толстому. Читал часто сам Лев Николаевич, и читал всегда очень выразительно. Особенно любил он читать Слепцова, и из Слепцова у него было два любимых произведения: «На постоялом дворе», — и глаза его оживлялись, в голосе появлялись вибрирующие интонации, его самая простая, обыкновенная дикция была полна естественного юмора, и он сам и слушатели покатывались со смеха, и «Шпитонка», которую Толстой никогда не мог дочитать до конца. Вначале его чтение этого рассказа по обыкновению было очень выразительно, но под конец глаза за-

волакивались, черты лица заострялись, он начинал останавливаться, старался преодолеть свое волнение, всхлипывал, совал кому-нибудь книгу, вынимал платок и поспешно уходил в будуар графини (чтение происходило за круглым столом, двери в будуар были ближайшими к этому столу).

Если было мало народа или читать было нечего, Толстой садился играть со мной в шахматы, и если ему случалось выигрывать, он всегда заявлял:

— Это уж Алексей Митрофанович нарочно мне поддался.

Играл он действительно плохо, но очень серьезно и внимательно.

Разговоры наши с Толстым начались вскоре же после моего приезда. Я был революционер, позитивист и материалист или по крайней мере воображал себя таковым, и Толстой сразу пошел на штурм моих убеждений... Я отстаивал свои убеждения, по-видимому, довольно примитивно и этим выводил Толстого из себя. Кончалось дело тем, что он начинал говорить со мной неприятно и резко. Мне становилось обидно и горько, я замолкал и уклонялся от продолжения спора. Толстой сразу замечал перемену моего настроения: от его быстрого взгляда исподлобья мне ни разу не удалось скрыть ни одного движения души в продолжение всех тех семнадцати лет, когда я часто встречался с ним и бывал в Ясной Поляне.

Заметив мое волнение, Толстой обрывал спор и уходил к себе, а через полчаса поднимался опять наверх, подходил ко мне и искренне просил меня:

— Ну, простите меня за мои грубые и глупые слова, и перестанем спорить.

Однако спор все равно возобновлялся, часто в тот же вечер, хотя Толстой только раза два-три не сдержался со мной за все то первое время, когда мы еще спорили с ним. Скоро Лев Николаевич переменял со мной тактику: наметив мои слабые места, где я обнаруживал податливость и между нами были точки соприкосновения, он именно здесь привлек меня к общей работе и в процессе этой работы во многом уже переубедил меня.

Первым таким делом была школа. Очень помещительная и просторная изба садовника у ворот усадьбы была превращена в школу для деревенских яснополян-

ских детей. Обучались дети грамоте, счету по азбукам Толстого, по его сказкам. Обучение взяла на себя Мария Львовна, помогали ей случайные гости... И вот к этой-то работе привлек Лев Николаевич и меня. Мария Львовна оставила себе младшее отделение, я взял старшее. Приходил я в школу после завтрака, около часа, и оставался в школе до темноты и часто читал что-нибудь детям и вечером при лампе. Толстой часто заходил в школу. Но школа просуществовала только месяца два: священник из соседнего села донес о существовании никем не разрешенной школы, приехал благочинный, навел следствие, чему учат детей, ужаснулся, что не учат молитвеннику и «закону божьему». Затем приехал инспектор, детей разогнали, книги конфисковали, школу запечатали, а с графини С. А. Толстой взяли подписку, что впредь она не допустит устройства у себя школы, и поздравили ее, что она благодаря протекции губернатора еще дешево отделалась, а то сидеть бы Марии Львовне и всем нам в тульском остроге. На этом и кончилась в Ясной Поляне моя работа по просвещению народа, чтобы начаться потом и претерпеть совершенно то же в другом месте, в глухом Мещерском болотистом крае Рязанской губернии, куда я уехал работать через несколько лет земским врачом...

Всегда занятый своей духовной работой, углубленный в свою работу самосовершенствования, Толстой относился равнодушно к окружающему и иногда делал вид, что его что-нибудь занимает, чтобы не обидеть окружающих. Когда пришла весть, что старшая дочь Татьяна Львовна возвращается из-за границы, Толстой уделил этому приезду очень мало внимания. В тот самый вечер, когда лошади поехали на станцию за Татьяной Львовной, Толстой поднялся наверх в залу, подошел своей слегка шмыгающей походкой к столу, где сидели мы все, и обратился ко мне с обычной фразой: «А в шахматы сыграем?» Во время второй партии вошла наверх нарядная, оживленная Татьяна Львовна. Софья Андреевна устремилась к ней навстречу, расцеловалась с ней; Лев Николаевич только обернулся и сказал: «Ну, вот и приехала!» — и продолжал партию. Дочь подошла, поцеловала отца, партия продолжалась, и, только кончив ее, отец равнодушным тоном задал дочери несколько вопросов об общих знакомых.

С приездом Татьяны Львовны появились и новые интересы. Татьяна Львовна также стала помогать в школе, стала помогать мне приводить в порядок библиотеку, но в долгие зимние вечера, когда мы собирались около круглого стола, а Толстой, заложив большие пальцы обеих рук за кожаный пояс своей черной рабочей блузы, прохаживался по гостиной, Татьяна Львовна часто обращалась ко мне с вопросами:

— Что бы нам такое выкинуть?

— Зачем?

— Скучно. Надо народ созвать.

— Хорошо, давайте поставим домашний спектакль.

Татьяна Львовна объявила, что идея ей нравится, и после недолгого обсуждения решили ставить «Бабье дело». Но тут оказалось, что то тому, то другому из нас не нравится та или другая сцена. Решили переделать, но и переделки не улучшили дела...

Видя нашу с Татьяной Львовной неудачу в выборе пьесы, Мария Львовна обратилась ко мне:

— А вы не читали пьесу папа?

— «Власть тьмы»?

— Нет, другая. Я видала ее между бумагами.

Я насторожился:

— Достаньте, пожалуйста.

— Хорошо, погодите.

Мария Львовна отправилась в кабинет, но в этот день ничего не принесла. Зато на другой день, только что по обыкновению мы уселись вечером за круглый стол, как послышались по лестнице легкие, быстрые шаги, и Мария Львовна с милою, довольною улыбкой подала мне рукопись. Семья Толстых и я уселись за стол, одного Льва Николаевича не было, и началось чтение. Начала было читать Татьяна Львовна, но потом, по общему приговору, рукопись была передана для чтения мне. Пьеса называлась «Ниточка оборвалась» и была бледным остовом той, которую мы знаем теперь под именем «Плодов просвещения». Но с первой же сцены, изображавшей богатую, беспечную жизнь паразитов, ограниченность их интересов, узость их жизнепонимания, в пьесе оказалось много тонко подмеченных черт быта Толстых, Раевских, Трубецких, Самариных, Философовых и других знакомых мне дворянских помещичьих семей, так что я чуть ли не на каждой строчке выражал свой восторг.

Тотчас же после прочтения первого действия нами с Татьяной Львовной было решено непременно поставить эту пьесу, а после третьего (последнего) мы уже разделили пьесу для переписки ролей и стали распределять роли между знакомыми. Появился Толстой,—оказалось, он слушал чтение, оставаясь невидимкой в будуаре,—медленной походкой подошел к столу.

— Что вы тут делаете?

— Вот распределяем роли. Ах, как хорошо написано! — ответил я с самым неподдельным восторгом.

Толстой пожевал губами и молча отошел.

На другой день мы уже переписали первое действие, набрали кое-кого тут же на усадьбе (управляющего, двух юношей Раевских) и вечером, отодвинув обеденный стол, с усердием принялись репетировать. Тогда Лев Николаевич позвал Марию Львовну и стал ей говорить, что надо оставить эту затею — спектакль, что это — тоже ненужная забава богатых и праздных людей. Это была неправда, пьеса нас увлекла, и, несмотря на то, что Мария Львовна уж от лица троих: Льва Николаевича, Софьи Андреевны и себя самой, стала нас уговаривать оставить затею, мы и слышать не хотели. Наконец отец, взглядевшись внимательно в лицо Марии Львовны, заявил ей, что ей тоже хочется играть, чего она не стала отрицать. Когда Толстой увидел, что дело пошло всерьез, он потребовал репетиции при себе, на репетиции делал замечания, входил в обсуждение подробностей, а на другое утро велел собрать все уже расписанные роли и пьесу и засел за ее переработку.

Через три дня Мария Львовна принесла пьесу и объявила распределение ролей от имени Льва Николаевича, которому мы, конечно, с радостью покорились. Тотчас же был составлен список желательных исполнителей, полетели телеграммы в Москву, Тулу, Чернь, и через четыре дня три тройки привезли в Ясную Поляну целую толпу гостей — хороших знакомых Толстых: Раевских, Цингеров, Лопатина, Давыдовых — из Тулы, Сергея и Илью Львовичей Толстых — из Черни, Льва Львовича, Мамоновых, Рачинских — из Москвы. Кучка молодежи с упоением переписывала утром роли, вечером шли репетиции — и почти ежедневно после них Толстой снова собирал роли и снова переделывал пьесу. Пьеса создавалась прямо по исполнителям и переделывалась и пере-

писывалась по крайней мере раз двадцать — тридцать, но окончательная отделка ее была произведена уже после спектакля, в январе 1890 года (спектакль был 30 декабря 1889 года).

На репетициях и на спектакле Толстой от души хохотал и, подходя ко мне (я играл буфетчика Якова), много раз говорил мне:

— Никогда я так не смеялся.

Главным исполнителем, вызывавшим восторг Толстого, был исполнитель роли 3-го мужика, В. М. Лопатин. Когда он произносил свое знаменитое: «Куренка, скажем, выпустить некуда», зал умирал со смеху, и вся роль 3-го мужика была написана Толстым по мимике и интонации артиста.

Пьеса была живым изображением жизни тогдашнего высшего дворянства, даже фамилии действующих лиц были сначала взяты из действительной жизни (Самарин, Стахович, князь Львов) и только потом переделаны Толстым. Играли этих действующих лиц как раз те или почти те, с кого они были списаны (даже прислуга — Яша, Федор Иванович, лакей, повар — служила в доме Толстых); после репетиции в жизни продолжалось то, что только игралось на сцене: те же шарады, дурачества, цыганские романсы, поэтому Толстой прямо продолжал писать пьесу с исполнителями. В свою очередь исполнители не нуждались в тексте Толстого, чтобы играть «Плоды просвещения», и очень часто, забыв роли, они вставляли отсебятину, которую подчас Толстой в том или другом виде вносил в пьесу. Вот почему нигде потом, ни в Малом театре в Москве, ни в Петербурге, ни разу так дружно не играли «Плодов просвещения», как в Ясной Поляне 30 декабря 1889 года.

Накануне спектакля... утром, во время оживленной беседы Толстого с гостями, к нему подошел сын Андрияша и сказал:

— Папа, тебя какие-то две бабы-погорелки спрашивают. Они там на кухне.

Толстой тотчас же оставил гостей и пошел вниз в кухню, а несколько человек нас, знавших, в чем дело, пошли за ним. Едва Толстой вошел в кухню и обратился к бабам с ласковым вопросом: «Что вам?» — как те упали на колени и завыли.

Толстой растерялся.

— Встань, матушка, встань, встань,— обращался он то к той, то к другой из них, но бабы не поднимались и продолжали выть. Черты Толстого заострились, подбородок затрясся, он беспомощно теребил баб, уверяя их, что он не бог, и наконец заявил им, падая также на колени:

— Ну, тогда и я стану на колени. Ну, чего же вам нужно?

Но те с причитанием бухнулись в ноги.

— Ну, и я в ноги, ну и я, ну и я. Ну, что же вам нужно? — приговаривал Толстой, отбивая бабам земные поклоны. Вдруг плач баб сменился истерическим хохотом, и тут только Толстой, взглядевшись, узнал в бабах своих дочерей. Вскочив с колен, Толстой прямо покатился от хохота и наконец сквозь смех и слезы заявил: «Нет, это прямо безбожно», и ушел в свой кабинет.

На другой день после спектакля начался разъезд гостей, кончился шумный праздник, начались будни. Лев Николаевич усердно занялся «Послесловием» к «Крейцеровой сонате»...

А. В. ЦИНГЕР

У ТОЛСТЫХ

...Мы с двоюродным братом Ив. Раевским едем с железнодорожного полустанка Козловка-Засека в Ясную Поляну, чтобы участвовать там в домашнем спектакле («Плоды просвещения». Декабрь 1889 года)...

Я начинаю входить в хлопоты по подготовке спектакля...

Идет деятельная работа переписки сильно перемазанной рукописи.

Отрывки комедии прочитываются на голоса, по ролям. Все смеются, когда Мария Львовна читает роль кухарки, метко передавая характер бабьего говора. «Запузыривать» — делается излюбленным словечком среди импровизированной труппы.

Братья Ив. и Мих. Бергеры с плотником сооружают в большом зале сценические подмости. Под генеральным руководством Татьяны Львовны обсуждаются костюмы, обстановка, бутафория и пр.

Мне поручена роль лакея Григория, и, ввиду достаточной четкости почерка, я прикомандирован к переписке пьесы, ролей и афиш...

После кофе Лев Николаевич уходит к себе в кабинет, взяв с собой рукопись пьесы, которую дополняет и переделывает каждый день вплоть до спектакля.

Среди дня на первую, сколько-нибудь полную, репетицию из Тулы приезжает группа участников, среди которых тульский прокурор Н. В. Давыдов, режиссер и исполнитель роли профессора (Кругосветлова).

Репетируют еще без занавеса и почти без декораций, на голых подмостках, перед которыми усаживаются: Лев

Николаевич, графиня, Н. В. Давыдов и те, кто не занят в первом действии.

Самое начало — мой выход и сцена с Таней.

Я так смущаюсь, что путаю реплики своей коротенькой роли, говорю нестерпимо не в тон и сбиваю с тона Татьяну Львовну, играющую Таню.

— Нет, нет, это — совсем не то, — мягко останавливает Лев Николаевич. — Григорий должен быть таким самым пошлым лакеем; ухаживать он должен нагло, развязно.

— Ничего, ничего, — говорит Н. В. Давыдов, — еще раз. Первую сцену надо отделать как можно тверже...

Первая репетиция идет туго. Трудно с неопытными любителями наладить чуть не пятьдесят явлений быстро, живого первого действия.

Лев Николаевич сосредоточенно смотрит, слушает, но почти не делает замечаний; он весело улыбается и смеется, когда С. А. Лопухин грубым голосом в верном мягком тоне говорит свои реплики в роли барина (Звездинцева).

Н. В. Давыдов без усталости указывает выходы, «места», намечает тон и дает всевозможные советы.

В третьем действии он сам выступает на сцену и удачно, с комической серьезностью и внушительностью, читает вступление к сеансу.

Его тон очень понравился Льву Николаевичу, и при дальнейших дополнениях речь профессора была сильно расширена.

Работа по подготовке спектакля целую неделю кипела с утра до ночи...

На сцене сколачивается печь для второго акта. В одном углу залы шьется занавес и гардины, в другом заново переделанная рукопись сверяется с отдельными ролями...

Приходит Лев Николаевич с озабоченным видом.

— Вот вы — классики, — говорит он, — что значит по-гречески: βουλή?

— βουλή — совет, совещание... сенат... — говорю я.

— Нет, нет, не то. Это не годится.

— Алексей Митрофанович, что значит βουλή? — обращаюсь я за помощью к Новикову. Но и он напоминает только те же значения.

— Нет, это не то,— говорит Лев Николаевич,— βουλή должно значить еще «память», «сознание», есть термин «абулия» — потеря сознания.

На другой день мы увидели *абулию*, вставленную в речь профессора.

Скоро спектакль, а работы еще пропасть. Засиживаемся до глубокой ночи. Среди ночи просим устроить самовар, затеваем для освежения прокатиться при луне на санях.

— Делайте что хотите,— говорит Татьяна Львовна,— но только делайте все сами, чтобы не беспокоить «людей», а то папа будет недоволен, если узнает.

К предпоследней репетиции в Ясную приехал В. М. Лопатин, которого ждали для роли 3-го мужика. Его позы, жесты, реплики так и заиграли на фоне любительских стараний.

После неподражаемо сказанного: «Земля малая... курицу, скажем, и ту выпустить некуда», репетиция остановилась от веселого смеха. Лев Николаевич был в восторге.

Роль 3-го мужика была увеличена, и «земля малая» вставлена в нескольких местах.

За два дня до спектакля устраивается чтение только что законченной рукописи «Крейцеровой сонаты»¹.

Стаховича сменяет Лев Николаевич и сам прочитывает те места, где много новых вставок, начерно вписанных его рукой.

Смущенные, ошеломленные, сидим мы после этого чтения за чайным столом. Начинают прорываться отзвuky о впечатлении, разгораются споры. Входит Лев Николаевич.

— Вот как бы я был рад,— говорит он,— если бы вы говорили о «Крейцеровой сонате», как будто меня тут нет.

Но такой разговор не выходит. Через некоторое время кто-то говорит, набравшись храбрости:

— Слишком тяжелое впечатление. Разве нельзя было дать что-нибудь положительное?

— Ну, что же? — говорит Лев Николаевич. — Написать, как они хорошо жили, как у них были дети и внуки и как они умерли на руках своих правнуков? Ну и вый-

дет немецкая сказка, каких писали без конца и никого не научили.

Кто-то поднимает вопрос, что именно главное в художественном произведении.

— В художественном произведении,— говорит Лев Николаевич,— должно быть непременно что-нибудь новое, свое. Дело как раз не в том, как писать. Прочтут «Крейцерову сонату»... Ах, вот как нужно писать: ехали в вагоне и разговаривали... Нужно непременно в чем-нибудь пойти дальше других, отколупнуть хоть самый маленький свежий кусочек... И вот почему у Достоевского в «Преступлении и наказании» первая часть прекрасна, а вторая часть уже слабее... Достоевский никогда не умел писать именно потому, что у него всегда было слишком много мыслей, ему слишком много нужно было сказать своего... И все-таки Достоевский — это самое истинное художество. А нельзя, как мой друг Фет, который в шестнадцать лет писал: «Ручеек журчит, луна светит, и она меня любит». Писал, писал, и в шестьдесят лет пишет: «Она меня любит, ручеек журчит, и луна светит»...

В ночь после спектакля мне нужно было ехать в Москву. Я пошел проститься со Львом Николаевичем, который сидел среди большой группы гостей. Шел шумный разговор о комедии. Очень хвалили Марию Львовну, живо и смешно сыгравшую кухарку и старую графиню — гостью.

— Ах, вот что я совсем позабыл,— говорит Лев Николаевич,— целый интересный тип. К этой кухарке непременно должен был ходить этакий старый, спившийся повар.

Роли «старого повара», «артельщика от Бурдые» и некоторые еще вставлены были уже после яснополянского спектакля.

...Припоминается 28 августа 1891 года, проведенное в Ясной. В доме некоторая непривычная парадность. Дочери и племянницы Льва Николаевича с гостящими барышнями идут утром в сад и в лес, чтобы нарвать цветов для букетов, которые и ставятся в зале.

Лев Николаевич с ласковой шутливостью принимает поздравления.

— Я родился в двадцать восьмом году, двадцать восьмого числа,— говорит он, между прочим,— и всю мою жизнь двадцать восемь было для меня самым счастливым числом. И вот только недавно мне пришлось узнать, что и в математике двадцать восемь есть особенное, «совершенное» число. Вот вы математик, знаете вы, что такое — «совершенные» числа?

Зная про эти свойства чисел, я не помнил, что 28 — число совершенное.

— Вот, вот, совершенные — это такие числа, которые равны сумме всех чисел, на которые они могут делиться. 28 делится на 14, на 7, на 4, на 2 и на 1; $1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28$. Это очень редкое свойство. Из первой сотни, кажется, только 28 и есть, а следующее совершенное число что-то 400 с лишком.

(В действительности наименьшие совершенные числа суть 6, 28, 496, 8128... Не помню, откуда Лев Николаевич узнал о совершенных числах и почему он, насколько помню, забыл про 6.)

Днем съезжаются гости. Незадолго до обеда приезжает чета Фигнеров.

С Н. Н. Фигнером мне приходится познакомиться при оригинальной обстановке. Иду из флигеля к дому, Лев Николаевич стоит с группой новых гостей у садовой гимнастики.

— Идите скорее сюда, скорей! — зовет Лев Николаевич.— Лезьте скорей по столбу... Кто скорей?..

Подбегаю к столбу, начинаю лезть и вижу — рядом со мной ловко лезет Н. Н. Фигнер в форменной морской фуражке. Я чуть-чуть скорее его хватаюсь за верхнюю перекладину.

— Что значит воодушевление! — говорит Лев Николаевич.— Вот Цингер сгоряча обогнал, а ведь Николай Николаевич лазит куда искусней. И в борьбе какое-то особенное значение имеет психология. Помню, мы как-то боролись с вашим дядей Раевским и с Писаревым. И сколько ни боролись, все выходило, что Раевский одолевал меня, я Писарева, а Писарев Раевского.

— Ну,— шутит Н. Н. Фигнер,— давайте теперь с вами, Лев Николаевич, состязаться.

— Нет, теперь где уж мне. А прежде как я это любил! Целыми часами, бывало, здесь упражнялись. Особенно я любил через «кобылу» прыгать...

Вечером гости пестрыми группами сидят в зале, посреди которой молодежь и подростки играют в petit jeu.

Говор и шум по временам смолкают, когда Фигнеры поют. Они особенно в ударе, и в небольшом домашнем зале их голоса звучат необыкновенно красиво.

Лев Николаевич просит спеть то те, то другие любимые пьесы, хвалит и просит повторить.

В промежутках он переходит от одной группы к другой.

Из «толстовцев» выделяется библейски картинная фигура Е. И. П[опо]ва. Подхожу послушать.

Речь идет о себялюбии и самодовольстве.

— Это,— говорит Лев Николаевич,— как хорошо сказано у Лихтенберга: «Кто влюблен в самого себя, тот может не бояться большого количества соперников»²... Вы читали что-нибудь Лихтенберга? — обращается Лев Николаевич ко мне.

— Нет. Знаю только из физики, что он в электричестве выдумал «Лихтенберговы фигуры».

— Разве это тот самый? Я и не знал. Он обладает удивительной способностью выражать самые глубокие мысли в коротких афоризмах. Одна фраза, а из нее, как из клубка, выходит целая куча мыслей.

Через несколько времени Лев Николаевич слушает, как Медея Фигнер, мешая французский язык с итальянским, с увлечением рассказывает о новинке русских оперных сцен, о «Мефистофеле» Бойто. Лев Николаевич просит что-нибудь спеть, и Фигнеры поют дуэт «Далеко, далеко».

Немного спустя слышу, Лев Николаевич говорит с А. М. Новиковым как раз по моей специальности: Лев Николаевич припоминает одну курьезную арифметическую задачу, и Новиков старается объяснить ее решение:

«Артели косцов надо было скосить два луга; один вдвое более другого. Половину дня вся артель косила большой луг. После полудня артель разделилась пополам: первая половина осталась на большом лугу и докосила его к вечеру до конца, а вторая половина косила малый луг, на котором к вечеру остался участок, скошенный на другой день одним косцом, проработавшим целый день. Сколько косцов было в артели?»

Я впутываюсь в дело. Берем клочок бумаги, чертим. На чертеже Лев Николаевич сразу ясно понимает неожиданную простоту задачи.

— Ах, как хорошо! — говорит он. — Теперь все совершенно просто и ясно.

И Лев Николаевич идет рассказывать задачу гостям за почетным столом графини.

— Левочка, право, это, кажется, никому не интересно, — замечает графиня.

С задачи разговор переходит к таблице умножения на пальцах, потом на четвертое измерение, которое Лев Николаевич соглашается признавать только математической фикцией.

Через некоторое время Лев Николаевич близ группы подростков.

Почему-то припоминается фраза из Тургенева:

«Держи свечку перед грудью. Состарили вы меня»³.

— Держи свечку перед грудью, — говорит Лев Николаевич. — Как это верно!.. Как это недавно было, когда ездили в гости с своими лакеями. А теперь это что-то совсем невозможное. Вам это непонятно. Вы не можете видеть этого огромного движения... этой широкой Волги. Я помню, когда мне было лет восемь, приезжала к нам наша бабушка в карете⁴, на шести лошадях, и с ней чуть не десять человек прислуги. Приезжал с ней всегда старый лакей, которого мы очень любили. Во время обеда он становился с тарелкой у бабушки за креслом и все с нами, с детьми, перемигивался.

Веселый вечер кончается рано. Гости разъезжаются среди теплой августовской ночи.

В начале января 1894 года в Москве был IX съезд русских естествоиспытателей и врачей. Я был одним из студентов-распорядителей и с увлечением слушал речи и доклады на общих и более доступных секционных заседаниях.

Бывая по вечерам у Толстых, я рассказывал о своих впечатлениях и Льву Николаевичу, который интересовался съездом и читал печатавшиеся в «Дневнике съезда» речи...

Я рассказал Льву Николаевичу, что отец мой готовит для общего заседания съезда речь на тему об основаниях

геометрии, о не-евклидовских геометриях и пр.⁵ Тема речи была избрана в связи с юбилеем Лобачевского, которого Лев Николаевич помнил по Казанскому университету.

— Я его отлично помню,— говорил Лев Николаевич.— Он был всегда таким серьезным и настоящим «ученым». Что он там в геометрии делает, я тогда ничего не понимал, но мне приходилось с ним разговаривать как с ректором. Ко мне он очень добродушно относился, хотя студентом я был и очень плохим.

Мне хотелось, чтобы Лев Николаевич попал на заседание, когда будет читаться речь отца. Но Лев Николаевич отказывался.

— Я бы поехал, но я так не люблю этого парада, отвык от публики... особенно если еще будет великий князь...

Утром в день заключительного заседания съезда, когда должен был говорить отец, я заехал к Толстым и просил кн. Н. Л. Оболенского передать Льву Николаевичу, что великий князь, наверно, не будет и что можно устроить так, что публика не обеспокоит Льва Николаевича⁶...

Когда отец мой начал свою речь, я, следя за ее впечатлением в публике, прошел на другой конец зала.

Вдруг ко мне торопливо подбегает Н. Л. Оболенский.

— Лев Николаевич приехал. Покажите, пожалуйста, куда ему пройти. Он в вестибюле.

Я прохожу в вестибюль и провожу Льва Николаевича через круглую «артистическую» комнату за эстраду, рассчитывая, что ему будет достаточно хорошо слышно, а увидят его только члены комитета, среди которых много его знакомых.

Затем я опять пошел в дальний конец залы, чтобы передать о приезде Льва Николаевича Марии Львовне.

Но по зале пронесся особенный шорох. Публика заметила Льва Николаевича, который, чтобы лучше слышать, пересел на эстраду.

После речи В. Я. Цингера был сделан перерыв. Председатель съезда, проф. К. А. Тимирязев, провел Льва Николаевича в «артистическую» комнату, куда устремилась и часть публики, главным образом студенты. Мы, распорядители, не знали, что делать. Наконец вышел К. А. Тимирязев и сказал, что просит в «артистическую» не вхо-

дять и что Лев Николаевич после перерыва выйдет на эстраду.

Действительно, после перерыва характерная фигура Льва Николаевича в блузе показалась среди фраков за длинным столом на эстраде. Он садится рядом с К. А. Тимирязевым. Это появление вызывает необозримую бурю аплодисментов и криков.

Мне пришлось в это время стоять на противоположном конце залы рядом с Марией Львовной и В. А. Макаковым.

Помню, рядом с нами какой-то провинциальный член съезда, огромного роста, стал на цыпочки и, подняв руки кверху, кричал изо всех сил:

— Ура! Толстой! Урр-а!..

Невероятный шум все усиливался.

Лев Николаевич, сгорбившись, что-то говорил с К. Тимирязевым.

Проф. М. А. Мензбир давно взошел на кафедру, но, кажется, не было надежды начать речь.

Проф. А. А. Тихомиров подходит к Льву Николаевичу и что-то говорит ему. Нахмурившись, Лев Николаевич опирается руками на стол. Его сутуловатая, широкоплечая фигура поднимается. Он кланяется зале... Раздаются громовые раскаты рукоплесканий...

Трудно было М. А. Мензбиру сосредоточить внимание возбужденных слушателей на хитрой вейсмановской теории наследственности.

С трудом, сквозь сплошную толпу рукоплещущей публики, проводит проф. Тимирязев Льва Николаевича из артистического подъезда.

К вечеру я поехал в Хамовники с опасением, что Лев Николаевич недоволен тем, что произошло в собрании.

— Как это все нелепо вышло,— говорил он со смехом.— И что же вы говорили, что нет парада? Такая пропасть народу, все фраки и все точно «именинники»... Это уж не «праздник науки», а какая-то ученая масленица...

В начале 1900 года однажды к вечеру ко мне заезжает мой бывший ученик, Х. Н. А[брикосов], и предлагает вместе поехать к Толстым...

— Я свободен,— говорю я,— и очень бы рад поехать, но я так давно у Толстых не был, что мне как-то неловко

ехать без какого-нибудь предлога. Знаете что? Заедем в университет, там у меня от подготовки лекции осталось пол-литра жидкого воздуха. Отвезем этот воздух Льву Николаевичу. Он еще не видал этих опытов. Может быть, это его забавит.

— Прекрасно, прекрасно!

Мы приезжаем в Хамовнический переулок, захватив сосуд с воздухом, кое-какие приборы и, для помощи при перевозке и экспериментах, университетского помощника препаратора Автонома Федорова.

Через несколько времени я располагаюсь с приборами наверху в зале за большим столом. Входит Лев Николаевич.

— Ах, как это интересно! — говорит он. — Я все об этом жидком воздухе читаю в газетах, и мне так хотелось это посмотреть.

Лев Николаевич усаживается в кресло перед столом, кругом помещаются члены семьи.

— Почему это серебряный сосуд? — спрашивает Лев Николаевич, увидав дюаровскую колбу.

Я объясняю в чем дело.

— Ну, хорошо, — говорит Лев Николаевич. — Теперь мы вас слушаем.

Несмотря на некоторую привычку к аудитории, я чувствую смущение и хочу без всякой лекции перейти к опытам.

— Нет, нет, погодите, — останавливает Лев Николаевич. — Объясните мне прежде всего вот что: я не понимаю, почему этот воздух в открытой склянке не разлетается и не взрывается.

Я начинаю объяснять, говорю о скрытой теплоте. Лев Николаевич сосредоточенно слушает.

— Это я понимаю, — говорит он.

В это время у меня мелькает воспоминание детства: когда мне было лет десять, я впервые начал понимать «скрытую теплоту» по толстовским «Книгам для чтения».

Приступаем к опытам: замораживаем резину, ртуть, апельсин, куриное яйцо, которое потом светится в темноте, пускаем каплю воздуха на воду, льем воздух на стол, на руки и т. д.

Лев Николаевич, оживленный, внимательный, следит за всеми явлениями, опускает свой палец в пробирку

с воздухом и беспрестанно просит разъяснить разные подробности.

— Ну, спасибо вам,— говорит он под конец.— Как это все любопытно! Спасибо, что так меня, старика, забавили...

Приходит кто-то из знакомых, и Лев Николаевич рассказывает ему про виденные опыты, показывает и подробно объясняет устройство дюаровского сосуда.

Поднимается разговор о гастролирующем в Москве феноменальном счетчике Перикле Диаманти.

— Как же, как же,— говорит Лев Николаевич.— Он у меня был, показывал свое искусство. Меня поразила в нем удивительная и такая ценная способность: отвлекаться от всего окружающего и так сосредоточивать свою мысль внутри себя на одном вопросе!

Утром 18 февраля 1901 года я прочел в газетах об отлучении Толстого. Утро было свободно благодаря университетским «беспорядкам». У меня лежала рукопись крестьянина Н[овико]ва, привезенная из деревни для передачи Льву Николаевичу. И мне захотелось поехать к нему.

По дороге тяжелая встреча: на Бронной кучка студентов и курсисток под конвоем городских.

Приезжаю в Хамовники и под свежим впечатлением упоминаю о встрече на Бронной, говорю об университете.

— Студенческие беспорядки! Это что-то такое непонятное,— говорит Лев Николаевич.

Входит графиня Софья Андреевна, возмущенная обнародованным отлучением.

— Удивительно! — говорит Лев Николаевич,— «И врата адавы не одолеют»... А вдруг какой-то отставной поручик что-то написал?.. И такая тревога!..

Разговор переходит на другие темы.

Я говорю, что привез из деревни рукопись Н[овико]ва.

— Ах, дайте,— говорит Лев Николаевич,— дайте. Вы уж читали? Хорошо?

— Да, очень живо. Но уж очень односторонне.

— Ну, да, да... это самый обычный, поверхностный взгляд. Н[овико]в знает, может быть, немного, но то, что он знает, он действительно знает и понимает... И его знание есть действительно настоящее знание, и никакой нет беды, что он ять не там поставит... А писать он умеет прямо удивительно. Я всю жизнь старался так

писать и не умел... У него удивительное чувство меры, когда он переходит от рассуждения к рассказу. И рассказа у него ровно столько, сколько нужно...

Лев Николаевич перелистывает только что присланный ему в подарок том «Simplicissimus'a»⁸.

— Вот, по-моему, истинное назначение живописи, это — карикатура. Посмотрите — эта барыня за туалетом: видно, что она ужасно довольна собой... жирные, слабые, неработающие руки... видно, что горничная говорит с ней самым услужливым тоном, а внутри над ней смеется... Нужно целые страницы писать, чтобы передать то, что передано здесь несколькими штрихами. А тут, посмотрите, ночью на «сирениссимуса» напали заговорщики, ему нечем защищаться, и он швыряет в них орденами. И вот они в восторге нацепили на себя эти ордена и уходят... Посмотрите эти улыбки... Каждому искусству нужно делать то, что для него самое свойственное, самое характерное... Вот вы говорите, — обратился Лев Николаевич к художнику Н. А. Касаткину, рассказывавшему о картине «Искушение»⁹. — Но почему огненные глаза? Почему женские груди? Разве это — мамона? Нет, вот иду я недавно и вижу: три лихача обступили такого хорошенького, чистенького гимназистика... «Помилуйте, семь рубликов, недорого»... И видно, что уж он не вырвется из лап, не уйдет от этого соблазна. Вот это настоящая мамона. Вот то же и с театром, — говорит Лев Николаевич, кивая мне. — Главное в театре — это развивающееся, разрастающееся действие, движение. А Чехов написал, как три сестры разговаривают с офицерами и собираются в Москву, да так и не уехали. А мои дочери и публика восхищаются, что в театре слышно, как за кулисами шипит пожарная труба... Недавно я читал описание театра у каких-то сибирских инородцев¹⁰... Превосходно! Эти дикари представляют в театре охоту на оленя: один актер изображает оленя-мать, а другой — олененыша. Оленя застреливают, а олененыш дрожит, пугается, прижимается к матери... Вся публика волнуется, умиляется, жалеет этого олененыша... Вот это настоящее искусство!..

В. М. ЛОПАТИН

ИЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

В 1889 году я был мировым судьей и жил в деревне, когда получил приглашение от графини Татьяны Львовны Толстой принять участие в исполнении на домашней сцене в Ясной Поляне еще нигде не напечатанной новой пьесы Льва Николаевича «Плоды просвещения», в которой мне предназначалась роль мужика, «старика робкого и нервного», как характеризовала его в своем письме Татьяна Львовна. Это приглашение меня очень заинтересовало...

Началась репетиция. Внимательное наблюдение Льва Николаевича за моею игрою меня немножко смущало, но в то же время придавало энергию моему старанию дать в изображении мужика именно то, что мне казалось наиболее близким к внутренней правде его личности.

Я чувствовал, что это мне удастся, и вскоре услышал смех Льва Николаевича, смех чисто русский, мужицкий, полный добродушной искренности, а затем и слова одобрения. Разумеется, это меня обрадовало и одушевило. Я с усиленным вниманием стал следить за впечатлением, производимым на Льва Николаевича; и передававшееся моему настроению сочувствие его всему, что казалось самому мне естественным и правдивым в изображении 3-го мужика, рассеивало мою неуверенность и увлекало мое воображение. Я испытывал полное артистическое удовлетворение под обаянием тончайшей чуткости автора пьесы к каждой капельке правды в моей игре и, невольно освобождаясь от всего условного и банального, обычно вносимого актерами в исполнение бытовых ролей, особенно мужицких, сумел, казалось мне, дать образ правдивый.

На Льва Николаевича моя игра, видимо, произвела впечатление, превышавшее мои ожидания. Он ею был удовлетворен, и это удовлетворение выразилось в такой почти детской его радости, которая совершенно смутила меня.

Он смеялся до слез, оживленно делился своими суждениями с окружающими, ударял себя ладонями по бокам и добродушно, по-мужицки, мотал головой.

Он подошел ко мне.

— Знаете ли,— сказал он,— я всегда упрекал Островского за то, что он писал роли на актеров, а теперь вот я его понимаю; если бы я знал, что третьего мужика будете играть вы, я бы многое иначе написал: ведь вы мне его объяснили, показали, какой он; надо будет изменить.

И Лев Николаевич взял рукопись и пошел ее переплетать.

Роль 3-го мужика была значительно пополнена словами и несколько изменена. Между прочим, деньги, которые, по первоначальной редакции, хранил у себя второй мужик, были переданы 3-му мужику как самому надежному и горячему блюстителю общественных интересов; в последнем акте 3-й мужик уже падал второпях на пороге двери, врываясь в переднюю Звездинцева, а не ударялся лицом о косяк, как это было в первой редакции.

В тот же день вечером, за чаем, беседуя о сценическом искусстве, Лев Николаевич так определял смысл и значение художественного творчества:

— Наблюдательность художника заключается в способности видеть в окружающей действительности те черты явлений, которые не затрагивают сознания других людей; он видит кругом себя то же, что и другие, но видит не так, как другие, и затем, воспроизводя в своем творчестве именно те черты действительности, которые другими не замечались, заставляет и других людей видеть предметы так, как он сам их видит и понимает.

Поэтому в каждом художественном произведении мы находим для себя нечто новое, поучаемся. Вот вы,— сказал Лев Николаевич,— в изображении мужика даете тот самый образ, который каждый из нас видел в дей-

ствительности, но вы сумели заметить и передать в нем то, чего нами не примечалось, и я сам увидел в этом образе нечто для себя новос...

В том же разговоре меня удивило и опечалило отрицательное отношение Льва Николаевича к Шекспиру. Лев Николаевич утверждал, что люди, принадлежащие к так называемому высшему классу, восторгаются Шекспиром только потому, что считают нужным это делать просто по общепринятому ходячему мнению о его гениальности, но не дают себе отчета, в чем же, собственно, мировое значение художественных произведений Шекспира; серьезно мыслящим людям чужд интерес к тому, что изображает Шекспир; его пьесы устарели: кому теперь какое дело, что кто-нибудь полюбил или разлюбил кого-нибудь; личные страсти, столкновения и интриги — все это не может уже захватывать души современного человека; от художественного произведения мы теперь требуем иного, требуем разрешения волнующих нас вопросов жизни, нового знания, поучения.

Такие взгляды на искусство шли совершенно вразрез с моими, и я стал возражать. Лев Николаевич горячо оспаривал меня. Но и тогда, как и во всех последующих разговорах в его присутствии, меня поразила та серьезность, с которою он считался с чужими мнениями, хотя бы эти мнения принадлежали человеку, перед которым Лев Николаевич стоял на недостигаемой высоте научных знаний и философской мысли.

К каждому собеседнику он относился как к равному себе. Спорил он горячо, резко, но надо было видеть эту чистую, искреннюю радость, которой светились его глаза, когда он находил сочувствие в своем слушателе или видел, что мысль его понята собеседником.

Мне ясно стало, до какой степени несправедливо распространено в обществе мнение о том, что Лев Николаевич рисуется своими проповедями, что не проводит в свою жизнь своего учения, словом — делаемые ему упреки в его неискренности. Я вынес твердое убеждение в том, что каждое слово Толстого вытекает из глубины его сердца, что его проповедь — результат не только величайшей работы мысли, но и сильнейших душевных мук, тех мук, которые может дать человеку необъятная ширь воображения. И мне казалось, что в душе Льва Николаевича совершается трагедия, что беспощадность

самоанализа лишает его возможности найти удовлетворение в самом себе, что он не находит в себе самого того, что признает необходимым для человеческой жизни и чего требует от других, сознает в себе противоречие с непосредственным чувством, борется сам с собой; и в этом раздвоении — его страдание.

На следующий день была генеральная репетиция...

Воодушевление исполнителей было полное. Лев Николаевич был доволен и весело подбадривал актеров своими меткими замечаниями. Как зритель, Лев Николаевич был необыкновенно приятен. Чувствовалось отношение к актерам участливое, доброжелательное, с оттенком той наивности, которая, как я замечал, свойственна впечатлительности старых людей, выдавших русскую сцену в ее прошедшую славную эпоху господства величайших талантов. В его критике не было и тени той педантичной требовательности и той холодной строгости анатомического исследования игры актера, которые составляют отличительные свойства современной театральной критики и способны погасить в актере всякую искру увлечения. Он отдавался впечатлению доверчиво, всей полнотою души.

Генеральная репетиция прошла с полным успехом.

Наступил спектакль. Лев Николаевич был полон оживления. Он то приходил за кулисы и смотрел грим, восторгаясь удачной гримировкой или костюмом, то ходил по рядам публики и с увлечением рассказывал, как репетировалась пьеса и как кто играет. Увидав меня за кулисами в костюме и полном гриме, Лев Николаевич вышел в публику и объявил:

— Лопатин как выйдет — всех уморит. Уморит, уморит!.. — повторял он, хохоча до слез.

Такое предсказание до того меня смутило, что я несколько омрачнел. «Что же это со мной делает Лев Николаевич? — думал я. — Каково мне выходить на сцену при ожидании публики увидеть во мне нечто до того великолепное, что можно «умереть от смеха». И я играл уже не с тем подъемом, как на генеральной репетиции. Я даже высказал по этому поводу свою досаду Льву Николаевичу.

— Ну, да это для вас вышло не так, — ответил он, — а для нас-то так. По-моему, превосходно.

Так были сыграны, в первый раз, «Плоды просвещения», 30 декабря 1889 года.

...При пробах грима на генеральной репетиции «Плодов просвещения» в Ясной Поляне я случайно приложил к своему лицу бороду, по складу своему напоминавшую бороду Льва Николаевича, и все присутствовавшие были крайне удивлены неожиданным сходством, получившимся у меня, с лицом Льва Николаевича. И вот через два года, когда у молодого поколения Толстых явилось желание устроить на святках какую-либо святочную забаву, о сходстве моего грима с лицом Льва Николаевича вспомнили и решили устроить костюмированный вечер, на котором и изобразить посредством грима современных общественных деятелей, а в их числе и самого Льва Николаевича.

Воспроизведение двойника Льва Николаевича было поручено мне.

Участие в задуманной затее меня несколько смущало. Я опасался возможности произвести на Льва Николаевича неприятное впечатление изображением пародии на него же самого, да и, кроме того, не был уверен в самом успехе такого замысла. Могло получиться что-нибудь очень нехудожественное. Тем не менее участвовать в затее я согласился. Татьяна Львовна добыла блузу и кушак Льва Николаевича. И вот у них во флигеле, вечером, вся наша компания оделась в соответствующие изображаемым лицам костюмы и загримировалась. У всех грим оказался удачным и, кажется, одним из лучших у меня.

Заранее была сделана по портрету Льва Николаевича борода очень искусным гримером, известным Яшей Гремиславским (ныне гримером Художественного театра), им же были наложены по портрету Льва Николаевича черты лица, и получилось из моего лица нечто очень схожее с Львом Николаевичем...

Одевшись в блузу Льва Николаевича, надев его пояс и засунув руки за пояс, я со всей компанией направился в залу.

Тут были: известный профессор Захарьин (его изображал А. А. Федотов), Антон Рубинштейн (В. А. Маклаков), Владимир Соловьев (А. В. Цингер), Лев Лопатин (В. Е. Ермилов), И. Е. Репин (В. К. Молодзиевский), А. А. Брандуков (Д. П. Сухов).

Мы входили в залу постепенно. Первыми появились *Владимир Соловьев* и *Лев Лопатин*. Не все сразу заметили, что это маскарад...

Следующую пару составляли *Рубинштейн* и *Брандуков*. За ними вошли *Захарьин* и *Репин*.

Лев Николаевич стоял в дверях гостиной и с большим интересом смотрел на входящих. Последним вошел в залу я. Мое появление сначала произвело среди присутствовавших видимое смущение, но тотчас же сменившееся шумным одобрением.

Под шум аплодисментов я подошел ко Льву Николаевичу. Он подал мне руку. И вот, под общий громкий смех, общие аплодисменты и визг детей, два *Льва Толстых* жали друг другу руки. Сам Лев Николаевич разразился заразительным смехом и с добродушным любопытством начал осматривать меня.

— Блузу-то откуда вы взяли? — спросил он.

— Тайно похитили у вас.

Весь этот вечер Лев Николаевич был очень весел. Грим оказался настолько правдоподобным, что когда начали приезжать группы ряженных, а я стоял у лестницы и встречал приезжавших, то маски с благосклонным любопытством всматривались в меня и отдавали мне самый почтительный поклон, очевидно принимая меня за подлинного Льва Николаевича. Я отвечал на поклоны, стараясь в манерах симулировать оригинал. И надо было видеть крайнее недоумение, когда гости тут же следом встречали другого Льва Николаевича.

Мне все-таки было неловко изображать собою подобие Льва Николаевича перед его собственными глазами. Но он, кажется, не находил ничего в этом неприятного для себя и сам восхищался удачною пародией на себя.

П. ГАНЗЕН

ПЯТЬ ДНЕЙ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

(В апреле 1890 г.)

...Лев Николаевич быстро подошел ко мне, приветливо поздоровался, выразил удовольствие познакомиться со мной и пригласил пройти вместе с ним и Дунаевым прогуляться.

Гуляя, мы много разговаривали. Между прочим, Лев Николаевич извинился, что ни разу не ответил мне на мои письма, объясняя это тем, что, не ответив в первый раз, он уже постеснялся писать во второй, а дальше уж и совсем неловко было, так и осталось. Я в свою очередь извинился за свое несколько раннее утреннее прибытие и выразил опасение, что потревожил хозяина. Лев Николаевич ответил, что, правда, мало спал в эту ночь, увлекшись своей последней работой, но что моему приезду очень рад, так как именно этот приезд даст ему толчок к работе и теперь «Послесловие» к «Крейцеровой сонате», должно быть, будет окончательно отделано на днях *. Говорили мы также много о датском писателе, интересующем Льва Николаевича, о Киркегоре...

За обедом Лев Николаевич сказал мне, что успел просмотреть из привезенных мною рукописей кое-что и что ему особенно понравились афоризмы. Вообще Лев Николаевич о Киркегоре очень высокого мнения, хотя и находит, что датский философ «молод», вследствие чего у него много задора...

Помню, что, между прочим, речь шла о поэзии.

Я спросил у Льва Николаевича, не писал ли он когда-

* Я тогда только что окончил перевод на датский язык «Крейцеровой сонаты» и, узнав, что Толстой пишет послесловие к ней, очень хотел скорее получить рукопись последнего, чтобы иметь возможность выпустить в свет перевод повести вместе с послесловием. (Прим. П. Ганзена.)

нибудь стихов. Он засмеялся и сказал, что в этом грехе неповинен.

— Так вы считаете это грехом? — пошутил я.

— Нет, — ответил он, — но вообще и так не знаешь, как бы выразить свои мысли достаточно просто и ясно, а тут еще намеренно связывать себя рифмой!..

Он производит сильное впечатление, хотя и далеко не такое, какого можно было ожидать, судя по описаниям его посетителей. Большинство из них постоянно старается окружить его каким-то ореолом, между тем как нет ничего более не подходящего к его личности. Как в своих сочинениях, так и в будничной жизни он безыскусственно прост. Таким образом, если не настроить себя на торжественный лад, и нельзя получить иного впечатления, кроме самого простого, естественного, исполненного лишь симпатии и уважения к человеку, уразумевшему и воплотившему в себе духовную простоту жизни...

На третий день, позанявшись после завтрака, Лев Николаевич зашел ко мне с оконченным «Послесловием» в руках, которое прочел нам с Дунаевым.

Я никогда не забуду этого чтения. Дело в том, что самого процесса чтения как будто и не было, а содержание так прямо непосредственно вливалось нам в душу. Лев Николаевич сидел близко возле меня, с наклоненной над тетрадь головой, ни разу не подняв ее во время чтения, чтобы взглянуть на слушателей, как обыкновенно делают чтецы. Самая манера его читать так проста и естественна, что внимание сосредоточивается всецело на содержании читаемого, не отвлекаясь при этом — как это часто бывает — ничем посторонним, например различными особенностями лектора, звуком его голоса, интонацией, выражением лица и т. д.

Окончив чтение, Лев Николаевич вручил мне рукопись и ушел к себе в кабинет, откуда скоро раздалось тихое постукивание молотка о колодку. Это было в первый раз, что я «услышал» Льва Николаевича за сапожной работой.

Желая увезти с собою копию «Послесловия», я сейчас же сел за переписку...

Узнав, что я переписал рукопись, Лев Николаевич пожелал пересмотреть чистый экземпляр и вернул его мне на другой день неузнаваемым. Многие страницы были вычеркнуты, появилось пропасть помарок, вставок

и т. п. Я переписал еще раз, и Лев Николаевич переделал еще, да так и пошло. В четыре дня я переписал «Послесловие» пять раз...

Изменяя редакцию «Послесловия», Лев Николаевич, между прочим, похерил одно место, которого мне стало жаль, и я сказал ему:

— Вот тут была у вас одна прекрасная мысль; жаль, что вы не оставили ее.

Но Лев Николаевич возразил:

— Что одна мысль? Ведь одним кирпичом не выстроить дом, надо множество их; так и тут. Одна мысль ни к чему; надо, чтобы их были сотни; тогда лучшие вытеснят худшие, и наконец что-нибудь да выйдет...

Во время моего пребывания в Ясной случилось, что Лев Николаевич сам высказался по поводу своей манеры писать. Дело было так.

Раз как-то за столом Татьяна Львовна заговорила с братьями о каком-то романе, который она пишет.

— Ты пишешь роман, Таня? — спросил отец.

— Да, вот только не знаю еще, как его кончить. Плана все не могу составить.

— Да зачем же тебе план? Надо только вполне выяснить себе идею, а во время работы она разовьется сама собой.

— Разве ты не знаешь вперед, чем кончишь свой рассказ? — спросила Татьяна Львовна.

— Нет, не знаю. Развязка вытекает вполне естественно из самого хода мысли и вещей...

Вскоре у нас завязался разговор о прежней литературной деятельности Льва Николаевича, причем Дунаев горячо отстаивал значение «Анны Карениной» и пользу, которую роман принес обществу.

— Ну, какая там польза! — воскликнул Лев Николаевич недовольным тоном. — Я ее не вижу. Вот «Азбука» моя принесла пользу; зато о ней целых два года никто и не заикнулся. Но спрос на нее теперь очень большой, и я убедился, что она действительно приносит пользу...

Затем разговор перешел на иностранную критику, и тут Лев Николаевич сказал:

— Есть у меня две личные антипатии: французский критик Тэн и датский Брандес. Читая их, постоянно чувствуешь, что они сами заслушиваются собственными речами, а эта черта мне крайне несимпатична...

А. В. ЖИРКЕВИЧ

ВСТРЕЧИ С ТОЛСТЫМ

20 декабря 1890 г.

Наконец-то я увиделся со Львом Николаевичем Толстым! Только сегодня ночью я приехал из Ясной Поляны, где провел время с десяти часов утра до половины двенадцатого ночи. Пользуясь тем, что не все время в Ясной Поляне я был с Толстым и его семьей, я делал наедине карандашом заметки в мою дорожную записную книжку и теперь, вернувшись в Москву, по этим записям и по памяти восстанавливаю мои беседы с Толстым. Вот разговоры с ним об искусстве и литературе.

Толстой. Во всяком произведении должны быть три условия для того, чтобы оно было полезно людям: а) новизна содержания, б) форма, или, как принято у нас называть, талант, и в) серьезное, горячее отношение автора к предмету произведения. Первое и последнее условия необходимы, а второго может и не быть. Я не признаю таланта, а нахожу, что всякий человек, если он грамотен, при соблюдении двух других указанных мною условий может написать хорошую вещь. Я собирался вам на эту тему писать огромное письмо, но я знал, что оно разрастется в целую статью, и очень рад, что могу теперь переговорить с вами лично. Для примера я укажу на известных наших писателей. Достоевский — богатое содержание, серьезное отношение к делу и дурная форма. Тургенев — прекрасная форма, никакого дельного содержания и несерьезное отношение к делу. Некрасов — красивая форма, фальшивое содержание, несерьезное отношение к предмету и т. д.

Современная литература вся основана на прекрасной

форме и на отсутствии новизны в сюжете. Прочтите Евгения Маркова, Максима Белинского, Антона Чехова и др. Форма доведена до совершенства. А кому какую пользу принесет все их писанье!..

Они все выработали путем навыка известный слог, набили, так сказать, перо — и им пишется легко. Но где же то новое, что должно двигать общество, указывать ему на его недостатки, открывать ему глаза на новое явление духовного мира, на новый путь нравственного совершенствования? Этого нового у них нет! Все наши современные писатели описывают очень интересно и по большей части цинично любовь, женщин, разные случаи жизни... Но где же идея в их произведениях? Прочтешь их и спрашиваешь: «Зачем человек писал все это, тратил время, работал?» Ответ готов: или для славы, или для материальной выгоды. И то и другое ужасно и гадко. Живое слово есть средство, с которым обращаться, как с вещью, нельзя. Не верьте поэтам, когда они станут говорить вам, что пишут ради «искусства для искусства». Нет! Или корысть, или желание, чтобы о них говорили, ими двигают. Я сам писал много, и если говорю вам это, то потому, что сам я грешил прежде желанием, чтобы обо мне говорили.

На мой взгляд, разные юбилеи так называемых «маститых поэтов» — позор для русского имени. Например, известный вам *Фет*. Человек пятьдесят лет писал только... глупости, никому не нужные, а его юбилей был чем-то похожим на вакханалию: ¹ все старались его уверить, что он пятьдесят лет делал что-то очень нужное, хорошее... И он сам в это верит. В этом-то весь комизм таких юбилеев.

Я. Но стихотворения *Фета* доставляют удовольствие, отвлекают человека от мрачной обстановки современной действительности...

Толстой (гневно перебивая меня). Это и худо! Во-первых, ничто не должно отвлекать человека от жизни. Он должен жить, и жить осмысленно. Во-вторых, кого надолго отвлекут стихи? Я, конечно, говорю про душевно нормального человека. Да, стихами можно принести удовольствие и стать забавой для толпы, вроде какого-нибудь паяца, фокусника, гипнотизатора...

Я. Отчего же, Лев Николаевич, падает наша литература?

Толстой. Конечно, первая причина — цензурные условия. Цензура вычеркивает у нас все то, что ярко, что ново, что движет мысль, и оставляет одно бесцветное, ненужное. Пока занята таким непохвальным делом — не стоит писать. Я это как-то говорил и Короленко и Златовратскому (они были вместе у меня) ². Те, конечно, на меня обиделись. Имеет сейчас успех брошюрка, рукопись. Но если у вас нет имени, вас и читать не станут.

Я. Но наша критика...

Толстой (опять с пылом перебивая меня). У нас не критика, а безобразие! Все критики преклоняются перед красивой формой и перед всяким содержанием, лишь бы оно было *ново*. Но новизну надо понимать в связи с пользой. Я иначе этого и не признаю.

Содержание же, как я вам уже писал, должно быть такое, чтобы писатель вел за собою толпу ³. То есть я вижу, положим, зло, страдаю от него, переживаю его и вот — создаю вещь, где указываю на это зло, которого большинство, кроме меня, не видит. Вот это и есть то, что нужно. Обратите внимание на плодовитость наших молодых писателей. Эта легкость писанья прямо указывает на умственный разврат, на отсутствие серьезного отношения к делу.

Разве темы, посредством которых я могу раскрыть глаза обществу, встречаются так часто? Разве человек может так часто переживать вновь открытое им и неизвестное еще миру содержание события, жизни и так далее? И критика наша — умственный разврат: она поощряет эту легкость писанья, эту проституцию мысли, слова и чуть не носит на руках какого-нибудь Фета, Полонского. В этом саморазвращении критики опять-таки играют роль два двигателя: корысть или жажда популярности — поверьте моему опыту. Какой-нибудь Евгений Марков пишет для гонорара, какой-нибудь Скабичевский хвалит его, пишет о нем статьи для гонорара же, — благо платят в газетах и журналах за всякое испывание бумаги. Следовательно, вот и вторая причина упадка литературы: наша критика. Идет мужик — опишут мужика, лежит свинья — ее опишут, и так далее. Но разве это искусство?

А где же одухотворяющая мысль, делающая бессмертными истинно великие произведения человеческого ума и сердца, — хотя бы евангелие? И как легко дается это

писание «с натуры»! Набил себе руку — и валяй! Так и многие наши поэты. Ну, например, хоть ваши «Картинки детства»! ⁴ Кому нужны ваши типы? Что вы ими сказали нового, кого двинули на доброе?

Я. Но, Лев Николаевич, у каждого бывает своя молодость. Ведь и вы написали «Метель», «Детство и отрочество». Отчего же вы не признаете за каждым права молодости?

Толстой. Кто вам это сказал? Я всегда любил, уважал и понимал молодежь и снисходительно отношусь к молодости. Но есть же ведь для чего-нибудь на свете *опыт*, так называемый исторический опыт. Ведь прошлые поколения передают нам нравственное и умственное наследство для того, чтобы мы им пользовались с толком, чтобы двинулись дальше, и именно с той, последней, ступеньки, которую они нам прочно укрепили. А вы считаете нужным, чтобы всякий человек начинал свой духовный подъем непременно с самого подножия горы, а не с последней проложенной его предками ступеньки. Тогда и прогресс был бы немыслим. Напротив того, вы видели недостатки молодости ваших предков, и они вам в этом отношении оставили хорошее наследство. Воспользуйтесь же им и не повторяйте их ошибок... Впрочем, вся наша так называемая «классическая литература» может быть названа молодостью. Пушкин, Лермонтов, Гоголь — все это умерло, как назло, в ту минуту, когда талант их креп, когда они могли подарить миру действительно капитальные, поразительные вещи... И что это была за гениальная молодость... Пушкин стал уже переходить к прозе и, наверное, бросил бы стихи, если бы не умер.

Я. Но отчего же большинство наших лучших прозаиков начинают стихами?

Толстой. А в этом и сказывалась их молодость. Но нам смешно писать стихами только во имя молодости, оправдываясь увлечением молодости, в то время как мы уже созрели настолько, что видим весь комизм втискивания мысли в стихотворные рамки.

Я. Однако песни, стихи всегда были достоянием народа. У нас масса народных песен.

Толстой. Так что же из этого? И это указывает лишь на увлечение молодости. Киргиз до сих пор поет потому, что он первобытный, еще дикий человек. Русский

мужик стоит на низкой ступени умственного развития. Припомните, что эпохи миннезингеров, менестрелей, бардов, баянов были эпохами умственного застоя. Песни, по мере того как появлялась умственная интеллигенция, уходили из высшего класса к народу, и когда этот народ умственно мужал, они теряли у него значение. Прежде без песен не обходился ни один акт жизни европейских народов. А теперь ходят по деревням и городам, у нас и в Европе, собирать песни, чтобы они не исчезли совершенно. Пушкин был как киргиз...

Я. Но отчего же не писать стихи, если они даются легко?

Толстой. Вот уж этому не могу поверить! Вгляните на рукописи Пушкина...

Я. Но что же, Лев Николаевич, делать? Неужели же бросить писанье?

Толстой. Конечно, бросить! Я это всем говорю из начинающих. Это мой обычный совет. Не такое теперь время, чтобы писать. Нужно дело делать, жить примерно и учить на своем примере жить других... Знаете ли что. Я заметил, изучая историю литературы, следующее: литература подобна волнам моря. В море волна подымается. Затем образуется углубление — и опять подымается волна. В истории литературы это опускание и подымание также чередуется. Подыманию волны соответствует изящество, выработка формы, опусканию — глубина содержания. Теперь у нас эпоха торжества формы. Весь склад общественной жизни этому способствует. Но я верю, что это продолжится недолго. Наступит снова истинное торжество литературы — глубина содержания. А там опять восторжествует форма — и литература пойдет на площади забавлять толпу, как она делает это теперь. Не думайте, что подобное явление только в литературе. Нет! Все роды искусства подойдут под мой взгляд: музыка, живопись. И в них форма и глубина содержания чередуются. Слияние этих двух моментов бывает очень редко, и делают его гении.

Я. Неужели и современная живопись, Лев Николаевич, по-вашему, бессодержательна?

Толстой. А вы думаете, что нет?

Я. Вот, например, Репин.

Толстой. Я знаю, что вы дружны с Репиным; но это не помешает мне сказать вам правду. У Репина тех-

ника доведена до великого совершенства. Но у него, в его картинах, нет идей,двигающих общество вперед. Его «Иоанн Грозный», «Царевна Софья», «Не ждали» — все это хорошо, поразительно, даже страшно правдиво написано. Но в этих картинах схвачен только известный психологический момент, то есть сделано опять-таки писанье с натуры, которое мы видим и в современной литературе. Но если вам страшно за Иоанна Грозного и жаль его, то что же другое вы вынесете из созерцания этой картины Репина? Толкнет ли она вас вперед? Ведь мы и без Репина знаем из истории, что и в Иоанне, как во всяком человеке, жили и зверь и существо, способное мучиться угрызениями совести. Однажды, помню, Репин показывал мне свою картину «Крестный ход в лесу»⁵. Видимо, самому Репину картина нравилась. А я спрашиваю его: «Вы человек православно верующий?» — «Что вы! — говорит. — За кого вы меня принимаете?» — «Ну, значит, вы хотели посмеяться над суеверной, невежественной толпой?» — «И не думал». — «Так зачем вы писали эту картину?» — «Знаете ли, — говорит Илья Ефимович, — тут световые пятна так хорошо падали на толпу...» Эти «световые пятна» — лучшая иллюстрация того, что я сказал: Репин, видимо, не преследовал здесь никакой идеи, а погнался за световыми эффектами. И это крупный самородок, который с его техникой мог бы дать нам чудеса искусства!

Крамской уже выше Репина. «Христос» Крамского — великая вещь. Я понимаю этого Христа и вижу в нем глубокую мысль. А взгляните на большинство наших художников. Для чего они пишут? Конечно, для публики, как современные литераторы. Картины их покупаются, а я ни за что не повесил бы у себя всех этих Шишкиных, Клеверов, Маковских и т. п. Они не будят мой ум, а только — чувство, раздражают глаз и не забрасывают в душу никакого тревожащего совесть луча... А «Христос» Крамского забрасывает туда этот луч, и повесьте у себя эту картину — она вечно будет тревожить вашу душу. А у Репина все построено на грубом эффекте, на поразительной технике. И вот он создал две-три талантливых вещи и не идет далее... Да! Эпоха наша — эпоха поклонения не духу, а форме, и цензура везде, во всем — одна из причин того, что мысль наша робко спряталась и дремлет. Но настанет, настанет еще время, когда ста-

нут снова поклоняться духу! Видели ли вы картину Ярошенко — арестанты смотрят из-за решетки тюремного вагона на голубей? ⁶ Какая чудная вещь! И как она говорит вашему сердцу! Вам жалко этих бедняков, лишенных людьми по недоразумению света, воли, воздуха, и этого ребенка, запертого в вонючий вагон. Вы отходите от картины растроганный, с убеждением, что не надо лишать человека благ, данных ему богом... Вот как должен действовать на вас художник. Картины Ге тоже проникнуты идеей, и я отхожу от них с желанием добра, с сочувствием к ближнему. Если бы не цензура, и наши художники создали бы великие вещи. Но как писать, если знаешь заранее, что придет полицейский и выбросит с выставки твою картину? Для этого надо многое: и личное мужество, и средства, и святое поклонение правде. И что случилось с Крамским? Он начал писать портреты как единственные вещи, которые можно писать без цензуры и которые дают доход. Талант его, видимо, угасал. То же и Репин и многие другие.

Я. Но когда же писать? Тогда ли, когда есть на то потребность; или надо засаживать себя за труд? Мне, например, корреспондент «Нового времени» Молчанов говорил, что знал лично Дюма и Золя, которые признавались ему, что каждый день засаживали себя на известное количество часов за работу. Они говорили Молчанову, что при таком способе, написав десять посредственных вещей, им удавалось написать одну хорошую.

Толстой (гневно перебивая меня). Ради бога, не слушайте разных Молчановых, Золя, Дюма! Писать так, как писали Дюма, Мопассан и другие французские романисты, не стоит. Это опять-таки и во Франции та же история, что с нашей литературой: торжество формы над глубиной содержания. Мопассан выработал себе слог — и ему ничего не стоит засадить себя и писать, как пишет писарь. Два, три, пять часов, по заказу. А вы послушайте меня. Когда вам хочется писать — удерживайте себя всеми силами, не садитесь сейчас же. Советую вам это по личному опыту. Только тогда, когда не вможу уже терпеть, когда вы, что называется, готовы лопнуть — садитесь и пишете. Наверное напишете что-нибудь хорошее.

Я. Я всегда жалел, что у меня слабая память, что я не могу заранее мысленно набрасывать весь план работы. Всеволод Крестовский говорил мне, что он заранее все обдумывает и потом уже садится записывать.

Толстой. Оттого-то у Крестовского все его сочинения и выходят никому не нужными. Память тут не нужна и незачем наизусть намечать планы. Надо, чтобы созрела мысль, созрела настолько, чтобы вы горели ею, плакали над ней, чтобы она отравляла вам покой. Тогда пишете. Содержание придет само. Знаете ли вы, что я очень часто сажусь писать одно и вдруг перехожу на более широкие дороги: сочинение разрастается... Как можно связывать себя узкими рамками плана? Мне приходилось иногда начинать литературную работу и при писании какой-нибудь подробности брать эту подробность, обращая ее в отдельный труд, обратив в подробность первоначальное главное.

Я. Но если ждать такой потребности писанья, о которой вы говорите, то можно ничего не написать!

Толстой. И отлично сделаете. Хотя знаете ли что, на мой взгляд, человек и может написать что-нибудь истинно порядочное только лет под сорок — пятьдесят, то есть тогда, когда духовный мир его определится. А до той поры в нем все еще бродит и страсти командуют... Только лет десять назад глаза мои открылись на мир божий, и я стал понимать жизнь. С этой минуты я и сделался серьезным писателем, то есть под старость, почти стоя одною ногою в могиле. В духовной жизни человека есть нейтральная точка, став на которую, он сразу увидит всю правду и ложь жизни. Это все равно как в шаре есть центр. Если вы хотите видеть всю комнату хорошо, то должны стать посередине, а не смотреть на нее из-под дивана, стоящего у стены. И вот я нашел эту точку...

Я. Но вы все-таки остались великим художником слова!

Толстой. Только не в вашем смысле «искусства для искусства». Если я и теперь иногда обрабатываю форму, то для того, чтобы содержание моих взглядов было легче всеми понято. Много говорят и кричат о художественности моей «Крейцеровой сонаты». А я там дал место этой художественности ровно настолько, чтобы ужасная правда была видна яснее...

12 сентября 1892 г.

Я приехал в Ясную Поляну в отсутствие хозяев. Вечером Лев Николаевич вместе с сыном Львом и дочерью Татьяной вернулся из Бегичевки, где помогал голодающим...

Толстой стал рассказывать мне и другим, его встретившим, о тех тяжелых сценах, которые видел он в местах голодовки, где устраивал народные столовые. По поводу этих столовых он ездил в Тулу, к губернатору. Однако, когда я стал его спрашивать, он махнул рукою и сказал: «Тут ничего не расскажешь! Надо самому все видеть на месте»...

13 сентября.

...Я напомнил Толстому об Апухтине. Лев Николаевич получил от него письмо⁷, но не дочитал его до конца (Апухтин укорял Толстого в отпадении от православия, в измене культуре и т. п.). Толстой бранил Апухтина и как человека и как поэта. Он говорил: «У Апухтина расплывчатые образы. Стих его не сжат, не выкован. Ни одного истинно поэтического сравнения. Все выдуманно»...

Толстой поймал меня на том, что, по его предложению, я не смог прочесть наизусть ни одного стихотворения Апухтина. Это будто бы служит доказательством того, что муза Апухтина не оставляет памятного впечатления. Когда я привел ему содержание стихотворения, в котором смерть матери констатируется тем, что она остается бесчувственной, когда ей на грудь кладут ее ребенка, Толстой с негодованием воскликнул: «Какая бессмыслица! Какая риторика! Где же здесь поэзия? Все выдуманно! Все заранее сочинено!»

14 сентября.

С утра гулял по яснополянскому парку. Лев Николаевич посылал человека искать меня. По его просьбе написал прошение двум крестьянам в съезд уездных земских начальников. Крестьяне приговорены к тюремному заключению за мошенничество и с улыбками сознались мне в том, что действительно сплутовали. В тот же день я сообщил Льву Николаевичу, что ведь крестьяне-то виноваты. Он ответил: «И я в этом не сомне-

ваюсь. Но виноваты не они, а обстановка. Ведь этот немец, с которого они хотели вторично взять деньги, изну-рял их работою под землей, тянул из них все силы»...

— Я задумал уже давно новый, огромный роман вроде «Войны и мира». В «Войне и мире» отдельные лица ничего не значат перед стихийностью событий. В моем новом романе мне хотелось доказать, что никакими усилиями правительств и отдельных лиц не заглушить общечеловеческих начал, лежащих в каждом человеке... Я, между прочим, хотел вывести в романе русского переселенца, который дружит с башкиром...⁸

15 сентября.

Вот несколько высказываний Толстого о живописи и литературе, записанных мною в этот же день:

— Я не признаю картинных галерей. В них разбрасываешься, впечатление меркнет. Я предпочитаю им книжку с иллюстрациями, которую можно спокойно перелистывать дома, лежа на кровати.

— По моему мнению, все же лучшей картиной, которую я знаю, остается картина художника Ярошенко «Всюду жизнь» — на арестантскую тему.

— Сколько потрачено бесполезно Репиным времени, труда, таланта для такой бессодержательной картины, как его «Запорожцы». А зачем?

— Мои произведения всегда стоили и до сих пор стоят мне огромного труда. Бывают случаи, что я до пяти, десяти раз переделываю одну и ту же страницу или фразу. Многое зависит и от настроения: сегодня мне удаются обобщения, но от внимания ускользают мелочи; а завтра, просматривая то, что было написано мною накануне, я дополняю текст рукописи именно подробностями.

— Время поэзии у нас прошло. Но в прозе есть выдающиеся таланты. Таким я считаю, например, Чехова, Потапенку, Марию Крестовскую (что за чудная вещь ее «Именинница!»). Короленко мне не нравится.

— Между поэтами есть люди с талантами: Фофанов, Фет. У Минского иногда попадаютс недурные стихи. Но и у Фофанова, и у Фета, Полонского чувствуется какая-то незаконченность, порою деланность.

— Возьмите хотя бы из «Евгения Онегина» Пушкина то место из дуэли, где есть рифмы «ранен» и «странен

был томный вид его чела». Эти рифмы «ранен» и «странен» так и кажется, что существовали от века.

— Апухтина, Алексея Толстого, Голенищева-Кутузова я не могу назвать истинными поэтами: все у них выдуманно, стих растянут, а не сжат; нет удачных сравнений. Совсем другое, например, Тютчев. Когда-то Тургенев, Некрасов и компания едва могли уговорить меня прочесть Тютчева. Но зато когда я прочел, то просто обмер от величины его творческого таланта.

— Стихотворения многих современных поэтов я иначе не зову, как «ребусами». Ну что такое, например, писатель Мачтет, который признается многими за талант!

— По моей градации идут сначала дурные поэты. За ними посредственные, недурные, хорошие. А затем — бездна, и за ней — «истинные поэты», такие, как, например, Пушкин.

Лев Николаевич поразил меня в этот вечер своей памятью. Он наизусть читал многие стихотворения Пушкина, Тютчева (например, «Как океан объемлет шар земной»). В стихотворении Пушкина «Телега жизни» два нецензурных слова, там находящиеся, он изобразил комичным мычанием...

16 сентября.

Что за неутомимый ходок Лев Николаевич! Мы все чуть не падаем от изнеможения, а он идет вперед легкой, ровной походкой, шутя преодолевает овраги и косогоры. Всю дорогу он прошел без шапки, которую держал в руках (в этой белой мягкой фуражке он удивительно похож на один из портретов Репина)...

Во время прогулки Толстой несколько раз брал детей за руки и бежал с ними по лесу, по полю. Когда мы проходили вдоль лесной просеки, тянувшейся версты три, поперек ее лежало несколько больших упавших деревьев. Толстой вздумал сам через них перескакивать и увлек в эту забаву и других. Глядя на скачущего Льва Николаевича, я удивлялся, сколько в нем еще сил, энергии, живости, бодрости тела и духа. Лес в окрестностях Ясной Поляны, по-видимому, прекрасно знаком Толстому, полон для него воспоминаний из эпохи детства и молодости. Во время прогулки он указывал мне разные места: в одном он когда-то стрелял молодых тетеревов, взлетающих над низкой порослью, теперь обра-

тившейся в молодую рощу, в другом подстреливал вальдшнепов, в третьем подкарауливал диких коз...

На обратном пути мы с Львом Николаевичем говорили о той нужде, о той темноте, наконец о той беспомощности, которые встречаются у русских крестьян по деревням. Когда мы проходили через какую-то деревню, Толстой сказал: «Не хотите ли, кстати, посмотреть, что делается у крестьян, когда к ним в хаты забирается повальная болезнь? В этой деревне сейчас больны натуральной оспой мой близкий знакомый крестьянин и члены его семьи. Все беспомощно лежат вповалку. Я посылал за фельдшером, посылаю сюда из имения то, что может облегчить страдания. Мне надо навестить их. Зайдемте». Но я побоялся заразы и не вошел в избу. С ним зашла только Мария Львовна. А мы, остальные, продолжали путь к Ясной Поляне. Через час вернулся и Лев Николаевич с дочерью, наскоро помылся и явился к чаю в том же самом костюме, в каком гулял, не приняв никаких мер против возможности занести своим близким заразу.

Вот отрывки моих разговоров с Толстым во время прогулки и дома. Записываю опять только его слова:

— В литературе два сорта художественных произведений. Первый сорт — когда писатель-художник творит то, чего никогда не было. Но каждый, прочтя его труд, скажет: «Да, это правда!» Второй сорт — когда писатель-художник верно, удачно копирует то, что есть в действительности. Настоящий литературный талант творит произведения первого сорта. В живописи то же самое.

— Эмиль Золя — талант, но не говорит ничего своего. Его «Разгром» — вещь слабая. Я читал критику де Вогюэ в «Revue des deux Mondes». Он упрекает Золя, что он, показав, благодаря каким порокам была поражена Франция, не указал, какими доблестями победила ее Германия. Да разве можно говорить о «доблестях» в армии, убивающей, жгущей, насилующей, разоряющей? Моя статья против войны⁹ укажет на эти доблести в надлежащем их свете...

И. Я. ГИНЦБУРГ

ИЗ ПРОШЛОГО

1. В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

В 1891 году я вылепил первую мою статуэтку с натуры; это была статуэтка Владимира Васильевича Стасова, который остался доволен моей работой и подал мне мысль поехать к Л. Н. Толстому и вылепить его статуэтку. Стасов сам вызвался помочь мне в этом деле и написал Софье Андреевне Толстой, прося ее переговорить со Львом Николаевичем и разрешить мне приехать в Ясную Поляну. Скоро последовал ответ от Софьи Андреевны: она согласилась на мой приезд.

Поехал я в Ясную Поляну не совсем здоровым, притом меня сильно смущала предстоящая работа. Мне было известно, что Толстой не любит позировать и что известному портретисту Крамскому стоило большого труда сделать его портрет.

С тяжелым чувством приехал я в Ясную Поляну. Не помню, почему я был в дороге две ночи, и приехал усталый на третий день, часам к девяти утра. На большом стеклянном балконе не было никого, кроме гувернантки-англичанки, разливавшей чай. Я заметил в углу балкона завернутый бюст и обрадовался, что, кроме меня, кто-то еще работает здесь.

Вошел Лев Николаевич. Он подошел ко мне близко, точно наступая на меня, и, подав мне руку, сказал:

— Вы — Гинцбург; вас ожидали еще вчера.

Я оробел, не зная, что сказать. Тогда Лев Николаевич, пристально посмотрев на меня своими умными, пронзительными глазами, мягким голосом прибавил:

— А глину для работы вы привезли?

Мне показалось, что он это сказал нарочно, желая вывести меня из состояния смущения, которое, конечно, не ускользнуло от него.

— Привез, но небольшой кусок,— ответил я весело, почувствовав его доброту и сердечность. Мне сделалось легко, точно камень, который всю дорогу давил меня, сразу свалился. Я показал Льву Николаевичу кусок глины.

— Мало, мало, этого не хватит. Как же вы, приезжаете и не привезли побольше глины! Впрочем, я знаю в поле одно место, где прекрасная глина: после обеда я вас свезу туда, и мы накопаем много глины, а пока отдохните, наливайте себе сами кофе или чай, что хотите.

Лев Николаевич сказал это, торопливо допивая свой кофе, стоя у стола. Задав мне еще несколько вопросов о здоровье Стасова, Толстой ушел.

Явился И. Е. Репин, и я очень обрадовался, увидав здесь своего старого хорошего знакомого. Он показал мне начатый бюст Толстого, над которым он работал по вечерам.

— А вот сейчас я пойду писать Льва Николаевича в его рабочей комнате; пойдете вместе. Вы начнете статуэтку. Хотите?

— Я устал с дороги, и голова болит,— пробовал я отказываться.

— Смотрите не откладывайте,— настаивал Репин,— вы знаете, где мы теперь находимся. Ведь мы на четвертом бастионе.

Я послушался и пошел за ним.

Толстой уже сидел в своей комнате у окна и писал. Меня поразила обстановка, в которой он работал: старинный подвал напоминал средневековую келью схимника; сводчатый потолок, железные решетки в окнах, старинная мебель, кольца в потолке, коса, пила,— все это имело какой-то таинственный вид. Толстой, в белой блузе, сидел, поджав ногу, на низеньком ящике, покрытом ковриком, напоминая в этой обстановке сказочного волшебника. Он удивленно на нас посмотрел, когда мы вошли, и сказал:

— Работать пришли? Прекрасно. Так ли я сижу?

Мы начали устраиваться. Я уселся возле Репина, который уже кончил свой портрет. Меня восхитила эта

работа: обстановка комнаты, свет, падающий из окна, да и сама фигура Льва Николаевича были написаны с удивительной правдивостью и мастерством. (Картина эта находится в настоящее время в Третьяковской галерее.)

Признаться, мне очень трудно было работать: опасение произвести шум заставляло меня сидеть на одном месте и не шевелиться, а между тем для работы над круглой статуэткой необходимо двигаться и наблюдать натуру со всех сторон. Мне казалось, что наше присутствие стесняло Льва Николаевича; временами он отрывался от работы и вопросительно смотрел на нас, вероятно забывая, почему мы возле него сидим.

— Я вам мешаю? — спросил он.

— О нет, — отвечал Репин, — это мы вам мешаем.

— Нет, — сказал Лев Николаевич, — только я забываю, что вы меня пишете, и оттого, кажется, меняю позу; у меня такое чувство, точно меня стригут.

Несмотря на все неудобства, я, однако, успел во время этого первого сеанса кое-что сделать и рад был, что работа уже начата.

После обеда Лев Николаевич пошел с нами в поле и указал нам место, где была глина. Вместе с нами он копал глину, и мы привезли домой целый мешок. Сыновья Толстого, Андрей и Михаил Львовичи, разулись и целый день месили эту глину. Через день глина была готова, и я принялся за работу. Работал я одновременно с Репиным, у которого бюст был уже значительно продвинут в работе. Сеансы происходили на большом балконе, днем, после обеда.

Я начал очень большой бюст, и размеры его всех смущали; находили, что это некрасиво, но Репин сказал мне:

— Ничего не меняйте, размер прекрасный; надо, чтобы остался большой бюст Льва Николаевича.

Во время сеансов кто-нибудь из домашних читал вслух; помню, что читали тогда биографию Спинозы, и Лев Николаевич слушал с особенным интересом и делал замечания, а когда потом читали «Тружеников моря» Виктора Гюго, то он даже расплакался.

Иногда на балконе собирались гости, с большим интересом следившие за ходом наших работ и сравнивавшие их. Центром всего, конечно, был Лев Николаевич;

все, что говорилось, казалось мне, говорилось для него и ради него. Работали мы, таким образом, два раза в день: утром в кабинете, а днем на балконе.

Случалось, что Лев Николаевич уставал, и Софья Андреевна жаловалась:

— Левочка, тебя, кажется, художники замучат; ты от них очень устал.

Признаться, мы в самом деле преследовали Льва Николаевича: и вне сеансов мы всё его наблюдали. Он это замечал, и это стесняло его. В особенности много занимался им Репин: он везде его зачерчивал. Мне совестно было помимо сеансов беспокоить Льва Николаевича, и я в свободное время рисовал обстановку его рабочей комнаты, дом и окрестности Ясной Поляны.

Лев Николаевич писал тогда «Царство божие внутри вас» и в разговорах все затрагивал те вопросы, которые он излагал в этом произведении. Но случалось, что он беседовал со мною и об искусстве. Особенно памятен мне один разговор во время прогулки. Он меня расспрашивал об академии, которая тогда только что обновилась новым составом профессоров. Его интересовала в этом деле роль передвижников.

— Ведь Владимир Васильевич Стасов всегда ратовал за передвижников и старую академию очень ругал; почему же он теперь против вступления передвижников в академию?

Я рассказал тогда Льву Николаевичу всю историю новой академии и изложил взгляд Стасова на то, что талантливым художникам не следует идти в педагоги.

— Что же, пожалуй, он прав,— сказал Толстой.

От вопроса об академии мы перешли к более общим вопросам искусства и, в частности, скульптуры.

— Вы меня извините,— сказал Лев Николаевич,— вот вы скульптор, а я скульпторов не люблю, и не люблю их потому, что они принесли много вреда искусству и людям; они занимаются тем, что вредно. Они наставили по всей Европе памятников, хвалебных монументов людям, которые были недостойны и человечеству вредны. Все эти полководцы, военачальники, правители только одно зло делали народу, а скульпторы их воспевали как благодетелей. Но главная неправда та, что, увековечивая их, скульпторы представляли многих из них не в том виде, в каком они на самом деле были. Людей сла-

бых, выродившихся и трусливых они представляли всегда героями, сильными и великими; человека малого роста, рахитичного они представляли великаном с выпяченной грудью и быстрыми глазами,— все ложь и неправда. Скульпторы находились на жалованье у сильных мира и угождали им. Такого позора и в такой степени мы не видим ни в одном искусстве.

Однако я заметил на наших сеансах, что Толстой очень интересовался нашей работой: он очень внимательно следил за ходом лепки и делал различные замечания. «Кажется, очень хорошо,— часто говорил он Репину после сеансов,— не знаю, что еще будете делать,— даже кислоту передали». А раз, во время чтения какой-то книги, он попросил у меня воску и, глядя на меня, вылепил мой бюстик. Меня поразило, что он так верно схватил общую форму моей головы.

II. РАДОСТЬ ЖИЗНИ

Всякий раз, когда я бывал в Ясной Поляне, я стремился разрешить вопросы, которые настойчиво предлагали мне друзья, интересовавшиеся Толстым.

— Правда ли,— спрашивали меня,— что Толстой живет в богатой обстановке, что у него есть лакей, что все в его доме веселятся, хорошо едят? И если это правда, то как это примирить с тем, что Толстой проповедует?

Признаться, одно время и меня смущали эти вопросы, смущали не столько по существу, сколько тем, что эти суждения были у всех на языке и, следовательно, затрудняли, затемняли ясное и верное понимание идей Толстого.

Однако, когда я приезжал в Ясную Поляну, мне никогда не удавалось разрешить эти вопросы, не удавалось потому, что я был так поглощен самим Толстым, что не мог уделить много времени и внимания изучению и наблюдению обстановки, в которой жил писатель. Слишком обаятельна была сама личность этого гения-мудреца, чтобы можно было долго останавливаться на том, что, по существу, особенной роли не играет. И только когда я возвращался из Ясной Поляны и перебирал в памяти все, что я там видел (я был там раз десять), я находил огромный материал для решения тех вопросов,

которые одно время так мучили людей, в сущности мало проникшихся глубиной мысли Толстого. Я понял наконец, что только в силу поверхностного постижения личности Толстого, только издалека, когда не видишь и не слышишь самого Льва Николаевича, некоторые действия и поступки его могли показаться противоречивыми и не соответствующими его убеждениям. Но кто видел Толстого и наблюдал его живую, восприимчивую натуру, тот мог убедиться, что все, что издалека казалось противоречивым, на самом деле было только мыслью в движении, неустанной и напряженной работою мысли.

Вероятно, как и многие другие, я приехал в Ясную Поляну в первый раз с готовым представлением, с определенной меркой суждения о том, как должен себя держать мудрец философ, как должен жить гений, написавший «Войну и мир» и «Царство божие внутри вас». Толстой, казалось мне, должен быть угрюм, всегда серьезен, задумчив, несколько рассеян, строг к себе и еще строже к окружающим. Что, если он заметит мою обычную веселость, мое легкомыслие? Чтобы скрыть свои недостатки, я должен стараться быть серьезным в присутствии Толстого. Придется, конечно, отказаться от многих удовольствий, которые сулит жизнь в деревне.

Однако в первый же день моего приезда в Ясную Поляну я убедился, что все мои опасения были напрасны: днем, после работы, Лев Николаевич пришел к нам на балкон и, увидев, что мы сидим без дела, сказал: «Что это вы точно скучаете? Пойдемте в теннис играть. Кто со мной? А вы играете? — обратился он ко мне. — Нет? Жалко!.. Ну, пойдемте, так посмотрите». Во время игры Лев Николаевич был чрезвычайно весел, горячился и волновался за себя и за своих партнеров. «Ай, ай, как я плохо отдал!» — закричал он детски наивно своим мягким голосом. «Молодец Саша!» — крикнул он в другой раз, когда его младшая дочь сделала удачный удар. Глядя на Льва Николаевича, мне досадно стало, что я не играю и не могу разделить с ним его веселье. «Теперь пойдемте гулять, я покажу вам новую дорогу в лес», — сказал Лев Николаевич. Мы пошли. Толстой время от времени останавливался и оглядывался кругом: была чудесная погода, и видно было, что природа радовала его, что он наслаждался ею, точно давно не был в этих местах. «Вот этот лес, какой он густой и пре-

красный; когда-то я сам эти березки насадил; а вот там дорога в сосновый лес, туда прекрасно ездить верхом. А вы катаетесь верхом и купаетесь? — обратился он ко мне. — Вот завтра поедем купаться».

На следующий день, гуляя в лесу, я встретился там со Львом Николаевичем, который был верхом на лошади. «Что вы один гуляете? Поедьте купаться!» И, подав мне руку, он усадил меня на свою лошадь, одной рукой поддерживая меня, а в другой держа повод. Нельзя сказать, чтобы мне очень удобно было сидеть на гриве лошади. В купальне мы застали Репина. Толстой обрадовался ему, потом, быстро раздевшись, прыгнул в воду и исчез. «Как он плавает, точно двадцатилетний юноша!» — восхищался Репин, уже вышедший из воды и принявшийся обтираться полотенцем. «Что вы делаете!» — испуганно воскликнул Толстой, появившийся в купальне с другой стороны: «Вы портите все купанье. Надо обсушиваться на солнце, на воздухе. А вы тряпкой обтираете все то, что дала прелестная вода. Посмотрите, как купаются звери и птицы: они всегда обсушиваются на солнце». На Репина подействовали эти аргументы, и он бросил полотенце.

Известно, что Толстой почти до конца своей жизни любил ездить верхом; прежде он катался на велосипеде, любил играть в городки и в теннис. Лев Николаевич далеко не чуждался веселых настроений вообще. Он смеялся от души, когда ему рассказывали что-нибудь остроумное и веселое, и сам любил рассказывать.

Если я не мог предположить, отправляясь в первый раз в Ясную Поляну, что приму там участие во всевозможных развлечениях, то всего неожиданнее было для меня то, что в первый же вечер я сам сыграл активную роль в этих развлечениях. Утомительная дорога, волнение перед свиданием с Толстым, работа в его кабинете вместе с Репиным, обед за общим столом с совершенно незнакомыми людьми, прогулки в обществе Льва Николаевича, разговоры об искусстве, — все это требовало напряжения всего внимания: я боялся что-нибудь пропустить, хотел все запомнить. Естественно, что к вечеру я почувствовал себя очень утомленным, и потому во время чая, улутив минутку, когда все были чем-то за-

няты, я незаметно спустился вниз, в мою комнату, и прилег отдохнуть.

Но вот неожиданно открывается дверь, и в комнату входит Лев Николаевич. «Вы уже спать собираетесь? Ведь еще рано! А я вот зашел к вам, чтобы попросить вас показать нам ваши мимические представления. Я только что получил письмо от Стасова. Он просит, чтобы вы нам это непременно показали».

Я пробовал отказываться, но Лев Николаевич настаивал: «Пойдемте наверх, там все вас ждут».

Пришлось подчиниться, и я пошел с ним в зал. Мне стало немного жутко: общество мне было мало знакомо, а главное, тут был сам Лев Николаевич, перед которым, казалось мне, стыдно было показывать такие пустяки, которыми я обыкновенно развлекал своих товарищей. «Льву Николаевичу это очень нравится, не робейте!» — шепнул мне Репин и, взяв меня за руку, усадил меня посреди стола, предложив всем гостям рассестся против меня. Лев Николаевич стал против меня в обычной своей позе, заложив руки за пояс, и уставился на меня своими умными, серьезными глазами. Все ждут, надо решиться, и я, овладев собою, стал изображать портного, который кроит, вдвевает нитку в иголку, шьет и утюжит. Слышу громкий смех Льва Николаевича, — он так заразительно смеется, что за ним хохочут все, и я сам начинаю смеяться. «Левушка, — говорит Софья Андреевна, — ты мешаешь», — и Лев Николаевич отходит в сторону. Он не смеется больше, но я вижу, как он глазами и ртом повторяет мою мимику. Это меня смешит, но придает мне больше смелости, и я показываю весь свой репертуар.

На следующий день утром, выйдя в сад, я услышал, как кто-то повторяет мой вчерашний рассказ об ученике, отвечающем урок. Оглядываюсь — это Лев Николаевич, увидевший меня в окно и зовущий меня к себе таким не совсем обычным способом.

Прошло несколько лет. Я приехал в Ясную Поляну после того, как Лев Николаевич перенес тяжелую болезнь. Он мне показался тогда значительно постаревшим. Расспрашивая меня о некоторых знакомых и художниках, он коснулся некоторых вопросов искусства и вдруг спросил: «А сегодня покажете нам?» — «Неужели вы не забыли и вам не надоело то, что вы столь-

ко раз видели?» — заметил я. «Нет, то, что интересно, можно долго смотреть. А вот если вам не хочется показывать, то посмотрите сперва, какие вещи нам покажет мой приятель Сулер. Как интересно и талантливо он изображает животных! Посмотрите, и вам самому захочется показать нам ваши сценки».

Действительно, то, что показал нам Сулержицкий, было так курьезно, смешно и талантливо, что все от души хохотали. Походкою, движениями рук и ног Сулержицкий так изображал слона, а затем рыбу, что мы точно в действительности видели этих различных и ничем не походящих на человека животных.

— Что,— сказал Лев Николаевич, продолжая смеяться,— не правда ли, талантливо?

Конечно, пришлось и мне показывать свое.

III. СТАСОВ У Л. Н. ТОЛСТОГО

Вместе с Владимиром Васильевичем Стасовым мы приезжали в Ясную Поляну несколько раз. Оставались мы там по нескольку дней. Особенно запомнился мне наш последний совместный приезд. Это было в 1904 году, в середине августа¹...

Приехали мы под вечер, прямо к обеду. Лев Николаевич и Софья Андреевна выскочили из-за стола и обнялись со Стасовым. Нас усадили обедать. Стасов сел рядом с Софьей Андреевной, а я — между Львом Николаевичем и каким-то незнакомцем.

— Вы не знаете его? Это художник Орлов,— отрекомендовал мне моего соседа Лев Николаевич.— Вы, вероятно, видали его работы.

И тут же более тихим голосом сказал мне:

— Это замечательный художник.

Начались оживленные разговоры, и все с особенным вниманием слушали интересные рассказы Стасова о наших приключениях во время путешествия. Стасов был в ударе и рассказывал так интересно, что все дружно смеялись.

— Смотрю я на вас и люблюсь вами,— сказал ему Лев Николаевич.— Какой вы бодрый, веселый и юный еще.

Лев Николаевич начал шутить и в свою очередь рассказал нам смешной анекдот.

После обеда разбрелись — одни писать, переписывать и корректировать новые вещи Толстого, а другие по своим делам. Мы со Стасовым остались со Львом Николаевичем.

— Что вы теперь, Лев Николаевич, пишете? — спросил его Стасов.

— Да вот работаю над большим календарем с изречениями²; кончаю другие вещи, пишу и о Шекспире. Не знаю, напечатают ли это теперь. Пускай это появится после моей смерти, и уже потом меня ругают и бранят.

И он начал излагать свой, уже известный теперь, взгляд на Шекспира. Осторожно и мягко пробовал Стасов защищать Шекспира от жестоких порицаний Толстого, но Лев Николаевич не только не смягчал своих нападок, но всякий раз еще сильнее их выражал. Признаться, я опасался, чтобы спор не обострился. Мои опасения разделял и находившийся в комнате П. А. Сергеенко. Насколько я понял тогда, Лев Николаевич ставил Шекспиру в вину, главным образом, то, что Шекспир не любил простого народа, что он сочувствовал тенденциям высших классов и что вообще Шекспир был поклонником аристократии.

— Я читал в подлиннике новеллы, откуда Шекспир черпал свои сюжеты, и все это не так. В этих новеллах чрезвычайно много действительно интересного и правдивого, а Шекспир не так воспользовался этим ценным материалом. Многие очень важные и красивые он пропустил.

Однако спор не принял угрожающих размеров, и мы перешли на другие темы.

Поздно ночью, когда мы ушли к себе, Стасов заметил:

— Какой Лев Николаевич бодрый, веселый и юный еще! А насчет Шекспира я ему еще выскажу мое мнение. Пусть он знает, что я не могу согласиться с ним...

Утром, не успели мы еще одеться, как прибежал Лев Николаевич, бодрый и веселый...

После чая Лев Николаевич собрался верхом в город. Стасов восхищался кавалерийской посадкой Толстого и с особенным удовольствием рассматривал его лошадь.

— Как сидит-то на лошади! Настоящий кавалерист!

После обеда Толстой снова беседовал со Стасовым, причем Лев Николаевич прочел вслух некоторые места из Герцена.

— Что это был за острый и глубокий ум! — сказал Лев Николаевич. — Как он верно и метко поражал врагов своих. От его талантливой пера жутко приходилось его противнику. А помните, как он в немногих словах отметил характер двух императоров? ³

И Лев Николаевич стал наизусть цитировать Герцена. Стасов весь сиял от восторга. Он в свою очередь припомнил некоторые мысли и изречения великого публициста.

Точно вперегонки, эти два старца хвастали знанием и пониманием Герцена, и приятно было видеть, как на этом они совершенно сошлись. Заговорили о новейших писателях, и Лев Николаевич заявил, что он особенно любит Чехова, а о других он отозвался так:

— В сущности, все теперь прекрасно пишут. Уменье писать удивительное; у всех красивый, художественный слог.

— Как он любит Герцена! — сказал мне Стасов, когда мы спустились вниз. — Да, Герцен и Толстой — крупнейшие величины; в моей жизни я не знал никого выше этих двух гениев.

Стасов еще долго не мог успокоиться: все припомнил слова Толстого.

— Все, что я вижу и слышу здесь, так важно, так ценно, что хотелось бы еще долго оставаться здесь. Знаете ли, что я придумал? Ведь мы решили послезавтра уехать. Так вот, я завтра попрошу Льва Николаевича, чтобы он прочел нам что-нибудь из своих новых вещей. Помните, в прошлом году я просил, и он исполнил. Как он читает! Помните? Божественно хорошо!

На следующий день, во время утреннего кофе, Стасов изложил Льву Николаевичу свою просьбу.

— Хорошо, вечером, во время чая, прочту, — сказал Лев Николаевич.

Этот последний день Лев Николаевич почти все время после завтрака провел с нами. Мы втроем гуляли в парке, и Лев Николаевич рассказал нам главное содержание повести «Хаджи-Мурат» и других своих новых вещей.

— Надо торопиться кончать и некоторые другие работы,— вдруг, остановившись, сказал Лев Николаевич, глядя вниз; а затем, подняв свои глаза на Стасова и посмотрев на него своим добрым и глубоким взглядом, сказал: — Да, Владимир Васильевич, нам надо приготовиться теперь. Нас скоро ожидает приятный конец.

— Какой? — спросил Стасов.

— Да вот смерть. Я уверен, и вы ее ждете.

— Черт бы ее побрал! — воскликнул Стасов. — Мерзость, пакость, да еще готовиться к ней! Я часто плохо сплю, ворочаюсь в постели, как подумаю, что придется умереть.

— Однако вы чувствуете же старость, приближение конца?

— Ничего не чувствую, ни в чем себе не отказываю, как прежде, и надеюсь, что и вы, Лев Николаевич, ни в чем себе не отказываете. Вот ездите верхом, играете в лаун-теннис...

Стасову было тогда восемьдесят лет. Его мощная, крупная фигура дышала жизнью, энергией и здоровьем. Он шел быстро, держа шляпу в руках, так как всегда чувствовал жар в голове. Толстой, хотя был моложе Стасова, но казался старше.

«Как различны их взгляды на жизнь,— подумал я,— но как одинаково они ее любят и ценят!»

Лев Николаевич стал спрашивать меня, что я делаю, над чем теперь работаю.

— А лепите вы животных? — спросил он меня.

— Лепил, но мало.

— Какое это чудное искусство и какое важное! В особенности, если выразить то сочувствие, которое люди должны бы питать к животным. Я видел замечательную картину, которая убедила меня, как высоко бывает искусство, когда оно выражает любовь, все равно, в ком эта любовь ни проявилась бы. Собака стоит на берегу с поджатым хвостом и смотрит вдаль, где виден удаляющийся корабль. Страшная тоска и боль чувствуются во всей фигуре собаки, которая оставлена своим хозяином. Впечатление очень сильное, и чувство жалости к животному неотразимое.

Я рассказал Льву Николаевичу, что недавно я видел в Париже, в «Салоне», скульптурную группу «Друзья». Обезьяна ищет у собаки. Собака прижалась к своему

другу, и ей так приятно, что она зажмурила глаза и вся съежилась. Чувство дружбы поразительно выражено в этом произведении искусства. Льву Николаевичу это так понравилось, что, придя домой, он со всеми поделился моим рассказом.

Мы, продолжая прогулку, подошли к забору сада.

— Стойте,— сказал Лев Николаевич,— тут в кустах должен быть проход. Отсюда мы ближе попадем в сад.

И, расправив кусты, он показал мне довольно глубокий ров.

— Осторожно! — предупредил Лев Николаевич.— Темно, а подъем наверх очень крутой.

С трудом взобрался я наверх и предложил руку Льву Николаевичу, чтобы помочь ему.

— Нет, не надо. Я привык. Каждый день взбираюсь таким путем.

И молодецки, как юноша, спрыгнул он вниз и с особенною легкостью взобрался наверх. Мы вышли на большую аллею. Стало светлее.

— Это самая старая аллея, любимое место моих предков. Тут бабушка и дедушка гуляли.

После чая мы с нетерпением ждали обещанного. Лев Николаевич принес из своей комнаты тетрадку. Стасов сел возле него. Софья Андреевна, все еще больная, сидела в своем углу у круглого столика и что-то вышивала. Другие сидели в противоположном углу зала и занимались наклеиванием изречений для календаря, над которым работал тогда Толстой. Я сел возле Льва Николаевича, намереваясь зачертить его во время чтения.

Лев Николаевич начал читать отрывок из «Воскресения», с первых же слов захватывающим образом действовавшего на нас ⁴. Моментами повествование было до того потрясающим, что я должен был перестать рисовать. Карандаш вываливался из моих рук. В зале было гробовое молчание, и все, затаив дыхание, слушали рассказ о генерал-губернаторе, читающем просьбу о смягчении участи несчастного заключенного. Дальше идет целый ряд сцен, бесконечно правдивых и бездонно глубоких по мысли. Лев Николаевич точно в действительности водил нас по тюрьмам, открывал перед нами камеры одиночного заключения и показывал нам живые картины живой и трепетной жизни. И когда он кончил, мы еще долго сидели как бы в оцепенении.

— Четвертая часть еще не готова,— прервал тишину Лев Николаевич.

Было уже поздно, и мы, поднявшись с места, разошлись, не чувствуя больше в этот вечер нужды в каких бы то ни было посторонних разговорах.

— Вот что мы получили,— сказал Стасов, когда мы спустились вниз.

Его глаза были полны слез.

— Ах, что мы услышали, что мы услышали! — с глубоким вздохом повторил он.

Я долго не мог заснуть. Все мерещились мне бессмертные образы, созданные гением Толстого. Мой сосед тоже не спал. Я слышал, как он ворочался в постели и тяжело и часто дышал.

Рано утром голос Стасова разбудил меня.

— Вы не спите? Вот о чем я думаю: я ночью плохо спал, все думал о нашем Льве. Я хочу сказать, просить, чтобы мы остались еще на один день. Жалко мне уезжать. Хочу его еще видеть и слышать. Увидимся ли еще когда-нибудь в другой раз? Это, вероятно, последний раз, что я приехал.

— Вряд ли он прочтет нам опять,— возразил я.

— А может быть, он еще скажет что-нибудь такое, что так важно и интересно.

Вошел лакей и передал нам книги.

— Лев Николаевич просит взять их с собою,— сказал он.

Мы порешили уехать; уложились и пошли наверх, где нас ждал Лев Николаевич... Стали прощаться. Стасов был взволнован. Он говорил отрывистыми фразами.

— Да, да, больше не увидимся, может быть,— вздыхая, повторял он как бы про себя.

Я не мог больше видеть прощания этих друзей, которые, может быть, никогда уже не встретятся больше, и отошел в сторону.

— Приезжайте, приезжайте зимою! — закричал еще раз, уже с лестницы, Лев Николаевич.

ВЕРА ВЕЛИЧКИНА

В ГОЛОДНЫЙ ГОД С ЛЬВОМ ТОЛСТЫМ

МОЕ ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ТОЛСТЫМ

Наступила тяжелая для нашей черноземной полосы зима 1891/92 года. Кажется, целых тридцать шесть губерний пострадали от неурожая; ожидали голода. В Москве начали составляться всевозможные кружки и общества для сбора пожертвований в пользу голодающих крестьян. Московское общество словно проснулось от долгого сна и зашевелилось, как потревоженный муравейник. Все точно обрадовались новому занятию. В одном из таких обществ, состоявшем из либеральной московской интеллигенции, числилась и я с сестрой...

Раз одна из дам нашего общества сообщила мне, что Толстые устраивают столовые для голодающих крестьян и, кажется, нуждаются в помощниках. При этом она сообщила мне адрес, где бы я могла узнать об этом. Вернувшись домой, я рассказала своей матери. Зная мое настроение, она посоветовала мне ехать на эту работу. Я поехала по указанному мне адресу. Оттуда меня направили к Маргарите Александровне Сабашниковой. Уже один роскошный дом, где она жила, произвел на меня неблагоприятное впечатление, которое не рассеялось и после. Она приняла меня как просительницу, заявила, что теперь, кажется, уже не нужно, но что если будет нужно, то она даст мне знать, и записала мой адрес. Разумеется, я напрасно ждала этого уведомления, да и ее холодный прием совершенно оттолкнул меня от мысли ехать к Толстым. Но мать моя посоветовала мне

обратиться к ним непосредственно и спросить, не нужна ли им помощь в их деле.

Сначала это мне показалось совершенно невероятным: ехать туда, куда меня никто не звал, навязываться в сотрудники, да еще к Толстым. Меня крайне смущала мысль, что они могут подумать, что я хочу ехать на голод только ради них. Роль какой-то просительницы, в какую я уже раз попала, была мне в высшей степени противна. К идеям Льва Николаевича — так, как я их понимала тогда, — относилась я совершенно отрицательно и не интересовалась узнать их ближе, — итак, мотива ехать именно к нему у меня решительно не было. Я охотнее поехала бы куда-нибудь в другое место, но куда?

Наконец матери удалось уговорить меня. Мне пришлось победить большую долю природной застенчивости, чтобы ехать одной к совершенно незнакомым людям. Это было в конце декабря 1891 года.

Ко мне вышла Софья Андреевна. Взгляд, которым она окинула меня, был не только неласков, но прямо даже враждебен. Впоследствии она говорила, что, увидев мою маленькую, худенькую фигурку, она никак не могла себе представить, чтобы я могла серьезно работать, и с досадой подумала, что это будет только обуза для ее близких. Тем не менее она не отказала решительно, но сказала, чтобы я приехала 3 января, когда из деревни вернутся ее муж и дочери, так как сама она не может сказать ничего определенного, — она не вполне в курсе дела.

3 января я поехала опять. На этот раз меня приняла Татьяна Львовна в зале наверху, но тоже довольно холодно, хотя с ней я говорила несколько больше. «У нас открыто уже до семидесяти столовых, — говорила она, — открывать больше мы пока не решаемся, так как нет средств, а на эти у нас достаточно работников, и, кроме того, просится масса народу, — все хотят ехать на голод».

Я смолкла, потому что была уверена, что дело мое окончательно пропало. Если у них такая масса работников, то, разумеется, с какой же стати возьмут они совершенно незнакомую им молоденькую девушку, без всякой рекомендации, кроме того, не имеющую никакого понятия о деле.

— Впрочем, — прервала себя самая Татьяна Львов-

на,— зайдите дня через три, мы тогда хорошенько выясним положение нашего дела: может быть, вам и найдется работа.

Я уехала, считая свое дело совершенно безнадежным.

Но несколько дней спустя я все-таки снова была у подъезда дома № 15 в Хамовническом переулке. Сколько раз и после мне приходилось стоять у этого подъезда и всегда с тем же нерешительным чувством! На этот раз, едва я успела дернуть звонок, как дверь отворилась, и на пороге передо мной появился высокий, плотный мужчина в белом нагальном полушубке и спросил меня:

— Что вам нужно?

Я подняла голову и сразу узнала, кто передо мной. Вместо ответа я быстро спросила сама:

— Лев Николаевич?

— Да, что же вам нужно?

В нескольких довольно бессвязных словах я объяснила, зачем приехала.

— Да, знаю, дочь говорила мне. Вы не очень замерзли? — спросил он.

Я ответила, что не замерзла.

— А то зайдите в дом, погрейтесь и подождите меня, я скоро вернусь. Если же не замерзли, то пройдитемте вместе, если нам в одну сторону, и я расскажу вам, в чем дело.

Мы пошли. Лев Николаевич, к моему удивлению, смотрел на меня уже как на сотрудницу в своем деле и рассказывал, в чем оно, собственно, состояло.

— Знаете,— говорил он,— мне вчера как раз пришло в голову такое сравнение: мы находимся в положении людей, у которых в руках находится большой сосуд, и из этого сосуда нам нужно разлить в стоящие перед нами крохотные пузырьочки и скляночки, не разлив ни капли жидкости зря и влив в каждую из скляночек как раз сколько нужно. Это — очень нелегкое дело и требует огромного, самого мелочного внимания к каждому отдельному случаю. Да вот вы сами увидите, когда приедете, а когда вы хотите ехать? — спросил он.

Я ответила, что это зависит от него,— я готова хоть сейчас.

— Ну хорошо, так зайдите к нам завтра или послезавтра. Вы потолкуете с моей меньшей дочерью. Она вам

расскажет, как и за что следует приниматься, а мы приготовим для вас письма и кое-какие нужные бумаги.

Мы расстались. Такого быстрого успеха я не ожидала. Лев Николаевич не поднимал и вопроса о том, есть ли у них средства и могут ли они еще открывать столовые.

На другой день было 12 января¹, и я не решилась ехать к Толстым, потому что у них мог быть семейный праздник, а на следующий день я снова поехала.

На этот раз меня провели в маленькую комнатку второй дочери Льва Николаевича, Марии Львовны, которая очень ласково приняла меня и стала знакомить с делом.

— Когда же вы решили ехать? — спросила она меня.

— Да хоть сегодня же. Чем скорее, тем лучше.

— Эх вы, какая скорая. Но это отлично. Пока нас там нет, один лишний работник будет как раз кстати. Вы не будете очень одиноки. Всем делом там заведует теперь мой брат, и он вам все расскажет, что нужно делать. Мы вам дадим к нему письмо. Потом у нас еще работает одна очень славная девушка, фельдшерица². Я уверена, что вы с ней сойдетесь. Она и лечит там немножко.

В это время в комнату вошел Лев Николаевич.

— Папа,— обратилась к нему Мария Львовна,— она сегодня же хочет ехать; надо дать ей письма к Илье и Ермолаеву.

— Да, да, напиши. Ермолаеву напиши, чтобы ее как следует снарядили, а то вот какие морозы стоят, ехать далеко. А я пойду Илье напишу. У Ермолаева ведь теперь много нашего теплого платья собралось.

И они стали вместе придумывать, во что бы меня одеть на дорогу, подшучивать над моей миниатюрной фигурой. Прибежали двое хорошеньких белокурых детей — мальчик и девочка — и стали ласкаться к отцу. Тот гладил их по головкам и рассеянно отвечал на их болтовню.

Наконец, запасшись необходимыми письмами и советами, я распростилась с отцом и дочерью.

— Скоро увидимся в Бегичевке,— говорили они мне на прощание.

Через несколько часов я была уже в вагоне и чувствовала себя страшно одинокой и покинутой, в первый раз в жизни расставшись с семьей на более продолжительное время. Помню, что от Тулы пришлось пересест в какие-то тесные, грязные вагоны. Ехать, кажется, нужно было по Ряжско-Вяземской дороге. Я ехала в третьем классе. В вагоне было невыносимо жарко и накурено махоркой так, что все стояло в тумане. Пассажиры были преимущественно крестьяне, и, несмотря на позднее время, на каждой станции садилось много народу. Мороз на дворе стоял градусов двадцать пять, если не больше, и холодный воздух клубами морозного тумана врвался в вагон во время продолжительных остановок на станциях. Голова у меня кружилась от утомления и от махорки, но на душе было так легко и радостно, как я давно уже не испытывала. Первая грусть прощания с семьей слетела, и я уже переносилась мыслью в область своей новой деятельности.

Меня стали расспрашивать соседи, куда и зачем я еду. Я сначала отвечала очень сдержанно, но потом не выдержала и откровенно все стала рассказывать, куда и зачем я еду, и что я слышала, и что читала в газетах. Я и не знала, что ехала по такому же нуждающемуся району Тульской губернии. Скоро я оказалась посреди вагона, меня окружала толпа крестьян, преимущественно мужчин. Я что-то рассказывала им, видела кругом себя сочувственные, возбужденные лица, с любопытством прислушивающиеся к моим словам. Изредка раздавался чей-нибудь голос, останавливающий соседей, чтобы не курили около меня: «а то от вашего табаку ей голову дурнить будет»,— или отстраняющий от меня чересчур уж теснившийся народ. Я же забыла и про махорку и про усталость и вся воодушевилась чувством какого-то тесного общения с новой, совершенно незнакомой мне средой.

Что лепетала молоденькая, совершенно неопытная, экзальтированная девушка толпе бородатых, полуголодных тружеников,— у меня совершенно вылетело из головы. Помню только, что мне очень было грустно покинуть на станции этот душный и тесный вагон. Какие-то сочувственные пожелания слышались мне на прощанье,

слушатели мои выносили мне вещи; и скоро стационарный сторож привел ко мне комиссионера Ермолаева, к которому у меня было письмо от Толстых, а гостеприимный вагон покатился дальше.

На станции мне отрекомендовались двое молодых людей. Это были Раевские, хозяева того имения, куда я ехала и которое было центральным пунктом, откуда распространялись столовые Толстых. Раевские уезжали в Тулу.

— Вот и отлично,— говорил Ермолаев,— у меня заночуете, а завтра с теми же лошадьми поедете в Бегищевку.

Ночь я провела на жестком диванчике в зале у Ермолаева. На другое утро он напоил меня чаем и стал снаряжать в дорогу,— я была совершенно городская барышня и не имела никакого представления, как надо одеваться в дорогу зимою в полях. Ехать предстояло сорок верст, а день стоял очень морозный и солнечный. Но, кажется, Ермолаев постарался больше, чем следовало, и я превратилась в какую-то неподвижную кучу мехового платья.

В конце концов он застегнул меховую полость саней и, дав наставление кучеру: «Ну, смотри, не вывали барышню!» — распрощался со мной. Мы тронулись...

Деревень по пути встречалось очень мало. Но как меня поразили эти деревни! Я привыкла к подгородной деревне лесных местностей, где дома строятся из дерева, а более богатые обыкновенно из кирпича. Здесь же, среди степной, безлесной равнины, кое-где лепились небольшие кучки крохотных хаток, сложенных из неровного камня и крытых соломой, местами растрепанной, точно неприбранная копна сена, а местами даже и вовсе наполовину снятой. После я узнала, что этой соломой кормили тогда скот. Хаты были без труб, топились по черному. «В таких же хатах и я буду работать»,— думала я по дороге. С кучером своим я почти не разговаривала, так как слишком погрузилась в свои мысли. Через несколько часов езды он поднял кнут и, указывая им вдаль, повернулся ко мне:

— А вон и Горки! Сейчас дома будем!

И действительно, скоро мы въехали в усадьбу и остановились у крыльца большого одноэтажного дома с зеленой крышей.

В доме один из слуг заявил:

— А нам бог барышню послал!

Кто-то вышел оттуда, и меня принялись раскутывать, что оказалось не так-то легко.

Выбравшись наконец из своих шуб и мехов, я объяснила, кто я и зачем приехала, и сказала, что у меня есть письма к Илье Львовичу. Высокий, худой блондин отрекомендовался мне Ильей Львовичем и взял у меня письма. Потом меня пригласили к обеду.

Первое мое впечатление в этом доме было крайне неблагоприятное. После уютной семейной обстановки мне все показалось здесь таким грязным, неустроенным. Комнат в доме было много, но я сначала никак не могла разобраться, кому какая принадлежит и куда можно приткнуться. Все были одеты в валенках, — очевидно, на полу было холодно...

После обеда Елена Михайловна² — так звали молодую девушку — показала мне комнату, которую я могла бы занять, а потом и свою комнату, где у нее была небольшая аптечка, и затем оставила меня в покое устраиваться.

Боже, какой одинокой почувствовала я себя! Устраиваться я не умела, ничего не знала, где что достать, где взять воды для умыванья. Прислуга в доме была только мужская, — значит, все нужно было делать самой. Кругом — все незнакомые и мало мне понятные люди; и как я ни бодрилась, но самая детская тоска по родной семье все теснее и теснее сжимала мне сердце, и я кончила тем, что расплакалась в своей неуютной, неустроенной комнате. Это успокоило меня, и, поплавав немножко, я пошла к Илье Львовичу просить у него работы. Он был занят каким-то очень оживленным разговором с Еленой Михайловной, и когда я обратилась со своей просьбой, они оба просто рассмеялись.

— Только приехали, сейчас и за работу! Да и работы-то теперь нет!

Я смотрела разочарованно. Что же мне было делать?

— Подождите, — сжалилась над моим огорченным видом Елена Михайловна, — к вечеру, когда будут ужинать, я пойду покажу вам столовую в здешней деревне, а до тех пор отдохните.

Нечего делать, пришлось ждать до вечера.

Первая столовая, которую я увидела, произвела на меня сильное впечатление. Она была устроена тоже в черной хате, каких было огромное большинство в округе. Я впервые была в такой хате. Очень неприглядной и мрачной показалась мне она своими черными, глянце-витыми стенами. Хата была маленькая, пахло дымом, и все было полно народом.

Нас встретили с поклонами, и какой-то мужик, с черной как уголь бородой, черными глазами и необыкновенно добрым выражением лица, подал нам решето с нарезанными кусками прекрасного, дымящегося еще черного хлеба. Мы попробовали и хлеб и похлебку, для чего нам все наперерыв тянули свои ложки. Народ уже сел за стол, и в этой маленькой черной хатке, с запахом дыма, сделалось очень тепло и уютно. Хозяйка, тоже очень добрая на вид женщина, так приветливо угощала всех, что просто не хотелось уходить от них.

На возвратном пути я заметила своей спутнице, что, кажется, хозяева очень добрые люди.

— Да,— ответила она,— он — ласковый мужик, только себе на уме!

Тогда мне, еще не знакомой с благотворительной работой, мало сказало это слово.

На другой день я наконец сама нашла себе работу. В одной из соседних деревень, в Гаях, оказалось какое-то недоразумение в столовой, и Илья Львович говорил с Еленой Михайловной, что следовало бы туда съездить, да некому. Я услышала и предложила свои услуги.

— Да ведь вы же еще ничего не знаете здесь! Ехать придется без кучера. Людей здесь лишних нет.

Я попросила указать мне только дорогу, а там дальше я буду спрашивать. Без кучера же я умею ездить.

Илья Львович согласился. Оказалось, что мне запрягли большие розвальни, в которых я еще никогда не ездила, и никак не могла приладиться сесть в них. Это меня, однако, не смутило,— я поехала в них стоя.

Дело было уже к вечеру, поднималась легкая поземка. Но деревня была очень близко, и я нисколько не сомневалась, что благополучно исполню данное мне поручение.

Гаи я нашла довольно скоро, отыскала и столовую, где в это время как раз собрался к ужину народ. Пер-

вый мой более или менее самостоятельный шаг доставил мне несколько истинно блаженных минут. Здесь, в полной народо хате, я сразу почувствовала себя на месте. Разумеется, в деле я еще ничего не понимала; но я внимательно выслушивала все, что мне говорили, записывала, и мы вместе все обсуждали. Я уехала с самым радостным и удовлетворенным чувством.

Приехала я, когда уже совсем стемнело. Оказалось, что дома обо мне беспокоились, и один приехавший помещик послал за мной своего кучера, с которым я разъехала, вероятно, по моему плохому знанию дороги.

В следующие дни я взялась помогать Елене Михайловне в ее медицинской деятельности и самым усердным образом развешивала доверовы порошки, которые мы в большом количестве раздавали кашляющим мальчуганам, набравшимся к нам в переднюю.

Мало-помалу я стала ориентироваться в работе. Подробностей того, что я тогда делала, я не помню, вероятно потому, что все для меня было еще не совсем ясно, а чего-нибудь более крупного, что оставило бы сильное впечатление, ничего не случилось. Работали мы очень дружно, по-товарищески. Елена Михайловна усердно лечила больных, и нередко я сопутствовала ей в ее медицинских посещениях и, где возможно, старалась помогать ей.

Столовых тогда было устроено всего около семидесяти — восьмидесяти, но некоторые из них находились в далеких районах, и ими заведовали другие сотрудники, с которыми я еще не познакомилась. Начало открытия столовых в этом краю принадлежало, собственно, не Льву Николаевичу, а его хорошему другу, Ивану Ивановичу Раевскому, который на свои средства открыл шесть столовых, под названием «сиротские призрения». Желая ознакомиться с положением дела, Лев Николаевич еще осенью объехал эти края, бывшие тогда центром неурожая, и тогда же решил поселиться здесь. Однако осуществить это свое желание ему удалось только в начале ноября, когда с мест стали приходить все более и более тревожные известия. Он поехал с обеими дочерьми к Ивану Ивановичу Раевскому, захватив с собой из Москвы пожертвованные Софьей Андреевной пятьсот рублей, и поселился у него, чтобы «делать так, — как он говорил, — что бог велит, — кормить, раздавать, если будет что»...

И. И. Раевский вскоре после его приезда опасно заболел и скончался, и все дело осталось целиком на руках Льва Николаевича, который и расширил его до тех огромных размеров, в каких оно оказалось в конце. Тогда Софья Андреевна написала в «Русских ведомостях» свое воззвание о помощи голодающим крестьянам, и к Толстым посыпались пожертвования деньгами, хлебом, одеждою и др.

По соседству такой же деятельностью, только в гораздо меньших размерах, занималась другая помещицья семья, Философовых. В начале моего пребывания в деревне там жила только одна Наталья Ивановна, молоденькая девушка, очень энергичная и деятельная. Скоро я познакомилась и с ней. Она жила одна в маленьком флигельке, где мы, все работающие в этом краю, нередко собирались впоследствии. Меня очень удивляло, что она может там жить совершенно одна, но от моего внимания ускользнуло тогда то, что она составляла предмет самых нежных забот всех служащих в имении.

В одно прекрасное утро приезжает к нам из отдаленного района один из сотрудников, в котором я узнала своего старого знакомого М. А. Новоселова. Он знал меня еще почти девочкой. Для меня, чувствовавшей себя так одиноко среди своих новых знакомых, было большой радостью встретить хоть одно знакомое лицо. «Как наша молчаливая барышня-то оживилась, даже глаза заблестели!» — тихонько сказала кому-то Елена Михайловна. С тех пор я стала гораздо свободнее в своих отношениях к окружающим, и между нами началось некоторое сближение.

Таким образом, за две недели, проведенные мною в Бегичевке до приезда Толстых, я успела в общих чертах ознакомиться с делом и более или менее освоиться со своими сотрудниками по делу.

*ПРИЕЗД ТОЛСТЫХ. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ.
РАЗДАЧА ОДЕЖДЫ*

К концу января получилось известие, что Толстые возвращаются. Илья Львович давно уже соскучился по своей семье и рад был возможности уехать. Но нас всех это известие порядочно смутило. Очевидно, жизнь наша

как-то должна измениться, сделаться серьезнее. Илья Львович немножко волновался и попросил даже полусутия Елену Михайловну поставить к себе в аптеку бутылку рябиновки. Та над ним подшучивала и просила его рассказывать об отце. Я мало себе представляла, какие у нас могли произойти перемены, но не хотела никаких. Мне жаль было расстаться с нашей дружной совместной работой, с нашими веселыми беседами в свободные минуты.

Наконец они приехали. Софья Андреевна тоже приехала вместе с мужем и дочерьми. На Льва Николаевича я уже как-то боялась теперь и смотреть. А Марья Львовна была удивительно хороша — серьезная, ласковая, полная сознания важной и нужной работы. Она понравилась мне на этот раз гораздо больше, чем в Москве. Она с участием стала расспрашивать меня, как мне живется, как я применилась к работе, и я сразу как-то почувствовала в ней близкого и серьезного человека.

Работа с самого начала пошла у нас регулярнее. Каждое утро вставали мы в седьмом часу, так как передняя была уже битком набита народом. Если мы немножко просыпали, то Лев Николаевич, проходя по коридору, стучал нам в двери. Утро работали мы вместе в передней, разбирая просьбы, нужды собравшегося народа. Затем кто-нибудь один оставался дежурить дома, а остальные разъезжались по окрестным деревням, всегда посоветовавшись раньше со Львом Николаевичем. Он неизменно был в курсе дела и всегда помнил каждую мелочь, куда и зачем нужно было ехать. Но занятие с народом в передней его всегда несколько расстраивало и мешало его литературным работам, и мы по возможности старались предупредить его приход, чтобы он мог поработать утром за письменным столом. В такие дни он чувствовал себя гораздо лучше, спокойнее. Но это не всегда удавалось, так как вставал он очень рано и не мог видеть, чтобы народ дожидался.

В самом деле, одной из самых темных сторон нашей работы это была передняя. Она с утра набивалась всякого рода просителями. Разобрать основательно просьбу здесь не было возможности. Чтобы определить степень нужды, мы сами ездили по деревням и на месте видели, кто в чем нуждался. Просители же для большей дей-

ствительности своей просьбы подкрепляли ее разными посторонними средствами, и Льву Николаевичу приходилось переживать тяжелые минуты, когда они падали перед ним на колени. Однажды, когда один крестьянин опустился перед ним на колени, опустился и Лев Николаевич.

— Ну что ж, давай так разговаривать, если тебе это удобнее,— спокойно проговорил он. Проситель сконфуженно встал с колен.

Другой раз перед ним бросилась так баба. И Лев Николаевич сначала долго не мог понять ее просьбы. Оказалось, что она просила выписать из столовой ее ребенка. Обыкновенно просьбы были обратного характера, и Лев Николаевич был очень удивлен.

— Пусть уж одна моя душа пропадает,— объяснила баба,— дома все равно есть нечего, а ребенка своего на погибель я отдать не могу.

Дело состояло в том, что во многих приходах священники с амвона убеждали народ не принимать помощи от Толстого, потому что он антихрист.

«Вы думаете,— говорили они,— что антихрист со злом придет к вам? Нет, он придет к вам с добром, с хлебом, как раз в то время, когда вы будете с голоду помирать. Но горе тому, кто соблазнится на этот хлеб».

Трудно было голодному народу не соблазниться на него, и потому мало кто решался следовать героическому поступку бабы. Да и, кроме того, народ серьезно не верил своим попам. Но разговоров по этому поводу было очень много. Нас во многих местах прозвали антихристовыми детьми, что даже не было вполне безопасно для одиноко бродящей от села к селу беззащитной молодежи.

Приходили к нам и с совершенно посторонними просьбами вроде такой, чтобы дать денег на дорогу к Иоанну Кронштадтскому. Вот от всех этих сцен и просьб нам и хотелось всегда удалять Льва Николаевича. Они тяжело действовали на него. И кроме того, утром он любил писать, а писал он в то время «Царство божие внутри вас», или «Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание». Эта работа его для всех нас была страшно дорога. Иногда он прочитывал нам готовую главу из нее. В свободную минуту мы переписывали для него.

Как-то пронесся слух, что может случиться обыск и работа будет отобрана. У нас уже составлялся план, как спасти ее. Работа лежала всегда в определенном месте на столе; и тот, кто оставался дежурным, должен был, при первом же появлении полиции в доме, через другой ход увезти или переправить ее в соседнее имение.

Софья Андреевна была возмущена, что у нас было так грязно и беспорядочно в комнатах, и прежде всего принялась со свойственной ей энергией наводить порядок. Она сама мыла и терла полы, на обеденном столе появилась чистая скатерть, и вообще в доме почувствовалась женская хозяйственная рука. Затем она занялась нашей голодающей кассой, которую до сих пор вела Елена Михайловна, заглянула в наши склады и увидела, что там лежит много разных пожертвованных материй, платья, белья и т. п. Нам присылали всевозможные вещи, иногда даже совершенно непригодные для крестьянского обихода. Между прочим, был пожертвован целый тюк очень хороших, но слишком дорогих вязаных вещей детского туалета.

Раздача этих тряпок очень затрудняла всех сотрудников, и никто охотно не брался за это дело. В начале своей деятельности Татьяне Львовне пришлось пережить очень неприятную минуту в этой области, и она с тех пор отказалась раздавать. Раз, когда она была в деревне Пеньках, она сказала двум-трем бабам, чтобы они пришли к ней на другой день,— она даст им кое-какой одежды для детей. На другой день, не успела она еще встать, весь двор был уже полон бабами. Оказалось, что обрадованные бабы не сумели держать язык за зубами, рассказали о своем счастье всей деревне, и вот они все явились. «Мы — Пеньтёвские!.. Здесь, говорят, одежду раздают!» У баб просто разгорелись глаза на тряпки. И тряпки-то притом были нарядные, никогда ими не виданные,— как тут устоять против соблазна?

Я сама как человек новый не испытала еще на себе этой неприятной и тяжелой стороны дела, и потому, когда Мария Львовна отказалась наотрез от раздачи одежды и Софья Андреевна предложила мне быть в этом ее помощницей, я без всяких колебаний согласилась. Скоро мне пришлось в этом раскаяться. Однажды мы поехали вместе с Марией Львовной в одну отдаленную деревню, где только еще предполагалось завести столо-

вые. Я захватила с собой кое-что из одежды, преимущественно для детей. В деревне мы разделились с ней, чтобы как можно скорее справиться с переписью.

Окончив свою сторону раньше Марии Львовны, я решила дать кое-что из одежды наиболее нуждавшимся. Еле я успела вынуть из саней две-три вещи и снести их в хату, как сани мои были окружены толпой народа, и мне уже не было возможности ни вынуть ничего из них так, чтобы это не сделалось известным всем, ни снести в хату кому было нужно, по моему мнению. Глаза окружавшей меня толпы разгорелись на эти тряпки, и на всех лицах я читала страстное желание получить что-нибудь себе. Мужики тут не отставали от баб, и все наперерыв делали мне различные указания. Я совершенно растерялась, весь мой обдуманый план рухнул, толпа владела мной, и я остановилась в полном недоумении. Тут меня выручила Мария Львовна. Она как раз подоспела в эту критическую минуту, сложила все вещи, и мы довольно скоро собрались и уехали.

Стоял чудный зимний вечер, когда мы ехали обратно; на небе светила полная луна, а на душе была такая тяжесть, сознание какого-то нравственного насилия над чужими душами. Мария Львовна хорошо понимала мое настроение и удивительно чутко относилась ко мне. После этого случая я отказалась от раздачи платья и производила это только в случаях крайней нужды. Но это случилось уже после отъезда Софьи Андреевны. Сама же она призвала деревенских портных, быстро заставила их перекроить на поддевки для мальчиков-подростков все сукно и тут же поскорее сшить, пока не прошла зима. Она сама все время следила за кройкой, стоя целые дни в холодной, нетопленной комнате. Энергия ее была поразительная, и скоро множество мальчиков защеголяли уже в новых поддевках.

МЕТЕЛЬ. СБЛИЖЕНИЕ С СЕМЬЕЙ ТОЛСТЫХ

Первое время моей жизни у Толстых я все как-то сторонилась самого Льва Николаевича и нисколько не скрывала, что не интересуюсь его взглядами и убеждениями. Это там было не совсем обыкновенно, потому что, насколько я помню, туда никто не приезжал, кто бы не

интересовался им. Разговоров с ним я избегала, впрочем, и по простой застенчивости. И потом до тех пор я вообще жила очень замкнутой внутренней жизнью и не привыкла высказывать ни своих мыслей, ни чувств.

Один раз, когда я делала кофе для Льва Николаевича, он, вероятно, сам заинтересовался, что за молчаливый субъект работает у него, и начал расспрашивать меня о моих взглядах. Кажется, он ждал встретить во мне православного человека. Я очень неохотно отвечала ему. Но раз Лев Николаевич хотел, то он всегда мог заставить высказаться. Это был мой первый серьезный разговор с ним. Когда он понял, с кем имеет дело, он весело улыбнулся и заметил:

— А, знаю, знаю, последовательница Михайловского, Шелгунова, Тимирязева и тому подобных.

Потом он спросил меня, что я читала. Я ответила. Читала я вообще довольно много и по истории, и по философии, и по литературе.

— А Канта вы читали?

— Нет.

— А Шопенгауэра?

— Тоже нет.

— Как же вы не читали таких столпов философии и ума человеческого?

А я не читала их потому, что эти философы были очень непопулярны в окружающей меня тогда среде. Но на этот раз я сообразила, что у меня чего-то не хватает, и решила непременно в ближайшем будущем прочесть, что рекомендовал мне Лев Николаевич.

Мне показалось, что после этого разговора он стал несколько внимательнее присматриваться ко мне, что меня очень смущало. Но вскоре со мной случилось маленькое происшествие, которое сразу сблизило меня с Толстыми и навсегда привязало меня к ним.

Как я уже сказала, мы каждое утро советовались со Львом Николаевичем, куда нужно было ехать. У него всегда находился ответ, и он давал какое-нибудь поручение, обыкновенно нелегкое. Так и на этот раз он поручил мне проехать несколько селений вдоль речки Рыхотки, верст на восемнадцать. Первые селения были мне знакомы, а следовательно, знакома и дорога; дальше же нет. Было довольно холодно. На мне была надета меховая городская шубка, которую Лев Николаевич называл

всегда шутя «кофточкой», меховая муфточка и шапка,— одним словом, по-городски это было очень тепло. Но так как путь предстоял дальний и ехала я одна, без кучера, то племянница Льва Николаевича, Вера Александровна Кузминская, накинула на меня сверху еще свою ротонду. Я отправилась.

Сначала все шло благополучно, но к вечеру подул небольшой ветерок и поднялся поземок. Я, не подозревая, что погода меняется, храбро ехала вперед, тем более что ехать мне было сравнительно легко,— я ехала по ветру. С дороги я тоже не сбивалась — речка указывала путь. Наконец доехала я до совершенно еще не знакомой мне деревни, Заборовки кажется, верстах в пятнадцати от нашего дома. К поземку начала присоединяться метель. Начинало темнеть. Я решила, что всех поручений я все равно не успею исполнить, и, огорченная этим, собиралась ехать обратно. Крестьяне, собравшиеся в хате, узнав о моем намерении, пришли в ужас. Они уверяли, что ехать по такой погоде и так далеко — прямо невозможно.

— Мы и греха на душу не возьмем, чтобы в эту погоду отпустить тебя, да еще навстречу ветру. Оставайся с нами ночевать.

Очень мне не хотелось ночевать в незнакомой деревне, когда дома ждали меня. Вечер еще только начинался, времени было много. Вдруг я вспомнила, что дальше, верстах в пяти, в Андреевке, живет мой знакомый Новоселов со своим товарищем Гастевым, тем самым молодым человеком, которого я одного из первых встретила в Бегичевке, когда я только что приехала. В Андреевку меня отпускали, потому что это было недалеко и ехать было по ветру. Я думала, что по дороге я даже могу закончить данные мне поручения. Но не успела я доехать и до соседней деревни, как поднялась сильнейшая метель. Деревню я все-таки нашла, но останавливаться было уже некогда, нужно было торопиться дальше. Дорога была простая, лошадь бежала хорошо, но решительно ничего уже нельзя было видеть. Я вообще немного близорука и, чтобы лучше разглядывать дорогу, встала в своих санках. Ротонда моя разведалась и, кажется, только пугала лошадь. Руки у меня совершенно окоченели, но я до конца так и не подозревала опасности. Ехала я уже точно между двумя белыми сте-

нами, лошадь чутьем находила дорогу. Она, кажется, боялась. Один раз я сбилась с пути и попала на какое-то хутора. Там мне рассказали дорогу, и я поехала дальше. Но, должно быть, долго ехала я эти несколько верст, потому что уже совсем было темно, когда я наткнулась на соседнюю с Андреевкой деревню Исленьево. Там меня тоже не хотели пустить дальше и оставляли ночевать. Но цель моего пути была только в полутора верстах, и мне было очень обидно оставаться здесь. Тогда мне дали в провожатые мальчика-подростка, и хорошо сделали, потому что в этом месте как раз очень легко спутаться ночью, да еще в метель. Таким образом благополучно доехала я до цели своего путешествия, все еще не представляя себе, что вернуться домой в эту ночь мне будет невозможно. Я ни в коем случае не рассчитывала ночевать в Андреевке.

В Андреевке я застала только одного из наших со-трудников, Гастева. Он жил с Новоселовым у кузнеца, имевшего в своей хате лишнюю комнату с деревянным полом и даже самовар. Новоселова не было дома. Меня напоили, накормили, обогрели, накормили также и лошадь. Между тем наступила уже ночь. Неожиданно для моих хозяев я собралась ехать, объявив, что я хорошо знаю дорогу. На дворе бушевала страшная вьюга. Как городская жительница, я не имела никакого представления о той опасности, какой я подвергалась, и меня страшно смущала мысль, что в Бегичевке меня ждут, что Софья Андреевна сердится на то беспокойство, которое я доставила им, не возвращаясь так долго. И, кроме того, мне казалось тогда невозможным оставаться ночевать у Гастева. Наверное, Толстые сочтут это очень неудобным. Кузнец просто изумился, услышав о моем намерении.

— И до угла улицы теперь не дойдешь, — не то что двадцать верст ехать! — сердито говорил он. — Хорошо, если завтра-то хоть просветлеет.

Делать было нечего. Я чувствовала себя неловко и тревожно, но пришлось остаться до утра. Утро настало ясное, роскошное. Гастев решил ехать вместе со мной. Я была очень этому рада, потому что чувствовала себя как-то виноватой и особенно боялась Софьи Андреевны, так оберегавшей семейные интересы и семейный покой. Потом я вспомнила, что в это утро она хотела уехать, и успокоилась немного, надеясь, что я уже не застану

ее. Вдруг на полдороге нас нагоняют двое розвальней. Сидящие в них мужики весело с нами здороваются и заявляют нам, что они всю ночь меня искали в полях. Их послали из Бегичевки, опасаясь за меня, что я где-нибудь замерзла. Это меня страшно смутило.

Оказалось, что дома были гораздо больше встревожены, чем я могла себе представить. Как деревенские жители, они ясно понимали всю опасность моего положения. Лев Николаевич, как рассказала мне Мария Львовна, не спал всю ночь. Но вместо недовольства я встретила самый радостный, самый сердечный прием. «Заблудшая овца дороже всех остальных!» — говорил с радостной улыбкой Лев Николаевич.

Оказалось, что я глубоко ошиблась и в Софье Андреевне, предполагая в ней так мало сердца. Она горячо расцеловала меня, а когда я сказала, что думала — она уже уехала, она ответила мне:

— Как я могла бы уехать, не зная, что с вами сделалось?

— Да, Верочка, — говорила Мария Львовна, — ты нам сегодня стоила просто нескольких лет жизни! — Но она говорила это так добродушно, что огорчаться было невозможно.

С этого события я стала чувствовать себя у Толстых, как в родной семье.

Софья Андреевна уехала на другой день. С дороги она прислала письмо, где говорила, что душой она чувствует себя еще совершенно в Бегичевке. Помню, что, слушая это письмо, мне казалось, что она и мне очень близкий человек и ее интересы были дороги и мне.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В ТАТИЩЕВО

Скоро мне пришлось уехать из «главного штаба». Так назывался у нас дом Раевских в деревне Бегичевке, где сосредоточивалось все центральное управление столовыми и жила семья Толстых. Приехала Татьяна Львовна, и теперь там было достаточно народу и без меня; гораздо нужнее были люди в различных других пунктах района, занятого нашими столовыми, для лучшего наблюдения над наиболее из них отдаленными и для открывания новых, когда на то явится возможность.

Надо заметить, что возможность эта существовала в продолжение всего года, потому что каждая почта приносила новые пожертвования, и небольшая сумма осталась даже и на другой год, что было очень важно, потому что в некоторых местах неурожай повторился во всей своей силе и в следующем году. Для моего поселения выбрали очень близкий от Бегичевки пункт — село Татищево, расположенное верстах в пяти от Бегичевки. Районом моих столовых были теперь все деревни по реке Рыхотке, вплоть до Андреевки. В моем ведении оказалось четырнадцать столовых. В Татищеве столовые были открыты Марией Львовной. Их как раз описывает Лев Николаевич в своей статье «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая». Мария Львовна хорошо знала население Татищева, и потому она поехала со мной, чтобы устроить меня и рекомендовать народу.

Татищево было большое село — около ста дворов — и разделялось на две слободы — старую и новую. В старой была церковь и жил причт. В каждой слободе была отдельная столовая. Столовые устраивались у нас обыкновенно в хате какого-нибудь бедного, обремененного многочисленной семьей крестьянина, чтобы за хлопоты хата его отплялась и вся семья могла бы кормиться. Но население деревни всегда само делало выбор такой хаты, имея в виду эти условия, так что мне легче было выбрать, кому они доверяют и к кому будут охотно ходить. Так, например, в Татищеве как раз пришлось, по желанию населения, сменить хозяина столовой. Крестьяне были недовольны его неаккуратностью и сварливостью его жены...

ПОЛОЖЕНИЕ ОКРЕСТНЫХ ДЕРЕВЕНЬ

Приезжая в Бегичевку по делам или повидаться с Толстым, я нередко оставалась там лишний денек, когда у них скапливалось чересчур много работы, и исполняла какие-нибудь поручения. При этом мне приходилось бывать в самых различных районах нашей деятельности, открывать новые столовые, которые все шире и шире охватывали окрестность, а раз мне случайно привелось даже познакомиться со столовыми Красного Кре-

ста. Это случилось так. Лев Николаевич послал меня навестить некоторые столовые в деревнях, расположенных по Дону, но не указал точно, в каких именно, вероятно предполагая, что мне это известно. Я же и не подозревала, что среди них имеются и столовые Красного Креста, и объехала все столовые кряду. В столовых Красного Креста очень жаловались на пищу, там кормили бобами и чечевицей, к которым крестьяне не привыкли, и их тошнило от них. Они очень просили взять их на наше попечение, так как у нас выдавался не только лучший продукт, но и больше. В пограничных с нашими районами деревнях к весне разыгрался голодный тиф. Как только в деревне организовывалась помощь, тиф понемногу слабел и совершенно прекращался, так что не было никакого сомнения, что даже и такая сравнительно ничтожная помощь населению понижала смертность.

. Нужно было видеть, как оживал и ободрялся приунывший народ, когда в заброшенную, кажется, и самой судьбой и людьми деревню являлась продовольственная помощь...

В первый раз, когда мне пришлось самой открыть столовые в голодающих селениях, на меня это произвело большое впечатление. Это было в Екатериновке. Там была сильная тифозная эпидемия, начинавшая уже утихать, когда я туда приехала. Много народу вымерло, и настроение крестьян было подавленное. Встретили они меня точно свою освободительницу: вся деревня сбегалась ко мне, а бабы со слезами крестились.

— Мы думали, что и сам господь батюшка забыл нас,— говорили они,— что ни день, то гроб или два несут...

С тяжелым чувством уехала я из Екатериновки. Кроме тифа, деревня переживала еще страшное разорение. Я должна была устроить там две столовых.

Дома, в Бегичевке, никто не знал о тифе, и, вернувшись, я рассказала Марии Львовне, что я видела. Мне не хотелось тревожить бывшую у нас тогда Софью Андреевну, и я просила Марию Львовну не говорить матери. Но она не удержалась и рассказала. А я получила выговор от Софьи Андреевны за то, что не только сама рискую, но подвергаю риску и других. Но я и сама не ожидала там встретить то, что видела.

Лев Николаевич заметил, что всюду, куда мы входим со своими столовыми, тиф останавливается. Кажется, вообще он в этом году не разыгрался в Рязанской губернии так, как это было в других местах.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В БЕГИЧЕВКУ И НАША ЖИЗНЬ ТАМ ЗИМОЙ

В это время у нас заболел тяжелой формой тифа местный земский врач. Хворал он долго и чуть не умер. Елена Михайловна, которую очень любила семья врача, поехала ухаживать за ним. А мне пришлось оставить свое Татищево и мельницу и поселиться опять в Бегичевке на ее место. Работников там теперь было очень мало, а работы много. Это время моего пребывания сблизило меня больше с Марией Львовной. Большею частью нас было там только трое: Лев Николаевич, Мария Львовна и я. И эти несколько недель тесной жизни с ними составляют очень дорогое для меня воспоминание.

В то время Лев Николаевич продолжал работать над своим основным трудом «Царство божие внутри вас» и, кроме того, писал свое известное письмо о «Карме»³, и по мере того, как развивались его творческие замыслы, он излагал их нам, двум молоденьким девушкам. Нередко он приходил в какое-то восторженное настроение, слезы показывались у него на глазах. В эти дни метели и снежных заносов никакая почти внешняя жизнь не развлекала нас по вечерам, и, затаив дыхание, прислушивались мы к словам старика. Утром он вставал и тотчас же брался за перо, а я, под влиянием новых нахлынувших на меня мыслей, присутствуя точно при самом процессе великого художественного творчества, проводила целые ночи или в разговорах с Марией Львовной, или продумывая все, о чем мы говорили днем. Мысль работала лихорадочно: брать прямо все на веру, заражаясь от Льва Николаевича настроением, моя рефлектирующая натура никак не хотела, и к вечеру я храбро являлась с возражениями на разговор предыдущего дня. Лев Николаевич встречал их всегда с выражением такой мягкости, доброты и какой-то проникновенности в жизнь, какой я, кажется, не видала у него ни раньше, ни позже. Все лицо его точно светилось каким-то необыкновенным светом. Его живое уча-

стие и интерес к моей умственной работе ободряли меня, и мне было легко победить мою обычную застенчивость. Мария Львовна тогда немножко хворала и, хотя всегда присутствовала, но сравнительно мало принимала участия в разговорах. Начиналось обыкновенно с того, что, разливая чай, я говорила Льву Николаевичу, что не могу с ним во всем согласиться.

— А нуте, нуте, это интересно. Что же вы скажете?

И я делала ему свои возражения, останавливаясь на том, что мне было не вполне ясно. И он терпеливо разъяснял, толковал, а его художественная мысль работала дальше. Возражения мои падали как-то сами собой.

Как он был тогда здоров, спокоен и оживлен! Теперь мы имели больше возможности отдалять его от текущей работы и предоставить литературным занятиям, и его естественная жизнерадостность снова брала верх,— на лице его чаще являлась улыбка, и он охотно шутил и смеялся с нами.

— А нуте, Вера Михайловна, давайте с вами прыгать через решетку! — вдруг, бывало, скажет он, принимаясь действительно перепрыгивать через небольшую решетку кругом лесенки.

Днем он обыкновенно все-таки ездил куда-нибудь, несмотря ни на морозы, ни на метели. Один раз, впрочем, я застала его в зале очень подавленным и расстроенным. Я вопросительно взглянула на него, не решаясь спросить.

— Как бы мне хотелось сейчас проснуться, Вера Михайловна...

Под словом «проснуться» он разумел «проснуться в другую жизнь», умереть. Я смутилась и не знала, что на это ответить. Дело скоро разъяснилось: Лев Николаевич был очень недоволен собой. На одном из пунктов у нас работал в то время какой-то странный субъект. Явился он к нам как-то неожиданно, дал о себе какие-то странные, сбивчивые сведения. Его устроили на пункте, и оттуда к нам доносились слухи о каких-то скандалах,— говорили, что он сильно пьет. Все другие сотрудники были у нас люди, преданные делу, большей частью ученики и последователи Льва Николаевича, и подобное явление было уж чересчур редким диссонансом во всей деятельности нашей компании. Лев Николаевич всегда страшно волновался при этих слухах. Он,

кажется, совершенно не выносил пьющих людей. В тот день, оказывается, явился этот господин и, застав Льва Николаевича одного, одолел его своими чересчур развязными разговорами. И Льву Николаевичу было страшно тяжело, что он не мог подавить в себе неприязненного чувства к нему. Он попросил меня заняться с ним и удовлетворить его любопытство. Больше в этот день мы, кажется, не показывали его Льву Николаевичу.

Но дело кончилось все-таки разрывом с ним. Спустя несколько времени господин этот опять явился к Льву Николаевичу с каким-то узелком. От него несло водкой, а когда он развязал свой узелок, то там оказалась бутылка, и от всех вещей тоже шел запах разлитого спирта. Лев Николаевич не выдержал и, страшно волнуясь, откровенно сказал ему, что его сотрудничество в этом деле крайне тяжело для него и нежелательно.

— Вы меня, пожалуйста, простите, старика, но ради бога уезжайте от нас.

Нежелательный сотрудник наконец уехал, и все снова успокоилось.

Я хорошо не помню теперь, долго ли прожили мы так втроем, окруженные вьюгами и метелями, присутствуя при процессе сосредоточенной художественной работы. Кажется, около половины марта приехал к нам новый сотрудник, близкий друг Толстых, Павел Иванович Бирюков. Он взял в свои руки главное заведование всем делом...

Жизнь наша не изменила при нем своего интимного характера. Лев Николаевич был в великолепном настроении, много шутил, смеялся, и раз, когда на дворе мела такая сильная метель, что не только нам волей-неволей пришлось сидеть дома, но даже и к нам никто не решился прийти, несмотря на постоянно существующую нужду,— Лев Николаевич предложил рассказать сказку. Понятно, что мы все восторженно встретили это предложение. Мы сидели в большом кабинете покойного Раевского, на мягкой кожаной мебели. Лев Николаевич полулежал на маленьком диванчике. Я плохо помню эту сказку, но приблизительно он рассказал следующее.

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. У царя, как водится, была красавица дочь.

Задумал царь отдать ее замуж. Отовсюду съехались цари и царевичи, принцы и королевичи, знатные рыцари и храбрые витязи свататься за красавицу царевну. Но царевна решительно отказалась выбрать себе жениха из них.

— Я выйду замуж за того человека, государь,— объявила она отцу,— кто будет всем доволен.

Немедленно послал царь гонцов во все четыре стороны своего царства искать такого человека, который был бы всем доволен. И вот один гонец привел простого мужика-дровосека в рваном полушубке, который и двух слов-то сказать путем не умел. Другой привел древнего старика, третий — восьмилетнего ребенка, а четвертый, я уже забыла кого, но тоже кого-то совсем не подходящего для царской дочери.

Как раз в эту критическую минуту нам помешали: кто-то приехал и нужно было что-то делать.

— Ну, мы завтра будем продолжать,— заметил Лев Николаевич,— и узнаем, кого выберет себе царевна.

— Если бы ты, Верочка, была на ее месте, ты, наверное, выбрала бы себе восьмилетнего ребенка,— пошутила Мария Львовна, намекая на мой детский вид,— он тебе как раз под пару.

Но «завтра» это не состоялось, и мы никогда не узнали, кого себе выбрала царская дочь.

КАК ЖИЛ И РАБОТАЛ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ В БЕГИЧЕВКЕ

Окончив дневную работу, все мы, кто оставался в Бегичевке, собирались теперь по вечерам вместе, делились своими впечатлениями, распределяли, приблизительно, работу на следующий день и намечали планы тех или других мероприятий. Нередко Лев Николаевич садился играть в шашки со стариком поваром в маленькой буфетной, расположенной около столовой, где мы проводили большую часть своего времени дома. В эту маленькую комнатку собирались и другие служащие бегичевской усадьбы, а также и мы все, кто был свободен.

Лев Николаевич шутил, кто-нибудь рассказывал анекдоты, а подчас велись и очень серьезные беседы. Иногда же Лев Николаевич читал нам что-нибудь вслух

из новых журналов. Это мы все очень любили, потому что чтение всегда вызывало много разговоров и споров.

По воскресеньям в Бегичевке теперь собирались обыкновенно все сотрудники, но и в течение недели нередко приезжал то тот, то другой. Благодаря тому, что в этот отдаленный уголок Рязанской губернии съехалось теперь много сторонников учения Льва Николаевича и некоторые из них, как М. А. Новоселов и А. В. Алехин, начали уже расходиться с ним, то часто вечера посвящались теперь не практическим вопросам нашей непосредственной деятельности, а самым серьезным и основным вопросам жизни, причем беседы носили интимный характер бесед учителя со своими учениками. Некоторое обострение отношений между ними началось только весной.

В это время до нас дошли слухи, что одно интервью со Львом Николаевичем, напечатанное в «Daily Telegraph» английским корреспондентом Диллоном и переведенное «Московскими ведомостями» с своими комментариями, навлекло большую грозу на Льва Николаевича⁴. Мы ждали тогда обыска, высылки и даже ареста Льва Николаевича. Говорили, что был даже составлен проект о заточении Льва Николаевича в Суздальский монастырь. Сам Лев Николаевич все время оставался совершенно спокойным. Софья Андреевна поехала в Петербург хлопотать о том, чтобы отвести грозу. В конце концов благодаря стараниям тетки Льва Николаевича Александры Андреевны Толстой все окончилось благополучно.

Лев Николаевич в то время усиленно работал над своим трудом «Царство божие внутри вас». Много раз он думал, что уже кончил его, но затем опять и опять перерабатывал отдельные главы. Совершенно закончил его только через два года. Осенью в день своего рождения я помню, как тогда он с радостной улыбкой повторял всем: «Я окончил!», «Маша, я кончил!», «Колечка, я кончил!» Теперь он нам прочитывал вслух эти главы, наблюдал за произведенным впечатлением, выслушивал возражения. Между прочим, он ужасно был возмущен речью императора Вильгельма, кажется, к новобранцам, где тот говорил, что они должны повиноваться своим начальникам, даже если их заставят стрелять в отца родного.

— Да, для своих целей они заставят молодежь и в отца родного стрелять,— говорил он.— Но как он мне помог для моей статьи! Я за это готов Вильгельму свечку пудовую поставить,— добавлял он шутя.

«Царство божие» он писал далеко не так жизнерадостно, как работал над другими более мелкими вещами. Очевидно, оно стоило ему огромного напряжения. Иногда, после полученных от друзей писем, где они, кажется, делали ему возражения за излишнюю резкость, он говорил с каким-то отчаянием:

«Ну, я — плохой христианин. Они правы. Но я не могу больше изменять, не могу написать иначе, потому что так оно есть».

ОТНОШЕНИЯ С КРЕСТЬЯНАМИ

К самому делу кормления крестьян Лев Николаевич и все его сторонники давно уже отнеслись отрицательно. Как кормить того, кто сам добывает то, чем мы его собираемся кормить, кто сам всегда кормит нас своим трудом? Лев Николаевич страшно тяготился таким своим положением какого-то мешка с деньгами, который может по своей воле дать и не дать. «Единственно верное средство помочь голодающим,— говорил он,— это самим слезть с их шеи». Отношения с населением были чрезвычайно ненормальны, и Льва Николаевича глубоко огорчали низкопоклонство и неискренность тех, кому приходилось помогать. Ему, конечно, было ясно, что иначе не могло и быть при таком ненормальном положении; но все-таки ему было тяжело. Ненавистное «ваше сиятельство» преследовало его всюду, куда бы он ни поехал, а ездить он любил. Из Ясной Поляны привезли его любимую лошадь Мухортого, и он часто ездил верхом и на далекие расстояния. Его радовало, когда ему удавалось побывать где-нибудь инкогнито, где он вместо постоянного «ваше сиятельство» слышал простое «дедушка». Любил он так неузнанным поговорить о жизни со стариками, выслушать, что и как они думают, и высказать свои взгляды.

Однажды он приезжает к нам веселый и радостный. Оказывается, что он ездил куда-то далеко, где его не знали в лицо, и когда он зашел отдохнуть в одну из хат, его приняли как своего брата и угостили похлебкой. Там

ему удалось и поговорить просто, по душе. Но, разумеется, угощение похлебкой никогда не проходило даром для его здоровья.

Очень любил он также поговорить с детьми и один раз рассказал нам, что какая-то двухлетняя девочка посмотрела на него таким ясным, невинным взглядом, как будто «все небо отразилось в ее глазах». «Более старший ребенок, даже лет пяти, не может уже так смотреть»,— добавил он...

И жизнь в конце концов показала, что, несмотря на всю ненормальность отношений, население все-таки сумело оценить Толстых и увидеть в них нечто большее, чем мешок с деньгами. Когда весной разнеслись слухи, что Льва Николаевича хотят арестовать, и тут как раз появилась в наших краях экспедиция генерала Анненкова, организовывавшего общественные работы⁵, то крестьяне решили, что он-то и приехал арестовать Толстого. И кругом бегичевского дома собрались целые толпы народа,— они решили во что бы то ни стало не выдавать Льва Николаевича, так что их с трудом удалось успокоить. Когда Лев Николаевич уезжал после сбора нового урожая, население так трогательно прощалось с ним и провожало его, что он и сам мог убедиться, как сумели крестьяне оценить его труды и заботы о них.

П. М. ПЧЕЛЬНИКОВ

ИЗ ДНЕВНИКА

8 января 1892 года мне сообщили по телефону, что гр. Л. Н. Толстой пришел в театр и хочет посмотреть «Плоды просвещения»¹, но при условии, чтобы его посадили на такое место, где бы он не был виден публике.

Льва Николаевича, вместе с сопровождавшими его лицами, поместили в директорской ложе, сидя в которой он был вполне укрыт от докучливых взоров публики.

Прошло шестнадцать лет с того времени, когда случай представил мне возможность познакомиться с великим писателем. Но и теперь я ощутимо переживаю то волнение, которое испытывал тогда. Мне хотелось слышать из уст Льва Николаевича его мнение об исполнении пьесы.

Раньше, нежели идти к нему, я прошел на сцену, где узнал, что автор все время смеялся самым добродушным смехом. Это известие значительно подбодрило меня, — значит, замысел автора был верно понят исполнителями и он сам смотрит на «Плоды просвещения» как на комическую шутку. Но последующий разговор со Львом Николаевичем в значительной мере разочаровал меня в моем предположении.

В антракте я вошел в ложу, где сидел Лев Николаевич.

После взаимных приветствий он сейчас же заговорил о том, что артисты, исполнявшие роли мужиков, очень шаржируют. К такому заключению приводил его и смех зрителей, сопровождавший каждую фразу мужиков.

— По моему мнению, — сказал Лев Николаевич, — они неестественно исполняют свои роли. И если не глядеть на сцену, а только слушать, что говорят, то нередко можно стать в тупик; чему же смеется публика? Ведь в речах мужиков постоянно звучит жалоба, а иногда и попытки протеста. И их слова, по моему мнению, скорее

должны возбуждать сочувствие к безвыходному положению, а уж никак не смех.

Эти слова, произнесенные довольно горячо, совершенно смутили меня. Я понял, что угол зрения на пьесу был взят нами неверно и расходился со взглядами автора... Лев Николаевич, очевидно, был так недоволен нашими мужиками, что даже и в костюмах их нашел утрировку.

— По костюму они,— сказал он,— мало похожи на обыкновенных мужиков. Они не умеют даже надевать лаптей; и так, как они делают это, не делает никто из крестьян.

Относительно исполнения роли дворецкого Лев Николаевич сказал, что считает грим слишком старым. Об исполнении самой роли выразился несколько туманно, добавивши только в конце:

— Конечно, эта роль весьма тонкая.

Лучшим исполнителем в пьесе, по мнению Льва Николаевича, был профессор (Л. П. Ленский). И много комплиментов выпало на долю этого артиста.

Прослушав монолог повара (Н. И. Музиль), Лев Николаевич высказал удивление:

— Странно, почему цензура не вычеркнула эту сцену!

В том же действии Лев Николаевич обратил внимание на роль барыни-тараторки. Ему казалось, что эта роль недостаточно выдержана в характере. В начале явления барыня болтает без умолку, в половине явления замолкает и молчит до конца.

— Это совершенно противоречит характеру задуманного лица. И этот промах я ставлю себе в вину,— сказал Лев Николаевич.

На мое замечание, что указанное противоречие мало заметно публике и что в пьесе имеется один более серьезный недочет, заключающийся в том, что большое количество сцен, носящих семейный характер, ведется в вестибюле. С этим Лев Николаевич сейчас же согласился.

Вообще в беседе с ним я встретил полную терпимость к чужим мнениям...

Понемногу наш разговор, отдаляясь от «Плодов просвещения», перешел на общие театральные темы. Зашла речь об актерах. Лев Николаевич сказал:

— За всю свою жизнь я не видал актера выше Мартынова².

На мой вопрос, можно ли надеяться в будущем получить от него пьесу для Малого театра, он ответил:

— С большой охотой сделал бы это и даже ощущаю особенную потребность высказаться этим путем, и в настоящее время это было бы как нельзя более кстати. Но уверен, что цензура не пропустит моей пьесы. Вы не поверите,— добавил он,— как терзал меня в самом начале моей деятельности этот ужасный цензурный вопрос. Хотелось писать то, что чувствуешь. Но одновременно с этим желанием в голову приходило, что написанное не будет пропущено цензурой. И поневоле приходилось откидывать работу. Откидывал, откидывал, а между тем года все уходили. Теперь, конечно, не то, что было в начале моей деятельности. В настоящее время круг читателей разросся. А такая обширная аудитория дает возможность писать только то, что думаешь и чувствуешь.

Затем разговор перешел на другие темы. Лев Николаевич заинтересовался, как относится московская публика к «Ревизору», к «Горю от ума» и к пьесам Островского. Я отвечал, что первые две пьесы посещаются публикой весьма охотно, что же касается до репертуара Островского, то большая часть пьес его первых двух третей деятельности не утратила для зрителей интереса, лишь немногие из них считают устаревшими. Что же касается до произведений последней трети, то лишь некоторые из них охотно смотрятся публикой.

Лев Николаевич сказал:

— Кульминационным пунктом развития дарования Александра Николаевича Островского было «Доходное место». После этой пьесы начал замечаться упадок в его творчестве.

Затем зашла речь о норвежских драматургах. С особенной любовью Лев Николаевич говорил о Бьёрнсоне, Ибсена же находил скучным...

Вторая встреча моя со Львом Николаевичем произошла при постановке «Власти тьмы» на сцене Малого театра... В Московском Малом театре закипела подготовительная работа. В Ясную Поляну были командированы художники для набросков декорационных мотивов и для рисунков местных костюмов и обстановки. Кроме того, был послан и режиссер для переговоров со Львом Николаевичем относительно исполнения ролей.

Миссия художников была исполнена. Но миссия режиссера дала очень мало существенного. По словам последнего, Лев Николаевич как-то неохотно говорил о своей пьесе...

По просьбе дирекции Лев Николаевич изъявил согласие прочесть «Власть тьмы» артистам Малого театра. Назначен был день (23 ноября 1895 года). Чтение происходило в кабинете управляющего конторой императорских театров. К назначенному часу заблаговременно собралась вся труппа Малого театра. Около восьми часов вечера пришел и сам знаменитый автор.

Многие думали, что великий писатель должен быть и великим чтецом. Но когда после небольшого разговора Лев Николаевич начал читать свою пьесу, то пришлось убедиться, что перед нами не чтец эстрады. Кроме того, в чтении не чувствовалось одушевления. Проблески его вспыхивали только при чтении роли Акима, да в пятом действии при чтении роли Митрича. Остальное же все было как-то скомкано, и чтение имело скорее характер только исполнения известной любезности. Обратило общее внимание, что Лев Николаевич пробегал скороговоркой места в пьесе, изобиловавшие грубыми простонародными выражениями. При чтении же разговора о выгребных ямах заметили, что автор даже конфузится. Прочтя одну фразу, Лев Николаевич сказал, что фраза эта вычеркнута, так как может шокировать некоторых дам.

После чтения пьесы начался общий разговор о постановке и исполнении ролей. Но разговор не клеился. Лев Николаевич сказал о Митриче как о басистом, широкорожем мужике. Между тем роль эту должен был исполнять Н. И. Музиль *, располагавший как раз обратными физическими свойствами. И собравшимся сделалось как-то неловко. Разговор стал еще более натянутым.

Нескладно начался и разговор о внешней постановке. Он вертелся по преимуществу на обуви. Для облегчения вопроса Лев Николаевич сделал карандашом набросок «КОТОВ» **.

* От распределения ролей Лев Николаевич отказался, мотивируя свой отказ тем, что давно не был в Малом театре и почти не знает труппы. (Прим. П. М. Пчельникова.)

** Набросок этот передан мною в театральный музей А. А. Бахрушина. (Прим. П. М. Пчельникова.)

Наскоро простившись, Лев Николаевич торопливо собрался домой. Тем и закончилось его участие в постановке «Власти тьмы» на сцене Московского Малого театра. Правда, он обещал прийти на репетицию, и один раз пришел, но поздно, репетиция почти была уже окончена.

От чтения Львом Николаевичем «Власти тьмы» у многих присутствующих осталось чувство неудовлетворенности. Сколько любви, сколько горячих желаний воспользоваться всеми указаниями великого писателя воодушевляло всех! Но Лев Николаевич не реагировал на это. И многим это было совершенно непонятно³.

Наступил день спектакля⁴. Театр был, конечно, полон. Но пьеса успеха не имела. В некоторых местах публика даже шикала. Это было в первый раз в Малом театре. Виноват ли в этом автор или исполнители? На оба вопроса отвечаю отрицательно, так как думаю, что причина неуспеха «Власти тьмы» лежала гораздо глубже.

Вековое рабство постепенно отдаляло развитие и образованные классы от народа и наконец отдалило настолько, что в настоящее время интеллигенция уже не может войти в жизнь своего народа и не в состоянии понять его переживаний, а потому не в силах и воплотить на сцене истинные черты народа. И много протечет времени, пока нарушенное равновесие наконец восстановится. Только тогда и возможно будет образцовое исполнение сценических произведений, подобных «Власти тьмы».

Но мне очень хотелось объяснить самому себе: почему у Льва Николаевича отсутствовало одушевление во время чтения им своей пьесы и не было желания серьезно побеседовать о ее постановке? Припоминая наш разговор на спектакле «Плодов просвещения», я понял его недовольство исполнением ролей мужиков. Думаю, что и при постановке «Власти тьмы» его смущал этот же вопрос — о воспроизведении на сцене артистами Малого театра народной жизни, которой они не знают и которая совершенно чужда им...

Этот вопрос, видимо, и смущал его. И только этим я и объясняю его почти безучастное отношение к постановке «Власти тьмы» на сцене Малого театра.

П. П. ГНЕДИЧ

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

...Заседание Русского литературного общества. Вот за столом вечная характерная фигура Григоровича, подстриженного «под Тургенева»; вот монументальный Полонский с своими костылями; вот Майков с черными, как вишенки, глазами и четырехугольным лбом; вот выхоленная фигура Урусова; вот щетинистая голова Спасовича; вот ширококостный Плещеев; вот Горбунов... Все это теперь уже достояние могилы...

Читают по корректурным листам «Плоды просвещения»¹. Читает актер Свободин — тоже покойный. Взрывы хохота, на которые так скупы братья писатели. Удивление, восхищение...

— Откуда такое знание сцены?

— А откуда оно было у Грибоедова и Гоголя?

— На трех китах покоится наша литература, — говорит Григорович, весь загораясь по обыкновению, — на Пушкине, Гоголе и Льве Толстом...

Шум, споры... Методическая речь Спасовича не помогает делу.

— Если не было регул у Пушкина, то нет их и у Толстого, — говорит он. — Недаром критики его обвиняют...

— Что такое критика! — совсем уже пылая, кричит Григорович. — Пушкин недаром сказал, что наша критика напоминает ему пересуды дворни о барах в лакейской. Если б моя власть, я бы всем критикам Толстого предписал являться по воскресеньям после обедни в его дом, в Хамовниках, и целовать лапу у собаки его дворника...

Раздается несколько восклицаний. Один критик вскрикивает:

— Парадоксально и малодоказательно.

— Вы хотите, чтобы я взял назад слова? — кричит Григорович. — Беру. Я заявил, что они достойны целовать лапу собаки дворника Толстого... Нет, им можно только позволить целовать след блохи от дворницкой собаки Толстого.

Шумный хохот.

Время идет. Вот и столетний юбилей Пушкина.

Вздумали литераторы издать «Пушкинский сборник». Избраны были три редактора: Случевский, Мордовцев (тоже оба в могиле) и я.

— Поезжайте к Толстому — просите, чтоб дал он что-нибудь, — говорят они мне.

— Не даст, — говорю я.

— Просите.

И вот я в Хамовниках, в маленьком деревянном доме — этой Мекке всего литературного мира. Раздаются быстрые молодые шаги. Вот и он — но не тот гигант, каким почему-то его изображают на всех портретах, а мускулистый среднего роста старик с нависшими бровями и характерно крутым затылком, что, по мнению няnek, служит признаком упрямства. Глаза пронизательны, ласковы — не то грустны, не то насмешливы.

— Нет, уж вы меня избавьте от участия в юбилее, — мягко говорит он. — Что Пушкин был для нас великим поэтом — это так, но устраивать юбилейные празднества все-таки...

Он на секунду запнулся. Мне показалось, что он хотел сказать — «глупо», но не сказал, а проговорил:

— Все-таки незачем...

В конце 1900 года был я в Москве. Возвращаюсь вечером в гостиницу, ждет меня Чехов...

— Вы где были сегодня?

— У Льва Николаевича, — отвечаю.

Вдруг лицо Антона Павловича распускается в светлую добродушную улыбку.

— Вы знаете, он не любит моих пьес,— уверяет, что я не драматург! Только одно утешение у меня и есть...— прибавляет он.

— Какое?

— Он мне раз сказал: «Вы знаете, я терпеть не могу Шекспира, но ваши пьесы еще хуже. Шекспир все-таки хватается читателя за шиворот и ведет его к известной цели, не позволяет свернуть в сторону. А куда с вашими героями дойдешь? С дивана, где они лежат, до чулана и обратно?»

И сдержанный, спокойный Антон Павлович откидывает назад голову и смеется так, что пенсне падает с его носа...

— И ведь это искренне у Льва Николаевича,— продолжает он.— Был он болен— я сидел рядом с его постелью. Потом стал прощаться; он взял меня за руку, посмотрел мне в глаза и говорит: «Вы хороший, Антон Павлович!» А потом улыбнулся, выпустил руку и прибавил: «А пьесы ваши все-таки плохие»...

Л. Я. ГУРЕВИЧ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Л. Н. ТОЛСТОМ

Мне много раз приходилось говорить с Толстым с глазу на глаз о серьезных, волнующих, религиозных, нравственных и общественных вопросах, или о современной литературе, или об общих знакомых — Лескове, Владимире Соловьеве, Стасове,— и всегда, после первой минуты понятного стеснения, я испытывала в разговоре с ним странную легкость, большую даже, чем в разговоре с громадным большинством «обыкновенных» людей. Я думаю, что это общее впечатление всех тех, кому он дорог в основных течениях его духа и кому удалось видеть его при естественных для него условиях,— не насилуя его настроений и хода его мыслей, как это иногда невольно делают люди, приехавшие к нему на очень короткое время и жаждущие услышать от него как можно больше суждений на самые ответственные темы...

Я помню, как мы говорили с ним однажды о западноевропейских анархистах-бомбистах, и он, возмущаясь их доктриною, вдруг сказал:

— А все-таки они мне гораздо милее всяких либералов. Сумасшедшие, конечно, но по крайней мере натура есть.

Он задумался, усмехнулся, покачал головой и проговорил, точно разговаривая с самим собою:

— Севастопольские гранаты мне вспомнились... Как она, бывало, летит мимо, воет, дух захватывает. И вдруг треснет где-нибудь поблизости... Хорошо!..

Это «хорошо» было сказано с таким заразительным чувством, что я вдруг представила себе своеобразную

прелесть этой минуты,— когда граната разрывается на поле сражения,— и засмеялась...

Горячность, нетерпеливость, страстность Толстого дают себя чувствовать и в тех случаях, когда что-нибудь безотчетно не нравится его реалистически-художественной натуре, и в тех случаях, когда что-нибудь резко противоречит его нравственным воззрениям. Точно так же и завоевать его симпатии можно как с непосредственно художественной, так и с идейной стороны его существа. В этих случаях он способен иногда не замечать обратной стороны подкупившего его явления.

Так ему нравится иногда, за моральную тенденцию, какой-нибудь рассказ, и он уже не обращает внимания на его художественную негодность. А между тем я помню, с каким увлечением он говорил о нашумевшем в то время романе «Трильби»¹, в котором его могла привлекать только легкая искрящаяся живость повествования. Золя отталкивал его своим мировоззрением — и он с досадой назвал его один раз «просто бездарным дураком», а Ибсен, очевидно, раздражает его своими художественными приемами. Он терпеть не может его и раз, сердясь, уверял меня, что совершенно не понимает его.

Я пробовала возражать ему. Он упорно твердил:

— Нет, нет, ничего в нем не понимаю.

— И про «Нору» вы то же скажете?.. Ведь это уж совсем простая, реалистическая вещь.

— И про Нору... Нисколько не лучше...

В кажущихся непоследовательностях Толстого есть своя психологическая последовательность, коренящаяся в его двойственной природе и ее непрерывных борениях. И потому часто самая эта его непоследовательность художественно и человечески подкупает душу.

Я помню, как однажды в Москве, в то время, когда Толстой задумывал свой труд об искусстве и в разговорах возмущался известными видами музыки, я услышала, находясь в нижнем этаже у лестницы, как сверху раздались звуки вальса.

— Послушайте! — сказала Татьяна Львовна, прервав нашу беседу. — Знаете, кто это играет? Папа. Это вальс его собственного сочинения. Но он очень стесняется этого.

Я видела его также играющим на рояле со скрипкою «Крейцерову сонату». Лицо его, несколько приближенное к нотам, было строго и светло-серьезно.

В эти минуты он не боролся с Бетховеном.

Один раз Лев Николаевич и покойный Н. Н. Ге, живший в то время в Москве и постоянно сидевший у Толстых, предложили мне пойти вместе с ними в Третьяковскую галерею. Помню их обоих перед «Распятием» Васнецова, которое оба очень не одобряли. Патетический реалист Ге только что написал свое нашумевшее тогда «Распятие», которым Толстой страстно увлекался. Стоя перед Васнецовым, Ге говорил, указывая на ангелов с большими крыльями:

— Нет, вы мне скажите, зачем тут птицы-то, птицы-то эти!

Толстой уже не слушал его и, отойдя, с интересом рассматривал, не помню уже чью, мрачную небольшую картину, изображавшую какую-то сцену в крестьянской избе. Но всего больше нравились ему, собственно, пейзажи, и я не могу забыть его восторга перед картиной, кажется, Дубовского, изображавшей иссиня-черную, низко нависшую над землею грозовую тучу².

— А! вот хорошо!.. Что хорошо, то хорошо! — повторял он, отходил от картины и снова возвращался.

Наверное, такое же чувство восторга вызывает в нем настоящая грозовая туча в Ясной Поляне с окружающими ее полями на холмах и старыми уходящими за горизонт засеками.

Воспоминания опять переносят меня туда, в поэтическую Ясную Поляну...

Вспоминается день рождения Толстого, 28 августа [1892 г.], ровно шестнадцать лет тому назад. Был чудесный солнечный день. Деревья, окружающие поляну с цветником перед домом, стояли не шевелясь, уже тронутые золотом, и дикий виноград у веранды зазелел. Мы с Марией Львовной собирали в букеты осенние цветы, чтобы поставить их на стол, и она напевала протяжную народную песню. В доме и во флигеле были гости... После обеда приехали из своего имения Фигнер с женой, Медеей Фигнер, тульский губернатор Зиновьев с дочерьми и еще другие гости. Вечером Фигнер пел арию Ленского и цыганские романсы, по просьбе Татьяны Львовны, а потом Фигнер с Медеей пели дуэт: «Далеко, далеко...» И Тол-

стой так наслаждался пением. Позже играли в petits-jeux и много смеялись. Наконец гости разъехались, а домашние еще долго не расходились, обмениваясь впечатлениями.

Помню, кто-то стал забавно передавать претенциозные замечания одного из уехавших, который в доме Толстого не смог отделаться от обычного самодовольства и ломанья. Толстой остановил:

— Ах, братцы, нехорошо это у нас выходит: принимаем гостей, услаждаемся, а как они со двора — начинаем злословить!.. Неблагородно выходит!

Все на минуту притихли, но потом кто-то сказал:

— Да как же быть, когда этакий ломака. Ведь смешно!

Засмеялись, заговорили было о другом, но скоро вспомнили еще одно изречение ломаки. Толстой опять остановил. Но в сторонке вдруг невольно заговорили о том же.

— Как, опять?..— воскликнул со смехом Толстой.— Ну, видно, не совладать... Валяй его в три кнута, ребята!..

И все хохотали до упаду, уже не над гостем, а больше сами над собой и бог знает еще над чем...

П. А. СЕРГЕЕНКО

КАК ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ Л. Н. ТОЛСТОЙ

Через неделю после моей первой встречи с Л. Н. Толстым я воспользовался его приглашением и часов около восьми вечера поехал... в Долго-Хамовнический переулок...

Один из присутствующих коснулся последекабрьской освободительной эпохи и заговорил о братьях Аксаковых, Каткове, Грановском, Герцене и других, которых всех Л. Н. Толстой знал лично. При имени Герцена Лев Николаевич оживился и рассказал, как виделся с ним в Лондоне¹. Установилось мнение, будто Л. Толстой не признает в Герцене литературного дарования. Это неверно. Напротив, именно литературный дар Герцена и ценит-то Лев Николаевич очень высоко. И когда вопрос коснулся этого, то в усталом голосе Льва Николаевича вдруг зазвучала горячая и юношески свежая нотка, появляющаяся всегда у него, когда он говорит о каком-нибудь истинном даровании или о прекрасном поступке.

— Если бы выразить в процентных отношениях,— сказал он,— влияние наших писателей на общество, то получилось бы приблизительно следующее: Пушкин тридцать процентов, Гоголь пятнадцать, Тургенев десять...

Л. Н. Толстой перечислил всех выдающихся русских писателей, кроме себя, и, отчислив на долю Герцена восемнадцать процентов, с убежденностью сказал:

— Он блестящ и глубок, что встречается очень редко.

К нашему столу подошел молодой художник. Лев Николаевич заговорил с ним об его работах и перешел на живопись, от которой требовал не букетов и амуров, а служения высшим запросам человеческого духа. Лев

Николаевич скоро вошел в страстный тон и начал горячо говорить, быстро завязывая при этом и развязывая какой-то шнурок, попавшийся ему в руки. Кто-то упомянул о большой картине одного московского художника.

— Ну вот хотя бы эта картина! — сказал, возбуждаясь, Лев Николаевич. — Кому нужна эта грубая мазня?.. И зачем эти глупые рожи? Кто же этого не знает, что глупые рожи бывают на свете? А ведь искусство всегда должно говорить что-нибудь новое, потому что оно есть выражение внутреннего состояния художника и только тогда осуществляет свое назначение, когда художник дает нам нечто такое, чего никто еще раньше не давал и чего никаким иным способом нельзя лучше выразить. Вот «Христос перед Пилатом» Ге — это настоящее искусство, хотя картина и плохо написана. Но никто до Ге так не говорил этого и никаким другим способом нельзя сказать это так, как сказал Ге своим замученным Христом и сытым, упитанным Пилатом.

...Лев Николаевич перешел на характеристику условий, создающих что-то вроде *лжеискусства*, которое людям вовсе не нужно.

— Нынче ведь, куда ни пойдешь, — сказал он, — в книжный магазин, в посудный, в ювелирный, — везде искусство. И не какое-нибудь любительское искусство, а патентованное, с дипломами и золотыми медалями. Пойдите в театр — там опять искусство: какая-нибудь госпожа ноги выше головы задирает. И эта гадкая глупость не только не считается неприличным делом, а, напротив, возводится в нечто первосортное и настолько важное для людей, что этому спорту отводится в газетах даже постоянное место наряду с величайшими мировыми событиями. Некоторые же органы печати имеют еще для этого и постоянных ценителей, которые часто ночью, прямо из театра, едут в типографию и там немедленно, при грохоте машин, пишут свои впечатления, поспешая, дабы мир завтра мог уже знать, как именно вчера такая-то госпожа в таком-то театре ноги вверх задирает.

— Но все это, бог даст, просеется временем, и в результате получится добрая питательная мука, — заметил кто-то из присутствующих.

— Зачем же мне ждать? — возразил Лев Николаевич. — Я и теперь чувствую, что на моих зубах песок.

Беда в том, что не видно конца этому, потому что с каждым днем ложь искусственно создается в лице различных музыкальных и художественных школ, уродующих тысячи молодых жизней. Между тем без этих рассадников всякой фальши и рутины молодые жизни могли бы приносить пользу людям. И когда я вижу юношу или девушку с дипломом или с медалью за выдающиеся успехи, то я уж знаю, что тут надо оставить всякую надежду. Передо мной исправно заведенная машинка и только.

— Ну, хорошо, Лев Николаевич,— сказал один из собеседников,— допустим, что существующие в России музыкально-художественные учреждения действительно не приносят особенной пользы. Допустим это и мысленно уничтожим их. Какие же учреждения вы дадите нам вместо тех, негодных?

— Вот странная претензия! — удивленно проговорил Лев Николаевич, пожав плечами.— Это все равно, что ко мне пришел бы больной с... флюсом. Флюс стесняет его. Флюс ему в тягость. Я вылечиваю его от флюса. Тогда он обращается ко мне и спрашивает: «А что же вы дадите мне вместо флюса?» Да ничего не нужно вместо флюса.

Все рассмеялись...

Лев Николаевич начал страстно доказывать, что современная музыка не дает мелодий и идет к упадку. А все симфонические вечера с их накрахмаленными слушателями — только мода и фальшь. Если б у кого-нибудь хватило духу в минуту музыкального остолбенения заиграть вдруг на одном из симфонических вечеров камаринскую, то все сразу душою ожили бы. И это понятно почему: камаринская выражает известное состояние сердца, а современная музыка ничего не выражает, кроме скуки.

— Однажды мне в Оренбурге,— сказал Лев Николаевич,— пришлось слышать, как одна башкирка ехала верхом и пела. Я ничего не понял из ее слов. Но песня ее подействовала на меня, потому что она была непосредственным выражением ее души. И всякую чисто народную песню поймет другой народ. Современная же — порченная — музыка требует исключительных слушателей и существует только для сытых. Поэтому она меня и отталкивает.

— А Вагнер? А «Зигфрид»? — спросил кто-то из присутствующих.

Л. Н. Толстой нахмурился.

— Это даже и не музыка!

— А что же?

— Это — иллюстрация. «Трат-та-та!» — это значит барабанщик. «Ту-ту-ту!» — это уж непременно труба и т. д. Высидеть несколько часов среди этих примитивных и однообразных звуков — своего рода пытка. Точно в доме умалишенных находишься. И когда попадется наконец несколько тактов настоящей музыки, то отдыхаешь, как в оазисе среди пустыни².

Один из присутствующих музыкантов начал возражать Льву Николаевичу:

— Но согласитесь, Лев Николаевич, что Вагнер увеличил средства оркестра и имел огромное влияние на современную музыку...

— Вот это-то и плохо, что он имел огромное влияние,— возразил горячо Лев Николаевич.— Это не движение музыки вперед, а вырождение ее, падение искусства. И вы меня извините, а я так уж решил про себя, что восхищаться Вагнером можно, только притупивши вкус к изящному. Зачем я буду есть хлеб с песком или за минутное музыкальное удовольствие платить целыми часами томительной скуки...

Через некоторое время он стал говорить спокойнее и, продолжая развивать свои мысли об искусстве, сказал, что в искусстве важно, чтобы не сказать ничего лишнего, а только давать ряд сжатых впечатлений. И тогда сильное место даст глубокое впечатление...

Тяжелое впечатление производят на него посетители, являющиеся к нему, чтобы завербовать его на какое-нибудь дело, противное началам его души. Нечто подобное испытывал он при посещении известного французского поэта Деруледа, явившегося ко Льву Николаевичу, чтобы соблазнить его идеей «реванша»³. В конце концов Л. Н. Толстой, обыкновенно относящийся к иностранцам с особым радушием, не выдержал и на воинственную тираду Деруледа с горячностью ответил:

— Границы государств должны определяться не мечом и кровью, а разумным соглашением народов. И когда не будет людей, не понимающих этого, тогда не будет и войн.

При этом Лев Николаевич встал и в волнении вышел из комнаты.

Дерулед омрачился. Он не ожидал этого и по возвращении Льва Николаевича заявил, что считает его рассуждения искусственными и что первый встречный русский крестьянин, наверно, рассуждает иначе. И в доказательство своей правоты Дерулед предложил перевести на русский язык его воззвание к первому встречному русскому крестьянину. Лев Николаевич согласился. Пошли гулять. Навстречу показался яснополянский мужик Прокофий. Лев Николаевич подзывает его и переводит ему патетическую речь Деруледи о том, что русские и французы—братья, но между ними стоит немец и мешает им обняться, а потому Дерулед предлагает Прокофию подать руку и жать масло из немца.

Прокофий внимательно выслушал, подумал и сказал:

— Нет, барин, пускай-ка будет лучше таким образом: вы, французы, значит, будете работать, и мы, русские, будем тоже работать. А после работы пойдем в трактир и немца с собою захватим.

Деруледи не удовлетворила эта комбинация.

Мне пришлось видеть его после представления *«Лира»*⁴. Он был недоволен проведенным вечером и сказал:

— Смотрел я на эти кривлянья и думал: а ведь со всем этим бороться нужно. Сколько тут рутины, загромождающей правду! Вот Пушкин сказал, что у Шекспира нет злодеев. Какой вздор! Эдмунд — чистый, форменный злодей.

Не удовлетворила его и *«Власть тьмы»* на сцене...

— Очень уж стараются артисты быть натуральными. Этого не следует делать. Исполнители должны скрывать свои намерения. Обыкновенно, как только замечаешь, что тебя стараются разжалобить или рассмешить, сейчас же начинаешь испытывать совершенно противоположные чувства. И исполнители во *«Власти тьмы»* не совсем таковы, какими я рисовал. Никита не щеголь, не форсун, а только отпрыск городской культуры. Аким не вещает, когда говорит; напротив, он напрягается, спешит и потеет от усилий мысли. Он должен быть нервен и суетлив.

Через некоторое время Лев Николаевич опять заговорил о «Лире» и, почувствовав аппетит, обратился к своим дочерям:

— Регана! Гонерилья! А будет ли старому отцу овсянка сегодня?

К Шекспиру Лев Николаевич вообще относится без увлечения... Он никогда не цитирует его и не подкрепляет свою речь крылатыми мыслями, которыми так богат Шекспир. Между тем, например, из Гете Лев Николаевич довольно часто приводит по-немецки различные стихотворные отрывки, хотя в то же время и не принадлежит к его горячим почитателям, вполне разделяя мнение Гейне, что Гете *великий человек в шелковом сюртуке*. Однажды он более определенно отозвался о Гете и сказал, что Гете представляет собою редкий образец величайшего художника, но без того особенного икса, который придает незаменимое достоинство писателю. С произведениями Гейне Лев Николаевич познакомился настоящим образом только в последнее время и очень увлекался ими. В самой горячей беседе он иногда останавливался и, поднявши голову, мастерски прочитывал по-немецки какое-нибудь стихотворение Гейне, относящееся к беседе. Особенно нравится ему стихотворение «Lass die frommen Hypotesen...»⁵.

Шиллера Льву Николаевичу тоже пришлось за последнее время реставрировать в своей памяти. Из Шиллера больше всего нравятся ему «Разбойники» своим молодым, горячим языком.

— «Дон Карлос» уже не то,— говорил он.— Главное же, в «Дон Карлосе» меня отталкивает то, чего я никогда терпеть не мог, это — исключительность положений. Поэтому, это все равно, что брать героями сямских близнецов.

С Берне Лев Николаевич до последнего времени вовсе не был знаком и с большим удовольствием прочитал недавно некоторые из его статей.

О Викторе Гюго Лев Николаевич очень высокого мнения.

— Редко, очень редко в одном человеке,— как-то сказал он,— сочетается такой талант с такой силой чувства и духа, как у Виктора Гюго.

Но больше всех имел влияние на его духовный уклад Ж.-Ж. Руссо.

— Я так боготворил Руссо,— сказал однажды Лев Николаевич,— что одно время хотел вставить его портрет в медальон и носить на груди вместе с иконкой...

Из русских писателей на Л. Н. Толстого имел наибольшее влияние Лермонтов. Он до сих пор горячо относится к нему, дорожа в нем тем свойством, которое он называет исканием. Без этого свойства Лев Николаевич считает талант писателя неполным и как бы с изъяном. Роль писателя, по его мнению, должна включать в себя два обязательных свойства: художественный талант и разум, то есть ту очищенную сторону ума, которая способна проникать в сущность явлений и давать высшую для своего времени точку миропонимания.

Из русских современников Л. Толстого имел некоторое влияние на его литературную формацию Д. Григорович.

Не считая Григоровича крупным художником, Лев Николаевич признает, однако, за ним значительные заслуги как за изобразителем народной жизни.

— Произведения Григоровича,— как-то сказал Лев Николаевич,— в свое время сделали свое дело. В этом отношении значительная заслуга принадлежит и Тургеневу, который сумел в эпоху крепостных отношений осветить крестьянскую жизнь и отметить ее поэтическую сторону. Но еще больше с этой стороны сделал Некрасов. У него было драгоценное качество — сочувствие к народу, которое всегда подкупает читателя.

К Некрасову как к человеку Лев Николаевич относится с симпатией... Однажды кто-то спросил у Льва Николаевича, ясен ли для него Некрасов как человек.

— О, вполне,— ответил Лев Николаевич.— Он мне очень нравился за свою прямоту и отсутствие всякого лицемерия. Всегда он открыто говорил о своих делах и чувствах, доводя иногда даже как бы до некоторого цинизма свою откровенность...

Тургенева Л. Н. Толстой всегда считал человеком передовым, хорошо образованным и очень талантливым. Но его беллетристические произведения, за исключением «Записок охотника», никогда не вызывали восхищения со стороны Л. Н. Толстого. По крайней мере он сам не раз говорил об этом:

— Тургенев как романист мне никогда особенно не нравился, даже и во дни моей молодости. Иногда я даже удивлялся, как мог такой многосторонне образованный и

талантливый человек, как Тургенев, писать такие незначительные вещи, как некоторые его повести...

— Не нравился мне и «Рудин» Тургенева, которым, помню, многие восхищались. Я слышал «Рудина» в чтении самого Тургенева. Он читал эту повесть как-то после обеда у Некрасова⁶. На чтении присутствовали: Анненков, Дружинин, Григорович, Некрасов, конечно, затем еще, кажется... кажется, Гончаров и Фет... Впрочем, хорошо не помню. Но помню, что и тогда мне не понравилось в повести Тургенева, что я всегда считал в нем слабой стороной,— это его романический элемент. Искусственно и ненужно все это. Вообще в этом отношении Тургенев был престранный человек. Во всякой красивой женщине он видел как бы ключ к величайшей премудрости. Вот ее, мол, надо послушать. В ней именно все то, что нужно человеку. Однажды он пресерьезно рассказывал мне, что одна графиня просила его быть верующим и взяла с него слово, что он будет непременно молиться богу. «И я молюсь теперь,— говорил Тургенев,— каждый день хоть немного, а возьму и помолюсь». А еще раз Тургенев рассказывал мне...— И Лев Николаевич вдруг рассмеялся.

— Вы только представьте себе,— сказал он,— фигуру Тургенева, стоящего, в виде наказания, в углу с колпаком на голове! А он уверял, что иногда именно это продельывает над собою, когда провинится в чем-нибудь. Возьмет будто бы высокий, высокий колпак, наденет на голову и поставит себя в угол. Поставит и стоит. Но все это мелочи, разумеется. Заслуги его все-таки велики. И его рассказы из народной жизни навсегда останутся драгоценным вкладом в русскую литературу. Я всегда высоко их ценил. И тут никто из нас с ним сравниться не может. Возьмите «Живые мощи», «Бирюка» и другие. Все это бесподобные вещи. А его картины природы! Это настоящие перлы, недостижимые ни для кого из писателей.

Однажды между Тургеневым и Л. Н. Толстым произошел очень характерный эпизод, быть может отчасти послуживший сгущению той тени, которая лежала вообще между Тургеневым и Л. Толстым.

В 1860 году Л. Толстой приехал в деревню к Тургеневу. Тот в это время кончил роман «Отцы и дети» и придавал очень большое значение своему новому произведению, выразивши желание узнать о нем и мнение Л. Н. Толстого. Последний взял рукопись, лег в кабинете на

диван и начал читать. Но роман показался ему так искусственно построенным и таким незначительным по содержанию, что он не мог преодолеть охватившей его скуки и... заснул.

— Проснулся я,— рассказывает он,— от какого-то странного ощущения и когда открыл глаза, то увидел удаляющуюся из кабинета гигантскую фигуру Тургенева.

Весь этот день между ними как бы висело что-то.

К Достоевскому Л. Н. Толстой относится как к художнику с глубоким уважением, и некоторые его вещи, особенно «Преступление и наказание» и первую часть «Идиота», Лев Николаевич считал удивительными. «Иная, даже небрежная, страница Достоевского,— как-то сказал Лев Николаевич,— стоит многих томов многих теперешних писателей. На днях для «Воскресения» я прочел его «Записки из Мертвого дома». Какая это удивительная вещь!»

Некоторых из писателей Л. Н. Толстой как бы вовсе не признает. К этому разряду относятся Мельников-Печерский, Помяловский, Решетников и некоторые из современных литераторов. Из писателей-народников Л. Н. всегда с оживлением говорит о Слепцове.

Из современных русских писателей Л. Н. Толстой наиболее любит А. Чехова, к которому относится всегда с особенной благожелательностью и считает его перворазрядным мастером по языку и колориту некоторых его рассказов. Он охотно и хорошо читает вслух рассказы А. Чехова, перечитывая по нескольку раз некоторые вещи. «Драму», «Злоумышленника», «Холодную кровь» и другие мелкие чеховские рассказы Лев Николаевич может читать и слушать сколько угодно.

Как-то пришел я к Толстым с новым рассказом А. Чехова «Душечка». За чаем заговорили о литературе. Я сказал о новом рассказе А. Чехова. Лев Николаевич спросил, читал ли я этот рассказ и как его нахожу. Я сказал, что читал и нахожу его «ничего себе». Впрочем, я пробежал мельком рассказ и, может быть, составил о нем неверное мнение. Узнав, что рассказ А. Чехова со мною, Лев Николаевич оживился и предложил читать вслух «Душечку». С первых же строк рассказа он начал делать одобрительные вставки: «Как хорошо! Какой превосходный язык!» и т. п. И, прочитавши с большим мастерством «Душечку», Лев Николаевич обратился ко мне с недоумением:

— Как же это вы сказали «ничего себе»? Это просто перл. Как тонко схвачена и выведена вся природа женской любви! И какой язык! Никто из нас, ни Достоевский, ни Тургенев, ни Гончаров, ни я, не могли бы так написать.

И Лев Николаевич начал с одушевлением цитировать некоторые места из «Душечки».

В это время пришли новые посетители к Толстому. Лев Николаевич поздоровался и сейчас же спросил:

— Читали «Душечку» Чехова?

— Нет.

— Послушайте, какая прелесть! Хотите?

И Лев Николаевич вторично прочел «Душечку» еще с большим мастерством.

Небезынтересно, что мысль о небольших беллетристических эскизах, появившихся потом в печати под названием «Стихотворений в прозе», подал Тургеневу Л. Н. Толстой...

Однажды, когда зашла речь об усиленной работе над художественными произведениями, Лев Николаевич сказал:

— Никакою мелочью нельзя пренебрегать в искусстве, потому что иногда какая-нибудь полуоторванная пуговица может осветить известную сторону жизни данного лица. И пуговицу непременно надо изобразить. Но надо, чтобы и все усилия и полуоторванная пуговица были направлены исключительно на внутреннюю сущность дела, а не отвлекали внимания от главного и важного к частностям и пустякам, как это делается сплошь и рядом. Какой-нибудь из современных писателей, описывая историю Иосифа с женой Пентефрия, наверно уж не пропустил бы случая блеснуть знанием жизни и написал бы: «Подойди ко мне,— томно произнесла жена Пентефрия, протягивая Иосифу свою нежную от ароматических натираний руку с таким-то запястьем, и т. д.». И все эти подробности не только не осветили бы ярче сущности дела, но непременно бы затушевали ее. Самое же главное в искусстве — не сказать ничего лишнего...

В другой раз, во время прогулки по полю, мне пришлось слышать мнение Льва Николаевича об его работах. Он на минуту замедлил шаги и сказал с оттенком горечи:

— Пишешь-пишешь всякие повести и рассказы, а как посмотришь на жизнь нашей интеллигенции и сравнишь

ее с трудовой жизнью народа, то совестно делается, что занимаешься такими пустяками, как писание для интеллигенции. И хочется раз навсегда бросить все это...

Постоянное стремление Льва Николаевича к правдивости и ясности в своих произведениях берет у него много времени не только на самое писание, но и на подготовительную работу. Он старается найти в жизни подтверждения задуманным положениям и немедленно отбрасывает все выдуманное, если жизнь подставляет готовый эпизод...

«Крейцера соната» возникла при следующих обстоятельствах. У Толстых гостили в Ясной Поляне художник И. Репин, актер Андреев-Бурлак⁷, очень смешивший Льва Николаевича своими рассказами, и приехавшая из-за границы г-жа Г., которая однажды вечером сыграла сонату Крейцера с такою яркою выразительностью, что произвела на всех, и на Льва Николаевича в особенности, глубокое впечатление, под влиянием которого он сказал И. Репину:

— Давайте и мы напишем Крейцерову сонату. Вы — кистью, я — пером, а Василий Николаевич (Андреев-Бурлак) будет читать ее на сцене, где будет стоять и ваша картина.

Предложение это вызвало общее одобрение.

Через некоторое время Лев Николаевич, с присущею ему настойчивостью, взялся за работу, которая давно уже, вероятно, бродила в его голове...⁸

«Плоды просвещения» были написаны для домашнего спектакля в Ясной Поляне. Сначала пьеса состояла из двух действий и называлась «Исхитрилась». Но по мере того как шли репетиции, в которых Лев Николаевич принимал деятельное участие, он исправлял и дополнял пьесу, соображаясь с составом действующих лиц. Во время спектакля некоторые исполнители доставили ему такое большое удовольствие своею игрой, что некоторые сцены навсегда запечатлелись в его памяти. Особенно восхитил его судебный следователь Л[опатин], исполнявший роль одного из мужиков.

— Приехал он, — рассказывает Лев Николаевич, — в Ясную и целый день ни с кем почти не разговаривал, все ходил понуря голову. Но на сцене превзошел всех и создал из своей маленькой роли нечто столь прекрасное, что я не мог даже предвидеть, создавая эту роль.

И, одушевляясь по обыкновению, когда речь касалась истинного дарования, Лев Николаевич начал вспоминать игру старых московских актеров: Щепкина, Мартынова и других. О Мартынове он отзывался с особенным жаром.

— Это был великий артист,— сказал он,— сочетавший в себе три драгоценных качества: талант, ум и способность к упорному труду. В пьесе А. Потехина «Чужое добро впрок не пойдет» Мартынов был так бесподобен, что я, тогда еще начинавший литератор, поднял клич, и мы устроили ему великолепную овацию...

Будучи в хорошем настроении и находясь в кругу близких знакомых, он передает иногда свои впечатления в лицах и ярко оттеняет типические особенности каждого лица.

— Ну, давайте еще вспоминать о чем-нибудь,— говорит иногда Лев Николаевич и начинает рассказывать о своей молодости, о Кавказе, о своих охотничьих похождениях. Как однажды на Кавказе пьяница Ерошка, которого Лев Николаевич описал в «Казаках», прибежал к нему и сказал, что в станице появился волк, как Лев Николаевич схватил двустволку и стал в указанном Ерошкой месте поджидать волка. Но было очень темно. И Лев Николаевич не заметил, как волк преспокойно перелез около него через забор. Только потом уж Лев Николаевич сообразил, что это волк, и выстрелил в него вдогонку. Но ружье дало осечку, и волк прелюбопытно удалился. Один из слушателей по ассоциации идей вспоминает о том, как медведь душил Льва Николаевича, и спрашивает:

— Лев Николаевич, о чем вы тогда думали, когда на вас напал медведь?

— Когда там было думать? — возразил Лев Николаевич. — Ни о чем не думал. Старался только отвернуть свое лицо от медведя и больше ничего. Медведь ведь всегда норовит вцепиться в глаза, вероятно чувствуя, что это самая заветная вещь у человека. И у всех заеденных медведем почти всегда на лбу кожа изгрызена. Это бывает потому, что всякий, желая защитить глаза, делает вот такое движение и невольно подставляет лоб. То же самое сделал и я, когда медведь повалил меня. Я сделал движение головой вниз, и челюсть его очутилась вот здесь, около лба. Тут, как видите, еще и шрам виден.

Кто-то из присутствующих спросил:

— Очень страшно было?

— Нет, не особенно. Самый большой страх я испытал только однажды, в тысяча восемьсот пятьдесят третьем году на Кавказе. В этот день у нас была горячая схватка с горцами. Мы получили приказ выступить рано утром. Надо было обойти гористую площадь и подойти к неприятельской крепости. Но туман в этот день был так густ; что в нескольких шагах все уже сливалось, и мы только по звукам орудий догадывались, где наши действуют, а где неприятель. Я был фейерверкером, вынул клин и навел орудие по слуху. Трескотня в это время была ужасная. А это сильно возбуждает нервы, так что о смерти даже и не думаешь. Вдруг одно из неприятельских ядер ударило в колесо пушки, раздробило обод и с ослабевшей силой помяло шину второго колеса, около которого я стоял. Не попади ядро в обод первого колеса, мне, вероятно, было бы плохо. Сейчас же другое ядро убило лошадь. Тогда мы решили отступить и начали стрелять, что называется, «отвозом», то есть не отпрягая лошадей. Убитую лошадь надо было бросить. Обыкновенно отрезают постромки. Но брат Николай,— это был удивительного присутствия духа человек,— ни за что не хотел оставить неприятелю сбруи. Я начал его убеждать. Но тщетно. И пока не была снята с лошади сбруя, брат Николай продолжал отдавать распоряжения под выстрелами. Все это однако заняло значительное время. Мы страшно устали, и подъем духа у нас стал заметно падать. Всё отступая и отступая, мы начали уже думать, что находимся с другой стороны и вдали от неприятеля. Вдруг невдалеке от нас раздались неприятельские выстрелы. Тут я почувствовал такой страх, какого никогда не испытывал. С напряженным усилием мы опять начали отступать в сторону и только уже к вечеру, обессиленные и голодные, добрались наконец до казачьей стоянки. Казаки нас встретили по-товарищески, мгновенно раздобыли вина и зажарили козленка. Они ведь все это хоть из-под земли выкопают. И с каким наслаждением мы растянулись на траве у пылающего костра! Как вкусен был молодой козленок!..

К. С. СТАНИСЛАВСКИЙ

ЗНАКОМСТВО С Л. Н. ТОЛСТЫМ

Приблизительно в это время¹ наш любительский кружок, Общество искусства и литературы, играл несколько спектаклей в Туле. Репетиции и другие приготовления к нашим гастролям происходили там же, в гостеприимном доме Николая Васильевича Давыдова, близкого друга Льва Николаевича Толстого. Временно вся жизнь его дома приспособилась к театральным требованиям. В промежутках между репетициями происходили шумные обеды, во время которых одна веселая шутка сменялась другой. Сам, уже немолодой, хозяин превратился в школьника.

Однажды, в разгар веселья, в передней показалась фигура человека в крестьянском тулупе. Вскоре в столовую вошел старик с длинной бородой, в валенках и серой блузе, подпоясанной ремнем. Его встретили общим радостным восклицанием. В первую минуту я не понял, что это был Л. Н. Толстой. Ни одна фотография, ни даже писанные с него портреты не могут передать того впечатления, которое получалось от его живого лица и фигуры. Разве можно передать на бумаге или на холсте глаза Л. Н. Толстого, которые пронизывали душу и точно зондировали ее! Это были глаза то острые, колющие, то мягкие, солнечные. Когда Толстой приглядывался к человеку, он становился неподвижным, сосредоточенным, пылливо проникал внутрь его и точно высасывал все, что было в нем скрытого — хорошего или плохого. В эти минуты глаза его прятались за нависшие брови, как солнце за тучу. В другие минуты Толстой по-детски откликался на шутку, заливался милым смехом, и глаза его становились веселыми и шутивными, **выходили** из густых бро-

вей и светили. Но вот кто-то высказал интересную мысль,— и Лев Николаевич первый приходил в восторг; он становился по-мóлодому экспансивным, юношески подвижным, и в его глазах блестели искры гениального художника.

В описываемый вечер моего первого знакомства с Толстым он был нежный, мягкий, спокойный, старчески приветливый и добрый. При его появлении дети вскочили со своих мест и окружили его тесным кольцом. Он знал всех по именам, по прозвищам, задавал каждому какие-то непонятные нам вопросы, касающиеся их интимной домашней жизни.

Нас, приезжих гостей, подвели к нему по очереди, и он каждого подержал за руку и позондировал глазами. Я чувствовал себя простреленным от этого взгляда. Неожиданная встреча и знакомство с Толстым привело меня в состояние какого-то оцепенения. Я плохо сознавал, что происходило во мне и вокруг меня. Чтоб понять мое состояние, нужно представить себе, какое значение имел для нас Лев Николаевич.

При жизни его мы говорили: «Какое счастье жить в одно время с Толстым!» А когда становилось плохо на душе или в жизни и люди казались зверями, мы утешали себя мыслью, что там, в Ясной Поляне, живет он — Лев Толстой! И снова хотелось жить.

Его посадили за обеденный стол против меня.

Должно быть, я был очень странен в этот момент, так как Лев Николаевич часто посматривал на меня с любопытством. Вдруг он наклонился ко мне и о чем-то спросил. Но я не мог сосредоточиться, чтобы понять его. Кругом смеялись, а я еще больше конфузился.

Оказалось, что Толстой хотел знать, какую пьесу мы играем в Туле, а я не мог вспомнить ее названия. Мне помогли.

Лев Николаевич не знал пьесы Островского «Последняя жертва» и просто, публично, не стесняясь, признался в этом; он может открыто сознаваться в том, что мы должны скрывать, чтоб не прослыть невеждами. Толстой имеет право забыть то, что обязан знать каждый простой смертный.

— Напомните мне ее содержание,— сказал он.

Все затихли в ожидании моего рассказа, а я, как ученик, проваливающийся на экзамене, не мог найти ни од-

ного слова, чтобы начать рассказ. Напрасны были мои попытки, они возбуждали только смех веселой компании. Мой сосед оказался не храбрее меня. Его корявый рассказ тоже вызвал смех. Пришлось самому хозяину дома, Николаю Васильевичу Давыдову, исполнить просьбу Л. Н. Толстого.

Сконфуженный провалом, я замер и лишь исподтишка виновато осмеливался смотреть на великого человека. В это время подавали жаркое.

— Лев Николаевич! Не хотите ли кусочек мяса? — дразнили взрослые и дети вегетарианца Толстого.

— Хочу! — пошутил Лев Николаевич.

Тут со всех концов стола к нему полетели огромные куски говядины. При общем хохоте знаменитый вегетарианец отрезал крошечный кусочек мяса, стал жевать и, с трудом проглотив его, отложил вилку и ножик.

— Не могу есть труп! Это отравл! Бросьте мясо, и только тогда вы поймете, что такое хорошее расположение духа, свежая голова!

Попав на своего конька, Лев Николаевич начал развивать хорошо известное теперь читателям учение о вегетарианстве.

Толстой мог говорить на самую скучную тему, и в его устах она становилась интересной. Так, например, после обеда, в полутьме кабинета, за чашкой кофе, он в течение более часа рассказывал нам свой разговор с каким-то сектантом, вся религия которого основана на символах. Яблоня на фоне красного неба означает такое-то явление в жизни и предсказывает такую-то радость или горе, а темная ель на лунном небе означает совсем другое; полет птицы на фоне безоблачного неба или грозовой тучи означает новые предзнаменования и т. д. Надо удивляться памяти Толстого, который перечислял бесконечные приметы такого рода и заставлял какой-то внутренней силой слушать с огромным напряжением и интересом скучный по содержанию рассказ!

Потом мы заговорили о театре, желая похвастаться перед Львом Николаевичем тем, что мы первые в Москве играли его «Плоды просвещения».

— Доставьте радость старику, освободите от запрета «Власть тьмы» и сыграйте! — сказал он нам.

— И вы позволите нам ее играть? — воскликнули мы хором.

— Я никому не запрещаю играть мои пьесы,— ответил он.

Мы тут же стали распределять роли между членами нашей молодой любительской труппы. Тут же решался вопрос, кто и как будет ставить пьесу; мы уже поспешили пригласить Льва Николаевича приехать к нам на репетиции; кстати воспользовались его присутствием, чтобы решить, какой из вариантов 4-го акта нам надо играть, как их соединить между собой, чтобы помешать досадной остановке действия в самый кульминационный момент драмы. Мы наседали на Льва Николаевича с молодой энергией. Можно было подумать, что мы решаем спешное дело, что завтра же начинаются репетиции пьесы.

Сам Лев Николаевич, участвуя в этом преждевременном совещании, держал себя так просто и искренно, что скоро нам стало легко с ним. Его глаза, только что прятавшиеся под нависшими бровями, блестели теперь молодого, как у юноши.

— Вот что,— вдруг придумал Лев Николаевич и ожил от родившейся мысли,— вы напишите, как надо связать части, и дайте мне, а я обработаю по вашему указанию.

Мой товарищ, к которому были обращены эти слова, смутился и, не сказав ни слова, спрятался за спину одного из стоявших около него. Лев Николаевич понял наше смущение и стал уверять нас, что в его предложении нет ничего неловкого и неисполнимого. Напротив, ему только окажут услугу, так как мы — специалисты. Однако даже Толстому не удалось убедить нас в этом.

Прошло несколько лет, во время которых мне не пришлось встретиться с Львом Николаевичем.

Тем временем «Власть тьмы» была пропущена цензурой и сыграна по всей России. Играли ее, конечно, как написано самим Толстым, без какого-либо соединения вариантов 4-го акта. Говорили, что Толстой смотрел во многих театрах свою пьесу, кое-чем был доволен, а кое-чем — нет.

Прошло еще некоторое время. Вдруг я получаю записку от одного из друзей Толстого, который сообщает мне, что Лев Николаевич хотел бы повидаться со мною. Я еду, он принимает меня в одной из интимных комнат

своего московского дома. Оказалось, что Толстой был неудовлетворен спектаклями и самой пьесой «Власть тьмы».

— Напомните мне, как вы хотели переделать четвертый акт. Я вам напишу, а вы сыграйте.

Толстой так просто сказал это, что я решился объяснить ему свой план. Мы говорили довольно долго...

Помню еще случайную встречу с Львом Николаевичем Толстым в одном из переулков близ его дома. Это было в то время, когда он писал свою знаменитую статью против войны и военных². Я шел с знакомым, который хорошо знал Толстого. Мы встретили его. На этот раз я опять оробел, так как у него было очень строгое лицо и глаза его спрятались за густые нависшие брови. Сам он был нервен и раздражителен. Я шел почтительно сзади, прислушиваясь к его словам. С большим темпераментом и жаром он высказывал свое порицание узаконенному убийству человека. Словом, он говорил о том, что написал в своей знаменитой статье. Он обличал военных, их нравы с тем большей убедительностью, что в свое время он проделал не одну кампанию. Он говорил не на основании теории только, а на основании опыта. Нависшие брови, горящие глаза, на которых, казалось, каждую минуту готовы были заблестеть слезы, строгий и вместе с тем взволнованно-страдающий голос.

Вдруг из-за угла скрещивающихся улиц, как раз навстречу нам, точно выросли из-под земли два конногвардейца в длинных солдатских шинелях, с блестящими касками, со звенящими шпорами и с шумно волочащимися саблями... Красивые, молодые, стройные, высокие фигуры, бодрые лица, мужественная, выправленная, вышколенная походка,— они были великолепны. Толстой замер на полуслове и впился в них глазами с полуоткрытым ртом и застывшими в незаконченном жесте руками. Лицо его светилось.

— Ха-ха! — вздохнул он на весь переулок.— Хорошо! Молодцы! — И тут же с увлечением начал объяснять значение военной выправки. В эти минуты легко было узнать в нем старого опытного военного...

А. Я. БОЦ

МОИ ДВЕ ВСТРЕЧИ С Л. Н. ТОЛСТЫМ

Обратив внимание на горный знак (кирка и молоток), красовавшийся на моей фуражке, Толстой дорогой спросил меня:

— Вы — горняк? Где работаете?

Я ответил, что в этом году окончил горную школу и теперь работаю заведующим на шахтах соседнего рудника Гиля.

Толстой предложил нам сесть и сам уселся в одно из плетеных кресел, стоявших на террасе. Случилось так, что я сел как раз напротив, совсем близко от него, а двое моих товарищей оказались несколько поодаль, сбоку. Толстой, снова обратившись ко мне, задал мне следующий вопрос:

— Кстати, не расскажете ли вы мне, какие это существуют устройства для предупреждения рабочих от падения в шахту в случае, когда канат, к которому подвешена клеть с опускающимися в нее людьми, внезапно обрывается?

Я ответил, что такие приспособления есть, называются они парашютами. И тут же принялся рассказывать, как они устроены, как работают, чем отличаются один от другого по принципу своего устройства и действия.

Из-под нависших бровей сурового и, как мне казалось, огромного лица на меня были устремлены глаза, забыть которые невозможно. Взгляд их как бы пронизывал меня насквозь, добираясь до самого дна души, и чувствовалось, что от него никуда не скроешься...

Почти год спустя, примерно в июне или июле 1894 года, часа в два дня, когда после осмотра шахтных работ я со-

бирался отдохнуть в своей квартире, находившейся при шахте, ко мне постучались в дверь и торопливо сообщили:

— Граф приехал! Шахту смотреть! Вас дожидается...

Не сообразивши сразу, в чем дело (какой граф? почему граф?), я наскоро оделся и вышел к подшахтному зданию.

Среди толпы собравшихся здесь людей я, к изумлению своему, увидел знакомую мне фигуру Толстого в неизменной его блузе. Он был окружен целой свитой людей, в которых я распознал служащих цементного и химического заводов, находившихся по соседству. Видно было, что меня дожидались, зная, что без моего разрешения осматривать шахту нельзя.

Толстой протянул мне руку и, указав на стоящего рядом с ним молодого человека в блузе, с приятным, открытым лицом, сказал:

— Мой друг Ге¹.

И тут же прибавил:

— Мы побывали сейчас на цементном и химическом заводах, теперь пришли к вам на шахту. Помните, вы мне рассказывали про устройство парашютов в клети, по которой люди спускались в шахту? Не покажете ли вы мне их тут, на месте?..

Толстой очень внимательно осматривал детали механизма, как бы стараясь закрепить их в своей памяти. Когда я, давая пояснения, смотрел ему прямо в глаза, я снова испытывал на себе пронизывающую силу его взгляда...

В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧ

МОИ ВСТРЕЧИ С ЛЬВОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ТОЛСТЫМ

В 1895 году, зайдя в «Посредник» днем, часа в три, и сидя в редакции, я вдруг увидел входящего Льва Николаевича. Он был одет в полушубок, в валенки, а вокруг шеи был обмотан башлык.

Все встрепенулись.

— А я к вам на минуточку, — не раздеваясь, весело сказал Лев Николаевич, со всеми здороваясь и вопросительно смотря на меня. Меня представили.

— Здравствуйте, здравствуйте! Слышал о вас! — приветливо сказал Лев Николаевич, пожимая мне руку.

— Какие вести от Веры Михайловны? ¹ Что она, все там же, в деревенской глуши? — оживленно спросил Лев Николаевич. — Вот славная, — умиленно продолжал он, — от слов прямо к делу. Только из тюрьмы — сейчас же на работу в деревню, к мужикам, где она, конечно, принесет очень много пользы.

— А вы послали ей книг? — спросил он И. И. Горбунова-Посадова. — Ей необходимо иметь там библиотеку, пока не запретят давать книг народу.

Оказалось, что ей книг из «Посредника» послали.

Я сказал, что тоже направил много книг и что она просила выслать ей программы различных политических партий, которыми очень заинтересовался В. Г. Чертков.

— И что же, вы тоже послали?.. Ведь это страшно, ее могут арестовать...

Я сказал, что считаю неосторожным с ее стороны писать об этом в письме и что я изложил письменно эти программы и послал по тому адресу, который мне сообщили...

— А революционеры печатают сейчас что-либо? Есть книжки? — вдруг спросил меня Лев Николаевич.

Я сказал, что в Москве много циркулирует нелегальных книг.

— А что именно?

— О штрафах...

— Это очень нужно, — вдруг оживляясь, перебил меня Лев Николаевич, — рабочих задушили штрафами, просто обируют их...

Я назвал еще несколько книг.

— Я очень хотел бы посмотреть «Ткачи»². Неужели издали? Всю целиком?

— Да.

— Это прекрасно...

— А чем вы теперь занимаетесь, в чем ваша революционная деятельность? — вдруг близко-близко подсев ко мне, тихонько спросил он, прямо упирая в меня пристальный взгляд серо-стальных глаз.

Я невольно улыбнулся и, не желая быть неучтивым и вместе с тем прекрасно сознавая, что и Л. Н. Толстому я не должен говорить ничего лишнего, сказал ему:

— Да ничем особенно. Вот книжечки даю читать, иногда сохраняю их...

— Но ведь это же опасно, очень опасно и крайне тревожно! — понижая голос, сказал Лев Николаевич, видимо волнуясь за меня.

— Особенного в этом ничего нет, — искренно ответил я ему, так как действительно до того привык возиться с нелегалщиной, что это сделалось для меня совершенно обыденным делом.

— Но ведь могут прийти, каждый час, каждую минуту, сделать обыск и забрать!..

— Это верно, так мы по очереди, — невольно вырвалось у меня.

— Как по очереди?

— Очень просто, сегодня я у себя храню сутки в своей комнате, а завтра сутки мой сосед — товарищ...

— Да ведь это же ужасно!.. — воскликнул Лев Николаевич, очевидно желая поглубже проникнуть в нашу психологию революционеров-профессионалов. — Это какая-то дуэль через платок с неизвестностью, с судьбой... Будет — не будет, чет — нечет... Ведь это же страшно! И какое вечное напряжение и покорность судьбе, — искал

он психологического выхода, желая объяснить наши душевные переживания.

— Да это со стороны так страшновато, волнительно, а на самом деле все гораздо проще,— ответил я ему, передавая то, что действительно чувствовал.— Ведь это же наше ежедневное дело...

— Ну, если революционная борьба стала *делом*,— подчеркнул он голосом,— делом обыденной жизни, я не поздравляю правительство, ему действительно грозит опасность... Революция, переходящая в жизнь, чревата большими последствиями...

И он умолк, и разговор больше не продолжался.

Он вскоре встал, мило распрощался и, пожимая мне руку, сказал тихонько:

— А книжечку принесите... Я буду здесь послезавтра в это же время...

И. А. БУНИН

ТОЛСТОЙ

Я чуть не с детства жил в восхищении им.

Мальчиком я уже имел некоторое представление о нем, но не из чтения его книг, а по разговорам у нас в доме. Между прочим, помню, что отец нередко смеялся, рассказывая, как читают «Войну и мир» наши некоторые соседи помещики: один читает только «войну», а другой только «мир», то есть один, читая, пропускает все, что касается войны, а другой наоборот. И чувства к Толстому были у меня тогда уже не простые. Отец говорил:

— Я его немного знал. Во время севастопольской кампании встречал...

И, помню, я на него смотрел с восторженным удивлением: живого Толстого видел!

Откуда были у меня такие чувства к человеку, которого я еще ни строчки не прочел? Но с меня было довольно уже того, что он писатель. С самого детства писатели были для меня существами какого-то совсем особого рода, к которым я испытывал какое-то непередаваемое чувство, которого я и до сих пор не умею определить, как не умею сказать, как, когда и почему я сам стал писателем. Ответить на это для меня так же невозможно, как на то, с каких пор и как вообще я стал тем, что я есть. Когда же (как-то само собою) решилось, что мне надлежит быть только писателем, моей второй жизнью стала жизнь в том мире, где поэты, писатели. Но опять не помню, когда именно начал я читать Толстого и как случилось, что я выделил его из прочих. Бывает, что человек открывает что-нибудь прекрасное и дорогое для него внезапно, с изумлением. Этого со мной по отношению к Толстому не было, такой минуты я не помню.

Вообще, то прекрасное, что я встречал в детстве, отрочестве, молодости, кажется, никогда не удивляло меня,— напротив, у меня было такое чувство, точно я знал его уже давно, так что мне оставалось только радоваться встрече с ним.

А затем долгие годы я был по-настоящему влюблен в него, в тот мной самим созданный образ, который томил меня мечтой увидеть его наяву. Мечта эта была неотступная, но как я мог тогда осуществить ее? Поехать в Ясную Поляну? Но с какой стати, с какими глазами? Раз я не выдержал: в один прекрасный летний день внезапно оседлал своего верхового киргиза и закатился на Ефремов, в сторону Ясной Поляны, до которой от нас было не больше ста верст. Но, доскакав до Ефремова, струсил, решил обдумать дело серьезнее, переночевать в Ефремове — и всю ночь не мог заснуть от волнения, от поминутной смены решений, ехать или не ехать, скитался всю ночь по городу и так устал, что, зайдя на рассвете в городской сад, мертвым сном заснул на первой попавшейся скамейке, а проснувшись, и совсем протрезвился, подумал еще немного — и поскакал назад, домой, где работники сказали мне:

— Эх, барчук, барчук, и как только ухитрились вы так обработать киргиза за одни сутки! За кем это вы гонялись?

После того я напрасно «гонялся» за Толстым еще несколько лет.

В молодости, плененный мечтами о чистой, здоровой и доброй жизни среди природы, собственными трудами, в простой одежде, в братской дружбе не только со всеми бедными и угнетенными людьми, но и со всем растительным и животным миром, главное же опять-таки от влюбленности в Толстого как художника я стал толстовцем,— конечно, не без тайной надежды, что это даст мне наконец уже как бы несколько законное право увидеть его и даже, может быть, войти в число людей, приближенных к нему. И вот началось мое толстовское «послушание».

Я жил тогда в Полтаве, где почему-то оказалось немало толстовцев, с которыми я вскоре и сблизился. В общем это был совершенно несносный народ, но я терпел. Первый, кого я узнал, был некто Клопский, человек довольно известный в то время в некоторых кругах и даже попавший в герои нашумевшей тогда повести Каронина

«Учитель жизни». Это был высокий, худой человек в длинных сапогах и в блузе, с узким серым ликом и бирюзовыми глазами, хитрый нахал и плут, неутомимый болтун, вечно всех поучавший, наставлявший, любивший ошеломлять неожиданными выходками, дерзостями и вообще всей той манерой вести себя, при помощи которой он довольно сытно и весело шатался из города в город. Среди полтавских толстовцев был доктор Александр Александрович Волкенштейн, по происхождению и по натуре большой барин, кое в чем походивший на Стиву Облонского. И вот, явившись в Полтаву, Клопский первым делом отправляется к Волкенштейну и очень скоро попадает через него в полтавские салоны, куда Волкенштейн проводит его и с «идейной» целью, как проповедника, и просто для забавы, как курьезную фигуру, и где Клопский говорит, например, такие вещи:

— Да, да, вижу, как вы тут живете: лжете, да конфетами закусываете, да идолам своим по церквам, которые уже давно пора на воздух взорвать, молебны служите! И когда только вообще кончатся все те нелепости и мерзости, в которых тонет мир? Вот, скажем, ехал я сюда из Харькова. Приходит человек, называемый почему-то кондуктором, и говорит: «Ваш билет». Я его спрашиваю: «А что это значит, какой, собственно, билет?» Отвечает: «Но билет, по которому вы едете?» А я ему опять свое: «Позвольте, я не по билету, а по рельсам еду». — «Значит, говорит, у вас билета нету?» — «Конечно, говорю, нету». — «В таком случае мы вас на следующей станции высадим». — «Прекрасно, говорю, это ваше дело, а мое дело ехать». На следующей станции действительно являются: «Пожалуйста выходите». — «Но зачем же, говорю, выходить, мне и тут хорошо». — «Значит, вы выходить не желаете?» — «Разумеется, нет». — «Тогда мы вас выведем». — «Выведете? Но я не пойду». — «Тогда вытащим, вынесем». — «Что же, выносите, это ваше дело». И вот меня действительно тащат: несут на руках, на диво всей почтенной публике, два рослых бездельника, два мужика, которые с гораздо большей пользой могли бы землю пахать.

Таков был этот в некотором роде знаменитый Клопский. Прочие были не знамениты, но тоже хороши. Это были братья Д., севшие на землю под Полтавой, люди необыкновенно скучные, тупые и самомнительные, хотя

с виду весьма смиренные, затем некто Леонтьев, щуплый и маленький молодой человек болезненной, но редкой красоты, бывший паж, тоже мучивший себя мужицким грудом и тоже лгавший и себе и другим, что он очень счастлив этим, затем громадный еврей, похожий на матерого русского мужика, ставший впоследствии известным под именем Генеромо, человек, державшийся всегда с необыкновенной важностью и снисходительностью к простым смертным, нестерпимый ритор, софист, занимавшийся бондарным ремеслом. К нему-то под начало и попал я. Он-то и был мой главный наставник как в «учении», так и в жизни трудами рук своих: я был у него подмастерьем, учился набивать обручи. Для чего мне нужны были эти обручи? Для того опять-таки, что они как-то соединяли меня с Толстым, давали мне тайную надежду когда-нибудь увидеть его, войти в близость с ним. И, к великому моему счастью, надежда эта вскоре совершенно неожиданно оправдалась. Вскоре вся братия смотрела на меня уже как на своего, и Волкенштейн — это было в самом конце девяносто третьего года — вдруг пригласил меня ехать с ним сперва к «братьям» в Харьковскую губернию, к мужикам села Хилково, принадлежавшего известному толстовцу князю Хилкову, а затем в Москву, к самому Толстому.

Трудное это было путешествие. Ехали мы в третьем классе, с пересадками, все норовя попадать в вагоны наиболее простонародные, ели «безубойное», то есть черт знает что, хотя Волкенштейн иногда и не выдерживал, вдруг бежал к буфету и с страшной жадностью глотал одну за другой две-три рюмки водки, закусывая и обжигаясь пирожками с мясом, а потом пресерьезно говорил мне:

— Я опять дал волю своей похоти и очень страдаю от этого, но все же борюсь с собой и все же знаю, что не пирожки владеют мной, а я ими: я не раб их, хочу — ем, хочу — не ем...

Трудно было ехать потому больше всего, что я сгорал от нетерпения поскорей попасть в Москву, нам же, видите ли, непременно надо было ехать с плохими поездами, а кроме того, пожить с хилковскими «братьями», войти в личное общение с ними и «укрепить» и себя и их этим общением на путях «доброй» жизни. Мы так и сделали — пожили у хилковских мужиков, кажется, дня три или четыре, и я возненавидел за эти дни этих богатых, благо-

честивых, благих на вид мужиков, ночевки в их избах, их пироги с начинкой из картофеля, их псалмопения, их рассказы про их непрестанную и лютую борьбу «с попами и начальниками» и буквоедские споры о писании истинно всеми силами души. Наконец 1 января мы тронулись дальше. Помню, я проснулся в тот день с такой радостью, что совсем забылся и брякнул: «С Новым годом, Александр Александрович!» — за что и получил от Александра Александровича жесточайший нагоняй: что это значит — Новый год, понимаю ли я, какую старую бессмыслицу повторяю я? Однако не до того мне было тогда. Я слушал и думал: прекрасно, прекрасно, все это сущий вздор, — завтра вечером мы будем в Москве, а послезавтра я увижу Толстого... И так оно и случилось.

Волкенштейн кровно обидел меня: поехал к Толстому сию же минуту после того, как мы добрались до московской гостиницы, а меня с собой не взял: «Нельзя, нельзя, надо предупредить Льва Николаевича, я предупрежу, предупрежу», — и убежал. А вернулся домой очень поздно и даже ничего не рассказал о своем визите, только поспешно кинул мне: «Я точно живой воды напился!» — причем я совершенно безошибочно определил по запаху от него, что он, после живой воды, пил еще и шамбертен, затем, очевидно, чтобы доказать, что не он раб шамбертена, а шамбертен его раб. Хорошо было только то, что Толстого он все-таки предупредил, хотя я даже и на это мало надеялся: очень милый, но уж очень легкомысленный человек был этот слегка женоподобный, полнеющий, красивый брюнет. На другой день вечером я, вне себя, побежал наконец в Хамовники.

Как рассказать все последующее?

Лунный морозный вечер. Добежал, стою и едва перевожу дыхание. Кругом глушь и тишина, пустой лунный переулочек. Передо мной ворота, раскрытая калитка, снежный двор. В глубине, налево, деревянный дом, некоторые окна которого красновато освещены. Еще левее, за домом, сад и над ним тихо играющие разноцветными лучами сказочно прелестные зимние звезды. Да и все вокруг сказочное. Какой особый сад, какой необыкновенный дом, как таинственны и полны значения эти освещенные окна, — ведь за ними Он, Он! И такая тишина, что слышно, как колотится сердце — и от радости и от страшной мысли: а не лучше ли поглядеть на этот дом и убе-

жать назад? Отчаянно кидаюсь наконец во двор, на крыльцо дома и звоню. Тотчас же отворяют, и я вижу лакея в плохеньком фраке и светлую прихожую, теплую, уютную, со множеством шуб на вешалках, среди которых резко выделяется старый полушубок. Прямо передо мной крутая лестница, крытая красным сукном. Правее, под нею, запертая дверь, за которой слышны гитары и веселые молодые голоса, удивительно беззаботные к тому, что они раздаются в таком совершенно необыкновенном доме.

— Как прикажете доложить?

— Бунин.

— Как-с?

— Бунин.

— Слушаю-с.

И лакей убегает наверх и, к моему удивлению, тотчас же, вприпрыжку, бочком, перехватывая рукой по перилам, сбегает назад:

— Пожалуйте обождать наверх, в залу...

А в зале я удивляюсь еще больше: едва вхожу, как в глубине его, налево, тотчас же, не заставляя меня ждать, открывается маленькая дверка, и из-за нее быстро, с неуклюжей ловкостью выдергивает ноги, выныривает,— ибо за этой дверкой было две-три ступеньки в коридор,— кто-то большой, седобородый, слегка как бы кривоногий, в широкой, мешковато сшитой блузе из серой бумазеи, в таких же штанах, больше похожих на шаровары, и в тупоносых башмаках. Быстрый, легкий, страшный, остроглазый, с насупленными бровями. И быстро идет прямо на меня,— меж тем как я все-таки успеваю заметить, что в его походке, вообще во всей посадке есть какое-то сходство с моим отцом,— быстро (и немного приседая) подходит ко мне, протягивает, вернее ладонью вверх бросает большую руку, забирает в нее всю мою, мягко жмет и неожиданно улыбается очаровательной улыбкой, ласковой и какой-то вместе с тем горестной, даже как бы слегка жалостной, и я вижу, что эти маленькие глаза вовсе не страшные и не острые, а только по-звериному зоркие. Легкие и жидкие остатки серых (на концах слегка завивающих) волос по-крестьянски разделены на прямой пробор, очень большие уши сидят необычайно высоко, бугры бровных дуг надвинуты на глаза, борода, сухая, легкая, неровная, сквозная, позволяет видеть слегка выступающую нижнюю челюсть...

— Бунин? Это с вашим- батюшкой я встречался в Крыму? Вы что же, надолго в Москву? Зачем? Ко мне? Молодой писатель? Пишите, пишите, если очень хочется, только помните, что это никак не может быть целью жизни... Садитесь, пожалуйста, и расскажите мне о себе...

Он и заговорил так же поспешно, как вошел, мгновенно сделав вид, будто не заметил моей полной потерянности, и торопясь вывести меня из нее, отвлечь от нее меня. Что он еще говорил? Все расспрашивал.

— Холосты? Женаты? С женщиной можно жить только как с женой и не оставлять ее никогда... Хотите жить простой, трудовой жизнью? Это хорошо, только не насильуйте себя, не делайте себе мундира из нее, во всякой жизни можно быть хорошим человеком...

Мы сидели возле маленького столика. Довольно высокая старинная фаянсовая лампа мягко горела под розовым абажуром. Лицо его было за лампой, в легкой тени; я видел только очень мягкую серую материю его блузы да его крупную руку, к которой мне хотелось припасть с восторженной, истинно сыновней нежностью, да слышал его старческий, слегка альтовый голос с характерным звуком несколько выдающейся челюсти... Вдруг зашуршал шелк, я взглянул, вздрогнул, поднялся: из гостиной плавно шла крупная и нарядная, сияющая черным шелковым платьем, чудесно убранными волосами и живыми, сплошь темными глазами, дама.

— Léon,— сказала она,— ты забыл, что тебя ждут...

И он тоже поднялся и с извиняющейся, даже как бы чуть виноватой улыбкой, с поднятыми бровями, глядя мне прямо в лицо своими маленькими глазами, в которых все была какая-то темная грусть, опять забрал мою руку в свою:

— Ну, до свидания, до свидания, дай вам бог, приходите ко мне, когда опять будете в Москве... Не ждите многого от жизни, лучшего времени, чем теперь, у вас не будет... Счастья в жизни нет, есть только зарницы его — цените их, живите ими...

И я ушел, убежал, совершенно вне себя, и провел вполне сумасшедшую ночь, непрерывно видел его во сне с такой разительной яркостью и в такой дикой путанице, что и теперь вспомнить жутко, захватывал себя, просыпаясь, на том, что я что-то бормочу, брежу...

Возвратясь в Полтаву, я писал ему и получил от него

несколько ласковых ответных писем. В одном из них он опять дал мне понять, что не стоит мне так уж стараться быть толстовцем, но я все не унимался: обручи набивать бросил, но стал торговать книжками «Посредника», незаконно, без должного разрешения продавать их на базарах, на ярмарках, за что и был судим и приговорен сидеть в тюрьме, от которой меня спас, к моему тогдашнему большому горю, царский манифест; затем завел книжную лавку, полтавское отделение «Посредника», и так запутал счета, что порою примеривался повеситься. В конце концов я эту лавку просто бросил, уехал в Москву, но и там все еще пытался уверить себя, что я брат и единомышленник руководителей этого «Посредника» и тех, что постоянно торчали в его помещении, наставляя друг друга насчет «доброй» жизни. Там-то я и видел его еще несколько раз. Он туда иногда заходил, вернее, забегал (ибо он ходил страшно легко и быстро) по вечерам и, не снимая полушубка, сидел час или два, со всех сторон окруженный братией, серьезно делавшей ему порою такие вопросы: «Лев Николаевич, но что же я должен был бы сделать, если бы на меня напал, например, тигр?» Он в таких случаях только смущенно улыбался и говорил:

— Да какой же тигр, откуда тигр? Я вот за всю жизнь не встретил ни одного тигра...

Вспоминаю еще, как однажды сказал ему, желая сказать приятное и даже слегка подольститься:

— Вот всюду возникают теперь эти общества трезвости.

Он слегка нахмурился:

— Какие общества?

— Общества трезвости...

— То есть это когда собираются, чтобы водки не пить? Вздор. Чтобы не пить, незачем собираться. А уж если собираться, то надо пить. Все вздор, ложь, подмена действия видимостью его...

А на дому я был у него еще только один раз. Меня провели через залу, где я когда-то впервые сидел с ним возле милой розовой лампы, потом в эту маленькую дверку, по ступенькам за ней и по узкому коридору, и я робко стукнул в дверь направо.

— Войдите,— ответил старческий альтовый голос.

И я вошел и увидел низкую, небольшую комнату, тонущую в сумраке от железного щитка над старинным подсвечником в две свечи, кожаный диван возле стола, на

котором стоял этот подсвечник, а потом и его самого, с книжкой в руках. При моем входе он быстро поднялся и неловко, даже, как показалось мне, смущенно бросил ее в угол дивана. Но глаза у меня были меткие, и я увидел, что читал он, то есть перечитывал (и, верно, уже не в первый раз, как делаем это и мы, грешные), свое собственное произведение, только что напечатанное тогда, — «Хозяин и работник». Я, от восхищения перед этой вещью, имел бестактность издать восторженное восклицание. А он покраснел, замахал руками:

— Ах, не говорите! Это ужас, это так ничтожно, что мне по улицам ходить стыдно!

Лицо у него было в этот вечер худое, темное, строгое, точно из бронзы литое. Он очень страдал в те дни — незадолго перед тем умер его семилетний Ваня. И после «Хозяина и работника» он тотчас же заговорил о нем:

— Да, да, милый, прелестный мальчик был. Но что это значит — умер? Смерти нет, он не умер, раз мы любим его, живем им!

Вскоре мы вышли и пошли в «Посредник». Была черная мартовская ночь, дул весенний ветер, раздувая огни фонарей. Мы бежали наискось по снежному, белому Девичью полю, он прыгал через канавы, так что я едва поспевал за ним, и опять говорил — отрывисто, строго, резко:

— Смерти нету, смерти нету!

В последний раз я видел его лет через десять после того. В страшно морозный вечер, среди огней за сверкающими, обледенелыми окнами магазинов, шел по Арбату — и неожиданно столкнулся с ним, бегущим своей пружинной, подпрыгивающей походкой прямо навстречу мне. Я остановился и сдернул шапку. Он тоже приостановился и сразу узнал меня:

— Ах, это вы! Здравствуйте, надевайте, пожалуйста, надевайте шапку... Ну, как, что, где вы и что с вами?

Старческое лицо его так застыло, посинело, что имело совсем несчастный вид. Что-то вязанное из голубой песцовой шерсти, что было на его голове, было похоже на старушечий шлык. Большая рука, которую он вынул из песцовой перчатки, была совершенно ледяная. Поговорив, он крепко и нежно несколько раз пожал мою, опять глядя мне в глаза горестно, с поднятыми бровями.

— Ну, Христос с вами, Христос с вами, до свидания...

ПРИМЕЧАНИЯ

С. А. Толстая

МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ Л. Н. ТОЛСТОГО
И СВЕДЕНИЯ О СЕМЕЙСТВЕ ТОЛСТЫХ И ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
ГРАФА ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО

Толстая Софья Андреевна (1844—1919) — жена Л. Н. Толстого; принялась за составление его краткой биографии в 1878 г., по просьбе издателя журнала «Вестник Европы» М. М. Стасюлевича, задумавшего выпуск «Русской библиотеки» — серии избранных произведений лучших русских писателей, с их портретами и биографическими очерками. С. А. Толстая пользовалась в своей работе семейными преданиями (в особенности рассказами тетушки Толстого Т. А. Ергольской), его собственными воспоминаниями и дневниками. Некоторые приводимые ею факты неизвестны из других источников.

Биографический очерк несколько раз правился Толстым и был помещен в «Русской библиотеке» в очень сокращенном виде. В настоящем издании печатаются по рукописи отрывки первоначальной редакции, составленной С. А. Толстой.

¹ В своих «Воспоминаниях» Толстой писал об этом чтении стихов Пушкина: «Помню, как он [отец] раз заставил меня прочесть ему полюбившиеся мне и выученные мною наизусть стихи Пушкина «К морю»: «Прощай, свободная стихия» и «Наполеон»: «Чудесный жребий совершился: угас великий человек» и т. д. Его поразило, очевидно, тот пафос, с которым я произносил эти стихи, и он, прослушав меня, как-то значительно переглянулся с бывшим тут Языковым. Я понял, что он что-то хорошее видит в этом моем чтении, и был очень счастлив этим» (т. 34, стр. 357).

² «Старые тетушки» — родная тетка Толстого Пелагея Ильинична Юшкова (1798—1875) и двоюродная тетка, воспитательница детей Толстых, Татьяна Александровна Ергольская (1792—1874).

³ Сообщение С. А. Толстой о том, что Толстой в детстве выпрыгнул из окна, будучи за что-то «в наказание» заперт в комнате,

по-видимому, неточно. По воспоминаниям М. Н. Толстой, этот поступок был вызван желанием совершить что-нибудь необыкновенное, «всех удивить». Вероятно, С. А. Толстая объединила этот эпизод с другим, имевшим место в детстве Толстого, когда он был заперт в комнате гувернером Сен-Тома.

⁴ Переезд семьи Толстых в Казань состоялся осенью 1841 г. (а не 1840 г., как пишет С. А. Толстая).

⁵ Эта статья Толстого не сохранилась.

⁶ Разбор «Наказа» Екатерины II, в котором молодой Толстой резко высказывается против самодержавного образа правления, входит в состав его дневника 1847 г. (см. т. 46, стр. 4—28).

⁷ Толстой читал анонимную критическую статью о повести «Детство», напечатанную в «Отечественных записках» за 1852 г., № 10, отдел VI, стр. 84—85. Статья принадлежала С. С. Дудышкину.

В. Н. Назарьев

жизнь и люди былого времени

Назарьев Валерьян Никанорович — товарищ Толстого по юридическому факультету Казанского университета. В «Современнике» (1858, № 10) напечатан его рассказ «Бакенбарды (Очерки полковой жизни)».

Воспоминания В. Н. Назарьева «Жизнь и люди былого времени» печатались в 1890 г. в журнале «Исторический вестник» (часть, касающаяся Толстого,— в № 11).

Толстой, читая в 1905 г. выдержки из воспоминаний Назарьева, включенные П. И. Бирюковым в первый том его «Биографии Льва Николаевича Толстого», признал неверными некоторые подробности, им сообщаемые. Эти подробности нами опущены.

¹ Рассказ относится к зиме 1845/46 г.

² Профессором истории в Казанском университете был Н. А. Иванов, дальний родственник Толстого (был женат на его троюродной сестре А. С. Толстой). По позднейшему отзыву Толстого, профессор Иванов был его «величайший враг».

³ Толстой указал на неточность в рассказе Назарьева. За непосещение лекций профессора истории Иванова он был посажен в темный карцер, а не в университетскую аудиторию. Что же касается приводимого Назарьевым разговора с ним Толстого о Казанском университете и преподавании в нем истории, Толстой признал его правдоподобным (см. т. 34, стр. 398).

⁴ Рассказанный Назарьевым случай о встрече его с Толстым у дверей квартиры Некрасова мог относиться к декабрю 1855 г. или к первым месяцам 1856 г.

Р. Левенфельд

РАЗГОВОРЫ С ТОЛСТЫМ И О ТОЛСТОМ

Левенфельд Рафаил (1854—1910) — немецкий ученый-славист, литературный критик, переводчик Толстого на немецкий язык, автор биографической книги «Graf Leo N. Tolstoi. Sein Leben, seine Werke, seine Weltanschauung» (русский перевод А. В. Перелыгиной: «Граф Л. Н. Толстой, его жизнь, произведения и миросозерцание», М. 1897) и «Gespräche über und mit Tolstoi» (русский перевод А. В. Перелыгиной: «Граф Л. Н. Толстой в суждениях о нем его близких и разговорах с ним самим» — «Русское обозрение», 1897, № 10, стр. 539—608).

Левенфельд приехал в Ясную Поляну 24 июля 1890 г., чтобы собрать материал для биографии Толстого. Толстой отметил посещение Левенфельда в записях дневника от 24 и 27 июля 1890 г. (см. т. 51, стр. 64 и 68).

Отрывок статьи Левенфельда печатается по тексту, опубликованному в журнале «Русское обозрение», 1897, № 10, стр. 539—608, с исправлением некоторых мест перевода.

¹ Ошибка Толстого: приезд его в Петербург и сдача двух кандидатских экзаменов происходили не в 1848, а в 1849 г.

Ю. И. Одаховский

ВОСПОМИНАНИЯ О Л. Н. ТОЛСТОМ

Одаховский Юлиан Игнатьевич — старший офицер легкой № 3 батареи 11 артиллерийской бригады, в которой Толстой служил с января 1855 г. до своего отъезда из действующей армии в ноябре 1855 г. В дневнике Толстого за этот период есть несколько упоминаний об Одаховском. Прочитав впоследствии рукопись «Воспоминаний» Одаховского, присланную ему А. В. Жиркевичем, Толстой сделал на полях множество критических замечаний, берущих под сомнение достоверность мемуаров. В воспоминаниях Одаховского, писанных по памяти через 40 лет после событий, действительно есть фактические неточности. Однако и некоторые критические замечания Толстого опровергаются его дневниковыми запи-

сями и письмами 1855 г. Воспоминания Одаховского, вместе с замечаниями Толстого, были опубликованы в «Историческом вестнике», 1908, № 1. Печатаются по тексту этого журнала.

¹ Известна написанная Толстым в Севастополе песня «Как четвертого числа» (о неудачном для русских войск сражении при р. Черной 4 августа 1855 г.).

А. В. Дружинин

из дневника

Дружинин Александр Васильевич (1824—1864) — литературный критик, переводчик и беллетрист; познакомился с Толстым на третий день после его приезда из Севастополя в Петербург. Отрывки из дневника Дружинина печатаются по рукописи, хранящейся в Центральном государственном архиве литературы и искусства в Москве.

¹ Комедию А. Н. Островского «Не так живи, как хочется» читал на вечере у Тургенева Толстой. См. об этом «Клочки воспоминаний» А. А. Стаховича.

² Обед, отмеченный Дружининым в дневнике 3 января, происходил 1 января 1856 г.

³ В начале января 1856 г. Толстой уехал из Петербурга, чтобы навестить в Орле умиравшего от чахотки брата Дмитрия Николаевича.

⁴ Речь идет о стихотворениях А. А. Фета, отредактированных для издания И. С. Тургеневым.

⁵ А. В. Дружинин перевел трагедию Шекспира «Король Лир». Перевод появился в декабрьской книжке «Современника» за 1856 г.

⁶ По «Обязательному соглашению», заключенному редакцией «Современника» в феврале — марте 1856 г. с Григоровичем, Островским, Толстым и Тургеневым, эти писатели должны были помещать свои новые произведения только в «Современнике». Редакция «Современника» обязывалась выплачивать им не только гонорар, но и некоторый процент с прибыли от издания журнала. Соглашение было заключено сроком на четыре года.

⁷ Сохранилась и отдельная фотография Толстого (в военном мундире) и коллективный снимок группы писателей «Современника», сделанные 15 февраля 1856 г. в фотографии Левицкого. Воспроизводились неоднократно.

⁸ Ф. Ф. Кутлер был в 1854 г. офицером Куринского полка на Кавказе и потом в Севастополе. Толстой изобразил Кутлера в «Хаджи-Мурате» под именем Бутлера.

Д. В. Григорович

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

С писателем Дмитрием Васильевичем *Григоровичем* (1822—1899) Толстой познакомился в январе 1856 г. Высоко оценивая произведения Григоровича о народной жизни, в особенности повесть «Антон Горемыка», которая произвела на него еще в юности «очень большое» впечатление, Толстой близко сошелся с Григоровичем. В ту пору оба они принадлежали к кругу «Современника». Отрывки из воспоминаний Григоровича печатаются по книге: Д. В. Григорович, Литературные воспоминания, «Academia», Л. 1928.

¹ *Марьинское* — имение А. В. Дружинина в Гдовском уезде Петербургской губернии.

² Речь идет, несомненно, о столкновении Толстого с Тургеневым и Некрасовым на обеде у Некрасова 6 февраля 1856 г. (см. письмо И. С. Тургенева к В. П. Боткину от 8 февраля 1856 г.—В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка, «Academia», М. 1930, стр. 78—79). Поэтому сообщение Григоровича, что Толстой в то время не знал никого из редакции «Современника», не соответствует действительности. Из письма Толстого к его сестре М. Н. Толстой от 20 ноября 1855 г. видно, что в первый же день своего приезда в Петербург Толстой познакомился с Тургеневым и Некрасовым.

А. А. Фет

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

Фет Афанасий Афанасьевич (Шеншин, 1821—1891) — поэт; познакомился с Толстым в Петербурге в конце 1855 г. В 50—70-е годы Толстой находился с Фетом в дружеских отношениях. Они часто обменивались письмами и визитами; Фет присылал в письмах свои стихотворения, о которых Толстой отзывался обычно положительно, нередко восторженно. Позднее реакционные общественно-политические взгляды Фета вызвали резкое осуждение со стороны Толстого. Об отношении Толстого к поэзии Фета см. в воспоминаниях А. В. Жиркевича, В. Ф. Лазурского и др. Отрывки из воспоминаний Фета печатаются по тексту книги: А. А. Фет, Мои воспоминания, ч. 1, М. 1890.

¹ Тургенев жил в то время на Фонтанке, в доме Степанова (а не Вебера, как ошибочно сообщает Фет).

² Толстой прожил на квартире у Тургенева с 19 ноября 1855 г. до отъезда в Москву 1 января 1856 г.

³ Утверждение Фета, что описанное им столкновение с Турге-

невым на квартире Некрасова произошло вскоре после его знакомства с Толстым, то есть в конце ноября или в начале декабря 1855 г., ошибочно. Более вероятно, что рассказанный им случай произошел позднее — в феврале 1856 г., так как в ноябре — декабре 1855 г. Толстой жил у Тургенева и Тургенев не мог обратиться к нему с вопросом: «Зачем же вы к нам ходите?»; самый характер столкновения по своей резкости заставляет отнести его не к первым неделям пребывания Толстого в Петербурге, а к более позднему времени. Из записи Толстого в дневнике от 4 февраля 1856 г. (т. 47, стр. 65) и письма Тургенева к Боткину («В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка», стр. 79) видно, что Фет в первых числах февраля был в Петербурге. Не описывает ли Фет то самое столкновение Толстого с Тургеневым на квартире у Некрасова, о котором рассказал Григорович в своих воспоминаниях?

⁴ Это воспоминание Фета относится к зиме 1857/58 г., которую Толстой проводил в Москве.

⁵ Дата письма С. С. Громеки, приводимая Фетом, неверна. Должно быть: 15 декабря (1858).

⁶ Описанный Фетом случай на медвежьей охоте, едва не стоивший Толстому жизни, произошел 22 декабря 1858 г. Медведица, раненная Толстым, была убита 20 января 1859 г. на охоте, в которой участвовал и Толстой.

⁷ Попытка Л. Н. Толстого «сближения с сельским бытом», о которой рассказывал Фету Николай Николаевич Толстой, относится к лету и осени 1858 г.

⁸ Приезд Толстого и Тургенева к Фету в его имение Степановку состоялся 26 мая 1861 г. Ссора Тургенева с Толстым произошла в Степановке 27 мая.

⁹ Тургенев имел дочь Полину, матерью которой была крепостная крестьянка Тургеневых Евдокия Иванова. Тургенев открыто признавал ее своей дочерью и заботился о ее воспитании.

¹⁰ Дальнейшие события: посланный Толстым Тургеневу вызов на дуэль, ответ Тургенева и отказ Толстого от дуэли известны из переписки между Толстым и Тургеневым 27—28 мая 1861 г. (см. т. 60, стр. 391—394; «Толстой и Тургенев. Переписка», М. 1928, стр. 63—68).

Б. Н. Чичерин

из воспоминаний. МОСКВА Сороковых годов

Чичерин Борис Николаевич (1828—1904) — юрист и философ либерального направления; познакомился с Толстым в Москве в январе 1857 г. Особенно близок был Толстой с Чичериным в пер-

вой половине 1858 г. Однако вскоре докторальность, книжная сухость суждений Чичерина охладили симпатии к нему Толстого. В 1861 г. Толстой писал Чичерину: «Тебе кажется увлечением самолюбия и бедностью мысли те убеждения, которые приобретены не следованием курса и аккуратностью, а страданиями жизни и всей возможной для человека страстью к отысканию правды, мне кажутся сведения и классификации, запомненные из школы, детской игрушкой, не удовлетворяющей моей любви к правде» (т. 60, стр. 380). Отрывки из «Воспоминаний» Чичерина печатаются по книге: «Воспоминания Б. Н. Чичерина. Москва сороковых годов», изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1929.

¹ Говоря о «кружке Станкевича», который в 50-е годы, конечно, не существовал (Н. В. Станкевич умер в 1840 г.), Чичерин имеет в виду тех литераторов, которые вышли из кружка Станкевича: В. П. Боткина, К. С. Аксакова и Е. Ф. Корша.

² Возможно, в рукописи Чичерина было: Микель-Анджелов (а не «Марк-Антониев»).

³ В Брюссель Толстой поехал, чтоб познакомиться с постановкой там дела народного образования и увидиться с эмигрантами П.-Ж. Прудоном и И. Лелевелем, о которых ему рассказывал в Лондоне Герцен. Там он близко сошелся с семьей вице-президента Академии наук М. А. Дондукова-Корсакова.

⁴ Упомянутое Чичериным письмо Толстого неизвестно.

Е. И. Сытина-Чихачева

ВОСПОМИНАНИЯ

Сытина-Чихачева Екатерина Ильинична (1830—1920) — познакомилась с Толстым в феврале 1854 г., когда он с Кавказа приезжал на короткое время в Москву, перед отправкой в дунайскую армию. Возобновилось знакомство в конце 1857 г. В дневнике и письмах Толстого 1858—1859 гг. несколько раз упоминается «тамбовская барышня» — Е. И. Чихачева. Несмотря на то, что воспоминания Е. И. Сытиной записаны с ее слов писательницей И. А. Гриневской в 1908—1910 гг., то есть спустя 50 лет после того времени, к которому относятся воспоминания, достоверность мемуаров не подлежит сомнению. Воспоминания печатаются по тексту, опубликованному в «Литературном наследстве», т. 37—38, М. 1939.

¹ По-видимому, Е. И. Сытина имеет в виду Е. Л. Львову, рожд. Давыдову, жену либерального деятеля 1850—1860 гг. кн. Г. В. Львова. Толстой был неравнодушен, однако, не к ней, а к племяннице

Львова — А. В. Львовой, с которой он познакомился в Петербурге в 1857 г.

² Встреча с И. Ф. Горбуновым, о которой рассказывает Е. И. Сытина, может относиться к марту 1858 г.

А. А. Толстая

ВОСПОМИНАНИЯ

Толстая Александра Андреевна (1817—1904) — двоюродная тетка Толстого, с которой его связывали дружеские отношения.

Отрывки ее воспоминаний печатаются по тексту книги: «Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой», изд. Общества Толстовского музея в Петербурге, 1911.

¹ Толстой пробыл в Швейцарии с 28 марта (9 апреля) по 10(22) июля 1857 г.

² *Два Михаила* — Михаил Иванович Пущин (1800—1860), декабрист, и Михаил Андреевич Рябинин (1814—1867), родственник Пущина.

³ Рассказ Толстого «Люцерн» был напечатан в «Современнике», № 9 за 1857 г.

⁴ Брат Толстого Дмитрий Николаевич умер от туберкулеза 21 января 1856 г. О смерти его Толстой узнал 2 февраля.

⁵ Ссора Толстого с Тургеневым произошла в имении Фета Степановка 27 мая 1861 г. и прервала их отношения на семнадцать лет — до 1878 г. Причиной ссоры послужило различие взглядов и характеров. В последние годы, после примирительного письма Толстого от 6 апреля 1878 г. и ответа Тургенева от 8 мая 1878 г., между ними восстановились дружеские отношения. 8 августа 1878 г. произошло их личное свидание в Ясной Поляне. См. «Мои воспоминания» А. А. Фета и воспоминания С. А. Толстой «Примирение гр. Л. Н. Толстого с И. С. Тургеневым».

⁶ Толстой посетил Петропавловскую крепость не в 1879 г., а 8 марта 1878 г. и тогда разговаривал с комендантом крепости бароном Е. И. Майделем. Майдель послужил прототипом для коменданта Петропавловской крепости барона Кригсмута в романе «Воскресение».

Д. Д. Оболенский

ОТРЫВКИ

(Из личных впечатлений)

Оболенский Дмитрий Дмитриевич (р. 1844) — помещик Тульской губернии и коннозаводчик; старый знакомый Толстого. Воспоминания печатаются по тексту, опубликованному в «Международном

толстовском альманахе, составленном П. А. Сергеевко», изд. «Книга», М. 1909.

¹ Упомянутый рассказ Толстого неизвестен.

² Чтение глав «1805 года» происходило 27 февраля 1866 г.

С. Плаксин

ГРАФ Л. Н. ТОЛСТОЙ СРЕДИ ДЕТЕЙ

Воспоминания относятся к сентябрю — декабрю 1860 г., когда Толстой после смерти брата Николая Николаевича продолжал некоторое время оставаться во французском приморском городке Гиере. Там же находилась его сестра Мария Николаевна с тремя детьми. В одной вилле с нею жила приехавшая из России жена полкового командира Плаксина с своим девятилетним сыном Се-режей, который и явился впоследствии автором настоящих воспо-минаний, изданных отдельной книгой. Отрывки воспоминаний печатаются по тексту этой книги: С. П л а к с и н, Граф Л. Н. Толстой среди детей, М. 1903.

¹ В «Русском художественном листке», 1857, № 34, издавав-шемся В. Тиммом, были воспроизведены «шесть портретов совре-менных русских литераторов», в том числе и Толстого. Для порт-рета Толстого оригиналом послужила фотография Левицкого (1856), на которой Толстой снят в военном мундире.

Р. Левенфельд

У ГРАФА ТОЛСТОГО

Печатается по тексту, опубликованному в газете «Биржевые ведомости», 1898, № 244 от 8 сентября.

¹ Толстой имел в виду, вероятно, последнюю (XII) главу из книги Р. Левенфельда «Граф Л. Н. Толстой, его жизнь, произведе-ния и миросозерцание» (русский перевод А. В. Перельгиной, М. 1897), в которой есть раздел «Руководящие идеи произведений Толстого».

В. Бодэ

ТОЛСТОЙ В ВЕЙМАРЕ

Бодэ В. — преподаватель веймарской школы, которую посетил Толстой 31 марта (12 апреля) 1861 г. Воспоминания опубликованы в немецком журнале «Der Sächter», 1905, сентябрь. Перевод печатается по книге: А. Островский, Молодой Толстой в записях современников, Изд-во писателей в Ленинграде, 1929.

¹ В архиве Толстого сохранились эти взятые им работы учеников веймарской городской школы.

В. С. Морозов

ВОСПОМИНАНИЯ УЧЕНИКА ЯСНОПОЛЯНСКОЙ ШКОЛЫ

Автор — тульский крестьянин Василий Степанович *Морозов* (1848—1912), любимый ученик Толстого, описанный им под именем Федьки в статьях «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» и «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» В «Книжках» для чтения, выходивших в виде приложения к журналу «Ясная Поляна», Толстой напечатал рассказ Морозова «Солдаткино житье» и несколько других небольших бытовых очерков. Впоследствии в журнале «Вестник Европы» (1908, № 8) с рекомендательным письмом Толстого был напечатан очерк Морозова «За одно слово». Воспоминания печатаются по книге: «Воспоминания о Л. Н. Толстом ученика Яснополянской школы В. С. Морозова», изд. «Посредник», М. 1917.

¹ Толстой рассказывал яснополянским школьникам «страшную историю» убийства вдовы Ф. И. Толстого-Американца — цыганки Е. М. Тугаевой (1796—1861).

² Речь идет о сочинении рассказа «Ложкой кормит, а стеблем глаз колет», напечатанного в апрельской «Книжке «Ясной Поляны» без имени автора.

³ Рассказ «Солдаткино житье» был напечатан в сентябрьской «Книжке «Ясной Поляны»». Подписан: В. Морозов.

⁴ Поездка Толстого с учениками в Самарскую губернию относится к лету 1862 г.

П. В. Морозов

ВОСПОМИНАНИЯ УЧИТЕЛЯ ТОЛСТОВСКОЙ ШКОЛЫ

Морозов Петр Васильевич (ум. 1906) — учитель, сначала в Яснополянской школе, затем долгое время в деревне Колпне, вблизи Ясной Поляны, где и умер. Воспоминания Морозова печатаются по тексту газеты «Русское слово», 1912, № 256 от 7 ноября.

Н. П. Петерсон

ИЗ ЗАПИСОК БЫВШЕГО УЧИТЕЛЯ

Петерсон Николай Павлович (ум. 1919) — бывший студент Московского университета, уволенный за участие в студенческом движении 1861 г. В 1861—1862 гг. был учителем в основанной Тол-

стым школе в деревне Плеханове, вблизи Ясной Поляны. Впоследствии был мировым судьей в г. Верном (ныне Алма-Ата), а затем членом суда в г. Зарайске. Воспоминания печатаются по тексту, опубликованному в «Международном толстовском альманахе», составленном П. А. Сергеенко, изд. «Книга», М. 1909.

¹ Обыск в Ясной Поляне был произведен 6—7 июля 1862 г. по ложному донесению сыщика Шипова о тайной типографии, будто бы заведенной Толстым, и политически неблагоприятном поведении учителей устроенных Толстым школ. Негласный надзор за Ясной Поляной был учрежден вследствие доноса крапивенских дворян.

А. Ашарин

из жизни Льва Толстого

В статье А. Ашарина приводятся воспоминания некоего Л. Т., служившего в 1862 г. управляющим у генерал-майора Н. А. Костомарова, владельца имения Харино, расположенного в 40 верстах от Ясной Поляны. Отрывки статьи «Aus dem Leben Leo Tolstoi», von Andreas Ascharin, «Düna-Zeitung», 1888, №№ 76 и 77, печатаются в переводе с немецкого.

¹ Толстой был назначен мировым посредником Крапивенского уезда в мае 1861 г. Во всех спорных случаях он защищал интересы крестьян от несправедливых притязаний помещиков. Вследствие ненависти к нему крапивенских помещиков-крепостников и их противодействия его распоряжениям Толстой вынужден был в апреле 1862 г. выйти в отставку.

² В 1857 г. Толстой перевел крестьян на оброк, отказавшись от барщины и других видов натуральных повинностей.

³ *Амфион* — в греческой мифологии древнейший и искуснейший музыкант, игра которого на лире заставляла камни передвигаться по его желанию.

ВОСПОМИНАНИЯ О ТОЛСТОМ ПРИБАЛТИЙСКОГО НЕМЦА

Автор — тот же бывший управляющий имением генерала Костомарова Харино, скрывшийся под инициалами Л. Т., которому принадлежат и воспоминания, приведенные в статье А. Ашарина. Воспоминания печатаются по тексту газеты «Düna-Zeitung», 1898, №№ 179—181.

¹ Каждый номер издававшегося Толстым в 1862 г. педагогического журнала «Ясная Поляна» был снабжен эпиграфом из Гете: «Glaubst zu schieben und wirst geschoben» («Думаешь двигать, а тебя самого двигают»).

² Это могло быть следующее место статьи Толстого «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы», напечатанной в первом номере журнала «Ясная Поляна»: «Я не говорю уже о тех выдающихся себя головою, которые скажут: «Хорошо будет устройство государства, когда все захотят быть мыслителями и художниками, а работать никто не станет!» Эти прямо говорят, что они не любят работать, и потому нужно, чтобы были люди не то что неспособные для другой деятельности, а рабы, которые бы работали за других» (т. 8, стр. 48).

С. А. Толстая
ЖЕНИТЬБА Л. Н. ТОЛСТОГО

Воспоминания «Женитьба Л. Н. Толстого» написаны С. А. Толстой в 1912 г. Печатаются по тексту, опубликованному в книге: «Дневники С. А. Толстой. 1860—1891», М. 1928.

¹ Невольной свидетельницей этой сцены оказалась младшая сестра Софьи Андреевны — Таня, которая, спасаясь от настойчивых упрасиваний спеть что-либо, забилась под рояль, стоявший в той же комнате, где произошло объяснение. Впоследствии она описала эту сцену в своих воспоминаниях (Т. А. Кузминская, *Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. 1846—1862*, изд. 3-е, Тула, 1958, стр. 119—120), где она отметила, что некоторые слова Лев Николаевич подсказывал Софье Андреевне.

² Семейство Берсов проживало в то время на даче в Покровском-Стрешневе, в 12 километрах от Москвы.

³ См. прим. на стр. 583.

⁴ Написанная С. А. Толстой повесть была уничтожена ею перед замужеством. В повести было выведено семейство Берсов и Толстой под именем князя Дублицкого.

⁵ Это письмо Толстого, написанное им 14 сентября 1862 г., напечатано в т. 83, стр. 16—17.

⁶ Сочинения Толстого в двух томах были изданы Ф. Стелловским в 1864 г.

МОИ ЗАПИСИ РАЗНЫЕ ДЛЯ СПРАВОК

Печатаются по тексту, опубликованному в книге: «Дневники С. А. Толстой, 1860—1891», М. 1928.

¹ «Заря» — ежемесячный учено-литературный и политический журнал, издававшийся в Петербурге В. В. Кашпиревым в 1869—1872 гг. Н. Н. Страхов был деятельным участником этого журнала, державшегося славянофильски-«почвеннической» ориентации. В

№№ 1—2 «Зари» 1869 г. и в № 3 1870 г. были напечатаны четыре статьи Страхова о «Войне и мире», по словам Толстого, поднявшие его роман на такую высоту, с которой он уже потом не спускался.

² Владелец типографии в Москве Ф. Ф. Рис (в его типографии печатались «Война и мир», «Азбука» и «Анна Каренина») посылал в Ясную Поляну «Moscauer Deutsche Zeitung».

³ «Revue des deux Mondes» — французский журнал.

⁴ Неудача «Азбуки» Толстого, вышедшей в свет в 1872 г., был вызван не только неблагоприятными отзывами в печати, но и высокой ценой издания. В 1874—1875 гг. Толстой из основного материала «Азбуки» составил четыре «Русские книги для чтения», которые получили большое распространение. Входящие в эти книги детские рассказы Толстого имели громадный успех.

⁵ *Старая тетя* — Т. А. Ергольская.

⁶ Это было начало «Анны Карениной».

⁷ Замысел романа о переселенцах продолжал интересовать Толстого вплоть до 1904—1905 гг. (см. запись в дневнике Толстого от 17 июля 1904 г. и в записной книжке от февраля 1905 г.— т. 55, стр. 66 и 302). Замысел остался неосуществленным.

⁸ В русско-турецкой войне, начавшейся в 1877 г., Россия потерпела ряд поражений, стоивших огромных жертв (неудачные штурмы Плевны). Война закончилась в 1878 г. победой России и восставших против турецкого ига балканских народов. Толстой внимательно следил за развитием военных событий. В августе 1877 г. он писал Н. Н. Страхову: «Я хотел бы начать свое дело, но не могу от войны. И в дурном и в хорошем расположении духа мысль о войне застилает для меня все. Не война самая, но вопрос о нашей несостоятельности, который вот-вот должен решиться, и о причинах этой несостоятельности, которые мне все становятся яснее и яснее» (т. 62, стр. 334).

Начатая Толстым 25 августа 1877 г. статья «Правительство последнего царствования...» не была окончена (см. т. 17, стр. 360—362). Письмо Александру II также не было написано.

⁹ В 1878 г. Толстой несколько раз ездил в Москву и Петербург для свидания с оставшимися в живых декабристами и получения материалов о них. Начатый тогда вновь (первая попытка относится к 1860 г.) роман «Декабристы» не был окончен.

О. А. Берс

ВОСПОМИНАНИЯ О ГРАФЕ Л. Н. ТОЛСТОМ

Берс Степан Андреевич (1855—1910) — младший брат С. А. Толстой. В годы своей юности часто бывал у Толстых, у которых проводил обычно свои каникулы. В 1878 г. окончил Училище правоведения.

дения и получил место судебного следователя в Закавказье. Этим годом и оканчиваются воспоминания. Печатаются по тексту книги: С. А. Берс, Воспоминания о графе Л. Н. Толстом, Смоленск, 1894.

¹ См. Н. В. Гоголь, Мертвые души, том первый, гл. X, «Повесть о капитане Копейкине».

² Об азбуке перестукивания, изобретенной декабристом М. А. Бестужевым, Толстой читал в «Русской старине», 1870, т. I.

³ Этот рассказ передает в своих записках декабрист Д. И. Завалишин, с которым Толстой был лично знаком (см. Д. И. Завалишин, Записки декабриста, изд. Вольфа, 2-е, ч. III, гл. 3). От Завалишина он и мог слышать этот рассказ.

⁴ О письме М. С. Лунина к своей сестре по поводу назначения в 1837 г. П. Д. Киселева министром государственных имуществ Толстой читал в «Полярной звезде», 1861, кн. 6.

⁵ Источник этого рассказа не установлен.

⁶ С. А. Берс ошибся: Толстой совершил поездку в Бородино 25—27 сентября 1867 г.

⁷ Ошибка Берса: первый урок греческого языка у Толстого с приглашенным из Тулы семинаристом состоялся 9 декабря 1870 г. (см. «Дневники С. А. Толстой», т. I, стр. 33).

⁸ Ошибка Берса: Толстой выехал из Ясной Поляны в Самарскую губернию с С. А. Берсом и слугою И. В. Суворовым 10 июня 1871 г. и прожил в Каралыке до 28 июля.

Е. В. Оболенская

МОЯ МАТЬ И ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

Оболенская Елизавета Валерьяновна (1852—1935) — племянница Толстого, дочь М. Н. Толстой. Воспоминания печатаются по тексту, опубликованному в «Летописях Государственного литературного музея. Кн. 2. Л. Н. Толстой», М. 1938.

¹ Толстой ездил в Москву 3—6 декабря 1870 г. для того, чтобы поговорить со своей сестрой Марией Николаевной о замужестве Елизаветы Валерьяновны и посоветоваться относительно ее здоровья с врачом Г. А. Захарьиним.

² Версия Оболенского о том, что И. М. Нагорнов послужил прототипом Трухачевского в «Крейцеровой сонате», правдоподобна.

³ Толстой был в Троице-Сергиевой лавре не весной 1877 г., как пишет Е. В. Оболенская, а осенью 1879 г. О своей поездке он писал тогда Н. Н. Страхову: «Был в Москве и у Троицы и беседовал с викарием Алексеем, митрополитом Макарием и Леонидом Кавелиным.

Все трое прекрасные люди и умные, но я больше еще укрепился в своем убеждении» (антицерковном) (т. 62, стр. 499).

⁴ М. А. Шмидт (1843—1911), последовательница учения Толстого.

⁵ Толстой не раз бывал в Шамординском монастыре, где с 1889 г. поселилась его сестра Мария Николаевна.

⁶ Д. П. Маковицкий.

⁷ Толстой читал книжку: Влад. Кожевников, Отношение социализма к религии вообще и к христианству в частности, изд. «Религиозно-философская библиотека». Это издание было основано М. А. Новоселовым, который был последователем учения Толстого, но затем возвратился к православию.

И. Л. Толстой МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

Толстой Илья Львович (1866—1933) — второй сын Толстого. В 1888—1900 гг. жил в своем имении Гриневка Чернского уезда Тульской губернии. Отрывки его воспоминаний печатаются по тексту книги: И. Л. Толстой, Мои воспоминания, изд. «Мир», М. 1933.

¹ Орехов Алексей Степанович — управляющий в Ясной Поляне.

² Начиная с 80-х годов, после перелома в мировоззрении, Толстой резко отрицательно стал относиться к тем устоям дворянской жизни, которые он обозначал названием «Анковский пирог». В 1886 г. он писал Т. А. Кузминской: «У нас все благополучно и очень тихо. По письмам вижу, что и у вас также, и во всей России и Европе также. Но не уповай на эту тишину. Глухая борьба против Анковского пирога не только не прекращается, но растет, и слышны уже кое-где раскаты землетрясения, разрывающего пирог. Я только тем и живу, что верую в то, что пирог не вечен, а вечен разум человеческий» (т. 63, стр. 393).

³ В главе XII трактата «Что такое искусство?» Толстой рассказывает, что К. П. Брюллов, поправляя этюд своего ученика, «в нескольких местах чуть тронул его, и плохой, мертвый этюд вдруг ожил. «Вот *чуть-чуть* тронули, и все изменилось», — сказал один из учеников. «Искусство начинается там, где начинается *чуть-чуть*», — сказал Брюллов».

Толстой любил приводить это изречение Брюллова.

⁴ Сумасшедший яснополянский крестьянин Григорий Блохин, называвший себя «князем», считал, что он «всех чинов окончил» и потому «другие люди должны работать для него, а он — получать деньги, открытый банк, экипажи, дома, одежду и всякую сладкую жизнь и жить только для разгулки времени» (т. 25, стр. 519).

⁵ Статья Н. Н. Страхова об «Анне Карениной» «Взгляд на текущую литературу» была напечатана в газете «Русь» за январь 1883 г. Перепечатана в книге: Н. Н. Страхов, Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом, изд. 2-е, СПб. 1887, стр. 419—457. Относительно статьи о «Войне и мире» см. прим. на стр. 584—585.

⁶ Это посещение Я. П. Полонским Толстого относится к 1884 г. В дневнике Толстого за 1884 г. дважды отмечено посещение Полонского (см. т. 49, стр. 89).

⁷ П. И. Юшкова.

И. Н. Крамской

ПИСЬМО К П. М. ТРЕТЬЯКОВУ

Художник Иван Николаевич *Крамской* (1837—1887) является автором первого живописного портрета Толстого. В письме к П. М. Третьякову, создателю знаменитой галереи (по его заказу делался портрет), художник рассказывает историю создания одновременно двух портретов Толстого. Один из них поступил в Третьяковскую галерею, другой был приобретен Толстым и помещен в зале Яснополянского дома, где находится и в настоящее время.

Письмо Крамского печатается по тексту, опубликованному в книге: «Переписка И. Н. Крамского. И. Н. Крамской и П. М. Третьяков», изд. «Искусство», М. 1953.

Н. И. Шатилов

ИЗ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО

Шатилов Николай Иосифович — художник, сын председателя Московского комитета грамотности и помещика Новосильского уезда Тульской губернии, владельца богатого имения Моховое, славившегося образцовым хозяйством. В Ясной Поляне вместе с П. Д. Голохвастовым Н. И. Шатилов был, очевидно, в начале 1875 или 1876 г. Воспоминания Шатилова печатаются по тексту, опубликованному в «Голосе минувшего», 1916, № 10.

П. И. Чайковский

ИЗ ДНЕВНИКА

Композитор Петр Ильич *Чайковский* (1840—1893) познакомился с Толстым в декабре 1876 г. на музыкальном вечере в Московской консерватории. Вечер был устроен Н. Г. Рубинштейном по просьбе Чайковского специально для Толстого. Вспоминая об этом музыкальном вечере, Толстой писал Чайковскому: «Я наслаждался. И это мое последнее пребывание в Москве останется для меня одним из

лучших воспоминаний. Я никогда не получал такой дорогой для меня награды за мои литературные труды, как этот чудный вечер. И какой милый Рубинштейн!.. Он мне очень понравился. Да и все эти жрецы высшего в мире искусства, заседавшие за пирогом, оставили мне такое чистое и серьезное впечатление. А уж о том, что происходило для меня в круглой зале, я не могу вспомнить без содрогания... Я полюбил ваш талант» (т. 62, стр. 297). В августе 1877 г. П. И. Чайковский писал о своих встречах с Толстым: «Нынешнею зимою я имел несколько интересных разговоров с писателем гр. Л. Н. Толстым, которые раскрыли и разъяснили мне многое. Он убедил меня, что тот художник, который работает не по внутреннему побуждению, а с тонким расчетом на эффект, тот, который насилует свой талант с целью понравиться публике и заставляет себя угождать ей,— тот не вполне художник, его труды непрочны, успех их эфемерен. Я совершенно уверовал в эту истину» («П. И. Чайковский. Переписка с Н. Ф. фон Мекк», т. I, 1876—1878, «Academia», 1934, стр. 44—45).

Выдержка из дневника композитора печатается по книге: «Дневник П. И. Чайковского», Государственное издательство, 1923.

С. Л. Толстой

МУЗЫКА В ЖИЗНИ МОЕГО ОТЦА

Толстой Сергей Львович (1863—1947) — старший сын Толстого; окончил отделение естественных наук физико-математического факультета Московского университета, получил также музыкальное образование. Выступал в печати по вопросам земства, сельского хозяйства, а также музыкальной науки. Воспоминания печатаются по тексту книги: С. Л. Толстой, Очерки былого, М. 1957.

¹ Ф. И. Шаляпин был у Толстых в Хамовниках 9 января 1900 г. вместе с С. В. Рахманиновым.

² С. Л. Толстой ошибся: М. А. Оленина-д'Альгейм была в Ясной Поляне 25 и 26 декабря 1903 г.

³ Ошибка. Л. Н. Толстой слушал игру оркестра народных инструментов под управлением В. В. Андреева 7 декабря 1900 г. у В. П. и С. Н. Глебовых. Игру Трояновского Толстой слушал в 1909 г.

⁴ «Дон-Жуан» и «Волшебная флейта» — оперы (1787 и 1791) В. Моцарта.

⁵ «Фрейшютц» — опера (1812) К. Вебера.

⁶ «Орфей и Эвридика» — опера (1762) К. Глюка.

⁷ «Севильский цирюльник» — опера (1816) Д. Россини.

А. Д. Оболенский

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

«Две встречи с Л. Н. Толстым»

Оболенский Алексей Дмитриевич — сын казанского знакомого Толстого, Д. А. Оболенского, в 70-е годы бывшего крупным чиновником, членом Государственного совета. Воспоминания печатаются по тексту, опубликованному в сб. «Толстой. Памятники творчества и жизни», 3, М. 1923.

Н. Н. Страхов

[ВОСПОМИНАНИЯ]

Страхов Николай Николаевич (1828—1896) — литературный критик и философ-идеалист, друг Толстого. Находился с Толстым в длительной переписке. Оказывал Толстому помощь в его литературной работе (вел корректуры «Войны и мира», «Анны Карениной» и «Азбуки», снабжал писателя необходимой для осуществления его творческих замыслов литературой).

Заметка была написана Страховым на отдельных листах, вклеенных затем в тот экземпляр журнального текста «Анны Карениной», на котором сначала Страховым, а затем Толстым делались исправления текста романа для отдельного издания. В настоящее время экземпляр этот хранится в отделе рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве. Заметка печатается по тексту, опубликованному в «Полном собрании сочинений» Л. Н. Толстого, т. 20, стр. 642—643.

В. И. Алексеев

ВОСПОМИНАНИЯ

Алексеев Василий Иванович (1848—1919) — учитель детей Толстого в 1877—1881 гг. До поступления к Толстым В. И. Алексеев два года прожил в Америке в земледельческой коммуне. Впоследствии был директором Нижегородского коммерческого училища. Отрывки воспоминаний Алексеева печатаются по тексту, опубликованному в сб. «Летописи Государственного литературного музея», кн. 12, М. 1948.

¹ Прочитировано неточно. У Тютчева стихотворение начинается:

И гроб опущен уж в могилу,
И все столпилось вокруг...

² Начальные строки стихотворения Тютчева «Silentium».

С. П. Арбузов

ВОСПОМИНАНИЯ БЫВШЕГО СЛУГИ ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО

Арбузов Сергей Петрович (1849—1904) — сын крепостного крестьянина, принадлежавшего помещику П. А. Воейкову, был привезен в Ясную Поляну в 1862 г. Прочувшись недолго в школе, он вскоре был взят в дом Толстых в качестве помощника лакея. Прослужил у Толстых 22 года. Путешествие в Оптину пустынь, которое Толстой совершил с ним и учителем Яснополянской школы Д. Ф. Виноградовым, относится не к 1878 г., как пишет Арбузов, а к 1881 г. Воспоминания печатаются по тексту книги: «Воспоминания бывшего слуги гр. Л. Н. Толстого», М. 1904.

¹ Записная книжка, в которую Толстой заносил свои впечатления во время путешествия в Оптину пустынь, сохранилась и напечатана в т. 49, стр. 138—147.

И. Е. Репин

ИЗ МОИХ ОБЩЕНИЙ С Л. Н. ТОЛСТЫМ

Репин Илья Ефимович (1844—1930) познакомился с Толстым 7 октября 1880 г. Не раз бывал у Толстого в Москве и в Ясной Поляне. Написал несколько портретов Толстого и сделал много зарисовок с него. Толстой ценил Репина как художника и привлекал его для иллюстрирования изданий «Посредника». Воспоминания И. Е. Репина написаны в начале 1908 г., поэтому в них не говорится о последнем посещении Репиным Ясной Поляны 17—18 декабря 1908 г. Печатаются по тексту книги: И. Репин, Далекое-близкое, изд. 4-е, изд-во «Искусство», М. 1953.

¹ Репин летом 1891 г. побывал в Ясной Поляне с 29 июня по 16 июля. Это было второе его посещение Ясной Поляны.

² Скульптор Илья Яковлевич Гинцбург в кругу своих знакомых любил изображать мимические сцены комического содержания: представлять портного, сапожника, студента и т. д. Репин признавал в Гинцбурге большой комический талант. Те же сцены изображал Гинцбург в Ясной Поляне 15 августа 1908 г., по поводу чего Толстой записал в своем дневнике в тот же день: «Все очень веселились» (см. т. 56, стр. 208, и воспоминания И. Гинцбурга «Радость жизни»).

³ Репин не совсем точно передает содержание сказки о зеленой палочке, придуманной братом Толстого Николенькой. Л. Н. Толстой в своих «Воспоминаниях» рассказывает: «Главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда

не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он, Николенька, нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа» (т. 34, стр. 386).

⁴ Портрет Толстого в лесу босиком «На молитве» был начат Репиным в 1891 г. и закончен в 1901 г.; находится в Государственном Русском музее в Ленинграде.

⁵ Здесь Репин допустил ошибку в дате: пашущего Толстого он наблюдал не в 1891 г., а в 1887 г., когда и написал свою картину «Толстой на пашне».

⁶ В Бегичевку Рязанской губернии, бывшую центром деятельности Толстого по помощи голодающему крестьянству, Репин приехал 21 февраля 1892 г. и пробыл до 24 февраля.

⁷ Репин ездил вместе с Толстым в деревню Рожню, где Толстым была открыта столовая для голодающих.

⁸ В феврале 1897 г. Толстой приехал на несколько дней в Петербург проводить выславшихся по постановлению департамента полиции В. Г. Черткова (за границу) и П. И. Бирюкова (в Курляндскую губернию). У Репина он был 8 февраля.

⁹ Картина Репина «Дуэль» (1896) находится в частном собрании в Ницце. Вариант картины, написанный в 1899 г., находится в Третьяковской галерее.

¹⁰ Репин пробыл в Ясной Поляне с 21 по 29 сентября 1907 г.

¹¹ «Круг чтения» — составленный Толстым в 1904—1905 гг. сборник религиозно-нравственных изречений мыслителей разных времен и народов. Вышел в свет в двух томах в изд. «Посредник» в Москве в 1906—1907 гг. Осенью 1907 г. Толстой был занят переработкой «Круга чтения», получившего название «На каждый день».

О ГРАФЕ ЛЬВЕ НИКОЛАЕВИЧЕ ТОЛСТОМ

(Мои личные впечатления и воспоминания)

Репин рассказывает преимущественно о своем первом посещении Ясной Поляны, относящемся к 9—16 августа 1887 г. Воспоминания печатаются по тексту, опубликованному в книге: «Художественное наследство», т. I, «Репин», изд. АН СССР, 1948.

¹ Говорится о замысле «Крейцеровой сонаты», который возник у Толстого под впечатлением исполнения «Крейцеровой сонаты» Бетховена.

² Толстой пахал полосу яснополянской крестьянки Анисьи Копыловой. Репин воспользовался этим моментом, чтобы зарисовать его для картины «Толстой на пашне».

³ Студент медицинского факультета Московского университета Владимир Васильевич Рахманов (1865—1918).

⁴ Молочный брат Толстого, яснополянский крестьянин Петр Осипович Зябрев (1843—1906), хорошо грамотный и большой любитель чтения. Толстой иногда навещал его.

В. Гиляровский

СТАРОГЛАДОВЦЫ

Гиляровский Владимир Алексеевич (1855—1935) — русский писатель, ходил «в народ», одно время вел скитальческий образ жизни. Известен как автор книг о жизни старой Москвы. Впервые Гиляровский встретился с Толстым, очевидно, в начале 1880-х гг. Воспоминания печатаются по тексту книги: В. Гиляровский, Друзья и встречи, изд. «Советская литература», М. 1934.

¹ *Аржановка*, или Ржанов дом — ночлежный дом в Проточном переулке на Смоленском рынке в Москве. В 1882 г. во время московской городской переписи Толстой посещал этот дом в качестве счетчика и описал его в трактате «Так что же нам делать?».

² *В. М. Соболевский* — один из редакторов «Русских ведомостей». Возможно, что эта встреча Гиляровского с Толстым относится к началу 1889 г., когда Толстой заходил в редакцию «Русских ведомостей» в связи с печатанием там статьи «Праздник просвещения».

³ Михаил Николаевич Лизгоро в 1897—1898 гг. служил в Каинском уезде Томской губернии волостным писарем под фамилией Беляева; в 1899 г. был арестован. Причина ареста неясна. О Лизгоро в газете «Сибирский вестник» (1899, № 230 от 21 октября) сообщалось как об «интересной личности», жизнь которого, «полная приключений, похожа на роман». Лизгоро писал Толстому из тюремной больницы в Каинске. Толстой ответил ему 1 ноября 1899 г. (см. т. 72, стр. 230). Рукопись Лизгоро осталась ненапечатанной (хранится в архиве В. А. Гиляровского).

⁴ Это неверно. Билет со станции Валово был взят до Ростова-на-Дону.

Г. А. Русанов

ПОЕЗДКА В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

(24—25 августа 1883 г.)

Русанов Гавриил Андреевич (1846—1907) — уроженец Землянского уезда Воронежской губернии, член Острогжского, а затем Харьковского окружного суда, с которым Толстой находился в длительных дружеских отношениях. Воспоминания печатаются по тексту, опубликованному в «Толстовском ежегоднике 1912 г.».

¹ Л. Д. Урусов, тульский вице-губернатор; сочувствуя взглядам Толстого, вышел в отставку. Часто бывал в Ясной Поляне. В 1885 г. Толстой сопровождал больного Урусова в его поездке в Крым.

² Толстой имеет в виду письмо И. С. Тургенева от 27(?) июня 1883 г., в котором Тургенев называет Толстого «великим писателем Русской земли» и умоляет его вернуться к литературной работе (см. «Толстой и Тургенев. Переписка», М. 1928, № 49).

³ М. С. Громека, Последние произведения гр. Л. Н. Толстого («Русская мысль», 1883, №№ 2—4; 1884, № 11).

По прочтении статьи Громеки Толстой в январе 1883 г. писал ему: «Я не могу сказать, что мне нравится или я одобряю то, что я прочел, как не может сказать человек, что ему нравятся те его слова, которые передал переводчик так, что слова прежде непонятные стали понятны» (см. т. 63, стр. 129).

⁴ П. В. Анненков, Исторические и эстетические вопросы в романе гр. Л. Н. Толстого «Война и мир» («Вестник Европы», 1868, февраль, стр. 774—795).

⁵ Имеется в виду анонимная статья, напечатанная в августовской книжке «Отечественных записок» за 1877 г. Статья была посвящена главным образом критическому разбору образа Левина.

⁶ Толстой осматривал в Москве Всероссийскую промышленно-художественную выставку 24 мая 1882 г. «Война и мир» в переводе М. Паскевич вышла на французском языке в Париже в 1879 г.

⁷ Имеется в виду историк «культурной школы» Александр Николаевич Попов (Толстой ошибся в имени), автор работы «Москва в 1812 году» («Русский архив», 1875, №№ 2 и 3; 1876, №№ 1 и 2 и др.). Мнение А. Н. Попова о «Войне и мире» приведено в статье Вс. Соловьева «Гр. Л. Н. Толстой» («Нива», 1879, № 43, стр. 854). «Конечно, я не пишу историю по роману,— говорил Попов,— но очень часто, при освещении известного события, советуюсь с «Войной и миром»... Очень часто я рассказываю на основании непреложных исторических данных; гр. Толстой, незнакомый с этими данными, рассказывал на основании своего творческого процесса, а выводы наши выходят одни и те же».

⁸ Отзыв Толстого о Тургеневе, приведенный в настоящих воспоминаниях, не может считаться исчерпывающим для оценки Толстым творчества Тургенева. Известно из многочисленных отзывов Толстого о Тургеневе, что он высоко ценил не только «Записки охотника», но многие его рассказы и повести. Интересно отметить, что несколькими месяцами позднее (ноября 30 или декабря 1) Толстой в письме к Н. Н. Страхову, сравнивая Тургенева с Достоев-

ским, писал, что «Гургенёв... переживёт Достоевского» (см. т. 63, стр. 142).

⁹ Статья Н. К. Михайловского «Жестокий талант» появилась в №№ 9 и 10 «Отечественных записок» за 1882 г.

¹⁰ Речь идет о статье Н. К. Михайловского «Записки современника» («Отечественные записки», 1881, № 2).

¹¹ «Воспоминания о Ф. М. Достоевском» Н. Н. Страхова были напечатаны в книге: «Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского», том 1, СПб. 1883, стр. 179—329.

¹² Статья Н. К. Михайловского «Десница и шуйца графа Л. Толстого» появилась в №№ 5—7 «Отечественных записок» за 1875 г.

¹³ Статья Н. К. Михайловского «Герои и толпа» была напечатана в № 1 «Отечественных записок» за 1882 г.

¹⁴ Письмо Достоевского, о котором идет речь, датированное 18 августа 1880 г., содержало ответ на вопрос Н. Л. Озмидова, какие книги следует давать его дочери-подростку. Оно было напечатано в газете «Русь» в 1881 г.; перепечатано в четвертом томе «Писем Ф. М. Достоевского», М. 1959, стр. 195—196.

¹⁵ «Евангелистка» («Evangéliste», 1882) — роман А. Додэ.

¹⁶ Роман Флобера «Madame Bovary» Толстой перечитал в 1892 г. и нашел, что он «имеет большие достоинства» (см. т. 84, стр. 138).

¹⁷ Речь идет о статье Н. Лескова «Граф Толстой и Ф. Достоевский как ересиархи» («Новости», 1883, №№ 1 и 3), написанной в ответ на брошюру К. Леонтьева «Наши новые христиане».

¹⁸ Журнал «Устой», народнического направления, выходил в Петербурге с декабря 1881 г. по декабрь 1882 г.

¹⁹ Имеется в виду рассказ Гаршина «Из воспоминаний рядового Иванова» (напечатан в «Отечественных записках», 1883, № 1). Описание смотра русских войск содержится в пятой главе этого рассказа.

²⁰ См. «Война и мир», т. I, часть третья, гл. VIII.

²¹ О Платоне Каратаеве, одном из персонажей романа «Война и мир», Успенский говорит в главе «Из записной книжки» очерков «Власть земли» («Отечественные записки», 1882, №№ 1, 2, 4).

²² Речь идет об Александре Капитоновиче Маликове (1839—1904), в 1874 г. привлекавшемся по делу «О пропаганде в 36 губерниях» («процесс 193-х»).

²³ Александр III.

²⁴ Александр II.

²⁵ Такое объявление от издательства «Художественного журнала» было напечатано в № 1 этого журнала за 1883 г. Статья Толстого об искусстве, начатая в феврале—марте 1882 г. в форме письма к редактору «Художественного журнала» Н. А. Александрову, окончена не была (см. т. 30, стр. 209—212).

Печатаются по тексту, опубликованному в книге: Проф. А. Г. Русанов, Воспоминания о Л. Н. Толстом, Воронеж, 1937.

¹ Имеется в виду Александр Александрович Тихоцкий (1852—1922), революционер, арестованный по делу Г. Лопатина (у Лопатина был найден адрес Тихоцкого, предоставлявшего свою квартиру для собраний народовольцев). Толстой ходатайствовал о смягчении его положения у начальника Харьковского жандармского управления полковника Цугаловского. Тихоцкий вскоре был сослан в административном порядке в Восточную Сибирь на пять лет.

² Речь идет, очевидно, о трактате «Так что же нам делать?».

³ Статья А. М. Скабичевского «Мысли и заметки по поводу нравственно-философских идей гр. Л. Н. Толстого», написанная о 2-м изд. этюда М. Громеки «Последние произведения гр. Л. Н. Толстого», была напечатана в журнале «Неделя», 1885, № 18, стр. 690—695. Фельетон Скабичевского на ту же тему — в газете «Русские ведомости», 1885, № 35 от 6 февраля.

⁴ Очевидная ошибка: Калмыкова виделась с Толстым только на обратном пути его из Крыма (см. т. 63, письма №№ 333 и 340).

⁵ Русанов в этот приезд провел у Толстого 5 и 6 февраля.

⁶ Первый рассказ Г. И. Успенского «Михалыч» был помещен в № 10 «Книжек», выходявших в виде приложения к педагогическому журналу «Ясная Поляна», издававшемуся Толстым в 1862 г.

⁷ Очерк Г. И. Успенского «Паровой дыпленок» напечатан в газете «Русские ведомости», 1888, № 9 от 10 января.

⁸ Очерки Г. И. Успенского, озаглавленные «Живые цифры», были помещены в журнале «Северный вестник», 1888, № 1.

⁹ Это посещение Ясной Поляны ошибочно отнесено Русановым к 1889 г.

¹⁰ Толстой виделся с Герценом в Лондоне в феврале — марте 1861 г.

¹¹ *Теккерей* Вильям (1811—1863) — английский писатель. С романами Теккерей («Ярмарка тщеславия», «Ньюкомы», «История Пенденниса», «Жизнь Эсмонда») Толстой познакомился еще в 1854—1856 гг.

¹² *Троллоп* Антони (1815—1882) — английский романист. Высокую оценку Троллопу, хотя и с некоторыми оговорками, Толстой дает в дневнике 1865 г. (см. т. 48, стр. 63—64).

¹³ *Додэ* Альфонс (1840—1897) — французский писатель. Чтение Додэ упоминается в дневнике Толстого за 1889 г. (см. т. 50, стр. 158).

¹⁴ Речь идет о сборнике рассказов А. П. Чехова «В сумерках. Очерки и рассказы», изд. А. С. Суворина, 2-е изд., СПб. 1888. Книга сохранилась в яснополянской библиотеке.

¹⁵ Эта драма, «И свет во тьме светит», начатая в 1896 г., не была окончена Толстым.

¹⁶ Толстой ездил к В. Г. Черткову, жившему в то время на хуторе Ржевск Воронежской губернии, и на обратном пути заехал к Русановым в Воронеж.

¹⁷ Табак низшего сорта, изготовлявшийся фабрикой Жукова.

¹⁸ Гедда Габлер сожгла рукопись Левборга, мучимая ревностью к женщине, вдохновившей его на создание труда. Драма Ибсена «Гедда Габлер» появилась в 1890 г. В России переведена и поставлена в 1892 г.

¹⁹ Очерк Н. Н. Толстого «Охота на Кавказе» был напечатан в № 2 «Современника» за 1857 г. Очерк вызвал сочувственные отзывы Некрасова, Тургенева, Панаева.

²⁰ *Щеголев* Павел Елисеевич (1877—1931) — впоследствии историк литературы и революционного движения. См. его воспоминания «Встречи с Толстым» («Новый мир», 1928, № 9).

Л. П. Никифоров

ВОСПОМИНАНИЯ О Л. Н. ТОЛСТОМ

Никифоров Лев Павлович (1848—1917) — в конце 60-х и в 70-е годы — народник, нечаевец, позднее член партии социалистов-революционеров, неоднократно отбывавший тюремное заключение. С Толстым познакомился в 1884 г. В 1890—1900 гг. занимался переводами с французского, автор ряда компилятивных работ о Толстом. Воспоминания печатаются по тексту, опубликованному в книге: «Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник», Госиздат, М.—Л. 1928.

¹ *Нечаевское дело* — процесс над организацией «Народная расправа», созданной в 1869 г. революционером-террористом С. Г. Нечаевым.

² *Кум Антона Павловича Чехова* — официант гостиницы «Большая Московская» С. И. Бычков. Сохранились два письма к нему Чехова (см. А. П. Чехов, Полное собрание сочинений и писем, тт. 15 и 17, 1949).

³ Первая попытка Толстого уйти из Ясной Поляны относится к 1884 г. «Я ушел и хотел уйти совсем, но ее беременность заставила меня вернуться с половины дороги в Тулу», — записал он в дневнике 18 июня 1884 г. (т. 49, стр. 105).

Г. П. Даниловский
ПОЕЗДКА В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

Статья принадлежит известному в свое время романисту Григорию Петровичу *Данилевскому* (1829—1890), автору исторических романов «Мирович», «Черный год» и др. Данилевский был в Ясной Поляне 22 сентября 1885 г. Воспоминания печатаются по тексту, опубликованному в журнале «Исторический вестник», 1886, 3.

¹ Толстой разумел свою работу в основанном им совместно с В. Г. Чертковым в 1884 г. общедоступном издательстве «Посредник». Для этого издательства Толстой писал народные рассказы, рекомендовал и редактировал произведения других авторов.

Н. Н. Иванов

У Л. Н. ТОЛСТОГО В МОСКВЕ В 1886 ГОДУ

Иванов Николай Никитич (1867—1913) — сын фельдшера московской Бутырской тюрьмы, писатель. В издательстве «Посредник» в 80-е годы были напечатаны некоторые его стихотворения и рассказы (в сборнике «Гуслиар» стихотворения: «Деревенские ребята», «Исповедь торгаша» и «Целовальник»; в сборнике «Цветник» рассказы: «Блоха и муха» и «Три друга»). Воспоминания печатаются по тексту, опубликованному в книге: «Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник», М.—Л. 1928.

¹ Трактат Толстого «Так что же нам делать?» был запрещен цензурой. Выдержки из него под названием «Мысли, вызванные переписью», появились в XII т. «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», изд. 1886 г. Очевидно, Н. Н. Иванов видел переплетенные рукописные экземпляры трактата.

² Рассказы «Кривая доля» и «Дед Софрон» принадлежат В. И. Савихину, служившему мастером на монетном дворе.

³ «Брат на брата» — изданное в «Посреднике» переложение эпизода из романа В. Гюго «Девяносто третий год». См. примечание 3 на стр. 603.

⁴ В басне рассказывается о встрече блохи, отошавшей в деревне, потому что там люди всё работают и почти не спят, с мухой, которой пришлось плохо в городе от излишней чистоты. Попрощавшись, блоха поскакала в город, а муха отправилась в деревню. См. басню в кн. «Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник», М.—Л. 1928, стр. 199—200.

⁵ Рассказ Н. Н. Иванова «Юродивый» не был пропущен цензурой.

В. Г. Короленко

ВЕЛИКИЙ ПИЛИГРИМ

(Три встречи с Л. Н. Толстым)

Короленко Владимир Галактионович (1853—1921) — писатель; познакомился с Толстым в Москве в феврале 1886 г. Воспоминания Короленко о трех его встречах с Толстым (начаты после смерти Толстого и остались незаконченными) являются ценнейшим материалом для характеристики идейной эволюции Толстого в 1880—1900-е гг. Печатаются по тексту: В. Г. Короленко, Собрание сочинений, М. 1954, т. 8.

¹ В рукописи Короленко обе даты указаны ошибочно: 1888 и 1903 вместо 1886 и 1902.

² Анастасия Васильевна Дмоховская, рожд. Воропец. У Дмоховской Толстой виделся с участниками революционно-освободительного движения, находившимися на нелегальном положении (А. С. Пругавин, О Льве Толстом и о толстовцах, М. 1911, стр. 96—98).

³ Лев Адольфович Дмоховский (1851—1881), в 1874 г. был приговорен к десяти годам каторги за революционную пропаганду и печатание революционных воззваний. Короленко встречался с Дмоховским в иркутской тюрьме по дороге в якутскую ссылку.

⁴ О ком идет речь, неизвестно. С. А. Дмоховская была замужем за А. А. Тихоцким, осужденным на каторгу по «процессу 193-х».

⁵ Посещения А. В. Дмоховской упоминаются в дневнике Толстого за 1884 г. (см. т. 49, по указателю).

⁶ Имеется в виду отказ Короленко в 1881 г. от присяги Александру III, за что он был сослан в Якутскую область.

⁷ Александра Ивановна Успенская, вдова нечаевца Петра Григорьевича Успенского, приговоренного к пятнадцати годам каторжных работ, которые он отбывал на Каре. Здесь Успенский был убит товарищами, заподозрившими его в предательстве. Впоследствии была установлена его невиновность. Толстой познакомился с А. И. Успенской у Анны Васильевны Армфельд, матери приговоренной к каторжным работам Натальи Александровны Армфельд.

⁸ Ошибка Короленко: он был у Толстого в первый раз в феврале 1886 г.

⁹ Н. Н. Ге иллюстрировал легенду Толстого «Чем люди живы». Альбом иллюстраций Н. Н. Ге к «Чем люди живы» вышел при содействии Толстого в 1886 г. в двух изданиях: одно на плотной бумаге в картонаже, другое — на более тонкой бумаге и в обложке.

¹⁰ Это был явный намек на рассказ Короленко «Лес шумит», незадолго до того напечатанный в «Русской мысли» за 1886 г., № 1.

А. Е. Черткова

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Л. Н. ТОЛСТОМ

Черткова Анна Константиновна (1859—1927) — жена В. Г. Черткова; впервые встретила с Толстым в марте 1886 г. Воспоминания печатаются по тексту, опубликованному в сборнике «Толстой и о Толстом», 2, изд. Толстовского музея, М. 1926.

¹ Драма «Власть тьмы».

² «Гусляр», сборник стихотворений, вышедший в издании «Посредник» в 1887 г.

³ «Благословляю вас, леса...» — романс Чайковского на слова А. К. Толстого.

⁴ М. Г. Савина была у Толстого в конце декабря 1886 г.

⁵ Постановка не состоялась. «Власть тьмы» была запрещена цензурой не только для театра, но и для издания.

А. А. Стахович

КЛОЧКИ ВОСПОМИНАНИЙ

Стахович Александр Александрович (1830—1913) — орловский помещик, знакомый Толстого; любитель драматического искусства и тещ. Был в Ясной Поляне в октябре и ноябре 1886 г.

Воспоминания печатаются по тексту, опубликованному в «Толстовском ежегоднике 1912 г.», М. 1912.

¹ Комедия А. Н. Островского «Не так живи, как хочешь» впервые была напечатана в журнале «Москвитянин» (1855, сентябрь). Толстой читал ее вслух у Тургенева 9 декабря 1855 г. См. «Дневник» А. В. Дружинина.

² Толстой смотрел «Ревизора» с А. Е. Мартыновым в роли Хлестакова, живя в Казани, в мае — июне 1845 г.

³ Дрaму А. А. Потехина «Чужое добро впрок нейдет» Толстой вместе с другими писателями смотрел на сцене Александринского театра в Петербурге в конце декабря 1855 г.

⁴ Это воспоминание относится к лету 1846 г.

⁵ А. А. Стахович читал «Власть тьмы» в петербургских аристократических салонах. Одно из чтений происходило на квартире министра двора Воронцова-Дашкова в присутствии царя. Александр III положительно отозвался о драме. Однако, получив письмо обер-прокурора синода Победоносцева, содержавшее резкие нападки на «Власть тьмы» за «отрицание идеала, унижение нравственного чувства и оскорбление вкуса», согласился с этой оценкой драмы.

Министру внутренних дел Александр III писал: «Надо было бы положить конец этому безобразию Л. Толстого, он чисто нигилист и безбожник» (Н. Н. Гусев, *Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого, 1828—1890*, М. 1958, стр. 661).

Н. В. Давыдов

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

Давыдов Николай Васильевич (1848—1920) — юрист, в 1897—1908 гг. председатель Московского окружного суда. С 1878 г. был знаком с Толстым. К нему Толстой часто обращался за юридической помощью по делам окрестных крестьян. Воспоминания печатаются по тексту книги: Н. В. Давыдов, *Из прошлого*, т. I, изд. 2-е, М. 1914.

¹ «Власть тьмы» была первым драматическим произведением Толстого, напечатанным при его жизни.

² Комедия «Плоды просвещения», которая в то время носила заглавие «Исхитрилась», была поставлена в Ясной Поляне 30 декабря 1889 г.

³ В романе Толстого присяжные решили признать Маслову виновной, но без умысла ограбления, в то же время позабыв добавить к этому решению «и без намерения лишить жизни». Это последнее упущение и дало право суду вынести ей приговор о ссылке в каторжные работы на четыре года. На решении, о котором упоминает Давыдов, в романе настаивает присяжный из купцов (см. «Воскресение», часть I, гл. XXIII).

⁴ См. примечание 1 на стр. 589.

⁵ См. примечание 3 на стр. 589.

⁶ Речь идет о шарадах и других языковых трюках, которыми любил забавлять своих слушателей малоизвестный поэт Ф. Л. Соллогуб. Они приведены в книге: Н. В. Давыдов, «Из прошлого», М. 1913, стр. 163—202.

Н. И. Тимковский

МОИ ПЕРВЫЕ СВИДАНИЯ С Л. Н. ТОЛСТЫМ

Тимковский Николай Иванович (1863—1922) — беллетрист и драматург, знакомый Толстого с конца 1880-х гг. Воспоминания печатаются по тексту, опубликованному в «Сборнике воспоминаний о Л. Н. Толстом», изд. «Златоцвет», М. 1911.

¹ Рассказ Н. И. Тимковского «Вьюга» был напечатан в изд. «Посредник» в 1889 г.

Печатается по тексту, опубликованному в «Сборнике воспоминаний о Л. Н. Толстом», изд. «Златоцвет», М. 1911.

¹ А. И. Орлов, Н. В. Гоголь как учитель жизни, изд. «Посредник», М. 1888.

² Статья Толстого о Гоголе, начатая в январе 1888 г. в виде предисловия к книжке А. И. Орлова, окончена не была. Напечатана в т. 26, стр. 649—651.

³ Слова Молчалина из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (действие третье, явление 3-е).

А. Ф. Кони

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

Кони Анатолий Федорович (1844—1927) — видный юрист, судебный и общественный деятель, писатель-мемуарист. Воспоминания печатаются по тексту книги: А. Ф. Кони, На жизненном пути, т. II, М. 1916.

¹ Имеется в виду процесс по делу В. И. Засулич (1851—1919), стрелявшей в петербургского градоначальника Д. Ф. Трепова. Дело разбиралось в Петербургском окружном суде под председательством А. Ф. Кони, с участием присяжных заседателей, 1 апреля 1878 г. Суд вынес оправдательный приговор.

² Речь идет о князе Д. А. Оболенском (см. об этом же эпизоде воспоминания В. И. Алексеева).

³ Над романом «Воскресение», или, как он вначале именовался Толстым, «Коновской повестью», Толстой начал работать в 1889 г. Работа велась с большими перерывами и была закончена лишь в 1899 г.

⁴ 19 апреля 1897 г. Толстой присутствовал на репетиции оперы А. Г. Рубинштейна «Фераморс», которую готовили под руководством директора Московской консерватории В. И. Сафонова его ученики. Описание этой репетиции Толстой включил в первую главу трактата «Что такое искусство?».

⁵ Имеется в виду русско-японская война 1904—1905 гг.

⁶ Речь идет о гибели адмирала С. О. Макарова при взрыве 31 марта 1904 г. броненосца «Петропавловск» на Порт-Артурском рейде. О Макарове Толстой писал в гл. XI статьи «Одумайтесь!», посвященной русско-японской войне.

⁷ Имеется в виду рассказ А. И. Куприна «Ночная смена», вошедший в I том «Рассказов» Куприна, изданных книгоиздательством «Знание» в 1903 г.

Семенов Сергей Терентьевич (1868—1922) — писатель, вышедший из крестьянской среды. Толстой высоко ценил произведения Семенова; к первому тому его «Крестьянских рассказов» написал предисловие (1894). Воспоминания печатаются по тексту книги: «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом», СПб. 1912.

¹ «Два брата».

² Имеется в виду рассказ И. Г. Журавова, напечатанный в изд. «Посредник» под заглавием «Раздел» (М. 1887).

³ Эпизод из романа В. Гюго «Девяносто третий год» в изложении Е. П. Свешниковой (изд. «Посредник», М. 1887). Печатался без обозначения автора.

⁴ «Власть тьмы, или Коготок увяз, всей птичке пропасть». Драма была написана в конце 1886 г.

⁵ Приведенный С. Т. Семеновым отзыв Толстого о Лермонтове не выражает общего отношения Толстого к творчеству Лермонтова. Судя по записям Толстого в дневнике, его высказываниям в письмах и свидетельствам мемуаристов (см. Г. А. Русанов, Поездка в Ясную Поляну), Толстой высоко ценил творчество Лермонтова за его глубокое содержание и совершенную форму.

⁶ Цитата из стихотворения Пушкина «Поэту» (1830).

⁷ В ноябре 1891 г. Толстой начерно написал рассказ «Кто прав?», который предназначался для сборника в пользу голодающих. Рассказ не получил окончательной отделки и в то время напечатан не был. В 1893 г. Толстой внес в текст его небольшие исправления, и на этом работа над рассказом окончилась. Впервые опубликован в двенадцатой части «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», М. 1911.

⁸ Это посещение С. Т. Семеновым Ясной Поляны относится к 1896 г.

⁹ Рассказ «Пересол» был напечатан в № 10 народнического журнала «Новое слово» за 1896 г.

¹⁰ В письме Толстого к С. Т. Семенову от 21 марта 1896 г. (т. 69, № 59) содержится отрицательный отзыв о неназванной там пьесе. Вероятно, это — пьеса «Новые птицы, новые песни», которую Семенов присылал второй раз в 1897 г. Толстой ответил тогда письмом (т. 70, № 220), содержание которого излагает Семенов. Пьеса осталась ненапечатанной.

¹¹ Говорится о рассказе «Подпасок Федька», изданном «Посредником» и вошедшем затем в I том «Крестьянских рассказов» С. Т. Семенова.

¹² *Разуваев* — один из персонажей произведения Салтыкова-Щедрина «Убежище Монрепо».

¹³ Этот отзыв Толстого о Салтыкове-Щедрине не выражает полностью его действительного отношения к творчеству Щедрина. Сохранился ряд высказываний Толстого, свидетельствующих о его высокой оценке Щедрина как художника. В 1885 г., приглашая Щедрина к сотрудничеству в «Посреднике», Толстой писал ему: «У вас есть все, что нужно — сжатый, сильный, настоящий язык, характерность, оставшаяся у вас одних, не юмор, а то, что производит веселый смех, и по содержанию — любовь и потому знание истинных интересов жизни народа» (т. 63, стр. 308).

¹⁴ Речь идет о Вячеславе Дмитриевиче Ляпунове (1837—1905), крестьянине-поэте, который в сентябре 1897 г. принес Толстому тетрадь своих стихов. Толстой переслал стихи в редакцию «Русской мысли», где и было напечатано стихотворение Ляпунова «Пахарь» (1898, I, стр. 86). Стихотворения В. Д. Ляпунова собраны в книге «В. Д. Ляпунов, молодой поэт», М. 1912.

¹⁵ Н. В. Гоголь, Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.

¹⁶ Говорится о Г. А. Русанове. Толстой был у него вместе с Семеновым 29 декабря 1896 г. См. т. II, Воспоминания А. Г. Русанова.

¹⁷ Повесть Чехова «Моя жизнь. Рассказ провинциала» была напечатана в «Ежемесячных литературных приложениях» к журналу «Нива» (1896, №№ 10—12).

¹⁸ Имеется в виду издатель реакционной петербургской газеты «Новое время» — Алексей Сергеевич Суворин (1834—1912).

¹⁹ А. Волюнский (А. Л. Флексер), Леонардо да Винчи, СПб. 1900.

²⁰ «Определение святейшего синода от 20—22 февраля 1901 г.» об отлучении Толстого от церкви было опубликовано в «Церковных ведомостях» 24 февраля 1901 г.

²¹ Комедия «Нигилист» была написана не в 70-х годах, а в конце августа 1866 г. Текст ее не сохранился.

²² Речь идет о назначении министром внутренних дел П. А. Столыпина (1862—1911), крайнего реакционера, издавшего закон о военно-полевых судах. Толстой знал его отца А. Д. Столыпина (1821—1899) по совместному участию в Севастопольской кампании.

²³ Рассказ относится к 1908 г.

²⁴ Имеется в виду Л. Н. Андреев.

²⁵ Толстой имел в виду «Рассказ о семи повешенных» Л. Андреева, напечатанный в пятой книге «Альманаха», изд. «Шиповник» (СПб. 1908) и прочитанный им 22 мая 1908 г.

²⁶ В. Г. Чертков жил тогда в имении Пашковых Крекшино, в

36 километрах от Москвы. Толстой уехал из Ясной Поляны 3 сентября 1909 г. и приехал в Крекшино 4 сентября.

²⁷ На обратном пути Толстой день 18 сентября провел в Москве.

²⁸ «Санин» — роман реакционного писателя М. П. Арцыбашева.

²⁹ Рассказ относится к 4 июня 1910 г.

³⁰ Пьеса «От ней все качества», которая первоначально называлась «Долг платежом красен». Толстой работал над ней с перерывами с 29 марта по 31 июля 1910 г. Пьеса не была завершена.

³¹ Л. Н. Андреев был у Толстого 21—22 апреля 1910 г. Воспоминания Л. Андреева, не представляющие большого интереса, опубликованы в журнале «Солнце России», 1911, № 53.

Т. В. Базыкин

ЯСНОПОЛЯНСКИЙ ПОЖАР

Базыкин Тимофей Ермилович (1861—1934) — яснополянский крестьянин. Воспоминания печатаются по тексту, опубликованному в «Толстовском ежегоднике 1912 г.», М. 1912.

Эльмер Моод

РАЗГОВОРЫ С ТОЛСТЫМ

Моод Эльмер (Алексей Францевич) (1858—1938) — переводчик на английский язык и издатель сочинений Толстого; автор двухтомной биографии Толстого, вышедшей в Лондоне в 1908—1910 гг., и многих статей о нем. В 1874—1896 гг. жил в России, занимаясь издательской и переводческой деятельностью. Познакомился с Толстым в 1888 г. Воспоминания печатаются в переводе по тексту книги: «Tolstoy and his Problemes», Essays by Aylmer Maude, New-York, 1904.

¹ Статья Толстого «Для чего люди одурманиваются?» была опубликована в 1891 г. как предисловие к книге д-ра П. С. Алексеева «О пьянстве». Вскоре появилась отдельной брошюрой в изд. «Посредник».

² Статья Э. Моода «Лев Толстой» была напечатана в 1900 г. в одном из английских журналов и затем вошла в книгу «Tolstoy and his Problemes».

³ Толстой читал романы Уорд Гемфри «Роберт Эльсмер», «Мисс Бритертон», «История Давида Грива». Первые два романа понравились ему серьезностью постановки религиозно-нравственных проблем.

⁴ Олив Шрейнер (1855—1920) — известная южноафриканская писательница. Большинство ее романов были в 1890—1900-е гг. пере-

ведены на русский язык. Повесть Шрейнер «Рядовой Питер Холкет» (1897) направлена против британских империалистов.

⁵ По-видимому, речь идет о статье М. Арнольда «Литература и догма».

⁶ «Review of Reviews» — английский ежемесячный журнал, издававшийся В. Стэдом, в котором печатались различные выдержки из английских, американских и европейских журналов. Отрицательный отзыв Толстого о журнале содержится в письме к В. Г. Черткову от 11 марта 1897 г. (т. 88, № 441).

⁷ Г. Торо (1817—1862) — американский публицист, много писавший о необходимости упрощения жизни и физического труда. Этуд Торо «Гражданское неповиновение» был напечатан в переводе на русский язык в 1898 г. в сборнике «Свободное слово», под ред. П. И. Бирюкова.

В. Н. Давыдов

из воспоминаний актера

Давыдов Владимир Николаевич (сценическое имя Ивана Николаевича Горелова, 1849—1925) — с 1880 г. артист Александринского театра в Петербурге.

Воспоминания печатаются по тексту, опубликованному в «Международном толстовском альманахе», сост. П. Сергеевко, изд. «Книга», М. 1909.

А. М. Новиков

ЗИМА 1889/90 ГОДОВ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Новиков Алексей Митрофанович (1865—1925) — окончил математический факультет Московского университета, в течение 1889—1891 гг. был учителем Андрея и Михаила Львовичей Толстых.

Воспоминания печатаются по тексту, опубликованному в сборнике «Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник», Госиздат, М.—Л. 1928.

А. В. Цингер

У ТОЛСТЫХ

Цингер Александр Васильевич (1870—1934) — сын известного математика и ботаника В. Я. Цингера, племянник И. И. Раевского, впоследствии профессор Московского университета по кафедре физики. Воспоминания относятся преимущественно к его студенческим годам. Печатаются по тексту, опубликованному в «Международном толстовском альманахе», сост. П. Сергеевко, изд. «Книга», М. 1909.

¹ 29 декабря 1889 г. «Крейцерову сонату» читал вслух собравшимся у Толстых М. А. Стахович. На Толстого повесть произвела «страшное впечатление» (т. 50, стр. 126).

² Этот афоризм немецкого философа и физика Лихтенберга, высоко ценимого Толстым, включен в переводе Толстого в составленный им сборник «Круг чтения» (см. т. 42, стр. 138).

³ Неточно переданные слова одного из персонажей повести И. С. Тургенева «Затишье», Егора Капитоновича, обращенные к его слуге.

⁴ Пелагея Николаевна Толстая, рожд. Горчакова (1762—1838). Цингер ошибся, приписывая Толстому слова о «приездах бабушки». П. Н. Толстая жила с семьей Н. И. Толстого. Воспоминания Толстого, вероятно, относились к переезду семьи Толстых из Ясной Поляны в Москву в 1837 г. (см. «Воспоминания» Л. Н. Толстого, «Переезд в Москву», т. 34).

⁵ Доклад В. Я. Цингера был озаглавлен: «Недоразумения во взглядах на основания геометрии».

⁶ Толстой присутствовал на заключительном заседании съезда 11 января.

⁷ Толстой вышел в отставку в 1856 г. в чине поручика.

⁸ Номера немецкого сатирического журнала «Simplicissimus» были присланы в Ясную Поляну в январе 1901 г. переводчиком произведений Толстого на немецкий язык В. Чумиковым. Издатель журнала Альберт Ланген просил Толстого дать отзыв.

⁹ Речь идет о картине И. Е. Репина «Иди за мною, сатана» (1897—1898).

¹⁰ Толстой имел в виду статью К. Носилова «Театр у вогулов», о которой сообщил ему Чехов (см. А. П. Чехов, Полное собрание сочинений и писем, т. XII, М. 1949, стр. 336). Содержание театрального представления у вогулов Толстой передает в гл. XIV трактата «Что такое искусство?».

В. М. Лопатин

ИЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

Лопатин Владимир Михайлович (1861—1935) — юрист; позднее артист Московского Художественного театра. Воспоминания печатаются по тексту, опубликованному в «Международном толстовском альманахе», сост. П. Сергеевко, изд. «Книга», М. 1909.

П. Ганзен

ПЯТЬ ДНЕЙ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Ганзен Петр Готфридович (1845—1930) — датчанин, переводчик. В яснополянской библиотеке сохранилось несколько присланных им

Толстому книг (переводы произведений Толстого). Воспоминания Ганзена печатаются по тексту, опубликованному в журнале «Исторический вестник», 1917, январь.

А. В. Жиркевич

ВСТРЕЧИ С ТОЛСТЫМ

Жиркевич Александр Владимирович (1857—1927) — военный юрист и писатель-беллетрист (псевдоним «А. Нивин»). Был в переписке с Толстым с 1887 г.; лично познакомился 19 декабря 1890 г. в Ясной Поляне. Воспоминания печатаются по тексту, опубликованному в «Литературном наследстве», № 37—38, М. 1939.

¹ Пятидесятилетие литературной деятельности А. А. Фета отмечалось 28 января 1889 г.

² В. Г. Короленко вместе с Н. Н. Златовратским был у Толстого в феврале 1886 г. (см. В. Г. Короленко, Великий пилигрим).

³ Толстой писал А. В. Жиркевичу 30 июня 1890 г.: «Писать надо только тогда, когда чувствуешь в себе совершенно новое, важное содержание, ясное для себя, но непонятное людям, и когда потребность выразить это содержание не дает покоя» (т. 65, № 105).

⁴ Свою поэму в стихах «Картинки детства» (СПб. 1890) Жиркевич в начале мая 1890 г. прислал Толстому для отзыва. В письме от 30 июня, в ответ на вторичную просьбу Жиркевича сообщить свое мнение об этой книге, Толстой дал резко отрицательный отзыв, заметив, что у автора нет «того, что называется талантом».

⁵ Имеется в виду картина Репина «Крестный ход в дубовом лесу» (1883). Находится в Третьяковской галерее.

⁶ Картину Н. А. Ярошенко «Всюду жизнь» Толстой видел в 1889 г. при осмотре Третьяковской галереи.

⁷ Письмо А. Н. Апухтина от 31 октября 1891 г. опубликовано в «Литературном наследстве», № 37—38, М. 1939, стр. 441—442. На это письмо Толстой не ответил.

⁸ Такой роман не был написан Толстым.

⁹ Речь идет о трактате «Царство божие внутри вас», над которым Толстой работал в 1890—1893 гг.

И. Я. Гинцбург

из прошлого

Гинцбург Илья Яковлевич (1859—1939) — скульптор, с 1911 г. член Академии художеств; знакомый Толстого с 1891 г. Воспоминания печатаются по тексту, опубликованному в книге: Илья Гинцбург, Из прошлого, Л. 1924.

¹ Гинцбург ошибся в месяце: последнее свидание Стасова с Толстым состоялось 3—6 сентября 1904 г.

² «Календарем» Толстой называл составлявшийся им в 1904—1905 гг. сборник «Круг чтения».

³ Толстой читал, вероятно, статью Герцена «Августейшие путешественники» (1867), в которой описывалось свидание Николая I с австрийским императором Фердинандом I.

⁴ Сообщение И. Я. Гинцбурга, что Толстой в этот раз читал своим гостям «Воскресение» (которое уже давно было напечатано), ошибочно. Из первой, более подробной редакции этих воспоминаний И. Я. Гинцбурга, напечатанной в «Сборнике воспоминаний о Л. Н. Толстом», изд. «Златоцвет», М. 1911, видно, что Толстой читал только что написанную и не вполне еще отделанную повесть «Божеское и человеческое».

Вера Величкина

в голодный год с Львом Толстым

Величкина Вера Михайловна (1868—1918) — врач. В 1892 г. участвовала с Толстым в организации помощи голодающим крестьянам Рязанской губернии. Воспоминания печатаются по тексту книги: Вера Величкина, В голодный год с Львом Толстым, ГИЗ, М.—Л. 1928.

¹ 12 января в семье Толстых праздновались именины Татьяны Львовны.

² Елена Михайловна Персидская.

³ *Карма* — один из догматов индийской религии, согласно которому общественное положение человека является результатом его деяний в прошлых (до его рождения) существованиях. Речь идет о письме Толстого, законченном 7 февраля 1892 г., Д. А. Хилкову (т. 66, № 167).

⁴ В январе 1892 г. английский журналист, переводчик Э. М. Дилло опубликовал в английской газете «Daily Telegraph» перевод статьи Толстого «О голоде», озаглавив его «Почему голодают русские крестьяне?». Газета «Московские ведомости» напечатала русский перевод части статьи, снабдив его комментариями, имевшими характер доноса. «Письма гр. Толстого, — заявляла реакционная газета, — являются открытою пропагандой к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя...

Пропаганда графа есть пропаганда самого крайнего, самого разнуданного социализма, перед которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда».

⁵ Комиссия, возглавлявшаяся генералом М. Н. Анненковым и состоявшая из представителей Красного Креста, уполномоченных по общественным работам, а также из инженеров и агрономов, в общем количестве около двадцати человек, прибыла в Бегичевку 4 мая 1892 г.

И. М. Пчельников

из дневника

Пчельников Павел Михайлович — управляющий конторой московских императорских театров. Выдержки из дневника печатаются по тексту, опубликованному в «Международном толстовском альманахе», сост. П. Сергеенко, изд. «Книга», М. 1909.

¹ «Плоды просвещения» были поставлены в Московском Малом театре 12 декабря 1891 г. Толстой был на представлении 7 января 1892 г.

² Толстой видел А. Е. Мартынова в 1845 г. в Казани в роли Хлестакова и затем в Петербурге в роли Михайлы (драма А. А. Потекина «Чужое добро впрок нейдет»).

³ Иной отзыв о чтении Толстым «Власти тьмы» и о его беседе с труппой театра по поводу постановки этой пьесы дает В. Н. Рыжова. См. ее воспоминания «Толстой в Малом театре», т. II.

⁴ На сцене Малого театра «Власть тьмы» была поставлена 29 ноября 1895 г.

И. П. Гнедич

из записной книжки

Гнедич Петр Петрович (1855—1925) — писатель и драматург; автор либерально-буржуазной «Истории искусства» (1885). Был управляющим русской драматической труппой императорских театров в Петербурге. Выдержки из записной книжки Гнедича печатаются по тексту, опубликованному в «Международном толстовском альманахе», сост. П. Сергеенко, изд. «Книга», М. 1909.

¹ Чтение комедии «Плоды просвещения» в заседании русского литературного общества в Петербурге происходило 12 марта 1890 г.

Л. Я. Гуревич

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Л. Н. ТОЛСТОМ

Гуревич Любовь Яковлевна (1866—1940) — писательница-беллетристка, переводчица и театральный критик; автор ряда статей о Толстом; в 1893—1898 гг. издательница журнала «Северный вестник». Познакомилась с Толстым 27 августа 1892 г. в Ясной Поляне. В последующие годы неоднократно посещала Толстого. Воспоминания печатаются по тексту, опубликованному в книге: *Любовь Гуревич, Литература и эстетика*, кн-во «Русская мысль», М. 1912.

¹ «Трильби» — роман английского писателя Жоржа Дюморье (1834—1896). Толстой читал его в русском переводе (СПб. 1896). 27 февраля 1896 г. он записал в дневнике: «Читал «Трильби» — плохо» (т. 53, стр. 80).

² Н. Н. Дубовский, «Притихло» (1890).

П. А. Сергеенко

КАК ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ Л. Н. ТОЛСТОЙ

Сергеенко Петр Алексеевич (1854—1930) — литератор, автор нескольких книг и статей о Толстом. Познакомился с Толстым в 1892 г. Воспоминания печатаются по тексту книги «Как живет и работает Л. Н. Толстой», изд. 2-е, М. 1908.

¹ Толстой посещал А. И. Герцена в Лондоне в феврале — марте 1861 г.

² Сергеенко ошибся, отнеся этот разговор к 1892 г. Оперу Вагнера «Зигфрид» Толстой впервые услышал 19 апреля 1896 г. в Большом театре в Москве.

³ Поль Дерулед приезжал к Толстому 15 июля 1886 г.

⁴ Толстой был на представлении «Короля Лира» в театре «Эрмитаж» в первой половине января 1896 г.

⁵ Русский перевод этого стихотворения Гейне был сделан М. И. Михайловым: «Брось свои иносказанья...» (см. М. И. Михайлов, Стихотворения, изд. «Советский писатель», 1950, стр. 267).

⁶ Чтение происходило в середине декабря 1855 г.

⁷ В. Н. Андреев-Бурлак был в Ясной Поляне 20 июня 1887 г. и тогда же рассказал Толстому слышанную им в вагоне исповедь одного случайного попутчика об измене жены. Рассказ Андреева-Бурлака послужил толчком к писанию «Крейцеровой сонаты».

⁸ Относительно обстоятельств, сопутствовавших написанию «Крейцеровой сонаты», см. подробнее в статье Н. К. Гудзия (т. 27).

Е. С. Станиславский

ЗНАКОМСТВО С Л. Н. ТОЛСТЫМ

Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич (1863—1938) — один из основателей Московского Художественного театра. Познакомился с Толстым 31 октября 1893 г. у Н. В. Давыдова в Туле. Воспоминания печатаются по тексту, опубликованному в книге: К. С. Станиславский, Собрание сочинений в 8 томах, изд. «Искусство», 1954, т. I.

¹ Рассказ относится к 1893 г.

² Речь идет о статье Толстого «Христианство и патриотизм» (1893—1894). См. т. 39.

А. Я. Коц

МОИ ВСТРЕЧИ С Л. Н. ТОЛСТЫМ

Коц Аркадий Яковлевич (1872—1943) — в 1893 г. окончил Горный институт в Париже, затем служил на рудниках близ Колпны (недалеко от Ясной Поляны). Напечатал ряд стихотворений в журнале «Жизнь», в том числе перевод «Интернационала». Был в Ясной Поляне в августе 1893 г. Толстой посетил рудники Гиля 21 июля 1894 г. Воспоминания Коца печатаются по тексту, опубликованному в «Летописях Литературного музея», кн. 12, М. 1948.

¹ Н. Н. Ге, сын художника.

В. Д. Бонч-Бруевич

МОИ ВСТРЕЧИ С ЛЬВОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ТОЛСТЫМ

Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873—1956) — в 90-е годы был участником московских марксистских кружков, организатором подпольной печати. Воспоминания печатаются по тексту, опубликованному в журнале «Искусство», 1929, № 3—4.

¹ В. М. Величкина, с 1900 г. жена В. Д. Бонч-Бруевича.

² Драма Г. Гауптмана, запрещенная в России цензурой.

И. А. Бунин

ТОЛСТОЙ

Бунин Иван Алексеевич (1870—1953) — писатель; познакомился с Толстым в январе 1894 г. в Москве. Вернувшись в Полтаву, Бунин писал Толстому. Толстой ответил 23 февраля 1894 г. (см. т. 67, № 52). Воспоминания печатаются по тексту, опубликованному в книге: И. А. Бунин. Воспоминания, Париж, 1950.



Группа писателей «Современника».
Фотография. 1856.



Л. Н. Толстой аккомпанирует Т. А. Кузьминской.

Рисунок И. Репина. 1891.



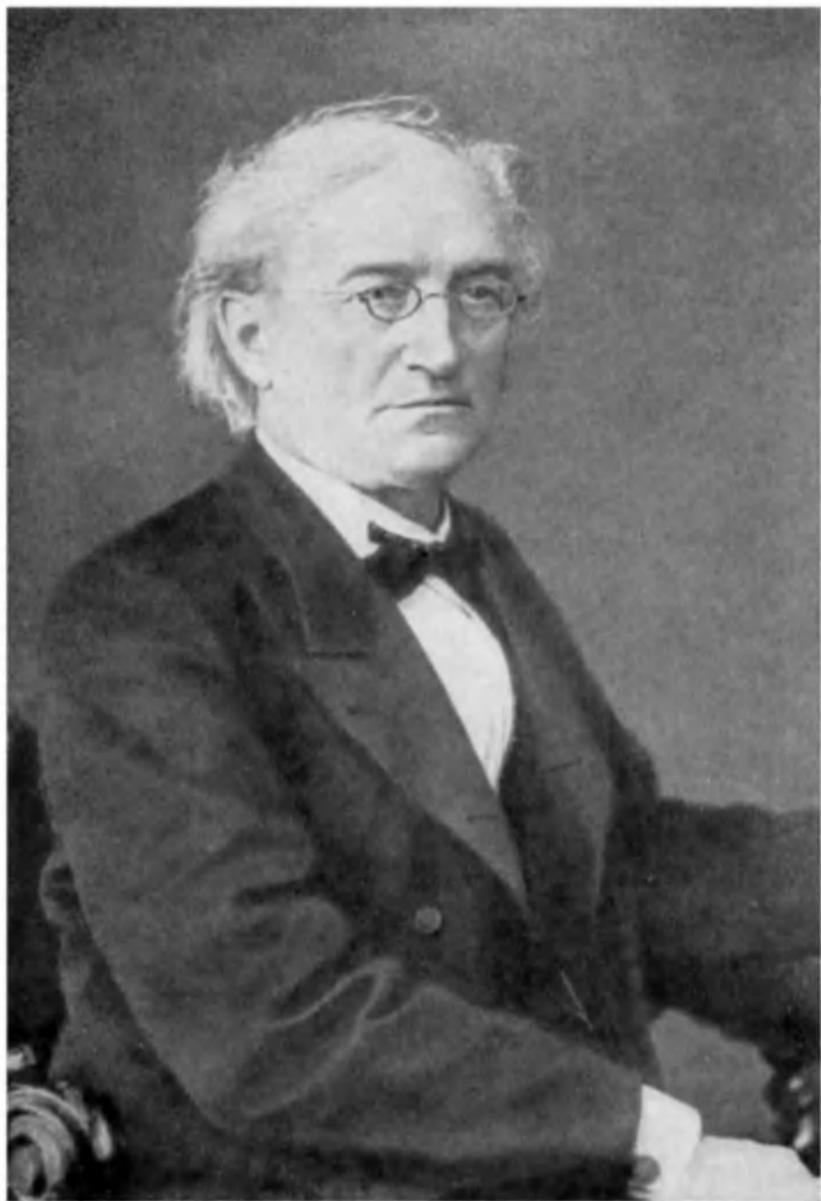
Л. Н. Толстой в кругу семьи.
Фотография. Ясная Поляна. 1887.



Л. Н. Толстой.
Рисунок И. Репина. 1891.



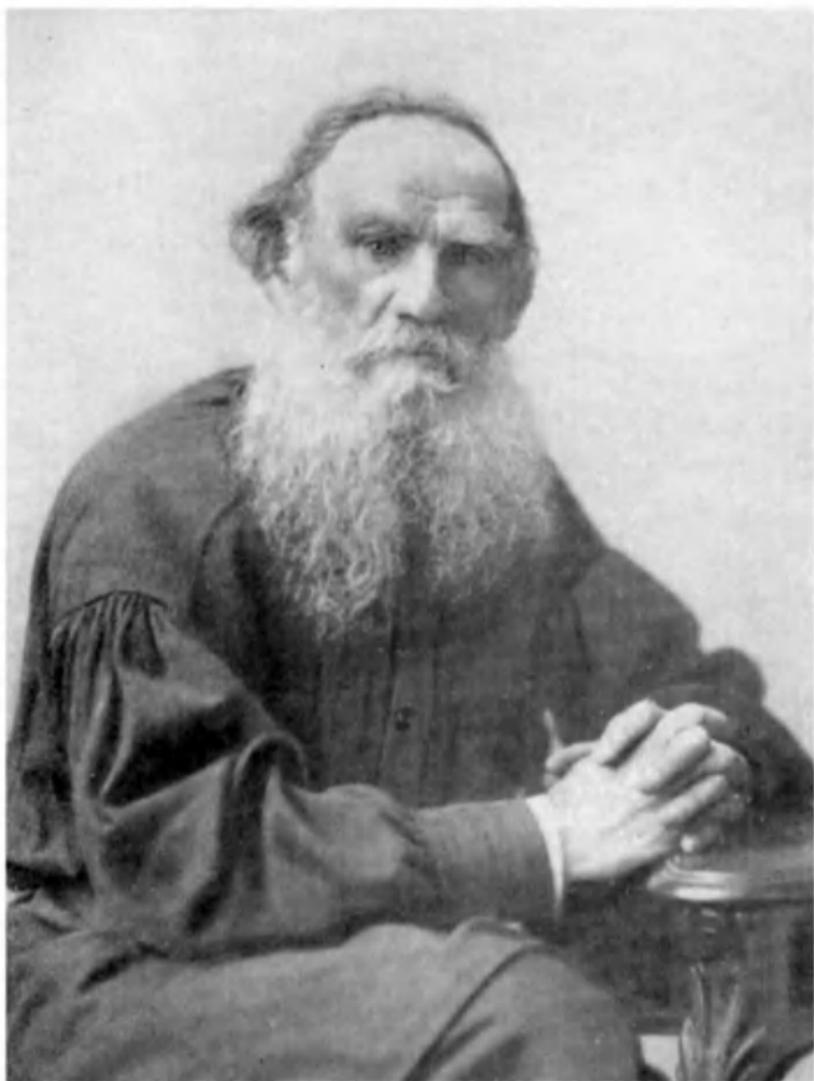
Л. Н. Толстой и И. Е. Репин.
Фотография. Ясная Поляна. 1908.



Ф. И. Тютчев.
Фотография. 187...



Л. Н. Толстой и А. Ф. Кони.
Фотография. Ясная Поляна. 1904.



Л. Н. ТОЛСТОЙ.
Фотография Москва. 1896.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

От составителей	5
<i>К. Ломунов.</i> Предисловие	7

Л. Н. ТОЛСТОЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННОКОВ

<i>С. А. Толстая.</i> Материалы к биографии Л. Н. Толстого и сведения о семействе Толстых и преимущественно графа Льва Николаевича Толстого . . .	55
<i>В. Н. Назарьев.</i> Жизнь и люди былого времени . .	58
<i>Р. Левенфельд.</i> Разговоры с Толстым и о Толстом	66
<i>Ю. И. Одаховский.</i> Воспоминания о Л. Н. Толстом	68
<i>А. В. Дружинин.</i> Из дневника	71
<i>Д. В. Григорович.</i> Литературные воспоминания . . .	74
<i>А. А. Фет.</i> Мои воспоминания	76
<i>Б. Н. Чичерин.</i> Из воспоминаний. Москва сороковых годов	83
<i>Е. И. Сытина-Чихачева.</i> Воспоминания	85
<i>А. А. Толстая.</i> Воспоминания	89
<i>Д. Д. Оболенский.</i> Отрывки (Из личных впечатлений)	95
<i>С. Плаксин.</i> Граф Л. Н. Толстой среди детей . . .	99
<i>Р. Левенфельд.</i> У графа Толстого	101
<i>В. Бодэ.</i> Толстой в Веймаре	103
<i>В. С. Морозов.</i> Воспоминания ученика Яснополянской школы	106
<i>П. В. Морозов.</i> Воспоминания учителя толстовской школы	115
<i>Н. П. Петерсон.</i> Из записок бывшего учителя . . .	118
<i>А. Ашарин.</i> Из жизни Льва Толстого	123

*** Воспоминания о Толстом прибалтийского немца	127
<i>С. А. Толстая</i> . Женидьба Л. Н. Толстого	130
Мои записи разные для справок	142
<i>С. А. Берс</i> . Воспоминания о графе Л. Н. Толстом	156
<i>Е. В. Оболенская</i> . Моя мать и Лев Николаевич	167
<i>И. Л. Толстой</i> . Мои воспоминания	177
<i>И. Н. Крамской</i> . Письмо к П. М. Третьякову	205
<i>Н. И. Шатилов</i> . Из недавнего прошлого	207
<i>П. И. Чайковский</i> . Из дневника	209
<i>С. Л. Толстой</i> . Музыка в жизни моего отца	210
<i>А. Д. Оболенский</i> . Из воспоминаний	219
<i>Н. Н. Страхов</i> . [Воспоминания]	221
<i>В. И. Алексеев</i> . Воспоминания	223
<i>С. П. Арбузов</i> . Воспоминания бывшего слуги графа Л. Н. Толстого	231
<i>И. Е. Репин</i> . Из моих общений с Л. Н. Толстым	254
О графе Льве Николаевиче Толстом	271
<i>В. Гиляровский</i> . Старогладовцы	281
<i>Г. А. Русанов</i> . Поездка в Ясную Поляну	294
Воспоминания	308
<i>Л. П. Никифоров</i> . Воспоминания о Л. Н. Толстом	326
<i>Г. П. Данилевский</i> . Поездка в Ясную Поляну	341
<i>Н. Н. Иванов</i> . У Л. Н. Толстого в Москве в 1886 году	344
<i>В. Г. Короленко</i> . Великий пилигрим	349
<i>А. К. Черткова</i> . Из воспоминаний о Л. Н. Толстом	358
<i>А. А. Стахович</i> . Ключки воспоминаний	370
<i>Н. В. Давыдов</i> . Лев Николаевич Толстой	375
<i>Н. И. Тимковский</i> . Мои первые свидания с Л. Н. Толстым	388
О Л. Н. Толстом	390
<i>А. Ф. Кони</i> . Лев Николаевич Толстой	394
<i>С. Т. Семенов</i> . Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом	404
<i>Т. Е. Базыкин</i> . Яснополянский пожар	430
<i>Эльмер Моод</i> . Разговоры с Толстым	433
<i>В. Н. Давыдов</i> . Из воспоминаний актера	442
<i>А. М. Новиков</i> . Зима 1889/90 годов в Ясной Поляне	445
<i>А. В. Цингер</i> . У Толстых	453
<i>В. М. Лопатин</i> . Из театральных воспоминаний	465
<i>П. Ганзен</i> . Пять дней в Ясной Поляне	471
<i>А. В. Жиркевич</i> . Встречи с Толстым	474
<i>И. Я. Гинцбург</i> . Из прошлого	486
<i>Вера Величкина</i> . В голодный год с Львом Толстым	500

<i>П. М. Пчельников.</i> Из дневника	527
<i>П. П. Гнедич.</i> Из записной книжки	532
<i>Л. Я. Гуревич.</i> Из воспоминаний о Л. Н. Толстом .	535
<i>П. А. Сергеенко.</i> Как живет и работает Л. Н. Толстой	539
<i>К. С. Станиславский.</i> Знакомство с Л. Н. Толстым	552
<i>А. Я. Коц.</i> Мои две встречи с Л. Н. Толстым . . .	557
<i>В. Д. Бонч-Бруевич.</i> Мои встречи с Львом Николаевичем Толстым	559
<i>И. А. Бунин.</i> Толстой	562
Примечания	571

**Л. Н. ТОЛСТОЙ
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННОКОВ**

том I

**Редакторы Л. Опульская
и С. Розанова
Художеств. редактор И. Жпхарев
Тех. редактор Н. Соколова
Корректоры Р. Пунга
и Л. Эткина**

*

Сдано в набор 3/III-1960 г. Подписано
в печать 15/VI 1960 г. Бумага 84×108^{1/2}.
19,25 печ. л.=31,57 усл.-печ. л.; 31,25 уч.-изд. л.
+ 10 вкл.=31,75 печ. л. Тираж 45000 экз.
Зак. 221. Цена 9 р. 80 к.
С 1/I 1961 г. цена 98 коп.

**Гослитиздат
Москва, Б-86, Ново-Басманная, 19.**

**Первая Образцовая типография имени
А. А. Жданова Московского городского
совнархоза.
Москва, Ж-54, Вавовая, 28.**

Wiley Co. Inc.
© 1964 by Wiley Co. Inc.